



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ
ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

5/2013

Журнал
«Семь искусств»

Май 2013

Главный редактор
Евгений Беркович

Редакционная коллегия:
Лев Бердников, Борис Болотовский, Эдуард Бормашенко,
Юлий Брук, Элла Грайфер, Лорина Дымова, Борис Дынин,
Игорь Ефимов, Александр Журбин, Виктор Каган,
Борис Кушнер, Александр Ласкин,
Борис Тененбаум, Артур Штильман

ISBN 978-1-291-44838-2

«Семь искусств»
Ганновер 2013

Журнал

«Семь искусств»

Май 2013

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная вёрстка и техническое
редактирование Изабеллы Побединой

«Семь искусств»
Ганновер 2013

Содержание

Мир науки

Евгений Беркович	
Одиссея Петера Прингсхайма.....	5
Мирон Я. Амусья	
Несостоявшийся прорыв.....	25
Андрей Шидловский	
Род Шидловских.....	35

Культура

Ася Лapidус	
Не три свечи горели, а три встречи.....	90
Игорь Ефимов	
О стихах и поэтах.....	93

Музыка

Нина Лельчук	
Чудо по имени Вэн Клайберн.....	104
Софья Гильмсон	
Инна.....	122
Азарий Мессерер	
Союз любимцев вечных муз.....	127

Галерея

Галина Подольская	
Двенадцать колен Израилевых Аркадия Лившица.....	139

История и современность

Лев Бердников	
О двух русских забавниках.....	153
Борис Тененбаум	
Барабанщик.....	166

Мемуары

Владимир Янкелевич	
Осколки.....	174
Леонид Гиршович	
Мало ли, чего не было.....	194
Михаил Цаленко	
Взгляд назад невидящих глаз.....	199
Лорина Дымова	
Как я работала инженером.....	233

Социология

Андрей Алексеев	
Еще о драматической социологии.....	240

Театр и кино

Татьяна Портнова	
Эволюция балетного костюма	281

Люди

Павел Полян	
Жил певчий дрозд.....	301

Поэзия

Александр Танков	
Пляска смерти	352

Валерий Черешня	
Одесский дворик	357

Лев Дановский	
Облако наплывает.....	364

Татьяна Кузовлева	
Мне ль, женщине, не знать.....	375

Виктор Каган	
Осень сменяет осень	379

Проза

Александр Матлин	
Васильковые цветочки	389

Валерий Генкин	
Баба Женя и дедушка Семен.....	396

Владимир Фридкин	
Фиалки из Ниццы.....	411

Зеэв Фридман	
"В ночь на седьмое ноября"	425

Читальный зал

Михаил Юдсон	
Заповеди Перевоза	485

Страны и народы

Элиэзер М. Рабинович	
Южная Африка: краткая история до 1948 года	489

Об авторах	541
-------------------------	------------

Евгений Беркович

Одиссея Петера Прингсхайма

Часть первая. «Немыслимая разлука»

Историческая подоплека писем Томаса Манна
Петеру Прингсхайму в годы Первой мировой войны

День в истории



« *сего и надо, что вчитаться, - боже мой, всего и дела, что помедлить над строкою*» - мудро заметил поэт, и если последовать его совету, то любой текст, написанный мастером, может открыть наблюдательному человеку много неожиданного. Как опытный грибник по необычно лежащим на земле иголкам хвои находит в лесу богатую грибницу, так и вдумчивый читатель по оброненной в тексте незначительной детали обнаруживает ниточку, ведущую к клубку самых невероятных событий.

Возьмем, к примеру, рядовое письмо¹ Томаса Манна физику Петеру Прингсхайму², написанное шестого ноября 1917 года, и поищем в нем следы одной драматической истории из жизни молодого ученого.

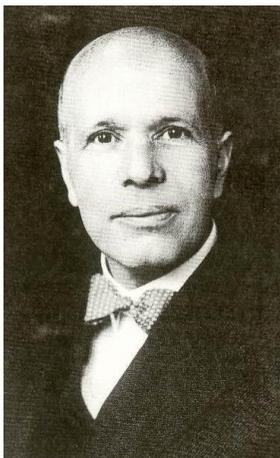
Через четверть века события вокруг физика закрутятся в такую трагическую воронку, что в нее окажутся втянутыми судьбы многих известных людей неспокойного двадцатого века.

Письмо известного писателя невелико – в нем восемь абзацев текста – и выглядит как обычное дружеское послание близкому родственнику. В первых двух абзацах автор поздравляет своего шурина с

¹ *Mann Thomas. Briefe 1889-1936. Hrsg. von Erika Mann. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1962, S. 141-142.* В дальнейшем цитаты из этого письма будут приводиться с указанием страниц этого издания. Письмо опубликовано также в Большом комментируемом франкфуртском издании *Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 22. Briefe II. 1914-1923. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2004, S. 209-211.* Если не указано иное, перевод с немецкого мой - Е.Б.

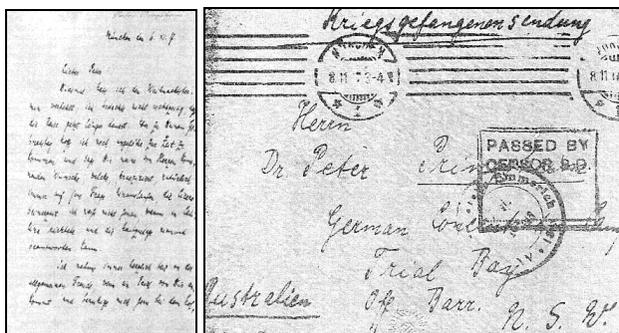
² Петер Прингсхайм (Peter Pringsheim, 1881-1963) – немецкий физик, брат Кати Прингсхайм, ставшей в 1905 году женой Томаса Манна.

предстоящим днем рождения, пишет об общей радости, с которой все домочадцы встречают весточки от Петра, а далее рассказывает о новостях культуры. Прежде чем мы внимательно прочтем письмо в поисках обещанной ниточки, скажем несколько слов о времени описываемых событий.



Петер Прингсхайм

День, которым датировано письмо, ничем особым не выделен в истории. Четвертый год тянется всем смертельно надоевшая мировая война, называемая в России «германской».

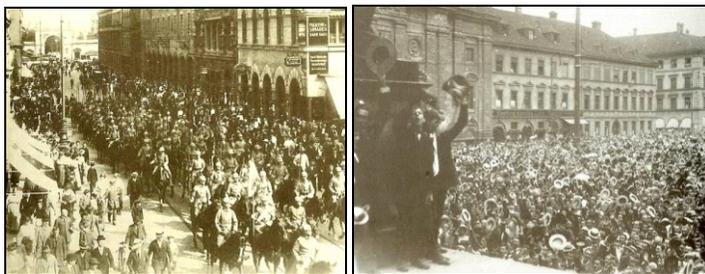


Письмо Томаса Манна Петеру Прингсхайму от 6 ноября 1917 г.

Нескончаемые сражения выматывали последние силы у воюющих стран, число жертв с обеих сторон шло на миллионы, люди в тылу забыли вкус нормальной еды и постоянно голодали. Терпению народа везде подходил конец. В России взрыв произошел буквально на следующий день после отправки письма Манна – 7 ноября по

европейскому календарю в Петрограде начался знаменитый мятеж, который потом назовут Великой Октябрьской социалистической революцией.

В Мюнхене, откуда Томас Манн писал письмо своему шуруну, недовольство населения тоже грозило выйти из берегов. В прошлом осталось восторженно романтическое отношение к войне, радостное ожидание скорой победы.



Мюнхен, 2 августа 1914 года

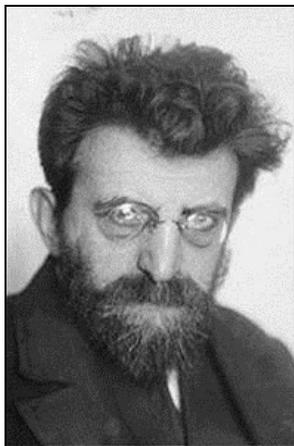


Гитлер на митинге: 2 августа 1914 года, Мюнхен

Война потеряла в глазах немцев свой возвышенный ореол, голод стал главной темой разговоров взрослых и детей. Сын Томаса Манна Клаус вспоминал впоследствии о том времени (в ноябре 1917 года ему исполнилось одиннадцать лет): *«Для нас, детей, как и для массы народа, война означала, прежде всего, нехватку еды. Чем хуже становилось положение с продуктами питания, тем больше концентрировался всеобщий интерес исключительно на проблемах еды. Неограниченная война подводных лодок, объявление войны Соединенными Штатами, все это было менее важно, менее возбуждало, чем продажа гусей без карточек или уменьшение недельного рациона маргарина»*³.

³ Mann Klaus. Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2007, S. 76.

В июне 1916 года, впервые после начала войны, в Мюнхене состоялась антивоенная демонстрация. Перед ратушей собрались сотни разгневанных горожан, в основном, женщин и молодежи, которые обзывали мюнхенские власти «пруссскими рабами» и требовали мира и хлеба. Известный поэт и драматург Эрих Мюзам⁴, анархист по убеждениям, который был свидетелем этой демонстрации, пророчески предупреждал, что подобные беспорядки неминуемо приведут к революции⁵.



Эрик Мюзам

Жители Мюнхена были убеждены, что война приносит им больше несчастий, чем другим немцам: правительство в Берлине заботится о жителях северной Пруссии лучше, чем о южанах баварцах. Главным яблоком раздора между Севером и Югом Германии выступало, как ни странно, пиво. Во многих крестьянских хозяйствах Баварии этот пенный напиток считался, наравне с хлебом, важнейшим продуктом питания. В то время как винокурни Пруссии щедро снабжались сырьем для шнапса, многие пивоварни на юге закрывались из-за отсутствия хмеля, распределяемого правительством по военному регламенту. Поэт и драматург Эрнст Толлер⁶, как и Эрик Мюзам, революционер и

⁴ Эрих Мюзам (Erich Kurt Mühsam; 1878-1934) – выдающийся немецкий поэт и драматург, убежденный антифашист, замучен нацистами в концлагере.

⁵ *Mühsam Erich. Tagebücher. Hirte Chris* (Hrsg.). Dtv, München 1994, S. 174-177.

⁶ Эрнст Толлер (Ernst Toller, 1893-1939) - немецкий поэт, драматург, революционер, антифашист, глава Баварской Советской Республики.

антифашист, сформулировал проблему образно: «*Так как свиньи-пруссаки пьют плохое пиво, и баварцы должны глотать помой*»⁷.

Сильным ударом по самолюбию набожных баварцев-католиков стал приказ из Берлина о конфискации металлических предметов, которые могут быть использованы на войне. На переплавку шли не только домашние кастрюли и сковородки, но и органные трубы, и бронзовые церковные колокола. Более трети всех мюнхенских колоколов было в 1917 году переплавлено на гранаты и пушки. Возмущение населения подходило к критической черте.



Эрнст Толлер

На этом фоне немного странным выглядит приведенный в третьем абзаце письма рассказ Томаса Манна о новостях культурной жизни Мюнхена. Казалось бы, в условиях военного времени людям не до театра и других развлечений. Но жизнь показала, что это не так. В самом начале войны мюнхенские власти вообще закрыли все театры в городе, чтобы продемонстрировать, с какой серьезностью они относятся к «священной защите отечества». Однако этот жест ложно понятого патриотизма вызвал возмущения горожан, и через несколько недель запрет на спектакли был снят. Правда, вновь открылись не все театры: некоторым не хватало актеров, ушедших на фронт, другим – зрителей, число которых тоже заметно сократилось. Но главной проблемой для театров в зимнее время стала нехватка угля для отопления. Из-за холода в залах отменялись многие спектакли и закрывались театры. Уже в 1915 году по сообщению мюнхенского городского отделения Союза немецких актеров две трети его членов не имели работы⁸. Эта доля к лету 1917 года еще более выросла. Многие безработные артисты за кусок хлеба устраивали представления прямо на городских улицах.

⁷ Toller Ernst. Eine Jugend in Deutschland. Reclam, Leipzig 1990, S. 132.

⁸ Large David Clay. Hitlers München. Aufstieg und Fall der Hauptstadt der Bewegung. Verlag C.H. Beck, München 1998, S. 97.

«Музыка в Мюнхене»⁹

И все же, если верить Томасу Манну, летом 1917 года Мюнхен был буквально наполнен музыкой, одна оперная премьера сменяла другую, публика осаждала музыкальные театры. Особенно выделяет Манн летнюю премьеру оперы Ганса Пфизнера¹⁰ «Палестрина» в мюнхенском «Принцрегентен-театре»¹¹.



Принцрегентен-театр

Писатель не скупится на превосходные оценки оперы, которая *«в духовном и культурном смысле представляет собой исключительную высокую работу, причем в высшей степени немецкую, нечто из области Фауста-Дюрера, и своей исповедальностью очень точно мне подходит»* (стр. 141).

В этом же третьем абзаце письма Томас Манн признается, что он в тот сезон слушал оперу пять раз и написал о ней большую, в двадцать две журнальных страницы, рецензию в *«Нойе Рундschau»*¹². Кроме того, очерк о *«Палестрине»* вошел в книгу Манна *«Размышления*

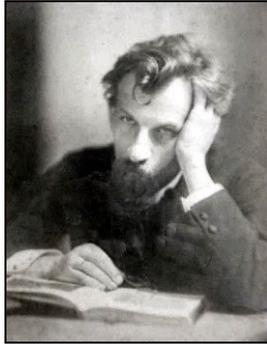
⁹ Так называлось эссе Томаса Манна, опубликованное в 1917 году, в котором защищается Бруно Вальтер от антисемитских нападок критиков: Mann Thomas. Musik in München. In: Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 15.1. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2002, S. 184-202.

¹⁰ Ганс Пфизнер (Hans Erich Pfitzner, 1869-1949) – немецкий композитор, дирижер, музыкальный писатель и публицист.

¹¹ Томас Манн присутствовал при первом исполнении оперы 12 июня 1917 года. До этого он был на генеральной репетиции спектакля. См, например, *Heine Gert, Schommer Paul*. Thomas Mann Chronik. Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 2004, S. 79. А всего в тот сезон он шесть раз слушал исполнение оперы.

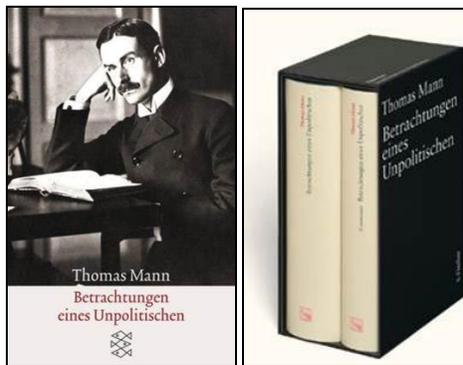
¹² *«Нойе Рундschau»* («Die Neue Rundschau») – один из старейших немецких литературных журналов, основанный Самуэлем Фишером в 1890 году и выходящий в издательском доме С.Фишера.

*аполитичного»*¹³, увидевшую свет в 1918 году. «Да, бедняга, ты это тоже теперь пропустил» (стр. 141), - жалеет Томас шурина, еще не слушавшего оперу Пфицнера и не читавшего журнал «*Нойе Рундшау*».



Ганс Пфицнер

Совершенно ясно, что за именами, упомянутыми в третьем абзаце письма, скрыта немалая интрига. Отношения Томаса Манна и Ганса Пфицнера, прошедшие эволюцию от полного идеологического единства до откровенной и непримиримой вражды, заслуживают отдельного серьезного обсуждения, к которому, я надеюсь, мы еще вернемся. Но к судьбе Петера Прингсхайма эта история отношения не имеет.



Томас Манн, «Размышления аполитичного»

В следующем коротком абзаце Томас Манн упоминает другую оперу, исполнение которой состоялось тем летом в Мюнхене при

¹³ *Mann Thomas. Betrachtungen eines Unpolitischen. In: Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 13.1. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2009.*

большом стечении образованной публики. Речь идет об опере «Ланцелот и Елена» композитора Вальтера Курвуазье¹⁴.



Бруно Вальтер, Ганс Пфицнер и Людвиг Киршнер (худ.)

Саму оперу писатель в письме Петеру Прингсхайму оценил не очень высоко: *«это чистое эпигонство Вагнера, всегда на границе хорошо знакомого, так что в каждый момент думаешь: вот сейчас это, действительно, последует; но вместе с тем все довольно прилично и не без поэзии»* (стр. 142).



Сцена из оперы «Ланцелот и Елена» композитора Курвуазье

Пикантность рассказу придает тот факт, что Томас слышал музыкальные фрагменты оперы задолго до премьеры – они раздавались буквально над его головой в то время, когда композитор сочинял эту

¹⁴ Вальтер Курвуазье (Walter Courvoisier, 1875-1931) – швейцарский композитор и дирижер, с 1910 года преподаватель мюнхенской музыкальной академии.

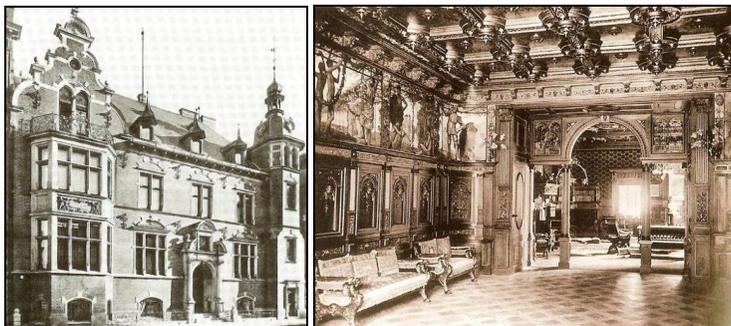
музыку: Вальтер Курвуазье жил в том же доме, что и Манны, только этажом выше.

Томас охотно делится с Петером разными милыми житейскими мелочами, обсуждая, например, какая из дочерей профессора Тирша¹⁵ – «с» или «без» - написала либретто оперы «Ланцелот и Елена». Дело в том, что у знаменитого мюнхенского архитектора Фридриха Тирша было две дочери, одна из которых имела сына. «Я склонен верить, что "без"» (стр. 142), - с серьезным видом замечает писатель.

В этом отрывке тоже можно увидеть следы отдельной истории, рассказывающей обо всех трех местах в Мюнхене, где проживали Томас и Катя с детьми.

Мюнхенские адреса

После переезда из Любека в Мюнхен в апреле 1894 года и до женитьбы на Кате Прингсхайм в феврале 1905 года Томас сменил десять квартир. В некоторых он жил пару месяцев, в других задерживался на пару лет. Как правило, это были скромные жилища, соответствующие небольшому доходу начинающего литератора. Но после того как автор романа «Будденброки» стал известным писателем и добился руки Кати, дочери университетского профессора математики Альфреда Прингсхайма, положение изменилось. Отец Кати – один из богатейших людей Баварии, коллекционер и истинный ценитель искусства – не мог позволить, чтобы его безгранично любимая дочь сменила дворец на Арсиштрассе (Arcisstraße) 12 на какую-то хижину.



Вилла Прингсхаймов на Арсиштрассе 12,
внешний вид и музыкальный зал

Сразу после возвращения из свадебного путешествия 23 февраля 1905 года Томас и Катя въехали в новую квартиру на улице Франца Иосифа (Franz-Josef-Straße) 2/III. Альфред Прингсхайм обставил ее по своему вкусу дорогой антикварной мебелью, так что Томас из своей

¹⁵ Фридрих Тирш (Friedrich Thiersch, 1852-1921) – знаменитый мюнхенский архитектор, профессор Технического университета.

холостяцкой квартиры взял с собой только три любимых кресла в стиле ампир.

В квартире на улице Франца Иосифа родились четверо детей Маннов: Эрика (1905), Клаус (1906), Голо (1909) и Моника (1910). С годами квартира, которая матери Томаса Юлии Манн вначале показалась *«прекрасной и большой»*, стала явно мала для такого семейства. Поэтому в октябре 1910 года семья Манн въехала в более просторную, занимавшую целый этаж, квартиру по адресу Мауеркирхерштрассе (Mauerkircherstraße) 13/II в районе Герцогпарка, где незадолго до этого началось массовое строительство жилых домов и вилл для состоятельных горожан. Именно в этом доме соседом Маннов стал композитор Вальтер Курвуазье.

Но скоро и это жилище, хоть и составленное из двух квартир с двумя независимыми входами, перестало соответствовать общественному положению писателя, чья слава и состояние росли год от года. Томас и Катя решили строить собственный дом, и уже осенью 1911 года стали подыскивать подходящий участок в полюбившемся Герцогпарке. Дом по специальному проекту строился долго, но все же в январе 1914 года все семейство переехало в представительную трехэтажную виллу по адресу Пошингерштрассе (Poschingerstraße) 1.



Дом на Пошингерштрассе 1

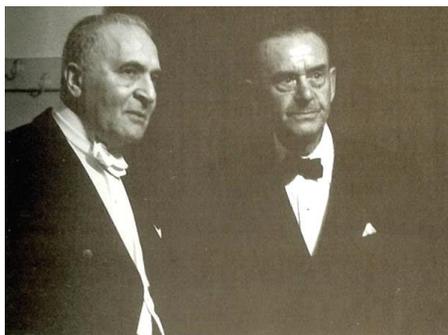
В этом доме в мюнхенском Герцогпарке Томас Манн провел почти половину из сорока лет, прожитых в Баварии, здесь родились двое его младших детей – Элизабет (1918) и Михаэль (1919). Здесь были написаны роман *«Волшебная гора»*, первые части тетралогии *«Иосиф и его братья»*. Сюда, на Пошингерштрассе 1, пришла в 1929 году весть о получении писателем Нобелевской премии по литературе.

И из этого дома 11 февраля 1933 года, в двадцать восьмую годовщину их свадьбы, Томас и Катя уехали из Германии, когда к власти пришли нацисты. Целью поездки были публичные лекции Томаса Манна о Вагнере в ряде европейских столиц и последующий отдых в Швейцарии. Но оказалось, что жить в Германию Манны не вернуться больше никогда. Даже когда мировая война закончится, Гитлер покончит собой, а на развалинах Третьего рейха начнется восстановление новой Германии, Манн не найдет в себе сил простить соотечественников и не откликнется на их призыв вернуться.

Судьба дома Маннов на Пошингерштрассе в гитлеровской Германии и в послевоенные годы полна захватывающих событий и очень поучительна, ибо она проливает новый свет на весьма неоднозначное отношение немцев к своему великому писателю. Но и этот сюжет мы должны сейчас отставить в сторону, так как он не имеет прямого отношения к истории физика Прингсхайма, которую мы собираемся обсудить.

Бруно Вальтер

Вернемся к письму Томаса Манна Петеру Прингсхайму и прочтем внимательно следующий, пятый абзац. Он целиком посвящен главному дирижеру Королевского симфонического оркестра и генеральному музыкальному директору Мюнхенской оперы Бруно Вальтеру¹⁶, о котором Томас Манн пишет очень тепло: *«Я наслаждаюсь музыкой в последние годы все больше и больше, главным образом, благодаря отношениям с Б.Вальтером, добрым, пылким, наивным, восторженным генеральным музыкальным директором, - дружба, которая, естественно, имеет свои практические преимущества. Вчера вечером он опять был у нас и играл и пел всякую всячину из Вагнера, а также старые и новые романтические песни, чем доставил нам большое удовольствие»* (стр. 142).



Томас Манн и Бруно Вальтер

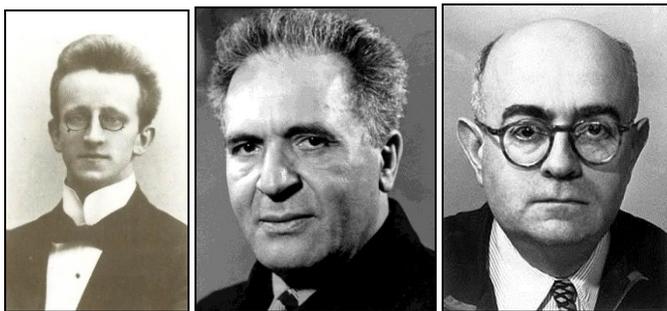
В произведениях Томаса Манна музыка и музыканты играют исключительно важную роль. Известно, что писатель в детстве не получил никакого музыкального образования и своими познаниями в этой сфере полностью обязан друзьям-музыкантам, постепенно раскрывавшим перед ним новые горизонты мира музыки.

Первым музыкальным наставником Томаса стал Карл Эренберг¹⁷, младший брат художника Пауля Эренберга¹⁸. Именно с Паулем у

¹⁶ Бруно Вальтер (Bruno Walter, 1876-1962, рожденный как Bruno Walter Schlesinger) – немецкий музыкант, выдающийся дирижер двадцатого века.

¹⁷ Карл Эренберг (Carl Ehrenberg – 1878-1962) – немецкий композитор,

молодого писателя был мучительный «мужской роман» в самом начале двадцатого века¹⁹. Потом в жизни Томаса появился Бруно Вальтер, ставший другом семьи до конца своих дней. А в период работы над романом «Доктор Фаустус» роль музыкального наставника Манна взял на себя Теодор Адорно, «тайным советником», как называл его писатель.



Карл Эренберг, Бруно Вальтер, Теодор Адорно

Бруно Вальтер входил в очень узкий круг людей, с которыми Томас Манн был «на ты». По словам, писателя их можно было «пересчитать по пальцам одной руки»²⁰.

В сентябре 1946 года, когда Бруно Вальтеру исполнилось семьдесят лет, оба друга находились в американском изгнании. Поздравляя знаменитого дирижера с юбилеем, Томас Манн сетует на несовершенство английского языка: «Дорогой друг, это досадно. Только что мы после строгого испытательного срока длиной в 34 года договорились в дальнейшем обращаться друг к другу на "ты", а теперь я должен писать тебе письмо по случаю дня рождения, в котором это

дирижер, педагог, с 1922 года капельмейстер государственной оперы в Берлине. В 1925-35 годах – профессор Кельнской консерватории, с 1945 года до конца жизни – профессор Мюнхенской консерватории.

¹⁸ Пауль Эренберг (Paul Ehrenberg, 1876-1949) – немецкий художник и скрипач-виртуоз.

¹⁹ Подробнее об этом см. в моей статье *Беркович Евгений*. Работа над ошибками. Заметки на полях автобиографии Томаса Манна. «Вопросы литературы», № 1 2012 г.

²⁰ *Mann Thomas*. Lebensabriss. Первая публикация в журнале *Die neue Rundschau*. № 6 1930. S. Fischer Verlag, Berlin Leipzig. В настоящей заметке цитируется по изданию *Mann Thomas*. Essays. Band 3. Hrsg. *Kurzke Hermann, Stachorski Stephan*. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2003, S. 187. Русский перевод: *Манн Томас*. Очерк моей жизни. Перевод А. Кулишер. В книге: *Манн Томас*. Собрание сочинений в 10-ти томах. Том 9. Государственное издательство художественной литературы, Москва 1960, стр. 104. См. также *Манн Томас*. Собрание сочинений в восьми томах. Том 1. ГЕРРА – Книжный клуб, Москва, 2009, с. 16.

прекрасное начинание вообще не проявляется, так как на этом проклятом сверхцивилизованном английском даже к своей собаке обращаются "уои"»²¹.

И хотя Томас Манн, по своему обыкновению, немного напутал с датами ²², чудовищный «испытательный срок» - более тридцати лет! - говорит о многом! Конечно, на тему «Томас Манн и Бруно Вальтер» можно написать не одно исследование. Но к судьбе Петера Прингсхайма и это не имеет прямого отношения. Поэтому читаем письмо дальше и обратимся к шестому абзацу.

Бад Тёльц

В нем в первый и последний раз в этом письме упоминается слово «политика», да и то без всякого обсуждения острых политических проблем военного времени. Томас просто сообщает о политическом докладе в доме профессора-экономиста Морица Бонна ²³, на который Томас с Катей идут вечером. Говоря о жене профессора Бонна, которая «превосходно держится» (стр. 142), Томас Манн использует английское слово «wife», подчеркивая, что по рождению она англичанка.

Гораздо охотнее, чем о политике, Томас говорит о домашних новостях, среди которых важная – это, конечно, долгожданная продажа летнего дома семьи Манн в курортном городке Бад Тёльц: «С продажей в Тёльце наш дом внутри весьма симпатично пополнился. Верхняя прихожая обставлена мебелью из тельцевской столовой, а комнату для гостей на втором этаже мы хотим обставить Катиными кленовыми вещами по типу пёльхен»²⁴ (стр. 142).

Летний дом в Бад Тёльце был особенно дорог семье Манн, потому что, как вспоминала Катя, «это был первый дом, который мы сами построили и обставили, калифорнийский в Пасифик Палисейдс²⁵ был четвертый и последний»²⁶.

Томас и Катя решили строить свой летний дом в четвертое лето после их свадьбы. В семье уже росли маленькие Эрика и Клаус, на подходе был третий ребенок, а детям летом так необходим чистый воздух и загородное приволье. Бад Тёльц был выбран не случайно: до него из Мюнхена шел поезд, что было очень удобно, чтобы не отрываться надолго от культурной жизни баварской столицы. Кроме того, Томас не

²¹ *Mann Thomas. An Bruno Walter zum siebzigsten Geburtstag. In: Mann Thomas. Werke in dreizehn Bände. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1960-1974. Band 10, S. 507.*

²² По некоторым косвенным данным срок, указанный Манном, нужно сократить, по крайней мере, на два года, так его встреча с Бруно Вальтером не могла состояться ранее мая 1914 года.

²³ Мориц Бонн (Moriz Julius Bonn, 1873-1965) – профессор экономики.

²⁴ Там же.

²⁵ Пасифик Палисейдс (Pacific Palisades) – пригород Лос-Анджелеса на берегу Тихого океана, где с 1941 по 1952 годы жила семья Манн.

²⁶ *Mann Katia. Meine ungeschriebenen Memoiren. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M., 2000, стр. 43.*

раз бывал на этом курорте, как видно из письма другу Курту Мартенсу²⁷ от 9 июля 1903 года, когда тот проходил на курорте курс лечения: «я бы охотно посетил тебя в Тёльце, который мне всегда очень нравился»²⁸.



Дом Томаса Манна в Бад Тёльце

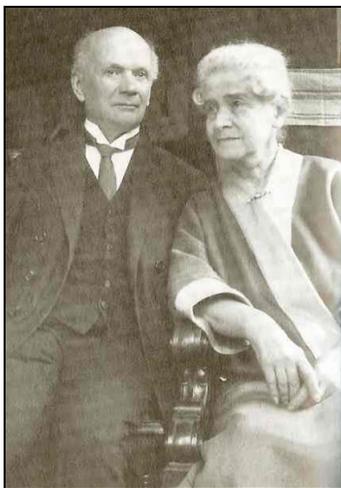
О внушительном трехэтажном доме в Бад Тёльце, в который семья Маннов въехала летом 1909 года, можно было рассказать немало интересного. Он и сейчас стоит практически в первозданном виде на окраине курорта, и его огромный старинный сад размером с гектар мало отличается от наступающего леса. Это единственный оставшийся в Германии дом, принадлежавший Томасу Манну. Остальные дома – и в Мюнхене, и в Любеке – немцы не смогли или не захотели сохранить.

Однако рассказ о домах семьи Манн увел бы нас далеко от одиссеи Петера Прингсхайма, поэтому отложим его до лучших времен. Что следует пояснить в приведенной цитате из письма Томаса Манна, так это словечко «пёльхен», которое не найти в самых подробных словарях немецкого языка.

В доме Катиных родителей – Альфреда и Хедвиг Прингсхайм – все, и малые, и большие, были остры на язык, ценили шутку, игру со словами. Дети придумывали взрослым смешные прозвища, а те их охотно использовали в повседневной жизни. Так знаменитая Хедвиг Дом, бабушка Кати с материнской стороны, звалась в семье «Мимхен» (Mimchen), а родители Альфреда Прингсхайма – Рудольф и Паула – стали «Пумме» (Pumme) и «Мумме» (Mumme). Сам Альфред и его жена Хедвиг получили имена «Фай» (Feu) и «Финк» (Fink). А Катин брат Петер, которому посвящены эти страницы, звался среди родных самым непонятым и смешным именем «Бабюшляйн» (Babüschlein).

²⁷ Курт Мартенс (Kurt Martens, 1870-1945) – немецкий писатель, друг Томаса Манна.

²⁸ *Bürgin Hans, Mayer Hans-Otto* (Hrsg.) Die Briefe Thomas Manns. Regesten und Register. Band I. Die Briefe von 1889 bis 1933. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1976, S. 52.



Альфред и Хедвиг Прингсхайм (одна из последних фотографий)

Дети Кати и Томаса Манн охотно переняли эту традицию. Своих мать и отца они звали «Миляйн» (Mielein) и «Пиляйн» (Pielein). Особенно остра на язычок была Эрика («Эри» или «Эркинд»). Для брата Клауса она придумала имя «Айси» (Eissi или Aissi), а для дирижера Бруно Вальтера и его жены Эльзы – совсем невиданное имя «Куцимуци» (Kuzimuzi).

Особенными именами назывались и неодушевленные предметы, например, дом на Пошингерштрассе звался «Поши». «Пёльхен» - это семейное название комнаты во дворце Прингсхаймов на Арсиштрассе 12, расположенной рядом со спальней хозяйки, Хедвиг Прингсхайм. Эту комнату Хедвиг сама обставила в честь своего кумира - Наполеона I. Здесь были собраны вещи наполеоновского времени, некоторые принадлежали лично французскому императору, например, походный кубок Бонапарта.

Откуда же произошло это диковинное слово «пёльхен»? Суффикс «хен» («chen») - это обычный немецкий суффикс, соответствующий русским уменьшительно-ласкательным суффиксам «чик» или «к»: Stern – звезда, Sternchen – звездочка, Stück – штука, Stückchen - штучка. Так что «пёльхен» - это уменьшительное от какого-то слова «Pol». Но что это слово означает? Оказывается, это сердцевина слова Na-pol-eon, как мне любезно объяснил на немецком интернетовском форуме, посвященном Томасу Манну, доктор Вульф Редер (Wulf Rehder). Разгадка оказалась простой: слово «пёльхен» на языке семейства Прингсхаймов-Маннов означает просто «наполеончик».

Катя Манн не хотела отставать от своей матери и оборудовала в Поши по образцу «наполеончика» свой небольшой личный салон из кленовой мебели, перевезенной из летнего дома в Бад Тельце.

До конца письма Томаса Манна остается всего два абзаца, а заветной ниточки, ведущей к необычным приключениям Петера Прингсхайма, пока не видно. Предпоследний, седьмой абзац письма целиком посвящен литературе.

«Какого черта он полез на эту галеру?»

Писатель с горечью признается: *«Ты пишешь, что ты вообще-то просматриваешь новую литературу, но ничего не находишь моего. Увы, похоже, что мое публичное молчание стало заметно, недавно меня спрашивали об этом из одной нейтральной страны»* (стр. 142).

Известно, что в годы мировой войны писатель был настолько захвачен хитросплетениями мировой политики, что даже на несколько лет отложил в сторону романы *«Волшебная гора»*²⁹ и *«Признание авантюриста Феликса Круля»*³⁰, над которыми работал в 1914 году. Вот как это объясняет Томас в письме шурину: *«Я же тебе писал, что время поставило передо мной чисто публицистические задачи, которые вынудили меня приостановить художественные предприятия, такие как «Волшебная гора» и «Авантюрист». По нынешнему состоянию и с учетом близкого завершения получается довольно толстая книга, которая под названием «Размышления аполитичного» должна появиться зимой. Это вопрос самопознания и самоутверждения, собственно, «вопрос совести», как сказал бы К.Ф.Майер^{31»}... Но ты когда-нибудь и сам увидишь»* (стр. 142).

Решение обратиться к политической эссеистике в ущерб главному делу жизни – художественному творчеству – нелегко далось Манну. Он далеко не уверен, что принял правильное решение, пожертвовав «чистым сочинительством» ради исповедальных размышлений о войне и мире. Не случайно первым эпитафием новой книги выбрана фраза из *«Проделок Скапена»* Мольера: *«Какого черта он полез на эту галеру?»*.

О попытке самопознания в *«Размышлениях аполитичного»* говорит второй эпитафия к книге – стих из драмы Гёте *«Торквато Тассо»*: *«Сравни себя с другим! Познай себя!»*

История создания *«Размышлений аполитичного»*, драматические отношения с братом Генрихом в это время, безусловно, заслуживают подробного разговора, но и они ничего не добавляют к одиссее Петера Прингсхайма, обещанной читателю в начале этих заметок.

Где же та ниточка, что ведет к этой истории? Ведь мы просмотрели уже все письмо и подошли к последнему, восьмому абзацу, в

²⁹ Роман *«Волшебная гора»* («*Der Zauberberg*») закончен Томасом Манном в 1924 году.

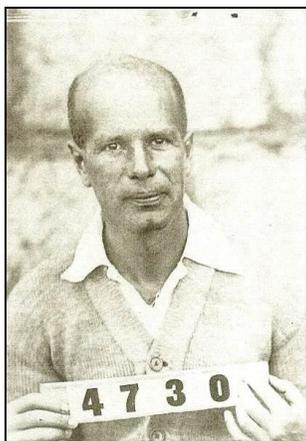
³⁰ Роман *«Признание авантюриста Феликса Круля»* («*Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull*») остался неоконченным. Первая его книга появилась на свет в 1922 году, вторая – в 1954 году, за год до смерти писателя.

³¹ Конрад Фердинанд Майер (Conrad Ferdinand Meyer, 1825-1898) – швейцарский поэт и писатель.

котором автор тепло прощается со своим шурином, заявляя, что *«если это письмо и получилось слишком длинным, то только из-за дружеских чувств, которые питаю к тебе твой зять»*³² Томас Манн» (стр. 142). А следов необыкновенной судьбы Петера мы так и не обнаружили. Может быть, не достаточно внимательно *«вчитались»*, не дали себе труд *«помедлить над строкою»*?

«conditio sine qua non»³³

Вернемся к началу письма, к тому самому первому абзацу, в котором Томас Манн поздравляет Петера с днем рождения и шлет ему *«от сердца идущее пожелание»* (стр. 141). «Что же здесь необычного?», - спросит читатель. А вот что. Письмо, как мы помним, написано за один день до Октябрьской революции в Петрограде, т.е. шестого ноября. А Петер Прингсхайм родился 19 марта. Т.е. писатель поздравляет своего шурина заранее, за четыре с лишним месяца до праздничной даты!



Петер Прингсхайм в заключении в Австралии

Вот эта необычно раннее поздравление и ведет нас к необыкновенной судьбе физика Прингсхайма. Объяснение такой предусмотрительности Томаса Манна простое: его адресат в те дни уже четвертый год томился в концентрационном лагере для «враждебных иностранцев» в далекой Австралии. С учетом немислимого расстояния, которое должно было преодолеть письмо в условиях военного времени, с учетом обязательной лагерной цензуры для всей корреспонденции срок доставки в несколько месяцев уже не кажется таким огромным.

³² В немецком языке словом «Schwager» обозначают и мужа сестры (по-русски «зятя»), и брата жены (по-русски «шурина»).

³³ Непременное условие (лат.).

Становится понятным и иносказательный смысл самого пожелания, которое, по словам Манна, *«сводится, если уточнить, естественно, все время к одному вопросу, который когда-то Цицерон, не зная точно почему, обращал к Катилине, и на который по сей день никто не может ответить»* (стр. 141).

Конечно, для того, кто изучал латынь в гимназии, не составляло труда расшифровать этот маленький ребус. Петеру должен был понять, что Томас имел в виду знаменитую первую речь в сенате против Катилины, которую произнес Марк Туллий Цицерон. Речь начиналась с вопроса: *«Доколе?»*³⁴.

Теперь понятно и упоминание в конце письма «цензора», которому письмо может показаться слишком длинным. И сдержанность Томаса Манна в вопросах злободневной политики вполне объяснима: письмо писалось с оглядкой на цензуру в лагере для заключенных.

За все четыре военных года Томас Манн написал Петеру Прингсхайму всего три письма. Рассматриваемое нами послание от 6 ноября 1917 года – оказалось последним в этом ряду. А первое было написано 18 декабря 1915 года, когда Петер провел в заключении уже шестнадцать с половиной месяцев. Извиняясь за свое такое долгое молчание, Манн ссылается на необходимость писать латиницей: *«как ты видишь, суровое условие для твоего бедного зятя – как извинение, естественно, выглядит немного легкомысленно и необидительно, но это, в самом деле, препятствие»*³⁵.

О трудности писать на латинице говорится и во втором письме Томаса Манна Петеру Прингсхайму, отправленном почти через год после первого – 10 октября 1916 года. Написав несколько первых фраз по-английски, Манн снова переходит на родной немецкий, замечая, что *«он много тоньше – замечание, которое цензор может вымарать, если оно ему не понравится, но из-за этого не стоит изымать письмо целиком»*³⁶.

Снова извиняясь, что не писал почти год, Томас клянется: *«Я заверяю тебя, что я бы это делал чаще, если бы непременно условием не было бы писать на латинице, что для меня является очень жестким условием. Очень быстро немеют пальцы, и мысли становятся совсем вялыми»*³⁷.

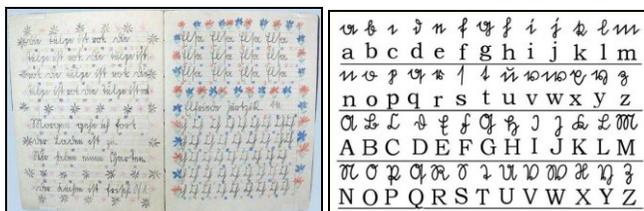
Для современного читателя, даже владеющего немецким языком, это постоянное противопоставление немецкого и латиницы выглядит странным. Разве не на латинице пишут немцы? Разве в немецком языке не те же самые буквы, за небольшим исключением, что и в английском, французском или латинском алфавитах?

³⁴ Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? – Доколе, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением. См., например, *Бабичев Н.Т., Боровской Я.М.* Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений. Русский Язык, Москва 1982.

³⁵ *Mann Thomas.* Briefe 1948-1955 und Nachlese. Hrsg. von Erika Mann. S.Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1965, S. 463-464.

³⁶ Там же, стр. 465.

³⁷ Там же.



Зюттерлин-шрифт (Sütterlinschrift)

Ответы на эти вопросы зависят от того, какой шрифт имеется в виду – печатный или рукописный, а также от того, о каком времени идет речь. Если говорить о печатных изданиях, то после постепенного вытеснения готических букв латинскими немецкие книги выглядят похоже на другие европейские издания. А вот рукописные шрифты вплоть до сороковых годов двадцатого века разительно отличались от того, как пишут буквы в Англии или во Франции. Сейчас старые немецкие рукописные шрифты не совсем правильно называют «шрифтами Зюттерлина» по имени берлинского графика Людвига Зюттерлина³⁸, предложившего в 1911 году свой вариант написания немецких букв. Но и до него немецких школьников учили писать в тетрадах и прописях буквы, очень далекие от того, чему учат детей в младших классах современной Германии. Томас Манн привык именно к старому немецкому шрифту, все его рукописи и письма, дневниковые записи и заметки в записных книжках написаны, как сейчас говорят, шрифтом Зюттерлина.

Австралийская цензура, естественно, такое написание понимала с трудом, поэтому пропускала только письма, написанные на привычной для нее латинице, ставя перед Томасом Манном почти невыполнимое «*conditio sine qua non*», как он написал Петеру в октябре 1916 года.

Через все три «военных» письма Манна Петеру Прингсхайму красной нитью проходит сострадание к человеку, на чью долю выпали тяжелые испытания. Специально вспоминая ласковое домашнее имя Петера, Томас признается: «*Дорогой Бабюшляйн, повторю тебе то, что уже сказал в прошлый раз: не проходит, я думаю, и дня, чтобы я сердечно не думал о тебе и о твоей судьбе. Оставайся в бодром настроении!*»³⁹. И чтобы подкрепить этот призыв неумиряющей надеждой, писатель обещает: «*Встреча будет столь же неповторимой, сколь немислимой была разлука*»⁴⁰.

Первое письмо 1915 года тоже кончается уверенностью: «*Как же ты будешь радоваться жизни, когда ты опять обретешь свободу и*

³⁸ Людвиг Зюттерлин (Ludwig Sütterlin 1865-1917) – немецкий график и педагог, автор рукописного шрифта Зюттерлина (1911), бывшего до 40-х годов XX века официальным письменным шрифтом Германии.

³⁹ Mann Thomas. Briefe 1948-1955 und Nachlese. (см. прим. 35), стр. 466.

⁴⁰ Там же.

ощутишь под ногами землю отечества! Я громко поклялся, что я тебя обниму, когда ты снова будешь здесь, и я эту клятву сдержу»⁴¹.

Что же привело далекого от политики физика Прингсхайма в концлагерь в далекой Австралии, и сдержал ли Томас Манн свою клятву? На эти и многие другие вопросы мы ответим в следующих частях этой работы.

(продолжение следует)



⁴¹ Там же, стр. 464.

Мирон Я. Амусья

Несостоявшийся прорыв

Воспоминания о заглохшей фазе атомного проекта СССР

*Не важно, сколь узки ворота,
Сколь моя кара тяжела,
Хозяин я своей судьбы,
Своей души я полководец.*
Уильям Хенли¹

*Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что
в подлости своей радуется унижению высокого, слабым могущего.
При открытии всякой мерзости она в восхищении.
Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы:
он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе.*

А.С. Пушкин



Все разнородных причины побудили меня написать на тему, мне одновременно крайне далёкую и исключительно близкую. Я имею в виду ядерный проект СССР, основной целью которого было в первую очередь создание атомной и водородной бомб.

Б.Л. Альтшулер² уже в ряде номеров Интернет-журнала Е. Берковича «Семь искусств» публикует главы из книги «Экстремальные состояния Льва Альтшулера». Как сказано, эта книга - огромный по объёму сборник под редакцией Б.Л. Альтшулера и В.Е. Фортова представляет обзор удивительных судеб нескольких поколений российских учёных, создавших советское ядерное оружие, восстановивших ядерное равновесие и тем самым предотвративших угрозу самой страшной атомной войны.

Читая воспоминания в сборнике, сами по себе чрезвычайно интересные, я всё время помимо воли возвращался к последним двум строкам предыдущего абзаца. Эти слова подталкивали меня к тому, чтобы в письменной форме высказать своё мнение об атомном проекте СССР. Это для меня тем более важно, что в самом начале 60х я чуть не стал

¹ *It matters not how strait the gate, How charged with punishments the scroll, I am the master of my fate: I am the captain of my soul.* William Ernest Henley.

² Б. Л. Альтшулер - известный правозащитник и физик, сын профессора физики Л. Альтшулера.

участником, пусть в итоге и увядшего, но нового витка этого проекта. Сейчас я не нашёл в литературе следов той давнишней попытки.

Непосредственным толчком или причиной написания заметки стала подготовка сборника воспоминаний об участии Ленинградского физико-технического института (ФТИ) Академии наук СССР в советском атомном проекте, приуроченного к девяностопятилетию этого института. Это участие значительно, и неплохо освещено в литературе. Оно проявилось, во-первых, в том, что руководителями проекта стали бывшие физтеховцы И.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона, А.П. Александрова, да и Я.Б. Зельдович имел физтеховские корни. Во-вторых, и в общей работе над проектом, ФТИ как институт принимал весьма активное участие³.

Разумеется, для меня крайне важно, что открытие атомной энергии сыграло в моей личной судьбе огромную роль, полностью определив выбор профессии. Именно взрывы атомных бомб в 1945 г. послужили исходным толчком к принятию решения «Буду физиком». Оно реализовалось, хотя движение в избранном направлении оказалось заметно более сложным, чем представлялось мне в 1945. Но препятствия и разочарования, в основном - собой, хотя и не только, не изменили главного – ощущения того, что выбор направления был тогда сделан правильно.

Нет нужды говорить, каким божественным ореолом были окружены в моих глазах люди, занятые атомным проектом – и в США, и в СССР. Постепенно, не столько из прочитанных материалов, сколько из

³ Не имею ответа на мучающий вопрос, почему к работе над ядерным проектом не был привлечён крупнейший теоретик СССР, известнейший специалист по ядерной физике Я. И. Френкель, сотрудник ФТИ. Он многократно, как сейчас хорошо известно, выражал желание работать над проектом, писал властям о том, что его международная известность и авторитет позволят ему узнать о работах иностранных физиков на эту тему. Однако все его усилия были тщетны. О причинах, помешавших его участию, остаётся только гадать. Сначала я думал, что дело в том, что семья Френкеля не прерывала отношений с теми из своих приятелей, чьи главы семей в одночасье становились «врагами народа». Но потом я узнал, что мать Ю.Б. Харитона жила в Палестине, а воспитывавший его в детстве отец в 1942 г. Умер в лагере. Погиб от рук властей и родной брат Б. П. Константинова – видного участника атомного проекта. Мы обсуждали эту проблему с покойным В. Я. Френкелем, моим хорошим знакомым и историком науки. Сошлись во мнении, что остракизм, которому в этом вопросе подвергся Френкель, как и его неизбрание действительным членом АН СССР стали возможны не без участия влиятельных и близких коллег, отрицавших интуитивистский, буквально моцартовский подход к физике у Френкеля. В частности, определённую роль могли сыграть далёкие от безоблачного обожания учеником своего учителя отношения между Ландау, бывшим когда-то аспирантом Френкеля, и самим Френкелем. Примечательно, что Ландау практически не признавал аспирантских экзаменов, принятых своим бывшим учителем.

слухов, появлялись полумистические имена Оппенгеймера, Харитона, Зельдовича, Курчатова. Надо сказать, что система тогдашних слухов работала в чём-то не хуже сегодняшнего интернета. Хотя, в отличие от последнего, слуху нельзя было задать вопрос, как Гуглу, но зато от него можно было получить удивительно точные и надёжные ответы, достоверность которых поражает меня до сих пор. Из этих слухов рисовался образ протееподобных героев, которым можно было лишь поклоняться и мечтать когда-то, в далёком будущем, подойти поближе.

Однако занятие ядерной физикой и работа в ФТИ сокращала большие расстояния, и воображаемые герои становились реальными людьми. Первым, которого увидел вблизи, стал Я.Б. Зельдович, несколько позднее – Ю.Б. Харитон. Не менее интересно, что, как оказалось, многие, кого регулярно встречал в физтеховских коридорах или среди частных гостей института, в атомном проекте СССР принимали непосредственное участие, и отнюдь не на последних ролях.

Не скажу, что непосредственное знакомство с прямыми участниками в них разочаровывало. Скорее, напротив. Но прямое знакомство позволяло хотя бы мысленно задать вопрос, почему среди советских участников даже в конце пятидесятых я не слышал отголосков дискуссии, пусть с самим собой, о том, для чего, кому и против кого создавалось столь грозное оружие. Это было тем более важным для меня, что в США подобная дискуссия, которую считал нужной и важной, вышла далеко за рамки узко академических кругов. Дискуссия звала к действиям, и, не видя боле перед своей страной грозного врага, многие руководящие фигуры атомного проекта в США от него отошли, сконцентрировавшись на проведении прерванных войной чисто научных исследований. Более того, люди, занявшиеся проектированием водородной бомбы, в частности, виднейший из них, Э.Теллер, подвергались остракизму многих своих коллег тогда, равно как память о них – подчас, и на сегодняшний день.

От атомного проекта отошли и многие видные советские участники, например Л.Д. Ландау, В.Л. Гинзбург⁴, да и ряд других, включая и Я.Б. Зельдовича. Однако сколько-нибудь открытой дискуссии о моральных аспектах создания мощного оружия, не только, кстати, атомного, в СССР не было никогда. Во всяком случае, не только в применении к атомной, но даже и водородной бомбе моральные аспекты проблемы «делать - не делать» не обсуждались, судя по опубликованным воспоминаниям, даже во внутренних дебатах самих с собой. Напротив, году в 60-м, если верить, например, В.М. Фалину, близкому сотруднику Хрущёва, «А.Д. Сахаров вообще предлагал не обслуживать вашингтонскую стратегию разорения Советского Союза гонкой

⁴ «Со-отец» советской водородной бомбы. Однако, наверное, именно В. Л. Гинзбурга уместно считать истинным отцом советской водородной бомбы, поскольку именно он предложил первую её работоспособную конструкцию. Сделанное до него было крупной атомной бомбой, мощь которой усиливалась присутствием веществ, способных к термоядерной реакции.

вооружений. Он выступал за размещение вдоль Атлантического и Тихоокеанского побережья США ядерных зарядов в 100 мегатонн каждый. И при агрессии против нас либо наших друзей, нажать кнопки». Это просто не стоит и комментировать.

Примечателен эпизод, имевший место после удачных испытаний водородной бомбы, 22 ноября 1955 г., о котором А.Д. Сахаров рассказывает в своих «Воспоминаниях»: «Наконец, все уселись. Коньяк разлит по бокалам. Неделин 5 кивнул в мою сторону, приглашая произнести тост. Я взял бокал, встал и сказал примерно следующее: “Я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия взрывались так же успешно, как сегодня, над полигонами и никогда - над городами”. За столом наступило молчание, как будто я произнёс нечто неприличное. Все замерли. Неделин усмехнулся и, тоже поднявшись с бокалом в руке, сказал: “Разрешите рассказать одну притчу. Старик перед иконой с лампадкой, в одной рубахе, молится: „Направь и укрепи, направь и укрепи“. А старуха лежит на печке и подаёт оттуда голос: „Ты, старый, молись только об укреплении, направь я и сама сумею!“ Давайте выпьем за укрепление». Казалось бы, точки ясно расставлены, но работа над всё более мощными образцами бомб продолжается ещё как минимум пять лет при активном участии Сахарова. Он ясно почувствовал обиду, но голос ответственности ещё молчит.

Проблема личной ответственности, способность в отстаивании своей точки зрения идти «против потока», не обязательно даже начальственного, для меня особо ярко проявилась в американском фильме «Двенадцать разгневанных мужчин», увиденном в самом конце пятидесятых на каком-то просмотре. Не думаю, однако, что мысли об исключительной важности личной ответственности, никогда не устраняемой «общим мнением», возникли у меня только под влиянием этого фильма, но то, что именно он придал им законченную формулировку на всю жизнь – не сомневаюсь.

Открытая дискуссия на подобную тему в применении к атомному проекту была бы в СССР придушена в зародыше. Однако огорчало, что или её вообще не было – явление понятное, пока шла Великая отечественная война, или и после войны наши физики не понимали, точнее, не хотели понять, что своей работой они укрепляют режим Сталина, а после его смерти – его, в сущности, последователей, а не обеспечивают «мир во всём мире». Я говорил на эту тему с рядом участников проекта, находившихся в его втором – третьем эшелонах, например, с академиком А.Б. Мигдалом, но убедительного ответа не слышал и явной озабоченности тем, что они дали оружие в руки вредоносной политической силе, я не ощутил. Обычно, доводы сводились к необходимости обеспечить ядерное равновесие противоборствующих сторон. Но ведь между системами равновесия в других смыслах, кроме военного, явно не было. Зачем же был нужен военный?! В людском сообществе, даже всепланетарном, особо хорошо должна быть вооружена

⁵ Маршал СССР, министр, курировавший атомные испытания.

полиция. На эту необходимую в мире роль США, на мой взгляд, годились, а СССР не то, что при Сталине, но и после него – определённо нет.

Советские учёные в то время вероятно действительно считали, что предотвратили угрозу самой страшной атомной войны, отказываясь признать то, что в конце пятидесятих, да и всегда позднее казалось мне очевидным – такой угрозы попросту не было. Сейчас очевидно, что наличие у СССР атомной бомбы резко замедлило развитие демократических тенденций в СССР, остановило нормальное развитие Восточной Европы на десятилетия. Этим я не хочу сказать, что демократические преобразования пришли бы с помощью западных «штыков». Просто, если СССР бы не боялись, его вхождению на равных в европейское и мировое сообщество лидеры Запада не препятствовали бы. А в итоге, те результаты технологического и политического развития, которые не достигнуты и до сих пор, уже давно и гораздо безболезненнее стали бы достоянием и СССР, и народов Восточной Европы. Я считал и считаю, что в предотвращении Третьей мировой войны, которая протекала бы по образу и подобию Второй мировой, только с ещё большими людскими жертвами, удалось избежать благодаря созданию атомного оружия. Но стремительное восстановление ядерного равновесия между «сверхдержавами» к этому отношения не имело. Оно, это равновесие, скорее, усилило имперские амбиции СССР и затянуло холодную войну, проигрыш в которой немало способствовал развалу СССР.

Отмечу, что проблема моральной ответственности научного работника за создаваемое им оружие не потеряла своей актуальности и сегодня. Я имею в виду тот факт, что атомными проектами и в Иране, и в Северной Корее руководят не тамошние политики, плохо управляемые эгоцентричные фанатики, а люди несомненно талантливые и высокообразованные. Они просто обязаны думать о том, кому дают в руки мощнейшее и опаснейшее оружие. Более того, считаю, что они должны отвечать за то, что без участия их голов сделать было бы невозможно. В этом смысле, они, несомненно, преступники, причём совершаемое ими преступление отягчается компетентностью и высокими интеллектуальными способностями.

Не верю, что дело тут в давлении режима или простого страха перед ним. Нет никакой возможности заставить человека заниматься делом, требующим творческих усилий, против его воли. Невозможно наказать за то, что человек чего-то не изобрёл и не открыл. Это я к тому, что у творческого человека есть всегда возможность уклониться от выполнения задачи, которую он считает аморальной. Единственная приносимая этим жертва – это отказ от сверхнормативных привилегий и наград. Но понимание того, что не стоит помогать бандитскому руководству в реализации его неприемлемых для порядочного человека планов может помочь легко преодолеть недооценку в деньгах, должностях и званиях со стороны властей.

Вернусь, однако, к самому началу шестидесятых. Ко мне как-то обратился В.Н. Грибов, уже тогда, несмотря на свою молодость, очень известный теоретик, как казалось, просто преемник Л.Д. Ландау. В

несколько завуалированной форме он сообщил, что в ФТИ начинаются работы по важнейшей оборонной тематике, и создаётся группа теоретиков, в первую очередь – молодых, которая будет этим заниматься. Довольно скоро стало ясно, что речь идёт о попытке реализации идеи академика Б.П. Константинова, тогда – директора ФТИ, создать невиданной силы бомбу, по мощности превосходящую водородную многократно⁶. Идея состояла в том, чтобы использовать аннигиляцию или исчезновение антивещества при его взаимодействии с веществом. При слиянии двух ядер дейтерия, так называемого тяжёлого водорода, – реакции, лежащей в основе водородной бомбы - образуется ядро гелия и выделяется энергия – примерно 6 МэВ на один протон или нейтрон, тогда как при аннигиляции протона и антипротона, равно как нейтрона и антинейтрона – почти 1000 МэВ, т.е. в 150 раз больше. Следовательно, антивеществовая бомба потенциально обладала бы мощностью, в 150 раз превосходящей водородную бомбу.

К моменту разговора у меня с женой уже родился сын. Продвижение по службе, выраженное в рублях, да и не только, было крайне желательным. Но я не видел противника у СССР, против которого имело бы смысл применять такую бомбу. Я был и остался настроенным проамерикански с далёкого 1942 блокадного года. В память врезались безвозвездный самолёт, призванный защищать блокадный Ленинград, вид и вкус сухих американских овощей, автомобили «Студебеккер» и «Виллис», вызывавшие мальчишеский восторг, которые увидел в эвакуации, первая тетрадь из нормальной, а не газетной бумаги – словом, всего не перечислишь. В результате, я не видел и не вижу врага в лице Соединённых Штатов, и от многообещающего предложения под каким-то благовидным предлогом отказался. Как выяснил позднее, и сам Грибов не увлёкся проектом.

Работы по расчёту ядерной реакции возглавил В.И. Перель. Вскоре выяснилось, что реакция взаимодействия вещества с антивеществом приводит к нагреву реагирующих компонент и в зоне взаимодействия резко растёт давление. В результате сталкивающиеся тела – вещество и антивещество – начинают отталкиваться и реакция аннигиляции прекращается. Таким образом, оказалось, что антивещество в веществе не взрывается, но просто очень интенсивно горит.

Одновременно выяснилось, что получить антивещество в разумно больших, достаточных для изготовления бомбы количествах, крайне сложно. Первоначальная надежда Б.П. Константинова была на то, что в космосе должно быть много антивещества. Эта надежда базировалась на представлении, будто почти сразу после так называемого Большого взрыва образовалось равное количество частиц и античастиц, т. е. Вселенная «родилась» барионно-симметричной. Поскольку наше непосредственное окружение в Космосе состоит из вещества, вселяло

⁶ Б.П. Константинов сыграл значительнейшую роль в проектировании и производстве советских водородных бомб. За эти работы он стал Героем Социалистического труда. Уверен, что об этой деятельности напишут, если уже не написали, его сотрудники.

надежду на то, что где-то, сравнительно недалеко по космическим масштабам, есть антимир. Отсюда следовало предположение, что антивещество, пусть в небольших, но макрообъёмах, должно находиться «за ближайшим поворотом», т.е. в непосредственной близости от Земли, аннигилируя с обычными атомами при входе уже в самые верхние слои атмосферы.

Были получены значительные средства от тогдашнего главы СССР Н.С. Хрущёва, миллиарды рублей по слухам, и работы начались. В ФТИ был создан астрофизический отдел под руководством проф. М.М. Бредова. Надо было обнаружить не отдельные античастицы, а макроскопические элементы антивещества, изолировать их в некотором объёме с помощью, например, магнитного поля, так, чтобы они не касались обычного вещества стенок ловушки, и затем доставить на Землю из космоса. Далее предполагалось антивещество накапливать и хранить до того момента, когда потребуется антивеществовая бомба. На первый взгляд, она бы взрывалась просто при выключении удерживающего антивещество в ловушке магнитного поля, после чего начался бы взрывной процесс аннигиляции. Но, как отмечал выше, теоретики показали, что при столкновении антивещества с веществом они не взрываются, а просто сгорают.

Существенно, что усилия экспериментаторов успехом также не увенчались, и в ближнем космосе антивещества в количестве, пригодном для воплощения исходной идеи в жизнь, не оказалось. Не удалось его обнаружить и в куда более далёких областях космического пространства. Общепринятой стала картина барионной асимметрии Вселенной, согласно которой Вселенная практически целиком состоит из вещества. Объяснением причин этой асимметрии занимаются и по сей день, но первые шаги в этом направлении были сделаны А.Д. Сахаровым в 1967 г. Приготовить же антивещество на ускорителях элементарных частиц в количествах, необходимых для изготовления бомбы, явно невозможно.

Однако заметное внимание по-прежнему уделяется теоретическим разработкам, связанным с полуфантазиями, вроде использования антивещества для дальних космических полётов в качестве ракетного топлива (см., например, [1]), или проблемам его длительного хранения [2], в сжатии дейтерия для образования из него гелия, т.е. осуществления управляемой термоядерной реакции или в более реальных проектах, например, в медицине для лечения раковых опухолей.

Интересно, что проблема взаимодействия макроскопических количеств антивещества с веществом имела продолжение, интересное, по крайней мере, для трёх человек, включая автора этой заметки (см. [3]). Анализ новых данных по взаимодействию продуктов аннигиляции вещества с антивеществом, в основном так называемых пи-мезонов, с веществом показал, что нагрев и повышение давления в зоне соприкосновения были ранее существенно переоценены. Оказалось, что продукты аннигиляции вещества с антивеществом довольно свободно проходят через них, не приводя к перегреву и резкому повышению давления [3]. В результате, вполне достижима такая исходная скорость столкновения макро-объёмов вещества и анти-вещества, при которой

происходит именно реакция взрыва, а не просто горение. Но теперь подобный результат представляет лишь чисто теоретический интерес.

Так получилось, и, возможно, не без моего участия, что я никогда к так называемой «закрытой» тематике не привлекался. Конечно, там были заметны большие, в первую очередь за счёт всевозможных премий, заработки. Но был несоразмерно больший контроль. А главное, растянувшаяся на десятилетия война арабов против Израиля, в которой СССР с года пятидесятого занял чёткую антиизраильскую позицию, снабжая бандитов, как образующих государства, так и вольношатающихся, просто потоками оружия, сделал вопрос «на что пойдёт твоя разработка», для меня, настроенного чётко произраильски, ещё более важным.

Свидетельства того, что мои предположения о возможном направлении применения военной силы СССР не беспочвенны, можно найти и в цитированных выше «Воспоминаниях» Сахарова при описании процедуры награждения осенью 1956 г., в Кремле: «Ордена, медали и значки лауреатов вручал на специальном заседании Георгадзе. В ожидании начала церемонии он разговаривал с нами о последних событиях - тогда как раз началось венгерское восстание и война 1956 года на Ближнем Востоке. Георгадзе сказал: “Ну, в Венгрии мы, конечно, вдарим. Надо бы и на Ближнем Востоке вдарить как следует, но далеко. А жаль!”».

Не имея никакой возможности контролировать применение дела своих мозгов и рук, коли оно было бы направлено на «оборону», следовало просто держаться от этой «обороны» на приличном расстоянии. Это мне удалось, притом, кроме первого шага, практически без сколь-нибудь значительных усилий.

О том, что предполагалось ловить антивещество в космосе своего рода магнитным сачком, я узнал много позже того момента, когда от работы над военным проектом отказался. Мне, с молодых лет консервативно настроенному, идея сразу показалась сомнительной, а получение денег, притом, очень больших, под неё, представлялось своего рода «напёрсточничеством». Я не был уверен, сознательно ли «надувал» Б.П. Константинов Хрущёва или сам был во власти диковатой идеи. Многие говорили в пользу «научного романтизма». Но меня беспокоила мысль, что плохо продуманный проект отбирает деньги у людей, населения страны, которое в них столь остро нуждается. Даже следование пусть и заманчивой, но необоснованной идее казалось мне неуместным расточительством.

Однако время шло, и моё мнение изменилось в пользу того, что реально было сделано. Астрофизический отдел ФТИ рос, начал выпускать классную научную продукцию и растить великолепных специалистов. К примеру, Е.П. Мазецом с сотрудниками были открыты космические всплески гамма-излучения, Д.А. Варшаловичем с группой учеников поставлены верхние границы на скорость изменения со временем величин, называемых фундаментальными постоянными – скорости света, заряда электрона, постоянной Планка. Не могу пропустить буквально потрясший меня результат А. Цыгана – на нейтронных звёздах, удалённых от нас на

космические расстояния, было предсказано наличие «горных хребтов», высотой в несколько миллиметров и оказалось возможным на Земле наблюдать «звёздотрясения» с амплитудой менее одной десятой миллиметра! Об этом я неизменно рассказывал школьникам, интересующимся физикой.

Список можно было бы продолжать, подкрепляя вывод – вне зависимости от того заблуждался ли Константинов искренне или немного (а, возможно, и много) лукавил, ошибочный проект привёл к замечательным успехам. Наверное, так и должно происходить всегда, когда способные люди получают возможность сосредоточиться, без административных помех, вне «зоркого» ока высокого начальства, на исследовательской работе. А интересное находится нередко вовсе не там, где его ищут.

В связи с атомным проектом СССР есть ещё одна, чрезвычайно важная для меня моральная проблема. Я уже упоминал, что на руководителей проекта смотрел первоначально, как на полубогов. Помню, как даже сам волновался, представляя свою жену Ю.Б. Харитону, с каким почтением слушал Я.Б. Зельдовича в тех не очень частых случаях, когда доводилось с ним говорить. Поэтому, когда впервые прочитал книгу генерал-лейтенанта Судоплатова, по существу – серийного убийцы, отнёс его воспоминания о том, каким мощным потоком шла разведывательная информация о работах в США над атомной бомбой в Советский Союз, в целом к обыкновенному вранью и саморекламе. Говорю «в целом», поскольку сам факт передачи важной информации об американских работах советским физикам мне уже был известен. Помню рассказ одного советского участника проекта о том, как к И. В. Курчатову приходил физик и принесил свои данные по вероятностям взаимодействия нейтрона с ядром. Курчатов смотрел внимательно на кривую, и нередко говорил что-то вроде: «Чувствую, что это не верно. Пойдите и перемерьте!». Через какое-то время «измеритель» находил у себя ошибку и удостаивался начальственной похвалы. «Сотрудники поразились интуиции и прозорливости Курчатова, а ведь у Игоря Васильевича в сейфе просто были американские данные!», - сказал мне знакомый.

Знаменитое дело супругов Розенберг, казнённых в 1953 г. за атомный шпионаж в пользу СССР, истории о Фуксе и других тоже были известны ещё с тех далёких времён. Выступал как-то на ядерной школе ФТИ и бывший советский агент в США, чуть ли не сам Абель. Таким образом, о факте передачи информации в СССР из США по широкому кругу военно-технологических проблем было хорошо известно. Но одно дело – факт передачи информации, а другое дело – утверждение, будто первая советская атомная бомба была один к одному «содрана» с американской. В это было трудно поверить, и во мне всё восставало против принятия достоверности этого утверждения Судоплатова. Ясность внёс сам Ю.Б. Харитон, незадолго перед смертью признавший факт «цельнотянутости» первой советской атомной бомбы.

Я понимаю, что сразу после войны, находясь под прессом связанных с победой и заплаченных за неё огромных жертв, страхась не выполнить приказ начальства, опасаясь оставить СССР безоружным

перед лицом США, можно было подsunуть руководству страны даже полностью идентичное изделие – лишь бы взрывалось, как надо. Я отчётливо понимаю, что даже при наличии подробнейшей документации, пересланной из США, изготовить реальное изделие на другом оборудовании, в совершенно иных технических, социальных и политических условиях – задача огромной сложности и ответственности, требующая недюжинной энергии и знаний от научных работников, участвовавших в проекте. Я понимаю, что пока Сталин был жив и позднее, пока его палаческий расстрельный дух витал над страной – творческие работники, превращённые волей диктатора в почти полных плагиаторов, вынуждены были молчать. Ну а потом, когда стало ясно, что уже просто так не расстреляют, не сошлют, даже не выгонят со всех работ – почему они, имею в виду умерших уже в относительно спокойное время лидеров проекта, молчали? Вот этому вопросу я не нахожу ответа. Почему сами не уточнили своей истинной роли, определённо не маленькой, и позволили себя столь глубоко унижить средней руки заплечных дел мастеру?

Это отнюдь не простая задача – сочетать интерес к работе, любопытство исследователя, естественную для человека тягу к хорошей и очень хорошей жизни с высоким чувством личной, ни с кем и никак не разделяемой ответственности за соответствие пусть не архивысоким, но разумным моральным стандартам.

Я пишу выше об одном, но очень важном, моральном аспекте деятельности учёного, иллюстрируя сказанное близкими мне примерами ядерной физики. Но, разумеется, обсуждаемая проблема много шире одной научной дисциплины. Они касаются людей – разработчиков и химического, и бактериологического оружия, а также конвенциональных видов вооружения. Сколь часто в применение к тому или иному деятелю сообщается об его решающем вкладе в создание оборонного щита СССР. А на поверку выясняется, что в итоге этот деятель создавал оружие, широко используемое бандформированиями по всему миру. Это, разумеется, к истинной обороне своей родины никакого отношения не имеет.

Литература:

- [1]. K. Bonson, How Antimatter Spacecraft Will Work 2010.
- [2]. М. Л. Шматов, Некоторые проблемы безопасности хранения твёрдого антиводорода, Письма в Журнал Технической физики, АН СССР, том 20, выпуск 9, стр. 36-41, 1994 г.
- [3]. Я. И. Азимов, М. Я. Амуся и М. Л. Шматов, Столкновение макроскопического объёма антивещества с веществом, Письма в Журнал Технической физики, АН СССР, том 17, выпуск 8, стр. 52-56, 1991 г. Иерусалим



Андрей Шидловский

Род Шидловских

Публикация Василия Демидовича

Предисловие



рочитав, во втором выпуске «Мехмятэне вспоминают», материал из дневника Владимира Васильевича Голубева, заведующий кафедрой «Теория чисел», член-корреспондент РАН Юрий Валентинович Нестеренко при встрече со мной сказал: «А ты знаешь, Андрей Борисович тоже написал «Записки-воспоминания» о своей жизни, предназначенные для семьи». Я заинтересовался: «А может быть можно отсюда что-нибудь опубликовать в моём следующем выпуске?» «Ну что ж, - услышал я в ответ - заезжай к нам, а там с Татьяной решим».

Воспользовавшись этим любезным приглашением, я приехал на Новокузнецкую в гостеприимный дом Юры и его жены Татьяны (младшей дочери Андрея Борисовича), которую знал ещё со своей комсомольской юности. Там мне был вручён переплетённый том (около 250 страниц) отпечатанного на машинке текста воспоминаний заведующего кафедрой «Теория чисел» механико-математического факультета МГУ в 1968-2002 годы, профессора Андрея Борисовича Шидловского (13.08.1915-23.03.2007). На титульной странице рукописное посвящение: «Дорогой Катюше от деда», подпись и дата - 9 июня 1998 года.

Ниже приводятся (согласованные с Татьяной Андреевной и Юрием Валентиновичем) некоторые фрагменты из «Записок-воспоминаний» Андрея Борисовича.

Василий Демидович

ФРАГМЕНТЫ ИЗ «ЗАПИСОК-ВОСПОМИНАНИЙ»

А.Б.ШИДЛОВСКОГО

РОД ШИДЛОВСКИХ

Я родился 13 августа (31 июля) 1915 года в городе Алатыре Симбирской губернии (ныне Чувашской республики). В некотором смысле место моего рождения случайно, а не связано с постоянным проживанием в нём моих родителей.

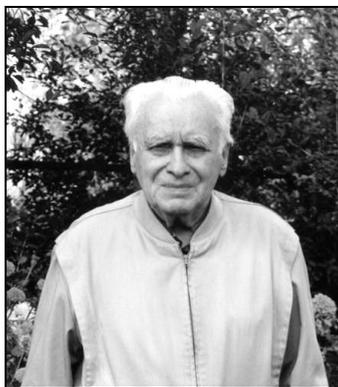
Мой отец, Борис Андреевич Шидловский, родился 15 (3) июля 1884 года в селе Репьевка Симбирской губернии. Он происходил из потомственных дворян Симбирской губернии - Репьевка была помещьем

его родителей. Скончался он 31 марта 1942 года в посёлке Ильинское Раменского района Московской области и похоронен на Быковском кладбище (город Жуковский).

Моя мать, Александра Всеволодовна Шидловская (урождённая Скороходова), родилась 25 (13) октября 1887 года в городе Симбирске. По происхождению из мещан.

Скончалась она 7 мая 1976 года в Москве, когда мы жили на Моховой улице. Похоронена она на Введенском (Немецком) кладбище.

Из имеющихся у меня документов (послужной список прадеда Дмитрия Николаевича Шидловского) следует, что род Шидловских, в том числе и моего отца, относится к древнему дворянству и записан в шестой дворянской книге. В древнем дворянстве он утверждён Правительственным Сенатом (указ от 6 апреля 1854 года за N 2232). Со слов моего отца и записок сестёр деда Александры Дмитриевны Львовой и Ольги Дмитриевны Богдановой (урождённых Шидловских), а также некоторых литературных источников, следует, что Шидловские происходили из города Шидловца в Польше. Герб Шидловских почти ничем не отличается от герба этого города.



Шидловские были магнатами на Украине. Они имели огромные поместья во многих её губерниях и в Воронежской губернии. Несмотря на семейные разделы и правительственную конфискацию земель, к XIX столетию дед моего деда имел ещё много поместий. В упомянутом выше послужном списке прадеда указаны сведения о владениях его отца: «Имения родового за родителем его в Бахмутском уезде 8 000 десятин, населённых 302 душами крестьян. В Херсонской губернии 200 десятин леса. В Харьковской губернии в Волковском уезде 7 500 десятин земли с поселением 650 душ крестьян. В Лебедянском уезде 2 700 десятин с поселением 300 душ.

В Волковском уезде 4 500 десятин. У жены его в Симбирской губернии 1 155 десятин. В Симбирском уезде 1 050 десятин с поселением 102 души».

Огромны были владения Шидловских на Украине в петровские времена. По рассказам отца, и по запискам Александры Дмитриевны

Львовой и Ольги Дмитриевны Богдановой, известен следующий факт. Когда царь Пётр I шёл с войском к Полтаве, то он останавливался в одном из поместий Шидловского. Царь и его свита были приняты с надлежащими почестями и остались довольны приёмом. Но Петру в то время были нужны деньги для ведения войны, и он попросил их у хозяина. А Шидловский отказал царю, сославшись на то, что у него нет больших денег. Царь был рассержен, заявил, что Шидловский «зело богат и зело жмуден», и приказал конфисковать у него часть поместий. Но всё же и после конфискации у него осталось много владений... Почти 150 лет Шидловские потом судились с правительством за возврат конфискованного, но так ничего и не добились.

Мой прадед Дмитрий Николаевич Шидловский в 1843 году окончил Харьковский университет со степенью кандидата философии. По его окончании начал служить по дипломатическому ведомству. Сначала в дипломатической канцелярии Главного управления Закавказского командирования. Затем служил в Азиатском департаменте иностранных дел. После в Москве в главном архиве того же министерства. Служил в канцелярии Симбирского губернатора. Ряд лет был уездным попечителем училищ некоторых уездов Министерства народного просвещения. В 1861 году был избран дворянством Сибирской губернии в члены Высочайшей комиссии по крестьянскому вопросу от Симбирской губернии. Принимал активное участие в работе по освобождению крестьян от крепостной зависимости.

Дмитрий Николаевич и Екатерина Андреевна (примеч. Д.: речь идёт о жене Дмитрия Николаевича, в девичестве Бестужевой) владели Репьевкой, в которой позднее родился мой отец. У них было восемь детей (примеч. Д.: пятым из которых был дед Андрея Борисовича - Андрей Дмитриевич).

Мой дед Андрей Дмитриевич Шидловский, по-видимому, получил какое-то военное образование, служил офицером и имел звание поручика. Он был повенчан с Верой Викторовной Панютиной, которая окончила институт в Санкт-Петербурге. Она скончалась в 1921 году и была похоронена моим отцом в бестужевском фамильном склепе в Репьевке, где был раньше захоронен Андрей Дмитриевич. О семье Веры Викторовны я почти ничего не знаю. Отец её, находясь за границей, женился на итальянке Катании (примеч. Д.: Катания (Catania) - основанный ещё в VIII веке до н.э. город в Сицилии, являющийся административным центром одноимённой провинции, и фамилия «Катани» в Италии весьма распространена), которую привёз в Россию и жил с ней в Петербурге. У Андрея Дмитриевича и Веры Викторовны также было восемь детей (примеч. Д.: старшим из которых был Борис Андреевич - отец Андрея Борисовича).

Мой отец Борис Андреевич Шидловский в 1903 году окончил Симбирскую гимназию, где обучался восемь лет. По её окончании он поступил в Санкт-Петербургский Политехнический Императора Петра Великого институт, в котором 29 сентября 1910 года окончил экономическое отделение со званием действительного студента. Об этом ему 29 октября 1910 года был выдан диплом за N 251. После окончания

института, побыв некоторое время дома, отец начал работать. С 11 марта 1911 г. он помощник неперемного члена Любимской уездной землеустроительной комиссии Ярославской губернии. С 13 сентября 1911 года откомандирован в помощь члену Мологской уездной землеустроительной комиссии. А 22 сентября 1912 года Высочайшим приказом назначен неперемным членом Алатырской уездной землеустроительной комиссии. Затем, 29 сентября 1915 года, отец был утверждён в чине губернского секретаря, а 5 апреля 1916 года - в чине коллежского секретаря.

Четырнадцатого апреля 1914 года отец женился на Александре Всеволодовне Скороходовой, моей матери. Свадьба была отпразднована в Репьевке. Вскоре после свадьбы родители уехали в Алатырь по месту службы отца, где прожили до лета 1917 года...

Теперь опишу семью моей матери.

Мой дед по матери Всеволод Петрович Скороходов происходил из крестьян Ардатовского уезда Симбирской губернии. Он был женат дважды. Первая жена рано умерла и он женился на Софье Григорьевне Земсковой, от которой имел двенадцать детей (примеч. Д.: в том числе мать Андрея Борисовича - Александру Всеволодовну Скороходову). Моя бабушка Софья Григорьевна Скороходова (урождённая Земскова) родилась в середине 1850 -ых годов и умерла в сентябре 1924 года. О её родителях мне ничего не известно...

Дед Всеволод Петрович свой трудовой путь начал рабочим. Работал с землемерами по землеустройству, таскал землемерную ленту и выполнял другие вспомогательные работы. Где-то он учился. А затем многие годы до пенсии служил чиновником в Симбирском уездном округе, где дослужился до коллежского советника. Он содержал семью с двенадцатью детьми. Все дети получили гимназическое образование, а мужчины из них - университетское... Моя мама Александра Всеволодовна, окончив гимназию, до замужества служила машинисткой в уездном округе. Материальную помощь для поддержки детей деду оказывало удельное ведомство, где он проработал всю свою жизнь. Дочерям давали пособия по окончании гимназии для экипировки и на приданое при вступлении в брак. Сыновьям - пособия для получения высшего образования. Много лет дед Всеволод Петрович со своей многочисленной семьёй прожил в Симбирске на Московской улице. Там, напротив пожарного сарая с каланчёй, располагались владения священника Анексагорова с большим двором и садом. На улицу выходили фасадами два дома. В меньшем доме во второй половине XIX столетия некоторое время жила семья Ульяновых - родителей В.И.Ленина. Потом они купили себе на Московской улице дом, расположенный ниже.

В начале века в дружной семье Скороходовых по вечерам в большом зале собиралась компания из подросших детей, мужей некоторых из них, подруг и друзей. По рассказам мамы и тёток время проходило весело. Играли в игры, музицировали, веселились. Эта компания даже регулярно выпускала большую газету «Семейные вечера», печатающуюся на гектографе (способ копирования бумаг,

распространённый в то время). Весёлые, иногда юмористические статьи, посвящённые участникам компании, были интересными...

Детство, юность и молодость моих родителей прошли в хороших условиях. Они жили в благополучных семьях. Первые три года совместной жизни у них прошли хорошо. Трудности начались лишь после революции и начала братоубийственной гражданской войны, развязанной большевиками... Разруха, трудности с работой и питанием, голодный год. Лишь с 1923 по 1928 год они жили скромно, но спокойно в Симбирске. После этого начался страшный период в их жизни. Отсутствие постоянного человеческого жилья до осени 1939 года и регулярной работы у отца превратили нашу жизнь в тяжелейшее испытание. Лишь только около двух лет до начала войны мы стали жить в своей небольшой отдельной квартире в Ильинском. Папа был обеспечен работой, и наше материальное положение стало сносным. Как был счастлив отец в это время. Но началась война и трудности первой военной зимы оборвали его жизнь.

В тяжелейших условиях мама одна прожила военные годы, получая за городом лишь символический продуктовый паёк. Нелегко было жить и в послевоенные годы со мной и тремя внуками - моими детьми. Лишь только в 1957 году, получив хорошую квартиру в Москве, мне удалось создать для мамы хорошую жизнь.

После возвращения нашей семьи в Симбирск жизнь становилась с каждым днём труднее. Надо было на что-то жить, и мои родители начали работать.

Восьмого ноября 1917 года Симбирским уездным земским собранием отец был избран мировым судьёй Симбирского судебного мирового округа, где проработал до января 1918 года, до ликвидации судебного округа. В феврале 1918 года отец стал членом артели труда, где стал обучаться сапожному ремеслу. Но с ноября 1918 года стал работать судьёй пятого участка Симбирского уезда. В ноябре 1919 года перешёл на работу в железнодорожный лесной комитет на станции Майдан Казанской железной дороги, где жил один до весны 1920 года.

Мама с августа 1917 года по март 1918 года снова стала работать машинисткой в удельном округе. По ликвидации последнего работала в Симгубуправлении до января 1920 года.

Чтобы как-то прожить родители принимали участие и в работе небольшой артели по изготовлению и продаже мороженого.

Со времени гражданской войны о 1918 и 1919 годах в моей памяти мало что сохранилось. Туманно вспоминаю лишь несколько эпизодов.

Помню как мама, держа меня на руках, угощала меня шоколадом. Помню как я гулял в «Колочем садике» со своей няней. Помню как мы с няней шли по Московской улице, а по дороге везли воз со стенками трапециевидной формы, в которых возят сено, и воз был полон трупов. Няня меня быстро увела в сторону. Это было осенью 1918 года, когда красные взяли Симбирск, а на возу были жертвы безумной братоубийственной войны.

В 1921-1922 годы в Поволжье был страшный голод. В Симбирске развернула работу американская организация АРА помощи голодающим (примеч. Д.: эта, формально негосударственная, организация в США (в обиходе называемая кратко «АРА» от её полного английского названия «American Relief Administration»), существовавшая с 1919 года до 30-х годов XX века, наиболее памятна своим участием в оказании помощи Советской России в ликвидации голода 1921-1923 годов). В обмен на государственные и церковные ценности она открыла столовые для детей, где выдавала продуктовые и вещевые посылки. Мне приходилось ходить в такую столовую на Покровской улице. Там нас кормили маисовой кашей, белым хлебом и какао. Получили мы и вещевую посылку для меня.

В мае 1920 года отец перешёл на работу заведующим государственными лесными разработками на станции Глотовка, недалеко от Симбирска. Туда мы поехали всей семьёй, и прожили там до марта 1921 года... Жили в Глотовке в доме лесника. Усадьба была одинокой. А в метрах четырёхстах от дома проходила линия железной дороги, за которой был лес. Отчётливо помню Рождество 1921 года в Глотовке. У нас была ёлка. Ещё сохранились дореволюционные ёлочные игрушки, и она была нарядной. Я был болен. У меня была ветрянка и температура. Папа меня держал на руках перед ёлкой.

В марте 1921 года отец перешёл на работу народным судьёй в большое село Анненково, расположенное недалеко от станции Чуфарово, на реке Барыш. Мы переехали туда на жительство. Нам была предоставлена крестьянская усадьба - дом и двор с надворными постройками.

Продав большие золотые часы отца и ещё кое-какие вещи, мы купили корову. Мама целый год за ней ходила. Кормила и доила. Молоко, масло, творог и сметана сильно поддержали нас в этот трудный голодный год. Зачастую мы подолгу не имели хлеба или муки, а что такое сахар часто забывали. Выручали куры, которых держала мама. Они регулярно несли яйца. Не имея никакого опыта в деревенской жизни, мама быстро освоилась с новым положением и со всем справлялась очень хорошо.

Помню, как иногда отец в мешке приносил большую кучу денег. Это была зарплата - много миллионов. Но на все эти деньги покупали на рынке лишь несколько фунтов мяса.

В марте 1922 года мы вернулись из Анненкова в Симбирск. Оттуда папа уехал на работу народным судьёй в Шиловку. Это недалеко от Симбирска, вниз по Волге. Летом мы с мамой поехали к отцу в Шиловку. Плыли на пароходе. Помню там большой кирпичный дом, в котором мы жили, и огромное количество яблок наваленных на полу одной из комнат. Там я купался в Волге и не очень удачно ловил рыбу на удочку.

Осенью 1922 года мы вернулись из Шиловки в город. И с ноября 1922 года по май 1923 года отец уже служил заведующим отделом налогового Управления городского финансового отдела. А в мае 1923 года отец был сокращён.

Тогда он решил стать членом коллегии защитников (адвокатом). Но для этого надо было купить патент. Он стоил три червонца (30 рублей). Денег у нас не было. Жить было не на что. Папа написал в Киев тётке Соне письмо с просьбой прислать денег. Она сразу откликнулась. Отец купил патент и оборудовал себе кабинет с письменным столом, который взяли из мебели покойной бабушки Веры Викторовны (примеч. Д.: то есть матери Бориса Андреевича). Повесил он и вывеску на входной двери с улицы.

Мой отец был начинающим адвокатом. Поэтому у него, особенно сначала, клиентуры было мало. В основном он вёл мелкие крестьянские дела и писал заявления в суд и жалобы. Поэтому доход у него был небольшой. Зарабатывал он примерно 120-180 рублей в месяц. Жизнь в то время была очень дешёвая, так что на питание, оплату квартиры, отопление и прочие мелкие расходы денег хватало. Но купить что-либо из одежды или вещей было уже трудно.

У отца был знакомый крестьянин Фёдор Ершов из села Криуши (на Волге, ниже Симбирска). У него было много детей, и он попросил отца взять в прислуги его 14-летнюю дочь Таню. Таня прожила у нас почти пять лет. Помогала маме по хозяйству, ходила на базар. Отношение к ней было как к члену семьи. Она многому научилась у мамы и наших родственников. Она была очень хорошая, трудолюбивая и доброжелательная девушка. Позднее, желая получить квалификацию, она перешла жить к портнихе Ермолаевой, где научилась ремеслу.

Мои родители были верующими до конца жизни. В Симбирске регулярно, но не очень часто, ходили в церковь... Брала и меня с собой.

Родители старались воспитать и из меня верующего человека. Я ходил некоторое время изучать Закон божий к священнику Успенскому, который жил рядом с нами. Но повзрослев, я стал не верующим.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

В 1923 году я поступил в первый класс железнодорожной школы на Московской улице города Симбирска, расположенной недалеко от дома, почти напротив усадьбы Анексагоровых. Там директором был Михаил Арсеньевич Забелин. В школу принимали, в основном, только детей железнодорожников. Но Михаил Арсеньевич был хорошим знакомым семьи Скороходовых, и меня туда приняли.

Школа была хорошая, но в памяти у меня о ней мало что осталось. Помню что там со мной учился Коля Бухарин, сын брата Николая Ивановича Бухарина.

В 1926 году меня, как не сына железнодорожника, всё же попросили покинуть эту школу. Тогда мама меня определила в четвёртый класс 23-ей начальной школы, где директором была Зинаида Николаевна Ведерникова, которая в своё время была у мамы классной дамой в гимназии.

В середине 1920-ых годов мама сделала попытку учить меня музыке, определив в частную музыкальную школу Пузырёвых. Проучился я там полгода и научился играть лёгкие пьесы. Помню, как на отчётном вечере в музыкальной школе я исполнял что-то. Но через

некоторое время в городе началась скарлатина. Музыкальную школу на время закрыли. Когда она открылась, меня туда больше не посылали. По-видимому, денежные трудности в семье не давали возможности платить за обучение.

В 1927 году я поступил в пятый класс 3 -ей средней школы Симбирска, которая в то время была школой 2-й ступени (5-9 классы).

При поступлении в эту школу был организован некоторый конкурс, основным критерием которого было социальное происхождение поступающего. Моего друга Бориса Сотина сразу приняли, как сына учителя, а меня, как сына лица свободной профессии, не приняли... Но директором школы был Серафим Иванович Державин, талантливый педагог и воспитатель, замечательный человек высокой интеллигентности и порядочности. Так вот, Серафим Иванович добился, чтобы пятый класс увеличили на одну группу (для первоначально не принятых), в которую зачислили учеников за плату. Плата была не очень высокая. И меня приняли. А Серафим Иванович разбросал последний приём по всем пятым классам, чтобы не собирать вместе всех детей, которым первоначально было отказано в приёме из-за их социального происхождения. Мы с Борисом оказались в одном классе.

Математике в этой школе нас обучал Борис Васильевич Боголюбов. Его уроки всегда проходили на высоком методическом уровне, и мы на них получали хорошие знания по предмету. На его уроках у меня впервые проявился интерес к математике, которая через много лет стала моей профессией...

Энтузиастом своего дела был и преподаватель химии Владимир Иванович Попов. Кабинет химии с аудиторией, помещавшейся в подвальном помещении школы, был очень хорошо оснащён. Все уроки широко иллюстрировались опытами и проходили очень интересно. Учебника химии не было, и уроки Владимира Андреевича по своей структуре были ближе к лекциям. Курс был чётко отработан. Учащиеся могли записать его основное содержание. Владимир Иванович был очень требователен, но справедлив. Его побаивались, но любили и уважали. На каждом уроке проходил опрос. Проводились контрольные работы. Химию нельзя было не знать. В моей памяти до сих пор с уроков Владимира Андреевича сохранились элементы основ неорганической химии. Так что через очень много лет я мог помогать, в некоторой степени, при обучении химии своим детям и внукам. После войны, к моему глубокому сожалению, я узнал, что в 1937-38 годы Владимир Андреевич Попов был незаконно репрессирован и расстрелян. Говорили (не знаю, насколько этому можно верить), что в обвинительном заключении ему приписывали то, что он стрелял в Чапаева, когда тот переплывал реку и погиб. Но это смешно. Владимир Андреевич действительно был в белой армии, но служил в ней ветеринарным фельдшером.

Хотя я проучился в этой школе всего три года и окончил только семилетку, я считаю, что получил в ней хорошее образование и развитие... Достойно сожаления, что через некоторое время после моего поступления в школу её директор Серафим Иванович Державин, по необъяснимым мотивам, был освобождён от занимаемой должности и остался только

преподавателем. И это человек, который создал образцовую школу в городе. По-видимому, отстранение от руководства школы явилось одной из основных причин, которые привели Серафима Ивановича к самоубийству. И хотя нас пытались убеждать не принимать участия в похоронах самоубийцы, школа почти в полном составе отдала ему свой последний долг.

Кроме внеклассной учебной работы, по вечерам в школе работало много кружков: симфонический оркестр, духовой оркестр, струнный оркестр, драматический кружок, оперный кружок, синяя блуза (некий агитколлектив на сцене). Широко была развита самодеятельность. Исполнительский уровень её участников, особенно музыкантов, был достаточно высок.

В школе часто проводились вечера, где выступали участники кружков и самодеятельности. На них приходили почти все преподаватели и многие учащиеся. Вечера проводились организованно и весело. Случаев хулиганства на вечерах я не помню.

Бальные танцы в то время были запрещены, даже вальс. А танцевать кем-то придуманный танец машин никто не хотел. Я играл в школьном духовом оркестре сначала на альте, а потом на трубе. Руководил оркестром известный в городе капельмейстер Фёдор Петрович Яковлев...

В школьные годы я был влюблён в соседку Шуру Ордянскую, учившуюся в параллельном со мной классе. Это была ослепительно красивая еврейская девочка в восточном стиле. Я дружил с её братом Исааком, который был на два года моложе меня. С ними я принимал участие в детских играх на соседнем дворе и ходил в кино. Иногда шли с Шурой вместе в школу (не сговариваясь заранее). После школьных вечеров всегда вместе с ней возвращались домой. Но в 1929 году Шура переехала в другой конец города, и мы виделись с ней только в школе. А вскоре я покинул город. После войны я услышал, что Шура давно живёт в Москве, но свидеться нам уже не пришлось.

В 1920 годах в школах пионерских отрядов не было, а были организованы отряды при учреждениях. Мои одноклассники-активистки уговорили меня вступить в пионеры. Я сам, ввиду своего социального происхождения, инициативы в этом вопросе не проявлял. Но стал состоять в отряде при Губсуде, который помещался на Покровской улице. И вскоре стал активным членом отряда.

В 1928 году Симбирск перестал быть губернским городом. Организовали Средне-Волжскую область с центром в Самаре. Многие старожилы стали разъезжаться по другим городам, так как в Симбирске мест для работы становилось всё меньше. Произошло сокращение и в коллегии защитников. Папе надо было искать работу.

Наше положение стало тяжёлым. Отец безработный, мама по болезни (астма) получала пенсию в 13 рублей. Сбережений не было. Одеты были плохо. Один из молодых судейских коллег предложил папе поехать на работу защитником в Шилово Рязанской области. И осенью 1928 года папа уехал туда. Мы остались с мамой вдвоём в своей квартире.

Лето 1929 года мы с мамой провели в Шилове. Папа снимал часть деревенского дома на окраине Шилова. Я проводил время на свежем воздухе. Часто купался, ловил рыбу сам и с рыбаками.

К началу учебного года мы вернулись в Симбирск. В это время в рязанской газете появилась заметка «Перелётные птицы». Она была написана недоброжелателями и конкурентами того человека, который помог устроиться папе на работу. В ней была указана и его фамилия. Пришлось бросить работу и уезжать.

У папы, ввиду его социального происхождения, с работой возникли трудности. Сначала ему помог его старый гимназический друг Копылов. Он занимал какой-то высокий пост. Но вскоре его репрессировали, и папа должен был сам искать себе работу. Он снял жильё в селе Сабурово, в крестьянском доме. Из Москвы туда ездили в пригородном поезде до платформы Москворечье Курской железной дороги.

В 1929 году проводились выборы в местные советы.. Некоторая часть населения по различным причинам была лишена избирательных прав. Таких людей называли «лишенцами». Ярлык лишенца доставлял много трудностей в жизни тому, кто его имел. Однажды я случайно обнаружил вывешенные списки лишенцев, в которых оказался и мой отец. Он подал в Симбирск жалобу. Оснований для лишения его избирательных прав не было. До революции он собственности никакой не имел. Имел только дворянское происхождение. Через некоторое время ему прислали бумагу, где сообщалось, что произошла ошибка, и его восстановили в избирательных правах.

Помню, как в том же 1929 году мы мальчишки ходили смотреть, как сшибают колокола в церквях...

В июне следующего года я закончил школу. Семилетку. Окончил я её с высшей наградой того времени - рекомендацией в техникум.

В то время прямого поезда из Симбирска на Москву не было. Ходил только один вагон. Сначала с местным поездом до станции Инза, а там его прицепляли к московскому поезду после долгой стоянки. Езда была медленная. Так что дорога до Москвы занимала почти двое суток. В один из июньских дней 1930 года в плацкартном вагоне (купейных тогда ещё не было) я и поехал в Москву.

Поезд подошёл к Казанскому вокзалу в Москве. Потом мы с мамой поехали на Курский вокзал и оттуда пригородным поездом в Сабурово. Для меня начался новый этап моей жизни.

Жили трудно. Мама устроилась на работу машинисткой в Царицыно, куда ездила одну остановку на поезде. Папа работал попеременно в разных местах в Москве. Стал он работать экономистом по специальности своего образования. После рязанской истории с публикацией в газете, папа боялся занимать юридические должности. Это, конечно, было ошибкой. Работа юриста была по нему, а экономистом он не имел опыта работы. При поступлении на работу в анкете надо было писать о своём социальном происхождении. Если напишешь «из дворян», то на работу не брали. Если скроешь и поступишь, то через некоторое

время приглашали для объяснения и предлагали писать заявление об уходе по собственному желанию. Так до 1938 года папа менял много мест работы, в каждом из которых работал недолго, и часто бывал безработным.

Через некоторое время после моего приезда ввели карточную систему. Жить стало ещё хуже, но всё же мы не голодали.

В 1930 году количество 8-ых и 9-ых классов в школах резко сокращалось. Для индустриализации стране нужны были рабочие. Возросло резко число школ ФЗУ (школ фабрично-заводского ученичества). Передо мной встала задача: что делать дальше? Я хотел попробовать поступить в Электротехнический техникум (у меня была рекомендация школы). Но меня не приняли по возрасту. Принимали только с 16 лет. Конечно, можно было поступить в Москве в 8-й класс школы и ездить туда поездом. Но, по-видимому, наше трудное материальное положение было причиной того, что я решил поступать в ФЗУ. Там, хоть и небольшая, была стипендия, а по окончании предоставлялась работа по специальности.

Но пока мы решали этот вопрос, приём заявлений в ФЗУ на осенний приём закончился. Мне посоветовали встать на учёт на биржу труда в Москве, что я и сделал.

Осенью, того же 1930 года, я нанялся к соседям, зажиточным крестьянам, на работу по уборке овощей. Работал с раннего утра до позднего вечера на хозяйских харчах, и получал три рубля в день. Проработал почти месяц.

К концу 1930 года мне прислали с биржи вызов для поступления в ФЗУ ГЭТ-а и МОГЭС-а по Большой Коммунистической улице, дом 17 (бывшая Большая Алексеевская). Это рядом с Таганской площадью. Потом школа несколько раз меняла своё название, и в конце концов называлась школой ФЗУ Мосэнерго.

С 11 февраля 1931 года я стал учиться в этой школе. В апреле вступил в комсомол. Тогда почти все были комсомольцами. Чувствуя ущербность своей социальной базы, хотелось быть таким же, как большинство окружавших меня юношей. Да и благодаря широкой агитации мы начинали верить в светлое будущее.

До летних каникул я осваивал начало слесарного мастерства, а с осени стал работать за токарным станком в цеху школы. Работали мы через день и через день занимались науками, включая даже немецкий язык. Так что за два года в школе ФЗУ я, всё же, повысил свой общеобразовательный уровень.

При теоретическом обучении в ФЗУ был введен модный тогда «Дальтон-план» и бригадное обучение. Был учебный план с рядом отдельных заданий, зачёты по которым сдавали всей бригадой. На зачёте на каждый вопрос должен был отвечать один из учащихся по желанию.

Осенью 1931 года было объявлено соревнование бригад по лучшему и быстрейшему выполнению учебного плана. Наша бригада заняла одно из первых мест, и мы были награждены туристическими путёвками для поездки в Ленинград. Туда мы ездили зимой в начале 1932 года.

В 1932 году мама перешла на работу в Москву в Гидроэлектропроект, а затем в Народный комиссариат путей сообщения в машинное бюро. Ей приходилось часто печатать материалы с рукописей Кагановича. Она жаловалась, что почерк у него был плохой и неразборчивый.

В конце января 1933 года моё обучение в ФЗУ закончилось. По окончании я получил 5-й разряд. Это была уже высокая квалификация. Токарное дело мне нравилось и хорошо давалось.

НАЧАЛО ТРУДОВОГО ПУТИ

По окончании ФЗУ меня, не считаясь с моим желанием, оставили работать освобождённым заместителем председателя завкома, теперь уже «Завода-школы ФЗУ Мосэнерго». Это было очень хлопотное дело. А мне хотелось работать токарем и готовиться к поступлению в ВУЗ.

Отмечу, что в то время мы организовали столовую во дворе завода-школы. Для этого надо было отселить и переселить жильцов из стоящего во дворе двухэтажного дома. На 2-ом этаже тогда там жил Н.А. Булганин, ставший председателем Моссовета. Мне приходилось ходить к нему на квартиру и просить скорей освободить помещение, что он вскоре и сделал.

Вскоре мне, всё-таки, удалось освободиться от профсоюзной работы и начать работать токарем в цеху, где я солидно закрепил свою рабочую квалификацию.

Летом 1933 года, в воскресенье, я с коллективом школы ФЗУ поехал на массовку (так тогда называли загородные прогулки) в Горки. Обрато я решил возвращаться с грузовой автомашиной, привозившей буфет. При подъезде к плотине между Царицынским и Борисовским прудами шофёр не справился с управлением и сбросил всех сидящих в кузове с высокого обрыва в сторону Борисовского пруда, а затем и машину. Я сидел около заднего борта и поэтому пролетел больше многих, сидящих впереди, и попал в грязь и воду на мелководье пруда. Во время полёта я почувствовал, что со мной происходит что-то страшное. За несколько секунд в моём сознании промелькнули некоторые этапы моей жизни, родители, родные, друзья. Мне казалось, что это конец. Но я приземлился нормально, без каких-либо болевых ощущений. Через некоторое время я пришёл в сознание и стал подниматься из воды. Те же, кто сидел ближе к кабине, упали на камни и бетонные блоки платины, и пострадали серьёзно. Два человека погибли.

Некоторые были тяжело ранены. Вместе с подошедшими прохожими я помог перенести раненых. Каких-либо последствий этого приключения у меня не осталось.

В апреле 1934 года по комсомольской мобилизации меня направили на строительство первой очереди метрополитена. Я стал работать проходчиком на 30-ой шахте, которая располагалась на Манежной площади и в Александровском саду.

На Манежной площади был последний участок, который строили закрытым способом. Там я и работал. В Александровском саду

работали открытым способом. До этого на Манежной площади снесли все дома, стоящие между Моховой улицей и Александровским садом.

Работая на Манежной площади, я не думал тогда, что через 5 лет начну учиться в расположенном рядом университете, а через 23 года буду жить в самом центре Москвы в здании университета с семьёй и тремя детьми..

Строительство первой очереди метрополитена подходило к концу. Поэтому в феврале 1935 года меня откомандировали с Метростроя по месту моей основной работы. Я вернулся работать токарем на Завод-школу ФЗУ Мосэнерго.

Осенью 1935 года я поступил на курсы подготовки в ВУЗ, где за год готовили к поступлению. Но меня неожиданно выбрали секретарём комсомольской организации. Должность была освобождённая, и мне надо было бросать работу. Это сильно расстроило мои планы с учёбой. Я отказался бросить работу и совмещал с ней комсомольскую деятельность. Но учёбу на курсах пришлось прекратить из-за недостатка времени.

Наш завком купил набор инструментов для духового оркестра. Наняли капельмейстера Ивана Антоновича Борисенко. Я стал играть в оркестре на трубе. Навыки у меня сохранились со школьных лет.

В то время для поступления в ВУЗ был необходим трудовой стаж и успешная сдача вступительных экзаменов. Диплом об окончании школы не требовался. А в 1936 году вышел новый закон по которому в ВУЗ-ы стали принимать только с дипломом о среднем образовании. Это был для меня удар. Диплома у меня не было, и для его получения необходимо было много времени и труда.

Осенью 1935 года нам помогли снять комнату в Ильинском. Комната наша была очень маленькой. В ней с трудом помещались наши кровати, столик и шкафчик. Стены не доходили до потолка сантиметров на двадцать пять. Вёдра с водой и керосинки стояли у входной двери в дом. Вход к нам был с террасы. Мама продолжала работать в НКПС, папа, по-прежнему, часто менял места работы, и я работал. Мы как то сводили концы с концами.

Весной 1936 года возникла проблема о том, что мне делать дальше. Надо было добывать диплом о среднем образовании. На это нужно было время. А в 1937 году меня должны были призвать в армию. Поступление в ВУЗ отложилось бы на долгое время.

Обстоятельства сложились так, что я решил пойти в армию досрочно добровольцем. Наш заводской капельмейстер Иван Антонович рекомендовал меня и некоторых моих товарищей своему хорошему знакомому военному капельмейстеру Ивану Ивановичу Камневу, который и организовал нам в июне 1936 года досрочный призыв в авиационную часть в Момино под Москвой, где он руководил оркестром. Мы стали военными музыкантами.

Иван Иванович собрал небольшой, но хороший оркестр. Днём мы репетировали, принимали участие в некоторых военных мероприятиях, разводах, парадах. А по вечерам часто, особенно по субботам и воскресеньям, играли в клубе гарнизона, на торжественных собраниях, в антрактах на мероприятиях в клубе, на танцах.

В 1937 году в гарнизоне начались аресты офицерского состава. К осени не осталось старших офицеров. Остался лишь один пожилой майор - его не взяли, по-видимому, потому, что он был выпивоха. В ноябре 1937 года я демобилизовался, прослужив всего 17 месяцев.

Я вернулся на Завод-школу ФЗУ Мосэнерго. Но уже не стал работать в цеху токарем, а руководил там за плату духовым оркестром. Вместе с некоторыми сослуживцами по армии мы сколотили приличный оркестр, и некоторое время хорошо зарабатывали, играя в различных учреждениях за плату.

Я поступил, также, на курсы подготовки в ВУЗ с регулярными занятиями, и весной 1938 года сдал экзамены за 8-ой и 9-ый классы. А осенью поступил учиться в 10-ый класс школы рабочей молодёжи.

Наше материальное положение улучшилось. Я получал в двух местах зарплату и подрабатывал с оркестром. Папа снова стал работать по юридической части. и имел несколько мелких совместительств. Мама также ещё работала.

В 1936 году отменили карточную систему, и в Москве можно было купить из продуктов всё, вплоть до деликатесов (в провинции с питанием дело обстояло хуже). Но плохо было с одеждой, даже в Москве. За отрезом на костюм надо было выстаивать ночные очереди.

Ещё летом 1938 года я поехал на месяц в Симбирск, отдохнуть и посмотреть родные места. Город, за прошедшие восемь лет после моего отъезда, изменился мало. Только было грустно, что уничтожили все храмы, так украшавшие город. Тяжёлое впечатление произвело на меня то, что в 1936/37 годы было репрессировано много жителей города, особенно интеллигенции. Много было уничтожено жителей и на нашей Московской улице.

В Симбирске я сблизился со студенческой компанией. От одного студента, обучающегося на механико-математическом факультете МГУ, я кое-что услышал об этом факультете. Вот тогда у меня и зародилась мысль о поступлении на Мехмат МГУ.

Зимой 1939 года я решил в основном заниматься учёбой и бросил работать в школе ФЗУ с марта месяца.

В июне 1939 года я окончил школу рабочей молодёжи и получил диплом о среднем образовании, в котором все оценки были отличными. Как был счастлив папа! Его всегда угнетало то, что я не закончил средней школы и не получил высшего образования.

ПОСТУПЛЕНИЕ НА МЕХМАТ МГУ

В довоенное время по окончании школы медалей ещё не давали, но у круглых отличников диплом был с золотой каймой. С таким дипломом в ВУЗ принимали без экзаменов, после собеседования. Я был отличник, Но на моём дипломе золотой каймы не было - в школах рабочей молодёжи таких дипломов не выдавали. Однако я думал, что меня, всё же, как отличника должны принять в ВУЗ без экзаменов.

Итак, в 1939 году я решил поступать на Мехмат МГУ. Конкурс был очень большой, даже среди отличников. Сдавать экзамены, вместе с только что окончившими дневные школы, было не легко.

При подаче документов я убедил (и сам думал так) секретаря приёмной комиссии Надежду Ивановну (примеч. Д.: Ирина Александровна Тюлина пояснила, что здесь имеется ввиду Надежда Ивановна Батурина, годы жизни которой, к сожалению, ей не известны) завести на меня дело как на отличника, считая, что положение о приёме отличников без экзаменов распространяется и на окончивших школу рабочей молодёжи. Она это сделала для меня, а затем и для ещё нескольких абитуриентов.

В начале июля я пришёл на собеседование к исполняющему обязанности декана Мехмата МГУ Григорию Ивановичу Двухшерстову. На него произвела впечатление моя трудовая деятельность. Он задал мне несколько нетрудных вопросов по математике, на которые я бойко ответил, а на один из них угадал ответ. Когда я выходил из кабинета, то Григорий Иванович похлопал меня по плечу и сказал, что я буду зачислен. Но он не знал, какой у меня диплом. После собеседования я отдыхал в Ильинском и ждал приказа о зачислении.

Вступительные экзамены начинались 1 августа, а 28 июля должен был выйти приказ о зачислении отличников. Когда я утром пришёл на факультет, то приказа ещё не было. Я зашёл к Надежде Ивановне спросить о том, как у меня обстоят дела. Она стала меня ругать, говоря, что я очень подвёл её, введя в заблуждение. Правило о зачислении отличников не распространялось на таких как я. Она сказала, что всем таким отказано в зачислении, и им надо через три дня сдавать вступительные экзамены.

Я вышел и стал думать, что мне делать дальше. Я считал, что сдавать мне экзамены на Мехмат безнадежно: последний месяц я совсем не готовился, а конкурс огромный. Поэтому решил сразу взять документы обратно и подать их в какой-либо технический ВУЗ. С такой просьбой я обратился к Надежде Ивановне. Она долго искала мои документы, но не могла найти соответствующей папки. Затем повторила поиск, и снова безрезультатно. Тогда она сказала мне, чтобы я зашёл к ней часа через два, когда она будет свободна.

Я вышел на площадку перед деканатом в угнетённом состоянии и заметил, что на доске вывешивают приказ о зачислении отличников. Я подошёл и стал его рассматривать. В конце приказа я обнаружил свою фамилию. После этого я побежал к Надежде Ивановне. Она достала книгу протоколов приёмной комиссии о зачислении и против моей фамилии прочла: «Сделать исключение и зачислить». Папку с моими документами Надежда Ивановна не смогла найти потому, что она лежала в другом шкафу для дел уже зачисленных. Я поблагодарил её и радостный поехал домой.

Я понял, что своим зачислением обязан Григорию Ивановичу Двухшерстову. Я это помнил всегда до его смерти и относился к нему с большим уважением. Впоследствии у нас с ним были очень тёплые отношения. А с 1957 года мы стали соседями.

НАЧАЛО УЧЁБЫ НА МЕХМАТЕ МГУ

С 1 сентября 1939 года я стал заниматься в университете. Первая лекция была по физике в большой физической аудитории в здании Физфака, стоящего во дворе старого здания МГУ.

Но вскоре произошло событие, решившее мою дальнейшую судьбу. В начале сентября я получил повестку из военкомата с распоряжением явиться 8 сентября в Раменский военкомат с вещами для прохождения военного сбора. В то время студентов в армию не брали. Я поехал в университет и взял справку о том, что являюсь студентом. Приехав 8-го в военкомат, я стал в очередь к одному из столов для регистрации. Подойдя к столу, я объяснил сидевшему там военному моё положение и сказал, что меня не должны брать на сборы. Он на меня накричал и велел регистрироваться для отправки. Тогда я решил пойти к старшему начальнику, которому объяснил моё положение. Он велел мне подождать и сказал, что разберётся со мной к концу регистрации.

Я сел на лавку в удручённом состоянии. Ведь мои родители остаются жить в летнем помещении (примеч. Д.: имеется в виду предоставленное Поссоветом временное летнее жильё с обещанием переселить семью осенью в более подходящее жильё). Кто им без меня даст зимнее жильё? Что они будут делать?

По окончании регистрации я снова подошёл к начальнику. Он меня выслушал. Накричал на меня, что я поздно подошёл и что мне надо было регистрироваться, а теперь уже поздно. Списки составлены, и призывники уходят на станцию. Меня уже некуда зачислять. Ещё раз выругавшись, он велел мне возвращаться домой.

В то время я ещё не знал, что готовятся «освободительные походы» в Западную Украину и Западную Белоруссию, а также война с Финляндией. Если бы я знал об этом, то, наверное, не пытался бы освободиться от призыва. Попав в армию, мне, видимо, пришлось бы там долго служить. Если бы не убили, то до конца Отечественной войны. Как бы сложилась моя судьба?..

Я начал аккуратно ходить на занятия в университет и в меру успешно заниматься.

На 1 и 2 курсах нам читали лекции: по математическому анализу - Виктор Владимирович Немыцкий, по аналитической геометрии - Сергей Сергеевич Бюшгенс, по алгебре - Александр Антипович Кулаков, по дифференциальной геометрии - Сергей Павлович Фиников, по начертательной геометрии - Сергей Владимирович Бахвалов, причём он же вёл практические занятия по тому же предмету и по аналитической геометрии. Обыкновенные дифференциальные уравнения читал Вячеслав Васильевич Степанов, теоретическую механику - Андрей Петрович Минаков. Блестяще вёл практические занятия по математическому анализу Борис Павлович Демидович.

Я подружился со студентом нашей группы Сергеем Ивановичем Трушиным, с которым особенно сблизился после войны.

Стал я дружить с Галей Петровой. Она не была красивой, но очень чистой, доброй и приятной девушкой. Мы иногда вместе

занимались, гуляли, ходили в кино. Мне она нравилась. Тёплое чувство ко мне у неё сохранилось до сих пор.

Со студенческих пор дружеские отношения у меня сохранились со студентками нашей группы Ирой Тюлиной, работающей и сейчас на Мехмате МГУ, Раей Надеевой, которая теперь тяжело больна, Катей Рябовой, бывшей комсоргом в нашей группе, уже давно умершей. Иногда наша группа устраивала вечеринки. Как сейчас помню, как у Мери Липской мы сидели с Галей в коридоре и целовались (примеч. Д.: с помощью Ирины Александровны Тюлиной мне удалось выяснить, что здесь Андрей Борисович вспоминает их сокурсниц Галину Петрову и Мери Липскую, чьи отчества и годы жизни она, к сожалению, запомнила).

Тридцатого ноября 1939 года началась финская война. Лёва (примеч. Д.: Лев Николаевич Скороходов (1913-1978), двоюродный брат Андрея Борисовича «по материнской линии») пошёл добровольцем в лыжный батальон. В 1940 году Бориса Скороходова (примеч. Д.: то есть Бориса Дмитриевича Скороходова (1923-1974), другого двоюродного брата Андрея Борисовича, опять же, «по материнской линии») посадили на Лубянке за болтовню. Через некоторое время и мне пришлось посидеть там четверо суток в одиночке. Наше совместное с Лёвой вмешательство позволило разобраться в этом деле и Бориса вскоре освободили. Хорошо, что в это время был такой период, что старались меньше сажать, а то бы нам не выйти оттуда за его болтовню.

На 2-м курсе я плохо посещал занятия по физкультуре, и поэтому весной не получил зачёта. Пришлось в июне ходить на стадион и сдавать зачёт. Наконец, 21 июня 1941 года я получил злополучный зачёт и собирался сдавать экзамены (без сдачи зачётов к экзаменам не допускали). Но 22 июня началась война.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Двадцать второго июня 1941 годы мы с оркестром хоронили кого-то на Быковском кладбище. Вернувшись оттуда, увидели очередь в магазине за крупами, что означало начало войны. Мы с некоторыми музыкантами собирались поехать в военкомат и пойти добровольцами в армию. Настроение у основной массы жителей тогда было патриотическое. Но, вернувшись 25 июня поздно домой, я увидел повестку о том, что 26 июня я должен явиться в военкомат с вещами.

Утром, тяжело распрощавшись с папой и мамой, я поехал в Раменское, не разрешив им провожать меня... Когда я стал регистрироваться, то мне сказали, что военкомат меня не вызывал, а моя повестка выписана кем-то в милиции в Жуковском. Мне велели возвращаться домой и ждать настоящего призыва. Я подозревал, что повестку организовал один из сотрудников милиции, чтобы меня скорее не было в Ильинке, так как ему очень нравилась Зина Кузнецова (примеч. Д.: Андрей Борисович тоже ухаживал за этой девушкой - школьницей десятого класса).

Тяжёлые проводы с родителями мне не хотелось повторять, и расстраивать их ещё раз. В одной команде оказались призванные из

Ильинки знакомые. Я пошёл к самому районному военному комиссару и добился, чтобы меня включили в эту же команду. Мне пришлось их догонять по пути на станцию. Так что я, в некотором роде, пошёл в армию добровольцем.

Нас привезли в Ногинск (Богородск) Московской области и распределили по частям. Я попал в 45-й топографический отряд. Отряд состоял из 6 отделений. Отделение из нескольких команд, в каждой из которых были топографы-офицеры, сержанты, рядовые, лошади и повозки. Нас разместили в доме, в комнатах которого на полу была солома, чем-то покрытая, постригли, выдали обмундирование.

Начальником моего отделения был офицер запаса Соловьёв, интеллигентный, разумный, добрый, порядочный и приятный человек. Он узнал, что я студент университета, и стал относиться ко мне очень хорошо. Представил меня к присвоению звания сержанта, которое я скоро получил. И отпустил меня на сутки домой, где я побыл с родителями.

Наш отряд получил от Генерального штаба важное задание. В то время на крупномасштабной топографической карте центральной России было много «окон», то есть таких квадратов, съёмка которых не проводилась. Отряд должен был «закрыть часть этих окон», то есть произвести соответствующую топографическую съёмку с помощью авиации. Много лет спустя в одном из журналов я прочитал статью, где упоминалось об этой работе и указывалось, какую большую пользу она принесла в дальнейшем в ходе войны, так как в местах бывших окон потом проходили бои.

Во второй половине июля штаб отряда перебрался на окраину Курска, а отделения разъехались по местам своей работы. Много мне пришлось летом и осенью 1941 года пройти по дорогам Курской, Воронежской, Волгоградской (тогда Сталинградской) и Саратовской областей, выполняя данное нам важное задание. Описать это нет возможности. Отмечу только один ярко запомнившийся факт.

В начале октября штаб нашего отделения стоял на станции Елань-Колено Воронежской области. Пришло распоряжение весь сержантский состав, кроме одного человека, отправить по своим военкоматам для направления на дальнейшую службу. Я должен был ехать в Раменское. Мы собрались, получили соответствующие бумаги, сухой паёк и отправились на станцию... Вдруг через некоторое время к нам на станцию прибежал посыльный с распоряжением мне вернуться обратно. Оказалось, что приехал Соловьёв и распорядился меня оставить в отряде младшим топографом. А в то время шли тяжёлые бои под Москвой. Шестнадцатого октября в Москве даже началась паника. И какова была бы моя судьба, если бы моя отправка состоялась?..

В начале декабря началось контрнаступление наших войск под Москвой. В январе 1942 года наши войска освободили Елец. Вскоре мы погрузились в вагоны и поехали в Елец в распоряжение штаба Брянского фронта. Там меня перевели в другое отделение, коллектив которого был очень хорошим, но начальником которого был очень мерзкий человек, младший лейтенант Холодов, из офицеров запаса. Совместно с авиацией

отряд занимался засечкой целей противника с нанесением их на карты для поражения их артиллерией и бомбардировочной авиацией.

Мама прислала письмо, в котором написала, что папа очень плох. Зима была страшно холодной, и он сильно простудился. А хлеб и продукты ему надо было получать в Люберцах. И он, больной, ездил туда, часто долго дожидаясь электричек, которые ходили плохо. Получил воспаление лёгких. Ему становилось всё хуже и хуже. Питание было плохое. Последнюю курицу он доел перед смертью.

Командир отряда подполковник Платонов был очень хороший, интеллигентный и добрый человек. Я узнал, что он с грузовой автомашиной должен ехать в Москву в командировку. Объяснив своё положение, я попросил его взять меня с собой. Он уезжал утром и согласился меня взять. Велел утром прибыть в штаб отряда, доложив начальнику отделения. Холодов обозлился, когда я сказал ему об этом. За то, что я обратился без его разрешения к вышестоящему начальнику, он арестовал меня на сутки. В Москву я тогда не поехал. А вскоре, 31 марта, папа умер.

В конце апреля была ещё командировка Платонова в Москву. Он вспомнил обо мне и распорядился взять меня. Так я попал в Москву, но после смерти папы. У меня было скоплено некоторое количество продуктов: консервы, брикеты концентратов, немного сахара, крупы. Я ещё купил много пшеницы и ржи, и всё это взял с собой для мамы.

Из Москвы я поехал в Ильинку. Помню, как я шёл домой от станции. У меня было какое-то удивительно трепетное состояние в ожидании встречи с мамой. Трудно описать обоюдную радость нашей встречи... Мы долго не могли наговориться. На другой день ходили на могилу папы. Пробыл я тогда дома несколько дней.

Тяжело нам было расставаться при моём отъезде. Но в январе 1943 года мне снова удалось побывать в Москве в командировке, и я снова кое-чего привёз маме.

Двадцать восьмого июня 1942 года произошло событие, оставшееся у меня в памяти на всю жизнь. Мы были в Ельце. В этот день немцы на нашем фронте начали большое наступление к Воронежу. С утра бомбили Елец и окрестные сёла.

В саду на Пушкинской улице, в небольшом рве, у нас стояли две машины. В одной из них работал я с напарником. Шофер в кабине обедал. Недалеко была школа, в которой был развёрнут госпиталь. Мы услышали шум приближающихся самолётов, разрывы бомб у госпиталя, но успели выскочить из машины в ров через заднюю дверь. Раздался взрыв. Я был в семи метрах от бомбы весом в 100 килограмм. Но бомба попала в бруствер рва, и все осколки прошли над нами. Мы были во рву за машиной. Меня только сильно засыпало землёй. В голове зашумело. Были убиты оба наши шофера и пробиты осколками машины. Я пошёл доложить начальству, которое находилось во время бомбёжки в подвале. Месяца два сильно шумело у меня в голове, но постепенно прошло.

Много позднее, в начале 1960 годов, я обнаружил у себя потерю слуха, особенно в левом ухе. Начал лечиться. Надо было регулярно

ходить на процедуры. Но времени на это не хватало. Поэтому к старости я стал совсем плохо слышать, и уже давно пользуюсь слуховым аппаратом.

В декабре 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, из патриотических соображений я вступил в кандидаты партии. В феврале 1943 года я пошёл к комиссару отряда и попросил отправить меня в часть на передовую. Он обещал через несколько дней дать ответ. Вызвав, он вручил мне направление для обучения на курсы политсостава при политуправлении Брянского фронта. Он сказал, что став офицером, я принесу больше пользы, и ещё успею повоевать.

Я собрался и поехал в город Раненбург (ныне город Чаплыгин). Занимались много. Кормили нас плохо, так как продовольствие возили с фронтовых баз, а это было очень далеко от нас, и дорогой много терялось. К концу обучения, в мае 1943 года, на тактических занятиях мы с трудом ползали. Но мне присвоили звание лейтенанта. И всех нас направили в резерв Брянского фронта под Тулой, на Косую гору.

Вскоре меня вызвали в штаб для назначения политруком батареи в фронтовой артиллерийский полк. Велели утром явиться за направлением, с вещами. Но утром моё назначение неожиданно отменили. А через несколько дней нас всех выстроили и зачитали приказ главнокомандующего о ликвидации должностей политруков в ротах, батареях и некоторых других подразделениях. Всех политруков было приказано переподготовить на строевых офицеров.

Нас послали в Сталиногорск (ныне Новомосковск), куда съезжались с фронта все политруки для назначения на переподготовку. В тихий небольшой городок наехало огромное количество офицеров. На улицах стало оживлённо и шумно. Многие местные дамы заметно повеселели.

Я получил назначение на учёбу во 2-е Киевское училище самоходной артиллерии, которое эвакуировалось из Киева в Разбойщину, в 15 километров от Саратова. Занимались много. За 6 месяцев прошли курс училища военного времени.

По окончании училища меня вызвали к начальству. Сообщили, что меня оставляют в училище командиром учебного взвода. Я стал отказываться. Но мне ответили, что это приказ.

Осенью 1943 года освободили Киев. Было решено весной возвратить училище в Киев, в его старое расположение. Мы погрузились в эшелоны.

Училище располагалось в хороших зданиях на окраине города, в Печёрске. Мы вчетвером с коллегами поселились на частной квартире. Хозяйка, тётя Киля, нам готовила питание из наших продуктовых пайков. Жили дружно. Много работали. Иногда ездили в город. По вечерам ходили в клуб училища смотреть кино-картины и на танцы. Летом ходили купаться на Днепр. В июле 1944 года меня приняли из кандидатов в члены партии.

В 1945 году стало чувствоваться приближение конца войны. Настроение у всех улучшалось. А с первых дней мая каждый день ждали вестей о капитуляции немецких войск.

Восьмого мая, с вечера, я был дежурным по училищу. Генерал-начальника в училище в этот день не было. Он ждал радостного сообщения, но, всё же, поехал домой, приказав мне следить за радиосообщениями. А в случае новостей сразу же звонить ему.

Ночью объявили о подписании акта о капитуляции. Я немедленно позвонил генералу. Он приказал поднять всё училище, подготовить пару пушек для холостой стрельбы и много ракетниц.

Я побежал по казармам. Поднимал курсантов и поздравлял их с победой. Меня они качали. Приехал генерал. Всех выстроили, поздравили и провели небольшой салют.

В Киеве вечером состоялся большой салют. Мы приняли в нём участие: стояли с пушками и ракетницами в парке над Днепром.

В ОЖИДАНИИ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ

Отметив победу, я стал задумываться, что делать дальше. Хотелось продолжить учёбу в университете. Но надежд на скорую демобилизацию не было. Меня пригласили в спецотдел и предложили пойти на учёбу для дальнейшей службы в соответствующих органах. Я резко отказался, заявив, что я хочу быть математиком и учиться в университете.

Я решил уйти из училища, надеясь пораньше демобилизоваться из резерва. Я добился этого, и меня отправили в Челябинск. По пути мне разрешили побыть некоторое время дома. Мама была очень рада моему приезду, но сказала мне, что она просто не в силах оставаться одной.

В это время случайно к Гусевым (примеч. Д.: Константин Гусев жил по соседству с Андреем Борисовичем в Ильинском и был его другом) на пару дней приехала Любовь Григорьевна Пантелеева. Мы вместе пошли к Жене (примеч. Д.: то есть к сестре жены Кости Гусева - Веры). Там я начал ухаживать за Любой. А на другой день подумал, что я её давно знаю (примеч. Д.: Андрей Борисович познакомился с семьёй Пантелеевых ещё в 1939 году), у них большая семья, где семь человек детей. Они не избалованы и должны были быть приучены к хозяйственным делам. Жениться было пора, да и мама настаивала. И я поехал к родителям Любы свататься.

Был у меня почти новый гражданский пиджак, и я его продал. Таисия Михайловна Гусева (примеч. Д.: мать Кости Гусева) дала ведро картошки со своего огорода. Кое-что собрали у нас и у Пантелеевых. И мы организовали свадьбу в день моего рождения 13 августа. Были кое-кто из родных и Гусевы. Всё прошло хорошо. А через несколько дней я уехал в Челябинск.

Летом 1945 года я крестил в церкви в Удельной сына Кости и Веры - Валерия. Был я в военной форме, что произвело большое впечатление на многих молящихся.

Десятого сентября 1945 года я прибыл в Челябинск, в запасную 7-ю танковую бригаду. Надежды на скорую демобилизацию не было. Я стал в резерве ждать назначения. Но назначений тоже не было.

Времени свободного было много. Днём в читальне танкового завода я читал книги, а вечерами, допоздна, с коллегами играл в

преферанс. Поскольку я с детства играл в преферанс, а большинство коллег только учились играть, то я ежедневно выигрывал приличную сумму денег.

В октябре я встретил знакомого офицера, работавшего в штабе. Я поделился с ним, что мне скучно сидеть без дела. Через несколько дней с его помощью мне предложили сформировать батарею СУ-152, которая, по предположению, должна была быть направлена на границу с Турцией: ходили слухи, что мы хотим вернуть оккупированные в 1915 году армянские земли. Я согласился.

Батарею сформировали, провели учебные занятия и учебные стрельбы, погрузили её в эшелон на станции Челябинск. Поименовали её 492-ой маршевой батареей. А 15 декабря, гуляя около вагонов в ожидании, когда прицепят паровоз, я увидел, что его прицепили с другой стороны, чем я ожидал. И вскоре мы поехали на восток: проблеме с Турцией был дан отбой, а нас направили в Китай.

До Владивостока ехали больше 20 дней. И доползли до него лишь 7 января 1946 года. Долгую и скучную жизнь прожили мы во Владивостоке, но питались там хорошо. Наконец, 10 марта мы погрузились с машинами на палубу теплохода «Дальстрой», а сами разместились в трюме. Двенадцатого марта отплыли. Сначала в Находку, где теплоход догружали, а 20-го марта - из Находки в Корею.

Через некоторое время мы пришвартовались в корейском порту Вонсан для разгрузки аэродромного оборудования. Разгрузка продолжалась несколько дней.

Сойдя на берег, я пошёл на базар. Там обнаружил, что яблоки, груши и апельсины очень дешёвы. Сходив в банк и обменяв наши деньги на корейские, я нанял рикшу с тачкой и загрузил её фруктами. Привезя их на теплоход, я хорошо угостил всю свою команду.

Двадцать девятого марта мы отплыли из Вонсана в китайский порт Дайрен (русские называли его Дальний). Прибыли туда в первых числах апреля. Там нас встретили и быстро разгрузили.

Мы прибыли в 257-й тяжёлый танково-самоходный полк. В нём была устаревшая техника 30-ых годов. С нами же прибыли самые современные тяжёлые танки и самоходные установки. Поэтому первое время приходилось много заниматься с личным составом по их освоению.

Помпотехом там был украинец из Донецка. Ярый антисталинист, он меня существенно просветил по этой части. У нас в семье до войны был репрессирован только Павел Шак (примеч. Д.: Павел Антонович Шак - двоюродный брат Андрея Борисовича «по материнской линии» - инженер-конструктор дирижаблестроительного института в Долгопрудном, сотрудники которого в 1937 году были массово репрессированы, после чего сам институт был закрыт), и потому мы плохо представляли истинную картину происходящего в 1936-1938 годы, во многом веря газетам и пропаганде. Мы оба очень хотели демобилизоваться скорее - он был тоже недоучившийся студент.

Нас поместили вдвоём в очень хороший коттедж. С нами жил ординарец, который наводил порядок в доме и готовил еду.

Командир полка полковник Аксёнов, очень приятный, разумный и доброжелательный человек, относился к нам хорошо. Он собирался поступать в военную академию, а через некоторое время должна была приехать комиссия по приёму вступительных экзаменов на местах. Он попросил меня заняться с ним математикой, а помпотеха немецким языком, которым тот владел отлично. Мы согласились и попросили его в награду посодействовать нашей демобилизации. Он сказал, что если бы остался в полку, то нас бы не отпустил, как квалифицированных специалистов, но поскольку, наверное, уедет на учёбу, то обещал выполнить нашу просьбу. Это он через некоторое время и сделал, включив нас в список подлежащих демобилизации, отправленный в Приморский военный округ.

Свободного времени было много. Мы часто ходили купаться на море и загорать. Ходили по магазинам. Провели целый день в Порт-Артуре. Я организовал оркестр из струнных инструментов, баяна и трубы, на которой играл сам.

В Китае я получал денежное содержание китайскими деньгами. Зная наши российские трудности с одеждой, я решил на все получаемые деньги покупать различные отрезки шёлка, кимоно и другие вещи. Я понимал, что, учась, мне надо будет на что-то жить с семьёй. Для этого я смогу продавать привезенные вещи. Это решение спасло нас, когда я учился в университете и аспирантуре - иначе я был бы вынужден много работать, и времени на учёбу не было бы.

Население Дайрена в то время составляло около миллиона человек. Половина из них были японцы, которых потом переселили в Японию. Я быстро научился примитивно объясняться по-японски в магазинах, так что вскоре свободно мог покупать вещи без посторонней помощи. Умел даже торговаться. А научиться объясняться по-китайски, хоть немного, мне не удалось.

В июне 1946 года пришёл долгожданный приказ о нашей демобилизации. Но положение с отъездом осложнилось из-за внутренней китайской войны. Железная дорога через Маньчжурию была перекрыта, и добираться в Россию нам можно было только морем. А корабли в Дайрен давно не приходили.

Наконец мы узнали, что в порту пришвартовались несколько российских военных фрегатов, полученных во время войны из США по лендлизу. Мы побежали в порт. Там я разговорился о наших делах с одним матросом, оказавшимся земляком из Раменского. Он посоветовал обратиться к их капитану с просьбой захватить нас четверых во Владивосток, куда должны были плыть фрегаты.

Нас допустили в каюту к капитану. Он был во хмелю. Но доброжелателен. Выслушав нас, он вызвал старшину и приказал утром, в шесть часов, посадить нас на корабль.

Мы собрали вещи, наняли подводку и заранее приехали в порт. Старшина нас посадил куда-то в трюме и не велел высовываться до выхода в открытое море. Капитана мы днём отблагодарили, вручив ему несколько бутылей спирта, купленных нами накануне в бывшем универмаге русского купца Чурина.

Днём мы вылезли на палубу из трюма и наблюдали за манёврами фрегатов. Вдруг с адмиральского корабля флажками поступил сигнал-вопрос: «Откуда пехота на борту?» Нас снова на время упрятали в трюм. Так в первой половине июля началось наше возвращение домой.

Доплыли мы быстро и без приключений. Капитан высадил нас с помощью шлюпки в городе, недалеко от порта. Тем самым мы избежали от пограничного и таможенного контроля, и необходимости «поделиться» вещами с таможенниками. Разместились у знакомых, у которых жили до отъезда в Китай.

Во Владивостоке на рынке я встретил боцмана теплохода «Дальстрой», который отвёз нас в Дайрен. Он рассказал мне о страшной трагедии. Оказывается, после возвращения из нашей поездки «Дальстрой», в Находке загружали «зэки» огромную партию аммонала для доставки на север. Неожиданно произошёл страшный взрыв, нанёсший большой урон порту. И вся команда погибла, кроме него, бывшего в это время во Владивостоке.

Все усилия закомпостировать билеты на скорый поезд «Владивосток-Москва» были безрезультативными. До Москвы пришлось долго ехать с пересадками. Как была рада мама моему возвращению домой после пятилетнего отсутствия.

ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЁБЫ НА МЕХМАТЕ МГУ

Отметив возвращение домой, я поехал восстанавливаться в университет. Оказалось, что моё личное дело, вместе с делами многих других студентов, пропало. Одна моя сокурсница потом сказала мне, что в октябре 1941 года, во время паники в Москве, моё дело, вместе со многими другими, валялось на полу в деканате. Она видела его, но взять для сохранения не решилась в такое бурное время.

К счастью, дома сохранилась моя зачётная книжка, и меня восстановили в университет. Поскольку у меня, из-за отсутствия зачёта по физкультуре, не были сданы экзамены весенней сессии за 2-й курс, и я многое позабыл, то я решил продолжать учиться со 2-го курса. И, конечно, сделал это правильно.

Лекции в 1946 году нам читали: Александр Яковлевич Хинчин - математический анализ, Андрей Николаевич Колмогоров - анализ III, Израиль Моисеевич Гельфанд - линейную алгебру, Пётр Константинович Рашевский - дифференциальную геометрию, Александр Осипович Гельфонд - теорию чисел, Виктор Владимирович Немыцкий - обыкновенные дифференциальные уравнения, Алексей Иванович Маркушевич - теорию функций комплексного переменного, Александр Иванович Некрасов - теоретическую механику, Иван Георгиевич Петровский - уравнения в частных производных. Александр Яковлевич Хинчин читал нам, также, теорию вероятностей.

Начали мы жить сносно. Средства были от продажи вещей на рынках и в комиссионных магазинах. Я стал много заниматься, и обе сессии сдал, в основном, на отлично.

Восьмого июня 1947 года у нас родилась Оля... Крестили Олю в Удельной. А двадцать пятого апреля 1949 года родилась у нас Нина, которую крестили, также, в Удельной.

Китайские ресурсы постепенно истощались, и средств на жизнь стало не хватать. В сентябре 1948 года я стал преподавать в 128 -ой школе рабочей молодёжи, расположенной около станции метро «Парк культуры». Преподавал математику, физику и даже астрономию. Давал и частные уроки. Трудное было время.

На курсе я особенно подружился с Михаилом Николаевичем Зайцевым и Эмилиано Апарисио - испанцем, который был привезен в Россию одиннадцати лет в 1937 году и воспитывался в детском доме.

На 4-м курсе, в 1948 году, я, Миша и Эмилиано стали ходить на семинар по теории чисел Александра Осиповича Гельфонда. На 5-м курсе, осенью 1949 года, мы все трое получили от него темы дипломных работ. Михаил и Эмилиано были существенно меньше меня загружены, и быстро проявили себя перед руководителем, работая над дипломной работой. Зимой, при плановом выдвижении, Александр Осипович рекомендовал их двоих в аспирантуру.

У меня же было мало свободного времени для работы над дипломом. Тогда, бросив преподавание в школе, я усиленно занялся выполнением дипломной работы. И только весной 1950 года я получил необходимый результат - содержание этой моей работы было опубликовано в 1951 году в журнале «Вестник МГУ».

А с нами на курсе учился Ваня Линкин, инвалид войны (без руки), очень хороший человек и товарищ (примеч. Д.: ни отчества, ни годы жизни его мне уточнить не удалось). Он был членом партбюро факультета. Там возник вопрос о подготовке аспирантов по истории математики и механики. По его представлению я был дополнительно включён в список рекомендованных в аспирантуру, так как отметки у меня были, в основном, отличные.

Однако мне не хотелось заниматься историей математики. Я думал отказаться от рекомендации, и поехал домой к Гельфонду, чтобы посоветоваться с ним. Александр Осипович мне сразу сказал, чтобы я сдавал экзамены в аспирантуру, а затем он возьмёт меня к себе специализироваться по теории чисел. Так потом и получилось.

В июне 1950 года мы окончили университет. Я успешно сдал вступительные экзамены в аспирантуру. На этих экзаменах у меня с одним из членов экзаменационной комиссии произошёл любопытный разговор. Он меня спросил, где я учился, какую школу закончил, кто был её директором, кто были мои учителя. Он меня поправлял, если я ошибался, или забыл что-то. Я был поражён осведомлённостью его о нашей школе. Это был Сергей Фёдорович Лидяев, заместитель заведующего Отделением математики Мехмата. В 1920-ых годах он был инспектором Отдела народного образования в Симбирске, и знал все школы города и их учителей. С тех пор он ко мне хорошо относился, и у нас сложились дружественные отношения, продолжавшиеся до его смерти в 1963 году. Он был туберкулёзником и поэтому рано умер.

Двадцатого января 1951 года родилась Таня.

После поступления в аспирантуру наше материальное положение стало ещё труднее. Китайские ресурсы полностью исчерпались. Нужно было думать о зарботке. Алексей Георгиевич Постников, учившийся со мной до войны в одной группе, после окончания аспирантуры стал работать в Химико-технологическом институте мясной и молочной промышленности. Он меня рекомендовал для работы в этом институте, и я там стал преподавать, с 1950 года, на полставки. Сначала я был ассистентом и вёл практические занятия. Затем начал читать лекции двум потокам студентов по 280 человек, и стал старшим преподавателем. Много приходилось принимать экзаменов и давать консультаций. Но зарплата была низкая, и я продолжал давать ещё частные уроки. Потом я помог устроиться на работу в этом институте Сергею Ивановичу Трушину.

Заведующим кафедрой высшей математики в институте был Александр Александрович Стражевский. Он окончил университет. Не был учёным, но хорошим педагогом. Александр Александрович был интеллигентным, добрым, отзывчивым человеком. Мы с ним были в очень хороших отношениях. Замечу, что двоюродным братом Александра Александровича был Вышинский. Но они не общались.

Александр Осипович Гельфонд предложил мне для темы кандидатской диссертации обобщить на «р-адическую» область недавно опубликованную им работу по теории трансцендентных чисел. Но я заметил, что подобные обобщения его работ, после их опубликования, появлялись обычно на западе. Поэтому я побоялся заниматься этой тематикой, так как, получив нужный результат, можно было ожидать его появления в печати от других авторов. А это означало бы, что надо будет начинать новую работу.

В 1949 году вышла книга Карла Зигеля «Трансцендентные числа», содержащая обобщение его статьи, опубликованной в 1929 году. В 1951 году Александр Осипович на семинаре рассказал основную теорему Зигеля. Меня это направление заинтересовало, и я решил им заниматься. Перевёл для себя книгу Зигеля. Направление было трудное. С 1929 года никто не обобщил результаты Зигеля. Тут конкурентов ожидать было маловероятно.

К осени 1952 года я уже хорошо ориентировался в материале, связанном с этой темой. И в декабре доказал общую теорему, обобщающую теорему Зигеля об алгебраической независимости значений «E-функций». Дал рукопись на просмотр Гельфонду, сделал доклад на семинаре, а сам начал устанавливать ряд приложений своей теоремы к конкретным функциям. После зимних каникул я понял, что Александр Осипович мою рукопись не читал.

Весной 1953 года у меня был готов подробный текст для кандидатской диссертации, напечатанный мною самим на старой пишущей машинке «Континенталь». Александр Осипович велел отправить его на отзыв к Науму Ильичу Фельдману в Уфу. Наум Ильич прочитал работу и прислал положительный отзыв о ней. Летом Гельфонд жил на даче в Ильинском, рядом со мной. Я пошёл к нему с вопросом о том, что надо делать дальше. Он не очень хотел торопиться с защитой.

Сказал, что пусть работа «отлежится». Но я сказал ему, что мне, при моём тяжёлом семейном положении, терять время нельзя. Тогда он велел отпечатать саму диссертацию и подать её для защиты.

К началу сентября 1953 года диссертация была напечатана. Но времени у меня для вставки формул, которых было очень много и они были громоздкими, не хватало - ведь я уже работал в двух местах с большой нагрузкой. Однако мне хотелось подать диссертацию в срок до 1 октября. Михаил Николаевич Зайцев и Сергей Иванович Трушин помогли мне вставить формулы, и работа была подана в срок.

Двадцать второго января 1954 года состоялась защита моей кандидатской диссертации уже в новом здании МГУ. Оппонентами были член-корреспондент АН СССР Александр Яковлевич Хинчин и Наум Ильич Фельдман. Александр Яковлевич дал очень тёплый отзыв о работе. Чувствовалось, что он осмыслил её содержание и понимает её значение для теории трансцендентных чисел. Отзыв Наума Ильича был также обстоятельным. Краткое содержание моей кандидатской диссертации было опубликовано в ДАН СССР уже в 1954 году, а полное - в Учёных записках МГУ, выход тома которых задержался до 1959 года.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ещё весной 1953 года, в связи с окончанием аспирантуры, предстояло распределение на работу, которое было обязательным. Я очень волновался. Ведь трудно было бы, с такой семьёй и без средств, куда-то поехать в другой город по распределению. А Александра Осиповича, хотя он ко мне хорошо относился, эта проблема не интересовала. Он не пытался оставить меня на факультете, хотя это было возможно по его рекомендации, так как на кафедре математического анализа нужны были преподаватели.

Как раз в это время в университете распределялось много квартир в новых домах для преподавателей, и была возможность зацепиться за московское жильё.

Неожиданно меня распределили наилучшим образом. Один из членов комиссии по распределению имел просьбу ректора Московского государственного педагогического института имени В.И.Ленина подобрать кандидатуру для работы на кафедре математического анализа, которой заведовал Пётр Сергеевич Новиков. Этот представитель предложил мне упомянутое место, и я с радостью согласился. Меня направили к ректору (примеч. Д.: точнее к «директору») пединститута Дмитрию Алексеевичу Поликарпову. Ранее при Сталине он был заведующим отделом ЦК КПСС, потом был в опале в должности ректора пединститута, а через некоторое время после смерти Сталина вновь стал заведующим ЦК КПСС.

(Примеч. Д.: Дмитрий Алексеевич Поликарпов 1905-1965) - личность примечательная.

В 1948 году он заочно окончил Московский областной педагогический институт и Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), в 1950 году - ещё и Академию общественных наук при ЦК ВКП(б). Имел степень кандидата исторических наук.

На комсомольской работе Дмитрий Алексеевич с 1923 года, член партии РКП(б) - с 1924 года, кандидат в члены ЦК КПСС в 1961-1965 годы. Послужной список его таков: заведующий отделом и заместитель начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (1939-1944), председатель Всесоюзного радиокомитета (1941-1945), секретарь правления Союза писателей СССР (1944-1946), заместитель директора, а затем директор Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина (1946-1954), секретарь МГК КПСС (1954-1955), заведующий отделом культуры ЦК КПСС (1955-1962), заместитель заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС (1962-1965), наконец, вновь заведующий Отделом культуры ЦК КПСС (с мая 1965 года до своей кончины в ноябре 1965 года). Печальную известность он получил как организатор «разгромных встреч» Н.С.Хрущёва с художниками-новаторами и писателями-нонконформистами, а также публичной травли лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака.)

Поликарпов принял меня очень тепло. Спросил про сенатора Шидловского.

(Примеч. Д.: Здесь речь идёт о сенаторе Николае Владимировиче Шидловском (1843-1907), упомянутом Андреем Борисовичем при перечислении «представителей рода Шидловских» без указания «об их степени родства» с ним.

Н.В.Шидловский получил всероссийскую известность как председатель комиссии, созданной указом Николаем II от 29 января 1905 года в связи с событиями 9 января 1905 года, «для выяснения причин недовольства рабочих и изыскания мер к устранению таковых в будущем». Комиссия, после требований участвующих в ней представителей «рабочего сословия» политических свобод, указом Николая II от 20 февраля 1905 года была распущена).

Поняв моё происхождение, он сказал, что если Пётр Сергеевич возьмёт меня, то я могу оформляться. Но только надо начинать работать с 1 сентября. А мне хотелось раньше закончить оформление диссертации и подать её для защиты.

Я съездил домой к Петру Сергеевичу, и, после краткой беседы, он одобрил мою кандидатуру. Так с 1 сентября 1953 года я начал работать в МГПИ, но ещё год не бросал работу в мясомолочном институте. Дмитрий Алексеевич оформил меня старшим преподавателем, что давало прибавку к зарплате, особенно после защиты диссертации и утверждения в учёной степени.

В МГПИ меня сильно загрузили лекциями и практическими занятиями. Сначала я читал лекции на дефектологическом факультете, а потом курс анализа на математическом факультете.

Меня поразили один факт. Как-то зимой на факультет пришёл Дмитрий Алексеевич Поликарпов. Встретив меня в коридоре, он поздоровался со мной по имени отчеству. Расспросил о работе. Он знал всех основных преподавателей факультета.

В июне 1954 года защитил диссертацию Эмилиано Апарисио. Одним из его оппонентов, как и у меня, был Александр Яковлевич Хинчин. Он спросил Апарисио обо мне и сказал, что хотел бы пригласить

меня работать к нему, на кафедру математического анализа Мехмата МГУ. Он просил передать мне об этом, и чтобы я написал ему. Я написал Александру Яковлевичу, что был бы рад работать у него на кафедре. В ответ получил приглашение приехать к нему в Абрамцево, где у него была академическая дача. Там же дачу имел и ректор Иван Георгиевич Петровский.

Приехав к Александру Яковлевичу на дачу, я дал согласие перейти на работу в университет, надеясь, что меня отпустят из педагогического института. Я рассказал ему о своих трудных жилищных условиях. Тогда Александр Яковлевич пошёл к Ивану Георгиевичу. Вернувшись, он сообщил мне, что Петровский обещал обеспечить меня жильём, хотя на первых порах это будет, может быть, одна комната. Но, со временем, мои жилищные условия будут улучшены. Александр Яковлевич добавил, что летом будет объявлен на Мехмате МГУ конкурс. Я же должен следить за его объявлением и подать документы на должность доцента.

А надо сказать, что после защиты диссертации я, хотя и был очень загружен педагогической работой, продолжал заниматься математикой. Весной 1954 года мне удалось обобщить метод Зигеля и доказать общую теорему об алгебраической независимости значений «E-функций» в алгебраических точках, условия которой были необходимыми и достаточными. И в конце беседы с Александром Яковлевичем я рассказал ему о доказанной теореме. Он очень ею заинтересовался, так как в этой трудной проблеме сформулированные условия были необходимыми и достаточными. Он сказал, что эта теорема - основа моей докторской диссертации. Так оно и получилось. Жаль только, что Александр Яковлевич не смог быть оппонентом на защите этой диссертации.

В университете меня оформили на работу с 1 сентября 1954 года, не дожидаясь прохождения конкурса. В отделе кадров хотели оформить меня ассистентом. Но поскольку до этого я работал старшим преподавателем, то ректор, по существующему положению, имел право зачислить меня на ту же должность. Тогда я стал бы получать значительно большую зарплату. Пришлось просить декана Андрея Николаевича Колмогорова войти в моё трудное материальное положение и просить об этом ректора. Что и было сделано.

Итак, 1954/55 учебный год я стал работать на двух ставках. Нагрузка была очень большая, и преподавать в мясомолочном институте я уже перестал.

Наше материальное положение резко улучшилось. Я быстро был утверждён в учёной степени кандидата наук - в этом случае зарплата старшего преподавателя не отличалась от доцентской. Мы стали хорошо питаться. Зимой у меня в сених всегда лежало много мяса: коровья нога, полбарана, свиная нога.

Прошёл конкурс. Я пошёл к Дмитрию Алексеевичу Поликарпову. Объяснил ему своё положение. Он сожалел о моём уходе, но меня отпустил с условием, что весь 1954/55 учебный год я проработаю в МГПИ совместителем на полной ставке.

Со второго семестра меня перевели на должность доцента Мехмата МГУ, как избранного по конкурсу. В октябре 1955 года я был утверждён в звании доцента. В университете я стал читать лекции биофизикам на Биофаке, курс математического анализа вечерникам и заочникам Мехмата. Читал спецкурсы, вёл практические занятия по математическому анализу, руководил курсовыми работами студентов.

Я вспоминаю, как в 1954 году неожиданно скончался декан Мехмата МГУ, член-корреспондент АН СССР, генерал Владимир Васильевич Голубев. На факультете отмечали его 70-летний юбилей. В конце заседания он выступил с ответной речью, после которой ему сразу стало плохо, и он вскоре скончался. Он был крупным учёным и прекрасным педагогом. Его отличали высокая интеллигентность и порядочность. Для его характеристики приведу лишь один пример. В начале 1950-ых годов покончила с собой аспирантка факультета Тоня Зубкова, бросившаяся под поезд в Люберцах. Тоня была участница войны, лётчица и герой Советского Союза. Сверху запретили организовывать официальные похороны самоубийцы и не отпустили денег даже на простые похороны. Владимир Васильевич дал крупную сумму на похороны из своих средств. Он пришёл на похороны Тони и выступил с прощальной речью. А вот её научный руководитель Аркадий Александрович Космодемьянский на похороны не пришёл. Хотя был виноват перед Тоней за плохое руководство в аспирантуре. Неудача в работе над диссертацией была одной из причин (конечно, не основной) её смерти.

В 1955 году в ДАН СССР вышла публикация с формулировкой моей основной теоремы, а также с некоторыми следствиями из неё и приложениями. Я приготовил подробное доказательство и сделал доклады на семинаре по теории чисел и в Московском математическом обществе. Начал работать над дальнейшими приложениями. Вскоре, с помощью дальнейшего развития метода, мне удалось доказать более общую теорему об алгебраической независимости значений «E-функций» при наличии алгебраических связей между рассматриваемыми функциями над полем рациональных функций. Нужны были мне и приложения этой теоремы. Тогда всё это составило бы содержание докторской диссертации. Я начал выполнять этот план, но большая педагогическая нагрузка (я работал и в МГУ и в МГПИ) и некоторые семейные обстоятельства существенно задержали работу над завершением и оформлением докторской диссертации.

Наши жилищные условия и опасное соседство (примеч. Д.: у Андрея Борисовича по соседству в доме жила женщина, с военных лет болевшая тяжёлой формой туберкулёза и, впоследствии, умершая от этого) не способствовало выздоровлению заболевших (примеч. Д.: и у дочери, и у жены, и у мамы Андрея Борисовича врачи обнаружили, в разной степени тяжести, «туберкулёзное воздействие»). Об обещанном Иваном Георгиевичем Петровским жильё ничего не было слышно, хотя Александр Яковлевич напоминал начальству об этом. Мне казалось, и не без оснований, что кто-то мешает решить эту проблему. Тогда я оформил

документы о болезни и обратился в партийное бюро факультета. Там мне стали помогать в решении этого вопроса.

В зимние каникулы 1957 года я получил письмо из деканата от заведующей канцелярии Нины Георгиевны Лагорио о том, что я срочно должен явиться в ректорат, и что мне дают жильё.

Я узнал следующее. В здании университета по Моховой 11 (Никитская, д. 6), на втором этаже рядом с аркой, с дореволюционных лет жил старейший профессор биологического факультета Лев Мельхиседекович Кречетович. Жена его умерла, и он жил один в большой квартире. Кречетович скончался (примеч. Д.: его даты жизни - (1878-1956)), и речь пошла о заселении его квартиры.

В жилищном отделе ректората мне сказали, что решили дать нам только большую комнату в квартире Кречетовича, и мы, значит, должны были жить в коммуналке. Это мне казалось неестественным, да и для семьи из 6 человек одной комнаты было мало.

Через некоторое время я узнал, что так решил выполнять распоряжение начальства помощник проректора МГУ по хозяйственной части Дорошенко (примеч. Д.: уточнить имя и отчество этого университетского «хозяйственника» мне не удалось). Он решил забрать себе вторую комнату, имея квартиру в Москве. Я пошёл к секретарю парткома МГУ и председателю профкома. Они поняли моё трудное положение и возмутились действиями Дорошенко. В райсовет было направлено ходатайство о выдаче мне ордера на всю квартиру. Замечу, что через несколько лет Дорошенко с позором был снят с работы: он оказался взяточником и жуликом. По-видимому, его судили.

Вскоре из Райсовета пришёл отказ о выдаче мне ордера. Университет написал ходатайство уже председателю Исполкома Моссовета о выдаче мне ордера: это мог сделать (примеч. Д.: для людей, имеющих «не Московскую прописку», а лишь прописку «подмосковную») только либо сам председатель Исполкома Моссовета (примеч. Д.: в 1956-1961 годы им был Николай Иванович Бобровников (1909-1992)), либо его заместитель Макаров (примеч. Д.: видимо, здесь речь идёт об А.И.Макарове (при этом расшифровать инициалы «А.И.» мне не удалось), являвшемся одним из заместителей Н.И.Бобровникова).

В общем, я сам занёс в Моссовет ходатайство и через три дня получил оттуда его обратно с положительной резолюцией Макарова. А через несколько дней мне выдали в Райсовете желанный ордер.

Начался длительный ремонт полученной квартиры, и всё за свой счёт. Зато наша квартира стала иметь все удобства. Стали мы и обладателями телефона. В конце августа 1957 года мы из Ильинской квартиры переехали в эту новую Московскую квартиру.

Я купил старый, но хороший «беккеровский» рояль, и отремонтировал его. Думал детей учить музыке. Но из этой затеи ничего не вышло: учительница только после каждого урока требовала оплаты, а занималась так, что отбила у детей всякий интерес к музыке.

Болезни семьи, большая педагогическая нагрузка (я продолжал работать в пединституте на полставки), хлопоты о квартире, ремонт и

переезды отвлекли меня сильно от работы над докторской диссертацией. Но, всё же, я думал и писал.

С 25 июня по 9 июля 1956 года в Москве проходил 3-ий Всесоюзный математический съезд. Было много иностранных гостей. Я выступал на нём с докладом.

В 1958 году я усиленно занялся диссертацией и в 1959 году подал её для защиты. Защита состоялась 25 декабря 1959 года. Оппонентами были академик Юрий Владимирович Линник, член-корреспондент Александр Осипович Гельфонд и профессор Алексей Георгиевич Постников. В звании доктора физико-математических наук я был утверждён уже в июне 1960 года.

Сразу после защиты у нас в большой комнате состоялся банкет для математиков из университета и пединститута. Всё прошло хорошо. Только Пётр Сергеевич Новиков, по рассеянности, уходя раньше, надел галоши Льва Абрамовича Тумаркина, чем последний был сильно огорчён.

Ещё до защиты диссертации, в ноябре 1959 года, меня пригласили на беседу декан Мехмата Николай Алексеевич Слэзкин и секретарь партбюро Борис Михайлович Малышев. Они долго уговаривали меня согласиться работать заместителем декана по учебной работе. Я долго сопротивлялся, но, в конце концов, уступил их уговорам.

Я привык любое дело делать добросовестно. Поэтому для меня это была тяжёлая работа. Я старался навести и поддерживать порядок в учебных делах студентов и в общежитии. Всё это отнимало много времени и сильно мешало заниматься научной работой. Моя жёсткая линия по наведению порядка в студенческих делах привела к ссоре с ректором МГУ Иваном Георгиевичем Петровским. И через 5 лет к освобождению меня от этой работы.

В 1960 году Сергей Борисович Стечкин уехал на работу в Свердловск (ныне Екатеринбург). Мне поручили читать курс математического анализа на Мехмате, который читал он. С тех пор я много лет читал этот курс.

В 1960 году я, по конкурсу, перешёл работать профессором кафедры теории чисел. В октябре 1961 года я был утверждён в звании профессора.

За время работы на Мехмате МГУ у меня сложились особенно дружественные отношения с некоторыми коллегами. С Петром Лаврентьевичем Ульяновым, с которым мы в одно время учились в аспирантуре. С Иваном Васильевичем Матвеевым по совместной работе на кафедре математического анализа. С Михаилом Константиновичем Потаповым и Юрием Индриковичем Гримзой при совместном выполнении факультетских дел. Подружился я с Евгением Прокофьевичем Долженко, которого мне удалось оставить на факультете (он был иногородним), добившись разрешения на это в министерстве. А также с Александром Михайловичем Полосуевым, который со мной в одно время учился в аспирантуре у Александра Осиповича Гельфонда, и Наумом Ильичём Фельдманом - им я помог перейти на работу на факультет по конкурсу...

Дружеские отношения у меня установились с Алексеем Фёдоровичем Леонтьевым и его семьёй. Он был очень порядочный, скромный, тихий и доброжелательный человек.

Его жена, Мария Григорьевна, держала бразды правления дома.. В 1970-ых годах, после избрания Алексея Фёдоровича членом-корреспондентом АН СССР, они уехали в Уфу, где он стал директором института.

С 3 по 12 июля 1961 года в Ленинграде состоялся 4-ый Всесоюзный съезд математиков. Приехало много иностранных учёных и наших математиков. Там я выступал с докладом. Познакомился подробнее с городом. А через два дня после возвращения в Москву произошло скорбное событие: профессор Нина Карловна Барии, вернувшаяся с нами из Ленинграда, попала под поезд (быть может, и покончила с собой). Мы её хоронили на Введенском кладбище.

В 1959 году скончался Александр Яковлевич Хинчин. Я был удручён - ведь я ему был многим обязан. Кафедрой математического анализа стал заведовать Николай Владимирович Ефимов. С ним мы много лет вместе работали на кафедре и выполняли факультетские дела.

КОНФЕРЕНЦИИ И КОМАНДИРОВКИ

В начале 1960-ых годов на Мехмате МГУ стали готовить математиков для других республик. Преподаватели Мехмата ездили в различные города и выбирали в университетах лучших студентов-математиков для перевода в Московский университет с целью дальнейшего обучения и подготовки их к поступлению в аспирантуру. Я три раза выполнял эту работу. Большая часть отобранных мною студентов за эти поездки окончили аспирантуру на Мехмате МГУ и стали кандидатами наук.

В марте 1964 года я был в Дагестане в Махачкале с комиссией министерства по проверке работы университета. Комиссию возглавлял Юрий Жданов (сын А.А.Жданова и муж Светланы Сталиной), ректор Ростовского университета. Человек он был образованный, свободно говорил на двух иностранных языках, прекрасно играл на рояле, держался просто, без зазнайства.

(Примеч. Д.: Доктор химических наук, кандидат философских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР Юрий Андреевич Жданов (1919-2006) являлся выпускником (1941) Химфака МГУ, служил в РККА, преподавал (с 1945 года) в МГУ. В 1947 году он работал в аппарате ЦК ВКП(б), в 1948 году окончил аспирантуру

Института философии АН СССР с защитой кандидатской диссертации по философии (название диссертации - «Понятие гомотопии в органической химии»). В апреле 1949 года он женился на дочери И.В.Сталина Светлане Аллилуевой (брак длился до осени 1952 года).

С 1953 года Юрий Андреевич Жданов работал в Ростовском государственном университете, где защитил по химии кандидатскую (1957) и докторскую (1960) диссертации, и где пробыл ректором (1957-1988) университета. С 1953 по 1957 годы он был заведующим отдела науки и культуры Ростовского обкома КПСС, с 1969 года работал

председателем Совета Северно-Кавказского научного центра высшей школы. В 2003 году Юрий Андреевич Жданов стал почётным профессором Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.)

Со мной в номере гостиницы «Дагестан» жил член комиссии, историк из Казани. Восьмого марта за ним пришёл его местный знакомый, с которым они вместе учились в аспирантуре в МГУ, и пригласил его в гости. Пригласил он и меня. Оказалось, что приглашавший был ректор женского пединститута Ахмет, который через некоторое время стал ректором университета. Там я познакомился с Расулом Гамзатовым и его женой. Впоследствии мне несколько раз приходилось бывать в компаниях, в которых бывал и Расул Гамзатов.

Во время этой поездки ректор университета попросил меня помочь организовать рецензирование диссертационных работ Дмитрия Михайловича Соловьёва и Бориса Алекберовича Зейналова, и, в случае их полноценности, помочь с организацией защит. Через некоторое время работы были проверены, и, после внесения некоторых поправок, поданы для защиты. И успешно защищены...

В мае-июне 1964 года я длительное время находился в Одессе, где был председателем государственной экзаменационной комиссии на математическом факультете. В феврале 1965 года ездил на несколько дней в Ленинград, где отмечали 60-летие Николая Григорьевича Чудакова. С 25 по 29 мая находился на конференции математических кафедр пединститутов Поволжья. Ездил в Астрахань, делал доклад, беседовал с коллегами. В сентябре 1965 года в Паланге проходила двухнедельная школа по теории чисел, организованная ректором Вильнюсского университета Йонасом Пятровичем Кубилиусом.

В 1965 году ко мне обратились из Дагестанского университета с просьбой помочь перевести в нашу аспирантуру Магомед-Султана Нурмагомедова, а также найти ему научного руководителя. Я рекомендовал сначала прислать его на годичную стажировку, что и было сделано. Подготовлен был он не очень хорошо, но был трудолюбивым и старательным. Через год я согласился быть его руководителем в аспирантуре. С 1966 года он стал моим аспирантом.

Весной 1966 года в составе комиссии по проверке Киргизского университета я летал в Бишкек (Фрунзе). Работы было много. В этой поездке я познакомился с заведующим кафедрой с Физфака МГУ Иваном Алексеевичем Яковлевым (примеч. Д.: Иван Алексеевич Яковлев (1912-2000) на Физфаке МГУ заведовал кафедрой физики кристаллов в 1974-1989 годы). Он наш земляк по Симбирску, Его дед, Иван Яковлевич, был известным просветителем Чувашии. Он дружил с отцом Ленина - Ильёй Николаевичем Ульяновым. Был и в хороших отношениях с моим дедом Всеволодом Петровичем Скороходовым. С тех пор мы с Иваном Алексеевичем поддерживаем дружеские отношения. Он пригласил меня работать в Научном совете общества «Знание» по естественным наукам, где я работал несколько лет. Иван Алексеевич был председателем этого совета.

С 6 по 11 июня я находился в Нижнем Новгороде на конференции математических кафедр пединститутов Поволжья. Приплыл туда на пароходе.

С 16 по 26 августа 1966 года в Москве состоялся Международный математический конгресс, на котором я был приглашённым докладчиком. Было много иностранных гостей. Познакомился с некоторыми известными математиками. В частности, с Пал Эрдёшем, Пал Тураном, Яном Попкеном, Анджей Шинцелем, Луисом Морделлом и другими.

Третьего октября 1966 года скончался Григорий Иванович Двухшерстов. Хоронили мы его на Хованском кладбище. Это был добрый и душевный человек. Умер человек, которому я многим обязан в жизни. Неизвестно как бы сложилась моя судьба после 1939 года, если бы не было встречи с Григорием Ивановичем в деканате.

В мае 1967 года в Душанбе проходила школа по теории чисел, продолжавшаяся три недели. Школа прошла хорошо, были интересные доклады и велись научные беседы. На неё приехал и Йонас Пятрович Кубилюс со своими учениками. До этого у нас уже были с ним хорошие отношения. А там мы очень подружились с ним.

В 1967 году состоялся 2-й съезд Болгарских математиков в Варне, проходивший на морском курорте «Дружба». Было много участников из разных стран. Большая советская делегация оформила поездку как туристическую. У нас образовалась дружная компания, в которую входили я, Михаил Константинович Потапов, Элеонора Александровна Стороженко, Павел Дмитриевич Варбанец, Сергей Николаевич Киро и другие. Мы весело и интересно проводили время. В Болгарии мы познакомились со многими известными математиками.

В том же 1967 году защитил кандидатскую диссертацию мой первый аспирант Иван Иванович Белогривов.

В 1967 году я, вместе с некоторыми сотрудниками университета, был награждён орденом «Знак почёта». На Моховой был организован по этому поводу банкет. На нём были Пётр Лаврентьевич Ульянов, Михаил Константинович Потапов, Дмитрий Евгеньевич Меньшов, Андрей Александрович Гончар, Сергей Борисович Стечкин и другие математики.

С 3 по 12 апреля 1968 года я с Александром Осиповичем Гельфондом находился в Венгрии, на конференции в Дебрецене. Приехали на неё Луис Морделл, Дэвид Берджесс и другие известные математики. Познакомился я там ближе с венгерскими математиками Пал Тураном и Пал Эрдёшем, с которыми потом многократно встречался.

В июне 1968 года я ездил на конференцию во Владимир. А с 18 по 21 сентября 1968 года я был в Одессе на симпозиуме по дифференциальным уравнениям.

А в начале июля 1968 года я ещё работал председателем экзаменационной комиссии по математике и поэтому жил в Москве. Как то утром мне позвонил Александр Осипович и сказал, что хочет меня видеть и поговорить. Я смог приехать к нему только поздно вечером. Сразу заметил, что у него было очень возбуждённое и угнетённое

состояние. По-видимому, одному ему было тяжело. В его жизни происходило что-то серьёзное.

Он достал коньяк, и мы долго беседовали. Чувствовалось, что он хочет со мной о чём-то поделиться, но не решается. Говорили о многом, но не о том, о чём ему хотелось. Уехал я домой поздно ночью уже на такси, а соответствующего разговора так и не получилось.

Как я узнал позднее, у него начались серьёзные неприятности с его четвёртой женой. Оставив третью жену, которая была моложе его больше, чем на 20 лет, он попал в лапы к аферистке, специализирующейся на состоятельных мужьях, которым оставалось мало жить.

Осенью 1968 года Александр Осипович заболел и попал в больницу Академии наук, где местные эскулапы лечили его не от той болезни, которой он болел. В начале ноября он попал в реанимацию, где и скончался 8 ноября. Последние дни мы, его ученики, по очереди дежурили около него. Последнюю ночь перед смертью дежурил я.

О ПАРТИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа в деканате при моём добросовестном отношении к ней, чтение лекций по математическому анализу и работа по совместительству в пединституте, отнимали много времени и мешали заниматься научной работой.

Весной 1964 года, когда я освободился от деканатской деятельности, я думал, что смогу больше уделять времени научной работе. Но уже осенью меня избрали в партбюро отделения математики и партбюро факультета. Затем секретарём партбюро отделения, а в 1966 году секретарём партбюро факультета. Это, опять же, отнимало у меня много времени. Сколько было одних заседаний, зачастую никчемных. А обстановка на факультете всё время была сложной.

Приведу один пример из времени моей партийной деятельности. В 1967 году появилось «письмо девяносто девяти», подписанное 99 учёными и преподавателями в защиту диссидента Есенина-Вольпина (сына Сергея Есенина). Среди подписавших было и несколько человек с Мехмата МГУ. Партийные органы всех ступеней начали заниматься этой «проблемой» и поносить «подписунов». Деканом Мехмата в то время был Николай Владимирович Ефимов. Длительное время нам с ним часто приходилось сидеть на различных заседаниях и выслушивать упреки в свой адрес, как недосмотревших за поведением своих коллег.

Кончилось тем, что только один я получил строгий выговор от парткома МГУ за то, что не предотвратил это событие. Хотя о его подготовке заранее знал ректор Иван Георгиевич Петровский. Через год выговор был тихо снят.

Было и ряд других «дел», связанных с диссидентами.

Серьёзные последствия от появления «письма 99» получили Николай Владимирович Ефимов и Александр Геннадьевич Курош, подписавший письмо. Они получили тяжёлые инфаркты. Николаю Владимировичу жена долгое время не позволяла работать, и он пришёл в себя. А Александр Геннадьевич, не оправившись от болезни, стал ходить

на работу и читать лекции. В результате он вскоре скоростижно скончался.

Много времени отнимала у меня партийная работа и в 1970-ых годах. Большая нагрузка была и от приёмных экзаменов. Много раз я был председателем экзаменационной комиссии по математике и старшим экзаменатором на Мехмате и других факультетах МГУ. К этим экзаменам начинали готовиться ещё с зимы.

СНОВА КОНФЕРЕНЦИИ И КОМАНДИРОВКИ

В феврале 1969 года я летал в Армению в Ереван почти на две недели с комиссией по проверке университета. В июне 1969 года я был в Одессе, где исполнял обязанности председателя ГЭК в университете. Жил в Аркадии. Ко мне туда приезжал Магомед- Султан, работавший над диссертацией.

С конца июня 1969 года я был на школе по теории функций в Махачкале.

Четвёртого сентября 1969 года состоялась свадьба Оли с Борисом Долотовым (примеч. Д.: Борис Георгиевич Долотов по профессии инженер-технолог). В большой комнате на Моховой было много родных и друзей. Свадьба прошла весело. А восьмого сентября я уже вылетел в Алма-Ату на конференцию, где пробыл до 14 сентября...

С 23 ноября по 26 декабря 1969 года я находился на Кубе. Преподавательский состав на факультете Гаванского университета был слабый. Все высококвалифицированные преподаватели после победы Кастро уехали с Кубы. На моих лекциях слушателей было немного.

Народ там жил бедно. Скромный набор продуктов получали по карточкам. Совсем плохо было с одеждой. Через несколько дней я обнаружил, что меня там обворовали - украли половину моих носильных вещей. Я заявил о краже в университет, после чего меня перевели в шикарную гостиницу с превосходным питанием. Мне предложили возместить стоимость украденного, но я отказался. Взамен этого мне организовали замечательную трёхсуточную экскурсию по стране на легковой машине.

Однажды у меня в номере зазвонил телефон, и я услышал русскую речь. Оказалось, что ленинградский профессор Зенон Иванович Борович был проездом в Гаване. Он приехал в университет Сант-Яго-де-Куба. Узнав, что я в Гаване, он нашёл меня. Было приятно встретить знакомого человека так далеко от Родины.

По рекомендации некоторых московских математиков мне предложили переехать на работу в Алма-Ату с повышением в чинах. В январе 1970 года я вылетел туда для переговоров.

Меня принимал Асан Дабсович Тайманов, заведовавший Отделением математики президиума Казахской АН. Приехав, я изучил обстановку в Академии и понял, что русскому человеку там работать будет трудно. Надо всё время будет смотреть, чтобы тебя «не съели».

На беседе с президентом Академии наук мне предложили должность директора Института математики и выборы в члены-корреспонденты Казахской АН. Через некоторое время статус повысили

до академика. Но я снова отказался. Время показало, что я сделал правильный выбор.

С 28 августа по 10 сентября 1970 года я летал во Францию на Международный математический конгресс в Ницце. У нас была очень большая делегация. В Ницце я повидал многих знакомых математиков. Профессор Луис Морделл отметил там в шикарном ресторане своё восьмидесятилетие. На этом банкете я встретил Лену Попову, учившуюся со мной на Мехмате МГУ в 1939-1940 годы (примеч. Д.: ни отчества, ни о годах жизни этой сокурсницы Андрея Борисовича мне установить не удалось). Во время войны она оказалась в Англии. Она меня расспросила о судьбе некоторых наших сокурсников, но о себе ничего не рассказала.

С 4 по 12 октября 1970 года я находился в Тбилиси на конференции по теории чисел.

Хорошо помню, как в один из последних дней августа 1971 года мы гуляли с Эмилиано Апарисио и его женой Алисией. Они должны были уехать в Испанию, и с некоторой тревогой думали о том, как сложится там их жизнь. Ведь они 34 года прожили в России. Но у них в Испании были родные. У Эмилиано были ещё живы отец и мать, которые вскоре после их приезда умерли.

С 14 по 18 сентября 1971 года в Москве проходила Международная конференция по теории чисел, посвящённая 80-летию Ивана Матвеевича Виноградова. Я был членом Оргкомитета конференции. Перед конференцией в газете «Вечерняя Москва» было опубликовано интервью корреспондента газеты со мной. Я сделал доклад на конференции.

Начиная с 1960-ых годов весной группы преподавателей Мехмата и Физфака ездили по различным городам для отбора учащихся в школу-интернат при МГУ, организованную Андреем Николаевичем Колмогоровым. Мы с Михаилом Константиновичем Потаповым и двумя физиками трижды выбирали маршрут «по Волжским городам», куда плавали на пароходах.

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию мой аспирант Александр Иванович Галочкин. По окончании аспирантуры он был оставлен для работы на кафедре теории чисел Мехмата МГУ.

Двенадцатого октября 1971 года родился мой внук Иван Русанов (примеч. Д.: напомним, что дочь Андрея Борисовича Нина была замужем за физиком Сергеем Юрьевичем Русановым).

Боря Долотов (примеч. Д.: муж Оли, другой дочери Андрея Борисовича) жил с бабушкой и её сестрой на Таганке. Дом был предназначен на слом, и их вскоре должны были переселить. Поэтому Оля прописалась у Бориса. Но жить они стали после свадьбы с нами. Лишь осенью 1972 года произошло расселение: Боря с Олей и родившейся Анечкой получили небольшую двухкомнатную квартиру на Угрешской (Стройковской) улице, и они переехали от нас.

В мае-июне 1972 года я 20 дней находился в Одессе, где был председателем ГЭК в университете. В предпоследний день ко мне приехал Михаил Константинович Потапов.

С 8 по 18 июля я был на международной конференции в ФРГ, в Обервольфахе.

После войны немецкие математики, на базе имения Лоренцхоф в Шварцвальде, стали устраивать научные конференции по различным разделам математики. Впоследствии с помощью спонсоров построили спальный корпус и вспомогательные здания. Ежегодно число конференций увеличивалось. Каждая проходила 6 дней. Число их выросло до 45 в год.

Добирались мы вместе с Йонасом Пятровичем Кубилюсом в Обервольфах следующим образом. Летели в восточный Берлин. Из Аэропорта автобусом приезжали в Западный Берлин. Пробыв там несколько часов, вылетели в Штутгарт. Оттуда поездом до станции Вольфах. И, наконец, на такси доезжали до места назначения.

Там мы познакомились со многими иностранными математиками. Теодор Шнайдер свозил нас в Фрайбург. На обратном пути Вольфганг Шварц на своей машине любезно привёз нас в Штутгарт, где мы ночевали в гостинице.

В 1972 году я был ещё в Майкопе на конференции, проходившей с 14 по 16 сентября. В 1975 году я снова побывал в Адыгее в Майкопе, куда меня пригласили читать лекции.

С 5 по 12 октября 1972 года я был на конференции по теории чисел в Самарканде.

В 1972 году защитил диссертацию Магомед-Султан. Тридцатого марта 1973 года состоялась защиты диссертаций моих аспирантов Алексея Алексеевича Шмелёва и Юрия Валентиновича Нестеренко. Общий банкет был в квартире Нестеренко.

С 24 ноября по 26 декабря 1973 года я находился в ГДР, где читал лекции в Берлинском университете. В Берлине меня поселили на квартире. Встретился там с профессорами университета Гансом Райхардтом, Олафом Нейманном и другими. Наметили время для большого обзорного доклада. Двадцать девятого ноября я начал читать доклад. Он прошёл оживлённо. Слушали, в основном, специалисты по теории чисел. Тридцатого ноября продолжил доклад.

Третьего декабря рано утром экспрессом я выехал в Лейпциг, а оттуда в Иену. Меня встретили и поместили в гостинице. Обедал с профессором Эккехардом Крэтцелем. Днём сделал доклад на котором было много слушателей. Вечером ужинал дома у Крэтцеля. Принимали меня хорошо. Он с женой некоторое время после войны работали в России и прилично говорили по-русски. С утра беседовал с преподавателями. Потом я выехал в Галле. Меня там встретили и на такси привезли в университет, где хорошо устроили. Знакомился и беседовал там с преподавателями. Днём там состоялась моя лекция. Потом беседовал с заведующим отделением профессором Шейманом (примеч. Д.: Мне не удалось уточнить, кого Андрей Борисович при этом имел в виду - возможно речь идёт не о Шеймане, а о Гюнтере Шимане /Gunther Schiemann/ (р.?), возглавлявшем тогда в университете математическое отделение).

Девятого декабря утром я поехал в Дрезден. Десятого декабря была моя встреча с деканом университета Винклером (примеч. Д.:

полагаю, что имеется в виду Вольфганг Винклер /Wolfgang Winkler/ (р. 1933), А одиннадцатого декабря, в 7 часов 45 минут, был там мой доклад - пришлось вставать в 6 часов 30 минут. Доклад прошёл хорошо.

Днём я уже выехал в Берлин. Был в университете, устроился с жильём и готовился к лекциям. На следующий день, 12 декабря, утром подали машину и повезли в Институт математики, где прочитал первую лекцию. В тот же день была вторая лекция. Лекции я читал алгебраистам во главе с профессором Гельмутом Кохом, учеником Игоря Ростиславовича Шафаревича. Все они учили русский язык и понимали лекции по-русски. Четырнадцатого декабря я обедал в университете с Кохом и потом снова лекция.

Семнадцатого декабря днём подали машину и опять повезли читать лекцию. Вечером ко мне зашёл профессор Нейманн. Он говорит по-русски. Пили кофе и допоздна беседовали. На следующий день присутствовал на докладе Бориса Владимировича Гнеденко.

Девятнадцатого декабря в последний раз подали машину и возили читать последнюю лекцию. Двадцатого декабря был очень солнечный день. И я готовился к поездке в Росток, на берег моря. Поездку эту мне помог организовать Валерий Борисович Кудрявцев - в Ростове работали его хорошие знакомые, профессора Густав Бурош и Вольфганг Энгель. Меня встретили. Затем был мой доклад. Было задано много вопросов. Приехал в Берлин 22 декабря поздно вечером.

Двадцать четвёртого декабря я прощался с Берлином. Никто меня не провожал - немцы свято чтут Рождество и празднуют его дома. Поехал один на вокзал поздно вечером. И двадцать шестого декабря, рано утром, меня встречали в Москве.

В январе 1974 года меня утвердили членом экспертной комиссии ВАК по математике. Там я проработал ряд лет до реорганизации ВАК.

Двадцать пятого мая выехал на конференцию по теории чисел в Вильнюс. Там собралось много теоретико-числовиков, в том числе и моих учеников.

В 1974 году защитил докторскую диссертацию Наум Ильич Фельдман. Основные её результаты вскоре были высоко оценены специалистами как у нас в стране, так и за рубежом. Но при утверждении работы в ВАК возникла задержка. Один «великий» математик, член экспертной комиссии, организовывал различные гнусности, чтобы задержать её утверждение. Мне приходилось принимать соответствующие меры пока, наконец, работа не была утверждена. Вскоре Наум Ильич стал профессором кафедры теории чисел Мехмата МГУ.

В сентябре 1974 года я летал в Бишкек на конференцию. Награждён был знаком «отличник народного образования Киргизской ССР».

С 23 по 26 сентября был в Симбирске на конференции, организованной обществом «Знание». Рад был снова посетить родной город. Много мы побродили по знакомым местам с Иваном Алексеевичем Яковлевым, профессором Физфака МГУ, также бывшим «симбирянином».

С 22 по 28 марта 1975 года я находился в Томске по линии общества «Знание». Прочитал доклад в университете по своей специальности. Беседовал с математиками. В мае летал в Майкоп для чтения лекций.

Шестого октября 1975 года я прибыл поездом в Будапешт. Меня встретил, и после долгое время опекал, Янош Пинц. Разместился на частной квартире в хорошей комнате и приятной семье. Был в Институте математики, беседовал с руководством и Палом Тураном. Познакомился с гостем института Гельфельдом (примеч. Д.: мне не удалось уточнить, кто здесь имеется ввиду - возможно, американский специалист в области прикладных математических исследований, относящихся, в частности, к океанографии и климатологии, Роберт Гельфельд /Robert Gelfeld/ (р. ?)). Беседовал с деканом Имре Катаи и заведующей кафедрой алгебры Яношем Шурани. Четырнадцатого октября днём состоялась моя встреча с преподавателями кафедр алгебры и математического анализа, а вечером я был в институте на докладе Гельфельда. Шестнадцатого октября беседовал и обедал с Ивани (примеч. Д.: возможно здесь имеется ввиду специалист по информатике Антал Ивани /Antal Ivanyi/ (р. 1942)). С 17 по 31 октября прочитал курс из 6 лекций по трансцендентным числам в большом зале Института математики. С 21 по 28 октября прочитал в университете для студентов 3 лекции по диофантовым приближениям, 23 и 30 октября сделал в Институте обзорные доклады. Двадцать девятого октября ездил ещё в Сегед, где сделал доклад.

Первого ноября был на ужине у Турана и познакомился с его семьёй. Четвёртого ноября выехал в Москву, где меня встретили.

Седьмого января 1976 года тяжело заболела мама. Приехавший врач скорой помощи сказал, что ей осталось жить несколько дней. Но у неё было крепкое сердце, и она прожила ещё четыре месяца. Седьмого мая 1976 года мама скончалась. Кончился большой этап моей жизни с мамой. Мне повезло - я прожил с ней 60 лет. После смерти мамы у меня начался тяжёлый гипертонический криз, и я долго пролежал под наблюдением врачей. С тех пор у меня началась гипертония.

Весной 1976 года я был в Армении на конференции по теории функций. Проходила она в доме отдыха в горах. В сентябре был несколько дней в Свердловске по линии общества «Знание». В том же сентябре по обществу «Знание» летал на несколько дней в Иркутск, где меня принимал Михаил Леонидович Платонов, с которым я сдружился в аспирантские годы, когда он был стажёром Александра Яковлевича Хинчина. С 23 по 26 сентября находился во Львове на конференции по цепным дробям.

Четвёртого декабря 1976 года, поздно вечером, я выехал в Бухарест. Шестого декабря был на студенческом празднике мехмата. На следующий день был на лекции Сергея Львовича Соболева, который оказался в Бухаресте. Восьмого декабря читал студентам свою первую лекцию. Десятого декабря читал ещё две лекции студентам. Утром следующего дня прочёл студентам свою последнюю лекцию. Потом они попросили меня рассказать о Мехмате МГУ. Тринадцатого декабря читал обзорный доклад. Слушателей было много, в том числе декан и его

заместитель. Вечером следующего дня с Попеску, который меня опекал, я уехал в Клуж.

Утром в Клуже нас хорошо приняли декан и несколько преподавателей университета. Посетили математический институт. Елена Поповичу, жена недавно умершего известного румынского математика Тибериу Поповичу, угощала нас обедом в фешенебельном ресторане. Шестнадцатого декабря выступал там с докладом, беседовал с профессором Георгиу Пиком, обедали в доме учёных с деканом. После ужина выехали с Попеску в Брашув. Оттуда вернулись в Бухарест

В Бухаресте с 18 по 23 декабря прочитал 3 лекции для преподавателей. Двадцать шестого декабря прочёл лекцию в советской школе при посольстве. Двадцать седьмого декабря в 24 часа выехал в Москву. Утром 28 декабря меня в Москве встретили.

С 3 по 14 марта 1977 года я, вместе с Йонасом Пятровичем Кубилиусом и Владимиром Геннадьевичем Спринджуком, были в ФРГ в Обрвольфах. Интересно и полезно было повидаться там со многими коллегами-математиками. Тепло нас принимал Теодор Шнайдер. Это была наша последняя встреча с ним (примеч. Д.: он скончался в 1988 году).

В мае 1977 года я был в Баку на школе-конференции по теории функций. Она проходила за городом, в правительственном доме отдыха в Загульбе, на берегу моря. Там я с Михаилом Константиновичем Потаповым и Евгением Михайловичем Никишиным занимали трёхкомнатную квартиру. С Петром Лаврентьевичем Ульяновым мы летали там на вертолёте на глубоководную буровую в море.

С 17 сентября по 1 октября 1977 года я был на школе по теории чисел в Душанбе. С 4 по 9 декабря был в Минске на семинаре общества «Знание». С 26 января по 4 февраля 1978 года я был на конференции в Драгобыче. В мае ездил на несколько дней в Вильнюс, где читал лекции.

В 1978 году два моих аспиранта защитили кандидатскую диссертацию: Владимир Григорьевич Чирский - 6 января, Владислав Хасанович Салихов - 5 мая.

Третьего июня 1978 года, вечером, я выехал поездом в Прагу. Меня встречали Бжетислав Новак и Яромир Баштинец. Поехали в университет, где присутствовали на торжественном вручении грамоты почётного доктора Карлова университета Гурию Ивановичу Марчуку. Составили программу моего пребывания. Нагрузка была небольшой - немного читал лекции, беседовал с преподавателями. Восемнадцатого июня я уже выехал в Москву.

Поздно вечером 4 ноября 1978 года я выехал в Будапешт. На вокзале меня встретил Петер Херман. В Будапеште встречался с Яношем Шурани, Яношем Пинцем и другими преподавателями кафедры. Обсудили программу моего пребывания. Шестнадцатого ноября я был в Институте математики у Пала Эрдеша. Там встретился с немцем из ФРГ А.Бейкером (примеч. Д.: возможно, здесь произошла путаница, и имелся в виду известный английский специалист по теории чисел Алан Бейкер /Alan Baker/ (р. 1939) ?), Кальманом Дьёри, Верой Сош и другими математиками. Семнадцатого ноября читал обзорный доклад в Институте.

Двадцать первого ноября прочёл первую лекцию для студентов. Присутствовал на докладе Бейкера по трансцендентным числам. Двадцать четвёртого ноября присутствовал на втором докладе Бейкера. Двадцать седьмого ноября читал две лекции: утром студентам, а днём в Институте.

Двадцать девятого ноября рано утром выехал в Дебрецен. Встретил меня Кальман Дьёри и привёз в университет, где беседовал с преподавателями. Тридцатого ноября утром сделал доклад, общался с коллегами, а после обеда уехал в Будапешт.

Первого декабря была организована моя беседа с преподавателями. Были Шурани, Сош и много других коллег. Прочитал третью лекцию. Четвёртого декабря читал последнюю лекцию. Седьмого декабря вернулся в Москву.

А тринадцатого декабря 1978 года я выехал в Белград. Приехав, съездил в университет. Вечером был на встрече с профессором Славиша Прешичем и другими коллегами в Институте математики. Восемнадцатого декабря в отеле встретил Александра Антоновича Сапоженко с ВМиК МГУ. Вечером с ним ужинали, днём составили в Институте наши планы работы. Девятнадцатого декабря говорил по телефону с Петром Матвеевичем Огибаловым, отдохнувшим в санатории на берегу Адриатического моря, и договорились, что я его там навещу. Вечером двадцать первого декабря состоялся мой первый доклад - слушателей было много.

Двадцать шестого и двадцать седьмого декабря читал лекции. Двадцать девятого декабря был на докладе Сапоженко - он уже уезжал в Москву. Тридцать первого декабря один в номере встречал Новый год. Первого января 1979 года, днём, был на обеде у Аднаджиевича - принимали радушно и хорошо кормили.

Третьего января в 5 часов утра я выехал в аэропорт. Сорок минут полёта, и я в Титограде. Меня встретили и отвезли в университет. Затем с автобусной станции отправили в Петровиц. Там в отеле «Ривьера» я и встретил Петра Матвеевича Огибалова. Обедали в ресторане, гуляли на берегу Адриатики. Вечером вернулся в Титоград. На следующий день там состоялся мой доклад.

Пятого января поездом поехал в Белград. Вечером встретился с Анатолием Леонтьевичем Павленко, только что приехавшим в Белград с Мехмата МГУ. Шестого января были встречи с Аднаджиевичем и Мирковичем.

Девятого января читал первую часть доклада в университете. Одиннадцатого января поехал на машине в город Крагуевац (что в 135 километров от Белграда), где также сделал свой доклад, и поздно вечером вернулся в Белград. Двенадцатого января сделал в университете вторую часть своего доклада.

Тринадцатого января выехал в Москву, куда приехал пятнадцатого января.

В сентябре 1979 года мы с Володией Чирским летали в Одессу на семинар по графам.

Зимой 1980 года, 26 января по 5 февраля, я находился на конференции в Драгобыче. Был там и Юрий Валентинович Нестеренко.

Юрий Всеволодович Мельничук организовал роскошный ужин для нас в лучшем ресторане.

В апреле 1980 года был несколько дней в Минске на защите диссертации Мельничука.

С 16 по 25 апреля 1980 года находился во Франции по линии общества «Знание» в составе туристической группы.

Тридцатого апреля 1980 года мне было присвоено звание Заслуженного деятеля науки Российской Федерации. В ноябре того же года я был награждён бронзовой медалью ВДНХ за научную деятельность.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПРО КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Ещё к концу 1979 года стали говорить о том, что всех жильцов из зданий университета на Моховой улице будут переселять. Стало также известно, что университет получает большое количество квартир в строящемся 16-этажном здании на проспекте Вернадского. Желая, чтобы мои дети имели отдельные квартиры, и учитывая хорошее расположение дома, я решил просить жильё в этом доме в обмен на мою квартиру.

Я пошёл к проректору по административно-хозяйственной части Новикову (примеч. Д.: согласно университетскому справочнику таким проректором в 1979-1985 годы был Олег Иванович Новиков). Он обещал дать мне две трёхкомнатные квартиры - одну для меня с Таней, а другую для Оли с семьёй из 4-ёх человек. Я и успокоился. Но когда дом на проспекте Вернадского стали заселять, я обнаружил, что меня в списках для заселения нет. Новиков обманул меня.

Пришлось пробиваться к ректору университета Логунову (примеч. Д.: физик, академик АН СССР Анатолий Алексеевич Логунов (р. 1926) был ректором МГУ с 1977 по 1992 годы), попасть к которому было не легче, чем к председателю Совета министров. Надо было искать поддержки некоторых коллег. В конце концов, поймав Логунова у лифта, я добился, что мне дали две квартиры, но только трёхкомнатную и двухкомнатную. На большее Новиков не соглашался. Пришлось соглашаться, так как следующее жильё университета ожидалось в Олимпийской деревне, что не удобно по своему расположению.

Новиков, оказалось, лишь ублажал начальство. Через некоторое время это обнаружили, и его убрали из университета. Но у него, видимо, были и другие высокие покровители. С начала 1990-ых годов я иногда видел его в кадрах телевидения, где он представлялся каким-то высоким административным или политическим деятелем.

Двадцать девятого июля 1980 года я, наконец, получил ордера. И двенадцатого сентября я сдал квартиру на Моховой, в которой мы прожили почти четверть века.

Конечно, было несколько новоселий для родных, друзей и сотрудников кафедры. А мы побывали на новосельях в нашем доме у Петра Лаврентьевича Ульянова, Евгения Михайловича Никишина и Александра Сергеевича Мищенко.

ОПЯТЬ О КОНФЕРЕНЦИЯХ И КОМАНДИРОВКАХ

Двадцатого сентября 1980 года я выехал в Прагу, где меня встречал Иржи Копачек. Бжетислав Новак был в отъезде, но 24 сентября он приехал. На следующий день я провёл беседу на его кафедре о преподавании математики в России в школах и в университетах.

Вечером 29 сентября выехал поездом в Братиславу. На следующий день прочитал там лекцию в университете. Вечером меня увезли на дачу в Млинскую долину - там математики занимались научной работой. Утром 30 сентября прочитал на даче две лекции о «Е-функциях». После этого выехал в Братиславу. Первого октября вылетел в Прагу.

Второго октября читал лекцию пражским студентам «Трансцендентные числа». Пятого октября Новак отвёз меня на вокзал, и седьмого октября меня встречали в Москве.

Шестнадцатого февраля 1981 года я выехал в Иваново на чтения, посвящённые Сергею Васильевичу Смирнову (примеч. Д.: речь идёт о 70-летию с года рождения этого математика, скончавшегося в 1979 году). Вернулся 20 февраля. Летал в Вильнюс с 16 по 19 июля 1981 года по приглашению Йонаса Пятровича Кубилюса. С 17 по 27 сентября ездил в Болгарию на международный конгресс по комплексному анализу. Со мной был Юрий Александрович Казьмин.

Двадцать третьего ноября 1981 года выехал из Москвы в Будапешт. Утром 25 ноября в Будапеште меня встречал Петер Херман.

В Будапеште встретился с Яношем Шурани. Второго декабря делал доклад в Институте о работах Владислава Хасановича Салихова. Девятого декабря состоялся мой доклад в Институте об эффективных оценках в теории чисел. Четырнадцатого декабря находился в гостях у Яноша Пинца. Пятнадцатого декабря отъехал домой.

В сентябре 1982 года я находился в Одессе, куда приезжал для чтения лекций. В конце сентября летал в Бишкек на юбилейную конференцию, посвящённую 60-летию образования Киргизии. Я организовал приглашения Виктору Антоновичу Садовничему, Петру Лаврентьевичу Ульянову и Михаилу Константиновичу Потапову.

В 1982 году в Издательстве МГУ вышла моя книга «Диофантовы приближения и трансцендентные числа». Эмилиано Апарисио перевёл её на испанский язык и в 1988 году опубликовал в издательстве университета Бильбао.

С 2 по 4 февраля 1983 года проходила Всесоюзная конференция по теории трансцендентных чисел в Москве, организованная нашей кафедрой. Двенадцатого ноября 1983 года на факультете отмечали 50-летие Мехмата МГУ. В 1984 году в Издательстве МГУ вышла книга «Введение в теорию чисел», написанная мною совместно с Александром Ивановичем Галочкиным и Юрием Валентиновичем Нестеренко.

Эмилиано Апарисио пригласил меня побывать в университете Бильбао и принять участие в Международной конференции по теории чисел в Цараусе, которую он организовал.

Девятнадцатого августа 1984 года я вылетел в Мадрид самолётом ИЛ-86 с посадкой в Берлине. Встретили меня Валерий Сианка и представитель советского посольства с машиной. Валерий родился в

России: его отец - испанец, а мать - русская. В 1970 годах он уехал на жительство в Испанию. Двадцатого августа я прибыл в Цараус - курортное место на берегу моря. На торжественном открытии конференции меня посадили в президиум. Нас засняли на плёнку и показали по местному телевидению. А фотоснимки с нашим изображением потом появились в местной печати.

Двадцать первого августа утром был первый доклад Апарисио, а вторым мой доклад. Доклады прошли хорошо. Вечером был на приёме у мэра в отменном ресторане, специализирующемся на рыбе. Двадцать второго августа после двух докладов ездили в Сан-Себастьян, известный международный курорт. Двадцать третьего августа утром опять делал доклад. Двадцать четвёртого августа был мой третий доклад.

Принимали меня Апарисио очень радушно и хорошо. Двадцать восьмого, двадцать девятого и тридцатого августа прочитал в университете три лекции для студентов и сделал доклад о своих работах. По просьбе преподавателей выступил с рассказом о подготовке математиков в МГУ. Там же я консультировал Хесуса Арреги - преподавателя университета по его диссертации о трансцендентных числах. Потом я написал отзыв о его работе для защиты.

Третьего сентября утром Эмилиано привёз меня в Аэропорт для отлёта домой.

С 29 по 31 мая 1985 года я находился в Днепропетровске на юбилейной конференции по теории функций, посвящённой 80-летию Сергея Михайловича Никольского. Выступал с докладом.

В августе, за несколько дней до моего 70-летнего юбилея, к нам пришёл Евгений Михайлович Никишин с живым поросёнком, которого он купил по пути мне в подарок, возвращаясь с отдыха на машине. Мы его поместили в туалет. Пару дней не знали, что с ним делать. Наконец, Александр Сергеевич Мищенко взял на себя роль мясника и заколол его. Нина поросёнка зажарила, но не очень удачно.

С 16 по 20 сентября я находился в Тбилиси на Всесоюзной конференции по теории чисел. В 1985 году мне было ещё присвоено звание Ветерана труда, и за участие в войне я был награждён Орденом Великой Отечественной войны 2-ой степени.

Двадцать девятого сентября я выехал в Будапешт. Встречал и устроил меня Петер Херман. Четвёртого октября я встречался с Яношем Шурани. Седьмого и восьмого октября участвовал в конференции, посвящённой памяти Турана (примеч. Д.: Пал Туран скончался в 1976 году). Одиннадцатого октября сделал доклад в Институте математики. Вечером был дома на ужине у академика Шемереди, бывшего аспиранта Мехмата МГУ (примеч. Д.: Эндре Шемереди учился в аспирантуре Мехмата МГУ под руководством Израила Моисеевича Гельфанда). Пятнадцатого октября выехал в Дебрецен, где на машине меня встречал Кальман Дьёри. Вечером был у Дьёри на ужине - там встретил Драгалина с женой (примеч. Д.: доцент Мехмата МГУ Альберт Григорьевич Драгалин женился на венгерке и переехал на постоянное проживание в Венгрию). Шестнадцатого октября прочитал свой доклад. Семнадцатого октября, уже в Будапеште, пообедал с Пал Эрдёшем в шикарном ресторане.

Вечером восемнадцатого октября Петер Херман на машине отвёз меня на вокзал, и я уехал домой.

В мае 1986 года я был несколько дней в Паланге и Вильнюсе на конференции по алгебре, логике и теории чисел.

Двадцать восьмого июня 1986 года был 60-летний юбилей Эмилиано Апарисио. Мы его поздравили письмом и по телефону. Семнадцатого декабря скончался от рака желудка Евгений Михайлович Никишин.

Двадцатого апреля 1987 года я выехал в Прагу, откуда вернулся 14 мая. Из Праги 8 мая меня возили в Милин, где 11 мая 1945 года был последний бой наших войск с фашистами. Там ежегодно в это время собирались студенты. Меня попросили выступить с краткой речью на митинге.

В июне ездил на несколько дней в Одессу на конференцию по графам.

Двадцать шестого июля 1987 года скончался Владимир Геннадьевич Спринджук. Неожиданно у него обнаружился рак, и он быстро стал угасать. Прожил очень мало (примеч. Д.: он родился в 1936 году).

В 1987 году Алексею Фёдоровичу Леонтьеву исполнилось 70 лет. В Уфе, где он жил и работал, готовилась научная конференция, посвящённая его юбилею. Я должен был поехать на неё. А он был в Москве за несколько дней до юбилея, затем возвратился в Уфу, где неожиданно умер. Конференция состоялась, но я уже на неё не поехал.

Тридцать первого октября 1987 года я выехал в Будапешт, откуда вернулся одиннадцатого ноября. Поездка была организована Валерием Борисовичем Кудрявцевым по линии научных связей факультета ВМиК МГУ с математическим факультетом Будапештского университета. Меня пригласили, наверное, потому, что я был «свой» человек в Будапештском университете, часто там бывая, и был полезен для контактов.

В 1987 году в издательстве «Наука» вышла моя книга «Трансцендентные числа». Через два года она была переведена на английский язык издательством Вальтер де Грейтер.

С лета 1958 года мы снимали дачу в Гигирёве. В 1987 году рядом снял дачу Александр Сергеевич Мищенко. Как-то он привёз Сергея Михайловича Никольского с его дачи неподалёку. Хорошо посидели у нас. Бывал у нас и Сергей Петрович Трушин.

В июне 1988 года я на несколько дней летал в Одессу на защиту диссертации, как временный член Совета ОГУ. В октябре побывал в Тбилиси на симпозиуме по теории чисел.

Шестого ноября 1988 года вылетел в Мадрид, уже без промежуточной посадки. Встретил меня снова Валерий Сианка. Утром 8 ноября выехал в Бильбао. С утра 9 ноября стал там читать лекции для студентов, а после обеда для преподавателей. Лекций читал много. Двадцать второго ноября был на банкете у директора департамента университета. Утром 28 ноября вылетел из Мадрида в Москву.

С 10 по 16 сентября 1989 года я был на конференции в Минске. С 21 сентября по 6 октября находился в Одессе для чтения лекций. Принимал меня Павел Дмитриевич Варбанец.

ЕЩЁ РАЗ ПРО КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Для улучшения жилищных условий Оли и Нины мы с Таней решили подыскать подходящий обмен, присоединив к нему и Любовь Григорьевну (примеч. Д.: то есть, напомним, мать детей Андрея Борисовича). После нескольких попыток, усилиями Тани, это дело увенчалось успехом: мы с Таней, Катей и Любовь Григорьевной получили 4-ёх комнатную квартиру на Новокузнецкой, Оля с Борей, Аней и Андрюшей переезжала в наш дом с двухкомнатной квартиры на 11 этаже в занимаемую нами 3-ёх комнатную квартиру на 10 этаже, а Нина с Ваней - с Угрешской в квартиру Оли. За это мы отдавали квартиры Нины и Любовь Григорьевны (примеч. Д.: у Любви Григорьевны была своя однокомнатная квартира на Перекопской улице).

Осенью Таня организовала ремонт в квартире на Новокузнецкой, закончившийся вскоре после моего возвращения из Испании. Тогда мы все и переехали.

Вовремя мы провели этот обмен: через год или два такая задача была бы уже не реальной.

1990 ГОДЫ

По нашей рекомендации в 1990 и 1991 годах в Гигирёве рядом с нами жили Сударевы: сестра Юрия Валентиновича Нестеренко с мужем (примеч. Д.: то есть с доцентом Мехмата МГУ Юрием Николаевичем Сударевым), матерью Ниной Григорьевной и маленькой дочкой Олей. В 1990 году с ними жил и Юрий Валентинович. Мы с ними вместе ходили в лес, гуляли и купались.

В конце августа 1990 года Таня и Юра пришли ко мне и сказали, что они хотят пожениться. Я против этого ничего не имел. Юра переехал к нам жить в Москву. А 28 июля 1991 года у них родилась дочь Наташа.

Двадцать седьмого февраля 1990 года скончался Александр Адольфович Бухштаб. Это был интеллигентный, порядочный и доброжелательный человек. Много лет он заведовал кафедрой теории чисел в пединституте, где и я много работал по совместительству. Он был одним из старейших участников семинара по теории чисел на Мехмате МГУ, и посещал семинар до конца 1989 года.

С 30 октября по 7 ноября 1990 года я снова находился в ФРГ в Обервольфах. Было много интересных встреч. Вместе со мной ездили Наум Ильич Фельдман, Юрий Валентинович Нестеренко и Александр Иванович Галочкин.

Двадцать шестого марта 1991 года я госпитализировался в Институте имени Гельмгольца, где мне через два дня сделали операцию: сняли катаракту и поставили искусственный хрусталик в левый глаз. Операция прошла хорошо, и 2 апреля я вернулся домой. С тех пор очень хорошо вижу этим глазом. Но, конечно, читаю с очками.

С 12 по 15 сентября я ездил в Вильнюс на чествование Йонаса Пятровича Кубилюса в связи с его семидесятилетним юбилеем. Оно прошло своеобразно и торжественно. Приезжало много гостей. А с 23 сентября по 30 сентября я снова ездил в Литву - в Паланге проходила научная конференция, посвящённая юбилею Кубилюса.

В 1991 году Юра летал в Японию на 3 недели для чтения лекций.

Пятнадцатого февраля 1992 года Юра с Таней и детьми - Катей и Наташей - уехали в Париж на 4 месяца. В конце своего пребывания во Франции они поехали на неделю в Испанию к Эмилиано Апарисио. Домой вернулись 24 июня.

Пятого января 1993 года Юра с Таней, Катей и Наташей вновь улетели во Францию, где жили 3 месяца в Страсбурге. Потом Таня с детьми вернулась в Москву, а Юра ещё улетел в США, в Беркли, на два месяца.

С 20 по 22 сентября 1993 года я ездил в Тулу на конференцию по теории чисел.

С 25 сентября по 2 октября был в ФРГ на конференции. Это была моя последняя поездка в Обервольфах. На следующую конференцию туда я уже не смог поехать.

Пятнадцатого января 1994 года скончался Михаил Николаевич Зайцев. Около 20 лет мы с ним дружили. Но потом, по неизвестным мне до сих пор причинам, он прекратил всякое общение со мной. Хотя мы никогда не ссорились. О его смерти я узнал лишь через некоторое время от Ивана Николаевича Григорьева, нашего однокурсника, работавшего в МИСИ вместе с Зайцевым.

Двадцать первого февраля у сына Эмилиано Апарисио - Антонио - родилась дочь Марио Апарисио. Много лет Антонио был холостым. Но вот в Испании он познакомился с москвичкой Ирой, приехавшей туда работать по контракту певицей, и женился на ней.

Двадцатого апреля 1994 года скончался Наум Ильич Фельдман. Это была большая потеря для кафедры теории чисел и лично для меня. Большой учёный, прекрасный педагог, замечательный человек и товарищ. Он работал до последнего дня своей жизни. В день смерти мы его ждали на семинар. Но он не пришёл. На звонки по телефону не отвечал. После нашего телефонного звонка к Олегу Сергеевичу Ивашёву-Мусатову - его соседу, Олег Сергеевич обнаружил Наума Ильича дома умершим, видимо, ещё ночью. Кафедра и факультет с честью проводили его в последний путь. Сорок шесть лет я дружил с Наумом Ильичём.

С 16 мая по 14 июля 1994 года Юра снова находился в Париже.

Первого февраля 1995 года скоростно скончалась Любовь Григорьевна.

Двадцать второго марта 1995 года скончался Алексей Георгиевич Постников. С ним мы вместе учились и дружили с 1939 года. Он был энтузиастом математики и много сделал для её развития. Был добрым и отзывчивым человеком. Я принял участие в его похоронах.

Девятого мая 1995 года отмечали 50-летие Победы. На Мехмате перед этим днём, как всегда, собрались ветераны и отмечали праздник. Были и университетские мероприятия в память о Победе. Был большой

банкет в МГУ, организованный ректоратом, где всем присутствующим (а их было много) ректор приподнёс часы с портретом Жукова. Получил я и другие часы в территориальном управлении по месту жительства.

В 1995 году мне присвоили звание Заслуженного профессора Московского университета.

А в марте 1995 года Юра с Таней купили автомобиль «Москвич». Таня ещё раньше обучилась вождению на курсах. Получив права, она довольно быстро освоила машину и стала прилично водить. Вскоре купили и металлический гараж, и успели вовремя «застолбить» у себя во дворе место для его установки. В августе 1997 года установку гаража официально зарегистрировали, что сделать было совсем не просто. Помогло то, что я ветеран войны, ветеран труда, ветеран Метростроя, заслуженный деятель науки.

В июле 1995 года на своей машине мы поехали посмотреть дачу Владимира Григорьевича Чирского. Дачу нашли, но хозяев не было дома - они приехали после нас.

Тринадцатого августа 1995 года мне исполнилось 80 лет. Отмечали этот юбилей четыре раза: с родными, с коллегами-математиками, с коллективом кафедры теории чисел, с Сударевыми в Гигирёве. Поздравили меня и многие из моих учеников. Среди них 15 кандидатов наук, из которых двое защитили докторские диссертации: это Юрий

Валентинович Нестеренко, защита которого состоялась 31 октября 1986 года, и Владислав Хасанович Салихов, защитившийся 29 апреля 1992 года.

Двадцать второго ноября 1995 года скончался Сергей Борисович Стечкин, с которым мы много лет были в хороших отношениях. Это был уникальный математик. Он знал на память где и когда были опубликованы важные работы по теории функций и теории чисел.

Первого декабря 1995 года Юра и Таня с детьми снова уехали во Францию. Пять месяцев они прожили в Париже и месяц в Марселе. В течении двух месяцев Юра раз в неделю ездил из Парижа в Сент-Этьен для чтения лекций.

В Париже Юра получил замечательные результаты об арифметических свойствах значений модулярных функций. Откуда, в частности, следовало решение известной проблемы об алгебраической независимости чисел «пи» и «е в степени пи». Известный французский математик Жан-Пьер Серр представил статью Юры в журнал Парижской Академии наук, где она быстро была опубликована. Мы с Вадимом Зудилиным постарались добиться быстрого опубликования подробного изложения этой работы в Москве в журнале «Математический сборник».

Из Парижа Юра ездил на конференции в Обервольфах. Туда должен был поехать и я, но не решился из-за состояния своего здоровья. Ездил Юра, также по приглашению, в Базель в Швейцарию. Там он делал доклады о своей работе. Его результаты получили высокую оценку математической общественности.

Третьего декабря 1995 года умер Борис Владимирович Гнеденко, с которым мы были в хороших отношениях.

В 1995 году Юра с Таней купили участок в Гигирёве (примеч. Д.: продававшийся его хозяйкой после случившегося пожара). Разобрали на нём все «доисторические» постройки и стали думать о строительстве дома. Участок был примерно в 13 соток.

Знакомая архитектор в Гигирёве - Екатерина Тархова - подготовила нам проект дома (примеч. Д.: как мне сообщила Татьяна Андреевна Шидловская, бабушка Екатерины Тарховой являлась двоюродной сестрой Александра Яковлевича Хинчина). Его утвердили и дали разрешение на строительство.

Осенью 1996 года поставили солидный фундамент, возвели стены из бруса и положили временную кровлю из рубероида. В мае 1997 года были поставлены полы, потолки, перегородки, окна, двери и сооружены две террасы. Снова у Юры и Тани было много хлопот. Они часто ездили смотреть за работой. Но к концу мая дом был вчерне готов, и жить в нём было уже можно.

Двадцать пятого мая на машине всей семьёй мы ездили посмотреть дом. Он нам всем понравился. Большие комнаты, много света, хорошие террасы. Решили собираться переезжать. А 11 июня 1997 года мы все переехали в Гигирёво. И стали жить в своём доме.

Проработав 67 лет, я был не в состоянии построить или купить себе какое-либо жильё за городом. А Юра, съездив несколько раз за рубеж читать лекции, заработал деньги, позволившие ему построить за городом дом.

ЗДОРОВЬЕ СТАЛО ПОДВОДИТЬ

С января 1996 года со мной стало происходить что-то непонятное.

Тринадцатого января Нина не должна была ночевать у нас (примеч. Д.: в семье было заведено, что, в отсутствие Татьяны, к Андрею Борисовичу переезжала жить её сестра Нина), а поздно вечером должен был приехать Иван. В четверть первого ночи я вышел гулять с Джеком (примеч. Д.: собакой семьи Андрея Борисовича). Но забыл взять ключи от дома. Решил у подъезда ждать Ивана. Долго прождал, но безнадежно. У соседа Жоржа горел свет. Я пошёл к нему и позвонил оттуда Ивану домой. Иван всё ещё был дома. Он быстро приехал на такси, заплатив солидную сумму таксисту.

Шестнадцатого января мы с Джеком застряли в лифте. нас освободили только через час.

Пятнадцатого марта заметил, что у меня началась сильная аритмия. Когда-то это у меня бывало и раньше, но не подолгу. С помощью кордарона я сам привёл себя в порядок за месяц.

Двадцать шестого апреля скончался Джек: я пришёл с работы, а он уже холодный. На следующий день мы его похоронили... Похоронили в лесу на обрыве над речкой. Прожил Джек с нами почти 16 лет, что почти предел для собаки. Мы все его очень любили, и он нас всех любил.

Восемнадцатого июня 1996 года я лёг в больницу (глазной институт имени Гельмгольца) по поводу операции катаракты и восстановления искусственного хрусталика в правый глаз.

Девятнадцатого июня сделали операцию, а двадцать пятого отпустили домой. В последний день обнаружили отслолку сосудов и кровоизлияние. Двадцать восьмого июня была вторая операция, после которой я три часа лежал в коридоре. Двадцать девятого и тридцатого июня Таня возила меня на уколы. Первого июля у меня обнаружили спайку сосудов. Мне сделали какой-то укол под глазом. Я с трудом дошёл до машины. Стало очень плохо с сердцем. Прямо в машине мне сделали укол в вену. Понемногу сердце отошло. Но под глазом оказалась сильная опухоль, долго не проходившая.

Долго ходил я в Институт долечиваться. Постепенно последствия операции проходили. Однако беда в том, что, по-видимому, по какой-то ошибке мне поставили хрусталик не того размера, который был нужен. Глаз стал близоруким, и я им вижу хуже, не совсем резко. Но мне скорректировали очки, и с ними я стал прилично видеть и читать. Теперь хожу без очков и всё вижу хорошо. В общем, всё закончилось неплохо.

Замечу, что операция левого глаза, сделанная тем же врачом в 1991 году, была проведена отлично, и я до сих пор этим глазом вижу замечательно. Надеюсь, что отремонтированных глаз на мой век хватит.

Второго ноября 1996 года я сильно заболел и 2 недели не ходил на работу. По-видимому, был грипп.

Пятого февраля 1997 года я снова тяжело заболел гриппом. На сей раз пришлось вызывать врача.

В начале марта 1997 года у меня опять началась сильная аритмия. Самолечение не помогало. С помощью Наталии Геннадиевны Галочкиной (жены брата Александра Ивановича Галочкина) 23 мая я попал в кардиологический центр в Крылатском. Принял меня заведующий отделением нарушений ритма сердца профессор Сергей Павлович Голицын. До этого мне сделали ультразвуковое исследование сердца и суточную кардиограмму. Сердце оказалось для моего возраста в приличном состоянии, а вот аритмию совсем вылечить уже нельзя. Надо поддерживать сердце лекарствами систематически. Постепенно я, всё-таки, добился установления ритма.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ЗАПИСЕЙ

Восьмого мая 1996 года я получил в префектуре медаль «К 100-летию Жукова». Там же выдали 20 000 рублей на водку. А перед 9 мая, на Мехмате МГУ, с ветеранами, скромно отметили День Победы. Там нам выдали уже по 100 000 рублей.

Двадцать девятого мая прилетели наши из Марселя. В сентябре Юра съездил в Палангу на конференцию, посвящённую 75-летию Йонаса Пятровича Кубилюса. Мне тоже очень хотелось поехать, но я не решился.

Тридцатого ноября Юра с Таней улетели в Японию. Вернулись 14 декабря. А 18 декабря на кафедре отмечали 50-летие Юры.

Пятнадцатого января 1997 года Юра с Таней и Наташей улетели в Индию. Мы волновались из-за сообщения об их прилёте. Но 18 января позвонил Вадим Зудилин и сказал, что всё в порядке - получил от них сообщение по электронной почте.

Третьего и четвёртого февраля был на конференции, посвящённой юбилею Карацубы (примеч. Д.: то есть в честь 60-летия Анатолия Алексеевича Карацубы). Побывал и на банкете в столовой МГУ.

Двадцать первого февраля на Учёном Совете Мехмата МГУ Юра был выдвинут в члены-корреспонденты РАН. В июне были выборы. Он дошёл до 3-го тура, набрал 28 голосов, а для избрания надо было получить 30 голосов.

Пятнадцатого марта из Индии прилетели наши. Рассказали нам много интересного об увиденном.

Двадцатого мая 1997 года неожиданно скончался Сергей Иванович Трушин. Ещё 16 мая у него случился 20-минутный обморок. Его увезли в больницу. Но он там не остался. Пробыв день, уехал домой: с него там взяли «подписку». Девятнадцатого мая он поехал на Мехмат МГУ за зарплатой. Поужинав у сестры (жившей с ним в одном доме), пошёл к себе домой. На завтрак к сестре не пришёл. Она пошла к нему и обнаружила его уже мёртвым.

Для меня и моей семьи смерть Сергея Ивановича - тяжёлая утрата. Мы дружили с ним с 1939 года. Вместе учились в одной группе университета два первых года. После войны он бывал у нас в Ильинском, в Москве на Моховой, на проспекте Вернадского и в Замоскворечье. Часто приезжал в Гигирёво. Много внимания он уделял моим детям и внукам. А они его очень любили.

Двадцать восьмого июня Юра уехал в Польшу на конференцию, посвящённую 60-летию Анджея Шинцеля. Должен был поехать и я, но не рискнул. Хотя мне очень хотелось побывать хоть несколько дней на земле своих далёких предков и повидать многих знакомых математиков.

Первого августа Юра привёз официальное письмо с извещением о награждении его премией Островского.

Двадцать третьего августа Юра уехал в Финляндию на 2 недели.

Четвёртого сентября были с Таней в гостях у Александра Сергеевича Мищенко по поводу получения ими дополнительной квартиры для отселения сына с семьёй. Из гостей там были Виктор Антонович Садовничий с женой, Валерий Васильевич Козлов и Анатолий Тимофеевич Фоменко. Посидели долго, было много разговоров.

Двадцать восьмого сентября мы с Таней были у Евгения Прокофьевича Долженко, отмечая день его рождения.

Пятнадцатого февраля 1998 года проводили Юру, Таню и Наташу в Париж на три месяца. В Париже они остановились на той же квартире, где жили 6 лет назад. Там у них был телефон. Поэтому мы часто разговаривали с ними по телефону. Восьмого марта Юра уехал в Обервольфах на конференцию. Четырнадцатого марта возвратился из Германии в Париж.

Наташа у Тани с Юрой родилась с пороком сердца, что было обнаружено лишь через некоторое время. В сердечной перегородке у неё отверстие в полтора сантиметра. Её показывали врачам в Москве и в Париже. При последнем осмотре в Париже, два года назад, рекомендовали с операцией не спешить. Так вот, одной из целью этой

поездки в Париж было показать Наташу врачам и решить вопрос об операции. И если, всё же, будет необходимо, то и сделать операцию.

Двадцать четвёртого марта Наташу возили в кардиологическую клинику. Было решено пока операцию отложить на некоторое время, до укрепления организма. А шунтирование было исключено.

Четырнадцатого апреля в Москву возвратились Юра, Таня и Наташа. А 21 апреля Юра с Таней опять улетели в Париж. На следующий день они уехали из Парижа в Голландию в Лейден, где состоялась церемония награждения Юры премией Островского - его туда пригласили с супругой. Он там делал доклады. Было торжественное заседание, на котором ему вручили медаль премии Островского. При возвращении поездом в Париж они, по пути, провели 28 апреля целый день в Брюсселе. Поздно вечером они приехали в Париж и позвонили нам.

В апреле я простудился и заболел. Болел долго. Перенёс болезнь, в основном, на ногах, и ходил на работу. Был насморк, кашель, много мокроты, болела поясница. Лишь 30 апреля я сходил к врачу.

Первого мая из Парижа нас поздравили Юра и Таня. Сообщили о присуждении Юре премии Рамануджана по математике. А 2 мая вечером прилетела Таня: она вернулась в Москву раньше, так как надо уделять внимание Катюше, которая заканчивает школу.

Кате с учёбой трудно. Её несколько раз на длительные сроки увозили за границу. Это, естественно, отразилось на её учёбе. Пока не ясно, как пойдёт её дальнейшее образование. Это меня очень беспокоит. Ведь все мои дети и внуки (взрослые) получили высшее образование. Надеюсь, что и Катюша найдёт своё призвание, и будет учиться дальше.

Наташу же определили в школу с углублённым изучением французского языка в районе Арбата. Будут её туда возить. Далеко. Меня беспокоит положение Наташи. Я буду спокоен лишь тогда, когда ей сделают операцию, и она будет совсем здорова.

Шестого мая, как обычно, на Мехмате МГУ собирались ветераны. С каждым годом на встречу приходят всё меньше и меньше участников

войны. Восьмого мая вечером прилетел Юра, решивший вернуться из Парижа раньше срока.

Я, по-прежнему, чувствую себя не очень хорошо. Хочется скорее поехать в деревню и пожить на природе.

ИЗ ЭПИЛОГА

Ну, вот и подошли к концу мои «Записки-воспоминания». Конечно, в них отражено лишь небольшое из моей столь продолжительной жизни. Я почти не останавливал внимание на различных общественных и политических событиях. Хотя мог бы рассказать о многом. Совсем мало написал о жизни факультета и университета, о том, что там происходило за моё 59-летнее пребывание на нём. Совсем кратко описывал многие мои поездки по стране и за рубеж, зачастую ограничиваясь лишь перечислением их. Подробное изложение всего этого потребовало бы много времени, и у меня его, наверно, не хватило бы для выполнения

задуманного. Основное же содержание моих записок было краткое описание моей жизни и жизни моей семьи.

Среди большого числа теперешних преподавателей и научных сотрудников Мехмата МГУ старше меня только Л.И.Седов, А.А.Ильюшин, К.А.Рыбников, А.Ю.Ишлинский, А.Я.Сагомоян.

(Примеч. Д.: Андрей Борисович их всех пережил - и Леонида Ивановича Седова (скончавшегося в 1999 году), и Алексея Антоновича Ильюшина (скончавшегося в 1998 году), и Константина Алексеевича Рыбникова (скончавшегося в 2004 году), и Александра Юльевича Ишлинского (скончавшегося в 2003 году), и Артура Яковлевича Сагомояна (скончавшегося в 2002 году). Пережил он и своего испанского друга Эмильяно Апарисио, о смерти которого (в 1998 году) он узнал уже после написания этих записок).

А живу я сейчас, в основном, интересами моей семьи: детей, внуков, внучек и правнучки, а также интересами Мехмата МГУ, где я работаю и продолжаю заведовать кафедрой (примеч. Д.: Кафедрой теории чисел Андрей Борисович продолжал заведовать ещё 4 года).

Первые строки этих воспоминаний я написал 30 июня 1989 года в Гигирёве, когда Таня с Катей отдыхали в Одессе. Несколько страниц прибавилось к рукописи 11 июля 1991 года также в Гигирёве, когда Таня была в родильном доме. Но дело двигалось плохо. И лишь в 1994 году я взялся писать уже серьёзно.

В 1994-1998 годах было написано основное содержание этих «Записок-воспоминаний». А последние их строки были мною написаны 12 мая 1998 года.



Ася Лapidус

Не три свечи горели, а три встречи...



аркое нью-йоркское лето 81-го. В Бруклине, на Ocean Parkway в школе, казалось бы, сталинской постройки, но имени Абраама Линкольна, Бродский читает стихи, а потом щедро (возможно, не без раздражения) раздает автографы. Я здесь с Таней Бешер – довеском от свежей выпечки - румяной и бойкой. В руке у меня школьной тетрадкой тонюсенькая книжка Римские Элегии – 12 штук, а я - умираю от застенчивости. На мне серенькое, почему-то пахнущее варом - вареным жидким асфальтом, купленное на улице за бесценок – платье-рубашке, по-своему стильное, но мне стыдно этой стильности, стойкого нефтяного запаха, себя, таниной развязности, я стою у косяка двери на сквозняке и не могу ни шага. Вдруг Таня выдергивает из негустого окружения - поэта, и ведет его прямо ко мне со словами - Это Ася, она тоже пишет. Он ядовито улыбается – может и не очень ядовито – привык – и тихим, заметно картавым голосом, с вопросительными-неуверенными интонациями спрашивает – как зовут, и еще что-то, а потом размашисто подписывает книжку – народ, то есть я – безмолвствует – больше ничего не помню – позора вполне достаточно для глубокой амнезии. Но не забыть - поэт красив – необыкновенно и абсолютно – перепутанные, уже совсем не рыжие потускневшие-поредевшие волосы, но он ослепителен – довольно-таки язвительным изгибом рта и рыжими насмешливыми глазами, светлым лицом с открытым лбом и совершенно особой - приятной поношенностью. На нем обмято-помятый пиджак и коротковатые брюки, плохо застегнутая рубашка, но он почти вызывающе элегантен – тут не научить и не научиться – красота – это врожденное.

...Какие они были - поэтические чтения Бродского – трудно сказать. Их было немного, а кажется – очень много. Небрежных и напряженных, всегда насыщенных, и нараспев и скороговоркой. Разношерстная публика внимала, вслушивалась, а потом чуть шурша, расходилась – заметно облагороженная. Между тем, в зале во время чтения стояла тишина, осененная благоговением – которого он не замечал в досаде и в увлеченности. Облик его на сцене выражал явную непубличность - приватность, даже затушеванность. Он охотно читал других, а однажды он прочитал свое любимое стихотворение – Памятник.

Поднимал отстраненное лицо, сосредотачиваясь, или опускал взгляд к листу бумаги. Лоб выпукло высвечивался...

Пяти лет – нет как нет – год 1986-й, зима. Юра Орлов с Ирой Валитовой только что из Москвы, не очень уверенно поселились в Нью-Йорке в Вест Вилледж на Мортон – адрес известен всем, кроме меня – сейчас не до того. Ире не может, и это заразительно – все непомерно, я почти ежедневно в выходные или с работы бегом за вином на 7-ю Авеню – и к Ире. Джон иногда заходит за мной, иногда нет – занят. А Юра где-то все хлопочет. Ухожу поздно. Выхожу от нее – снега. Ворота у них какие-то чугунные – старомодно-ностальгические. И однажды – не забыть – между нами эти самые кованые ворота – по другой стороне их неожиданно-ослепляюще – Бродский. Почти на глаза – напылена пыжиковая что ли шапка – совершенно отчетливая изысканная эlegantность облика, и взгляд внимательный – не то, чтобы неподвижный, но останавливающийся-останавливающий – господи, да я ли это – дыша духами и туманами – таинственная и прелестная. Нет, он не просто красавец – он поэт. Посторонился – глаза в глаза, от лица свет – это и от моего лица тоже, и от снега – я чувствую, что у меня легкие прохладные пальцы. Чтобы никогда не забыть – в память – пройти-пролететь по снегу мгновенно.

Ира уехала в Москву и не вернется – не зря подарила слезинку-жемчужинку, чтобы помнила, но не верится – будем ждать. Мы с Джоном везем ее в аэропорт – поляроид – от нас – фотографировать Москву-красавицу – может вернется все-таки, надеемся. Но пройдет время, и Юра позвонит мне и скажет в сухом каком-то отчаянии – не приехала и не придет. Суббота или воскресенье – не помню – знаю только, что прямо сразу после его звонка – задыхаясь, к Юре. Утро с утра довольно тусклое, а дома у Юры по деревянному скрипящему полу Люда Алексеева копошится, что-то складывает, упаковывает что ли. Навстречу мне встает Бродский. Он совсем другой – домашний, в нем нет неожиданности, нет и небрежности – подтянутый, в синем свитере и белой рубашке – ворот распахнут. Очки в золотой оправе – в облике что-то докторское, он кажется немолодым, снисходительным, старомодно по-медицински внимательным, и еще – почему-то проступают родовые черты – еврейские, и при ироничном взгляде и тонкогубой насмешливой улыбке отчетливо заметна уютная доброта. Почему-то видно, что он ленинградец, сдержанно-северный человек с берегов Невы. Он непрерывно стреляет у меня сигареты, глотает дым. Я в разговор не встречаю – многократно опустошаю пепельницу, но меня все время выносит к их берегу – я стараюсь не вслушиваться, но слышу – Может, вам завести собаку.

Юра Орлов и Бродский похожи – оба светлокосые и оба, хотя уже, пожалуй, в прошлом, но все же ошутимо рыжеволосые, что и сейчас заметно опытному моему глазу – я ведь оттуда – из лиги красноголовых. Юра отчетливо проигрывает – простоват – хотя казалось бы – но проигрывает, никуда не денешься – поэт – он другой – другой и особенный. Они тихонько беседуют часа два – я устала давно и ужасно, но молчу-помалкиваю. Люда очень тактична и незаметна – в тени. И зимний день короткий и тенистый.

А Юра уже в Итаке. Приезжает – нет, не к нам, но у нас останавливается, и как-то вечером берет нас собой в гости к Бродскому на Мортон – Конечно, удобно. Вереницей у приотворенных дверей – как сейчас вспоминается - унылой очередью - Юра впереди проходит в дверь, мы с Джоном – незваные – топчемся позади, не решаясь через порог. – Муж американец? – и вопросительное – Нет. - Юра сконфужен, мы пятимся. Дверь окончательно захлопывается. Такая вот не встреча.

Еще десять лет. Опять зима – 96-го года. Прощание. Снег или нету – не помню. Народу, казалось бы, не густо, но – лица, лица, лица – путаются - перепутываются, почему-то запомнился Вайль с бородой. У Бродского строгое лицо, смотреть в которое невозможно.



Игорь Ефимов

О стихах и поэтах

*



сть поэты, радующиеся только тем строчкам, в которых – как им кажется – рука Господня двигала их пером.

Есть поэты, радующиеся только тем строчкам, которых – как им кажется – Господь не мог бы создать без них.

Но нет поэтов, готовых допустить – хотя бы как отдалённую возможность, – что у Господа есть другие интересы в мире, кроме поэзии.

*

Что такое поэт, спрашиваете вы? Кого можно считать поэтом, а кого – нет? Да всякого, кто написал хоть один стих так, чтоб где-то – кто-то – незнакомый – вдруг заплакал над ним, – тот и поэт. Как в «Сказке об аленьком цветочке»: на кого упала чья-то слеза, тот и преобразился. Слишком много получится поэтов? Ничего, наизусть всех учить не обязательно.

*

Ахматова больше всего – но с привкусом горечи – любит два состояния: трепетное ожидание встречи с возлюбленным и тонкую грусть момента расставания. Поэтому её жалобы по поводу разлуки звучат не очень убедительно. Она не очень знает, что ей делать с любимым, когда тот рядом. («Гулять? Целоваться? Стареть?») Будто боится признаться, что ей при этом становится скучно. С другой стороны, всегда можно допустить, что поэт удерживает себя на краю настоящей страсти, настоящего отчаяния не из страха перед болью, а из страха перед дурным вкусом.

*

Ратуете за влияние литературы на жизнь? А как насчёт самоубийц, которых находили с Гётевским «Вертером» в кармане?

*

Приписываемый Лермонтову роман «Вадим» – явная подделка. Только титульный лист с рисунками и первая глава, с блёстками стиля и иронии – лермонтовские. Дальше идёт беспомощная графомания, накатанная неизвестным фальсификатором где-то к 1880 году – моменту первой публикации. Есть только одно упоминание современника об этом произведении: что девятнадцатилетний Лермонтов начинал роман из Пугачёвских времён, но потом оставил. Можно было бы ещё поверить в подлинность, если бы весь роман был одинаково бездарен. Но так не бывает – чтобы автор написал первые три страницы блистательно, а потом пошёл строчить позорную чушь. Когда всё это подтвердится путём

какого-нибудь спектрального анализа страниц рукописи, хранящейся в Пушкинском доме, какой позор будет всему русскому литературоведению, не сумевшему распознать фальшивку.

*

Читать Пастернака – права Цветаева! – всё равно, что сидеть на берегу моря. И вглядываться в зелень волн. Всегда одних и тех же. И всегда новых. И вслушиваться в шум. И мечтать. Есть масса людей, обожающих такое времяпрепровождение. Но мне – мне всегда при виде моря хотелось надеть маску, ласты и нырнуть в глубину. Увы, в Пастернака ныривать я не умею.

*

Люди, любящие поэзию, порой ропщут на Бога за то, что он дал пуле Мартынова поразить Лермонтова в таком молодом возрасте. Неблагодарные! Они упускают из вида все те чеченские пули, которые пролетели мимо, и весь тот легион ангелов-хранителей, которых надо было посылать на Кавказ – отталкивать дула чеченских ружей, – чтобы хотя бы строчка «За всё, за всё Тебя благодарю я...» успела появиться на свет.

*

Евгений Евтушенко – самый искренний литературный притворщик.

*

Загадка славы Маяковского: один кавказский уголовник (Сталин) признал другого кавказского уголовника за своего и возвёл его – посмертно – в председатели всей российской поэзии. Тем более что это было вполне в духе его обычной пропагандной схемы: там, где есть главный хлебороб – Лысенко, главный шахтёр – Стаханов, главный лётчик – Чкалов, главный композитор – Дунаевский, главный садовод – Мичурин, должен же кто-то быть и главным поэтом.

*

Новые поклонники формализма не отвергают авторитеты, но просто запоминают их заповеди по-своему. Пушкинская формула «для звуков жизни не шадить» оседает у них в памяти как «для звуков смысла не шадить». А очаровательное высказывание Аверинцева «и у слов есть своя совесть» они цитируют как «совесть есть только у слов».

*

Поэт Кушнер – жизнелюб печальный.

*

Как сообщают летописи, в 1970-80-е годы в Третьем Риме произошло удаление русских литературных плебеев на священную гору старославянских диалектов, где они пытались укрыться за частоколом исконно-посконных слов, так чтобы ни один чернявый пушкиноведа не мог их там настичуть-постичнуть.

*

Если бы литература могла оказывать положительное воздействие на жизнь общества, то как в стране Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Блока могли воцариться большевики? А в стране Гёте, Шиллера, Гейне, Томаса Манна – нацисты? И с другой

стороны, как это старейшая в мире демократия – Швейцарская – живёт себе уже четырёхста лет без великих писателей и горя не знает?

*

Мысль долговечнее слова. Гомера и Вергилия в наши дни читают лишь по обязанности или из любопытства. Платона, Аристотеля, Цицерона, Плутарха – со страстью.

*

Поэт вправе, вправе гневаться, когда видит, что даже самые прекрасные строчки не могут спасти от шрапнели хотя бы одного ребёнка в этом обезумевшем мире.

*

От уродства сердце больно тоскует. От красоты – сладко болит. Но схоласты эстетики изо всех сил пытаются увернуться от этой неизбежной боли, хотят научиться измерять красоту и уродство не болью сердца, а калькуляцией рифм, строчек, слогов.

*

В армии повышение или понижение в чине может придти только сверху – от генерала, от маршала. Вот и мы, в наших спорах о литературе, потому так любим поднимать или понижать поэтов в чинах, что это занятие озаряет нас блеском литературно-генеральских эполет.

*

В юности богатство собственной души, вдруг открывшееся поэту, кажется неисчерпаемым. Он кидается разрабатывать эту золотиносную шахту упоённо и безоглядно. Но в середине жизни вдруг доходит до дна, и лопата начинает скрести камень. Это и называется творческий кризис.

*

Поэт мечтает о том, чтобы слова его достигли цели – пронзили нам сердце. А там простреленную мишень можно и выбросить.

*

С одной стороны – «не убий». С другой – «чара силы и сила чары». Поэтому смягчившийся разбойник и гибнущий герой – вот два любимых персонажа Цветаевой. Причём разбойнику можно долго прощать его преступления – ведь он, наверное, готовит себя к восхитительному раскаянию. Но пусть только герой попробует победить – ого! Тут она ему покажет.

*

Магия поэзии – в подчинении говорящего надличной силе: гармонии, ритму, рифме. «Не я говорю – мною кто-то глаголет». Даже в зарифмованной лестии или брани остаётся это чудодейственное зерно, за которое властимуший заказчик и платит такие щедрые гонорары.

*

Вечная жалоба-зов поэта к возлюбленной: «Поднимись ко мне, в мою холодную ястребиную высь». И вечная его забывчивость о том, что без дара испускать ястребиный осенний крик в этой выси не выжить. Да и делать нечего.

*

Удаль разбойника, бросающего вызов судьбе, стражникам, самому королю, влечёт сердца безотказно. Неважно, сколько невинных душ он погубил, неважно, сколько сёл сжёг. «Не все у вас под сапогом, всеильные!» – вот что важно. Поэты всегда будут воспевать Робин Гуда, Карла Моора, Стеньку Разина, Емельку Пугачёва. Таково же, мне кажется, происхождение культа Фиделя Кастро, который сумел зачаровать даже таких несентиментальных людей, как Хемингуэй и Грэм Грин.

*

Чужая душа – потёмки. Но и своя – немногим светлее. Мы кувыркаемся вместе с ней в повседневной невесомости, как космонавт в потерявшемся корабле. И лишь слова поэта или пророка, пролетающего невдалеке, вернут нам ненадолго чувство веса, ощущение верха и низа.

*

«Высокомерный – мерит высокой мерой», расшифровала Цветаева.

«Высокопарная – высоко парящая», могла бы добавить она о себе.

*

Кого имел в виду Мандельштам, сказав «...и меня только равный убьёт»? Неужели «кремлёвского горца»?

*

«Поэзия не есть выражение чувств, – сказал Томас Элиот. – Она – способ бегства от чувств» (a way to escape emotions).

И тысячи беглецов с облегчением ринулись в отворённую им дверь.

*

Как часто в жизни поэт огорчает нас своей капризностью, вздорностью, несправедливостью, деспотизмом. Но ведь нужно ему на ком-то отыгаться за его вечную, беззаветную, трепетную покорность Слову.

*

Большинству поэтов в XX веке любой умысел в стихотворении кажется злым. Вывози, спонтанность!

*

Когда поведение собственных детей не нравилось Цветаевой, она связывала им руки – для их же пользы. Сталин и Мао-Цзедун не достигли цветаевских высот в поэзии, но в деле «полезного» связывания рук сильно превосходили её. Поэтический деспотизм? Деспотическая поэтичность? Распоряжаться людьми, как словами?

*

Актёр, читающий стихи с эстрады, изо всех сил – глазом, ухом, губой, носом – старается выразить поэзию. Не понимает, глупый, что главное здесь – исчезнуть, стать только голосом.

*

Если Грибоедов обращался с персами в Тегеране, как Чацкий – с русскими в Москве, понятно, почему конец их терпению пришёл так скоро.

*

Главной добродетелью римлян времён республики было свойство несовместимое с поэзией: умение подавлять свои эмоции. Только после падения республики и возникновения империи могли появиться Гораций, Вергилий, Овидий.

*

Только бесстрашно любящий Бога мог сказать: «И пусть меня накажет тот, кто изобрёл мои мученья». Лермонтов – русский Иов.

*

Если бы в русском языке, кроме сравнительной и превосходной степеней, была ещё и *надрывная*, Цветаева пользовалась бы только ею.

*

Скрытое цитирование в стихах порой рождает ощущение необычайной близости с персонажем, с читателем. «Не то, что женихи твои в бою/ поднять не звали плотников стропила...» заставляет вообразить, что Мария Стюарт не только слышала английскую свадебную песенку, но и Сэлинджера читала и всё поймёт с полуслова.

*

Поэт, как Одиссей, вечно ведёт свой кораблик между Сциллой однозначности и Харибдой невнятицы. Но в веке двадцатом Сцилла была признана главным злом, а Харибда сумела даже завоевать известную поэтическую респектабельность.

*

Стихи его «взлетали» – это правда. Но их короткий полёт походил на полёт птицы, озабоченно высматривающей, где бы ей поскорее приземлиться.

*

Следовало бы устроить отдельный санаторный рай, с усиленным снабжением амброзией и нектаром, для жены Байрона, любовницы Некрасова, мужа Цветаевой, возлюбленных Маяковского.

*

«Мой милый, что тебе я сделала?» спрашивают не для того, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы иметь право начать длинное перечисление: «вот, что ты, милый, сделал мне».

*

Об эротике мы узнаём гораздо больше из молчания родителей на эту тему, чем из всех непристойных картинок. Может быть, следовало бы запретить взрослым разговаривать о поэзии при детях? Тогда бы мы уже в детстве получали представление о жаркой тайне поэтического слова.

*

Сила тяжести воздействует на всех людей без разбора. Сила лёгкости – только на поэтов.

*

В детстве мы больше всего любим распевать песенки, загадывать загадки и жаловаться маме. Потом эти три ручейка – Пение, Загадка и Жалоба – вытекают из-под детской кровати и сливаются в речку под названием Поэзия.

*

Поэт порой командует непослушными словами, загоня их в размер, как командир командует необученными рекрутами, втискивая их в строй. Но слова – не солдатики. За насилие над собой они мстят.

*

Посредственность никогда не скажет поэту прямо: «Будь так добр, спустись до моего уровня».

«Служи народу!», – потребует она.

*

Поэт в приёмной хирурга:

– Сколько мне будет стоить операция по замене языка «жалом мудрая змеи»? Сердца – «углем пылающим»? «пламенным мотором»?

*

Сначала рифмующие шаманы должны добиться, чтобы их заклинания были признаны поэзией. Потом разрисовщики тканей протолкнут свои эскизы в музей живописи. А там уж рукой подать до ефрейтора, пролезавшего в главнокомандующие, или до недоучившегося семинариста, объявленного светочем лингвистики.

*

Синяевский свёл никого не трогающего бронзового человека с пьедестала, и тысячи пожизненных Рюхиных до сих пор рукоплещут ему за это.

*

Великий русский философ Владимир Соловьёв приговорил великого русского поэта Михаила Лермонтова к высшей мере христианской защиты – горению в аду за гордость.

*

Если взять «Литературную энциклопедию» и подсчитать, сколько лет писатели и поэты в общей сложности провели в тюрьме и ссылке, может оказаться, что по срокам наказания на человека они обойдут все остальные профессии.

*

Увидев, что лавры чемпиона не светят ему на фехтовальной дорожке поэзии, Набоков перебежал на ринг прозы, но не выпустил при этом острой поэтической шпаги и начал одного за другим теснить безоружных прозаических тяжеловесов: Бунина, Зайцева, Алданова, Мережковского.

*

В трудные доперестроечные времена Андрей Вознесенский написал краткую биографию «своего учителя» Пастернака в качестве предисловия к сборнику его стихов. Про публикацию «Доктора Живаго» за границей, Нобелевскую премию и последовавшую травлю тогда ещё писать было нельзя, поэтому жизнеописание кончалось фразой: «В последние годы жизни Пастернак много болел».

«Понимающие» люди объясняли, что Вознесенский поступил правильно, что иначе сборник бы не вышел. Интересно, как прореагировали бы эти «понимающие», если бы узнали, что Пилат вызвал к себе апостола Матфея и сказал: «Есть возможность опубликовать

Евангелие. Да-да прямо сейчас. Но при одном условии: чтобы о Голгофе – ни слова. Напишите просто: “В последние дни жизни Христос слишком много времени проводил на открытом солнце”».

*

Благодарность есть полномочный представитель и – одновременно – передовой отряд Царства Доброго. Цветаева – воительница и страж Царства Высокого – зорко несёт охрану границ и встречает идею Благодарности пулемётным огнём.

*

Попытка понять колдовство поэзии. Есть такая метафора: река времени. Используя её, мы обычно имеем в виду то время, которое измеряется нашими секундомерами, будильниками, календарями, датами сражений и революций. Но есть ещё две другие реки – такого времени, для измерения которого у нас нет приборов. В одной из них создаются предания и язык твоего народа, меняются нравы, вызревают религии, вскипают океаны вражды или вспыхивает непостижимый творческий подъём. В другой, ещё более далёкой от нашей способности понимания, расползаются континенты, появляются новые породы деревьев, зажигаются новые звёзды, исчезают динозавры. Искусство поэзии, мне кажется, состоит в том, что поэт смутно ощущает свою причастность всем трём рекам и умеет словесной игрой, чудесным прорывом слить их в одну. Очищающее погружение в воды этой слившейся реки и рождает в нашей душе чувство приобщения чуду.

*

Одни люди, соприкасаясь с произведением искусства, ждут, что оно захватит их, покорит, оплодотворит, приобщит к тайне бытия. Другие, наоборот, стремятся разгадать тайну, проанализировать, возвыситься над ней, подчинить, согнуть до себя. И разница между ними так же существенна, как разница между влюблённым и насильником.

*

Поэт! Если хочешь прорвать пелену Майи, помни, что для этого тебе надо будет к ней хотя бы на мгновение прикоснуться. Приземляйся время от времени, не воспаряй в ястребиную высь навеки.

*

Утверждать, что Цветаева была безразлична к идее справедливости было бы несправедливо. «Любимый личный враг!» – вот как нужно определить её отношение.

*

Жена поэта Шелли уговаривала Байрона не ездить в Грецию, не помогать греческим повстанцам против турок. «Захватив турецкий город, – говорила она ему, – они перебили 3000 мирных жителей, вспарывали животы беременным женщинам, отрубали головы младенцам». Но Байрон твердил своё: «We gotta do something» («Мы должны что-то сделать»). Такое же «готта ду самфинг», видимо, двигало Клинтон и Блэром, когда они приказали бомбить Югославию в 1998 году, чтобы помочь «угнетённым» косоварам, Камероном и Саркози, когда они приказали бомбить Ливию в 2011. Кто теперь на очереди у «дугудеров»? Сирия, Мали, Нигерия, Сомали, Кения, Берег слоновой кости?

*

Американский композитор Стивен Фостер, автор знаменитой «Сюзанны» и сотен других песен, умирал в бедности и безвестности. Почувствовав приближение смертного часа, он попросил зажечь все лампы в комнате. Его последние слова были: «Не хочу идти домой в темноте».

*

В выборе между «ложным оправданием» и «волокитой» (см. Кафка, «Процесс») Есенин, Маяковский, Цветаева выбрали «ложное оправдание». И «вторичный арест» сломил всех троих одного за другим.

*

Кто у нас входит в первую пятёрку поэтов? В первую десятку писателей? Кто в первой тройке композиторов? И вообще, не пора ли включить в Олимпийские игры состязания по спортивной эстетике?

*

«Если мы сведём художественное творчество к мастерству и умелости, – говорят, потирая ручки, семиотики, – тайне не останется в нём места.»

Недаром же и лучший друг всех поэтов мира, допытывался у Пастернака в телефонном разговоре про Мандельштама только об одном: «Мастер он или не мастер?».

*

Поэты диалога и поэты монолога. Обратиться к «ты», к «вы» – даже с ненавистью и презрением («А вы, надменные потомки!..») – даёт оправдание полившейся речи у поэта диалога. У поэта монолога внешнего оправдания нет, поэтому неизбежно всплывает ощущение, что человек открыл рот, чтобы покрасоваться.

*

Бог поэта – свобода. Почему же он так презирает главное капище этого бога – базар, рынок? Не потому ли, что он не надеется найти там достаточное число свободных покупателей на свой эфемерный товар?

*

Спросить «кто у нас лучший поэт?» – такая же нелепость, как спросить «какое у нас лекарство наисильнейшее?». Душа болит по-разному, и разные нужны ей утоления.

*

Наше поколение было невосприимчивым к коммунистической идеологии только потому, что из неё к этому времени уже ушли все талантливые оракулы и славословы. Отсюда яснее становится зловещая роль Маяковского, Мейерхольда, Эйзенштейна и им подобных: они делали коммунизм эстетически приемлемым.

*

По радио услышал лекцию священника, сравнившего Грецию времён Перикла и Англию времён Елизаветы Первой. Две страны, отразившие страшное нашествие врага (персов, испанцев), две страны, умевшие ценить трагедию (Софокл, Шекспир). Он сказал при этом, что трагическому противостоит вовсе не комическое, но – тривиальное.

*

О, Аякс! Если ты будешь смело сражаться под Троей, три тысячи лет спустя твоим именем могут назвать жидкое мыло для мытья посуды. А если струсишь, мыло будет носить имя какого-нибудь Гектора или Париса.

*

Невнятен язык пророка, таинственно загадочен. Именно поэтому тысячи рифмующих имитаторов сегодня так тянутся к невнятице – хотят прикинуться пророками.

*

Как легко в искусстве выдать талантливое непослушание за гениальную свободу! От Стравинского до Шёнберга, от Хлебникова до Вознесенского, от Поллака до Уорхола – и восторгу неслухов нет конца.

*

Поэт уворачивается от аналитических статей о себе с такой же страстью, с какой бабочка летит зигзагами прочь от сачка коллекционера.

*

Циничная Надежда Мандельштам любила охлаждать излишняя приятельниц об их любовных увлечениях вопросом: «А сколько он на вас истратил?». Но то, что бескорыстная любовь и верность возможны, доказала своей жизнью: сохранила в памяти стихи погибшего мужа. Куда до неё Пенелопе, Изольде, Ярославне.

*

Книга Ильи Гилилова вполне убедила меня: Вильям Шекспир из Стрэнтфорда на Эвоне скорее всего был только актёром и продюсером в театре «Глобус». Пьесы и стихи писал граф Рэтленд, но не мог ставить на них своё имя, потому что занятие это было абсолютно неподобающим для знатного вельможи в протестантской стране. (Вспомним русского драматурга из царской семьи, писавшего под псевдонимом К.Р.) Интересны также цензурные ограничения, которым он подчинялся: действие всех современных пьес – в Дании, Италии, неведомо где – только не в Англии; всех исторических – о ком угодно, только не о Тюдорах и Стюартах.

*

Можно написать пьесу «Кто боится Марины Цветаевой?». В конце пьесы из тумана выплывает ответ: ВСЕ.

*

Непонятно, как царская цензура могла разрешить печатание «Сказки о царе Салтане». Ведь она начинается с того, что «царь стоит позадь забора» и подслушивает разговоры своих подданных.

*

Вариант происхождения «Слова о полку Игореве»: варяжская сага, сочинённая скальдом, сопровождавшим варяжского князя Игоря в походе против половцев, найденная и переведённая Иосифом Добровским в конце XVIII века.

*

На балу мировой культуры есть место и скоморохам. Но это не значит, что Баркова, Козьму Пруткову, Хармса, Венедикта Ерофеева надо объявлять главными распорядителями бала.

*

Поэт пишет такие пугающие стихи, потому что хочет, чтобы нам стало так же страшно от жизни, как ему самому. И мы поспешно прячем его на постамент, в статую, в полное собрание сочинений, чтобы отгородиться от этого страха.

*

О Цветаевой написаны десятки книг. Но в большинстве – женщинами. (Кажется, единственное исключение – книга Карлинского.) Думается, во всём её творчестве женщинам дороже всего строчка: «Вот что ты, милый, сделал мне».

*

Стихи его походили на красивую разминку, которая всё не кончалась и не кончалась, и так и не превратилась в опасное состязание с Непостижимым.

*

Армянская мудрость гласит: «Мать может обрушивать на голову сына любые проклятья, потому что проклятий матери Бог не слышит». Но и когда один поэт проклинает другого, Господь, скорее всего, затыкает уши.

*

Непризнанный и отвергнутый поэт Иосиф Джугашвили проделывал с Мандельштамом, Цветаевой, Ахматовой, Пастернаком всё то, что любой отвергнутый поэт мечтает проделать с поэтами преуспевшими. Но и они заражались силой и искренностью его ненависти и ощущали странную близость с ним.

*

Шекспир брал сюжеты из исторических хроник, а Лермонтов – прямо из Шекспира. «Маскарад» – это «Отелло» с сильно побелевшим в снегах героем, перенесённый из южной Венеции в северную – Петербург, с заменой потерянного платочка потерянным браслетом. Печорин – типичный русский Гамлет, такой же знатный, печальный, отвергнутый, оклеветанный, умничающий с Вернером-Горацио, ухаживающий за Мэри-Офелией, убивающий на дуэли Грушницкого-Лаэрта, и только вместо отравленной шпаги враги пытаются доконать его, не положив пулю в его пистолет.

*

Двадцатый век в истории русской литературы ознаменован массовым бегством с «Титаника» поэзии в спасательные шлюпки прозы. Примеры: Бунин, Георгий Иванов, Андрей Белый, Набоков, Розанов, Бабель, Платонов, Олеша; потом – Андрей Битов, Валерий Попов, Сергей Вольф.

*

Унылый и безлюбый всегда будут ненавидеть весёлого и любящего. Именно такова природа ненависти Сталина, Жданова и тысяч их приспешников к весёлому Зоценко и вечно влюблённой Ахматовой.

*

Есть Гамлет Высоцкого и Гамлет Смоктуновского. Большая разница.

*

В самом знаменитом русском любовном романе герои – Евгений и Татьяна – даже не поцеловались ни разу.



Нина Лельчук

Чудо по имени Вэн Клайберн

На смерть Вэна Клайберна

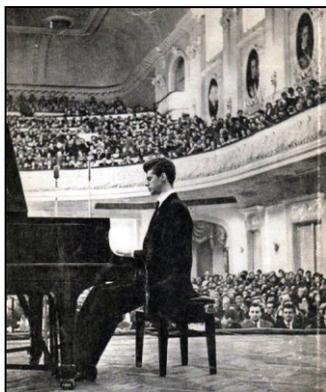


з Форт Уорта пришло невероятно скорбное известие – 27 февраля скончался Вэн Клайберн. Я очень давно знала о том, что он смертельно болен - рак костей в 4-й степени - ещё до официального заявления в прессе. Тем не менее это сообщение буквально сразило меня своей неожиданностью, больно ранило в самое сердце, создав полное ощущение потери очень близкого, дорогого мне человека. Я вдруг остро почувствовала, что с его кончиной завершился очень большой, важный отрезок и моей жизни. Безвозвратно ушла целая эпоха неординарных, невероятно талантливых и ярко самобытных людей, для которых любовь к музыке и бескорыстное служение искусству и людям являлось всем смыслом жизни и ставилось превыше любых материальных благ, когда это занятие считалось самым достойным и благородным. Ушла эпоха Вэна Клайберна....

Многочисленные некрологи в крупнейших газетах мира трафаретно писали примерно одно и то же - скончался легендарный пианист Вэн Клайберн, один из величайших музыкантов-пианистов XX века, техасец, завоевавший Россию, музыкальный посол, сблизивший Восток и Запад... Безусловно, всё это так. Но разве эти слова хоть в какой-то мере отражают всю силу и мощь его гигантского дарования, уникального неповторимого таланта, способного магически воздействовать на миллионы людей самого разного интеллектуального уровня - от музыкантов профессионалов до полных профанов в музыке, делать их благороднее и лучше, внушая любовь к классической музыке даже тем, кто никогда до этого не знал о её существовании? Лично я не знаю ни одного великого исполнителя мирового класса, который мог бы в такой же степени трогать сердца простых людей, заставлять их плакать и смеяться, радоваться жизни и молиться Богу, ощущать себя счастливыми во время концерта, как бы перенесёнными в иной сказочной мир добра, любви, мечты.

Мой папа, доктор химических наук, человек весьма далёкий от классической музыки, с удивлением сказал мне, впервые услышав вторую часть концерта Чайковского в исполнении Вэна Клайберна: "Как он необычно играет. Такое впечатление, что он держит на руках ребёнка и убаюкивает его". А моя соседка по дому, простая уборщица заявила: "Боже, кто это так играет, с любовью и нежностью, как святой?", - когда

увидела и услышала Вэна по телевидению. А вот мнение совсем "непростого" человека, Эмиля Гилельса, который немедленно был очарован пианистом на первом же туре, о чём сообщил Ростроповичу: "Слава, бросайте всё и приходите. К нам приехал молодой американец - это что-то волшебное". Ростропович пошёл на второй тур, послушал Вэна и сразу же влюбился в его замечательную игру и в него самого, и они стали друзьями на всю жизнь. Арам Хачатурян публично заявил, что Клайберн играет Рахманинова лучше, чем сам автор. А вот совсем уже неожиданный восторг от другого гения, которому вообще никто не нравился, включая Моцарта, Гленна Гульда: "Вэн Клайберн - один из двух моих самых любимых пианистов его поколения." (Другой пианист - Леон Флейшер).



Первый тур....

Все те, кому повезло быть свидетелями событий, происходящих в Москве на первом Международном конкурсе имени Чайковского, навсегда сохранят в памяти чудесные дни той удивительной весны 1958-го года, полной трепетного волнения, восторга и упоения, когда одновременно зацвели сирень и яблони раньше времени, и всё это на фоне лучезарной, вдохновенной, ни с кем не сравнимой, божественной игры Клайберна. Мы никогда ранее не слышали такой неограниченной свободы самовыражения на сцене, естественности и задушевности в передаче очень личных чувств и мыслей исполнителя. Клайберн не просто играл на рояле, он ворожил, проживал свою жизнь в исполняемой им музыке, уводя слушателей в свой особый внутренний мир, сотканный из звуков, чувств, веры в Бога, любви к музыке и людям. Это было художественное чудо! И все, что происходило тогда в апреле 1958 года, и было чудом.

Прежде всего, сам факт организации международного конкурса в Москве всего 5 лет спустя после смерти Сталина, когда, несмотря на небольшую "оттепель" страна всё ещё жила в страхе, и любое общение с иностранцами запрещалось и находилось под зорким, неусыпным надзором КГБ. Разве это не чудо? Конечно, всем было ясно, что основная цель конкурса заключалась в том, чтобы наглядно продемонстрировать

всему миру абсолютное превосходство советской исполнительской школы, как доказательство преимущества советской системы над капиталистической.

Жюри конкурса пианистов состояло в основном из советских крупнейших музыкантов: Шостакович, Гилельс, Кабалевский, Хачатурян, Нейгауз, Рихтер, Гольденвейзер. Министерство Культуры утвердило заранее кандидатуру советского пианиста - будущего победителя, и очки в конкурсных бюллетенях уже проставили в его пользу с отрывом в полтора балла. И вдруг в самый разгар "холодной войны" между двумя супердержавами, когда тысячи ядерных боеголовок были нацелены друг на друга, в столице страны, так неприкрыто ненавидящей страну "дяди Сэма", появляется на сцене Большого Зала Консерватории никому не известный 23-летний обаятельный американец из Техаса с чистой душой и открытым сердцем, чувствующий русскую музыку и играющий её как ни один из русских конкурсантов, и смешивает все карты.

Своей неземной игрой он гипнотизирует, буквально околдовывает всех - и членов жюри, и профессоров и студентов консерватории, и всю музыкальную элиту страны, а главное огромную массу простых людей, которые никогда раньше и не слушали классическую музыку. Вэн стал сенсацией уже на первом туре, когда слушатели начали восторженно аплодировать после его божественного исполнения Прелюдии и Фуги Баха си-бемоль минор и сонаты Моцарта до-мажор.

Пианисту пришлось встать и поклониться публике. Аплодисменты не прекращались и после того, как он сел, чтобы продолжить свою программу. В нарушение правил конкурса пришлось встать и снова поклониться. С каждым новым туром Вэн играл более вдохновенно, масштабно и захватывающе. Во втором туре он проявил все самые сильные стороны своего феноменального дарования, исполнив первую часть Сонаты Чайковского и труднейшую Прелюдию и Фугу Танеева совершенно великолепно, превзойдя всех вместе взятых русских пианистов.

Его исполнение "Фантазии" Шопена в интерпретации Антона Рубинштейна поразило всех, как и 12-я Рапсодия Листа, и стало эталоном высочайшего исполнительского качества не только для многих молодых пианистов, но и даже для зрелых опытных исполнителей. Яков Флиер сострил: «Я всю жизнь играл 12-ю Рапсодию, заработал на ней кучу денег, но никогда не предполагал, что её можно *так* играть».

Действительно, Вэн играл рапсодию совсем по-другому. Он не подчёркивал блестящую виртуозность пьесы, как это делали все пианисты, а выявлял венгерский танцевальный характер музыки, её рапсодичность и мелодичность, от чего музыка звучала лучше, глубже. Вэн стал во втором туре звездой конкурса. Успех был ошеломляющий. А финал конкурса стал полным триумфом пианиста, когда он гениально исполнил свои два любимых, "коронных" концерта - 1-й Чайковского и 3-й Рахманинова с оркестром Московской Филармонии под управлением Кирилла Кондрашина. Зал буквально взорвался по окончании исполнения и стоя аплодировал около 10 минут. Аплодировали все - публика, весь оркестр,

Кондрашин и многие члены жюри. А Гольденвейзер и Нейгауз со слезами на глазах, обнимая друг друга, повторяли: «Молодой Рахманинов! Молодой Рахманинов!»



Вэн Клайберн и Кирилл Кондрашин исполняют в финале Конкурса Концерт №1 для ф-но с оркестром Чайковского

Множество людей кинулось к сцене с цветами и подарками. Чего там только не было - русские ложки, палехские шкатулки, маленькие самоварчики и даже балалайка. В нарушение конкурсных правил Гилельс широко жестом пригласил пианиста выйти для поклона на сцену. Публика неистовствовала. Топали ногами, кричали "браво", скандировали. Очень многие в зале плакали.

Мне посчастливилось присутствовать в зале при этом историческом событии, и я всё это слышала и видела своими глазами. Победителю конкурса предстояло выступление с оркестром через пару дней после объявления результатов. Внизу у входа в зал уже висела афиша с пустым пространством в том месте, где должно было появиться имя будущего солиста - победителя конкурса.

Когда после 3-го тура я проходила мимо этой афиши, то увидела, что каждый слушатель подходил и вписывал имя Клайберна, так что уже не оставалось пустого места. Таким образом, на наших глазах свершилось подлинное чудо - рождение нового феномена, имя которому Вэн Клайберн.

Следующим чудом было то, что жюри не побоялось вынести справедливое решение и отдать победу американцу, а не советскому пианисту, как это планировалось. Вэн не просто завоевал победу на конкурсе. Ему невозможно было не отдать её. И хотя Гилельс сразу же оценил уникальную одарённость Клайберна, он не посмел принять такое решение без поддержки Министра Культуры Фурцевой, а та в свою очередь обратилась к Хрущёву за разрешением. Никита Сергеевич поначалу был очень озадачен, а потом спросил: «Действительно он самый лучший?» Фурцева подробно описала всё, что творилось в зале и передала мнение членов жюри и профессионалов. Тогда генсек изрёк: «Если он

намного лучше всех, надо дать ему 1-ю премию». Возможно ему уже доложили, что накануне в газете "Нью-Йорк Таймс" на самой первой странице была напечатана большая статья, написанная корреспондентом Фрэнклом под заголовком "Разрешат ли, посмеют ли русские отдать победу американцу?" Фрэнкл, находящийся в Москве, следил за ходом конкурса и всё подробно изложил в статье.



Н.С.Хрущёв поздравляет Вэна Клайберна во время приёма в Кремле в честь победителей на Конкурсе им. Чайковского. Апрель 1958 года

Итак, было вынесено единогласное решение жюри о присуждении победы американцу из Техаса Вэну Клайберну. Московская аудитория ликовала в течение восьми с половиной минут, радио провозгласило его "Американским спутником", а декан Джульярда, находившийся во время конкурса в Москве, позвонил Президенту школы со словами: «Мы вышли на орбиту». Это было время, когда американцы сильно комплексовали по поводу удачного запуска в космос первого в мире советского спутника, и победа Клайберна была своего рода реваншем для американцев.

И, конечно, самым большим чудом явился сам Вэн Клайберн, который был уникален и неподражаем во всём, начиная с его внешнего вида. Красивый, очень высокий (2 метра 10 сантиметров) и очень худой, с большими длинными руками, курчавыми волосами золотисто-русого цвета, с невинным почти детским выражением лица, на котором постоянно светилась застенчивая, как бы извиняющаяся улыбка, он казался пришельцем из другого мира, инопланетянином. И его особая, неподражаемая игра тоже была из другого мира – высоко духовная, божественно неземная, стопроцентно искренняя и непосредственная в своём выражении чувств.

Порой казалось, что его кристально чистая душа напрямую соединена с его послушными гибкими пальцами какими-то невидимыми нитями, от чего музыка лилась так непринуждённо и свободно, создавая

звуки, как бы рождённые от листьев деревьев, благоухающих цветов, пчёл, чистого воздуха, родниковой воды... Это было чудо! И весь его облик был настолько благородным и возвышенным, а исполнение таким задушевленным и одухотворённым, что у слушателей не оставалось никаких сомнений - обычный смертный так играть не может. Поистине это был разговор с самим Господом Богом! В связи с этим нельзя не вспомнить известный диалог между Нейгаузом и Обориным.



«Звёздный час» гениального артиста был в Москве...

Оборину не очень импонировала откровенная, непосредственная исполнительская манера Клайберна. В какой-то момент он шепнул Нейгаузу во время прослушивания: «Манерничает много, голову то поднимает, то опускает, то крутит головой. Зачем это?» Нейгауз немедленно ответил: «Это он с Богом разговаривает, Лев Николаевич, нам с вами этого не дано».

А как чудесно, по-особенному звучал у него рояль, тот самый инструмент, на котором играли все конкурсанты! Сколько разнообразия красок и настроений, света и тепла, подлинной русской души и мощного оркестра было в его звуке. Какая благородная манера звукоизвлечения, полное погружение в музыку, абсолютная простота и доступность самовыражения в сочетании с грандиозным масштабом исполнения крупных форм, словно архитектурно вылепленных из тёплого мрамора. При этом его пианистическое мастерство было совершенно безупречным и целиком и полностью подчинено музыке, поэтому о его блистательной технике никто и не говорил. Всё это было гениальным артистическим достижением, что не могло не производить ошеломляющего впечатления как на советскую музыкальную аудиторию, так и на рядового слушателя.

Лично для меня - совсем ещё молодой, только начинающей концертной пианистки, как и для очень многих других музыкантов-исполнителей, не только пианистов, Клайберн явился самым мощным и ярким музыкантским влиянием, поэтическим и артистическим вдохновением, что в корне изменило весь наш подход к музыке в целом и фортепьянной игре в частности, и полностью освободило зажатое "железным занавесом" ограниченное советское мышление музыканта.

Я имела честь и привилегию лично быть знакомой с этим милейшим, скромнейшим человеком и гениальным пианистом. Общение с ним всегда было праздником. Это был невероятно светлый, высоко порядочный человек, наделённый качествами, совершенно не характерными для современной эпохи. Всегда дружелюбный, одетый в любое время суток в чёрный костюм и белую рубашку с галстуком и красивыми запонками, исключительно любезный и вежливый - всё это резко отличало его от окружающего мира. Как-то он сам сказал для газеты "Нью-Йорк Таймс": "Я принадлежу к XIX веку, когда прославлялась красота". И действительно, Вэн обожал всё прекрасное во всех его проявлениях. У него был необыкновенно красивый огромный дом в пригороде Форт Уорта "Вестовер Хилл", в который он переехал из Нью-Йорка в 1985 году.



Проф. Розина Левина и Нина Лельчук. Форт Уорт, 1962 год

Этот дом, ранее принадлежавший Кимбелл Музею, имел множество комнат, и в каждой из них стоял рояль "Стейнвей". В одной из комнат под названием "Русская" стоял "Стейнвей" 1912 года, на котором играла его мать Рильдия. Вэн наслаждался своими красивыми розами, которые росли у него в саду, и он с большим знанием дела сам ухаживал за ними. Он обожал оперу и старался не пропускать ни одной премьеры в Метрополитен Опере. Вообще, больше всего на свете он любил музыку, преимущественно вокальную и фортепьянную. Причём он больше любил слушать её, чем исполнять: «Когда слушаешь, то весь находишься в музыке, на 100%. Когда я служу музыке, я должен думать о других тоже», - говорил Клайберн. Когда я впервые услышала это, то долгое время находилась под впечатлением слова "служу". У Вэна был хороший голос, и он очень любил петь. Еще будучи маленьким ребёнком, он с удовольствием пел в церковном хоре. Он сам себя называл "Несостоявшимся баритоном". Обладая прекрасными актёрскими данными, Вэн умел хорошо имитировать людей, актёров, делая это с большим тактом и тонким юмором. Иногда любил подсмеяться и над собой. Вот один памятный эпизод, который произошёл в 1962 году в Нью-Йорке в отеле "Солсбери", где он жил тогда в большой квартире вместе со своей любимой матерью. По окончании Первого Международного Конкурса в его честь, в котором я принимала участие как молодая советская пианистка, Вэн пригласил меня на ланч к себе в отель.

У нас было очень много общих друзей в Москве, и я имела много фотографий и подарков от них для Вэна. Интересно, что до самого конца жизни у него оставалась лишь одна самая любимая тема разговора - Москва 58-го года, победа на Конкурсе Чайковского, концерты, близкие друзья. Об этом он мог говорить бесконечно и в любое время суток. Надо заметить, что у него было нетрадиционное расписание дня, впрочем как и вся его личная жизнь. Он обычно ложился спать в то время, когда большинство людей собирается на работу, а вставал с постели где-то в 3 часа дня, а иногда и позже. В то время я говорила по-английски не очень хорошо, и мне было трудно понимать быструю английскую речь. Но когда говорил Вэн, я понимала каждое слово. У него была такая дивная, ясная артикуляция, как будто он был профессиональным диктором на радио. Говорил он не спеша, очень спокойно, своим приятным голосом очень красивого, довольно низкого тембра, как бы стараясь помочь мне понять всё им сказанное. Когда я поблагодарила его за прекрасную дикцию, полагая, что он старался специально для меня, он сказал, что это результат его уроков актёрского мастерства, которые он брал ещё в студенческие годы. И вот где-то в середине нашей встречи раздался телефонный звонок от какого-то газетного корреспондента с просьбой о небольшом интервью по телефону. Я сразу же обратила внимание, как сильно изменился его тон и манера разговора. Он стал говорить очень быстро, довольно официально и как-то очень по-деловому. В одну секунду произошла полная трансформация личности. Увидев нескрываемое удивление на моём лице, он улыбнулся своей очаровательной улыбкой и мягко, положив свою большую тёплую руку на мою, сказал: "Пожалуйста, извини меня, но мне сейчас надо быть американцем. Это будет недолго, обещаю". Я невольно рассмеялась и прониклась ещё большей симпатией к нему. Он сказал это так просто, как само собой разумеющееся, что, мол, он-то сам в душе такой же, как и все русские, но в данный момент было необходимо сыграть под делового американца. Вэн никогда не произносил ругательных слов в разговоре и не терпел, когда сквернословили другие, даже если это требовалось в анекдоте. Он практически не курил и никогда не употреблял спиртные напитки. Никогда не забуду, как на банкете в Кремле по случаю закрытия конкурса Чайковского, где мы впервые встретились, все русские пытались спить его, уговаривая выпить водки или коньяка, ну хоть немного шампанского, наконец, за его блестящую победу. Вэн лишь смущённо улыбался в ответ и вежливо отказывался, продолжая пить своё молоко в бокале из-под шампанского, возвышаясь над массой людей в огромном зале. Вдруг... все притихли и стали расступаться - сам Никита Хрущёв направлялся к нему с бокалом в руке. Пытаясь обнять 2-х метрового пианиста, генсек оказался как раз у него под мышкой. «Не знаю, и чем вас там в Техасе кормят, что ты вырос таким длинным?» - весело смеясь, нисколько не смутившись, спросил Никита. "Когда я был маленьким, мой папа давал мне много витаминов, наверное поэтому", - ответил Вэн. Переводчица Генриетта Беляева немедленно всё это перевела ко всеобщему восторгу. Все вокруг расхохотались, а Никита громче всех. Как ни странно, но даже такой малообразованный и некультурный

человек как Хрущёв, был очарован Вэном и как пианистом и как человеком. Он действительно искренне полюбил этого славного малого, как Никита его называл. Хрущёв пригласил Вэна к себе на подмосковную дачу на весь уикенд, показал ему свою самую большую гордость - его собственный огород, прокатил на катере по Москве реке до Кремля и обратно на дачу, обласкал по-отечески. Вэн говорил, что это было одним из самых волнующих событий в его жизни.



В Белом Доме во время визита Н.С.Хрущёва

Осенью 1962 года я познакомилась с родителями Вэна Клайберна во время проходящего Первого Международного конкурса пианистов в Форт Уорте в честь их замечательного сына. Они присутствовали на всех прослушиваниях, концертах и приёмах. Вэн был очень похож на отца и внешне и по характеру, только выше ростом. У обоих было одно и то же имя - Харви Лавэн Клайберн, старший и младший. Отец был очень приятным, тихим человеком, и Вэн горячо любил отца. Это было всем видно. Мать, напротив, была шумная, разговорчивая, постоянно смеющаяся, порой без видимой причины. Несмотря на свой высокий рост, она любила ходить на высоких каблуках и носить огромные громоздкие шляпы. Вэн относился к ней с большим почтением, подчёркивая всякий раз, что она была не совсем матерью, а больше его первой и единственной учительницей в течение 14 лет до поступления Вэна в Джульяд, где он учился у Розины Левиной - ученицы проф. В.И.Сафонова, окончившей Московскую Консерваторию с золотой медалью. С ней я также познакомилась в то время.

Общение с Рильдией Клайберн было очень интересным, так как она много рассказывала о детских годах Вэна, а также о своём учителе Артуре Фридхейме - ученике Листа и Антона Рубинштейна. Рильдия дала ответ на волнующий меня вопрос, откуда Вэн знал интерпретацию Рубинштейна "Фантазии" Шопена. Оказалось, что Рильдия проходила это сочинение с Фридхеймом, а тот в свою очередь с Антоном Рубинштейном. Поистине традиции продолжают.

Вэн с раннего детства обожал музыку. Зная это, Рильдия умело использовала это, когда Вэн заигрывался во дворе с детьми. Она не звала его домой, как другие родители, а просто начинала играть на рояле что-нибудь очень красивое, и Вэн тут же сам прибежал домой. Когда ему было 3 года, он однажды сам взобрался на стоящий у рояля стул и по слуху сыграл пьеску Кроуфорда "Вальс-Арпеджио", которую перед этим играл один из учеников матери. С этого момента она начала его учить игре на фортепьяно.

Вэн вспоминал, что мать была очень строгим и требовательным педагогом, особенно в отношении звука. Она заставляла сына сначала пропеть всю пьесу, очень выразительно, а уже потом начинать играть красивым певучим звуком. В четыре года он уже умел играть Прелюдию до мажор Баха "Авэ Мария", а мать играла на втором рояле мелодию, написанную Гуно для вокального исполнения пьесы. По воскресеньям Рильдия играла на органе в местной баптистской церкви, а Вэн с удовольствием пел в хоре в это время. Однажды к ней обратились в середине недели с просьбой заменить заболевшего органиста. В это время у неё был урок, и она не могла придти, но сказала, что пришлёт взамен своего ученика. Каково же было всеобщее изумление, когда на пороге церкви появился 6-летний мальчуган, её сын Вэн, готовый играть на органе вместо неё. В 10 лет он выступил со своим сольным концертом, а в 13 уже сыграл с Хьюстонским оркестром свой любимый Концерт Чайковского. В 14 лет он солировал в Карнеги Холл как победитель национального фестиваля, а в 19 Вэн выиграл самый престижный в Америке конкурс Левентритта, где в жюри заседали такие знаменитые музыканты, как Леонард Бернстайн, Жорж Селл и Рудольф Сёркин. В награду он получил дебют в Карнеги Холл с Нью-Йоркским Филармоническим Оркестром под управлением Митрополуса, а также концерты с пятью самыми лучшими американскими оркестрами - Чикаго, Филадельфии, Кливленда, Бостона и Лос-Анджелеса. Сам Сол Юрок взял Вэна в свой менеджмент. Казалось, всё складывалось великолепно. Но, увы... После всех этих выступлений и огромного успеха у публики дело дальше не шло. Критика была самая разная, а повторных приглашений не поступило. Были какие-то эпизодические концерты, в основном сольные, но жить на это в дорогостоящем Нью-Йорке было невозможно, и он вернулся к родителям в Техас.

Настроение было подавленное, занятия на рояле не шли. Что дальше? Как быть? И вот в этот очень трудный момент жизни, словно с неба, приходит известие о предстоящем Конкурсе им. Чайковского в Москве. Об этом сообщила ему Розина Левина. Она настаивала на участии в конкурсе: "Я знаю, что русские по достоинству оценят тебя и твою игру. Поезжай, я уверена, что ты там понравишься". Вэн очень любил рассказывать о том, как в 5-летнем возрасте получил в подарок от родителей книгу "Мировая история в иллюстрациях", где он увидел красочную картинку с изображением храма Василия Блаженного в Москве. Вид храма произвёл неизгладимое впечатление на ребёнка, и он стал умолять родителей повезти его туда, чтобы увидеть воочию эту красоту. С тех пор в течение 18 лет он не переставал мечтать об этом. Вэн

не раз говорил, что это детское желание сыграло главную роль в его решении поехать на конкурс. Клайберн никогда ещё не выезжал за границу. Он попросил Рильдию поехать с ним вместе в Москву, но она категорически отказалась: "Моё присутствие там может лишь навредить, а не помочь. Когда артист на сцене, уже поздно сомневаться, спрашивать мнение даже самого авторитетного музыканта, что хорошо и что плохо. Ты должен сам отвечать за свои взлёты и падения и быть уверенным на 100% в том, что ты делаешь", - сказала Рильдия Клайберн своему любимому единственному сыну.

26 марта 1958 года Вэн Клайберн приземлился в Москве, в старом международном аэропорте Внуково, где его встречала прикреплённая к нему переводчица Генриетта Беляева. Она видела фото пианиста в конкурсном буклете, где имя его было переведено неверно - вместо Вэн Клайберн написали Ван Клиберн. Увидев в толпе людей долгового, молодого человека с очень милым лицом, она спросила: "Это Вы, г-н Клиберн?" Вэн немного удивился и тут же ответил: "Да, это я". Он не поправил Генриетту и не подал вида. Позднее он говорил, что любит больше его русское имя - оно звучит более музыкально и благозвучно. И когда в России поняли ошибку и решили её исправить, начав писать его имя на американский лад, Вэн послал письма в "Правду" и "Известия" с просьбой оставить за ним его русское имя, добавив при этом: "Россия дала мне 2 имени - как артисту и как человеку, и я бесконечно благодарен за это и всегда буду помнить до конца моих дней". Эти последние слова он знал по-русски и произносил их почти без всякого акцента. Направляясь из Внуково в гостиницу "Пекин", где размещались все конкурсанты, Вэн поинтересовался как далеко от "Пекина" находится храм Василия Блаженного. Генриетта предложила заехать на Красную Площадь по пути в отель. Было уже темно, и храм был довольно ярко освещён прожектором. Когда Вэн увидел, наконец, храм его мечты, он просто задохнулся от счастья. В жизни храм впечатлял намного сильнее, чем на картинке. Зная теперь, насколько глубоко и безраздельно Вэн верил в Бога, я поняла, что он хотел немедленно увидеть храм, чтобы помолиться перед началом конкурсных баталий. Забегая вперёд, хочу обратить внимание на то, что Вэн перед отъездом из России в Америку не забыл посетить баптистскую церковь в Москве, чтобы отдать почти весь свой денежный приз. А вернувшись домой, он купил новый "Стейнвей" и подарил баптистской церкви в Нью-Йорке.

На следующий день была репетиция в Большом Зале Консерватории. Вэн с трепетным волнением пробежал по многочисленным ступенькам, ведущих в знаменитый зал, где выступал его кумир Рахmaniнов. Вэн всегда с горечью вспоминал, как он заболел ветрянкой и не смог попасть на концерт Рахmaniнова 14 ноября 1938 года в Шривпорте, где они тогда жили. Его мать Рильдия была в комитете по организации концерта. Перед началом выступления она принесла в артистическую воду и какие-то фрукты для Рахmaniнова. Она богоговорила Рахmaniнова и вспоминала об этом событии всю жизнь. Играл он в тот вечер божественно, по словам Рильдии. И вот, Вэн на сцене. Его сердце замерло при виде портретов его любимых

композиторов на стенах зала. Он начал играть. Звучало хорошо, рояль был удобный, ровный, акустика прекрасная. Свою программу он знал великолепно, так как играл её давно и много раз на сцене. К тому же, к счастью, программа конкурса была составлена так, что можно было включить в неё все "коронные" номера Вэна: 12-ю Рапсодию Листа, "Фантазию" Шопена, Сонату Барбера с фугой и, конечно, два его любимых концерта - Чайковского и Рахманинова.



Заключительная церемония конкурса. Председатель жюри Конкурса им. П.И. Чайковского Д.Д.Шостакович награждает В.Клайберна золотой медалью и дипломом лауреата Первой премии

Вэн больше всего волновался от того, что ему предстояло играть перед такими великими музыкантами, как Шостакович, Гилельс, Рихтер, Гольденвейзер, Нейгауз... В то же время именно эти люди, говорил Вэн, дали ему силы и смелость проявить себя в наилучшем виде на конкурсе. Они не только оценили по достоинству его феноменальную одарённость, но и стали его болельщиками. Вэн вспоминал, что когда Гилельс объявлял результаты Конкурса в Белом зале Консерватории, то от волнения лишь расцеловал его в обе щёки, не сказав, что он победил. Вэн, конечно, уже знал результаты, но всё же ожидал услышать это от официального лица. Сам он в этот момент был в каком-то трансе, как во сне. Позже, осознав всё происшедшее, он остроумно заключил: «Я не успех, я сенсация».

Получив свой приз, он позвонил домой и попросил Рильдию сообщить новость его подруге". Она знает, дорогой, все уже знают" - ответила мать. Вэн был страшно удивлён, полагая, что в Америке о конкурсе не знают. Можно представить себе его изумление, когда по возвращению домой в его честь был устроен "тикер-тейп" - парад в Нью-Йорке, впервые за всю историю Америки для классического музыканта.

После Линдберга никого в Америке не чествовали с такой помпой. Вэн ехал в открытом лимузине, его засыпали цветами, конфетти, воздушными шарами под громкие приветствия и восторг толпы. В конце парада Клайберн обратился к людям с присущей ему скромностью: "Я бесконечно признателен за оказание мне такой чести, больше, чем вы можете себе представить. Но меня приводит в трепет тот факт, что в моём

лице вы почитаете классическую музыку, её величие и вечную ценность. Я лишь один из многих, кто ей служит". В одночасье, как в сказке, Вэн стал мировой знаменитостью. Более того. Он стал не столько пианистом, сколько предметом национальной гордости, культурной иконой, символом эпохи, тем человеком, который наглядно доказал, что подлинное искусство сильнее и выше политики и объединяет людей в мире.



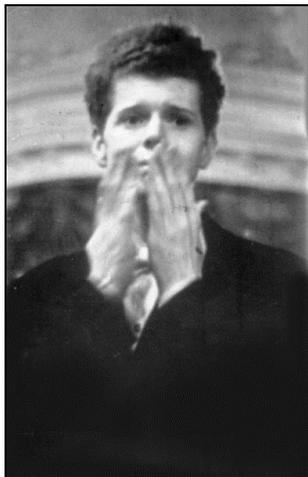
Объявленный Президентом Эйзенхауэром День Клайберна завершился парадом в Нью-Йорке

Его приглашали все телевизионные каналы, он немедленно появился на самой популярной программе "Ночное шоу сегодня" со Стивом Алленом, его фото появилось на обложке журнала "Тайм" со словами "Техасец, который покорила Россию", "Нью-Йорк Таймс" назвала его музыкальным посланником, а "Уолл стрит джорнал" - героем классической музыки. Вэн стал первым классическим музыкантом, пластинки которого с записью его исполнения концерта Чайковского были проданы миллионными тиражами, получив статус платинового диска и премию "Грэмми". Его буквально рвали на части. Публика требовала исполнения программы, за которую он получил первый приз в Москве. И не только в Америке, а во всём мире. Он был вынужден играть по 150 концертов в год, находясь в особой категории самого высокооплачиваемого классического пианиста.

Я полагаю, что одного лишь таланта Клайберна было достаточно, чтобы заработать ему место среди гигантов XX века наряду с Рахманиновым и Горовицем. Но после его магической Московской весны 58-го года его слава затмила даже такого молодого артиста-суперстар своего времени, как Элвис Пресли. В подтверждение этого, один из Чикагских клубов, организованный поклонниками Пресли, был переименован в клуб имени Вэна Клайберна. В течение 20 лет Вэн вынужден был нести такую нечеловеческую непосильную нагрузку. Ни один самый сильный физически молодой и здоровый музыкант не в состоянии так тяжело работать постоянно, не имея времени на отдых, подготовку новых программ и просто для личной жизни. Вэн жаловался, что он не может пойти в оперу, так как все вечера он выступает, или переезжает в другое место. Тонкий, одухотворённый склад его

артистической личности не совпадал с жёсткими требованиями изнуряющего концертного бизнеса. У Вэна попросту не было того железного здоровья (у него ещё в юности были серьёзные проблемы с кровью), которое необходимо для бесконечных переездов, смены времени, жизни в отелях с недомашней едой и неудобными подушками, хронического недосыпания и т.д. А ведь необходимо всё время расширять свой репертуар и постоянно много заниматься, чтобы оставаться в хорошей форме, а в поездках это делать невозможно. Тем не менее он умудрялся учить новые произведения и делать записи, создавая шедевры исполнительского искусства. Среди них - оба концерта Брамса и Листа, 4-й и 5-й концерты Бетховена с Чикагским оркестром и Фрицем Рейнером, концерты Шумана, Грига, 2-й концерт Макдоуэлла, 1-й концерт Шопена, все крупные сочинения Шопена и Листа, сонаты Прокофьева и Рахманинова, а также 2-й концерт и "Рапсодия на тему Паганини" Рахманинова.

Клайберн привнёс глубокий внутренний смысл во французский импрессионизм. Слушайте его Дебюсси "Остров радости" и цикл "Отражения в воде". Он сумел схватить и передать волнообразный характер музыки через особое чувство времени, тонкое прикосновение, прозрачность фактуры и виртуозную педализацию. Всё это было совершенно великолепно.



Клайберн прощается с москвичами после последнего концерта в Большом зале московской Консерватории. Апрель 1958 года

В 1978 году Вэн почувствовал себя очень усталым душевно и физически изнурённым. Он сильно похудел, потерял сон и аппетит. Возможно это было реакцией душевно хрупкого Вэна на потерю двух очень близких ему людей, ушедших из жизни почти одновременно - горячо любимого отца и большого друга, многолетнего менеджера Сол

Юрока. Безжалостные обозреватели начали критиковать Вэна за недостаток интеллекта в его игре. Они стали находить, что у Вэна исчез его богатый, чувственный, настоящий фортепьянный звук, которым он так славился всегда, и что его игра стала поверхностной и механичной. Известный критик, ранее большой ценитель Клайберна, назвал его карьеру "сенсацией, которая была слишком горячей, чтобы не остыть, метеором, который трагически перегорел". Вэн впал в страшную депрессию. Он не мог заниматься, гастролировать, а главное улыбаться на сцене перед публикой.

К тому же, ему самому не нравилась теперь его игра, и он решил взять отпуск и прекратить на время свою концертную деятельность. Всё это я узнала от него, когда мы увиделись в Нью-Йорке летом 1979 года, когда я уже покинула Россию. Я пришла на эту встречу с моим 10-летним сыном Дмитрием, и Вэн был так нежен и ласков с ним, так добр. Дима до сих пор вспоминает, сколько подарков он сразу получил и как много шоколада и мороженого он съел тогда. Я приехала в Нью-Йорк 3 мая 1979 года. Надо было начинать новую жизнь, устраиваться на какую-то работу по специальности, что было очень нелегко, найти квартиру по карману, определить сына в приличную школу. Вэн принял участие и старался помочь в моём устройстве. Он написал мне замечательное рекомендательное письмо, связал меня с несколькими менеджерами, и сам по личной инициативе организовал встречу с тогдашним президентом Джульярда Питером Мениным, считая, что я должна там преподавать. Я была очень тронута его отношением, тем более, что он всё делал по собственной инициативе. Судьба распорядилась так, что я получила профессорскую позицию в Техасском университете без всякой посторонней помощи, так что в дальнейшем мы общались с Вэном уже в Техасе.

16 апреля 1983 года после концерта Гилельса в Карнеги Холл Клайберн встретился с ним на ужине. Вэн очень волновался перед этой встречей, не зная как Гилельс отнесётся к такому его решению. Эмиль Григорьевич очень успокоил Вэна. Он не только одобрил, но и похвалил Вэна, сказав, что отдых, перерыв в этой страшной гонке просто необходим для творческой личности. Надо почувствовать новый прилив сил и обрести вдохновение, чтобы снова появилось это острое желание артиста идти на сцену и играть для публики с удовольствием. И немного подумав, вдруг добавил, что скорее всего всё начнётся в России или через неё. Поистине, как в воду глядел, как говорится в народе. В 1987 году президент Рейген пригласил Клайберна в Белый Дом на встречу с Горбачёвым. Вэн, заканчивая своё сольное выступление, на "закуску" сыграл "Подмосковные вечера" Соловьёва-Седого в своей замечательной аранжировке с красивыми Рахманиновскими гармониями и аккордами. Это так сильно растрогало русских гостей, что они расплакались. Эту известную, всеми любимую песню пели все вместе - Рейген, Клайберн, Горбачёв и его жена Раиса. Вэн пел по-русски. Поистине его победа в Москве в 58-м году не могла иметь лучшего завершения. Всё опять повторилось, как тогда в Москве во время торжественного закрытия конкурса Чайковского, где присутствовали члены правительства во главе

с Хрущёвым. Тогда Вэн впервые сыграл "Подмосковные вечера" и обратился к публике со словами: "До конца моей жизни я буду помнить и благодарить вас за такой сердечный приём, поддержку, за любовь, дружбу, подарки и всё, что вы для меня сделали. Я вас люблю". Всё это он произнёс тогда по-русски. И это были не пустые слова. Он действительно полюбил всей душой Россию, её людей, белые берёзки, русскую еду, обычаи и нравы. При встрече он всегда целовался 3 раза, любил украинский борщ и селёдку с картошкой (вот жаль, что не пил!), сплёвывал через левое плечо.... Он начал учить русский язык и довольно хорошо многое стал понимать. Невольно на этой важной встрече в Белом Доме Клайберн выступил в роли музыкального посла, наилучшего натурального дипломата, сделав то, что ни один политик не мог.



Президент России В.В.Путин награждает орденом Вэна Клайберна в связи с его семидесятилетием

С этого времени Вэн начал периодически выступать публично, обычно в связи с какими-то особо важными событиями, давая исключительно благотворительные концерты в поддержку организаций и обществ, которые он спонсировал. Как подлинный Техасец и патриот Америки, он взял за правило, как это делал Рахманинов, начинать свои концерты с исполнения национального гимна в своей аранжировке. И *как* он исполнял этот гимн!!! Многие видные музыканты считают, что лишь из-за этого потрясающего исполнения гимна стоило идти на его концерт, даже если для этого надо было поехать в другой город. И неважно, как он играл после этого, брал ли фальшивые ноты или был не в лучшей форме. Это уже не имело никакого значения, так как его игра уже проникла в душу слушателей, воодушевила и передала чувство уверенности и гордости за свою страну, содержащиеся в самом гимне. В этом и заключается могучая сила великого артиста! В апреле 1994 года Вэн исполнял гимн на церемонии открытия Боллпарк в Арлингтоне (Техас) для многотысячной аудитории огромного стадиона. И снова поднимающая дух, такая же захватывающая до слёз игра, замечательная "кирпичная кладка" мощных поющих аккордов, как подтверждение его

лозунгу: «У меня не 10 пальцев на обеих руках, а 10 голосов, и все они должны петь».

Вэн Клайберн играл для каждого президента от Эйзенхауера до Обамы, для королевских особ и глав государств во всём мире. Он был удостоен самых высоких наград, существующих в Америке и России: президентская медаль свободы в 2003 году от Джорджа Буша, орден дружбы в 2004 году от Путина и национальная медаль искусств от Обамы в 2011 году. Как жаль, что коварная, неизлечимая болезнь прервала жизнь этого необыкновенного человека и музыканта. Он знал, что умирает, но не боялся смерти, продолжая постоянно молиться - это его поддерживало до самого конца. Он вёл себя удивительно спокойно и даже оптимистично, отпуская такие шутки: « Мне гораздо страшнее жить, чем умереть. Я знаю, куда я иду и откуда я пришёл». За 2 месяца до смерти он рвался в Россию попрощаться с друзьями. В 2012 году, уже тяжело больной, Вэн провёл несколько аукционов, распродавая антикварные необыкновенной красоты вещи, которые он коллекционировал в течение многих лет. За очень солидную сумму был продан рояль 1912 года, принадлежащий его матери Рильдии Клайберн. Были проданы картины, ювелирные изделия и серебряные штатунки для них, античные стулья и кресла, серебро, дорогая красивая посуда, книжные шкафы, русские изделия Фаберже и много роялей. Некоторые аукционы были сделаны исключительно в благотворительных целях, а в мае 2012 года на аукционе "Кристи" было продано 150 предметов из личной коллекции пианиста, собранной со всего мира во время его гастролей. Вэн сделал предсмертный царский подарок в размере 4,5 миллионов долларов двум самым знаменитым консерваториям в мире - Джульярду и Московской Консерватории - в знак благодарности за поддержку и раскрытия его дарования. Америка простилась с Клайберном как с национальным достоянием под звуки так горячо любимой им музыки Чайковского и Рахманинова. А когда его выносили из баптистской церкви, запел филармонический хор известную и всеми любимую песню "Подмосковные вечера", причём на русском языке, и играл орган по имени его матери Рильдии Би, на постройку которого Вэн дал очень много денег. Это самый большой орган во всём Техасе.

Было чистое голубое небо, и в городе зацвели вишни. И это в конце февраля?! Было всё так, как он описал в своих стихах: "Ещё не ушёл... Будет царственный хор петь для нас в царственном зале..."

Более полутора тысяч человек пришли отдать последние почести Вэну Клайберну, одному из величайших фортепьянных исполнителей XX века. На прощальной церемонии Джордж Буш замечательно сказал: "Его любили все - и друзья и враги. Во времена "холодной войны" он сделал для мира больше, чем все дипломаты и политики. Президентам следовало бы поучиться у этого человека, который своим искусством нёс людям мир и любовь". На гробе лежал громадный венок из белых роз от Джорджа Буша со словами: "Великому американцу и близкому другу".

Для кого-то Вэн Клайберн останется в памяти как "самый русский американец", для кого-то героем, который сблизил две супердержавы в самый пик "холодной войны", для миллионов простых

людей изумительным пианистом, открывшим для них удивительный мир классической музыки.

А для меня он всегда будет тем чудо-пианистом, который подарил волшебную, незабываемую весну 1958 года, вдохнул в меня свежий воздух свободы артистического самовыражения и озарил всю мою жизнь неугасимым светом причастности к прекрасному в музыкальном искусстве.



Софья Гильмсон

Инна



замечательной статье Геннадия Рождественского "Еврейская сага" и в предисловии к ней Артура Штильмана тепло говорится о превосходной московской скрипачке Инне Двоскиной. Я хорошо знала Инну в Хьюстоне, мы вместе играли. В 1994-м в первую годовщину ее смерти я написала небольшой текст ее памяти. Прочитав статью, вспомнила о нем и не без труда разыскала. Предлагаю эти заметки читательскому вниманию без каких бы то ни было изменений. Приношу особую благодарность Наташе Блок за неоценимую помощь в подготовке текста к публикации.

Настоящий друг – это редкая удача. Таким другом была для меня Инна. Мы познакомились в *Houston'e* вскоре после ее переезда из *Baltimor'a*, еще до того, как она поступила в *Houston Symphony*. Познакомившись, неожиданно быстро подружились и, несмотря на разницу в возрасте, даже перешли на ты. (Тут я должна заметить, что в моей жизни это явление необычайное. От отца я унаследовала привычку быть на вы со всеми, даже с нашим всегда пьяным дворником дядей Ваней).



Москва. Вероятно, конец 60-х годов. У рояля Геннадий Рождественский

Вначале наша дружба была построена на разделяемом нами всепоглощающем музыканстве (можно ли так сказать по-русски?) Мы с

Инной поразительно схоже слышали музыку – это случается не часто. Я могла ей рассказать о концерте, и она слышала рассказанное мной.

С особым чувством вспоминаю о двух концертах, на которые мы пошли вместе. Один был в *Rice University* в программе *Da Camera*. Исполнялся вокальный цикл Шуберта "Лебединая песнь". Я, было, засомневалась, а стоит ли вести Инну на вечер с таким названием (она уже была больна), но она не дала моим сомнениям оформиться и сразу сказала: "Идем". Концерт был замечательный, мы согласились, что это было так хорошо, как только может быть, и решили ходить вместе чаще.

Второй концерт для нас обоих был несколько экзотичен. Мы решили пойти на вечер джазовой музыки. Играл скрипач с всемирным именем *Stephan Grapelli* (у него много записей, одна из них с Менухиным). *Grapelli* в то время было уже за 80 лет. Мы с некоторой опаской ожидали дряхлого старичка в кресле. *Grapelli* появился подтянутый, элегантный, провел на сцене два часа, играя то на скрипке, то на рояле. Его сопровождали два молодых музыканта, гитарист и контрабасист. Все было прекрасно, пока контрабасист, как и полагается джазовому музыканту, играл *pizzicato*. Когда же он взялся за смычок, Инна насторожилась, и не зря: со сцены понеслись звуки, напоминающие мычание коровы. Это была его сольная вариация. Инна мотнула головой и сказала: "Не могу, как будто шкаф двигает". Сравнение было настолько точным, что я немедленно представила себе человека, с трудомдвигающего шкаф по деревянному полу, и стала давиться смехом. Моя смешинка передалась Инне, и вот мы, как две школьницы, сидим в концертном зале и, стараясь не смотреть друг на друга, задыхаемся от смеха. С трудом досидели до конца и на обратном пути в машине дали себе волю. Я, вероятно, слишком лихо переходила из линии в линию. На *freeway*'е нас остановил полицейский. С безукоризненной любезностью осведомился, хорошо ли мы проживаем, проверил мои водительские права и прямо спросил: "Пили?" Мы честно ответили: "Нет!" По-видимому, мы выглядели достаточно солидно (или невинно), и он отпустил нас с миром.

У Инны было прелестное чувство юмора. От того, как она слушала, смешное становилось смешнее. Однажды мы катались по *Houston*'у с ней и ее братом Эриком, приехавшим из Москвы в гости. Я рассказала, как встретила своего бывшего коллегу из Ленинграда, которого не видела 12 лет. История заключалась в том, что выдающийся виртуоз, домрист и балалаечник, Эммануил Шейнкман, в годы моей юности писавший наши студенческие капустники и всегда исполнявший в них ведущую роль Аппассионаты Ивановны, выступал в праздничном концерте в честь *Mother's Day* в *Houston Jewish Community Center*. Для непосвященных поясню, что Эммануил (или, как мы его называли, Моня) Шейнкман, играющий на русских народных инструментах – это очень смешно. А уж Шейнкман, выступающий со своей балалайкой в Центре Еврейской Общины – это просто невероятно смешно. Но смешно только тогда, когда не надо объяснять. Инне не надо было объяснять. Она смеялась, подталкивала локтем Эрика, который, по ее мнению, недостаточно быстро улавливал все переходы этой по-еврейски смешной, а потому немного грустной истории.

Как-то раз я позвонила Инне с очередным репортажем о прослушанном концерте. Играл известный, обладающий безупречной интонацией и техникой, скрипач *L.* Мне его игра не понравилась, и я сказала Инне: "*L.* вышел на сцену, и с глубоким и искренним равнодушием сыграл *G-dur*'ную Сонату Брамса". Инне так понравилось это словосочетание, что она немедленно позвала к телефону гостившую у нее подругу, тоже скрипачку, и потребовала, чтобы я повторила свой отзыв. Я послушно сказала "с глубоким и искренним равнодушием", подруга ответила: "Угу". – И смешно не было.



Хьюстон, середина 80-х. С главным дирижером
Хьюстонского оркестра Сержу Комиссиона (*Sergiu Comissiona*)

Как Инна умела слушать! Мы все говорим. Как застарелые неврастеники, говорим много, красноречиво, остроумно. А слушать не умеем. Инна не была красноречивой, но когда она говорила, в ее словах была простота здравого смысла – такая редкость! Чем круче становились изгибы моей жизни, тем чаще мне хотелось говорить с Инной.

Прошел год после ее ухода¹, и я постоянно ловлю себя на мысли, что вот об этом я хотела бы рассказать Инне, а вот это она бы поняла, а этому она бы посмеялась, а за это меня бы похвалила.

Перед ее кончиной я заболела жесточайшей ангиной. Изя² не пускал меня к ней в госпиталь, объяснял: "Нельзя, у Иннуса плохо с белыми кровяными шариками, а у Вас инфекция". Инфекция у меня, конечно, была, и, не зная, как пересилить мое желание поговорить с Инной, я написала ей письмо ни о чем. О том, как с Вадимушкой поехали на каникулы и купались в холодном источнике. О том, как павлин развернул перед нами хвост. О том, что у крокодила голубые глаза. Не знаю, что стало с этим письмом, успела ли Инна его прочесть.

Когда родился мой сын Вадим, наша дружба двух музыкантов переросла в дружбу двух матерей. Я слушала Инну внимательно. Как же,

¹ Настоящая статья написана в 1994 г.

² Исаак Абрамович Кунин, а для близких Изя, второй муж Инны (1924-2012).

у нее сын уже взрослый, уже прекрасный пианист, уже преподает в университете, а у меня только появился на свет Божий.

Так получилось, что, когда я с Вадимом выписывалась из госпиталя, мой муж спасал жизнь кому-то у себя в госпитале и не смог за нами приехать. Приехала Инна. В соответствии с американскими законами, моего новорожденного сына посадили в детское креслице, пристегнули ремнями, и мы поехали домой. Инна долго потом шутила, что она Вадима принимала. Она же повезла нас на первый медицинский осмотр к педиатру. У педиатра Вадимушку положили на живот, и он немедленно стал поднимать головку. Инна восхитилась: "Ему всего две недели, а как будто уже два месяца". Я пыжилась от гордости. Такой талантливый ребенок!



На гастролях в Сингапуре, начало 90-х. С главным дирижером Хьюстонского оркестра Кристоффом Эшенбахом (*Christoph Eschenbach*)

Позже, когда Вадимушка начал проявлять музыкальные способности, у него с Инной возникли совершенно особые отношения.

Как-то Инна, зайдя к нам, застала моего трехлетнего сына на полу, слушающего Шаляпина. Вадим сообщил ей, что Шаляпин "was his favorite". Инна примостилась рядом с ним, и между ними завязался оживленный разговор на русско-английском языке. Вадимушка сразу зачислил Инну в свои друзья и, вероятно, за ее маленький рост называл не иначе как Инночкой. (И сейчас³ так называет).

В пять лет Вадим начал играть на скрипке. Мне его первая учительница не слишком нравилась, и как-то раз я привела его к Инне. Никогда не преподававшая Инна сразу нашла верный тон и понятные слова, на которые Вадим немедленно откликнулся. Я до сих пор помню, как Инна, стараясь помочь ему вести смычок, сказала: "Сделай маленький гусек". И он сделал: запястье изогнулось, стало гибким, смычок пошел плавно.

Последний раз я разговаривала с Инной за три недели до ее кончины. Мы с Вадимом собирались провести *weekend* в *Austin*^e. Я хорошо помню ее слова: "Получай удовольствие от всего. От того, что

³ "Сейчас" относится ко времени написания, 1994 г.

ничего не болит. От еды. От того, что небо голубое. Наслаждайся жизнью".

Прошло больше года. Иннин завет оказался мне не по силам. Я позволяла житейским огорчениям заслонять от меня радость жизни. Я предавалась печали, когда у меня ничего не болело. Я забывала любоваться зеленью травы в солнечный день.

Инночка, дорогая, я исправлюсь...

1994, Austin



Азарий Мессерер

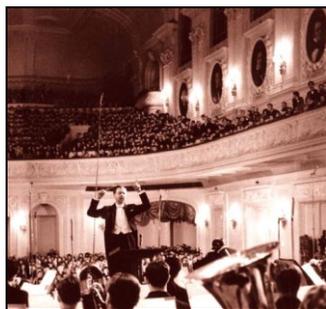
Союз любимцев вечных муз

К столетию со дня рождения Бенджамин Бриттена

...Музыка, знаете ли, столь прекрасна, что это даже жестоко. В ней есть красота боли и одиночества, силы и свободы. Красота разочарованности и всегда неудовлетворенной любви. Безжалостная красота природы и дьявольская вечно красота однообразия.
Бенджамин Бриттен о «Песне земли» Густава Малера



ноябре этого года исполняется сто лет со дня рождения Бенджамин Бриттена, возможно, величайшего английского композитора всех времен. Это событие будет отмечаться в мировом масштабе: возобновятся постановки опер в театрах многих стран - у него их тринадцать, в Альдебурге и в других городах Великобритании зазвучат детские хоры, ведь Бриттен написал столько проникновенных произведений для детей, в концертных залах и соборах будут исполняться его симфонии и камерная музыка, а в России, надо полагать, сыграют произведения, которые Бриттен посвятил своим друзьям, Шостаковичу, Ростроповичу, Вишневской.



Полвека назад я невольно поучаствовал в самом скромном качестве в подготовке к празднованию пятидесятилетия Бенджамин Бриттена. В Англии как иллюстрированное сопровождение к серии юбилейных концертов запланировали издать роскошный журнал, для

прямо «заползать» без всяких помех в душу слушателя. Музыка, проходящая через натуру Бриттена, как бы очищается и предстает в своей первозданной красоте».

Спустя полтора года Слава представил меня прилетевшему в Москву Бриттену в качестве своего переводчика. Бриттен, думая, что я переводил ту самую статью, поморщился и произнес одно убийственное слово, которое я не осмелился перевести: “Awful” – «Ужасно». Я покраснел и вообще был абсолютно обескуражен, ведь перевод, повторяю, мне казался очень хорошим. Только впоследствии, прочтя дневники Бриттена, я понял, какой он был тонкий знаток английского языка. Не случайно для своих оперных либретто и песен он отбирал самых изысканных поэтов и писателей, например Уистона Одена, своего, кстати, близкого друга. Того самого Одена, которого Иосиф Бродский считал лучшим английским поэтом XX века. Нужно ли удивляться, что даже маститому переводчику Radio Moscow оказалось не под силу конкурировать с Оденом и его компанией. К счастью, Бриттен сменил гнев на милость, поскольку увидел, что я был близок к Славе, и даже любезно согласился дать мне интервью, на что он решался очень редко.



Азарий Мессерер интервьюирует Бенджамина Бриттена
Москва, 1964

И вот вечером короткого мартовского дня 1964 года я вошел в номер московской гостиницы «Украина», где остановился Бриттен. Единственный свет в комнате исходил от настольной лампы, осветив руки композитора, который что-то писал. Он попросил меня подождать несколько минут, а закончив писать, сказал: «Мне нужно послать так много открыток из Москвы - каждому участнику детского хора, выступающего на фестивале в Альдебурге». Непроизвольно мой взгляд упал на лежавшую на столе книгу. Это был роман Диккенса «Давид

Копперфильд», прочитанный всеми нами в детстве. Перехватив мой взгляд, Бриттен заметил, что перечитывает этот роман хотя бы один раз в год, чтобы судить по нем о том, как изменились его собственные воззрения, насколько он стал взрослее... или состарился. Мне же тогда показалось, что, общаясь в письмах со своими юными друзьями из детского хора, он как бы стремился приблизиться к ним духовно и потому читал то, что любят читать они.

По-моему, ни один другой композитор не проникал так глубоко в детскую психологию, не умел так правдиво передать детские интонации, как Бриттен. Меня в этом убедила его опера «Поворот винта» (Turn of the Screw), показанная тогда же в Москве Английской оперной труппой, кою Бриттен же и основал вскоре после Второй мировой войны. Пожалуй, никакая другая современная опера не потрясла меня так, как эта камерная опера, с труппой всего из нескольких действующих лиц, где главные партии поручены двум подросткам – мальчику и девочке. Бриттен написал ее по роману своего любимого автора Генри Джеймса, одного из самых утонченных стилистов в английской литературе. Отмечу кстати, что в недавно опубликованном ГУГЛ'ом перечне писателей, на которых чаще всего ссылаются в Интернете, Генри Джеймс стоит пятым, вслед за Шекспиром, Гете, Вольтером и Гюго. Сюжет новеллы поразительный. Даже первые слова оперы звучат так: «Эта история поразительна!».

Да уж, история жутковатая и завораживающая, с привидениями, с духом дьявола в образе погибшего наставника детей, который вырисовывается в тумане не то наяву, не то в детском воображении. Напряжение усиливается с каждой из 8 сцен, пока не срывается к трагедии, отсюда и название «Поворот винта». Однако пересказывать сложный сюжет я не буду - любой желающий может посмотреть этот шедевр на «Youtube». Там имеется снятый по опере Бриттена фильм, с чудесными голосами и талантливыми актерами. Правда, для прояснения интриги его авторам вздумалось вмонтировать предысторию в виде длинной сцены, идущей без слов и без музыки, под щебетание птиц в роскошном парке. У Бриттена этого, конечно, нет. К сожалению, фильм титрован на одном из скандинавских языков, отчего в речитативах слова разобрать нелегко, не случайно ведь в «Метрополитен опера», например, реплики певцов возникают на малом экране, напротив вашего кресла, даже если они поют по-английски.

Но и без всяких слов, вас глубоко взволнует музыка. В упоминавшейся выше статье Слава вспоминает, каким «глубочайшим» впечатлением от оперы проникся Д.Д. Шостакович на Эдинбургском фестивале в 1962 году: «После спектакля весь вечер Дмитрий Дмитриевич восторгался оперой и с тех пор стал горячим почитателем таланта Бриттена, а его виолончельную сонату (посвященную Ростроповичу – А.М.) рассматривал как одно из лучших произведений виолончельной камерной музыки».

Однако вернемся к детским хорам, играющим столь важную роль в творчестве английского мастера. Проявив очень рано, можно сказать, «моцартовский» талант игры на рояле, а позже на альте, Бриттен тем не менее, больше всего полюбил пение в детском хоре. Его ранним

музыкальным образованием занималась мать, обладательница прекрасного меццо-сопрано, вышедшая из семьи музыкантов и художников. Эдит Бриттен руководила церковным хором в их родном городке, рыболовецком порте Ловерстофте, по соседству с Альдебургом. В юношеские годы они с матерью устраивали домашние концерты, на которых играли в четыре руки, исполняли песни Шуберта и самого Бена на стихи Лонгфелло и других поэтов. Оба они участвовали в исполнении месс Генделя; а первую собственную мессу для хора, солистов и камерного оркестра Бриттен написал в двенадцатилетнем возрасте.

У Бена были две сестры и брат, но лишь он один проявил исключительные музыкальные способности, благодаря которым стал любимцем артистичной Эдит. Она уверилась сама и уверяла в этом других, что ее сын гениален – Бен, объявляла Эдит друзьям и знакомым, станет четвертым великим «Б» вслед за хрестоматийно известным композиторским трио - Бах, Бетховен Брамс. О психологических отклонениях у мальчиков, вызванных неумемной материнской любовью и открытым предпочтением данного сына другим детям, писал в свое время Сигизмунд Фрейд. Жизнь Бриттена подтверждает эту гипотезу. Для него ранняя смерть матери явилась трагедией, восполнить которую он не смог, как ни старался, всю последующую жизнь, может быть, подсознательно ища в отношениях с людьми то материнское обожание, к которому привык с детства. Во всяком случае, в его творчестве отразились и неудовлетворенность, и одиночество, и боль утраты самого дорогого человека. И еще, на мой взгляд, неудовлетворенность от бездетности - по той же причине, что и у Чайковского, и у Одена...

Бенджамин Бриттен любил путешествовать - побывал во многих странах: в Индии, Индонезии, Японии, Китае, странах Латинской Америки, в России, Армении, Канаде, США, и музыкальные мотивы разных народов прослеживаются в его произведениях. Но где бы он ни был, его властно тянуло на восточное побережье Англии, в места, где он родился и прожил до самой смерти. Несколько лет до и во время Второй мировой войны Бриттен провел в Америке, в Нью-Йорке и в Лонг-Айленде, на берегу океана. Не будет преувеличением утверждать, что его произведения пронизывали более других мотивов звуковые образы океана с круговертью птиц над волнами - «охота» на птиц с биноклем в руках стала его излюбленным занятием.

На берегу моря разворачивается действие первой оперы Бриттена «Питер Граймс» - суровые и суеверные рыбаки подозревают Граймса в убийстве своего ученика, что приводит к его сумасшествию и гибели в бушующих волнах. Опера, признает Бриттен, писалась под большим влиянием «Бориса Годунова» Мусоргского, с его контрастным противопоставлением народа и личности, выраженный в партиях хора и солистов. Предваряет каждое из четырех действий оперы интерлюдия - оркестр живописует море в его различных ипостасях. Интерлюдии эти: «Рассвет», «Воскресное утро», «Лунный свет», «Шторм» нередко исполняются в симфонических концертах и опять же присутствуют в хорошей записи на «Youtube». В основу сюжета Бриттен положил поэму английского поэта XVIII века Джорджа Крабба, уроженца Альдебурга. Он

нашел эту поэму на книжном развале в Нью-Йорке а, прочитав, понял - это перст судьбы, он должен написать оперу на этот сюжет, возвратившись в родные края.

Своим замыслом Бриттен заинтересовал Сергея Кусевицкого, главного дирижера Бостонского оркестра, и тот выделил на его осуществление 1000 долларов при условии, что опера впервые будет исполнена в Танглвуде, близ Бостона, на фестивале симфонической музыки, основанном этим выдающимся русским эмигрантом. Во время работы над оперой Бриттен испытывал приступы ностальгии, неодолимое желание вернуться в Англию, невзирая даже на угрозу пассажирским судам в Атлантическом океане, исходившую от немецких подлодок.



Бенджамин Бриттен и Питер Пирс

Выполнив американские контракты, в частности, написав музыку к нескольким голливудским фильмам и концерт для Бенни Гудмана, он в 1942 году сел на шведский грузовой пароход и на нем добрался до разоренной бомбежками Англии. Бриттен поселился со своим другом, знаменитым тенором Питером Пирсом, как и следовало ожидать, на берегу моря, в Альдебурге, на улице имени того самого Крабба. Правда, спустя лет десять, когда к Бриттену пришла слава, ему стали мешать многочисленные туристы, останавливавшиеся перед домом, чтобы поглазеть на работавшего за окном композитора. Пришлось переехать за милю от моря в большой старинный дом в глубине усадьбы с увитым плетнем фасадом. Именно этот дом под названием «Red House» упоминает в своей статье Ростропович: «Дом Бриттена на это время превращается одновременно в штаб фестиваля и в гостиницу, где живут друзья Бенни. Энергия и работоспособность Бриттена во время фестиваля

феноменальны. Он является его сердцем и мозгом, участвуя в нем и как организатор, и как композитор, и как пианист, и как дирижер, бывая на всех репетициях и концертах, занимаясь буквально всеми делами фестиваля».

Трудолюбие и упорство – неперменные качества первопроходца, каковым явился Бриттен для Англии. В отличие от других европейских стран, Англия долгое время не давала миру значительных композиторов и ей приходилось «импортировать» уже признанных мэтров. Так, в Англии создавали свои гениальные произведения Гендель, Гайдн и Мендельсон, нередко называя их «английскими» или «шотландскими». Бриттену принадлежит заслуга создания национального оперного театра и сочинение для него, по крайней мере, раз в два года новой оперы. Он столкнулся с тем, что публика в Англии была в то время непривычной к современной музыке, и ему приходилось «обкатывать» свои новые произведения на уже зарекомендовавших себя фестивалях в Германии, Швейцарии и Франции. И вот однажды, во время утомительных гастролей, Питер Пирс воскликнул: «А почему бы нам не основать свой собственный фестиваль в Альдебурге?». Бриттен с энтузиазмом поддержал эту идею.

Сказано – сделано, и с годами, набрав темп, фестиваль стал настолько популярным, что в старом концертном зале не оставалось места для любителей музыки из разных стран, и решено было построить новый театр, торжественно открывала который сама королева Елизавета. Между прочим, она присвоила Бриттену дворянское звание «Барона Альдебургского». Во время интервью, опубликованном в «Советской Культуре» 26 марта 1964 года, я попросил композитора рассказать о своем городе и о фестивале.

«Я очень люблю Альдебург. Не знаю более живописного уголка в Англии. Каждый день я совершаю прогулки по его окрестностям и люблюсь ажурными готическими соборами, рыбацкими деревушками, болотистыми берегами... Здесь родились и работали наши лучшие художники Констебл и Гейнсборо, мой любимый поэт Крабб. В 1948 году Питер Пирс предложил устроить в Альдебурге фестиваль. С тех пор каждый июнь к нам приезжают друзья – музыканты из разных стран. Мы ставим оперы, выступаем в концертах, организуем дискуссии. Большинство моих сочинений было впервые исполнено на Альдебургских фестивалях. Последнюю мою оперу на сюжет одной японской пьесы «Река Серлю» (River Serlew) мы думаем исполнить в Альдебургском соборе. Там же мы с Ростроповичем впервые в Англии сыграем мою симфонию для виолончели».

Премьера этой симфонии состоялась во время Фестиваля английской музыки в Москве в 1964 году, и я помню, как Бриттену и Ростроповичу пришлось прийти на бис повторить финал, вызвавший бурю оваций. Акустика Большого зала консерватории Бриттену понравилась, хотя, по его мнению, лучше всего музыку слушать в готическом соборе, особенно если полифония произведения учитывает резонанс данного конкретного собора. Сочиняя музыку, он представлял себе и зал, в котором она будет исполняться, и конкретных исполнителей. В споре с некоторыми критиками, недовольными тем, что его музыка «слишком

доступна», он говорил: «нет ничего плохого в том, что композитор стремится написать музыку, которая бы вдохновляла людей, трогала их, успокаивала, развлекала или даже чему-то учила».

Верный себе и своему кредо, сразу после окончания Второй мировой войны Бриттен вместе с прославленным скрипачом Иегуди Менухиным поехал в Германию, где они выступали перед бывшими узниками «лагерей смерти». Композитор был настолько потрясен увиденным, что, по его словам, «страшные воспоминания об этом проявились во всех произведениях, написанных им впоследствии». Этот его настрой, безусловно, сказался на общей интонации цикла песен на стихи Джона Донна, созданном им сразу по возвращении из Германии. Можно предположить, что, не преследуемый видениями Бельцена и его узников, Бриттен не сочинил бы самого значительного своего произведения – «Реквиема войне», который он приурочил к освящению восстановленного собора в Ковентри - городе, полностью разрушенном немецкими бомбардировками. Между прочим, ту дьявольскую бомбежку в начале 1942 года нацисты проводили под изуверским кодом - «Лунная соната». Эпиграфом к реквиему Бриттен взял такие строки: «Я пишу о войне, о страданиях, которые она несет. Моя поэзия печальна. Но долг поэта предупредить людей».

«Эти слова принадлежат гениальному английскому поэту Уилфриду Оуэну, погибшему в возрасте 25 лет, - сказал мне Бриттен в интервью, - В его поэзии звучит страстная ненависть к войне, к насилию. Такая же ненависть звучит и в музыке Шостаковича, и в произведениях лучших художников мира. Гуманизм этих произведений сделал их достоянием людей всех национальностей. Меня очень радовало, что в первой записи моего реквиема приняли участие выдающиеся артисты из разных стран: Галина Вишневская, Питер Пирс, Фишер Дискау. Разве такое содружество не сближает нас?»

Им, своим русским друзьям, каждому из них персонально, Бриттен посвятил впоследствии выдающиеся произведения. Так, по заказу Галины Вишневской он написал цикл романсов на стихи Пушкина. Задуман этот цикл был во время совместного музицирования Бриттена с Ростроповичем и Вишневской на отдыхе в Армении и впервые исполнен в музее Пушкина в Михайловском. Его последняя песня называется «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». В аккомпанементе там явно слышится имитация боя часов. Питер Пирс в книге «Путевые заметки» (Travel diaries) пишет, что исполняли они эту музыку при свечах и, когда замолкли последние слова романса, внезапно и мистически стали в том же темпе отбивать полночь старинные часы, сохранившиеся в музее с пушкинских времен. Все в зале смолкли, замороженные. И вот тогда-то Бриттену пришло в голову название для своего цикла – «Эхо поэта».

Возвращаясь к «Реквиему войне», его первоклассное исполнение – я вновь отсылаю за ним читателей на Youtube – состоялось через много лет после смерти композитора, в 1993 году, в лондонском «Альберт Холле» под управлением Мстислава Ростроповича.

Благодаря личной дружбе с Ростроповичем Вишневской, Шостаковичем, Рихтером и в не меньшей степени своему пацифистскому

мировоззрению, Бриттен стал желанным гостем в СССР и, в какой-то степени, даже символом хрущевской оттепели, правда, лишь на короткое время. Апогеем англо-советских культурных связей в тот период явился контракт, предложенный Бриттену Большим театром, на оперу «Анна Каренина», с Галиной Вишневской в заглавной роли. Создать либретто Бриттен поручил Колину Грэму, выдающемуся писателю и продюсеру, поставившему последние оперы композитора. И вот первый вариант либретто уже готов, пора приступать к репетициям... В 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию - в знак протеста Бриттен отказался и от контракта, и от поездок в СССР, где он уже больше никогда не бывал.



Около Кремля, 1964

Вишневская, Бриттен, Ростропович, Графиня Хэрвуда, Пирс

Вспоминая обворожительную улыбку Бриттена, его низкий проникновенный голос, я пытаюсь представить композитора не в большом зале за дирижерским пультом, не за роялем перед многочисленной аудиторией, а в домашней обстановке, в Альдебурге. Всю жизнь его мучил врожденный порок сердца, пришлось перенести несколько серьезных операций, не всегда удачных. Он умер в возрасте 63 лет, работая до последнего дня. Думаю, что справляться с болезнью ему помогали его хобби – он, например, прекрасно играл в теннис - и привычный, размеренный распорядок дня.

Вставал он ранним утром, принимал холодный душ – привычка, выработанная спартанской закалкой в частной мужской школе Грешэм, в Норфолке; с девяти до часа сочинял музыку, потом писал письма и шел с собакой на прогулку, вооружившись биноклем, чтобы понаблюдать за птицами. Во время прогулки он также составлял перечень дел на завтра. Планирование, по его словам, давалось ему легко, - «настоящие мучения начинаются тогда, когда я пытаюсь найти лучшие ноты, раскрывающие мой замысел». В пять вечера неизменный английский файв-о-клок. Приготовление чая Бриттен не доверял никому - сам смешивал несколько любимых сортов и заваривал. После чая мэтр возобновлял занятия в студии: читал или слушал музыку. В восемь - ужин, который по-

английски считается обедом, потом беседы с друзьями у камина и прослушивание перед сном квартетов с партитурой в руках.



Бриттен с Галиной Вишневской

Хотя в 70-х годах Бриттен уже не бывал в СССР, его русские друзья продолжали приезжать в Альдербург. В 1972 году Шостакович провел день в «Красном доме», хозяину которого он посвятил свою предпоследнюю 14 симфонию. Собственно сама идея симфонии, включающая стихи четырех поэтов – Лорки, Аполлинера, Рильке и Кюхельбекера на тему смерти, родилась у композитора в значительной степени под влиянием «Реквиема войне» Бриттена. А в стихотворении Кюхельбекера, обращенном к лицейскому другу Дельвигу, Бриттен не мог не заметить строчки, которые явно могли быть отнесены к его дружбе с Шостаковичем. Тем более что в сопровождении в этот миг проходит и подхватывается виолончелями мелодия, словно заимствованная из Первой виолончельной сюиты Бриттена. Вот эти строки:

Так не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастье и в несчастье твердый,
Союз любимцев вечных муз!

Исполненный благодарности Бриттен решил сделать исключение из своих правил – никогда не показывать незаконченное

произведение. Он познакомил Шостаковича с партитурой своей новой оперы, работа над которой была еще далека от конца. Шостакович изучал партитуру в течение двух часов, в то время как Бриттен с волнением ждал в соседней комнате. Когда, наконец, Шостакович появился, улыбка на его лице сказала Бриттену больше любых хвалебных слов.

Так, читая партитуру, Шостакович «услышал» «Смерть в Венеции», последнюю оперу Бриттена, замысел которой, по всей вероятности, Бриттен припас к своему творческому финалу. Я имею в виду, сколь высоко ценил он Томаса Манна, на сюжет рассказа которого задумана опера. И как обожал Венецию – саму по себе, разумеется, но еще и как город премьерного исполнения нескольких его произведений, включая любимую его оперу «Поворот винта». Прототипом главного героя стал, скорее всего, его любимейший композитор Густав Малер – рассказ написан через несколько дней после его кончины, и именно бессмертное адажио из Пятой симфонии Малера звучит в одноименном фильме Висконти. Тема рассказа Манна тоже была ему очень близка: писатель, уехав от вполне буржуазной семьи в Вене, стремится в Венеции вновь обрести утраченное вдохновение, постичь высокую, «аполлониеву» чистоту в искусстве, но его посещает не божественная, а земная, «дионисиева» любовь. Она же становится пусть и не впрямую причиной его смерти. Невзирая на предупреждения о начавшейся эпидемии холеры в Венеции, герой рассказа не уезжает, а неотступно, день за днем следует за прекрасным юношей – символом красоты, так ни разу и, не решившись заговорить с ним. Одиноким и больной, он умирает на пляже, устремив взгляд на волны прибоя. Последний «аккорд» рассказа дает Бриттену возможность снова, как и в других его произведениях, воспеть испугительную мощь океана, провозгласив торжество любви, вопреки смерти.



Азарий Мессерер с Мстиславом Ростроповичем, 2002

Бриттен умер в 1976, пережив Шостаковича всего на один год. Буквально за день до смерти Слава прилетел из Соединенных Штатов в последний раз увидеться со своим другом, и Бриттен передал ему почти

законченную ораторию «Прославим мы великих людей» (Praise We Great Men), написанную на стихи Эдит Ситвел (Эдит, если помните, звали его мать) – ее заказал Ростропович для руководимого им Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. На похоронах Бриттена детский хор исполнял «Гимн девственнице» (Hymn to the Virgin), сочиненный Бриттеном, когда ему было 16 лет. Таким он и остался в памяти друзей и всех тех, включая меня, кто неоднократно встречался с ним по жизни – юным в душе, сродственным природе, вдохновенным до самозабвения в творчестве...



Галина Подольская

Двенадцать колен Израилевых

Аркадия Лившица

*В искусстве все, в сущности, относительно,
а если что-то и имеет влияние на творчество
– то это воздействие временное.*

Аркадий Лившиц

Теория относительности в искусстве



Жизнь Аркадия Лившица в искусстве сложилась плодотворно и счастливо – в том смысле, что он оказался художником, не связанным какими-либо традициями. Его искания в живописи не укладываются в рамки какого-то определенного стиля или течения. Находками – как, впрочем, и неудачами – он обязан только себе самому.

Стилистическая манера живописца, воплотившаяся в индивидуальность, обусловлена тем, что на протяжении всего творческого пути художник был убежден: «В искусстве все, в сущности, относительно, а если что и имеет влияние на творчество – то это воздействие временное». Эта изначальная уверенность в собственном пути – независимо от развилки на дорогах – оказалась стержневой, определив цельность личностного портрета художника.

В живописи Аркадия Лившица можно выделить два основных творческих этапа, оба израильских – санурский и современный. При этом никто не знает, каким был советский. О нем художник никогда не говорит. Картин не осталось, а на нет – суда нет. Время было такое... А может, и впрямь в мир зрителя нужно приходиться уже сложившимся живописцем?

По словам Григория Островского, большого авторитета в искусстве, пейзажи Лившица санурского периода «отмечены тонким вкусом и живописной культурой»¹. В конечном итоге так оно и есть: вкус и культура, пропитанные синтезом смежных видов современного мирового искусства и психологическая уравновешенность – как

¹ Аркадий Лившиц. Длиннофокусная оптика живописи // Подольская Г. Современное израильское изобразительное искусство с русскими корнями. – Иерусалим, 2011. С. 104.

отогревшаяся под израильским солнцем душа. Вот уже почти сорок лет Аркадий Лившиц в Израиле.

Сам художник считает, что именно Са-Нур заразил его пейзажем как жанром изобразительного искусства: «Когда я оказался в группе художников – основателей деревни Са-Нур (1987 г.), стал работать *в запой*. Вообще Са-Нур – это нечто! Не знаю более живописного места в Самарии. Красивая турецкая крепость, с мощными деревьями, зелеными газонами и необыкновенными видами. Там нельзя было не стать художником! До того времени, как Са-Нур не отошел арабам, всё свободное время проводил в Са-Нуре – среди мастеров с большими школами, профессиональных и интересных, у которых есть чему поучиться. Из основателей это, конечно же, И. Капелян, Х. Капчиц, А. Апрель, М. Вчерушанский, скульпторы Б. Сакциер, Лев Сегаль. Из алии 1990-х – художники Д. Барановский, Э. Гроссман, скульпторы Юлия Сегаль, М. Сальман, Л. Зильбер. В той насыщенной творческой атмосфере хорошо работалось»².

И земля объединенных колен Израиля отворилась пейзажем в живописи. Но пейзажная ипостась оказалась не единственной для Лившица-художника.

Благословение Якова: художественно-этический нерв эпох

Давно известно, что рубеж веков в жизни людей искусства нередко становится периодом перемен. Пестрота примет и событий грядущей эпохи обостряет ощущение опыта пережитого, проявляется в новых темах, формах, стилистике. Всё меняется, кроме единственного – бренности человеческой жизни и бессмертия преобразующегося мира. *Вечные* образы помогают художественно осмыслить эти процессы. Почему? Заключенные в *вечных* темах содержательная емкость, неисчерпаемость смыслов, философская наполненность, способность раздвинуть границы эпох и национальных культур позволяют художнику вступить в диалог с всесильным Хроносом. В *вечных* темах осуществляется художническая потребность ощутить себя частью исторического *Прошлого*, дать оценку событиям *Настоящего*, как правило повторяющим модель причинно-следственных отношений седой древности. И в них же – предтеча *Будущего* – пророческое ощущение грядущего...

Тема благословения Яковом своих сыновей занимает одно из почетных мест в живописи начиная с предренессансного периода. Решавшаяся в те времена как тема божественно-самодостаточная, как создание демиурга-художника, она не допускала вторжения инвариантного толкования зрителем, что и продолжалось по существу вплоть до прошлого века. Неомодернизм – с его пристрастием к культурным текстам минувших эпох и их обновленному звучанию – подарил теме новое художественное дыхание. Что же касается страны Сиона, то роль колен в сохранении евреев как нации подчеркивалась еще при создании государства Израиль. Не случайно на одной из первых

² Там же. С. 102.

израильских марок (1952 г.) были изображены эмблемы двенадцати колен, как гербы городов, и менора³.

В 1959 г. в Париже произошла встреча президента женской сионистской организации США Хадасса и архитектора будущего одноименного медицинского центра, который планировалось возвести в юго-западной части Иерусалима, со знаменитым Марком Шагалом. Встреча оказалась плодотворной: Шагал с воодушевлением принялся продумывать план витражей для синагоги Центра. Вся работа – от первых карандашных эскизов, переведенных в гуаши и акварели с последующим из готовлением картонов в натуральную величину до окончательной росписи и сборки стекол – заняла два с небольшим года. И вот в 1962 году витражи были завершены, представлены на выставке в Париже, восторженно встречены зрителем, а затем доставлены элялевским рейсом в Израиль.

Арочные окна синагоги в два с половиной метра высотой засияли, подобно драгоценным камням, среди Иудейских гор, оживив в стекляннй росписи момент благословения и назиданий-наставлений, данных праотцем Яковом своим сыновьям, родо начальникам народа Земли Израилевой. «Графика ли ний и свинцовых перегородок, соединяющих отдельные стекла внутри витража, выявляют ритмичность композиции и рукой большого мастера преобразуются в светоносное панно, в котором все элементы объединяются в единый драгоценный кристалл, имя которому – иерусалимские витражи Марка Шагала»⁴.

«Стеклйнные палитры» мастера были освящены в год 50-летия Хадассы, осуществившей финансовую поддержку медицинского центра. В том же году на основе своих эскизов Шагал создал серию литографий, вошедших в книгу-альбом «Марк Шагал. Витражи для Иерусалима»⁵. И, как *Голубь мира* Пабло Пикассо, книга разлетелась по свету с вестью о новом чуде на Земле Обетованной – витражах выдающегося художника – в очень молодой в то время стране – Израиль.

А одиннадцать лет спустя настала пора для «Двенадцати колен Израилевых» еще одного гения века: в 1973 году цикл тонированных гравюр на тему напутствий Якова завершил Сальвадор Дали. Работы были выполнены в характерной для великого экспериментатора сюрреалистической манере. В тематических композициях Дали новые образы переплетаются с авторскими аллегориями, уже вошедшими в мировое культурное пространство. Серию «Двенадцать колен Израилевых» художник посвящает 25-летию еврейского государства, утверждая мистическое бессмертие цивилизации иудеев, а точнее – современного Израила.

³ Краткая еврейская энциклопедия: В 7 т. / Центр по исследованию еврейских общин; Еврейский университет. – Репринт. воспр. изд. в 11 т. 1976–2005 гг. (Иерусалим). – М.: Красный пролетарий, 1996. Т. 4. С. 422.

⁴ Лисневский М. Искусство, рожденное Торой. – Иерусалим, 2010. С. 39.

⁵ Marc Chagall. Vitraux pour Jérusalem / Introduction et notes de Jean Leymarie. Éditeur André Sauret, 1962.

Образы Двенадцати колен нашли свое отражение и в медальерном искусстве мастера эпатаж. Полные внутреннего артистизма, они отчеканены в виде монет.

Тема наставлений сыновей Яакова так или иначе интересовала и израильских художников. Однако по-настоящему масштабную разработку она получила лишь в пластическом искусстве репатриантов из восточно-европейской диаспоры.

Монументалист Лев Сыркин принадлежал к поколению сионистов, поглощенных осмыслением еврейского вопроса. В 1974 году художник создает в Израиле масштабную фреску «Двенадцать колен Израилевых» (4 x 10 м) – в лекционном зале Бар-Иланского университета. Фреска поражает переходами золотистых оттенков цвета, как части общей строгой архитектуры зала. Прямоугольники цвета охры напоминают рельефные очертания Стены-святыни, однако это лишь первое визуальное впечатление. Аллегии-символы каждого *камня* фрески соответствуют своему колену, но, помимо этого, соотнесены и с принятой в университете символикой конкретных факультетов: весы правосудия – с правовым, снопы пшеницы – с биологическим... И всё это работает художественно, эстетически.

Монументальная фреска Льва Сыркина великолепна как художественное произведение. А еще, с библейской символикой здесь сливается нечто очень личное, характерное для типологии самоутверждения крупного художника, состоявшегося в СССР, а теперь «покоряющего» свои Двенадцать колен в государстве исторических корней: «Я об этом мечтал. С детства знал, от папы и мамы, что, как только станет возможным – мы уедем в Палестину. Тогда Израиль и в помине не было»⁶.

В начале XXI века еще один представитель алии, но уже из постсоветского пространства 1990-х – Эдуард Гроссман создает на тему Двенадцати колен Израилевых двенадцать арочных работ в технике левкаса. «Не каждая тема хороша для левкаса, – заметил в одном из интервью художник, – поскольку обязательное прикосновение к левкасу как грунту византийской иконы уже само по себе ориентирует на древность. В этом плане сюжеты Торы <...> идеально подходят для левкаса, для воссоздания эффекта их появления на свет Божий из небытия»⁷.

В «Двенадцати коленах Израилевых» Эдуарда Гроссмана приемы литургической живописи сочетаются с приемами сюрреалистического искусства, дополняя и поддерживая друг друга. Рваные куски цветных *клякс* складываются в живописную мозаику предметного бытия и очертания символов сыновей Яакова. Сейчас сюрреалистические левкасы Эдуарда Гроссмана находятся в одной из синагог Франции.

В супрематическом стиле решил этот сюжет Иосиф Капелян.

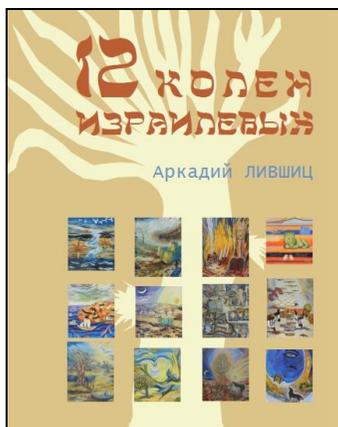
⁶ Сыркин Л. Я вам не должен! – Иерусалим, 1987. С. 111.

⁷ Левкасы Эдуарда Гроссмана // Подольская Г. Современное израильское изобразительное искусство с русскими корнями. – Иерусалим, 2011. С. 82.

Тема Двенадцати колен Израилевых – художественно-этический нерв эпох – не утратила своей актуальности и ныне. Сюжеты, заложенные в ней, давно перешли в мифологемы, свернутые до красноречивого символа, а лаконичность символа, освобожденная от деталей, позволяет современному художнику быть более раскрепощенным, чем в эпоху Ренессанса. Эпические символы Двенадцати колен давно перешагнули пределы культовых заведений, перекочевали из религиозного в открытые для широкого зрителя пространства выставочных залов и административных помещений, они живут в общественном сознании, влияют на этические взгляды новых поколений и даже переходят в сувенирные бренды.

Содержательность темы позволяет ей жить в любой стилистике, выдерживая полярные эстетические вкусы и стили. Для воплощения наставлений Якова оказались пригодными масляная и акриловая живопись, витраж и роспись по стеклу, фреска, левкас, тонированная гравюра и медальерное искусство – по сути все виды пластических искусств и соответствующие им материалы.

Окна в мир Торы Аркадия Лившица



12 колен – обложка

Интерес к теме «Двенадцать колен Израилевых» Аркадия Лившица не случаен и носит поступательный характер – прежде всего через Шагала. Вообще, внимание к личности Шагала обозначило новый этап творческих исканий израильского художника. Прежде всего это выразилось в общественной поддержке *шагаловских начинаний* в Израиле: Аркадий Лившиц был куратором Шагаловского пленэра в Иерусалиме (13-14 сентября 2011 г.), координатором проекта Объединения профессиональных художников Израиля «Фестиваль искусств “По следам Шагала».

В год 100-летия Хадассы и соответственно 50-летия шагаловских витражей, говоря о важности исторического вклада Шагала в искусство Израиля и стремлении обратить взоры мировой общественности к культуре страны Сиона, Аркадий Лившиц в своей полемической заметке «По-настоящему свободный художник» заявляет: «На мой взгляд, Шагал – это самая перспективная для развития тема, поскольку образно и по рождению объединяет евреев мира <...> К тому же он [Шагал] любил Израиль, говорил об этом публично и создал грандиозные работы»⁸.

Далее Лившиц замечает: «В Википедии написано: “Марк Захарович Шагал – белорусский, российский, французский художник”. Я бы сказал: Марк Шагал – только еврейский художник. Как Шолом-Алейхем – только еврейский писатель. Его, Шагала, искусство – всё – еврейское искусство – по теме, по настроению, по менталитету. Если он и представлен в местах, не подходящих еврейскому искусству (Гранд-опера в Париже, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, соборы и церкви Германии, Англии, Франции), то только потому, что был привлекателен своим талантом и популярностью. По-моему, Шагал – единственный по-настоящему свободный художник. Другие *новаторы, революционеры, анархисты* – все продумывают идею, программу, форму, цвет. Шагал же пишет от сердца, настроения, спонтанно, нутром, талантливо, но главное – непосредственно. И именно это делает его особенным»⁹.

Спонтанность и желание писать *нутром*, столь привлекательные в творчестве выдающегося «везунчика» из Витебска, сказались в одной из работ самого Аркадия Лившица – «Когда ты день и ночь мечтаешь о другой» (2011 г.). Но шагаловские витражи оставались для него той эпической нотой, которая всё время побуждала к собственному сюжетному замыслу в связи с историей еврейского народа, что в целом не характерно для художника, мыслящего пейзажем и не имевшего за плечами опыта иллюстративной работы. В самой теме, взволновавшей Лившица, выразилось его отношение к духовным, национальным, историческим ценностям евреев и современное понимание темы заветов Яакова как послания потомкам через своих сыновей.

«Комментатор Торы рабейну Бахья (конец XIII в.) пишет: “В Пятикнижии приводятся пророческие благословения, которые Яаков дал своим сыновьям – родоначальникам колен народа Израиля, а также пророческие благословения Моше-рабейну. Это – начало и конец одних и тех же благословений: там, где остановился Яаков, там, где прекратилось его пророческое видение, – начал Моше, там началось его пророческое видение”. Поэтому в композиции витражей включены элементы как благословений Яакова, так и благословений Моше»¹⁰.

⁸ Лившиц А. По-настоящему свободный художник // Марк Шагал и Израиль: Жизнь. Творчество. Наследие / Под ред. Г. Подольской. – Иерусалим, 2012. С. 386.

⁹ Там же.

¹⁰ Лисневский М. Стекланные палитры: Иерусалимские витражи Марка

Так в витражах Шагала. И именно такое толкование, по которому конец благословений Якова совпадает с началом пророчеств Моисея, оказывается сродни пониманию темы Аркадием Лившицем.

Итак, "Двенадцать колен Израилевых" – послание Якова потомкам через своих сыновей, рожденных от жен и их служанок, - Реувену, Шимону, Леви, Иегуде (старшие сыновья Лии), Иосифу и Бенъямину (сыновья Рахели), Иссахару и Звулуну (младшие сыновья Леи), Дану и Нафтали (сыновья Билхи, служанки Рахели), Гаду и Ашеру (сыновья Зилпы, служанки Леи).



Древо Якова

И все – ветви одного древа – сильного и солнечного - Древа Авраама Ицхака Якова.

Два обрубка-"ребра" у ствола – две жены.

Шесть ветвей - у плодоносящей Лии. К ним прижались две ветки Зилпы.

И, словно разделенные огнем – раздвоившейся ветвью - дети Билхи и...

И две заветных веточки от Рахели.

Колено Иосифа – рукою, устремленной в мироздание, в котором и луна и солнце будут поклоняться ему.

Колено Бенъямина, как трогательный с кривинкой мизинец могучего патриарха. Бенъямин (досл. *правая рука – Счастье*) – меньшенький из сыновей, оставшийся безутешному Якову после смерти любимой жены.

Веточки Рахели идут по голубой полосе – то ли реки, то неба, то ли души... в то время как вся жизнь - землисто-черные камни в серо-буро-коричневом вихре времен, которому противостоит золотой ствол древа Якова.

Шагала // Марк Шагал и Израиль: Жизнь. Творчество. Наследие. – Иерусалим, 2012. С. 110.

Так художник цветом обозначает точки драматургического конфликта будущего изобразительного ряда по теме, а также стилистический тон дальнейшего живописного повествования.

Каждая из деталей дерева подписаны на иврите – с указанием имен всех участников легендарной истории. Такого рода прием характерен для современного искусства, хотя ведет свои истоки в иконографической традиции.

Полотно "Древо Яакова" стоит особняком, как аллегорический пролог, представленный современным художником, к собственной серии работ "Двенадцать колен Израилевых".

Аллегория – одна из излюбленных форм еврейских комментаторов Танаха – избирается художником как главный изобразительный принцип. Эмоционально опираясь на опыт своего выдающегося предшественника, Аркадий Лившиц переводит сюжеты наставлений в *художнические аллегории*, в воплощении которых более всего работает сильно развитое интуитивное начало, складывающееся потом в систему. Но пунктиры этой интуитивной линии всё равно читаемы. Их улавливаешь и останавливаешься в удивлении – как родился такой поворот? А родился он из условности как единственной художественной правды. Эти правила художник задает подобно режиссеру в театре. А зритель решает для себя – принять эту условность или не принять. Лично я принимаю заданную художником *форму прямотушия*. В поворотах этой игры новая стилистика оказывается способной творить сюжет. Очертания предметов, живой природы, отношения между людьми узнаваемы, но не через натуралистические формы, а их деформацию, через визуальное смещение перспективы. Приближается далекий план. Он кажется ближе, чем находящиеся рядом детали.

«Двенадцать колен Израилевых» – окна в мир Торы художника. Этот мир полон аллегорий и чудесной фантазии. Времяисчисление отступило. Работы подчеркнута декоративны, театральны, условны. Каждое из окон-полотен подчинено своему основному цветовому фону, изображение плоскостное, пространственные связи между деталями композиции условные. Таков эклектический сплав *наивного* и *неомодернистского* стилей, в котором не последнюю роль играет *стилистика детского рисунка* – с яркими красками, прямотой, бесхитростностью, раскрепощенностью, искренностью. Эмоционально и по колориту эти работы сродни характеру и темпераменту израильтян. Они – израильские по южному ощущению цвета, его преднамеренному форсированию, усиленным контрастам и стремлению к «высокой ноте в желтом» (любимое выражение Ван Гога). Они радуют солнцем, в них нет унылости, тревоги, тоски и грусти. Они *простодушны*.

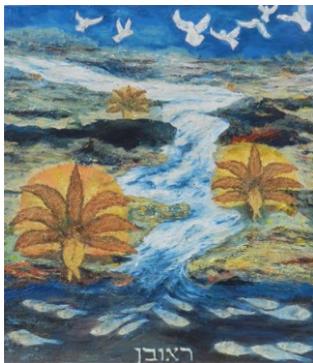
(В этой связи не могу не заметить, что работы Аркадия Лившица санурского периода – это осторожные, холодные переходы цветов, как правило, в смешанной технике.)

Серия работ-наставлений Аркадия Лившица создает живую, *эмоциональную* атмосферу событий, рассказанных в Торе – как

повествование о добром и недобром в человеке, о том, что, пройдя сквозь войны и чудеса созидания, через поколения.

Такого рода работы могли бы стать замечательными иллюстрациями для детского издания. Почему для детского? Да потому что изобразительно это сделано так, что по содержанию драматично, но визуально не устрашает.

Первенец *Реувен* – крепость и сила. Необузданным пенным потоком он врывается в мир и дает жизнь многочисленным рыбам и птицам. По берегам своей могучей реки насадил сияющие мандрагоры, чьи корни сплетаются, как игривые женские ножки.



Колено Реувена

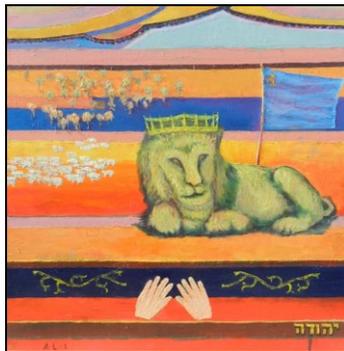


Колено Шимона

Жестко статичен *Шимон* – вечный мученик перед собою: он вырезал город, поселив одиночество в нем. На картине – замок, нож, обгаренная кровью земля и древо познания.



Колено Леви



Колено Иегуды

В Святом Храме слуга – Леви. В нем устремленное ввысь вечное пламя познания и в скрижалях его – Израиль. Здесь же – нагрудник

первосвященника с двенадцатью драгоценными и полудрагоценными камнями - в три ряда по четыре камня в каждом. И с указанием имени каждого колена.

Иегуда. Он коронованный лев на страже мира-театра. Но будут повиноваться ему все колена – на всех параллелях цветового времени. Но в красной и черной полосах – руки согласия.



Колено Звулуна



Колено Иссахара

Радостен *Звулун*-мореход. Без усталости бороздит он моря - неугомонное сердце в поисках кладов, камней драгоценных, что спрятаны в шхерах прибрежных. Парусники снуют по декоративному синему морю. Крупные рыбы просятся в руки. Скалы, словно выложены из смальт.

Иссахар. Он знает, как хорош покой, когда приник к земле и как земля отрадна. Таков трудяга осел, что прилег. И вот, набравшись сил, готов работать. Но тяжкий труд он с радостью возьмет и отработает перед Всевышним. Им восхитится солнце и луна.



Колено Дана



Колено Гада

Дан. Мудрость змеи, весы правосудия, свиток законов и на кладке стены - множество всяких табличек. В них отражается солнце. Значит спор между орлом и львом, наверное, не самый тяжкий.

Гад. Он агрессивен этот *гадский* Гад. Гад – это всегда война. Беспощадные стрелы. Угнанные стада. Беспокойные стаи птиц. И, как со свастики кровавый коршун. Дымящийся мир. И те, кого не пощадили, уже обернуты в плащаницы. И ликующие победители – темнокожие, в белых шкурах на бедрах...



Колено Ашера



Колено Нафтали

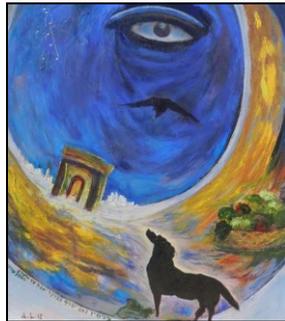
Ашер. Золотые хлеба. Зелено-салатная олива. И столько масла, что можно окунуть в него ноги. И птица миру мир несет с оливковой веточкою в клюве. Много света, рассудительности и благоразумия.

Нафтали – пленительный чудо-олень – с благословения небес - он весь – полет - в лимонно-бело-голубом пространстве, мечта, за которой не угнаться, воплощенное романтиков: "Умчи меня, Олень, по моему хотению, умчи меня, Олень, в свою стану оленью..."

Иосиф. Дивное древо, что плодоносит у родника. И идут к нему единорог и вол по пути, где снопы поклонились. И все, все, что произрастает на этой земле, хранят и луна и солнце. Здесь – твердыня Израиля. И по цвету – праздник.



Колено Иосифа



Колено Беньямина

Беньямин. Его любит Всевышний. Он единственный из сыновей, кто родился на Земле Израиля на пути в Вифлеем в ультрамариновую

ночь... Здесь же – волк, что съедает поживу, черный гриф, распростерший крыла. На границе владений Беньямина и Иегуды выстроен Иерусалим. Храмовый жертвенник – на стороне Беньямина. Божественное Око благословляет его. Композиционно работа построена так, что словно все происходящее – в глазном зрачке. Сбылись пророчества Яакова. Прозрение...

Существует понятие *зрительское восприятие*, при котором визуальные ощущения таковы, что под их воздействием что-то меняется и в тебе. По каким-то внутренним психологическим причинам происходит притяжение к определенной картине, и она дарит тебе дополнительную положительную энергию. Работы Аркадия Лившица обладают такой энергией – через мягкую улыбку, добрый юмор, самоиронию. Некоторые из его героев лубочно гротескны. Но всё сияет внутренним добром и цветом без тени. По замыслу автора они и не должны быть изображениями «природными», поскольку это художнические *окна в мир*, в котором пророчества сбываются. Этот мир вечен, поскольку храним благословениями. В нем надежды не теряют силу надежд, даже если им не суждено сбыться. Что-то забылось, переосмыслилось, слилось с тобой и всем происходящим вокруг тебя... Возвращаясь к словам самого Аркадия Лившица, скажу, что так может говорить только «по-настоящему свободный художник».

Память о коленах долгое время жила в сознании народа. Пророки времен падения Израильского царства усматривали в истории последовавшего рассеяния назидание и кару за откол от национального и культурного центра в Иерусалиме. Они верили в то, что изгнанные колена продолжают существовать и в недалеком будущем вернуться к религии отцов, воссоединившись с потомками колен Иегуды (от Леи) и Беньямина (от Рахели).

В серии работ Аркадия Лившица это единение, как в солнечном стволе Яакова, воссоздано. «Двенадцать колен Израилевых». Тринадцать аллегорических работ на холсте, маслом, в размерах: 102 x 81, 90 x 90 см, 90 x 80 см и 90 x 70 см. Подпись – А. Livshitz.

А когда работы привезли фотографировать, Аркадий неожиданно мне сказал: " Ты знаешь, я столько пережил вместе с ними... Сейчас для меня "Двенадцать колен Израилевых" – не столько сакрально-мифологическая тема, сколько драма, жизнь рода, семьи – отца и его двенадцати сыновей – с их индивидуальностью, характером, судьбой. Драма, дающая возможность видеть героев в пространстве, но, конечно же, с соблюдением символики, идеи, настроения".

Израиль и Израилевич

Аркадий Лившиц родился в 1939 году в Киеве. С 1974 года он в Иерусалиме.

Его работы находятся в государственных хранилищах – в Музее природы в Иерусалиме, в выставочном зале «Галереи А 3» в Москве, в Российском историческом и архитектурном музее «Новый Иерусалим», в Могилевском художественном музее имени П.В. Масленникова, в Астраханской государственной картинной галерее имени П.М. Догадина.

Работы Аркадия Лившица экспонировались во Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии, Польше, США, Канаде, России. Трудно перечислить все выставки, в которых за эти годы художник принял участие. Среди выставок последних лет (2010–2012 гг.) наиболее значительны персональные московские – в муниципальной «Галерее А 3» (что в легендарном Староконюшенном переулке), в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына, Музее М. Цветаевой, Еврейском культурном центре «Марьино роща»... Едва ли не каждое из названных мест – знаковое, как воздух, – для творческого человека, чья юность прошла в Москве 1960-х.



Аркадий Лившиц

Вызывает неподдельное уважение общественная деятельность Аркадия Лившица, направленная на продвижение творчества русскоязычных художников в Израиле. В 1987 году он был в ряду первых основателей деревни художников Са-Нур, затем выступил составителем выставки санурян в Кнессете (2006 г.). С 2003 года Аркадий Лившиц – член правления Объединения профессиональных художников Израиля, словом и делом поддерживал претворение в жизнь различных проектов организации. Выступил настоящим подвижником в осуществлении проекта «По следам Шагала» в Израиле, а кроме того, внес посильную лепту при сборе средств для установления мемориальной доски Шагалу в Санкт-Петербурге.

А еще... Аркадий Лившиц – человек, который реально – по автомобильным трассам и всяческим дорогам (которым в 1970-е было далеко от трасс) – объездил все «наделы» колен Израилевых. Четверть века он работал в Еврейском национальном фонде («Керен каemet леисраэль»), принимал участие в создании проектов Ботанического сада, парков Рамат-Рахель, Рамот, Гило, Парка Независимости, парков М. Бегина, И. Рабина, в честь 200-летия Америки, Канады, Иерусалимского леса и других искусственных лесов в округе Иерусалима.

Есть жизнь в искусстве. А есть просто жизнь, в которую влетаются годы, отданные творческому воссозданию конкретной земли, по которой ступаешь ногой и не хочешь думать о «наделах», потому что мыслишь ее Израилем и мечтаешь, что каждая пядь этой земли – твоя...

Благословения и пророчества порой и в жизни сбываются:
отчество Аркадия Лившица – Израилевич – сын отца Израила.



Лев Бердников

О двух русских забавниках

Полет во сне и наяву



ардинский посланник при русском дворе в 1783-1787 годах маркиз де Парело говорит об унижительной роли шута в окружении светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического. “При князе, - сообщает маркиз, - [роль эта] принадлежит одному полковнику, который ищет повышения помимо военных подвигов”, и относит его к числу “прихлебателей” и “униженных прислужников”. Историк В.Г. Кипнис установил, что полковник этот – не кто иной, как Сергей Лаврентьевич Львов (1742-1812), и также аттестовал его резко отрицательно: “Карьерист, угодливый придворный, человек с сомнительной нравственной репутацией”. Современники, однако, говорили прямо противоположное: человек этот “заслужил уважение и по уму, и по нравственным качествам”. И в пользу сего как раз и свидетельствует тот факт, что Львов долгое время был любимцем проницательного Потемкина (“первым фаворитом большого фаворита”, как шутливо назвал его писатель Н.Ф. Эмин). А Потемкин, по общему признанию, обладал “величайшим познанием людей”! Как мы покажем, Львов, без сомнения, был человеком духовно близким князю Тавриды, пленившим его как своими военными талантами, так и неистощимым остроумием.

В самом деле, обвинение Львова в карьеризме покажется совершенно несостоятельным, если мы обратимся к его беспорочной ратной службе на благо Отечества. Профессиональный военный, он после окончания Артиллерийского кадетского корпуса был произведен в штык-юнкеры и принял участие в первой и второй турецких войнах. Его усердие и расторопность обратили на себя внимание начальства, и он был определен к генерал-фельдцейхмейстеру, сперва флигель-адъютантом, а потом генерал-адъютантом. Именно благодаря собственным заслугам (а не по протекции Потемкина, с коим он находился в дальнем родстве) Сергей Лаврентьевич в 1776 г. был произведен в подполковники, в 1782 г. – в полковники, в 1787 г. – в бригадиры. В день Очаковской битвы, 6 декабря 1788 г., бригадир Львов, начальствуя над первой частью второй колонны, под жестоким огнем неустрашимо врывается в крепость. “Во уважение за усердную службу и отличную храбрость, оказанную при взятии приступом города и крепости Очакова” он был пожалован орденом Св. Георгия 3-го класса и званием генерал-майора. При штурме Измаила в декабре 1790 г. Львов возглавляет первую колонну правого крыла,

проявляя чудеса храбрости. Стремительно приближаясь ко рву и палисаду, преграждавшему путь от каменной казематной батареи к Дунаю, он первым перескакивает через палисад, овладевает батареями и быстро следует к Бросским воротам, но получает при этом тяжелое ранение. За сей подвиг сам великий А.В. Суворов представил его к награждению орденом Св. Анны 1-й степени. Впоследствии Львова пожалуют званиями генерал-лейтенанта (1797 г.) и генерала от инфантерии (1800 г.).

Сергей Лаврентьевич сопровождал Потемкина не только на поле брани – он был его неизменным спутником и в часы досуга. Он обладал даром имитатора-пародиста (сим искусством блистательно владел и светлейший) и мог со свойственным ему комизмом в точности передать манеру речи, интонации и даже телодвижения изображаемого лица.

Только Львов своей игривой искрометной шуткой мог чудесным образом разогнать хандру, часто овладевавшую патроном. Рассказывают, что однажды он ехал с Потемкиным в Царское село и всю дорогу должен был сидеть, прижавшись в угол экипажа, не смея проронить ни слова, потому что князь находился в самом мрачном расположении духа и упорно молчал. Когда Потемкин вышел, наконец, из кареты, Львов остановил его и с умоляющим видом сказал:

- Ваша Светлость, у меня к Вам покорнейшая просьба.

- Какая? – спросил изумленный Потемкин.

- Не пересказывайте, пожалуйста, никому, о чем мы с Вами говорили дорогой.

Потемкин расхохотался, и хандра, конечно, тут же отступила.

- В другой раз Потемкин спросил у Львова:

- Что ты нынче так бледен?

- Сидел рядом с графиней Н., – отвечивал тот, – и с ее стороны дул ветер. А она, как Вы знаете, сильно белится и пудрится.

Неподражаемы были анекдоты нашего героя на военные темы. Однажды его спросили, храбро ли сражаются австрийцы с турками? “О, прехрабро! – отвечал он. – Знаете ли, как они ловят турок? Однажды во время сражения один австрияк закричал товарищам: “Эй, братцы, я поймал турка!” – “Так веди его к нам!” – отвечают ему. – “Да он не идет!” – “Ну, так ты иди сюда!” – “Да он не пускает!”.

Остроты Сергея Лаврентьевича имели большой успех и передавались из уст в уста. Наш остроумец находил, что секретари имеют некое сходство с часовой пружиной, потому что они тоже медленно направляют ход. А вот как однажды он разыграл саму Семирамиду Севера. Когда императрице Екатерине II подарили огромный телескоп и придворные уверяли, что, наводя его на небо, различают даже горы на луне, Львов парировал:

- Я не только вижу горы, но и лес.

- Ты возбуждаешь во мне любопытство! – сказала заинтригованная императрица, вставая с кресел.

- Торопитесь, Ваше Величество, – продолжал он, – лес уже начали рубить; подойти не успеете, как его срубят.

Светлейший князь не только сам смеялся шуткам Львова, но и использовал его дар остроумца, чтобы одергивать зарвавшихся

сиятельных спесивцев, кичившихся своим показным величием. Так, тщеславный генерал-аншеф М.Н. Кречетников, сделавшись тульским наместником, окружил себя поистине царской пышностью и обращался чрезвычайно надменно не только с подчиненными, но даже с лицами, равными ему по положению. Потемкин, призвав к себе Сергея Лаврентьевича, попросил:

- Кречетников слишком заважничался! Поезжай и сбавь ему спеси!

Львов поспешил в Тулу. И вот в праздничный день, когда чванный Кречетников, окруженный толпой услужливых ординарцев, чиновников, секретарей, парадно разодетых официантов и прочей челяди, появился в приемной зале, среди воцарившейся тишины раздался вдруг отчаянный крик мужика, одетого в нарочито поношенное платье:

- Браво, Кречетников, браво, брависсимо!

Изумленные взоры обратились на смельчака, который стоял на стуле и что есть сил хлопал в ладоши. Каково же было удивление гостей, когда сам наместник подошел к сему непрезентабельного вида простолюдину и, ласково протягивая ему руку, сказал:

- Как я рад, уважаемый Сергей Лаврентьевич, что вижу Вас. Надолго ли к нам пожаловали?

Но посланец всеильного Потемкина, заливаясь смехом, начал убеждать Кречетникова “воротиться в гостиную и еще раз позабавить его пышным выходом”.

- Бога ради, перестаньте шутить, - бормотал растерявшийся наместник, - позвольте лучше Вас обнять.

- Нет, - кричал Львов, - не сойду с места, пока не исполните моей просьбы. Мастерски играете свою роль.

Сконфуженному Кречетникову стоило немалых усилий уговорить Львова слезть со стула и прекратить злую шутку, которая, надо полагать, достигла цели.

Обаяние Сергея Лаврентьевича было столь неотразимым, что на него просто невозможно было долго сердиться. Однажды Потемкин за что-то обиделся на Львова и перестал с ним разговаривать. Наш герой как будто не обратил на это внимания и продолжал обедать у князя, но при этом стал заметно худеть. Наконец, Потемкин заметил это, удивился и спросил генерала:

- Отчего ты так похудел?

- По милости Вашей Светлости. Если бы Вы еще продолжали на меня дуться, я умер бы с голода.

- Как так?

- Прежде все оставляли меня в покое. А теперь едва только поднесу кусок ко рту, меня отвлекают вопросами. Не смел же я не отвечать, находясь в опале!

Но нельзя не сказать об одной непривлекательной черте характера нашего героя: Сергей Лаврентьевич был отъявленным картежником, кутилой и мотом. Он всегда был в долгах, как в шелках, и при этом никогда не любил платить по счетам. Однажды это навлекло на него гнев самой императрицы. По словам ее личного секретаря А.В.

Храповицкого, Екатерина II, собираясь в путешествие в Крым, исключила из своей свиты Львова, бросив: “Бесчестный человек в моем сообществе жить не может”. Впрочем, монархиня скоро простила Львова и всегда щедро его награждала по представлениям Потемкина. Не исключено, что Сергей Лаврентьевич был и непререкаемым участником оргий женолюбивого светлейшего: не случайно писатель Фаддей Булгарин назовет его потом “известным бонвиваном”.

И показательно, что именно Потемкин озаботился устройством судьбы своего любимца и подыскал невесту самую подходящую, “желая доставить ему счастье в получении знатного имущества”. Избранницей расточительного Львова стала (с подачи Потемкина) дочь богатейшего заводчика Никиты Акинфиевича Демидова Екатерина (1772-1832), которая к тому же была младше мужа на 30 (!) лет. Причем светлейший буквально настоял на этом браке: получив сначала отказ, князь, по словам брата невесты, Николая, “вторично обратился... и тут уже не было средства дальше противиться в рассуждении столь сильной его возможности, и сестру мою за Львова отдали”. Если учесть, что Николай Никитич Демидов (1773-1828) был адъютантом Потемкина и находился в зависимом от него положении, покорность брата станет понятной, хотя тот и не скрывает, что сокрушается о сестре, “сожалея о толико несчастной ее участи”.

Согласно завещанию отца, приданое Екатерины составило “2264 ревизских душ крестьян Ардатовский округи (села Гремячее, Тресвяцкое, Сапоны) Нижегородского наместничества и Муромской округи (село Яковцево) Владимирского наместничества, да сверх того денег 100 тыс. рублей, бриллиантовых вещей, платья и мебели на 30 тыс. рублей”. Но этого мало! Николай Демидов вынужден был заплатить за своего новоиспеченного зятя Львова долг в 164 тысячи рублей! Кроме того, он и в дальнейшем вынужден был помогать семье своей злополучной сестры “по их дошедшей крайности”. Ссужал Львова деньгами и Потемкин, пока был жив.

Был ли Львов вполне доволен своей жизнью? Едва ли. Может статься, в его памяти снова и снова вставала сцена с его светлейшим патроном, когда генерал не сумел утишить его внезапный гнев. Они, по обыкновению, ужинали. Потемкин был сначала весел, говорлив, шутил беспрестанно, но потом вдруг задумался, начал грызть ногти (что означало сильное неудовольствие) и вдруг изрек: “Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я ни желал, все прихоти мои исполнялись как будто каким очарованием, хотел чинов – имею; орденов – имею; любил играть – проигрывал суммы несчетные; любил покупать имения – имею; любил строить дома – построил дворцы; любил дорогие вещи – имею столько, что ни один частный человек не имеет так много и таких редких; словом, все мои страсти выполнялись!” Произнеся это, князь заметно помрачнел. Львов открыл было рот, чтобы разогнать его грусть веселой шуткой, но Потемкин схватил тарелку, с силой разбил ее вдребезги об пол, ушел в спальню и заперся.

Слова эти, видно, крепко запали в душу нашего героя. Через много лет пресыщенный жизнью Львов выскажется прилюдно почти в

том же духе, что и Потемкин: “Я бывал в нескольких сражениях, видел неприятеля лицом к лицу и никогда не чувствовал, чтоб у меня забилося сердце. Я играл в карты, проигрывал все до последнего гроша, не зная, чем завтра существовать буду, и оставался так же покоен, как бы имея миллион за пазухой. Наконец, вздумалось мне влюбиться в одну красавицу полячку, которая, казалось, была от меня без памяти, но в самом деле безбожно обманывала меня для одного венгерского офицера; я узнал об измене со всеми гнусными ее подробностями – и мне стало смешно. Как же, думал я, дожить до шестидесяти лет и не испытать ни одного сильного ощущения! Если оно не далось мне на земле, дай поищу его за облаками: вот я и полетел”.

Хотя Сергей Лаврентьевич не был чужд изящной словесности, он говорит здесь вовсе не о парении пиитического духа. Речь, в самом деле, идет о преодолении им законов тяготения. В 1803 г. известный воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен (1769-1823) с женой и дочерью удостоился приглашения в Россию. Француз получил высочайшую привилегию подниматься на аэростате перед петербургской и московской публикой. За немалую мзду (2000 рублей серебром) сей воздухоплаватель согласился взять с собой в полет русского пассажира, коим и стал престарелый Львов. Одни историки считают, что император Александр I и его генералитет решили выяснить возможность использования аэростатов в военных целях, и наш герой лишь исполнил их поручение. По другой, более правдоподобной, версии, Львов часто жаловался царю на отсутствие острых ощущений, и благосклонный к нему монарх пошел генералу навстречу и даже оплатил его воздушное путешествие.

Так или иначе, но 18 июля 1803 г. в шесть часов вечера при огромном стечении народа воздушный шар с Гарнереном и Львовым на борту поднялся в петербургское небо с плаца Кадетского корпуса, что на Васильевском острове. Причем Сергей Лаврентьевич, в соответствии с торжественностью момента, облачился в парадный мундир при орденских лентах. В руке генерал держал небольшой флаг, коим, поднявшись в воздух, весело размахивал, дабы дать понять, что он не из робкого десятка. Аэростат полетел в сторону Финского залива, постепенно набирая высоту до 2500 метров. Но...- ох уж эта питерская погода! – ветер внезапно переменялся и шар вынужденно сел в районе Красного села. После приземления генерал разочарованно заметил: “За пределами нашей атмосферы я не нашел ничего, кроме тумана и сырости: немного продрог – вот и все”. Тем не менее Львов вошел в историю прежде всего как первый русский человек, поднявшийся в воздух на аэростате!

Небезызвестный поэт-острослов А.С. Хвостов (не путать с его двоюродным братом, героем пародий, стихотворцем графом Д.И. Хвостовым!) отозвался на сей полет едкой эпиграммой:

“Генерал Львов
Летит до облаков
Просить богов
О zapлате долгов”.

Новоявленный воздухоплаватель, почувствовав себя уязвленным, так ответил обидчику:

“Хвосты есть у лисиц,
Хвосты есть у волков,
Хвосты есть у кнутов,
Берегись, Хвостов!”.

Хотя эпиграмма Львова имела успех (она переписывалась в альбомы, а Г.Р. Державин, например, прямо переадресовал ее Д.И. Хвостову), число хулителей и недоброжелателей генерала после его вояжа в поднебесье только возросло. Зоилы преуспели в том, чтобы своими насмешками уверить часть общества в том, что не пристало старому военному летать по воздуху, как баба-Яга в ступе, и что никакая это вовсе не храбрость. И самое досадное, что сии толки дошли до государя, почитавшего Львова больше приятным в беседе, нежели отважным в воинских делах и опасностях. А это верноподданному генералу было особенно горько. Есть свидетельства, что, слыша худые о себе суждения, Сергей Лаврентьевич впал в глубокое уныние и со слезами говорил, что обманулся в своих надеждах. Тогда его поспешил утешить известный адмирал А.С. Шишков. Это тем более интересно, что Шишков, прочно завоевавший в литературе репутацию завязтого архаиста и старовера, вдруг взял на себя труд воспеть такое новое по тем временам дело, как воздухоплавание. Есть искус привести обширную выдержку из этого пространного письма к Львову, представляющего несомненный исторический и литературный интерес:

“Позвольте одному из почитающих Вас приятелей Ваших изъяснить перед Вами свои чувства; позвольте поздравить Вас с благополучным окончанием, сколько достойного любопытства, столько же и страшного путешествия, на которое не всякий пустится:

Хотя ум сердце и толкает,
Твердя тихонько: “полетим”;
Но сердце, сжавшись, отвечает:
“Постой, посмотрим, поглядим”.

Мне кажется, можно Вас с этим и поздравить; ибо путешествие Ваше на воздушном шаре по многим причинам долженствует Вам быть приятно: во-первых, хотя в решимости и твердости духа Вашего никто не сомневался, однако ж это было новым и неоспоримым тому доказательством. Во-вторых, Вы удовлетворили любопытству своему и видели то, чем немногие похвалиться могут. В-третьих, Вы опытом узнали (выключая немногих, недоброжелательствующих Вам), сколько Вы любимы, поэтому, что многие в здравии Вашем принимали искреннее участие. Все сии причины совокупно оправдывают мое приносимое Вам поздравление, и делают оное чистосердечным.

Поговорим теперь о путешествии Вашем. Мне случилось в ясную погоду и при чистом воздухе бывать на вершинах высоких гор: величественность зрелища, представлявшегося тогда очам моим,

наполняла душу мою таким сладким восторгом, которого человек, ползающий по земному долу, никогда чувствовать не может. Мне казалось, что я был пресмыкающийся червь, когда стоял под горою, и что я сделался летающею бабочкою, когда взошел на гору. Посему, могу я несколько вообразить, какими приятными чувствами объята была душа Ваша, когда Вы вознеслись до такой высоты, отколе пышность наших храмов и жилищ в глазах Ваших исчезла; ужасающие нас великостью своею громады превратились в песчинки; широкие озера и моря, поглащающие огромные с людьми корабли, сделались маленькими лужицами, в которых, казалось Вам, не можете Вы омочить подошву своей ноги... Достоинство любопытства нашего созерцание земли и небес, поколику человек от одной возвысится, а к другим бранным оком своим сколько-нибудь приблизиться может, и кто бы что ни говорил, но всякий бы желал увидеть то, что видели Вы, если б страх воздушного путешествия не обуздывал нашего любопытства. Тем же, которые ко всему любят привязывать толки и хулы, отвечал бы я:

Как хочешь, так суди,
И хоть сто раз тверди
И важно и спесиво,
Что это де не диво,
И что, дескать, за статья
По воздуху летать?
Рассказы не доводы,
Сиденка не походы,
Трубить легко в кулак;
А я скажу вот так:
Тому, в ком духу мало,
Конечно, не пристало;
И ты, кто нам кричишь,
Что чуда в том не зришь,
Коль хочешь непременно,
Твоим, чтоб несомненно
Мы верили словам,
Попробуй съездить сам.

С истинным почитанием навсегда пребываю, и проч.” Не созвучна ли поэтика сего пассажа “ретрограда” Шишкова знаменитому и в свое время новаторскому горьковскому рефрену “Безумству храбрых поем мы песню!”? Или удивительно точной поэтической формуле Андрея Вознесенского: “Небом единым жив человек”?..

Видно, что наш герой после полета перестал предаваться унынию, сохраняя свойственное ему присутствие духа. Мемуарист С.П. Жихарев в своем “Дневнике чиновника” подробно описывает вечер, состоявшийся в мае 1807 г. в московском доме Г.Р. Державина, на коем присутствовал и наш “известный остряк и знаменитый рассказчик Сергей Лаврентьевич Львов”. Он предстает здесь “пожилым генералом с двумя звездами, с живой умной физиономией и насмешливой улыбкой”.

Воспоминания Жихарева доносят до нас замечательное словесное искусство и тонкий юмор Львова: “За ужином Сергей Лаврентьевич не истощался в рассказах, - свидетельствует он, - и если б у меня память была вдвое лучше, то и тогда бы я не мог запомнить половины того, что говорил этот в самом деле необыкновенно красноречивый и острый старик. То разъяснял он некоторые события своего времени, загадочные для нас; то рассказывал о таких любопытных происшествиях в армии при фельдмаршалах графе Румянцеве и князя Потемкине, о которых никто и не слыхивал; то забавлял анекдотами о причине возвышения при дворе многих известных людей и неприязненных отношениях, в которых они бывали между собою, и все это пересыпал он своими замечаниями, чрезвычайно забавными, так что умел расшевелить самих Державина и Шишкова, которые, кажется, от роду своего не смеялись так от чистого сердца”.

Рассказ о нашем герое был бы не полон, если бы мы не упомянули о том, как некогда Екатерина II спасла его от неминуемой опалы. Произошло сие сразу же после смерти Потемкина-Таврического, когда скорбь по нему осиротевшего Львова была еще очень остра. (А, надо сказать, Сергей Лаврентьевич платил ему любовью и преданностью: он не покинул своего покровителя в его последний час и был рядом с ним на пыльной степной дороге по пути из Ясс к Николаеву. И примечательно, что на известной гравюре Г.И. Скородумова рядом с умирающим повелителем Тавриды запечатлен и наш генерал). Шел званный обед, на коем присутствовало множество гостей, но Львов, погруженный в тяжелые думы, не обращал ни на кого внимания и мрачно молчал. В подобном расположении духа генерал (как некогда и Потемкин) имел обыкновение кусать ногти на руках. Это почему-то очень сильно раздражило сидевшего против него графа Аркадия Ивановича Моркова (1747-1827), человека весьма скандального и злого. А Морков, надо сказать, вошел тогда в особую силу, ибо был членом Иностранной коллегии и любимцем последнего фаворита императрицы князя П.А. Зубова. Граф тоже слыл записным остроумцем и, по словам П.А. Вяземского, “славился бритвенным своим языком и обращением до заносчивости невежливым”. А князь А.А. Чарторыйский утверждал, что все “его слова были едки, резки и неприятны”. Можно себе представить, как больно ранили беззащитные подначки и колкости Моркова, если даже выдавший виды генерал Львов вспыхнул, вышел из себя и в сердцах запустил в голову обидчика тарелку из-под супа. Воцарилась гробовая тишина, а граф, вскочив из-за стола, как ошпаренный, помчался жаловаться на Львова к своему покровителю Зубову. Последний, призвав к себе генерала, гневно спросил, как мог он покуситься на такое дерзновение и, не услышав вразумительного ответа, выгнал его вон.

Тучи над Львовым сгушались, и будущее виделось ему в самых черных красках. О том, что произошло дальше, рассказывает сам Сергей Лаврентьевич: “На другой день был праздник. Я долго колебался: ехать ли мне во дворец или нет? Наконец, решился ехать, чтобы скорее узнать мою участь. Во дворце многие уже слышали о сем происшествии. Некоторые сожалели обо мне; другие, не любя Моркова за насмешливый

нрав его, были тем довольны... Князь Zubov, появясь, прошел прямо к Ней [Екатерине II – Л.Б.], и чрез несколько минут, вышед оттуда, сказал мне, чтоб через час к нему приехал. Во весь этот час промучился я мыслями, ожидая решения моей судьбы. Один гнев Екатеринин и удаление от Ея лица ужасали меня больше всякого другого наказания. Приезжаю; меня пускают в кабинет к князю, где нахожу я его и Моркова. По некотором кратком молчании, князь, обращаясь к обоим нам, сказал: “Государыня желает, чтоб вы помирились, и если вы это сделаете, то она сегодня приглашает вас обоих к себе на вечер”. Мы попросили друг у друга прощения, обещали забыть прошедшее и были ввечеру у императрицы, которая, как бы не зная ничего о нашей ссоре, разговаривала с нами весьма милостиво”. Львов резюмирует: “Можно себе представить, какою благодарностию сердце мое наполнено было к сему поистине, материнскому со мною поступку милосердной монархини!”.

Сергею Лаврентьевичу Львову была отпущена яркая и долгая жизнь, наполненная военными подвигами, общением с выдающимися людьми эпохи, завидным остроумием. Тот же А.С. Шишков рассказывает, как застал Львова на смертном одре. Юмор не изменил нашему герою и в последние минуты жизни. – “Каков ты, Сергей Лаврентьевич?” – спросил у него адмирал. – “Да что сказать, - отвечивал тот, - большею частью чувств моих – зрения, вкуса, памяти – нагрузил я обоз и отправил на тот свет, а здесь остаюсь налегке”. После сих слов генерал погрузился в глубокий сон, и душа его совершила свой полет - в вечность.

Придворный проказник

Эта старая, одетая в отрепья чухонка выказывала нрав буйный и склочный. И петербургские тротуары она мела с каким-то особым остервенением; стоило же ей завидеть какого-нибудь прилично одетого прохожего, она бросалась к нему и, - нет, не просила! – скандально требовала подаяния. И не дай Бог отказать сварливой бабе: тогда та осыпала скрягу целым градом отборных ругательств, а то и грозно замахивалась на него метлой. А однажды у Казанского собора она затеяла нешуточную свару с нищими иноками, после чего была даже взята в участок. Там-то старуха сбросила свой маскарадный наряд, и перед стражами порядка предстал видный чиновник Коллегии иностранных дел Дмитрий Михайлович Кологривов (1779-1830), обожавший всякого рода розыгрыши и мистификации. Так что перед “чухонкой”, оказавшейся родовитым дворянином, полицейские еще и извинились.

А род Кологривовых, внесенный в Родословные книги Московской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской и Пензенской губерний, был древен и вел свое начало от славного выходца из Прусской земли, “мужа честна” Радши (XIII век). Его потомок в 10-м колене – Иван Тимофеевич Пушкин, прозванный “Кологривом”, и стал основателем династии. В роде Кологривовых было много людей самых серьезных, в шутовстве не замеченных, зато отличившихся на военном поприще. Иван Петрович Большой-Кологривов был воеводой в Кетске (1625-1627 гг.); Григорий Александрович – воеводой в Стародубе (1604

г.), а его брат Лаврентий – в Ряжске и Владимире (1616-1618 гг.); Андрей Семенович (1775-1825) был генералом от кавалерии. Да и отец Дмитрия, Михаил Алексеевич Кологривов (1719-1788), был гвардии капитаном. Он женился на вдове князя Н.С. Голицына Александре Александровне Хитрово (1737-1787), которая и произвела на свет троих детей, в том числе и нашего героя. Помимо родной сестры, Елизаветы Михайловны Кологривовой (1777-1845), Дмитрий имел и единоутробного брата от другого отца, Александра Николаевича Голицына (1773-1844). Братья совсем не походили друг на друга: Голицын был сероглаз и русоволос; Кологривов – скорее цыганской масти: жгучий брюнет с пронзительными черными глазами. Но их объединяла безудержная склонность к озорству.

Это потом Голицын оставит след в истории как обер-прокурор Синода и министр Духовных дел и народного просвещения России, открывший по всей империи целую сеть Библейских обществ; а его благочестие, приправленное изрядной долей мистицизма, войдет в легенду. В молодости же Александр слыл неисправимым шалуном, безбожником и эпикурейцем. Какой же пример мог подать он меньшому брату? Сызмальства Голицын был определен в Пажеский корпус – заведение, которое называли не иначе, как “школа затейливых шалостей”. Здесь этот “мальчик крошечный, веселенький, миленький, остренький, одаренный чудесною мимикой, искусством подражать голосу, походке, манерам особ каждого пола и возраста”, обратил на себя внимание влиятельной камер-фрейлины императрицы Екатерины II М.Г. Перекусихиной. Проникшись симпатией к “беднейшему князьку”, да к тому же еще и круглому сироте, она присоветовала императрице определить мальчика в товарищи к его малолетнему царственному тезке – будущему императору Александру I.

Дети быстро подружились и принялись так нещадно шалить, что двор от их выходов только за голову держался. Рассказывали, что Екатерина, проведая о даре Голицына к имитации, заставляла его передразнивать речь и повадки великого князя Павла Петровича и при этом заразительно хохотала. Известен и такой случай (об этом рассказывал сам Голицын). Однажды он поспорил, что сумеет прилюдно дернуть Павла Петровича за косу. Прислуживая за столом, он и впрямь что есть мочи рванул косу наследника престола. Взбешенный Павел вскочил и, сверкнув глазами, приказал запороть наглого постреленка. Однако, Голицын, потупившись, объяснил, что, мол, коса была сбита набок, и он ее просто поправил. Великому князю ничего не оставалось, как поблагодарить “усердного” слугу.

Не отставал от шалуна Александра Голицына и Дмитрий Кологривов. Прodelки братьев шокировали Петербург и были в начале XIX века на слуху у многих. При этом сии озорники подчас проявляли себя как закоренелые атеисты, глумившиеся над самым святым – христианским милосердием. Вот какую комедию разыграли они, например, с истой ревнительницей православия княгиней Татьяной Борисовной Потемкиной. Благотворительность Потемкиной не знала границ и была известна всей России. Творя благодеяния, она никогда никому не отказывала. Потому, когда княгине доложили, что к ней

явились две монашенки, они были немедленно впущены. Войдя в приемную, жены Христовы пали ниц и, осеняя себе крестным знамением, стали жалостно вопить, умоляя о милостыни. Растроганная Татьяна Борисовна пошла за деньгами, но, вернувшись, остолбенела от ужаса: монахини бойко отпльсывали камаринского! То были переодетые Голицын и Кологривов.

В другой раз братья, вырядившись в морских разбойников, угнали с пристани Зимнего дворца ялик и учинили “пиратское нападение” на прогулочное судно графа Салтыкова, до смерти перепугав находившихся на нем знатных дам. За это проказники были примерно наказаны: сосланы на три месяца на юг, где уныло пьянствовали и играли в карты.

Товарищем Кологривова в его шалостях был и другой Голицын, Федор Сергеевич (1781-1826), дальний родственник Александра. Галантный кавалер и человек “большого света”, родившийся и воспитывавшийся во Франции, этот Голицын был чрезвычайно тучен, за что получил прозвище “пудовик”. Вот как характеризует его современник: “Я мало знал людей, которые бы имели столько светской любезности и ума. Лицо русской кормилицы, белое, полное, широкое и румяное, но с огненным взглядом и привлекательною улыбкой, делали его наружность весьма приятно; самой необычайной толщине своей умел он в молодости, посредством туалета, давать щеголеватую форму. Он прекрасно пел романсы и прилежно читал романы; в этом, кажется заключались все его знания”. Добавим к сему, что Федор был не чужд веселым мистификациям и тоже имел охоту к переодеваниям. Случилось, что он устроил маскарад, на коем Кологривов “пугал всех Наполеоновою маскою и всем его снарядам и походкою, даже его словами”.

Писатель В.А. Соллогуб оставил следующее свидетельство: “Однажды государь готовился осматривать кавалерийский полк на гатчинской эспланаде. Вдруг пред ним развернутым фронтом пронеслась марш-маршем неожиданная кавалькада. Впереди скакала во весь опор необыкновенно толстая дама в зеленой амазонке и шляпе с перьями. Рядом с ней на рысях рассыпался в любезностях отчаянный щеголь. За ними следовала еще небольшая свита. Неуместный маскарад был тотчас же остановлен. Дамою нарядился тучный князь Федор Сергеевич Голицын. Любезным кавалером оказался Кологривов”. Шалунам был объявлен августейший выговор.

Но Кологривов не унимается. Он продолжает насмешничать и подтрунивать, выставляя свои жертвы в самом комическом виде. Мишенью его неистощимого остроумия становятся щеголи. Раньше он сам рядился в броский, кричаще модный костюм; теперь же он предпочитает язвить по поводу других франтов. Рассказывают, что один столичный щеголь, поднаторевший в изобретении новомодного платья, заказал себе синий плащ с длинными широкими, подбитыми малиновым бархатом рукавами, и в таком экстравагантном виде явился в театр. Кологривов к нему подсел и, расточая комплименты его изысканному вкусу, стал незаметно вкладывать в рукава плаща увесистые медные пятаки. Когда в антракте щеголь поднялся с кресел, пятаки разом грянули

об пол и покатились во все стороны, производя неимоверный шум. А Кологривов начал подбирать и подавать их с такими ужимками и прибаутками, что публика буквально помирала со смеху. Так франт, стремившийся выделиться из толпы своим нарядом, оказался в центре внимания совсем по другой причине – благодаря той несурзадной, нелепой и заведомо глупой ситуации, в которую был поставлен.

Но не все сходило Кологривову с рук. Однажды он, сам того не ведая, задел ненароком известного в то время матроса-силача Дмитрия Александровича Лукина (1770-1807). А человек этот, надо сказать, был личностью весьма примечательной. Подлинный русский богатырь, он легко ломал подковы, одним пальцем вдавливал гвоздь в стену и мог с полчаса держать в распростертых руках пудовые ядра. Говорили, что, будучи в Англии, Лукин побил четырех лучших боксеров, схватив их за пояс и лихо перекинув через плечо.

А произошло вот что: в театре, где шла пьеса на французском языке, Кологривов заметил зрителя, который, как ему показалось, ничего в представлении не понимал.

- Вы говорите по-французски? – спросил наш герой.

- Нет, - отрывисто ответил незнакомец.

- Так не угодно ли, чтобы я объяснял Вам, что происходит на сцене?

- Сделайте одолжение.

Кологривов начал объяснять и понес такую околесицу, что дамы в ложах фыркали от смеха. Вдруг якобы не знающий французского языка зритель спросил по-французски:

- А теперь скажите мне, зачем Вы говорите такой вздор?

Кологривов сконфузился.

- Вы не знаете, что я одной рукой могу поднять Вас за шиворот и бросить в ложу к тем дамам, с которыми Вы перемигивались? – продолжил незнакомец и представился: “Я - Лукин”.

Дабы проучить насмешника, Лукин отвел его в буфет и заставил выпить с ним на брудершафт восемь стаканов пунша, после чего силач был трезв, как стеклышко, а мертвецки пьяного Кологривова не выводили – выносили из театра...

“Ума он был блестящего, - говорит о Кологривове В.А. Соллогуб, - и если бы не страсть к шутовству, он мог бы сделать завидную карьеру”. С этим согласиться трудно, ибо озорные выходки Дмитрия Михайловича его продвижению по службе никак не помешали. Просмотр российских “Адрес-календарей” первой четверти XIX века позволяет нам воссоздать ступени его карьерного роста. В 1803 г. он в чине коллежского асессора служит в канцелярии русского посольства в Гааге; в 1806 г. получает чин камер-юнкера; в 1812 г. он уже камергер и числится в Коллегии иностранных дел; в 1814 г. становится церемониймейстером и действительным статским советником; наконец, в том же году он получает чины тайного советника и обер-церемониймейстера, сохранив за собой и должность камергера. В 1823 г. он удостоен ордена Св. Анны I-й степени. Тайный советник и обер-церемониймейстер – чины, согласно “Табели о рангах”, равнозначные

генерал-лейтенанту и вице-адмиралу! Чем не блистательная карьера для “шута”!?

Он вращался в кругу сильных мира сего. “Семья Кологривовых, - отмечает историк М.В. Нечкина, - тесно связана с двором, находится в родственных отношениях с крупнейшей знатью – Голицыными, Трубецкими, Румянцевыми, Вельяминовыми-Зерновыми. В московском доме Кологривовых – между Грузинами и Тверской – танцует на балу Александр I”. Но Кологривов никогда не изменял себе: даже, вышагивая в парадном церемониймейстерском мундире темно-зеленого сукна с узорным золотым шитьем на воротнике и обшлагах, он, казалось, тоже участвовал в каком-то маскараде. На маскараде чужом, ему не свойственном, ибо в душе он оставался все тем же неисправимым озорником и острословом. “Это человек был, в полном смысле, душою общества, – вспоминает о нем мемуарист А.П. Белев. – Приятный в высшей степени, всегда веселый, остроумно-шутливый, он часто до слез заставлял смеяться самого серьезного человека. В то же время он был очень доброго сердца и, как говорили, делал много добра, скрывая его от глаз света... Где только был Дмитрий Михайлович, там уж непременно общество было в самом приятном настроении”.

Как-то на дипломатическом приеме он, словно проказник-мальчишка, исподтишка выдернул стул из-под одного иностранного посланника, после чего тот упал и беспомощно растянулся на паркете.

- Я надеюсь, что негодяй, позволивший себе эту дерзость, объявит свое имя! – возопил разъяренный посол.

Кологривов, конечно же, “дипломатично” промолчал.

- Шли годы... Брат нашего героя, Александр Голицын, превратился в унылого богомольца. А Кологривов не менялся: в нем всегда звучала только ему присущая особая веселая нота. Вот примечательная сцена: едут братья в карете, Голицын закатывает глаза и иступленно поет кантату: “О, Творец! О, Творец!”. Кологривов слушает и вдруг затягивает плясовую, припевая в рифму: “А мы едем во дворец, во дворец!”.

И это бьющее через край озорство, столь замечательное на фоне чопорности придворной камарильи, без сомнения, делает проказника Кологривова фигурой привлекательной, вызывающей к себе наш живой интерес.



Борис Тененбаум

Барабанщик

Главы из новой книги "Гитлер"

I



два часа дня, в субботу 9 ноября 1918 года, выступая с балкона Рейхстага, Филипп Шейдеманн[1] заявил собравшейся толпе, что старый прогнивший порядок рухнул, что монархии больше нет, и что *"...Рейх перестал быть Империей, и становится Республикой..."*.

Что означает это заявление, было неясно - художественный критик Харри Кесслер, навестивший Рейхстаг поздним вечером 9 ноября, записал в своих мемуарах, что здание было набито народом. Тут были и солдаты, и моряки, и какие-то штатские, у которых было оружие, и какие-то женщины, у которых оружия не было - но вели они себя при этом очень непринужденно. Солдаты, впрочем, тоже не стеснялись - некоторые из них, например, лежали на толстых красных коврах, устилавших коридоры Рейхстага. Кесслеру подумалось, что он находится *"... в декорациях фильма о русской революции 1917..."*.

Он занес это наблюдение в дневник.

Нечто очень похожее творилось и в других местах. Офицерский обед в закрытом клубе в Кобленце был прерван, когда в клуб вломились вооруженные солдаты. Их предводитель был верхом, и в зал въехал, как был, на лошади - спешиться он счел излишним.

Теоретически правление было передано социал-демократам - это было сделано последним рейхсканцлером монархии, принцем Максом Баденским[2]. Он как раз, во что бы то ни стало, стремился избежать *"...повторения русской революции..."* - и убедил кайзера покинуть столицу. Макс Баденский был прав - за несколько дней до 9 ноября наследному принцу, Генриху Прусскому, пришлось в чужой одежде бежать из Кили, его жизни угрожала опасность.

То, что война безнадежно проиграна, понимающим дело было известно с октября 1918 - все ресурсы к дальнейшему сопротивлению были исчерпаны, и генерал Эрих Людендорф ушел с поста помощника начальника Генштаба. Название должности не должно вводить в заблуждение - начальником Генштаба был Пауль фон Гинденбург, но он служил скорее фасадом.

Настоящим "мозгом армии" был именно Людендорф - и вот, он передал свои полномочия генералу Вильгельму Грёнеру, который тоже

никаких иллюзий не питал. Грёнер вдвоем с Гинденбургом и убедили кайзера в необходимости прекратить бессмысленные уже военные действия.

Какой уж тут "...удар в спину..."?

Другое дело, что широкая публика ничего об этом не знала. В 1918 германские войска занимали Украину, Польшу, Прибалтику, 12 июня вошли в Тбилиси, а Сенат Финляндии подыскивал принца из дома Гогенцоллернов на престол замысленного было финского королевства. С режимом гетмана Скоропадского у Германии был подписан "Договор о Дружбе", Крым был занят немецкими войсками, которые не пустили туда турок, своих союзников. В Берлин одна за одной текли самые неожиданные делегации - там побывали "калмыцкий князь Тундутов", представитель "Военного Совета Русских Мусульман" Осман Токубет, посланцы Грузии, Армении, и даже какой-то "крымский граф Тадичев"...

Кайзер внес свой вклад в идеологическую подготовку к победе, заявив на банкете для военных в честь 30-летия своего правления:

"...либо германо-пруско-тевтонская мировая философия - справедливость, свобода, честь, мораль - возобладает во славе, либо англо-саксонская философия заставит всех поклониться золотому тельцу. В этой борьбе одна из них должна будет уступить место другой. Мы сражаемся за победу германской философии..."

Ну, с кайзера что и взять - он избытком интеллекта не отличался. Но нечто похожее говорил и Томас Манн. Его, вроде бы оторванного от мира художника, подчеркнуто аполитичного человека, Великая Война тоже не оставила равнодушным, и он отстаивал право Германии на то, чтобы "...повести за собой человечество...". И что "...старой, утомленной "латинской цивилизации" пора уступить дорогу молодой германской культуре..."

Но нет, нет и нет - война была проиграна, проиграна безнадежно. Переговоры о перемирии начались еще в октябре - для этого, собственно, принц Макс Баденский и был сделан рейхсканцлером. Он давно стоял за заключение мира и считался наиболее приемлемой фигурой для переговоров со странами Антанты. Но оказалось, что союзники вообще не хотят говорить ни с германскими монархистами, ни с военными. Макс Баденский передал власть Фридриху Эберту[2], наиболее приемлемому для него лидеру социал-демократов.

Надо было, во что бы то ни стало удержать порядок.

II

Ну, у Адольфа Гитлера никаких сомнений в необходимости удержания порядка не было. По выписке из госпиталя он получил предписание явиться в Мюнхен, в центр формирования его полка - и он так и сделал. Благо, поезда в Германии еще ходили, несмотря на революцию.

В Мюнхене, однако, революция Гитлера все-таки настигла.

Еще 7 ноября 1918, то есть за два дня до бегства кайзера из Берлина, в Мюнхене советом солдатских и рабочих депутатов была провозглашена Баварская Республика. Династия Виттельсбахов[4] объявлялась свергнутой.

В числе множества вопросов, связанных с низложением короля Людвига III, был и такой: по традиции, войска в Германии присягали лично своему монарху, и традиция сохранилась и в Рейхе, построенном Бисмарком. Скажем, прусские полки присягали не Вильгельму II, кайзеру Германской Империи, а Вильгельму II, королю Пруссии - хотя это и было одно и то же лицо. Соответственно, вновь сформированный в 1914 16-й Резервный Баварский Полк присягал государю Баварии.

В его отсутствие, по идее, верность данной присяги либо исчезала вообще, либо переходила к человеку, сменившему короля на посту главы государства. В ноябре 1918 новый глава государства отсутствовал в принципе - Баварская Республика пока что не разобралась со своим устройством - но вот новый глава правительства уже как бы был.

Во времена больших социальных потрясений на поверхность выносит людей очень странных - Курт Эйсер был одним из них.

В 1918 ему исполнился 51 год. Он по профессии был журналистом, работал в Берлине, сначала занимался театром, потом в течение добрых двадцати лет писал острые социальные сатиры - а потом бросил жену с пятью детьми, перебрался в Мюнхен, обзавелся там новой подругой, тоже журналисткой, и начал интенсивно заниматься политикой.

Эйсер был провозглашен министром-президентом Баварии буквально на ровном месте - просто потому, что так решила отколовшаяся от партии социал-демократов фракция, объявившая себя независимыми социал-демократами.

Выбор был, прямо скажем, неудачен.

В католической Баварии не любили евреев, а уж пруссаков и вовсе терпеть не могли. Ну, а Эйсер - маленький, в пенсне, с длинной бородой - был еврей из Пруссии. Да еще и некрещеный, да еще и говорил с ярко выраженным прусским акцентом. Однако выбор все-таки пал на него - он считался "...борцом..." и "...мучеником...". Борцом - потому, что был пацифистом, и с 1917 выступал против войны. А мучеником - потому, что его дважды сажали в тюрьму.

В первый раз - еще до войны, в Берлине. Ему тогда дали 9 месяцев за то, что он написал нечто насмешливое о кайзере. Второй раз Курт Эйсер сел в тюрьму в январе 1918, за призыв к забастовке, и отсидел восемь месяцев. Так что в ноябре его ореол мученичества был еще свеж, пришелся очень кстати, а горячие речи, обращенные к рабочим и солдатам, сделали остальное. Курт Эйсер стал главой правительства.

Ну, править он не умел.

III

Если смотреть на Ноябрьскую Революцию 1918 года в Германии с позиции Февральской Революции 1917 в России, то социал-демократы вроде Ф.Эберта попали бы в категорию правых меньшевиков. Даже, наверное, очень правых - при всем своем марксизме на частную собственность они не покушались, стояли за парламентское правление, и не имели бы ничего против конституционной монархии. Выбор в пользу республики был им, можно сказать, навязан требованиями победителей, держав Антанты.

Однако "независимые социал-демократы", пришедшие к власти в Баварии, по российским меркам считались бы левыми меньшевиками - они стояли за "широкую социализацию", не особо глядяваясь в подробности значения этого словосочетания.

Курта Эйснера подвело то, что он был приличным человеком.

Он не нашел в преимущественно сельскохозяйственной Баварии ничего, что следовало бы социализировать - до организации колхозов Эйснер как-то не додумался.

Революция, однако, нуждалась в лозунге. Таковых в Баварии в конце 1918 было два - социализм и сепаратизм. Социализм в духе *"...отнять и поделить..."* Эйснеру не подошел - за что на него рассердились его бывшие сторонники. А сепаратизм "в исполнении Эйснера" не подошел даже баварским сепаратистам. Они, в общем-то, не любили Берлин и треклятых пруссаков - но хотели равенства, а не отделения, и *"...еврей из Пруссии..."* казался им больно уж ненадежным.

Курт Эйснер, как уже и говорилось, был приличным человеком - он назначил свободные выборы на январь 1919.

Но еще до того, как они состоялись, из Берлина пришли вести о "красном мятеже". Переходное правительство Германии — Совет народных уполномоченных - было учреждено там 10-го ноября 1918. А уже 11-го ноября случилось еще одно событие - по инициативе освобожденного из тюрьмы Карла Либкнехта был образован так называемый "Союз Спартака". Левые социал-демократы, вроде тех, которые поначалу поддерживали в Мюнхене Курта Эйснера, откололись от партии социал-демократов, и в канун нового, 1919 года, объявили себя Коммунистической Партией Германии. Основной мыслью новой организации была *"...социализация промышленности..."*, основным лозунгом - *"...свержение власти империализма и милитаризма..."*.

Ну, и метод тоже был соответствующий - вооруженное восстание.

IV

В России так называемая "буржуазная революция", отменившая монархию, случилась в феврале 1917. За ней в ноябре 1917 последовала Великая Октябрьская Революция - то есть между "первым толчком" и "социальным взрывом" составила примерно восемь месяцев. В Германии крушение династии Гогенцоллернов пришлось на ноябрь 1918 - а социальный взрыв в Берлине грянул уже в начале января 1919.

То есть - меньше чем через два месяца.

Пример успешного *"...восстания пролетариата..."* в Петербурге, несомненно, повлиял на руководство Коммунистической Партии Германии - или "Союза Спартака", как она еще совсем недавно называлась - но результаты оказались совсем иными. Ф.Эберт оказался орешком покрепче А.Ф.Керенского, и у него оказались под рукой части, готовые *"...повиноваться законному правительству..."*.

На регулярную армию, конечно, рассчитывать было невозможно - она была уже изрядно разложена. В точном соответствии с российским примером, тон в столице задавали "революционные моряки" - только что они были не из Кронштадта, а из Киля.

Но вели они себя точно так же[5].

События нарастали не по дням, а по часам. 5 января сторонники "союза Спартака" провели огромную демонстрацию на площади Александерплатц, перед фасадом здания полицейского управления. Здание контролировалось восставшими еще с ноября, так что это был не протест, а демонстрация силы. На следующий день была объявлена грандиозная забастовка, в ней должно было участвовать 200 тысяч человек. По Берлину прошел вооруженный парад рабочих отрядов. Карл Либкнехт предложил открытое восстание - он полагал, что захват всех правительственных зданий решит вопрос о власти. Роза Люксембург, главный редактор газеты "Красный Флаг", ему возражала. Она считала восстание преждевременным - но совет проголосовал, и предложение Либкнехта прошло, 65 против 6.

Вокзалы Берлина были захвачены вооруженными отрядами с красными повязками на рукавах - но на том все и кончилось. Эберт не нашел своего "Корнилова" - решительного офицера, способного повести за собой войска и готового применить силу - но он нашел ему адекватную замену.

В ночь с 8 на 9 января 1919 года в город вошли Freikorps.

Это слово на русский можно перевести разве что приблизительно, наиболее близкий аналог - "вольные отряды". Это была старая германская традиция, еще со времен Фридриха Великого - добровольческие военные формирования "свободного корпуса", собиравшиеся вокруг того или иного лица.

В своем роде - частные армии. Командир такого формирования обеспечивал своих бойцов оружием, продовольствием, и - если мог - каким-то жалованьем. Они, в свою очередь, повиновались его приказам.

В Германии в январе 1919 было сколько угодно людей, умеющих владеть оружием, и нашлось достаточное число офицеров с хорошими организаторскими способностями. "Красных" они не любили - и коммунистическое восстание в Берлине оказалось подавлено в четыре дня.

И Карла Либкнехта, и Розу Люксембург захватили живыми, долго мучили, а 15-го января некий рядовой по имени Отто Рунге разбил им головы прикладом.

На всякий случай были сделаны и контрольные выстрелы в затылок. Тело Либкнехта оставили в морге с биркой "неизвестный спартакист", тело Розы Люксембург было утоплено в канале[6]. На этом "красное восстание" в Берлине и окончилось.

Но в Мюнхене все повернулось по-другому.

V

Курт Эйсер был убит 21 февраля 1919 года. Он, собственно, направлялся в ландтаг Баварии, чтобы официально сложить свои полномочия. Как уж раньше и говорилось - Курт Эйсер был приличным человеком. Он действительно провел обещанные выборы, проиграл их - но не сделал ни малейшей попытки "...подправить результаты...". Просто объявил, что уходит.

Так что никакого политического смысла в убийстве не было. А застрелил совсем молодой человек, по имени Антон фон Арко-Валли -

ему шел всего только 21-й год. Стрелял же он от обиды – графа Антона фон Арко-Валли, монархиста и аристократа, не приняли в высокопатриотическое общество Туле[7].

Ссылаясь при этом на то, что мать у него еврейка, и что для арийца это нехорошо.

Ну, он и решил доказать, что и с подпорченной родословной можно иметь твердые убеждения ...

Результаты его поступка превзошли все ожидания. Курт Эйсер в качестве лидера разочаровал своих сторонников, но в качестве "жертвы" и "мученика" очень им пригодился. Выстрел графа послужил началом "*...революции в Баварии ...*" - власть захватили "красные", пошли захваты заложников из числа презренной буржуазии и прогнившей аристократии, в Мюнхене произносились пламенные речи, и в конце концов была установлена Баварская Советская Республика, "*...провозглашенная советом рабочих и солдатских депутатов...*".

Предприятие это было довольно опереточным, и жизни ему было отпущено немного - с 13 апреля 1919 и по 1 мая 1919. В дело вмешались отряды Freikorps, правительство в Берлине смогло организовать и какие-то части регулярной армии, порядок был восстановлен - и тут в первый раз всплывает имя ефрейтора Адольфа Гитлера: он давал свидетельские показания в отношении бесчинств солдат, примкнувших к Советам.

Далее Гитлера заметил профессор Карл Александр фон Мюллер.

Он по приглашению своего знакомого, капитана Майра, читал лекцию по истории для его солдат. Дело в том, что Майр был поставлен во главе так называемого "разъяснительного отдела". В его задачи входила "*...борьба с большевизацией армии...*" - ну, и он решил подучить своих подчиненных.

Так вот, в перерыве профессор Мюллер заметил, что вокруг одного из его "студентов" собралась целая кучка слушателей - он говорил им речь. О чем, профессор не слышал - но у него сложилось впечатление, что оратор находился в такой связи со своей аудиторией, что он ее буквально загипнотизировал. Казалось, что и сам оратор впитывал в себя энергию своих слушателей - говорил он со все более возрастающей страстностью.

"*Слушайте*" - сказал профессор капитану Майру - "*у этого парня есть талант*".

VI

Где-то к сентябрю 1919 Немецкая Рабочая Партия насчитывала около 40 членов. Точнее сказать невозможно - как все крошечные политические организации, партия норовила "*...создать впечатление массовости...*", и членские билеты выписывались с трехзначными номерами. Более объективной мерой ее силы была партийная касса - в ней содержалось некоторое количество почтовых марок, конвертов для переписки с единомышленниками, и семь с половиной марок наличных денег.

Партию основал слесарь железнодорожного депо Мюнхена, Антон Дрекслер, и он же был ее "вторым председателем". А первым был

Карл Харрер, журналист, и вообще - человек грамотный. У него были хорошие связи в "Обществе Туле" - том самом, куда безуспешно стремился вступить граф Арко-Валли. "Туле" в принципе ориентировалось не на рабочих, а на людей с положением - но тем не менее Карлу Харреру пришлось в голову понести расовые идеалы общества в народ.

Адольф Гитлер в первый раз появился на заседании Немецкой Рабочей Партии 12 сентября 1919, и не просто так, а по заданию. Капитана Майра интересовали все новые организации, которые могли бы в принципе способствовать разложению рядов.

Название - Рабочая Партия - звучало в этом смысле подозрительно.

На собрании возник спор. Слово за слово - и Адольф Гитлер вмешался в дискуссию. В итоге Дрекслер предложил ему вступить в партию, и выступить на ее следующем заседании. Вступление имело успех. 3 октября 1919 Адольф Гитлер запросил разрешение своего непосредственного командира, капитана Майра, на присоединение к Немецкой Рабочей Партии. В четверг, 16-го октября 1919 года, он выступил перед довольно солидной по числу аудиторией - слухи о новом ораторе уже разнеслись, и зал на 130 человек оказался забит до отказа.

Адольф Гитлер говорил всего полчаса - но его наградили громом аплодисментов. А в кружке для сбора пожертвований оказалось около 300 марок, что превышало предыдущий партийный бюджет в сорок раз.

Стало понятно, что Немецкая Рабочая Партия обрела свою "звезду". И Адольф Гитлер повел себя как истинная примадонна - поскольку его пришлось "*...кооптировать в партийное руководство...*", он сразу же сказал, что не хочет быть ни председателем партии, ни ее казначеем, и вообще не хотел бы заниматься деньгами и организацией. Но он настаивает на том, чтобы пропагандой заведовал он, и только он. Ибо видит свой долг в том, чтобы пробудить народ.

Он - всего лишь скромный солдат, барабанщик, бьющий тревогу.

Примечания:

1. Филипп Шнейдеман - видный социал-демократ. В ноябре 1918 - государственный секретарь в последнем "кайзеровском" правительстве Германии.
2. Принц Максимилиан Баденский (нем. Maximilian Alexander Friedrich Wilhelm Prinz von Baden). С 3 октября по 9 ноября 1918 года был канцлером Германии. Объявил об отречении Вильгельма II. Придерживался либеральных взглядов. Осенью 1918 года назначен канцлером Германии - в надежде сохранить монархию. Сформировал правительство, которое впервые включало социал-демократов.
3. Фридрих Эберт - отличался прокайзеровскими взглядами. В беседе с принцем Максом Баденским накануне Ноябрьской революции высказывал надежды на сохранение монархии, а провозглашение республики своим соратником Филиппом Шейдеманом считал "самовольным" (Wiki).

4. Виттельсбахи (нем. Wittelsbach) — феодальный род, с конца XII века и до конца Первой Мировой Войны правивший Баварией. Баварские государи считались электорами Священной Империи Германской Нации до тех пор, пока Наполеон не сделал Баварию королевством.

5. В Берлинский Совет, например, была подана резолюция, требующая отменить все войсковые знаки различия. Офицеры должны были снять погоны и сдать личное оружие.

Начальник Генштаба Пауль фон Гинденбург заявил, что эполеты он отдаст только вместе с жизнью - и Ф.Эберт полностью встал на его сторону.

6. Тело Розы Люксембург нашли и опознали через несколько месяцев.

7. Общество Туле (нем. Thule-Gesellschaft) — немецкое оккультное и политическое общество, появившееся в Мюнхене. Полное название — Группа изучения германской древности (нем. Studiengruppe für germanisches Altertum). Название Туле происходит от мифической северной страны, обычно под ней понимают Скандинавию.



Владимир Янкелевич

Осколки

(продолжение. Начало в №3/2013)

III. Флот

Ни за что не служил бы, не была б служба такая смешная.

Поговорка командира подводной лодки



лот для меня начался на дальневосточной военно-морской базе, где стояла не существующая ныне бригада подводных лодок. Нельзя сказать, что это было Б-гом забытое место — прекрасная бухта почти идеально круглой формы, на дне которой в изобилии водился морской деликатес — гребешок, морские ежи, икру которых мы ели прямо из панцыря, трепанги, которых называли морским женьшенем, креветки. Если отойти от дома метров на пятьдесят, то можно было набрать ведро очень приличных грибов... Скорее это просто было место забытое цивилизацией. Такому месту цивилизация и не была нужна, — приехать хорошей компанией с палатками, расположиться на отдых, да и уехать через несколько дней — видимо в этом было его изначальное предназначение.

Но там стояла бригада подводных лодок, между сопками прятались несколько домов, два каменных, остальные деревянные, вот здесь и должны были жить офицерские жены, ожидая своих (или уж как получится) мужей домой из похода или просто из базы. Население там делилось на группы. Командирши дружили с командиршами, старпомши со старпомшами, а прочие, примкнувшие к ним снизу, те делились на питерских и местных, дальневосточных, то есть жен выпускников Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Их начальство любило больше, так как стремления смыться с этой базы, да и просто рвения перевестись куда-то на «Запад», в Питер, у них было намного меньше. И была еще одна группа — это прочно осевшие мичмана, служащие береговой базы, ведавшие снабжением и вообще всеми видами обеспечения.

Среди них очень многие разводили свиней, выставших до огромных размеров, таких, что задача вынести мусор превращалась в экстремальное приключение. Свиньи с таким энтузиазмом неслись проверить этот мусор — нет ли там чего-нибудь съедобного, что несущаяся двухсоткилограммовая туша вполне могла покалечить...

Офицерская служба началась с небольшой «свинской» истории – истории первого грехопадения на дальневосточной военно-морской базе.

Идет раз комбриг Волгин на торжественное действо, вроде построение офицеров сообщить им что-то важное, а может и важнейшее, а навстречу ему свинья, килограмм так на 200. Свиньи эти жили там весьма вольготно, ими занимались те, кто осел в «Ракушке» и о Питере, да и даже о Владивостоке не мечтал. Так надо же человеку что-то делать. Но комбриг в эти тонкости вникать не стал, а просто и сурово спросил:

— Чья свинья? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Свинья не сказала ни слова, а остальные сказали в том смысле, что знать ничего не знают.

Вот тогда и комбриг пошел на крайности. Он свинью арестовал, приказал привязать ее за ногу к столбу, возможно позорному, и часового приставил. И приказал, что когда явится хозяин, то ко мне его за наказанием, уж я с ним разберусь.



Та самая база - страшная угроза седьмому флоту США

А дальше было так, дни идут, свинья худеет, но не сдается, хозяин не появляется, а часовой при свинье тихо с ума сходит. И вот тут я, молодой лейтенант, не выдержал — пришел к часовому и сказал, комбриг пост снял, тебе возвращаться в экипаж, а свинью предварительно выгнать за территорию. Матрос радостный побежал исполнять, а на вопрос комбрига, кто пост снял, все честно говорили: *«так Вы же его и сняли»*.

В итоге этой «свинской» истории я понял, что заглядывать в рот не стоит, делай и решай сам, а там видно будет. С этого и начинался мой путь *«офицера со своим мнением»*. Поначалу это мне сильно мешало, — я в лейтенантах проходил четыре срока, когда мои одноклассники были уже капитан-лейтенантами, я всё — лейтенантом. Но потом вдруг неожиданно помогло, когда перед флотскими начальниками встала нетривиальная задача... А все началось с арестованной свиньи...

Вот еще одна история со свиньей. Был тихий вечер, база потихоньку отходила ко сну... Вдруг тишину разорвал жуткий звук непонятого происхождения. Обитатели ДОСов (дома офицерского состава) повыскакивали на улицу. Картина, которую увидели, была такова. Здоровенный и сильно выпивший детина, в котором признали старшего лейтенанта минера Саласина, с кортиком в зубах по-пластунски полз к

свинье. Оказавшись на расстоянии броска, он выхватывал кортик и бросался на свинью, но промахивался. Свинья и издавала тот вопль, который всех и выгнал на улицу. Но там был еще один участник – небольшого росточка с круглым животом, это был старожил базы капитан-лейтенант Кукарцев. Свинья была его, и он, рискуя собственной жизнью, пытался закрыть ее своей грудью. Саласина это не останавливало. Выпивки у него было еще много, а вот закуски не хватало, что и вывело его на охотничью тропу. Зрители устроили импровизированный тотализатор, начали делать ставки, причем на Кукарцева практически не ставили, но пришел начальник политотдела и все испортил.

Вспомнился еще один подобный тотализатор. В санчасть назначили нового начальника, капитана Ярцева. Он взялся навести порядок – «новая метла», нужно мести как-то иначе. Вот он и распорядился, чтоб к началу рабочего дня все врачи санчасти стояли в белых халатах, и он бы с ними отправился на обход. Но к назначенному часу женщин-врачей не было. Они пришли позже и объяснили, что в это время привозят молоко, и если его не купить сейчас и не отнести домой, то придется жить без молока, а без молока жизни нет. Ярцев устроил им такой разнос, что доктор Китаева пришла домой на обед в слезах. Ее муж, тоже доктор, но на подводной лодке, расстроился, выпил и пошел разбираться с обидчиком жены. Когда после обеда мы все шли в свои части, то увидели, как вокруг санчасти по кругу бежит Ярцев, а за ним Китаев. Ярцеву помогало в беге опасение, что физическая форма Китаева лучше, вот он и бежал достаточно быстро. И этот тотализатор так же испортил НачПо.

Ярцев запомнился своим бессмертным выражением, пополнившим военно-морской фольклор. При проверке санчасти комбриг сказал ему:

- Бардак у вас здесь, товарищ Ярцев!

- Так точно, товарищ комбриг! Я сам уже второй месяц смотрю – бардак!

Врачи-подводники вообще заслуживают отдельного рассказа. Им было очень скучно, максимум – перевязать палец, но случалось всякое. Во втором отсеке под настилом (полом) находится аккумуляторная батарея, а под ней топливная цистерна. Когда топливо расходуется, то, чтобы не нарушалось равновесие, цистерну заполняют забортной водой. Матрос открыл краны для заполнения этой цистерны, а закрыть забыл. Лодка начала погружаться, и в цистерну начала поступать вода, естественно, с давлением равным забортному, а оно росло по мере погружения. Сначала поверхность цистерны начало выпучивать, а потом приподнявшаяся из-за этого батарея, замкнула своими клеммами на настил. Аккумуляторов там 220, и в каждом 200 литров электролита. Можно представить, какой был грохот, и сколько было дыма. В этом отсеке на диване спал доктор. Он проснулся, нажал внутрикорабельную связь и спокойным, абсолютно невозмутимым голосом сказал:

- Аварийная тревога, пожар в первой аккумуляторной яме!

После чего продолжил спасать. Лодка аварийно всплыла, стали говорить о железных нервах доктора, но тот сказал:

- Вы что, это серьезно? С ума сойти! А я думал, что опять тренировки...

Но когда у матроса в походе случился приступ аппендицита, его пришлось срочно оперировать. Погрузились на глубину, доктор включил кварцевую лампу для дезинфекции отсека и уложил матроса на обеденный стол — иное на дизельных лодках не предусмотрено. Ассистировал доктору я. Дело оказалось проще, чем я думал, но эту операцию в деталях я помню и сегодня.

Настоящим подарком в море был доктор Петров. Он в свое время служил в Питере, был женат на актрисе, и, вернувшись из госпиталя, проводил свободное время за кулисами театров. Его красивая жизнь развалилась, когда он застал жену, как она объяснила, за «продвижением своей театральной карьеры». Он как-то не захотел войти в положение, развелся и уехал на ТОФ — просто дальше уже некуда было. Та вот доктор Петров был просто набит различными историями и рассказами. Лодка в океане всплывает ночью, идет без огней, неделю на одном и том же курсе. Все это очень монотонно. Вот доктор и выручал.

Некоторое разнообразие в ход вахт приносили дельфины - они неслись рядом с подводной лодкой, оставляя за собой фосфоресцирующий след. Гидроакустики слышали их голоса, это был красивый и разнообразный свист. Неплохо было на мостик прихватить с собой разные болты и гайки, с ними можно получить дополнительное развлечение — если кинуть их за борт, то взлетает светящийся фонтанчик, и яркий след провожает эту гайку на глубину. Я все пытался разглядеть, что это там светится, вот — волной плеснуло и видны огоньки, но в руке всегда ничего не оказывалось.

Однако доктор не всегда мог рассказывать свои истории, и на вахте, особенно с 12-ти часов ночи до 2-х, было особенно тяжело. Впереди на рубке стоит ветроотбойник, создающий вертикальный поток воздуха — не так дует в лицо. Через некоторое время стараешься высунуть физиономию вбок, чтобы ветер дул прямо в лицо, чтобы будили брызги, но при спокойном море постоянно хотелось спать даже на мостике. (Видимо, в молодости я выбрал свою норму сна, потому сегодня и привязалась бессонница).

Компас на мостике накрыт сферической крышкой — плоскую на глубине раздавит. И вот я смотрю — на меня надвигается немец времен Второй мировой войны, в круглой каске, он подходит ко мне и головой в каске бьет меня в лицо... Оказалось, что это я уронил голову на крышку компаса. Когда я спустился в центральный пост, по поводу синяка под глазом, я коротко ответил, что немец каской ударил...

В походе для саморазвлечения писали шуточные стихотворные журналы.

*Застучали дизеля, боцман жметя у руля...
Командир у перископа, глаз горит, как у циклопа,
Стал старпом краснее рака – начинается атака.*

Выглядели мы не очень презентабельно. Мыться было негде, брали в море огромное количество одеколонов и протирались ваткой. Видимо от этого у меня (и по сей день) запах пота как-то в сознании смешался с одеколоном, что очень мешает в Израиле, где любят всевозможную парфюмерию. У меня же эти ароматы сразу вызывают в памяти подводную лодку. От таких, «одеколонных» способов гигиены, у многих были различные высыпания на коже, и доктор щедро мазал нас зеленкой. Примерно так, как красят заборы... Штурманом на лодке был Женя Баль. И вот кто-то написал про зеленку:

*Янкелевич вымазал всю шею,
Поглядев в задумчивую даль,
Шею вымазал зеленкою Е. Баль.*

Не Пушкин, понятное дело, но Женя обиделся страшно.

— Да вы знаете, — кричал он — что это за фамилия?! Мой предок, полковник Де Баль пришел на Украину вместе с Наполеоном! Он раненый остался там, а вы – ебаль! Да как можно?!

На шутки нужно было реагировать спокойно, даже когда над офицером подсмеивались матросы. Например, на глубине 100 метров матрос по трансляции передает в шестой отсек команду: *«Старшему лейтенанту Буйникову с аккумуляторным журналом на мостик»*, и все, от шестого до третьего отсека затаив дыхание смотрят, как Буйников с журналом под мышкой подходит к люку и... только тогда обнаруживает, в какое дурацкое положение он попал — под водой-то на мостик не выйдешь... Но реагировал он спокойнее, чем Е.Баль.

Нужно отметить, что именно этим, прежде всего, и ограничивается автономность подводных лодок. У людей появлялась определенная неадекватность, всякие психологические проблемы. Я же, все это переносил сравнительно легко, но и у меня были свои проблемы. Вот, к примеру, центральный пост. Площадка два на три метра, в центре — я, вахтенный офицер, справа два матроса, один рулевой-горизонтальщик и второй на посту погружения-всплытия, и еще один рулевой впереди. Слева сзади в своей рубке возится штурман. И вот передо мной все два часа вахты как маятник влево-вправо мотается замкомбрига — он пошел в этот поход с нами. Попробуйте только представить: впереди пространства — письменный стол не встанет, и в этой клетке он — туда-сюда, туда-сюда... И так — все два часа, а на следующей вахте — то же самое. Во мне глухо поднималось желание его udavit.

Смысл этих его мотаний туда-сюда я понял позже, когда по приходу в базу он резво побежал домой, а я шел и задыхался, останавливаясь передохнуть. Практически неподвижность в течение полутора месяцев сказалась. И тогда суть поговорки - *«Если встретишь лысого, с большим животом и впалой грудью, поклонись ему — это подводник»* — стала мне куда как понятна...

Увлекательный процесс для подводников дизельных лодок — купание в тропиках. Не всегда это возможно, но случалось — это мы

делали под дождем. В тропиках дожди своеобразные. На небе небольшая тучка, а под ней ливень, выглядящий со стороны, просто столбом воды. Причем этих столбов достаточно много. Стоят столбы в виде этакого леса из ливней. Лодка поворачивала под первый ливень, тут нужно было быстро намылиться, а затем шла ко второму, где нужно было все смыть и уступить место следующим...

Под вторым офицерским отсеком находится аккумуляторная яма. Аккумуляторы понемногу выделяют водород, а четыре процента водорода в воздухе превращают его в гремучий газ. Для предотвращения этого служили приборы КПЧ-6, в которых водород окислялся и превращался в воду. Но в процессе работы эти приборы сильно грелись, что в тропиках достаточно неприятно, особенно, если учесть то, что они располагались сантиметрах в десяти как раз над койкой, причем именно над лицом. И вот появилась мысль, что если всего один прибор отключить, тот, что над лицом, а их так много, то ничего особенного не произойдет. Отключил - стало прохладнее, можно как-то спать. В отсек зашел механик – командир БЧ-5, решивший измерить содержание водорода в воздухе ручным прибором - просто так, для контроля.

Измерил, побледнел, выскочил в центральный пост, и лодка незапланированно всплыла вентилировать отсеки. Оказалось, что таких «умников» отключивших приборы оказалось слишком много. Еще чуть-чуть, и могло рвануть. Что делать, как говорят, из песни слова не выкинешь...

Утро, часов 5, я на мостике, и вдруг вижу — корабль весь в пламени. Я кричу по трансляции:

- Просьба командиру подняться на мостик!

Хоть реально это не просьба, но командир есть командир, в иной форме к нему не обращаются. Он вылетает на мостик, как пробка из бутылки шампанского. Я ему молча показываю горящий корабль.

— Во-первых, лейтенант, не говорите аварийным голосом, а вторых – это просто рыбаки ловят сайру.

Сайру ловили, направив в море мощнейшие лампы, сайра слеталась к лучу, и ее можно было выкачивать из моря насосом. Впрочем, я не знаю, чем ее там доставали, но *«Не говорите аварийным голосом»* стало у нас семейной поговоркой.

Еще запомнилось такое выражение. Воскресенье, нас зачем-то отправляют в море, на соседнем пирсе командир другой подводной лодки говорит нашему: *«Миша, я всегда говорил, что лучший воскресный отдых, это морская прогулка на подводной лодке!»*..

Слушать их, стариков (им наверно, было лет по сорок — счастливое время, где оно) мне было интересно. Рассказывает флагманский механик:

— Я когда домой прихожу, то руки мою, мою, мою, мою... Осторожно заглянул — не спит. Тогда шею мою, мою, мою, мою... Опять не спит. Тогда ноги мою, мою, мою, мою... Смотрю — спит. И вот тогда осторожно-осторожно, и чтоб не разбудить...

Мне бы его заботы.

Уходили мы в тропики из Японского моря зимой. Внутри, на корпусе лодки, нарастает иней, он достигал сантиметров пяти и более. Моя узенькая койка была прижата к корпусу, к этому самому инею. А с другой стороны стоял нагревательный элемент, раскаленный докрасна. Один бок был прижат к ледяному инею, а второй нависал над жаровней. Когда ситуация становилась нестерпимой, нужно было повернуться, и наступало блаженство — замерзший бок оттаивал, а зажатый остывал. Но блаженство — это не надолго, скоро все начиналось сначала, один бок дымился, а второй заледеневал, и начинало гнуть, как термопару. Но тогда мы были молодые, кости об этом напоминают лишь сейчас...

В походе командир сидел в центральном посту и вязал носки. Свяжет один — оденет, сидит, вяжет второй. Я после похода дома тоже попробовал связать что-то. Получилось нечто, похожее на кашне для куклы. На этом я вязальные эксперименты забросил...

По мере продвижения к югу жизнь становилась лучше. Иней оттаял, стало теплее. Как правило, сюрпризы начинались с выхода из строя кондиционера.

Небольшой эпизод о кондиционерах. Мой брат преподавал физику в бакинском военно-морском училище иностранным курсантам. Их инструктировали:

— Вы не только должны преподавать свою физику, но, прежде всего, пропагандировать наш, советский образ жизни. Понятно?

— Не очень. Не могли бы Вы привести пример?

— Ну вот, к примеру... Вы помните, что недавно, после приемки госкомиссией общежития для иностранцев, фасадная стена общежития упала. Вот что Вы должны сказать по этому поводу?

— Не знаем. А что?

— А то, что хотя стена и упала, кондиционеры, установленные на ней, продолжали работать, что говорит о качестве бакинских кондиционеров.

Так ли это было или нет — не знаю, но так брат рассказывал...

Но вернемся на подводную лодку. Ей не повезло — кондиционеры не были бакинскими, не работали. Дышать становилось все тяжелее, особенно страдали «сыны степей», нужно было все время заглядывать им в глаза и проверять, не закатываются ли, а такое бывало нередко. А матросу Кузменкову все было нипочем. Он был художником в душе, а не гидроакустиком, кем ему пришлось быть волею судеб.

— Вы не представляете — рассказывал он мне — идешь по реке, одна рука на руле, а во второй ружо...

— Что во второй?

— Ружо, и вот из-за поворота... и начинались сибирские охотничьи рассказы.

Но как-то он показал мне тетрадь, в которую он записывал свои стихи.

*Нам песни поют красавцы дельфины,
А в небе висит «Орион»...*

И так далее, уж и не знаю, какой «Орион» он имел ввиду – созвездие или американский противолодочный самолет. Но художественная натура не помешала ему утащить у меня бутылку спирта и выпить ее всю, причем в одиночку. Я не поверил.

— Да вы что, товарищ лейтенант, когда из-за поворота тебе навстречу другой охотник вылетает, так твоя лодка запросто переворачивается, только спиртом и спасались, а тут всего одна бутылка...

"Чудны дела Твои, Господи!"

В памяти у меня осталось резко позеленевшее лицо Кузменкова во время аварии — столкновения под водой, когда он, чтобы удержаться, повис на штурвале шумопеленгатора. Что я думал в то время, я помню прекрасно: *«до дна 3 км. Это же пять минут на автобусе»*.

Чушь какая-то... Я ведь в реальности прекрасно знал, что возможность выйти из подводной лодки самостоятельно есть до глубины 100 метров, а с помощью спасателей — до 200. Теоретическая возможность. Но прецедентов что-то в памяти не нашлось. Вон, «Курск» затонул на 108-ми метрах — никого не спасли, но это уже не моя история...

Но все это было потом, а пока — Филиппинское море, я на мостике вахтенным офицером. С другой стороны — командир. Я оглядываюсь назад, и слова застревают в горле — от того, что я увидел, у меня пропал дар речи: по качающейся палубе, черпающей воду то левым бортом, то правым, шел матрос Вася Тронин с обрезом (ведром) с мусором...

Дело в том, что на якоре мусор выбрасывают с кормы в воду, где с ним с энтузиазмом разбираются чайки и рыбы, но в океане на палубу выходить категорически нельзя. Не только на палубу, просто на мостик — нельзя. Нужно спросить вахтенного офицера и только получив разрешение, подняться на мостик. А уж на палубу — только если замыслил самоубийство.

Но Вася, он был ростом примерно метр пятьдесят, голос его и в нормальной обстановке не был слышен, а тут — ветер свистит, дизеля стучат... Вот Вася и спросил разрешение, не получив ответа тихо спустился на палубу и пошел себе на корму выбрасывать мусор. Я с вытаращенными глазами был просто не в состоянии сказать ни слова, толкнул командира в плечо и молча показал ему назад, на Васю. Что делать? Остановиться нельзя, остановка может вызвать такой толчок, что Васю мы больше уже никогда не увидим. Затаив дыхание мы смотрели, как он спокойно выбросил мусор, вразвалочку вернулся и поднялся на мостик.

- Мостик! Матрос Тронин спустился вниз... — прошелестел Вася, но командир молчал, всё никак не мог придти в себя...

Поближе к тропикам начали болеть офицеры-курильщики. В самой лодке курить нельзя, вот они и терпят до вспытия. Как появляется первая возможность, они поднимаются в рубку и стараются наверстать упущенное. А через рубку идет мощный поток воздуха к работающим

дизелям. Воздух по температуре вполне тропический, но для распарившихся в отсеках этого вполне хватало. Дня через три меня на вахте менять было уже некому, а у доктора появилась работа.

Я в рубку на свежий воздух, если не моя вахта, все никак не мог попасть — моя очередь была после курильщиков. Но выход нашелся — плацкартное место. Рядом с люком сидит рулевой-горизонтальщик (на горизонтальных рулях погружения и всплытия). Я укладывал на его правый башмак чистую тряпочку, говорил, чтобы ногой не дергал, и располагался прямо на палубе, а голова «уютно» размещалась на обувке рулевого. Чего не сделаешь, чтобы оказаться в потоке свежего воздуха...

Важнейшей проблемой был подводный гальюн (туалет). Но для того, чтобы описать это, нужен шекспировский талант, а чего нет, того нет...

У меня в подчинении был матрос Безносиков. Он попросил разрешения пройти из второго отсека в первый. Я разрешил, но через некоторое время, когда захотел вызвать его оттуда, мне ответили, что в первом Безносикова нет. Подводная лодка под водой, это — труба, никуда свернуть или выйти по дороге нельзя, но Безносиков исчез между первым и вторым отсеком, разделенным стальной переборкой. Я просто понять не мог, как его искать. И вдруг, — услышал тихое поскуливание, такое примерно, как щенок скулит. По звуку я нашел матроса, он залез в маленькую выгородку, свернулся на полу в невероятный клубок и тихо даже не плакал — скулил. Через год он ходил по лодке адмиралом Нельсоном и гонял новичков...

Вот еще история. Мы возвращались из очередного похода. Нужно было пройти из Восточно-Китайского в Японское море. Пролит этот достаточно противный — корейцы объявили закрытой зоной 200 мильную полосу от своего берега, а район, где остался проход, считался опасным из-за старых минных полей, да еще скалы, островки, в общем, — веселое место. Мы убегали от тайфуна, один был впереди, а второй медленно догонял нас сзади, шторм был уже достаточно сильный. Я стоял на мостике вахтенным офицером, стараясь что-то разглядеть в этой мешанине пены и дождя. В это время снизу радиометрист доложил:

— Радиолокатор вышел из строя.

Я спросил разрешения спуститься вниз и, с плохим предчувствием, пошел ремонтировать локатор. В рубке абсолютно растерянный матрос, глаза бегают, что делать — не знает. Я сел в отсеке рядом с рубкой в центре мгновенно набежавшей с меня лужи, улыбнулся и сказал:

- Не трать, сейчас сделаем! Включай!

Матрос включил. Я смог что-то произнести не сразу, только после того, как погасли искры в глазах. Через лужу я получил сильнейший удар током, откинулся назад, затылком чуть не погнул штурманскую рубку, чем и заработал шишку на затылке с кулак величиной.

- Все понятно, у тебя фаза на корпусе, сейчас найдем!

Но в это время прибежал командир. Он полез в рубку с криком:

— Ты понимаешь, что делаешь! Что у тебя здесь происходит!

Матрос совсем зажался. Еще минута, и его уже можно будет не принимать в расчет. Пришлось сказать командиру:

— Как я понял, Вы сами будете устранять неисправность. Тогда я могу идти на пост?

Командир взглядом выразил что-то не вполне цензурное, пообещал разобраться со мной по прибытию в базу, но ушел. А неисправность мы устранили через несколько минут...

Вообще штормовая ситуация заслуживает отдельного рассказа, рассказа о том, что такое страх. Страх не конкретный, вот я боюсь этого и этого, а какой-то нутряной, поднимающийся из глубины, откуда-то из живота...

На глубине в подводной лодке шторм практически не ощущается, но зарядка аккумуляторных батарей — это всплытие без вариантов. Ты, в качестве вахтенного офицера стоишь на мостике, позвякивая цепью, которым пристегнут к поручню. А подводная лодка в океанском шторме, взбираясь на один вал (волну), на второй просто не может подняться, она под него подныривает, проходит его под водой, всплывая только на следующую волну...

Это выглядит так. Ты стоишь на мостике и, пока лодка поднимается по волне, стараешься смотреть по сторонам. Видно только до гребня волны. Когда лодка достигает гребня и переваливает через него, то в это короткое мгновение перед тобой открывается океан, кипящий белой пеной. Но лодка уже пошла вниз, и следующий вал стает перед тобой ужасающей, гигантской стеной, которая тебя вместе с лодкой сейчас накроет. Волна накрывает подводную лодку с головой. Ты набираешь воздуха и уходишь под воду. Там, под водой, такое ощущение, что мягкая и в то же время мощная сила тащит тебя куда-то. Ты вцепился в поручни и стоишь, булькая остатками воздуха. И что характерно, что бульки всегда заканчиваются раньше, чем лодка выныривает. Рядом с тобой открыт рубочный люк, через него выбивается свет, а вниз хлещет вода. Ее откачивает трюмная помпа, которую мы называли «трюмпа». Но вот воды в лодку стало поступать столько, что люк пришлось закрыть. И вот тогда настал «момент истины».

Когда лодка шла пусть под водой, но с открытым люком, подсознание говорило, что она вот-вот всплывет, но сейчас — сейчас загерметизированная подводная лодка ушла под воду, а ты на цепи и все ждешь, когда же она всплывет. Воздух кончается, а она всё идет и идет под водой ... И вот тут появляется то самое — приходит страх, глупый, бессмысленный, ты понимаешь, что она все равно всплывет, но страх тебя не спрашивает, он живет своей жизнью... Но вот, — она вынырнула. Передышка, через волну — все повторится. Веселая жизнь была...

Но не только море, и База не давала скучать, но иначе, по-своему. На соседней лодке был начальником радиотехнической службы старший лейтенант Валера Каплан. У него был пневматический бельгийский пистолет, воздушка, одним словом. Лежал он у меня дома, так как деть его Валере было некуда. Собрались у меня на день рождения, и среди прочих был и лейтенант Воробьев, в отличие от нас, выпускников военно-морских училищ, попавший на флот офицером прямо из

института. Все, что стреляло, приводило его в экстаз, вот он этот пистолет у Каплана и выпросил.

Назавтра на подъеме флага, ни его, ни Каплана мы не увидели. События развивались так. На КПП стол караул, который с удивлением увидел, как на единственной дороге в ДОСы разлетелась лампочка, затем вторая. Потом из темноты, по словам караула, вышли двое, один в форме, а другой в штатском, вооруженные пистолетом «парабеллум». Караул отступил и залег в кустах. Одного послали к дежурному по бригаде с докладом. Тот объявил тревогу дежурному взводу, который во главе с офицером вооруженным аж кортиком, окружил КПП. Некоторое время наблюдали, а потом рискнули — пошли в атаку... На КПП никого не оказалось. Вызвали особиста. Тот дал очевидцу листок и сказал

— Рисуи «парабеллум»...

Посмотрев на рисунок, он сказал, что все ясно, пошел в офицерское общежитие, забрал из-под подушки у Каплана злополучный пистолет, и «герои» утром уже отдыхали на гауптвахте. Воробьев отделался легким испугом, а Каплан предстал перед «судом чести офицерского состава».

Мы, группа лейтенантов, сидели в заднем ряду и слушали выступающих, какой он негодяй, этот старший лейтенант Каплан.

Валера взял ответное слово. Он сказал так:

- Да, товарищи, я низко пал! А почему? Потому, что никто вовремя не дал должной военно-политической оценки моего поведения. И только после выступления начальника политотдела, я понял всю глубину своего падения. Я не прошу суд о снисхождении. Я прошу, чтобы суровость моего наказания послужила уроком этим молодым лейтенантам (показал на нас), и не дала им пойти по моей дорожке. Спасибо!

Начальник политотдела от речи был просто в восторге, и Валера отделался общественным порицанием... Но и мы были в не меньшем восторге:

— Ну Валера, во дает!!!

Вот еще одна, вроде смешная, но типично лейтенантская история.

— Товарищ лейтенант, Вас все ждут в центральном посту, там тренировки по борьбе за живучесть!!!

Эх, черт возьми, скатываюсь в центральный пост.

— Товарищ лейтенант, Вы в Центральном? Вас на пирсе команда ждет, Вы ее должны вести в баню!!!

Эх, черт возьми, повел в баню. Навстречу флагманский РТС:

— Ты что?! Ты же должен в тренировочном классе вести занятия по специальности!!!

— Старшина! Веди команду в баню без меня, я в классе!

Навстречу мне комбриг:

— Ты куда?

— В класс, на занятия.

— А почему опоздал? Трое суток ареста!

— Есть трое суток!

И я пошел обратно. Навстречу опять флагманский:

— Ты куда, ты же на занятиях должен быть.

— Сам проводи, а я на гауптвахту.

Выписал себе записку об аресте у старпома и поехал на губу в соседнюю деревню. Прихожу, начальник караула спрашивает:

— А бутылку принес?

Я сходил за бутылкой, мы с ним выпили по чарке, и я завалился спать на трое суток. Когда я вернулся оттуда, мой товарищ сказал:

— Слушай, я у тебя таких ясных и отдохнувших глаз уже давно не видел...

Как у меня появилась дочь, я почти не заметил. Женился, ушел в море, потом еще раз, а когда вернулся, — сразу отвез жену в роддом. После очередного возвращения «из дальних странствий» дочь, увидев меня, в страхе спряталась за шкаф — что это за посторонний явился, да еще и маму обнимает?! Тяжелое зрелище это, когда от тебя дочь за шкаф прячется.



Я же не попала!

А в четыре года она прибежала со двора вся в слезах:

— Папа, если ты меня любишь, если ты меня хоть капельку любишь... побей Димку Сигалова.

— А что случилось?

— Он меня ударил ногой в живот.

Ногой в живот — это серьезно, я открываю дверь, смотрю, а по лестнице пытается прошмыгнуть этот злодей Димка. Он жил этажом выше.

— Заходи.

Тот заходит.

— Ты что же это девочек бьешь?

— Так она же мне в голову камнем запустила!!!

И тут следует убийственный своей логичностью аргумент дочери:

— Но я же не попала!

А эта история, произошла в восьмидесятых годах в городе Коломна.

Я приехал туда в гости к сестре, а поскольку был к командировке, то был в форме, поверх которой — плащ, скрывающий погоны. Эти плащи, кажется, пыльниками называли, бежевого цвета, с поясом. Но погоны под плащом легко угадывались. Мы вышли прогуляться с мужем сестры, Яном, у того, совершенно случайно, оказался почти такой же плащ бежевого цвета с поясом. Так мы и шли по Коломне, оба с короткой стрижкой в похожих плащах, у Яна еще на поводке была овчарка.

Я на какое-то время отвлекся... и неожиданно увидел, что Яна трясет некий дядька, достаточно крупногабаритный, а Ян пытается ему что-то сказать. Я был тогда молодой и приткий, резко развернулся и схватил этого дядьку за плечо и руку, чтобы можно было ее завернуть за спину, но дядька как-то резко сдался и говорит: *"Только не бейте, я пойду сам!"*

Начали мы с ним разговаривать, и выяснилась потрясающая история. Оказалось, что он, вроде передовик производства, стоял на заводе в очереди на ковер. Заседал местком по распределению ковров, и вот там решили ему ковра не давать, а дать какой-то комсомолке, так как у нее молодая семья, и ей ковер нужнее.

Дядька страшно расстроился, обиделся, пошел домой и хорошо выпив то, что положено, то есть всю водку, что была, решил написать письмо президенту Соединенных Штатов Америки с жалобой, как де в месткомгах глумятся над рабочим человеком. Письмо он написал, бросил в почтовый ящик и... и сразу понял, что за ним вскорости придут те, кому это положено делать. А раз так, то решил он еще выпить, пока такая возможность у него еще есть. Пошел в лавку, стал в очередь, как видит — вот они! Уже нашли! Двое стриженных, в одинаковых плащах, под плащами погоны угадываются, с собакой идут по следу!

Сразу стало понятно, что сейчас его схватят и будут силовыми приемами выкорчевывать из родной очереди за водкой... Но он не таков! Он сам вышел из очереди, сам пошел навстречу опасности, на амбразуру — то есть, он подошел к более старшему и сказал: *"Вот он я, Берите, только не бейте, сам пойду"*.

Когда мы все это поняли, то попытались его успокоить, говоря, что он нам не нужен, пусть возвращается в очередь, а то ведь снова в хвост придется становиться, но он нам не верил! Тогда мы махнули на него рукой и пошли себе дальше, а он еще долго шел за нами и, понимая все наше коварство, всё повторял: *«Берите, знаю я вас, всё равно потом придете»*. Отстал только минут через двадцать...

По делам службы мне пришлось прилететь в Тбилиси, там у меня был друг-приятель по фамилии Табагадзе. Его родной брат был известным скульптором. Важа Пшавела (памятник) рукой показывал на его дом.

Как мы с ним познакомились - это целая история. Так получилось, что судьба забросила меня в подмосковный Обнинск в командировку. Обнинск — это первый реактор, Курчатовский институт и прочее. Там находился и учебный центр экипажей подводных лодок, вот туда я и привез группу матросов из Владивостока, а сам болтался по городу, изнывая от безделья.

Городок Обнинск был построен своеобразно, подъемный кран ставился в середине дома, и стройка шла с торца медленно пятась. Благодаря такой технологии строители смогли сохранить старые деревья возле домов, при возведении дома их не вырубая. Основное занятие горожан была работа в различных НИИ, и это стало причиной парадоксального эффекта — там был самый высокий процент разводов по тогдашнему СССР. Дело в том, что молодая пара ученых неожиданно оказывалась в ситуации, когда муж, к примеру, кандидат наук, а жена — доктор, но даже если они оба кандидаты, то стирать носки и готовить борщи женам как-то не хотелось. Да и вообще, ученая братия — контингент специфический...

Однако я отвлекся. Набродившись по городу с головной болью, непонятно откуда взявшейся, я пошел поужинать в ресторан. Настроение было плохим, а за этим же столом сидел грузин и вел с официантом страшно раздражавший меня диалог:

— У вас что-нибудь острое есть?

— Что, гвоздь?

— Нет, гвоздь не надо, что-нибудь острое.

— Что, шило?

— Нет, шило не надо, ну хоть соленый огурец у вас есть?

— А что, у вас в ресторанах соленые огурцы подают?

Грузин был страшно терпелив, но мое терпение иссякло. Я попросил официанта пригласить метрдотеля и высказал ему все, что я думаю по поводу этого диалога, манеры обслуживания посетителей, и... что-то еще, что — уже и не помню.

Метр извинился и немедленно заменил официанта. Новый официант был сама любезность, а мы с грузином тем временем разговорились. Оказалось, что он привез брата с онкологией на лучевую терапию, которой так же занимались в Обнинске. Так мы сидели и разговаривали, пока не подошло время расплатиться. Новый официант не знал, что мы не вместе, и посчитал все в общий счет. У меня деньги лежали в нагрудном кармане пиджака, а у грузина в бумажнике. Естественно, что из нагрудного кармана я деньги достал быстрее и заплатил за двоих. Тот пытался протестовать и хотел сам заплатить за двоих, но я тоже из Баку (помните похожий эпизод в «Мимино?»), было поздно, и, как говорят, поезд ушел.

А дальше дело было так. В Обнинске три основные улицы, назавтра на всех трёх улицах были расставлены его родственники с моим описанием. Отловили меня достаточно быстро, заташили в ресторан и погуляли мы там до полуночи, а уж пытаться заплатить было просто невозможно.

У меня остался его телефон и адрес, просто так, на всякий случай. Я жил тогда во Владивостоке, и для меня что Тбилиси, что обратная сторона луны — было все едино, но — судьба! Командировка, на этот раз в Тбилиси. Без особой надежды позвонил грузинскому другу, понимая реально мимолетность знакомства. Диалог был таким:

— Ты где?

— В Тбилиси.

— Я понимаю, что не во Владивостоке, где в Тбилиси?

— Я не знаю.

— Что видишь справа?

— То-то и то-то.

— А слева? А напротив? Понятно! Стой там и никуда не уходи!

Минут через пятнадцать он прилетел на машине и забрал меня к себе домой. Описывать, как было, я просто не могу, слов не хватает, было здорово. Угощала его мама. И вот в 12 часов ночи он говорит:

— Поехали к брату (это к тому, знаменитому скульптору).

Я говорю, что неудобно, уже 12 часов ночи, но мама сказала, что у него сейчас гости.

Я опять:

— Вот видишь, неудобно, у него гости!

Тот задумчиво посмотрел на меня и говорит:

— Что с тобой? Когда надо в гости приходиться? Когда все спят? Сейчас еда на столе, играет музыка, сейчас самое время!

Мы поехали. Меня поразило, что его брат, который был, как минимум, в полтора раза старше меня, встречал нас на улице.

Пили мы там и чачу и коньяк и что-то еще... А на стене висела великолепная пастель, портрет девушки в стиле Модильяни. Такая лебединая шея, выразительные глаза... В общем, я непроизвольно все время бросал взгляды на эту картину. Вдруг заметил: они переглядываются, посмеиваются. Я удивился — чего это они смеются.

Рассказ был такой. Недавно у него были в гостях несколько столичных метров, профессура какая-то, так вот один все время так же бросал взгляды на эту картину, а потом залез на диван, снял картину и немедленно с ней ушел. Вернулся через три дня, извинился, что не рассчитал силы на чаче и вернул картину. На вопрос, где он был три дня, он ответил, что думал, как назад принести, стыдно было!

Тогда я спрашиваю:

— А когда он снимал, вы где были?

— Как ты не понимаешь! Если снимает, значит надо.

Этой истории более тридцати лет, но я помню ее, как будто она была вчера.

А когда настало время мне улетать во Владивосток, то он приехал с большой сумкой.

— Это варенье от мамы, а это авторская керамика от брата, а это королек на ветке, потому что твоим детям будет интересно посмотреть, как он растет.

Честное слово, больше никто и никогда не говорил мне такого...

К сожалению, мы больше не виделись, дороги все ложились мимо Тбилиси, но я люблю этих красивых людей, очень лично воспринимаю грузинские проблемы. Желая им счастья...

IV. Завод

Так уж получилось, что я зарегистрировал три изобретения. Делал это из спортивного интереса, но благодаря им мне предложили должность главного инженера военного завода, а затем вскоре назначили его директором. Поздравление заместителя (моего) по политчасти я запомнил очень хорошо:

— Поздравляю, тебя назначили командиром (завод был войсковой частью, а я, соответственно, ее командиром). Представляешь — ни одного русского хоть примерно подходящего не нашлось.

Представляю, что тут сложного.

Заходит ко мне в кабинет начальник планового отдела и говорит, что я должен расписаться в форме, где стоит птичка. Я ее спрашиваю:

— Что это за форма?

— Объяснять Вам совершенно бесполезно, вы военный, а у военных одна извилина в голове, да и та — след от фуражки. Вы на должности, обязаны сами знать.

— Так меня же вчера назначили.

— А вы знали на что шли, могли и не соглашаться.

— Хорошо, оставьте, я буду смотреть.

— Там мне сейчас нужно.

— Если нужно, то подпишите сами и идите.

— Но подписать должны Вы.

— А я буду смотреть.

Оскорбленная в лучших чувствах, она ушла, а я поехал в библиотеку, взял три учебника по бух учету и планированию и поехал домой. Там сел разбираться. Читаю первый — ничего не понятно, читаю второй — он о том же, но другими словами — уже виден свет в конце туннеля. После третьего учебника все как-то стало более-менее проясняться.

Утром состоялся такой диалог.

— Лидия Николаевна, я тут познакомился с Вашим листком по учету кадров, в Вас такое прекрасное экономическое образование, даже странно видеть в документе, что Вы принесли на подпись, такие-то и такие-то неточности. Успеете переделать до обеда?

— Откуда Вы это взяли?

— Мне даже неудобно отсылать Вас к учебнику.

— Это в Ваших учебниках так, но делать нужно так, как я написала.

— По какой инструкции нужно?

— Мне некогда искать!

— И мне некогда, всего хорошего.

С этого началась священная война, которую мне объявили (без объявления) бухгалтер и экономисты. Спасибо им, и отдельное спасибо Лидии Николаевне Левиной, пробудившей своей борьбой мой интерес к

экономике и к учебе на Военном факультете Московского финансового института.

Там, в финале обучения, произошел такой эпизод. Какой-то майор, переливая из пустого в порожнее, что-то рассказывал нам о техпромфинплане предприятия. Слушать его, особенно после вчерашнего отмечаия дня рождения одного из слушателей, было очень тоскливо. Вот я и задал ему вопрос:

— Ваше лекция, это озвученное оглавление к книжке «Типовая методика составления техпромфинплана». Мы ее и сами читали. Этот план готовит все заводоуправление примерно два месяца, а потом пухлый том из 36 форм с приложениями приносит мне на подпись. Что я должен в таком случае сделать. Расписаться не глядя? Взять калькулятор и все пересчитать? Проверить соответствие основных показателей? Если «да», то каких и из каких форм. Есть ли алгоритм такой проверки?

Тот начал мямлить, а во мне заговорила «классовая ненависть» к уютно устроившимся в Москве.

— А если вы не знаете, то зачем Вы отнимаете время? В аудитории примерно 80 директоров. Вы просто отняли у них время.

На перерыве меня вызвали к начальнику факультета, какому-то генерал-лейтенанту.

— Вы слишком умный — начал он — и поэтому мы решили поручить именно Вам выступить с отчетным рефератом перед всем курсом в присутствии представителя министра обороны. Вот там мы с Вами и разберемся, что Вы знаете, а что нет.

— А тема какая?

— Какую выберете.

— На какое время рассчитывать выступление?

— На сколько Вам нужно. Все для Вас, никаких ограничений, готовьтесь.

Вот такое было запланировано аутодафе. Если провалиться перед министром, то дальнейшая судьба ясна, но не радостна. Я ушел в библиотеку и задумался. Решил, что терять мне особенно нечего, а начать нужно так, чтобы и спящий в задних рядах Рип ван Винкль проснулся.

Темой я выбрал «Функционирование хозрасчетных подразделений в нехозрасчетных структурах», имея ввиду работу военных заводов в вооруженных силах.

Выступление я начал так (дословно я, естественно не помню, но смысл передаю верно):

— В целях усиления боеготовности вооружения и военной техники, а, следовательно, и вооруженных сил в целом, считаю необходимым военные заводы расформировать, сидящих в зале директоров уволить на пенсию или отправить в войска...

В зале повисла заинтересованная тишина.

Далее я обосновывал, что ремонтом должна заниматься промышленность, а армия — лишь менять неисправные блоки на исправные силами малочисленных регламентных групп. На заводе изготовители есть всё необходимое: технологические линии, оснастка, комплектующие, квалифицированный персонал, ОТК, тестовая

аппаратура и т.п. Армия не должна заниматься хозрасчетом, ее дело — воевать, а то, что сломано — заменять.

командующий флотом решает ставить в ремонт вместо эсминеца «Опупевший» эсминец «Обалдевший», то ему так нужно. И он не должен думать о том, что экономика ремонта у них разная, разная цена, разные издержки, разные трудоёмкость, и что доблестно отремонтировав «Обалдевший» они не выполнили план и оставили людей без премии...

Когда я закончил, те самые директора, которых я призвал уволить, к моему великому удивлению, стали бурно аплодировать. Не думаю, что им так понравилось мое выступление, скорее их привел в восторг сам факт такого эпатажного заявления в присутствии столь высоких чинов.

Когда я писал этот реферат, то меньше всего думал о совершенствовании армии, основным было, во-первых, не сказать явную глупость, и, во-вторых, сказать нечто такое, что для властей предержавших будет отличаться от привычных и сильно надоевших выступлений. Собственно моей наглости и аплодировали эти 100 директоров, которых я предложил уволить.

Когда я вернулся во Владивосток, ко мне пришел особист.

— Ты что это там в Москве нес?

Я ему объяснил.

— А ты можешь это сейчас написать?

Я написал.

Более меня по этому поводу не беспокоили.

Но интерес к экономике, собственно, штука опасная — дает возможность иного, не газетного осмысления ситуации. Бумага, она терпеливая, но как уговорить собственный разум? Марио Пьюзо писал: *«Только не говори, что ты не виноват. Это оскорбляет мой разум»*. Вот именно это и произошло — *«оскорбление разума»*.

События пошли одно за другим. Сначала, в 1997, арестовали моего хорошего знакомого военного журналиста капитана второго ранга Григория Пасько. Он писал на экологические темы, в том числе и о том, что Тихоокеанский флот сливает ядерные отходы в Японское море. Все материалы, что он публиковал, были взяты из открытой печати, что не помешало ФСБ его арестовать и осудить на год, выпустить, потом одуматься, снова арестовать и дать уже четыре года. Интересно, как можно разгласить то, что уже напечатано в открытой печати?..

С января 1990 начались убийства армян в Баку. Мы жили Баку рядом с Арменикендом — армянским районом города. Мама там проработала всю жизнь. Там, в Арменикенде, я учился в школе, у меня было много друзей армян, да и соседей-армян, проживших с нами бок о бок годами, было не мало. Вообще армян в Баку было примерно двести тысяч человек, и как-то совершенно неожиданно, по крайней мере для моих близких, на них началась настоящая охота. У бандитов оказались списки армян с адресами и местом работы. Руководителям, не увольнявшим армян, грозили убийством, по учреждениям носились какие-то взбесившиеся женщины с зелеными повязками, разыскивая армян для самосуда неизвестно за что.

Мои родители оказались практически в центре армянской резни. Одну нашу знакомую поймали на улице и совали головой в костер. Потом вдруг один из бандитов сказал: *«отпустите ее, я ее знаю, она — еврейка, доктор»*. Отпустили, когда волосы уже горели... В последствие у нее начались проблемы с психикой...

Наш родственник, Борис Мархевка, работал врачом на скорой помощи. Скорую вызвали, его застрелили и поехали на ней по своим бандитским делам...

В центре города армян вязали десятками, а потом, связанных веревками, обливали бензином и поджигали. Старую парализованную армянку выкинули из окна, так она на дереве три дня висела, снимать не давали...

Вообще-то в Баку такая резня — не новость, я учился в школе на улице Каверочкина. Ее старое название — Конетопинская, что означает «кровавый холм», там во время резни в 1905-1906 и в 1918-м кровь текла ручьями. Но это было так давно, что воспринималось не как реальность, а как древняя история. Оказалось, история — вот она, рядом. Настолько рядом, что её рукой можно потрогать...

Вопрос, что связывает аресты Пасько с событиями в Баку? Их связывает роль власти. Войска, которые стояли в Баку и могли все это пресечь «на раз», но три дня на эту кровавую оргию смотрели и не вмешивались. Имели прямой приказ не выходить из казарм. Я это знаю точно — мой друг еще по лейтенантским временам, Борис Заболотный, был тогда начальником связи Каспийской флотилии. Войска прекратили эту кровавую вакханалию, как только получили команду, но зачем нужно было это допускать?..

Моя сестра уехала в Израиль раньше. Родители не захотели, чего-то опасались, мама все рассказывала, как их в Баку уважают, сколько у них друзей. Отцу начальник, когда он захотел уволиться, говорил:

— Юда, ты устал? Иди домой, отдыхай, сколько тебе надо. Зарплату тебе будут домой приносить. Отдыхай сколько хочешь, полгода — год, сколько надо. Только не увольняйся.

Но все это перестало иметь значение, когда опасно стало просто выйти за хлебом.

Борис Заболотный послал за родителями бронетранспортер. На десантном корабле их перевезли в Красноводск в лагерь беженцев, откуда транспортным самолетом переправили в Севастополь. Там их встречал мой другой товарищ, капитан первого ранга Бильдер. А потом в Москве — Миша Брейтерман...

Я приехал в Москву проводить родителей в Израиль. Ехали поездом до станции Чоп. Там родители прошли паспортный и таможенный контроль, перешли на другую сторону, где сели в вагон, направляющийся в Венгрию. С этого момента они уже были как бы за границей.

Вагон стоял за двумя рядами колючей проволоки, между которыми ходил пограничник с собакой. Лил дождь. Я стоял под дождем, все не мог уйти, видел их в окне, осознавая, что я вижу их в последний раз. Кажется вот они, двести метров, но это не двести метров, это —

непроходимая пропасть, которую мне не преодолеть. Я, со всеми своими допущениями, могу оказаться за границей, только если меня, как Ганди, развезут в виде пепла, а так — нет, это невозможно.

Перекрикиваться было нельзя, все равно не докричишься, да и что сказать, все сказано. Они тоже понимали, что видят меня в последний раз...

Вот такие были похороны живых людей. По крайней мере, мы так это чувствовали...

Обратно в купе собралась внешне очень странная компания, евреи, но такие разношерстные — я в форме офицера ВМФ, узбек в халате, грузин, и еще кто-то, уже и не помню... Этот внешне узбек достал ХУМАШ и начал громко его читать, но не просто читать, он его пел. Это было неповторимо. Звуки иврита, услышанного впервые, странная, но невероятно красивая мелодия... Все было так здорово, и так ново. Я спросил этого чтеца (к сожалению, не запомнил его имя):

— Ты знаешь иврит?

— Нет.

— А как же ты читаешь?

— Читать могу. Дед запер меня в комнате и сказал — не выйдешь отсюда, пока не научишься читать, вот я и научился.

В Москву приехали почти братьями.

Вернувшись во Владивосток, я понял — пора завершить свои военные приключения. До конца срока, мне, как капитану первого ранга, нужно было служить еще пять лет — до пятидесяти, но моральных сил уже не было.

Завершить мою военную эпопею мне помог мой товарищ — заведующий отделением в Военно-морском госпитале ТОФ.

Хватит, скажи форме «Прощай!».



(продолжение следует)

Леонид Гиршович

Мало ли, чего не было



- история не знает сослагательного наклонения.

Сказал – как отрезал. В споре это «островок безопасности», указывающий на дефицит аргументов. А еще это профилактика вздохов. Ведь не только история России или Германии, но и история собственной жизни состоит из тех же самых «если бы да кабы...». Гадаем, а чаще – сожалеем об упущенных возможностях. Мой дед говорил: «Если бы в двадцатом году я уехал в Америку, я бы был...» А домработница Уля: «Если бы я не эвакуировалась в блокаду, то стала бы начальником цеха...». Туда же и ты: если бы не эмигрировал, как бы сложилась твоя жизнь? Вернее, что бы написал, если бы не эмигрировал, поскольку самого бы уже не было в живых, не жилец ты на том свете.

Страх сослагательного наклонения – страх посмотреть правде в глаза. Кто сказал, что история не знает сослагательного наклонения? Прекрасно знает и даже вводит этим в соблазн, что твоя конспирология. Не обязательно писать альтернативную историю России, можно ограничиться и собственной жизнью.

«Уехав, вы столько пропустили», – сказал мне в девяностом один мастер пера, ныне уже ветеран пера – когда я ненароком снял его с втулки Молотова. Патриотический акт мне в назидание. Большинство, с кем я встречался в злосчастном девяностом, наоборот, говорило: умный был, вовремя уехал. («– Вот гнида, вот гнида... Ты думаешь, что самый умный у нас, что... – и он раз пять подряд выкрикнул: – Умный! Умный! Умный!») Тогда многие, очертя голову, кинулись по моим следам – потом, отдышавшись, давали задний ход. В начале семидесятых это называлось «дважды еврей Советского Союза».

С какой же развилки могла начаться альтернативная жизнь, которую я промахнул и которая в любом случае уже бы закончилась? Я – сама банальность: принцессой моей мечты была кинорежиссура. Молодой человек немного рисовал, немного писал, много играл на скрипке и устраивал маскарад: носил френч, оставшийся от деда, или наряжался в лохмотья, рискуя угодить в милицию – зато испытывал неземное чувство единения с «титупной нацией», благо пятый пункт ею более не прочитывался. В придачу к этому я накануне был забрит в московскую консерваторию: сдав последний экзамен (история с обществоведением), слетал в парикмахерскую и обритый наголо получал матрикул. Это было выходкой, так выглядели Юл Бриннер и Котовский. И вот гологоловый, в дражном ватнике, в ботах на босу ногу я встречал на дачном перроне

сочувственные взгляды простых людей. Какие-то дед с бабой – моих сегодняшних годов – тихонько дали мне копеек десять медью. Узнали во мне кого-то?

Искушение кино было так велико, что ради него я готов был его разлюбить. Иначе говоря, от советских фильмов мутило, от советских актеров, их голосов – особенно голосов и вообще музыкального сопровождения (мне еще придется халтурить в оркестре на «Ленфильме», глядя как Клавка в развевающейся косынке бежит и бежит вдоль одного и того же вагона). Я смотрел исключительно дублированные фильмы, как читал исключительно переводные книги. Только предав «Расёмон», «Развод по-итальянски», «Земляничную поляну» можно было прельститься музой совкино (ударение по желанию).

Человек постыдно слаб, а Кай – человек. Однокурсник свел меня с тремя своими одесскими согражданами, учившимися во ВГИКе. Встречей на их территории это трудно было назвать. Общежитие ВГИКа и общежитие МОЛГКа – однайцевые близнецы (неизбежные генитальные ассоциации здесь уместны). Я прочел им свой рассказ «История пресвитера Иоанна», там были такие строки:

Я пресвитер, я пресвитер, я пресвитер Иоанн,
Троекратный, троекратный, троекратный я болван.

А парой абзацев ниже:

Пресвитер Иоанн я, Иоанн я, Иоанн я,
Болван я троекратный, троекратный, троекратный.

На это мне был прочитан беллетризованный сон. В памяти осталась вывеска на дверях: «Одесское посольство» – и что из расколовшегося арбуза «все вылилось без единой семечки» (гипноз «Земляничной поляны» выдавал родственную душу, невзирая на «семечку»).

Три одесских отрока принялись обсуждать, к кому меня направить: «К Марлеше?» – «Нет, лучше к Ромму. И обязательно поиграй ему».

С их помощью или как-то иначе, но аудиенция мне была назначена. Ромм, этот баловень советской судьбы, наверняка раб либерально-культурных клише, должен был клонуть на меня: эмоционален, раскрепощен – плюс скрипач. Семнадцать лет от роду. Даже мое «неореализм sì, соцреализм по» было в стрóку.

Когда я явился со скрипкой, перед домом стояла «скорая». Я еще подумал об Адриане Леверкюне¹.

Обнаружив у себя симптомы известного заболевания, он идет к врачу и встречает его на лестнице в сопровождении двух господ. Идет к другому – посреди комнаты стоит гроб. Не судьба.

¹ Герой романа Т.Манна «Доктор Фаустус», создатель атональной музыки, разделивший судьбу Гуго Вольфа, Ницше, Мопассана.

Еще одна нереализованная возможность – не знаю чего, каких жизненных впечатлений. По подсказке хэмигуэевского «Праздника...» я взял за правило писать в кафе. Просил себе ликера, все равно какого, только не «мятного» – «ожного», «лимонного», «юбилейного» – и открывал тетрадь, которую какой-то шутник окрестил «общей», хотя приватней ее, интимней ее нет ничего.

Так было и в мороженице на Арбате – может быть, в одной из отходящих от него улочек – где я оказался за столиком со старухой, постарушечьи лакомившейся мороженым. Кошки похоже лакают молоко: сосредоточенно, ничем другим не отвлекаясь.

Понятие «свободный столик» существует только в совкино. На самом деле ждут «свободного места» (комнаты в коммуналке). Я приготовился писать, но, покончив с мороженым, соседка принялась за меня: в Лондоне, видите ли, рабочим нельзя ходить по центру, королева не любит плохо одетых людей. Я решил: ну вот, вроде той старухи, которую повстречал однажды на почтамте с кипой исписанных бумаг – историей болезни. У нее был рак центральной нервной системы.

И тут мои уши становятся как у жителя острова Пасхи: сегодня ходила на суд над Синявским и завтра пойдет. Пытаюсь не выдать своего волнения. Что же было в суде? Прятал что-то у любовницы на даче. И снова: рабочие, Лондон, паунты, которых у них совсем нет. А я скрипач, да? (У ног футляр.) Ей очень нравится Эрденко².

А Светлана какая умница! И дети прекрасные, не то что брат – алкоголик. Живу в общежитии? Чтоб обязательно приходил к ней в гости. Она меня познакомит со Светланой. Дочка Сталина. Умница. Живут на одной площадке. Умница! Умница! Умница!

Чтоб сменить пластинку, я посетовал на то, что в кассе не было билетов на «Грозовой перевал», американский фильм. Пожалуйста, она всегда может получить два билета. А если я хочу, может взять меня завтра на суд, ей полагается сопровождающее лицо. Ее муж был Карпинский, старый большевик.

Повсеместные грубость и хамство являют пример того, каким не надо быть. Я очень вежливо отказался. Сорокоградусный сироп, который предполагалось растянуть на пару часов, допил в считанные минуты, и расплатился заранее приготовленной мелочью.

А мог бы и высказаться в нелицеприятной форме – и о ее муже, и о ее соседях, и о тех, кто судит Синявского. Чего я не мог, это воспользоваться ее маразматическим расположением, благодаря которому, вероятно, сегодня было бы что вспомнить. От России впечатлений кот наплакал, просто впечатлительность позволяет делать из мухи слона.

Жить зажмурившись, в глухой ярости от всего, в том числе и вкусового «мы», извлекаемого, скажем, из пива с таранькой, переходить на другую сторону улицы при слове «комсомол», не зная одной на всех радости в виде телевизора и только творить намаз, обратившись лицом к

² Потомственный скрипач из цыган. Настоящая фамилия Ерденков. Был сослан в Вологду за участие в событиях 1905 года. Первым получил звание заслуженного артиста республики (1925).

погранзаставе, как к Мекке – это ль не достойно соискателя лавров Толстого? Еврей-дворник, писатель-сектант, Толстой в лавровом венке – всё один понятийный ряд.

Когда-то, сидя на краю детской кровати, я сказал своему ребенку, который тоже вдруг сделался романистом: писать – это мечтать с карандашом в руке. Для одиннадцати-двенадцатилетней девочки, по моему, исчерпывающее объяснение, указывающее – если уж – правильную дорогу. Но лишь для ребенка, потому что ты не сказал ей главного: это мечта, обращенная в прошлое.

Ловлю себя на том, что предаваться воспоминаниям – это мечтать вспясть. В рассуждении писательского труда жизнь, до краев полная событиями, с одной стороны продуктивна: море материала – но с другой стороны, прошлое загромождено и фантазии отведена роль интерпретатора – отнюдь не творца. Интерпретаторы, профессора кислых щей аплодируют ластами, которыми карандаш не удержишь. Но как незнание открывает дверь волшебству, так же амнезия – бессобытийное прошлое – позволяет на полную мощь включать «фантазию воспоминаний» (выражение Лескова).

Свидетельство, прежде чем быть наконец услышанным, успевает утратить связь с событием и свидетельствует само себя. Присоединяюсь к хору перефразирующих начало «Анны Карениной»: все воспоминания похожи одно на другое, каждый вымысел измышлен по-своему.

Поэтому было совершенно лишним пойти на поводу у своего любопытства и сойтись покорооче с милиционершей, почти сверстницей. Да, упустил возможность поучаствовать в маскараде, почувствовать себя во вражеском тылу. «Сейте разумное, доброе, вечное» – я посеял паспорт и с этим пришел в милицию, где был обласкан.

Она – начальник паспортного стола. Важный человек. Только я в ее глазах, видимо, еще важнее: постоянное место работы – ленинградская филармония. А что Гиршович – не Попович, ей даже интересно. Они, дочери Евы, все как одна, прости Господи, цыкавые. В моей вольной жизни случались приключения, коими можно было бы увлечь читателя: маляршу втянул в окно прямо с лесов, после чего тем же путем она выбралась и продолжила малевать. Но, кланусь, никогда допрежь, моя ладонь не ныряла под милицейскую форму.

На голове у нее был заграничный парик – скрывающий змей? Все равно это было данью кратковременной моде. Вдруг женские головки, как в пейзажем районе, покрылись париками. Глядя на нее, я еще подумал, что в их эмвэдэшный распределитель завезли партию импортных париков. Мы культурно провели время в темном кинозале. Она сказала, что пользуется «Лесным ландышем». Когда зажгли свет, показала флакончик: буду дарить, чтоб не перепутал. От нее впервые услышал выражение «вызвали на ковер». Рассказанный мною анекдот о Брежневе успеха не имел: мне запрещено, ей – можно. Запретность, как известно, распалает: этих анекдотов, если с включенным таксофоном, я наговорил на червонец. Запретность, однако, распалает по обе стороны баррикад. Она предложила зайти за ней завтра в конце приема – захотела стать передо мной, как лист перед травой?

Я расположился сбоку, чуть позади нее, таким начальством в глазах просителя. Отсидевший свой срок, он просил о милости: быть прописанным у себя дома, на одной жилплощади с женой и сыном. Он разговаривал с ней, но обращался к человеку в штатском, к мужчине. Ощущение невыносимое.

Сославшись на непредусмотренную репетицию, я долго извинялся, очень сердечно с ней простился, «чтобы больше никогда...». Никогда не говори «никогда». Я люблю эту фразу по-французски, совсем другой оттенок, не предостерегающий, скорее обнадеживающий: жамэ плю жамэ.

Вскоре начнутся шуточки:

С чего начинается Родина?

С подачи бумаги в ОВИР.

1972 год для нашей семьи – год тайных приготовлений. От запуганных советских людей требовалось не присущее им гражданское мужество. На кон было поставлено все: благополучие, свобода, будущее – словом, жизнь. Мы входим в кабинет инспектора ОВИРа: папа, мама, тетя, дядя – он умрет через два месяца от скоротечного рака, о котором еще не подозревает – мой двоюродный брат, моя жена и я.

Я узнал ее по парикю, без парика бы точно не узнал. Я был смущен, она и вовсе пошла пятнами. На исходе второго месяца нашего ожидания я стоял рядом с нею в переполненном троллейбусе, спина к спине, якобы непредумышленно. «Как обстоят наши дела?» – тихо спросил я, не оборачиваясь. «Вам не следовало ко мне подходить... По вашему делу есть положительное решение».

Не счесть альтернативных ходов в прожитом тобой лабиринте. Шаг – и ты на распутье, снова шаг – и снова на распутье. Можно только гадать, чего лишился, какого опыта? И каким бы был, если бы да кабы... Сколько извилин в мозгу этого лабиринта против той одной прямой, по которой ты прошел. Вместо прошлого у тебя *tabula rasa* – пиши, что хочешь, придумывай его себе. Счастлив выдумщик.



Михаил Цаленко

Взгляд назад невидящих глаз

(Продолжение. Начало в №3/2013 и сл.)

Время перемен



так, 1 сентября я был уволен по собственному желанию из военной академии и на следующий день был принят на работу в ВГПТИ в качестве заведующего научно-исследовательской лаборатории. Институт был большой, поскольку занимался проблемами сбора, обработки и хранения огромного количества статистических данных по всей стране, ставшими актуальными при изменении технической базы и широкого применения ЭВМ. Общее число сотрудников института достигало пяти тысяч. Основное здание располагалось на Большой Грузинской улице недалеко от Белорусского вокзала. Это был старый трехэтажный красновато-грязный кирпичный дом, в комнатах которого размещались лаборатории института и некоторые административные службы. Убранство комнат оставляло желать лучшего, и тем не менее в этих комнатах разрабатывались вполне разумные программные комплексы.

Первые три недели я пребывал в гордом одиночестве, погруженный в чтение предоставленных Савинковым текстов на английском языке и срочно повышая свой общеобразовательный уровень по книгам В.М. Глушкова, оказавшего огромное влияние на внедрение вычислительной техники в СССР. Через три недели ко мне присоединились Гриша Литвинов и Володя Туловский, тоже погружившиеся в чтение литературы по программированию, вычислительной технике и сильно облегчившие мою жизнь. Через месяц мы стали посещать семинар Феликса Леонидовича Фридендера, руководившего разработкой системы управления базами данных НАБОБ.

Теория баз данных зародилась в начале семидесятых годов, когда появились три основные модели: иерархическая, сетевая и реляционная. Иерархическая модель была развитием широко распространенного тогда языка программирования КОБОЛ и быстро была реализована в США в середине семидесятых годов. Ее реализация в Советском Союзе была осуществлена группой программистов под руководством Владимира Львовича Арлазарова, моего однокурсника, а ныне академика. Ядро этой группы составляли мои сокурсники, сначала работавшие под руководством Кронрода, а в конце концов оказавшиеся в

Институте системных исследований. Именно эта группа в сотрудничестве с талантливым математиком Адельсоном – Вельским создала программу, выигравшую первый чемпионат мира по шахматам среди ЭВМ.

Сетевая модель никогда не получила удовлетворительного математического описания и не была реализована. Однако именно в ВПТИ программисты под руководством Фридлендера далеко продвинулись в реализации этой модели. Фридлендер был мозговым центром и вдохновителем всей работы, и его увлеченность и энтузиазм разделялись сотрудниками лаборатории. Посещение его семинаров позволило нам почувствовать проблематику теории баз данных. Куратором всех программистских подразделений был Савинков, умевший поддерживать своих подчиненных и старавшийся повысить престиж института, в том числе благодаря сотрудничеству с издательством "Статистика".

Для меня реляционная модель оказалась наиболее близкой, так как я интуитивно почувствовал, что именно она допускает прозрачное математическое описание, скрытое за программистским описанием, предложенным ее создателем Э. Коддом. К концу семидесятых годов реляционная модель стала основной и в теории, и в приложениях благодаря успешной работе фирмы ORACLE.

Через полтора года после начала работы в ВПТИ был опубликован мой первый препринт с точным математическим описанием реляционной модели, за ним последовали препринты и других сотрудников лаборатории, которая постепенно увеличивалась. В 1974 году к нам пришел Юрий Питеримович Размыслов, защитивший на мехмате признанную выдающейся кандидатскую диссертацию, но в МГУ его не оставили, потому что его появление на кафедре помешало бы влиятельному на факультете члену кафедры защитить докторскую диссертацию. Юра сумел решить три известные проблемы, и уже тогда в Берклийском университете работал семинар, посвященный изучению работ Размыслова. В юношеские годы он входил в юношескую сборную команду СССР по шахматам вместе с Анатолием Карповым. Мама оторвала его от шахмат и заставила поступить в университет.

В 1975 году в лаборатории появился Евгений Михайлович Бениаминов, тоже выпускник мехмата и тоже кандидат наук. Женю увлекла теория реляционных баз данных и ему принадлежат глубокие трудные теоремы, описывающие строение реляционных алгебр. С Женей я не расставался двадцать лет до отъезда в США.

Сейчас Юра профессор МГУ, он разработал алгоритм быстрой настройки фортепиано, купленный японской фирмой "Ямаха", внес поправки в расчеты электронных орбит, сделанные Эйнштейном. Женя тоже профессор, он заведует кафедрой математики в Российском государственном гуманитарном университете, выпустил книгу о реляционных алгебрах, разрабатывает новые методы представления знаний и одновременно занимается математическими задачами квантовой механики.

Спустя год в лаборатории появилась первая женщина, выпускница мехмата Елена Аркадьевна Неклюдова, которую все

называли Леночкой как самую молодую среди нас. В школьные годы Лена входила в сборную команду страны по математике, и ее математические способности нашли немедленное применение. В теоретических работах по базам данных, публиковавшихся в западных журналах, широко обсуждался вопрос о наиболее эффективном с точки зрения программирования представлении отношений, или попросту таблиц, в базе данных. Создатель реляционной модели Кодд ввел специальный термин – нормализация отношений. Нам с Леной удалось разработать новый алгоритм нормализации, который по существу прекратил поток публикаций на эту тему. Наша статья была опубликована в журнале "Программирование", переведившимся на английский язык. Лена даже запрограммировала алгоритм для того, чтобы оценить его эффективность. Но тут по моей вине случился непредвиденный инцидент, не позволивший завершить работу.

Хорошо известный среди математиков и московской интеллигенции Юлий Анатольевич Шрейдер попросил меня принять на работу только что окончившего институт Витю Милитарева. Так как Лене нужен был помощник в ее работе по реализации алгоритма, я организовал прием Милитарева на работу. Однако он не стал вникать в суть нашей работы, и его функции свелись к передаче Лениных перфокарт на вычислительный центр и доставке в лабораторию результатов вычислений. Упорядоченная колода перфокарт быстро разрасталась, и в тот момент, когда в ней накопились сотни перфокарт, Витя ее рассыпал. Я не стал просить Лену восстанавливать порядок, но Вите пришлось уйти с работы.

К сожалению, через три года нам пришлось расстаться с Леной.

Ее мужем был молодой, но уже известный математик Иосиф Бернштейн, и они подали заявление на выезд из СССР. Обычно перед подачей заявления люди уходили с работы, и Лена не стала исключением. В 1981 году Иосиф, Лена и их талантливая дочка Мира уехали в США, где Иосиф сразу стал профессором знаменитого Гарвардского университета.

Осенью 1975 года полностью прекратились мои связи с мехматом. До этого времени мы с Шульгейфером продолжали вести семинар по теории категорий, хотя Ефима Григорьевича уволили с работы и вынудили уйти на пенсию по инвалидности. Руководителей спецсеминаров утверждало партбюро факультета в тех случаях, когда они не являлись сотрудниками МГУ. В 1975 году соруководителем нашего спецсеминара выразил желание стать упоминавшийся ранее известный профессор Д.А. Райков, который заинтересовался близкими мне конструкциями в теории категорий. Однако партбюро не утвердило ни Шульгейфера, ни Райкова, и в знак протеста я отказался от проведения семинара. Тем не менее до 1977 года я продолжал свои исследования по категориям соответствий, получив мои самые важные математические результаты. Сначала А.Н. Колмогоров представил мою заметку в ДАН СССР, а спустя три года подробное изложение появилось в "Трудах Московского математического общества", несмотря на сильное сопротивление некоторых членов редколлегии, особенно А.А. Мальцева,

сына академика А.И. Мальцева. Статья была опубликована после положительного отзыва одного из самых выдающихся математиков нашего времени Юрия Ивановича Манина. В 1984 году целый том математического журнала Польской академии наук заняла статья, написанная мною, Райковым и его учеником Гисиным и содержавшая полное изложение всех полученных нами результатов, описавших структуру важных классов категорий бинарных отношений. В 1991-м году часть этих результатов была воспроизведена в изданной в США монографии П.Фрейда и А.Щедрова "Категории, Аллегории".

Через два месяца после начала работы в ВППТИ я организовал семинар по теории баз данных, где начали подробно обсуждаться иностранные работы, опубликованные в ведущих американских и европейских журналах и на международных конференциях. Мне пришлось прочитывать множество работ и научиться отбирать наиболее существенные публикации в потоке статей по ставшей актуальной проблематике. Без каких-либо рекламных усилий семинар очень скоро превратился в общемосковское мероприятие, поскольку на его заседания приходили научные сотрудники многих московских институтов, а позднее и мои аспиранты. Семинар просуществовал вплоть до моего отъезда из СССР, а в 2003 году в Москве состоялось научная конференция, посвященная тридцатилетию семинара. После ее окончания был выпущен сборник трудов под названием "Базы данных и информационные технологии XXI века".

Конечно, с течением времени состав участников семинара менялся, но очень быстро сформировался его основной состав, практически не менявшийся и следовавший за всеми моими перемещениями по Москве из одного института в другой. Одной из первых на семинаре появилась Вайола Александровна Брудно, работавшая в Институте проблем управления. Она согласилась стать секретарем семинара, и на протяжении десятков лет извещала участников семинара о времени и месте очередного заседания и о теме планируемого доклада. Вайола была доброжелательна к окружающим, имела много друзей, но внутренне была очень застенчива и очень волновалась перед любым своим докладом. Она не любила рассказывать о себе, и только в 2005 году, когда мы вместе путешествовали по Иосемити незадолго до ее смерти, я узнал об удивительных деталях ее биографии. Вайола родилась в Нью-Йорке и поэтому со дня рождения была американской гражданкой. В тридцатые годы ее родители приехали в Советский Союз строить социализм. Они избежали репрессий, и Вайола успешно заканчивала школу сразу после войны, будучи лучшей ученицей и претендуя на золотую медаль. Но тут произошел сбой. Свое выпускное сочинение она посвятила Пастернаку, назвав его своим любимым советским поэтом. За непатриотическое раскрытие темы ей с трудом поставили тройку и лишили золотой медали. Дома родители зорко следили за умной и красивой дочерью, но она преподнесла им сюрприз: поступив на мехмат, она ушла из дома к Александру Львовичу Брудно, ставшему в конце пятидесятых годов одним из самых известных специалистов по программированию. Они долго не регистрировали свой брак, и их первый

сын считался американским гражданином. Второй сын родился после регистрации брака, и ему пришлось дожидаться пять лет получения гражданства в США.

В 1974 году на семинаре появились еще два постоянных участника Максим Васильевич Хомяков и Владимир Борисович Борщев, работавшие во Всесоюзном институте научной и технической информации (ВИНИТИ) под руководством Шрейдера. Сектор Шрейдера был частью теоретического отдела ВИНИТИ, в котором много лет по совместительству работал известный советский логик профессор МГУ Владимир Андреевич Успенский, впоследствии заведующий кафедрой математической логики мехмата, и замечательный филолог специалист по семантике Елена Викторовна Падучева. В этом же отделе одно время работал Есенин-Вольпин, там же десятилетия работает Виктор Константинович Финн, активно пропагандирующий применение математической логики для интеллектуализации компьютерных информационных систем. Я так подробно перечисляю сотрудников этого отдела, поскольку с ними у меня установились на много лет полезные и продуктивные научные контакты.

Максим учился со мной в одной мехматской группе первые два года. После окончания университета наши пути разошлись, но с 1974 года мы подружились, стали ходить друг к другу в гости, и в 1996 году Максим и его жена Таня были нашими первыми московскими гостями в Сан-Франциско.

После высылки Солженицына Максим и его друг Алексей Сосинский написали резкий протест и отправили его в ЦК КПСС. Естественно, что об этом узнали в ВИНИТИ, и перепуганный Шрейдер потребовал, чтобы Максим ушел с работы. Новую работу в одном из научно-исследовательских институтов он нашел довольно быстро, так как по паспорту он был русским, хотя его мама была еврейкой. Максим любил пересказывать в кругу многочисленных друзей прочитанные им книги современных западных философов и психологов, а затем эти рассказы преобразовал в серию статей, опубликованных в журнале "Знание – сила", получив за них журналистскую премию. Через несколько лет ему пришлось снова уйти с работы, так как он отказывался ходить на субботники, а его новый начальник Г.А. Клейнер, ныне член - корреспондент РАН, не хотел защищать своего подчиненного перед партбюро.

Надо признать, что Шрейдеру было чего бояться. Примерно в то же самое время он редактировал книгу Ю.А.Гастева "Гомоморфизмы и модели". Во введении к книге автор среди прочих выразил благодарность Чейну и Стоксу, сославшись на их вымышленную статью "Дыхание смерти знаменует возрождение жизни", якобы опубликованную в журнале "Мысль" ("Mind") в марте 1953 года. Упоминание о дыхании Чейна-Стокса появилось в одном из сообщений о здоровье Сталина, и для образованных людей оно означало, что вожь народов умирает. Хотя название статьи было написано по-английски и приводилось только в списке библиографии в конце книги, кто-то обнаружил вызывающую шутку Гастева, в редакции "Наука" разразился скандал, а Шрейдер,

кажется, получил выговор. После защиты Шрейдером докторской диссертации по философии выяснилось, что он является членом католической общины, его исключили из партии и понизили в должности, переведя в другой отдел. Там ему нечего было делать, и в 1983 году я воспользовался этим и попросил, чтобы он стал редактором моей книги "Семантические и математические модели баз данных", изданной в ВИНТИ в серии "Итоги науки. Информатика". Позже кто-то из моих знакомых видел фотографию Шрейдера, целующего руку римского папы.

Вслед за Вайолой на семинар стали постоянно приходиться и делать доклады Сергей Всеволодович Петров и еще совсем молодая Ольга Юрьевна Горчинская, тоже сотрудники Института проблем управления. В середине восьмидесятых годов Сережа решил одну из известных задач теории баз данных и опубликовал подробное изложение своего результата за рубежом. Оля подготовила кандидатскую диссертацию в тесном сотрудничестве с Сережей, и я выступал оппонентом на ее защите. Сейчас Лена Неклюдова и Сережа Петров живут и работают в Бостоне, а Оля Горчинская до последнего времени работала в Московском отделении фирмы ORACLE.

Расширение нашего семейного круга общения в семидесятые годы происходило очень интенсивно. Люда познакомила нас со многими известными диссидентами: Щаранским, Орловым, Турчиным и многими другими. Толя (Натан) Щаранский организовал мое интервью с тогдашним корреспондентом газеты "Лос-Анджелес таймс" в Москве, которому я рассказал о погроме в советской науке. В целях конспирации Толя вел меня на встречу немислимо запутанными переходами по гостинице "Ленинградская", а во время нашей беседы я в первый раз осознал, как трудно объяснить человеку с Запада изощренные механизмы управления советской власти, поскольку само существование определенных институтов типа ВАК казалось бессмысленным. В течение двух лет до своего ареста Толя учил английскому языку Колло, Люду, Машу, Лиду Воронину и Юрия Федоровича Орлова. Занятия проходили на квартире Люды, жившей тогда на улице Удальцова недалеко от станции метро "Проспект Вернадского", на шестнадцатом этаже дома, построенного для сотрудников КГБ. Люда попала в этот дом в результате сложной цепочки квартирных обменов. Занятия проходили оживленно, с большим количеством шуток, так как Толя искусно подбирал примеры использования английских идиом на материале текущих политических событий. В начале 1977 года во время занятий в квартиру нагрянули с обыском сотрудники КГБ, искавшие запрещенную литературу. Найти им ничего не удалось: Люда старалась не держать дома компрометирующую литературу. Однако список лиц, которым она давала печатную продукцию, лежал под клеенкой на обеденном столе. Снять эту клеенку сыщики не догадались.

В те дни мы прощались с проспектом Вернадского, переезжая в более удобную квартиру в Кузьминках и освобождая старую квартиру Машинной сестре. Маша много занималась ремонтом нового жилья и поэтому опоздала к началу занятий. Она пришла в разгар обыска и сразу сообразила, что не следует упоминать о цели своего прихода. Легенду

легко было придумать, так как на первом этаже Людиного дома находился продовольственный магазин заказов, и Маша действительно в него зашла, а заодно решила навестить друзей. Толя сказал: "Лучше бы занимались своим ремонтом", а Люда стала кричать, что сотрудники КГБ не имеют права требовать у Маши документы. По-видимому, этот неожиданный инцидент отвлек внимание обыскивавших, и они удалились с пустыми руками.

Конечно, наша фамилия имелась в Людином списке, у нас дома лежали выпуски "Хроники текущих событий", сборник "Из-под глыб", "Большой террор" Конквиста и многое другое. Машина мама спала на диван – кровати, в ящике для постели которой лежали десятки экземпляров "Архипелага Гулага", а Любовь Мойсеевна даже не подозревала, какой опасности ее подвергают беззаботные дети. Много лет спустя, выступая с лекцией об истории самиздата в Московском историко-архивном институте, Люда упомянула о нашем книжном складе. Занятия английским закончились через пару недель после обыска. Орлов был арестован на Людиной квартире, Щаранского арестовали в тот день, когда Маша собралась его навестить. Люду, Колю и Лиду Воронину выслали из СССР. 11-го февраля 1977 года мы отметили мой очередной день рождения в кругу друзей, многие из которых принудительно или добровольно покидали Советский Союз, и никто не мог предсказать, расстаемся ли мы навсегда или нам предстоят новые встречи.

Перед отъездом у Люды провели еще один обыск и изъяли все напечатанное на пишущей машинке, включая и саму машинку. Но Люда заявила, что не уедет до тех пор, пока не вернут машинку, так как она нужна ее маме, и требование было удовлетворено.

Пик отъездов пришелся на следующие два года, когда уехали, в частности, Машина сестра Наташа с сыном, Володя и Лиля Кресины, Федин двоюродный брат с семьей и многие другие знакомые. Однако далеко не всем удалось быстро расстаться со своей родиной, в "отказе" оказались Володя Туловский, Марк Фрейдлин, Таня Маркиш, учившая наших дочек английскому языку, и многие другие. Они смогли уехать только в 1987 году после визита Рейгана в Москву.

Расставаний и проводов было так много, что через много лет мы не помнили, когда и кого мы провожали. В 2002 году мы приехали в Северную Каролину в гости к Лилиной учительнице музыки и близкой подруге Лины Черняк Кире Липкиной и ее мужу Гере. Чуть ли не на вокзале Кира вдруг сказала: "Мишенька, я двадцать пять лет чувствую свою вину перед тобой. От волнения мы даже забыли попрощаться с тобой на таможене, когда ты помогал нам перевозить вещи". Я успокоил ее, сказав, что не помню о своем пребывании с ними на таможене.

Другие проводы в Шереметьево я запомнил навсегда, поскольку они без лишних слов передают степень нервного напряжения отъезжавших. Осенью 1980 года мы с Машей провожали известного армянского диссидента Алика Малхазяна. Хотя его отец был одним из известных энергетиков Армении, Алика начали преследовать за его протесты еще тогда, когда он был студентом физического факультета Ереванского университета. После отчисления из университета он уехал

преподавать математику, физику, французский язык и физкультуру в горной деревенской школе, в которой дети зимой занимались в плохо отапливаемых помещениях с земляным полом, и Алик стал протестовать против подобных условий. Московские друзья уговаривали его уехать из страны, но он отказывался уезжать по израильской визе. В конце концов, вняв советам А.Д.Сахарова, Алик согласился уехать, и вот мы втроем сидим в Шереметьево в ожидании посадки на самолет. Алик уже снабжен инструкциями и телефонами, но при этом забыл номер своего рейса. Посадку объявили три раза, а мы продолжали разговаривать. И тогда появился представитель бдительных органов и спросил, кто здесь Малхазян. Мы поспешно распрощались, и Алик с почетным караулом направился к трапу своего самолета. Вздохнув с облегчением, мы вернулись домой, но часа через два Алик позвонил из Вены и попросил продиктовать номера рекомендованных телефонов: оказалось, что он оставил у нас дома свою телефонную книжку. Из Вены Алик отправился в Париж, где имелаь большая армянская община. На новом месте он завел много знакомств и, казалось, что у него все складывается хорошо. Но через два года его жизнь трагически оборвалась. Приехав на дачу в Бретань к известному искусствоведу Эткинду, он на машине хозяина поехал на почту и погиб в результате автомобильной катастрофы. Напомню, что за год до этого тоже в автомобильной аварии погиб Амальрик, а в 1980 году на проселочной дороге в Литве пятитонным грузовиком была раздавлена семья Смолянских. Подробности этой ужасной истории будут рассказаны позже. Много лет мы полагали, что и Алик погиб в результате подстроенной аварии. Однако только в 2012 году наша давняя армянская подруга Наташа Тер-Захарян, учившаяся вместе со мной в аспирантуре, прочитала мне письмо Эткинда, адресованное родителям Алика и написанное вскоре после его гибели. Из письма видно, что Алик не очень внимательно вел себя на автострадах и в Париже тоже попадал в аварии. Письмо Эткинда было пронизано любовью и скорбью, на большом расстоянии он пытался сопереживанием смягчить горе родителей.

Теперь вернемся к середине семидесятых годов. В декабре 1975 года после третьего инфаркта умер папа, и мама осталась одна. Заботы о своей семье и о своем доме с заведенным ею порядком всегда были в центре ее повседневной жизни, и вдруг она осталась наедине со своими собственными болезнями без необходимости заботиться о ком-то в постоянном ожидании редких телефонных звонков и редких гостей. Только я и тетя Соня старались звонить ей ежедневно, но ей явно не хватало живого общения. Приезжая к нам в гости, она чувствовала себя бесполезной: Любовь Моисеевна занималась хозяйством, мы были заняты своими постоянными делами, а ей оставалось только наблюдать за происходящим.

В конце 1977 года мне снова пришлось сменить место работы. Директор ВГПТИ Голосов не смог найти общего языка с председателем комиссии Комитета народного контроля, проверявшей работу института, и по результатам проверки был освобожден от занимаемой должности. Вслед за ним из института ушел и Савинков. Новый директор Евреинов,

будучи специалистом по вычислительной технике, был увлечен реализацией своих собственных идей, и проблематика баз данных его не интересовала. Во всяком случае он не считал нужным хотя бы один раз встретиться с сотрудниками единственной в институте научно-исследовательской лаборатории.

Тем временем Голосов нашел для себя невообразимое место для временной отсидки и своей реабилитации и предложил моей лаборатории в полном составе перейти вместе с ним в новый институт. К моему удивлению, он больше никого из своих действительно близких сотрудников не позвал. С необъяснимой легкостью все сотрудники моей лаборатории согласились принять предложение Голосова, и мы перешли в мало кому известное учреждение под названием Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Мы были призваны в сугубо гуманитарное учреждение для создания девятой по рангу Автоматизированной системы научно-технической информации по документам Государственного архивного фонда СССР.

До нашего появления в институте работа еще не начиналась из-за полного отсутствия специалистов, а по пятилетнему плану первая очередь системы должна была быть введена в эксплуатацию в 1980 году. У нас, естественно, не было какого-либо опыта по созданию проектно-технологической документации, соответствующей государственным стандартам. Мы погрузились в изучение функционирования архивных учреждений и в поиски программного обеспечения, способного автоматизировать поиск архивной информации.

Разумеется, я никогда не задумывался о роли архивной информации не только для исторических исследований, но и для решения многих экономических, юридических и политических проблем, возникающих между отдельными гражданами, между их коалициями и между государствами. Архивная информация необходима для проверки и подтверждения фактов истории, и хотя обращение к отдельным документам может оказаться очень редким, но в совокупности они образуют огромные массивы материальных объектов, для хранения и использования которых нужны определенные материальные и финансовые ресурсы. Вторая научно-техническая революция привела к переносу третьего мира Карла Поппера, мира отчужденного человеческого знания, с бумажных документов на устройства памяти современных вычислительных систем, и этот процесс не мог не затронуть архивные системы во всем мире. Исходя из этих соображений, в Техническом проекте нашей системы я сформулировал представление об архивных системах как об одной из форм социальной памяти, развитие которой в значительной мере определяется научно-техническим прогрессом. В таких терминах советские архивисты еще не умели размышлять, а я обнаружил, что сам термин социальная память (social memory) уже появился во французской научной литературе. После этого основное население института стало с удивлением прислушиваться к тому, что говорят пришельцы из другого мира.

Мы действительно пришли из другого мира, так как "коренное" население в основном состояло из выпускников Московского историко-архивного института, впитавших веру в абсолютную истинность препарированных в сталинские времена догматов исторического и диалектического материализма. Поэтому когда я в первый раз сказал, что не может быть советского и буржуазного архивоведения как не может быть советской и буржуазной математики, на меня сначала зашикали, но в партбюро не вызвали и постепенно перестали употреблять бессмысленные прилагательные.

Архивные учреждения СССР до середины пятидесятых годов находились в ведении Министерства внутренних дел и поэтому доступ к архивным документам был сильно ограничен. Любые справочники издавались маленьким тиражом, с грифом "для служебного пользования" и были трудно доступны. Известные историки и архивоведы многое держали в своей голове. Но человеческая память – вещь ненадежная, и именно поэтому единственному историку, оставшейся в нашем отделе после его создания внутри ВНИИДАДа, Эрике Георгиевне Чумаченко с моей помощью удалось найти неизвестные документы выдающегося российского историка В.О. Ключевского. Ее находка явилась наглядным подтверждением полезности компьютерных технологий в архивном деле. Эрика была автором первой монографии о Ключевском, а я обучал ее языку запросов к создаваемой информационно-поисковой системе. Когда в базу данных было введено достаточно много информации об архивных фондах, я предложил ей ввести в систему запрос о фондах, содержащих материалы о Ключевском. В ответе, выданном системой, значился фонд статс-секретаря министерства иностранных дел России А.А. Белокурова, сотрудничавшего с Ключевским. Этот фонд ускользнул от внимания историков, подготовивших под руководством академика М.В. Нечкиной восьмитомное собрание трудов Ключевского. Когда возбужденная Эрика буквально прибежала ко мне со своей находкой, я без особых эмоций отправил ее в Центральный государственный архив древних актов для просмотра фонда. Эрика обнаружила порядка ста пятидесяти рукописных заметок и записок, принадлежавших Ключевскому. Многие имена и фамилии были скрыты за инициалами, и она провела специальное расследование для расшифровки инициалов. После первого успеха мы продолжили наши эксперименты и обнаружили важность таких вспомогательных исторических дисциплин как история государственных учреждений и историческая география для формулировки запросов к базе данных по истории. Полученные результаты были подробно описаны в нашей совместной статье, и Эрика отнесла ее главному редактору "Археографического ежегодника" академику С.О. Шмидту, сыну легендарного Отто Юльевича Шмидта. Она была с ним давно знакома, так как много лет посещала его семинар. Получив заверения в том, что статья будет опубликована, окрыленная Эрика вернулась в институт: для историков – архивистов каждая публикация в центральных журналах была событием жизни. Однако через год статья не вышла, и мы на всякий случай ее депонировали. Предосторожность оказалась оправданной, она никогда не была опубликована, а сообщение о нашей находке появилось в

послесловии к тому работ профессора Богословского, ученика Ключевского, без упоминания наших имен. То, что было недопустимо для А.Г.Куроша, стало возможным для С.О.Шмидта.

Однако в Главном архивном управлении, в ведении которого находился ВНИИДАД, работу оценили, а после серии теоретических публикаций, написанных мною совместно с архивистами, к моему удивлению меня назначили одним из двух ответственных исполнителей по разработке "Плана развития архивного дела в СССР на двадцать лет (1986 – 2005 годы)". Сейчас такое задание можно воспринимать как анекдот, но еще в 1979 году я воочию убедился в том, что бывшим руководителям страны и в голову не приходила мысль об исчезновении всего через двенадцать лет великой страны: на знаменитом Ереванском коньячном заводе главный винодел показал Марку Фрейдлину и мне бочки с коньяком, заготовленные для каждого союзного министерства к столетию советской власти. Хотя Главное архивное управление считалось третьеразрядным министерством, для него тоже была заготовлена бочка.

Проработав в архивном институте почти десять лет и ознакомившись с процессом формирования архивных фондов, я так и не понял, чем занимались сотрудники ВНИИДАД. Когда мы перешли в институт, его директором был Александр Павлович Курантов, занимавшийся атенстической пропагандой. Злоязычные сотрудницы называли его Шурик с боем. Он гордился тем, что благодаря разработке большой автоматизированной информационной системы его институт попал в список ведущих информационных центров страны наряду с ВИНТИ, Международным центром НТИ и другими. Но своим пониманием смысла процесса информатизации он однажды чуть не свалил меня со стула, заявив на заседании дирекции: "Вот создадим систему и закроем".

Его заместителем по научной работе был Владимир Николаевич Автократов, писавший докторскую диссертацию. Из его работ мне удалось понять основную проблему теоретического архивоведения, поскольку от выбора решения зависела система научно-справочного аппарата, поддерживающая поиск документов. Автократов скрупулезно описывал историю возникновения двух конкурирующих принципов – принципа происхождения и принципа пертинентности – и пытался обосновать преимущества первого, так как он был основным в СССР. Знакомясь с описаниями зарубежных архивов, я понял, что на практике используются оба принципа. Несколько продолжительных бесед с Автократовым позволили мне лучше понять социальную роль архивных систем в раскрытии и сокрытии исторической правды.

Через несколько лет у Курантова появился еще один заместитель Александр Иванович Чугунов, защитивший докторскую диссертацию по истории пограничных войск Советского Союза. Не знаю, что он делал в институте, но в начале восьмидесятых годов он сменил Курантова. Следующий эпизод без комментариев характеризует отношение сотрудников к своему начальству. Однажды по какому-то торжественному случаю в институт приехал начальник Главного архивного управления Ф.М. Ваганов. Когда он в сопровождении

Курантова и Чугунова поднялся на сцену актового зала, стулья в котором были, разумеется, с красной обивкой, одна из сотрудниц достаточно громко произнесла: "Три лица, три подлица", и в зале раздался дружный смех.

Тем временем в составе нашей лаборатории тоже происходили изменения. В 1979 году к нам пришел Аркадий Юльевич Вайнтроб. Он закончил аспирантуру у Манина. Манин позвонил мне и попросил устроить Аркадия на работу. Имя Вайнтроба мне было знакомо, так как он много и успешно преподавал в известной математической школе №57, а его учеников называли вайнтробчиками. Многие из них стали известными математиками и физиками. Я попросил Голосова, тот переговорил с Курантовым, и Вайнтроб оказался в нашей компании. Через два года в лаборатории появился еще один выдающийся сотрудник Виктор Анатольевич Васильев, ныне академик РАН. Я до сих пор не понимаю, почему у Вити возникли трудности после окончания аспирантуры у знаменитого на весь мир Владимира Игоревича Арнольда. Его отец, известный геометр, работал на мехмате профессором, а мать была доцентом математического факультета Центрального педагогического института, и Маша у нее училась. Она попросила Машу помочь найти для Вити место работы. О подобном сотруднике можно было только мечтать, и после недолгих переговоров с руководством института Витя тоже оказался во ВНИИДАДе. Правда, к тому времени Размыслов ушел от нас в МГУ. Витина работоспособность поражала. Он потратил много времени на внедрение подсистемы редакционно-издательских работ, перевозил по Москве тяжелые устройства памяти с магнитными лентами, зимой часами колот лед у входа в институт и не прекращал своих математических исследований, публикуя фундаментальные работы и монографии, самостоятельно переводя их на английский язык. Так называемые узлы Васильева положили начало новому направлению исследований в маломерной топологии. Забегая вперед, отмечу, что все члены мужской части нашего коллектива стали профессорами математики либо в России, либо в США. Пока существовала лаборатория, ее "женская" часть тоже практически не менялась, передвигаясь из одного института в другой. Окончившая мехмат Наталья Александровна Березина проработала вместе с нами более двадцати лет, Елена Александровна Кондратьева, тоже выпускница мехмата, пришла к нам, имея опыт программистской работы, и проработала в лаборатории более двенадцати лет до своего отъезда из СССР, приблизительно столько же лет проработали Генриетта Петровна Галаджева и Маргарита Викторовна Дунская. Время от времени Голосов устраивал на работу жен своих знакомых, но они, к счастью, не портили нашу компанию. Женщины создавали в лаборатории теплую доверительную обстановку и знали о личной жизни сотрудников гораздо больше, чем я, проявляя трогательную заботу о нашей молодежи.

Пять лет я не имел возможности заниматься педагогической работой, всегда доставлявшей большое удовлетворение. Но в 1978 году меня пригласили читать курс "Современная прикладная алгебра" для слушателей факультета повышения квалификации Центрального

государственного педагогического института. К этому моменту моя докторская диссертация была окончательно отклонена, я по существу не был знаком с заведующим кафедрой алгебры профессором Леонидом Яковлевичем Куликовым и до сих пор не знаю, почему он предложил мне читать упомянутый курс, хотя с его кафедрой сотрудничали известные алгебраисты МГУ. Единственный осмысленный аргумент состоит в том, что я согласился работать на условиях почасовой оплаты. Впоследствии, когда у меня появились на кафедре аспиранты, я стал работать по совместительству. Мои первые аспиранты появились раньше, но они были присланы из институтов математики Азербайджана и Армении. В педагогическом институте у меня появились аспиранты из России, Казахстана и Украины. Конечно, математическая подготовка участников нашего семинара по теории категорий в МГУ Николая Титова и Виктора Сергеева сильно отличалась от подготовки аспирантов, присланных с периферии, и последним пришлось потратить много усилий, а подчас и слез, пока их подготовка стала соответствовать моим требованиям.

В конце семидесятых годов Голосов познакомил меня со своим сыном Алешей, студентом пятого курса Московского экономико-статистического института (МЭСИ), и попросил стать руководителем его дипломной работы. Алеша стал посещать семинар по базам данных, и, по-видимому, научный уровень семинара и интеллектуальный потенциал его участников произвели на студента МЭСИ такое сильное впечатление, что он всю жизнь посвятил созданию баз данных и внедрению новых информационных технологий, создав крупную фирму ФОРС, разрабатывающую большие программные комплексы на основе всемирно известной системы ORACLE. После окончания института младший Голосов был принят на работу в очень престижный тогда Институт системных исследований (ИСИ), директор которого Д.М. Гвишиани был зятем А.Н. Косыгина и поэтому институт имел даже не первую, а нулевую категорию. По моему совету в качестве программного продукта для исследовательской работы Алеша выбрал ORACLE, только появившийся на мировом рынке и доступный только в ИСИ.

Наша частная семейная жизнь тоже была многокрасочной со сложной смесью ярких солнечных и темно-красных тревожных тонов. Девочки росли веселыми, довольными, способными, и нам не приходилось тратить время на проверку их домашних заданий. Обе учились игре на фортепиано, обе дополнительно занимались английским, обе окончили известные математические школы. Лиля в 1978 году заняла первое место на Московской математической олимпиаде, а в следующем году окончила школу #7 с золотой медалью. В отличие от старшей сестры Аня в музыкальную школу не поступала, а занималась дома с завучем известной музыкальной школы #1 замечательным педагогом Ириной Ивановной Терехиной. Аня играла очень хорошо, и ее учительница уверяла нас, что подготовит ее к поступлению в музыкальное училище, как только мы этого захотим. Но наш ребенок предпочел перейти в старшие классы знаменитой математической школы №57. Тем не менее в четырнадцать лет она вдруг заявила, что хочет играть с папой дуэты, и мне пришлось снова взять в руки скрипку.

Дополнительную роль сыграл чешский математик Павел Горальчик, который подошел ко мне во время конференции в Карловых Варах осенью того же года и сказал, что хочет сыграть со мной скрипичные дуэты Баха. Он проигнорировал все мои отговорки и действительно прислал ноты. Деваться было некуда, мы с Аней стали учить свои партии, несмотря на дефицит времени. В июне 1984 года Павел нагрянул в Москву, и вечером 24 июня был назначен импровизированный концерт с приглашением небольшого круга друзей. Выступление действительно оказалось импровизированным, поскольку у артистов не нашлось времени хотя бы на одну репетицию. В результате вполне слаженно сыграв большую часть дуэта, мы не смогли доиграть до конца по моей вине: играя наизусть, я вдруг забыл переход к финалу. После этого дня я двадцать пять лет не брал скрипку в руки: именно в тот день у тети Сони случился инсульт, и через десять дней она скончалась.

К этому времени умерли мои родители, папа в 1975, а мама в 1982 году. Только немногие сохранившиеся фотографии и мои детские воспоминания связывали меня с прошлым. И я впервые осознал, что остался единственным представителем некогда большого рода. К сожалению, далеко не всегда родственные связи являются подсознательной опорой человека на дороге жизни, но когда эта опора существует, легче преодолеваются превратности судьбы.

В том же 1984 году умерла Любовь Моисеевна. От сильного диабета у нее началась гангрена ноги, но с ампутацией ноги ее организм не справился. Она успела увидеть свою первую правнучку Инночку, проведя с ней много часов. Мы остались без нашей бессменной домохозяйки, приняв от нее эстафету в качестве бабушки и дедушки. Маша тяжело пережила смерть матери, ей стало трудно ходить, нагибаться, снимать и одевать одежду и обувь, и ее срочно отправили на лечение в санаторий в Крым в декабре. Прописанные ей процедуры оказались весьма эффективными, и спустя месяц Маша снова стала работать.

На длинном отрезке времени в одиннадцать лет с 1973 по 1984 год еще один год оказался драматическим. С начала семидесятых годов на моем правом "рабочем" глазу преждевременно стала развиваться катаракта, но удалять ее никто не решался. Даже смелый и решительный Святослав Николаевич Федоров, осмотрев меня в 1973 году, сказал: "Терпеть, пока терпится". Федорову меня показала сестра Марка Фрейдлина Дина, замечательный глазной хирург и правая рука Святослава Николаевича. Я терпел до 1978 года, когда по существу уже не мог ни читать, ни писать. К этому времени и во Всесоюзном институте глазных болезней под руководством М.А. Краснова, и в Центре микрохирургии глаза под руководством Федорова начали удалять хрусталик с помощью ультразвука. Но у Краснова использовалось шведское оборудование, а у Федорова сконструировали советский аналог. И хотя нас всегда уверяли, что советское значит отличное, на этом отличном оборудовании судьба перестала охранять остаток моего зрения. Во время операции вышел из строя насос, подававший воду, и поэтому операция затянулась, а частицы размельченного хрусталика остались

внутри. У Федорова от напряжения разболелась голова, ему пришлось принимать анальгин, а оперировавшая за соседним столом Дина прибежала узнать, что у нас происходит. Закончив операцию, Федоров сказал мне: "Мы удалили 95 процентов хрусталика, оставшаяся часть рассосется". Она действительно рассосалась со временем, но успела травмировать роговицу изнутри. Однако основная неприятность случилась сразу после операции – произошел отек роговицы, из-за возможности которого врачи не решались много лет меня оперировать. Глаз практически перестал видеть, и месяца два продолжались попытки уменьшить отек. И тут Дина, подавленная безнадежностью всех усилий, вдруг сказала: "Попробуй капнуть ретинол". Ретинол не является препаратом для глаз, но в моем случае опять произошло чудо: после первого применения глаз буквально мгновенно очистился, и мир засверкал для меня так ярко и красочно, как никогда до этого. Я смотрел на таблицу с буквами, закрывал глаза и продолжал видеть таблицу. Но чудо продолжалось недолго, через десять минут зрение резко ухудшалось, и началась борьба за расширение промежутка времени с приемлемым уровнем зрения. Капать ретинол часто было нельзя, так как он раздражал глаз. Удовлетворительное решение нашлось только осенью, а летом нам снова пришлось бороться против государственного антисемитизма.

В 1979 году наша старшая дочь Лиля окончила математическую школу №7 с золотой медалью, а за год до этого добилась большого успеха, заняв первое место на Московской математической олимпиаде. Лиля много занималась дополнительно с известным педагогом доцентом Геннадием Борисовичем Хасиным, так как решила поступать на механико-математический факультет МГУ. Напомню, что во второй половине семидесятых годов на мехмат практически перестали принимать евреев. В 1978 году А.Н. Колмогоров не выезжал на дачу до тех пор, пока на мехмат не приняли одного из победителей Международной олимпиады по математике Виктора Гальперина. Забегая вперед, отмечу, что в 1979 году на мехмате, вопреки приказу Министерства высшего образования, пытались не принять чемпиона мира по математике Илью Захаревича, победившего на Международной олимпиаде в Лондоне.

В попытке добиться беспристрастного отношения к своей дочери я пошел на прием к декану мехмата А.И. Кострикину, известному алгебраисту и сотруднику МИ АН, который заведовал кафедрой высшей алгебры после смерти А.Г. Куроша. Кострикин знал меня много лет: я участвовал в работе его семинара по теории конечных групп и был внештатным сотрудником кафедры до осени 1976 года. Моя попытка предотвратить новую схватку оказалась безрезультатной: Кострикин ничего не пообещал и ничего не сделал для предотвращения конфликта.

За письменную работу по математике Лиля получила двойку. Прежде всего ей не засчитали правильно решенную пятую геометрическую задачу, которая специально придумывалась настолько сложной, что ее обычно решали только несколько человек из тысячи абитуриентов. Задачу не засчитали по той причине, что в письменном объяснении использовалась буква O, которой не было на чертеже. Станным образом на чертеже вместо O появилась буква Q. В первых

двух задачах были найдены погрешности, за которые обычно незначительно снижали оценку Лиле их практически не засчитали. Варианты составлялись таким образом, что решение первых трех простых задач обеспечивало тройку и позволяло на устном экзамене отделять нужных абитуриентов от ненужных. Правильное решение двух последних задач гарантировало четверку. Поэтому пятая задача не была засчитана.

После письменного экзамена было подано много апелляций. Когда наш друг Юра Тюрин заглянул в аудиторию, в которой абитуриенты писали апелляции, он был потрясен увиденным: аудитория была полностью заполнена, в основном там сидели евреи, среди них было много победителей Московской и Всесоюзной олимпиад. Разумеется, большинство апелляций было отклонено. "Счастливики", сумевшие добиться тройки на апелляции, получили двойки на устном экзамене.

Лиля забрала свои документы из МГУ и уехала на дачу, а мы стали искать доказательства сознательной подтасовки результатов экзаменов. Это удалось сделать довольно быстро. Принимавшая вступительные экзамены на биологическом факультете Лена Головина, дочь О.Н. Головина, рассказала, что аспирантам, проверявшим письменные работы, было велено проставлять плюсы и минусы простым карандашом, а окончательные результаты выставлял старший экзаменатор **после дешифровки** всех работ, зная, кому надо повысить, а кому понизить оценку. Нам осталось только убедиться в том, что та же практика применялась на мехмате.

Среди поступавших школьников было много знакомых детей. Мы попросили некоторых из них во время устного экзамена посмотреть на свои письменные работы и проверить, нет ли в них исправленных отметок красным карандашом. Конечно, от естественного волнения многие ребята забыли это сделать, но Таня Новосельцева, самая близкая Лилина подруга, не забыла просмотреть свою работу и обнаружила, что красный карандаш улучшил ее результат.

На следующий же день моя жена, геометр по узкой математической специализации, читавшая все геометрические курсы в одном из московских педагогических институтов, пошла на прием к Кострикину как председателю приемной комиссии мехмата с заранее заготовленным заявлением. В нем, в частности, было сказано, что задача по геометрии считается решенной, если объяснение правильно независимо от наличия или отсутствия чертежа. На этом бесспорном основании она потребовала изменения оценки Лилиной работы. Я не знаю мотивов реакции Кострикина, но он сказал, что Лилины документы примут в приемной комиссии.

Утром следующего дня я привез Лилю с дачи в приемную комиссию, где мгновенно приняли ее документы, и я отправился в апелляционную комиссию. В присутствии членов комиссии со мной разговаривал старший экзаменатор профессор А.Б. Шидловский. Явно желая сократить время неприятного разговора с человеком, к которому много лет назад проявлял симпатии, он сразу сообщил, что оценка письменной работы моей дочери изменена с двойки на тройку. Однако я не согласился с этим решением и потребовал сравнения Лилиной работы

с работой из того же варианта, получившей оценку пять и содержавшей ошибки, пропущенные проверявшим. Естественно, что мне было отказано. Шидловский добавил, что факультетская апелляционная комиссия не имеет права изменить оценку сразу на два балла и что остается мало времени до завершения вступительных экзаменов. Оставив за собой право на новую апелляцию, я вышел из аудитории. Шидловский вышел вслед за мной и тихо сказал: "Успокойтесь, мы все загладим". В ответ я выразил возмущение беззаконием, царящем на мехмате, и после этого мы никогда не встречались.

Тем временем Лилю вызвали сдавать устный экзамен и быстро отпустили, поставив пять. Через день Лиля писала сочинение, и снова мы увидели, что рано терять бдительность: за сочинение была получена четверка, хотя была отмечена только одна стилистическая и две синтаксические ошибки, и согласно официально объявленным правилам полагалось поставить пять. Осталось сдать физику. Физический факультет МГУ гораздо раньше мехмата стал проводить антисемитскую политику на вступительных экзаменах и всегда оказывал помощь мехмату в отсеве нежелательных абитуриентов. Но в 1979 году случилось непредсказуемое: мехмат сообщил физфаку, что они сами справились с поставленной задачей. Мы узнали об этом от профессора физфака Левшина, бывшего в свое время секретарем партбюро физфака. За год до этого мы снимали у Левшиных дачу в Кратово, и у нас сложились хорошие отношения, хотя в разговорах мы были достаточно осмотрительны. Накануне экзамена по физике мы встретили его у главного здания МГУ. Он поинтересовался тем, что привело нас в разгар лета сюда. Получив объяснение, он сообщил обнадеживающую информацию. И действительно, Лиля получила пять по физике и поступила на мехмат. Она стала первой еврейской девушкой, принятой на мехмат в те годы, за что ее прозвали чудо-юдо. За пять лет учебы она получала только пятерки.

Еще три еврейских юноши были приняты на мехмат, и в каждом случае родители проявили изобретательность и смелость. В отдельных случаях эта борьба кончилась трагически: схватка была не с МГУ, а с государственной системой, опиравшейся на КГБ. Одной из пострадавших стала родная сестра Марины Ратнер Юля. Находясь в отказе, Юля решительно боролась за поступление на мехмат своего сына. Она тоже ходила на прием к декану и записывала на магнитофон свои разговоры в приемной комиссии. Юля организовала пресс - конференцию с демонстрацией сделанных записей. Осенью она провожала в Израиль свою тетю, передав ей свои магнитофонные записи. По дороге в аэропорт их машина попала в автомобильную катастрофу, тетя погибла, Юля чудом осталась жива, проведя несколько месяцев в больнице, но магнитофонные записи исчезли. Более подробно эта история описана в Юлиных воспоминаниях, изданных в Израиле.

В начале осени я получил совет пройти курс магнитотерапии в институте им. Гельмгольца, но я потерял связь с институтом после смерти Анны Зиновьевны в 1976 году. Моя история болезни всегда хранилась в ее столе, и она исчезла при разборке бумаг. Но мой друг Роберт был

знаком с работавшей в глазном институте профессором Бурдянской, и по его рекомендации я предстал перед ней. Бурдянская показала меня в нескольких лабораториях, и нигде не получила обнадеживающего ответа. Только в лаборатории физиотерапии ее заведующая Людмила Владимировна Зобина подтвердила, что курс магнитотерапии может мне помочь, и взяла меня под свое наблюдение. Так у меня появился новый ангел – хранитель, который на протяжении последующих пятнадцати лет следила за моим зрением, регулярно проводя курсы магнитотерапии. Первые годы наши отношения вполне укладывались в рамки отношений между врачом и одним из многих пациентов. Но постепенно мы узнавали друг друга лучше, обмениваясь мимоходом информацией, не относящейся к медицинским проблемам. Мы обнаружили, что наши музыкальные вкусы совпадают, а Людмила Владимировна узнала кое-что про меня, став членом католической общины и познакомившись там с некоторыми моими знакомыми. После этого она стала заботиться о том, чтобы я не терял времени в очереди, ожидая сеанс магнитотерапии, и отдала распоряжение своим лаборанткам принимать меня без очереди. Надо признать, что иногда для меня экономия времени была очень существенна, так как на процедуры надо было ездить ежедневно на протяжении двух недель, и курс повторялся каждые четыре месяца, причем я должен был повторять курс всю жизнь. По-видимому, врачи не пришли к общему заключению об эффективности магнитотерапии, и в США она не применяется. Однако для меня она оказалась весьма эффективной и позволила по крайней мере в течение десяти лет продолжать интенсивно работать. Однако мой рабочий день распался на циклы от одного закапывания ретинола до другого. Сначала этот цикл длился часов шесть, однако с течением времени он стал сокращаться, а зрение ухудшаться. Людмила Владимировна деликатно объясняла мне, что с возрастом кровеносные сосуды будут ухудшаться, и вместе с ними будет ухудшаться и зрение. К сожалению, биологические процессы нам не подвластны, и никакие меры предосторожности не могут изменить законов природы.

Я уже рассказал о том, что с 1978 года в моей жизни наметились позитивные изменения, но люди, управлявшие тогда советской математикой, зорко следили за мной. Когда в популярном научном журнале для школьников "Квант" появилась моя статья "Комбинаторные задачи информационного поиска", С.В. Яблонский, ученый секретарь отделения математики АН СССР, позвонил Колмогорову, руководившему отделом математики "Кванта", и стал допрашивать его, почему в "Кванте" печатают Целенко. В 1982 году меня пригласили прочесть лекции о реляционных базах данных на совещании Рабочей группы по вычислительной технике Совета экономической взаимопомощи. Совет был одним из органов стран социалистического лагеря, и состав приглашенных докладчиков утверждался в Академии наук. Директор Вычислительного центра АН академик А.А. Дородницын вызвал руководителя совещания члена – корреспондента АН генерала в отставке Г.С. Поспелова и стал возражать против моего приглашения. Не знаю, что сказал в ответ Поспелов, но приглашение осталось в силе, и я рассказывал

о реляционных базах данных в домашней церкви Гончаровых в Вышнем Волочке. Сопровождение происходило зимой, и, гуляя в перерывах по заснеженным улочкам старого провинциального городка, я вспоминал пушкинские строки: "Здоровью моему полезен русский холод". На старости лет я в этом не убежден.

Летом мы обычно снимали дачи в Кратово или на Сорок втором километре Казанской железной дороги, продолжая работать. Зато во время отпусков совершали дальние путешествия, сильно расширявшие наши представления о жизни в Советском Союзе и за рубежом. В сентябре 1974 года мы провели три недели в Азербайджане по приглашению Рафика Багирова. С ним я познакомился во время моего первого визита в Баку в 1970 году. Он был увлечен алгеброй, ходил на мои лекции, позже стал присылать мне аспирантов из Института математики Азербайджана, где Рафик работал старшим научным сотрудником. Вел он себя очень скромно и интеллигентно, хотя его родители занимали очень высокое положение: мать была министром иностранных дел республики, а отец одно время был третьим секретарем ЦК Коммунистической партии республики, став затем начальником Геологического управления. Каждому министру полагалась дача на побережье Каспийского моря, но для южан сентябрь не был курортным временем, и дачи пустовали. Рафик пригласил нас провести пару недель в сентябре на даче своей матери, и мы приняли его приглашение. Место, где находились правительственные дачи, называлось Загульба. Происхождение этого названия я не смог выяснить. "Дачи" министров представляли собой отдельные квартиры в трехэтажных блочных домах. Все комнаты были обставлены модными в то время гарнитурами из Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии. Вся мебель была казенная, и на всех предметах имелись металлические номерные бирки. В предоставленной нам трехкомнатной квартире имелась большая лоджия, открытая в сторону Каспийского моря. Панорама была великолепной, и мы решили есть в лоджии, но делать это было непросто, так как дома располагались высоко над уровнем моря, и сильный ветер выдувал жидкость из тарелок и чашек.

Дома располагались вдоль огромного песчаного пляжа, огороженного с трех сторон высоким забором с единственным въездом на территорию, где охрана проверяла личности посетителей. Внутри отгороженной территории находился еще один выделенный участок с забором. Там размещались дачи четырех главных людей республики: первого секретаря ЦК компартии Азербайджана, председателя Совета министров, председателя Президиума Верховного совета и командующего Закавказским военным округом. Вокруг особой территории постоянно бегали натренированные собаки, которые бесшумно, но твердо не подпускали посторонних к охраняемому участку. Спускаясь на пляж, мы проходили мимо фруктовых деревьев и срывали свежие груши, сливы и инжир и ощущали себя в райских кущах при температуре воздуха 28 градусов и температуре воды 25. Кроме нас, на этой территории жили несколько бабушек с внуками, и на пляже почти никто не появлялся. Мы приехали в Баку с Аней и нашим другом Федей.

Лиля осталась в Москве с бабушкой: в сентябре, как обычно, начались занятия в школах. Часто на пляже солдаты охраны играли в карты, а на наш пляж с моря заходили "соседи" с расположенного за оградой санатория четвертого управления Министерства здравоохранения. Лежа на теплом песке и не поднимая головы, Федя ворчал на солдат: "Вот бездельники, дуются в карты, а нас не защищают".

За санаторием начинались академические дачи, одна из которых принадлежала директору Института математики Халилову, отцу Руфы. Мираббас и Руфа повезли нас на эту дачу, где мы единственный раз в жизни смогли попробовать удивительный местный сорт винограда шаны, гроздь которого стелется на горячем песке, а некрупные виноградины, сочные и очень сладкие, покрыты такой тонкой и нежной кожицей, что транспортировка становится почти невозможной. Там же мы воочию увидели, насколько трудной является в тех местах проблема водоснабжения. На академических дачах не было водопровода, а воду собирали в специальных ваннах. Даже на правительственных дачах вода подавалась только на несколько часов в день.

Гостеприимные хозяева и друзья несколько раз возили нас на прогулки по Баку, показывали красочные восточные базары, а Мираббас учил нас торговаться, утверждая, что на Востоке каждый мужчина должен уметь торговаться. Однажды нас повели на вечер поэзии с участием московских гостей Беллы Ахмадулиной, Александра Иванова и других. Вечер состоялся в уютном эллипсообразном зале, в котором и поэты, и благодарная публика чувствовали себя раскованнее, чем в столице нашей родины.

Лето 1975 года мы провели на даче, и к нам в гости приезжала Барбара со своим вторым мужем Конрадом Шульцем, специалистом по математической логике. В июле я и Лиля провели три недели в Паланге, где после холодных ванн Балтийского моря мы начали заниматься всерьез геометрией, рисуя на песке геометрические фигуры.

Следующим летом мы с Машей совершили еще одно путешествие в ГДР, которое снова было организовано Барбарой. Сначала мы провели неделю в небольшой деревне под Росток на берегу Балтийского моря. Мы жили в маленькой частной гостинице, расположенной на берегу залива, и по вечерам хозяин рассказывал мне о том, как организована местная жизнь. Его предки поселились в этих местах четыре века назад, и значительная часть окрестных земель до войны принадлежала его семье. После войны в деревне был организован кооператив, и почти все частные угодья стали кооперативной собственностью. У каждого хозяина оставался небольшой частный участок земли, и меня поразила эффективность организации индивидуальных хозяйств. Свежие овощи и фрукты в специальных корзинах выставлялись каждое утро возле дома на обочину дороги, где их собирали рабочие местного магазина. После взвешивания собранных продуктов соответствующая оплата заносилась на индивидуальные счета, и насколько я понял, никто не предъявлял магазину материальных претензий. Через тридцать лет после окончания войны и построения народной демократии в деревнях сохранился высокий уровень честности

и доверия. К сожалению, эти важные элементы европейской традиции и культуры в последние годы не выдерживают натиска других цивилизаций. Например, в Норвегии крестьяне привыкли выставлять на дорогу мешки с картофелем, помещая рядом весы и кошелек для оплаты. Однако теперь эта привычка постепенно исчезает, поскольку иммигранты из стран Африки и Азии забирают и картофель, и деньги.

Было начало сентября, погода стояла теплая и солнечная, на пляже, кроме нас, практически никто не появлялся, и мы безмятежно, вдали от мирской суеты провели шесть дней. Но затем появилась Барбара, и началась интересная и насыщенная поездка по ГДР. Тогда Барбара жила и работала в Карл-Маркс-штадте, и мой первый доклад состоялся там в Техническом университете. Затем мы поехали в Лейпциг, посетили Веймар и Бухенвальд и поехали в маленький город Кетен. Там в педагогическом институте работали математики, знавшие меня либо очно, либо заочно. Одним из них был Лотар Михлер, выпустивший вместе с Марией Хассе одну из первых книг по теории категорий на немецком языке. Мы провели в его доме одну ночь, причем гостеприимные хозяева долго не отпускали нас из-за стола, так что Маше, не понимавшей по-немецки, пришлось героически сражаться со сном. Город знаменит тем, что в двадцатые годы восемнадцатого века Бах написал в нем партиты и сонаты для скрипки соло, исполняемые и записываемые поныне выдающимися скрипачами.

За Кетеном последовал Берлин, где я рассказывал в Институте математике АН ГДР свою работу, представленную в ДАН СССР. После доклада директор института профессор Будах, автор обширной монографии по теории категорий, задал мне интересный вопрос, ответ на который я смог получить только через несколько лет.

После Берлина я через девять лет снова попал в Дрезден, где мы смогли посмотреть огромную выставку графики Шагала. В Дрездене нас принимал бывший аспирант Марка Фрейдлина Лотар Парч, с которым мы совершили поездку вдоль Дуная и погуляли по Саксонской Швейцарии. Напоследок мы заехали к матери Барбары, жившей в маленьком горном городке. У нее в доме хранилась большая коллекция хорошо сохранившейся средневековой оловянной посуды.

Зимой 1976 года отмечалось шестидесятилетие Олега Николаевича Головина, и по этому случаю в Москву приехал чешский алгебраист Милан Секанина, живший и работавший в Брно. Милан постепенно избавлялся от опалы, в которую попал, несмотря на то, что вернулся в Чехословакию из Канады в самый разгар событий 1968 года. В Канаде он провел год в качестве приглашенного профессора. Друзья и знакомые считали безумием его решение вернуться, но он так любил свою родину, что жить хотел только там. По возвращении Милана и его милую жену Анну исключили из партии и перестали публиковать его работы. Чтобы помочь своему старшему сыну Павлу поступить в университет, Милан написал учебник по алгебре для средней школы. Весной 1977 года Анна прислала нам приглашение в гости, чтобы я смог принять участие в международной конференции по алгебре. Однако я не смог поехать: партбюро ЦСУ СССР не утвердило мою характеристику,

заподозрив неладное в том, что приглашение было послано женщиной. Правда, я не сдержался, и высказал свое мнение относительно их грязных намеков. Маша поехала одна с текстом моего доклада, а Милан его произнес.

Август 1978 года мы с дочками провели в небольшом эстонском городе Эльва, куда нас уговорила поехать Анина учительница музыки. В лесах, окружающих Эльву, необыкновенно много грибов и ягод, и мои женщины с азартом собирали и то, и другое. Однажды, подходя к лесу, мы были ошеломлены частоколом больших подберезовиков и подосиновиков, которых никто не собирал. Оказалось, что местные жители эти грибы в пищу не употребляют, но мы с удовольствием стали лакомиться грибными блюдами. В лесах и на берегах живописных озер было мало людей, и дневная тишина казалась неправдоподобной. Прибалтика всегда была нашим любимым местом отдыха, и поездка в Эльву расширила наше представление о ней.

Лето 1979 года многое изменило в нашей жизни. В июне Машина сестра Наташа с сыном уехала в США, и в результате в нашем распоряжении оказались две квартиры. В июле мы отстояли право нашей дочери поступать в МГУ, но семейных торжеств не было: мы чувствовали себя опустошенными, а наши бабушки не отдавали себе отчет в том, что их внучка вошла в историю.

Лето 1980 года не предвещало особых волнений, Лиля получила свои пятерки и уехала с друзьями на Кавказ, Маша с Аней уехали в Палангу, и я через десять дней присоединился к ним. В Москве готовились к Олимпийским играм, что, в частности, привело к изменениям расписаний вступительных экзаменов в московских вузах. Мы вернулись в Москву 24 июля и в тот же день были потрясены известием о гибели родных наших друзей Смоленских. С тех пор прошло более тридцати лет, и мало кто помнит о произошедшей страшной трагедии.

Марк Львович Смоленский работал доцентом кафедры математики заочного педагогического института, когда Маша пришла туда работать. Он был чрезвычайно общителен, ко всем обращался на ты, много курил, любил играть в шахматы и не занимался всерьез математикой. На первых порах Маше он не понравился. Но осенью 1965 года, когда мы первый раз поехали в Друскининкай, мы неожиданно столкнулись там с Марком и его женой Адой Зосимовной, оказавшейся полной противоположностью своему мужу. Ада уже в то время была известным микробиологом, работала в институте онкологии, а результаты ее докторской диссертации оценивались как достижения двадцать первого века. Несмотря на разность в возрасте, мы быстро нашли общий язык, провели несколько вечеров вместе и, вернувшись в Москву, стали регулярно встречаться. Вскоре Марк перешел на работу в Центральный педагогический институт, а заодно стал заместителем Колмогорова в редакции научно-популярного журнала "Квант".

У Марка с Адой была единственная дочь, муж которой был способным физиком, также сотрудничавшим с "Квантом". В 1973 году у них родилась дочка, которую бабушка с дедушкой обожали.

Племянницей Марка была известная диссидентка Ира Каплун, ставшая женой Владимира Борисова, пытавшегося создать независимые профсоюзы и попавшего за это в психиатрическую больницу. Летом 1980 года в преддверии Олимпийских игр диссидентов стали выдворять из Москвы, и Ира согласилась провести июль в Прибалтике вместе с семьей дочери Смолянских, оставив десятимесячную дочку на попечении своей мамы. В двадцатых числах июля все четверо погибли в результате автомобильной катастрофы, их "Москвич" был буквально раздавлен на проселочной дороге в Литве пятитонным грузовиком, неожиданно выехавшим им навстречу на их стороне дороги. В официальной версии происшедшего утверждалось, что грузовик оказался на чужой полосе, объезжая ремонтировавшийся участок дороги, однако следов ремонта никто из друзей Иры, расследовавших обстоятельства катастрофы, не обнаружил.

Двадцать восьмого июля 1980 года Москва хоронила Высоцкого, на следующий день в Донском крематории в Москве хоронили родных Марка и Ады. Процедура прощания растянулась на четыре часа, поскольку КГБ не разрешило всех хоронить одновременно. Сначала кремировали дочь Смолянских, ее мужа и их внучку, а после перерыва кремировали Иру Каплун. Территория крематория была наводнена сотрудниками КГБ, которые из-за каждого куста снимали входящих в крематорий. Четырех часов было достаточно, чтобы всем существом почувствовать чудовищность системы, в которой мы жили.

Жизнь Марка и Ады тоже оборвалась трагически. Когда им было далеко за восемьдесят, их обоих нашли зарезанными и обгоревшими в их собственной квартире недалеко от метро "Коломенское". К этому времени у них не осталось родственников в Москве, и насколько мне известно, преступление осталось нераскрытым.

В восьмидесятые годы мои глаза перешли на новый непривычный режим, когда я периодически должен был закапывать ретинол, но в промежутках я получил возможность непрерывно работать и за десять лет смог написать и опубликовать больше работ, чем за предыдущие двадцать. Более того, после знакомства с Дмитрием Семеновичем Черешкиным я был вовлечен в разработку концепции информатизации советского общества. Раздраженный бессмысленным употреблением в советской печати слов "научно – технический прогресс" и "научно – техническая революция", я, используя статистические данные о первой промышленной революции и о стремительном развитии и внедрении компьютерной технологии, сделал прогноз об этапах развития второй постиндустриальной, или информационной революции.

Черешкин оказался добродушным и веселым человеком, имевшим много личных достоинств: мастер спорта по альпинизму, он обладал тонким художественным вкусом и сам изготавливал декоративные изделия из дерева, в силу своих возможностей готов был помогать окружающим, хорошо понимая идиотизм брежневского времени. Одновременно он не забывал о личных интересах и старался получить как можно больше, будучи заведующим лабораторией Института системных исследований, в котором работало много известных ученых и который

имел массу привилегий. Благодаря Диме мне не пришлось заниматься ни оформлением наших работ, ни их публикацией. Он делал это быстро и эффективно, используя возможности института. Более того, две сотрудницы лаборатории Черешкина по моим указаниям ходили в библиотеку им. Ленина, изучали литературу о первой промышленной революции и снабжали меня статистическими данными. Поэтому я мог, не выходя из дома, оценивать динамику изменения экономических параметров в ведущих европейских странах с 1750 по 1850 годы, поскольку именно эти годы считаются историками периодом первой промышленной революции. Сам Дима часто приезжал к нам домой и записывал под диктовку мою часть нашего большого препринта, вышедшего в 1985 году. Его тезисы были опубликованы в трудах конгресса Международной федерации по обработке информации 1989 года, проходившего в Сан-Франциско.

Еще до публикации препринта я в разных местах рассказывал о проблеме прогнозирования в истории, и в результате был приглашен на необычное научное мероприятие, проходившее весной 1984 года в санатории КГБ в Паланге. В 1983 году в Москве возник Институт управления научно-техническим прогрессом во главе с академиком В.Л. Макаровым. Макаров пригласил в Палангу докторов экономических наук, занимавшихся изучением научно-технического прогресса. По чьей-то рекомендации пригласили и меня. После моего выступления Макаров спросил меня о прогнозировании социально-политических последствий научно-технической революции. Я ответил, что вторая постиндустриальная революция по моим оценкам находится в середине своего развития и ее социальные, экономические и политические последствия начнут сказываться лет через двадцать. На конференции присутствовал бывший мой сокурсник Юра Зыков, ставший к тому времени доктором экономических наук и написавший книгу о последствиях научно - технического прогресса. Юра сказал мне, что публикация моих идей будет нелегким делом, но он готов сделать все возможное для публикации. Но поддержкой Юры мне не пришлось воспользоваться. Как и Черешкин, Зыков увлекался альпинизмом и погиб на Кавказе летом того же года. У Димы проблем с публикацией не возникло.

До сих пор я не могу объяснить, каким образом Дима разговаривал с директорами ведущих институтов, добываясь нужного ему результата. Например, он организовал во ВНИИДАДе последнее публичное выступление В.М. Глушкова в 1979 году, а когда выяснилось, что один из моих оппонентов не сможет выступить на защите моей докторской диссертации, он мгновенно договорился о замене с директором Международного центра научно-технической информации А.В. Бутрименко. Без труда он организовал защиту своей докторской диссертации, а затем стал одним из главных организаторов отделения информатики и систем управления новоиспеченной Академии естественных наук. Если я не ошибаюсь, то в девяностых годах Черешкин стал академиком – секретарем этого отделения. После перестройки в России развелось большое количество академий, научная роль которых

ничтожна, но зато много людей получило возможность обзавестись подходящим титулом. По-видимому, любовь к титулам всегда была присуща российскому населению, и она возродилась с новой силой после конца советской власти.

В 1980 году мы объединили две наши квартиры в одну пятикомнатную квартиру, достаточно большую по московским представлениям того времени и расположенную между станциями метро "Фрунзенская" и "Парк культуры". Девочки и бабушка получили по отдельной комнате, а мы с Машей разместились в двух смежных комнатах, одна из которых размером в девять квадратных метров стала нашей спальней, а другая общей гостиной с телевизором и музыкальной системой, с книжными полками и с обеденным столом, служившим мне одновременно рабочим местом. Книг было так много, что во всех комнатах стояли книжные шкафы или книжные полки. Лиле стало удобно ездить в университет, а Аня перешла в новую школу #23, находившуюся около "Парка культуры". Школа считалась одной из лучших английских школ, и до нее надо было идти минут десять. Наш дом был одним из кооперативных домов, построенных в начале тридцатых годов. В нем имелось три корпуса со странными названиями "Госзнак", "1905 год" и "Каучук". Мы въехали в "Каучук", расположенный внутри квартала с высокими деревьями и зелеными лужайками. Кооперативную собственность быстро ликвидировали, и дома стали, как и полагалось, государственной собственностью. В восьмидесятом году по углам нашего квартала стояли высокие современные дома для привилегированной публики. Например, в доме на углу Хальзунова и Языковского переулков жили тогдашний председатель Совета министров СССР Тихонов и будущий неудачливый председатель Верховного совета Лукьянов. Во времена Горбачева рядом с первым домом построили новый, в который въехали выдвиженцы Бессмертных, Бакатин и другие. За этими домами внутри квартала находилась школа, в ней во время выборов размещался избирательный участок, и от дома с высокопоставленными жильцами к нему вела красная дорожка, охранявшаяся с обеих сторон милиционерами. Слезы выступают на глазах от этих трогательных воспоминаний.

После нашего переезда в доме стал часто появляться Айзик Геннадьевич Ингер, или просто Изя. Он родился в Чите в начале двадцатых годов, войну провел в армии, после войны стал специалистом по английской литературе и всю жизнь мечтал переехать в Москву. Когда мы познакомились с ним, ему было уже за пятьдесят, но он всегда был достаточно подтянутым, а его заостренное лицо с небольшими глазами всегда было оживленным и выражало искренний интерес ко всему происходящему вокруг. Изя работал доцентом, а потом профессором Коломенского педагогического института, где преподавал английскую литературу. Уже после нашего знакомства в академической серии "Литературные памятники" вышли три его перевода, в том числе "Дневник для Стеллы" Свифта. После выхода в свет "Дневника" он в нашем доме в присутствии небольшого круга друзей четыре часа рассказывал о жизни в Англии в начале восемнадцатого века. Изя прекрасно знал классическую музыку и дружил со многими известными

музыкантами. После смерти пианистки Марии Гринберг он выпустил в издательстве "Музыка" сборник воспоминаний о ней со статьями Рихтера, Шафрана и других. Обычно Изя приезжал в Москву на несколько дней, останавливаясь на ночь у своих многочисленных друзей. Последние годы нашей жизни в Москве он предпочитал останавливаться у нас, где ему предоставлялась отдельная комната. Лекции он читал блестяще и как лектора общества "Знание" его знала вся Коломна. Его похороны в 2003 году прошли при небывалом стечении народа. Знакомые утверждали, что Изя стал прототипом главного героя замечательного фильма Данелия "Осенний марафон". Благодаря усилиям Изи и пианиста Михаила Лидского японская фирма "Денон" выпустила большую серию дисков с записями исполнений Марии Гринберг.

Через три с половиной года после Лилюного поступления в МГУ мне снова пришлось принять участие в борьбе против руководства мехмата, хотя на месте мехмата могло оказаться любое советское учреждение, так как реальным противником было КГБ. В феврале 1983 года мне стало известно, что на мехмате началась кампания по исключению из МГУ студента пятого курса Виктора Гальперина, занявшего в 1978 году второе место на Международной математической олимпиаде в Белграде. Так как никаких формальных оснований для исключения не было, то на мехмате пошли на беспрецедентный шаг: сданный Гальпериним экзамен по выбору по механике был отменен без согласия экзаменатора профессора В.А. Мясникова, а взамен от Гальперина потребовали сдать экзамен по дискретной математике заранее подобранной паре в составе Алешина и Подколзина. Замечу, что экзамен по выбору всегда проводился одним экзаменатором, а указанная пара способна была выполнить любые поручения.

Повод для таких экстраординарных мер был весьма серьезный. В декабре 1982 года Виктора вызвали в кабинет заместителя декана мехмата, где два сотрудника КГБ, предъявив свои документы, предложили ему сотрудничать с КГБ в слежке за семьей Елены Полонской, молодой жены Гальперина. Их свадьба состоялась осенью того же года. КГБ пыталось выяснить, каким образом брат жены Петра Полонского, родного брата Лены, известного еврейского активиста и преподавателя иврита, сбежал из Советского Союза и оказался в Швеции. В случае отказа Вите пригрозили серьезными последствиями. Витя отказался, и угроза приняла реальный характер.

Драматизм заключался в том, что над Витей нависла угроза попасть в тюрьму: после исключения из университета следовал призыв на службу в армию, служить в которой Витя не мог по религиозным причинам.

Первая попытка сдать дискретную математику окончилась ожидаемой двойкой, и тогда возник тандем - мама Вити Лариса Гальперина и я. Лариса ходила на приемы к декану мехмата О.Б. Лупанову, в Московский городской комитет КПСС, в Министерство высшего образования, приносила полученные ответы и даже магнитофонные записи своих разговоров, а я сочинял очередное обращение. Во всех инстанциях сначала говорили, что происходящее с

Витей невозможно. Но после контактов с МГУ везде отказывались вмешиваться во "внутренние дела университета". МГУ был "государством в государстве".

Несмотря на бесплодность Ларисиних походов, я решил, что шум поднят достаточно большой и можно попробовать сдать требуемый экзамен. Витя попробовал и снова получил двойку от той же пары. Пришла моя очередь обсудить сложившуюся ситуацию с людьми, способными дать полезный совет. Сначала я встретился с широко известным математиком Роландом Львовичем Добрушиным. Еще в 1956 году, когда я был первокурсником, он произвел на меня сильное впечатление публичной яркой защитой своего дипломника Михаила Белецкого, которого тоже исключили из университета с пятого курса. Он расценил дело Гальперина как безнадежное. Затем я встретился с Софьей Васильевной Калистратовой, прославившейся на всю страну своей защитой известных диссидентов. Во время нашей беседы она непрерывно курила, подробно расспрашивая о всех деталях. Ее вердикт был категоричен и неутешителен – дело безнадежно.

Не получив совета, я составил письмо, адресованное Ю.В. Андропову, в котором после изложения сути дела сделал акцент на морально - этической стороне предложения, сделанного Гальперину и закончил обвинением сотрудников КГБ в злоупотреблении служебным положением. Это письмо Лариса отправила телеграммой с Центрального телеграфа в Москве. Она рассказывала, что у телеграфистки, печатавшей текст, глаза полезли на лоб. Письмо было отправлено 30 апреля 1983 года.

Через десять дней без десяти одиннадцать вечера в моей квартире раздался телефонный звонок. Перепуганная Лариса звонила из телефонной будки: "Миша, мне только что звонили из КГБ. Они вызывают меня на завтра на 10 часов утра в приемную на улице Дзержинского. Что мне делать?" Тут я должен сказать, что все эти месяцы Лариса поразительно точно все запоминала и безукоризненно выполняла все инструкции, несмотря на то нервное напряжение, в котором была все это время. Я ответил: "Не вступайте ни в какие дискуссии и повторяйте то, что написано в письме, поскольку сотрудники КГБ предъявили свои документы". Обычно посетителей приемной КГБ принимали на первом этаже, но Ларису сразу отправили на второй этаж, где ее встретили два чиновника в штатском. Представившись только по имени и отчеству, без званий и должностей, они пригласили ее в кабинет и стали убеждать в том, что КГБ не имеет никакого отношения к делу ее сына и что это внутреннее дело университета. Она же продолжала настаивать на том, что именно КГБ реализует свою угрозу. Беседа продолжалась часа полтора и закончилась без каких бы то ни было договоренностей. Однако через день мне стало известно, что два полковника КГБ длительное время провели в кабинете декана мехмата, и тогда я разрешил Вите предпринять третью попытку сдать навязанный ему экзамен. Он сдал дискретную математику с оценкой, которую за прошедшие с той поры годы никто не сумел угадать: в отрывном листке было написано "удовлетворительно с минусом". Но все-таки мы победили.

За дипломную работу, написанную под руководством выдающегося математика Юрия Ивановича Манина, Гальперин получил пять, за итоговый экзамен по математике тоже пять, а за экзамен по научному коммунизму, к которому его не допустили в феврале, тройку. Затем его исключили из комсомола, но распределили на работу в Кардиоцентр, куда его не приняли опять-таки из-за национальности.

Замечу, что все время Витя чувствовал поддержку своих однокурсников, его студенческая группа проголосовала против исключения Вити из комсомола. Пострадавшими в этой истории оказались Манин и его лучшие ученики: к Манину перестали брать в аспирантуру.

В 1985 году благодаря КГБ в нашу жизнь вошло еще одно семейство. В январе нам позвонили незнакомые люди и попросили о встрече, сославшись на Лену Рубинчик. Разумеется, мы согласились их принять и таким образом познакомились с Григорием Максимовичем Фридлидером и его женой Верой Александровной Дрезниной. Оба оказались талантливыми и очень деятельными людьми, надолго вошедшими в нашу жизнь. Но это выяснилось позже, а сначала мы выслушали романтическую историю, возможную только в странах с тоталитарным режимом. У их сына Сергея Дрезнина возник роман с корреспонденткой американского агентства Ассошиэйтед Пресс Алисон Смейл, которую советская пресса обвиняла, в частности, в содействии побегам из страны. Сережу вызвали в КГБ и потребовали участия в слежке за Алисон. Сережа не мог согласиться на слежку за своей будущей женой – к этому времени они уже решили пожениться. Родители пришли к нам за советом по рекомендации наших друзей.

Сначала я не хотел вмешиваться в трудную ситуацию, так как ничего не знал о посетителях и по опыту знал, что обычно многое бывает не досказанным. Я не хотел давать повода сотрудникам КГБ допрашивать меня о незнакомых людях, не сомневаясь в том, что за родителями тоже следят. Но буквально через несколько дней Вера Александровна пригласила нас на "капустник" в Дом ученых. Капустник организовывался Московским отделением союза художников, а Дрезнина, известная портретистка, была членом правления отделения и одним из организаторов мероприятия. Кроме того, ее сын Сережа учился в аспирантуре у композитора Хренникова, будучи одновременно пианистом и композитором. Маша пошла в Дом ученых одна и вернулась домой в сильном возбуждении. Она стала убеждать меня в том, что я должен посмотреть на Сережу. В итоге мы познакомились не только с Сережей, но и с группой молодых талантливых музыкантов, которые в разных залах Москвы исполняли первые Сережины рок-оперы "Офелия" и "Пир во время чумы". И тогда я стал давать молодой паре некоторые советы, осознавая, что приход Горбачева к власти и предстоящий визит в Москву Тэтчер сильно упрощают ситуацию: будучи американской корреспонденткой, Алисон была и остается подданной Великобритании. Зарегистрировать брак с иностранцем можно было только во Дворце бракосочетаний. Ждать даты регистрации надо было месяца два. Тем самым скрыть подачу заявления от бдительных органов было невозможно.

Но ожидание приближало намеченный визит и уменьшало шансы на непредвиденную пакость. Поэтому я посоветовал Сереже и Алисон на некоторое время разбежаться после подачи заявления, что и было сделано. Тем не менее два курьеза нас все-таки поджидали. Сначала Сережа позвонил мне откуда-то из провинции и сообщил, что потерял паспорт. Я был в шоке, решив, что паспорт у него сознательно украден. Но через день паспорт нашелся. Затем пришла Алисон и сказала, что по английским законам сообщение о ее предстоящем браке должно висеть в посольстве на доске объявлений три недели, и, конечно, обслуживающий персонал посольства сразу сообщит об этом куда следует. Я рекомендую поговорить с послом, а она объясняет мне, что посол трус и дурак. На ее счастье посол куда-то уехал, а первый консул нашел мудрое решение: объявление повесили под старые давно висевшие объявления. В итоге бракосочетание прошло без осложнений, родители Алисон и ее младшая сестра смогли приехать на свадьбу, состоявшуюся в Архангельском.

Биография отца Сережи Григория Максимовича была необычной. В конце сороковых годов, будучи молодым морским офицером, он начал заниматься радиолокацией под руководством адмирала А.И. Берга, бывшего к тому же академиком. В 1950 году, собираясь в отпуск и приводя свои бумаги в порядок, он случайно уничтожил документ с грифом "секретно", о чем немедленно сообщил непосредственному начальнику. Тот не придал инциденту особого значения, сказав: "Напиши рапорт и поезжай в отпуск". Но именно в это время в армии началась кампания по проверке соблюдения правил работы с секретными документами. Рапорт Фридлидера был обнаружен, его предали военному суду, разжаловали и приговорили к тюремному заключению. Однако Берг как командующий Балтийским флотом добился отмены приговора, и Гриша вернулся на корабль. Но проверявшие органы, недовольные отменой приговора, добились повторного рассмотрения дела, и на этот раз Гриша попал в знаменитую шарашку, описанную в "Круге первом". Там он пробыл два года, и после смерти Сталина был выпущен на свободу, но вернуться к прежним занятиям ему не позволялось. Когда мы с ним познакомились, ему было 62 года, он работал в Институте машиноведения АН СССР, был кандидатом технических наук и завершал подготовку докторской диссертации. Ее тема была близка научным интересам Роберта. Я устроил их встречу, после которой Роберт высоко отозвался о Гришиных результатах. Диссертация была успешно защищена, во время защиты Ученому совету была предоставлена справка о том, что работы диссертанта принесли 350 миллионов рублей прибыли. Занятия наукой не мешали Грише сочинять стихи, выступать в роли аккомпаниатора и прекрасно танцевать, как и полагалось морскому офицеру. Во время августовских событий 1991 года Сережа написал шлягер на слова отца, исполненный на грузовике около Белого дома.

В 1986 году Алисон перевели на работу в Вену, где она стала руководить восточноевропейским бюро АП. Однако осенью 1988 года советские власти не разрешили Сереже выехать на постоянное жительство к жене. Родители беспокоились, что его заберут в армию, поскольку в консерватории не проходили военную подготовку. Гриша с

Сережей пришли к нам за советом, и я написал от их имени письмо, адресованное тогдашнему секретарю МИД Герасимову. Гриша отнес письмо в министерство, и результат превзошел все ожидания – Сережа получил визу, датированную первым января 1989 года, когда во всем мире все учреждения закрыты. Многие невозможно объяснить в истории великой страны, мгновенно исчезнувшей с политической карты мира.

В восьмидесятые годы продолжалось мое знакомство со странами Восточной Европы. Я по три раза побывал в Чехословакии и в Венгрии, по разу в Польше и Болгарии. Мы с Машей влюбились в Прагу, пройдя через все ее туристические достопримечательности. Кроме Праги, мы побывали в Брно, Братиславе, Аламоуце, Карловых Варах и даже в моравской деревне Грушки, где жила мать Ани. В Грушки мы попали на день святого Варфоломея, когда отмечают день урожая. Утром население деревни отправилось в церковь в праздничных национальных одеждах, а вечером все собрались на танцевальной площадке. Из соседних деревень стали приезжать телеги с молодыми парнями. Согласно ритуалу в соседние деревни на танцы едут только представители мужского пола. Сидя рядом со мной, Милан тихо сказал: "Миша, я вернулся, потому что без этого я не могу жить".

К сожалению, через два года Милан умер, Аня приезжала к нам в гости со своим третьим сыном. В 1988 году мы, приехав на конференцию в Прагу, посетили могилу Милана в Грушках. Во время проведения конференции исполнилось двадцать лет со дня вторжения советских войск в Чехословакию. В Праге проходили многотысячные демонстрации. Вечером мы пошли посмотреть на происходящее на улицах, и на Вацлавской площади столкнулись с Сережей и Алисон, служебные обязанности которой требовали ее присутствия в Праге в те дни.

Только две поездки были не связаны с конференциями, во время отпусков мы встречались с Машиной сестрой Наташей в Польше в 1987 году, а в следующем году в Будапеште перед поездкой в Прагу. Дни нашего пребывания в Варшаве совпали с какой-то годовщиной, когда зажигались свечи на могилах погибших во время войны. На кладбище мы были потрясены, увидев, что на могилах солдат Народной армии (армии Людовой), поддерживавшей Советский Союз, почти не было зажженных свечек, а почти на всех могилах солдат бывшей польской армии (армии Крайовой) горели свечи. Из Варшавы мы поехали в Гданьск к Люсе, жене Феди Варпаховского, которая сохранила и польское гражданство, и квартиру в Гданьске. Все жители Гданьска только и говорили о событиях на верфи и о Лехе Валенсе. Люсина дочь Аня изучала английский язык и какое-то время была у Валенсы переводчицей. Люся возвращалась в Москву через несколько дней после нашего отъезда. Случилось так, что в Гданьске она оказалась в одном купе с Валенсой. Сначала в купе была напряженная атмосфера, так как во время посадки произошла стычка между агентами польской службы безопасности и провожавшими Леха людьми. Но постепенно попутчики разговорились, Лех узнал, что Люсина дочь была его помощницей, стал интересоваться ее жизнью в Америке и на прощание подарил Люсе несколько своих фотографий, включая ту, на

которой он был снят вместе с папой Иоанном-Павлом II. В разговоре Люся поинтересовалась мнением Валенсы о событиях в Советском Союзе и получила остроумный ответ: "Я старый слесарь и знаю, что когда ржавую гайку закручивают, то ничего не произойдет, но когда ржавую гайку откручивают, никто не знает, что может случиться".

В августе следующего года Маша, Аня, Наташа и я встретились в Будапеште, где частную квартиру для нас снял известный венгерский логик Томаш Гергей. Я уже ориентировался в Будапеште, так как в мае 1986 года по приглашению Томаша читал лекции в институте, где он руководил лабораторией, и сделал доклад в Венгерской академии наук. В 1986 году Барбара жила в Будапеште и часто сопровождала меня. Во время нашего пребывания стояла прекрасная погода, мы много гуляли, ходили на пляж, один раз купались в знаменитых будапештских бассейнах и дегустировали венгерскую кухню. С музыкальной жизнью Будапешта я познакомился раньше, когда вместе с Барбарой впервые слушал симфонии Малера, мессу Листа в церкви Матиаша и "Страсти по Иоанну" Баха. Проводив Наташу в Нью-Йорк, Аню в Москву, мы отправились в Прагу, где мы жили в университетском общежитии. На конференции я снова встретился с Маклейном и познакомился с Питером Джонстоном из Кембриджа. Судя по отзывам, мой доклад понравился, и через два года, уже в другое историческое время, Питер пригласил меня в Кембридж.

Наша вторая дочь Аня тоже решила поступать на мехмат, окончив в 1986 году известную математическую школу # 57. Несмотря на замечательные успехи своих учеников, в школе установилась странная традиция не выдавать медалей. Аня не была исключением, но в ее аттестате зрелости по основным предметам стояли пятерки. По-видимому, в тот год была изменена технология отсева нежелательных абитуриентов, что позволило Ане получить одну из 13 пятерок, выставленных на письменном экзамене по математике. Общее число абитуриентов было порядка 1000 человек. Казалось, что самое страшное позади.

Однако еще многие годы на мехмате нельзя было расслабляться до объявления результатов приема. На устном экзамене Аня провела в аудитории, в которой шел экзамен, более шести часов, войдя туда одной из первых и уйдя последней. Все это время я ожидал свою дочь в вестибюле главного здания МГУ. Прождав часа четыре, я попросил все того же неизменного Юру Тюрина, ныне профессора кафедры теории вероятностей, заглянуть в аудиторию и выяснить, что происходит с Аней. Выполнив мою просьбу, Юра удрученно сообщил, что Аню экзаменует известный специалист по "отсеву" Пасюченко, сотрудник кафедры первого проректора МГУ В.А.Садовниченко. Вопреки правилам приема устных экзаменов Пасюченко отпустил Аню только тогда, когда она не решила очередную задачу и поставил тройку, добавив при этом, что и письменная работа не так уж хороша.

На подачу апелляций абитуриентам было предоставлено время до пяти часов. Так как у нас оставалось минут сорок, то мы в спешке сочинили текст, не оставивший никакого следа в моей памяти, и успели подать протест. В пять часов апеллирующих абитуриентов заперли в

небольшой аудитории, закрыв дверь снаружи стулом, вставленным в наружные дверные ручки. В коридоре была выставлена комсомольская охрана, члены апелляционной комиссии спрятались от негодующих родителей, тогдашний секретарь парткома МГУ И.И. Мельников лично проверял, что к запертым абитуриентам нет доступа. В результате мы с ним столкнулись около аудитории, в которой находились апеллянты. Мельников сердито спросил меня, что я тут делаю. В ответ я в резких выражениях объяснил ему, что как член Московского математического общества имею право наблюдать за творящимся на глазах родителей, студентов и абитуриентов беззаконием. Изумленная комсомольская охрана наблюдала за побежавшим от меня Мельниковым.

После пяти часов вечера мы с Борей Гуревичем, бывшим моим сокурсником, стали разыскивать В. Оселедца, сын которого учился с Аней в одном классе и получил двойку на устном экзамене, ибо на мехмате не любили не только евреев, но и выпускников школы #57. С трудом отыскав Оселедца и вызвав его в университет, мы объяснили ему его задачу – втолковать членам апелляционной комиссии, что его сын не является евреем. В 1986 году Гуревич и Оселедец уже были известными математиками, ныне оба являются профессорами и недавно вместе со Степным получили премию Колмогорова Российской академии наук.

Рассмотрение апелляций началось только после девяти часов вечера. Анину апелляцию отклонили, но сыну Оселедца поставили тройку вместо двойки. За сочинение Аня получила четверку, но в тот год выпускникам математических школ добавляли, два балла, и с 14 баллами из 15 возможных она поступила на мехмат. В 1986 году много нежелательных абитуриентов получили двойки за сочинение. В эту группу попал сын моего самого давнего друга, а ныне члена-корреспондента РАН Роберта Гольдштейна. Мама, работавшая на филологическом факультете МГУ, постеснялась заступиться за собственного сына, не вняв моей настойчивой рекомендации ознакомиться с его сочинением.

Последний раз я оказался вовлеченным в события, связанные с поступлением на мехмат евреев, в 1988 году. О них достаточно подробно рассказано в моей статье "Факты, о которых предпочитают не вспоминать". Поэтому здесь я ограничусь описанием дополнительных деталей. В мае 1988 года в бывшем Советском Союзе отмечалось тысячелетие крещения Руси, и в Москве поползли слухи о возможных погромах и поджогах синагог. Обеспокоенная этими слухами, Светлана Алексеевна Ганнушкина, известная правозащитница, ныне руководитель гуманитарной организации "Гражданское содействие" и обладатель международных премий за гуманитарную деятельность, написала письмо в Московский горком КПСС с призывом принять необходимые меры предосторожности, чтобы избежать возможных проявлений националистического экстремизма. В ответ ее пригласили в горком партии, и она предложила мне пойти вместе с ней. Во время беседы с инструктором горкома С.Е. Моргуновым мы говорили о том, что проявления шовинизма и неонацизма во многом вызваны многолетней дискриминационной политикой в отношении евреев и некоторых других

национальных меньшинств. Наиболее наглядно эта дискриминация проявляется на вступительных экзаменах в вузы, поскольку она принимает массовый характер. Мы отметили, что в зарубежной прессе опубликовано много статистических данных о вступительных экзаменах на мехмат МГУ, и предложили проверить эти данные. Разумеется, что Моргунов не имел ни желания, ни полномочий предпринять какие бы то ни было конкретные шаги, и наша встреча оказалась бесполезной. Тогда мы отправили коллективное письмо секретарю ЦК КПСС А.Н. Яковлеву и в Государственный комитет по народному образованию с просьбой предотвратить повторение дискриминации при приеме в вузы и, в частности, на мехмат. Опять наш голос не был услышан, опять появились апелляции, и впервые в МГК состоялась встреча представителей горкома и Ленинского райкома КПСС, ректората МГУ, родителей, подавших апелляции, и их защитников В.А. Сендерова, прошедшего шесть лет в лагерях за борьбу против дискриминации евреев, А.А. Шень, известного специалиста по математической логике, много лет работавшего в школе #57, Ганнушкину и меня. В начале Шень подверг критике существовавшую систему приема в вузы, позволявшую фальсифицировать результаты экзаменов. Принимающая сторона проявила готовность рассматривать предложения по совершенствованию системы приема, но категорически отказывалась признать факт проведения дискриминационной политики. Тогда я кратко рассказал историю поступления на мехмат моей старшей дочери и попросил Максимова, бывшего в то время помощником Садовниченко, дать объяснение этой истории. Максимов слова не получил, поскольку встреча была немедленно прервана.

Через несколько дней была написана упомянутая выше статья, но российские средства массовой информации отказались ее публиковать, сочтя ее несвоевременной. Я не знаю, когда в России не будет места ни великодержавному шовинизму, ни агрессивному местному национализму, и проблема защиты конституционных прав граждан потеряет свою актуальность.

В 1985 году страна вступила в перестройку, и ВНИИДАД тоже стал меняться, но к худшему. Сначала сменили Курантова на абсолютно бессмысленного Чугунова, при котором Автократов утратил всякое влияние, затем ушел Голосов, найдя более престижное место в финансовом институте, наш отдел преобразовали в лабораторию, назначив меня вместо Голосова, и в довершение ко всему в институте стали появляться совсем неприличные люди, представлявшие себя специалистами в области вычислительной техники. В конце пятилетки была введена в строй система обработки статистической информации, которая подвела итоги пятилетки в государственных архивах. Когда я показал отчет Чугунову, он просто сунул его в стол, не поглядев. Начальник Главного архивного управления Ф.М. Ваганов поглядел и обнаружил, что Украина по ряду показателей план не выполнила. Тогда он собственноручно передвинул десятичную запятую направо, поправив компьютер. Тем самым он оказал услугу своему приятелю начальнику архивного управления Украины.

В нашем старом убежище ВГПТИ тоже происходили перемены, и Голосов посоветовал новому директору позвать нас обратно. Я получил соответствующее приглашение, и при полном согласии сотрудников мы вернулись в ВГПТИ, не взирая на вопли Чугунова и к радости наших прежних сослуживцев. Но, как говорили древние греки, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Пока мы готовили трехтомный отчет о принципах интеграции подсистем системы государственной статистики, в институте опять сменился директор, институт непомерно разросся, переехал в новое здание, мы потерялись в хаосе перемен. О содержательных вещах не с кем стало разговаривать. Внутри нашей группы тоже наметились перемены. Юра Размыслов ушел на работу в МГУ, куда его пригласил мой прежний друг Михалев, ставший одним из проректоров университета. Витя Васильев начал сотрудничать с Гельфандом, написав при этом математически сложный третий том нашего отчета. Когда я обсуждал с ним постановку задачи, то не мог вообразить, что результат мне будет трудно понять. Лена Кондратьева собралась уезжать, и надо было всерьез думать о будущем. Но думать мне не пришлось, за меня подумал Виктор Константинович Финн.

Финн много лет по совместительству работал в Московском государственном историко-архивном институте (МГИАИ) на факультете научно-технической информации. Он сумел убедить нового ректора института Юрия Николаевича Афанасьева в том, что институту необходима кафедра математики и предложил мою кандидатуру в качестве заведующего кафедрой. Я был представлен Афанасьеву, конкурс был объявлен, и 31 августа 1988 года, когда мы возвращались из Праги, встречавшая нас Аня сказала: "Ты домой не едешь. Ты едешь в историко-архивный институт на заседание Ученого совета, где ты проходишь конкурс. Кроме того, горком партии дает номер нашего телефона родителям, подавшим апелляции во время вступительных экзаменов в МГУ. В горкоме ждут твоего возвращения, чтобы назначить дату встречи с родителями". В этот день закончилось для меня время перемен.



(продолжение следует)

Лорина Дымова

Как я работала инженером



ам, наверное, трудно этому поверить, но когда-то – тут хочется сказать "на заре туманной юности", но точнее будет "на заре туманной молодости", потому что было это сразу же после моего окончания института, – работала я в почтовом ящике. И тут для забывчивых или чересчур молодых (хотя бывает ли "чересчур"?) необходимо разъяснение. Почтовым ящиком в те времена назывался не только почтовый ящик, а еще и какой-нибудь научный институт или завод, где делали что-то важное и секретное, хотя важное и не всегда (часто вообще ерунду какую-нибудь), а вот секретное – непременно: чтобы враги не догадались, что производят на этом объекте сущую ерунду. И принимали на работу в почтовый ящик не абы кого, а только надежных людей, которые и под пытками не выдадут секретов родного учреждения. Сначала их, конечно, проверяли: ну скажем, нет ли у них, родственников за границей (а то, не дай бог, напишет такой работник письмо какой-нибудь кузине, проживающей на капиталистическом западе, а в письмецете, бац, и как раз секрет). Еще не приветствовалось знание иностранных языков, поскольку к этому времени Москва уже кишмя кишела иностранцами и предать родину была пара пустяков. Конечно, возникал вопрос: а как же, не зная языков, узнавать про вражеские секреты и знакомиться с их достижениями. "Что надо, вам переведут", - сухо ответил мне сотрудник первого отдела (тут опять неплохо бы объяснить, что это за отдел, но скажу в двух словах: отдел, в котором работали еще более проверенные люди, наблюдающие за менее проверенными – чтобы те, неровен час, не сболтнули ничего лишнего). Родственников за границей у меня не было, с иностранными языками дело тоже обстояло хорошо: я их не знала, к тому же я была молодым специалистом, что приветствовалось, так что по прошествии нескольких недель я была принята в почтовый ящик на должность младшего инженера.

Тревожной была ночь накануне моего первого рабочего дня, и сравнить ее я могу только с тем, как я не сомкнула глаз перед самым первым моим первым сентябрю. Беспокоило меня, а смогу ли я соответствовать институту (научному!), в котором мне предстоит работать, справлюсь ли?

Но довольно скоро стало понятно, что беспокоилась я напрасно, могла спать спокойно. Справляться было не с чем, и вначале я испытывала даже недоумение, что вот прошло уже несколько дней, потом

несколько недель, а мне фактически никакой работы так и не дали. А я была молода, нетерпелива, жаждала подвигов и открытий (научных), и поэтому после нескольких моих заходов к начальству, начальник, наконец, придумал мне работу: я должна буду измерять вязкость расплавленного кремния, хотя измерять пока было не на чем, наша лаборатория еще только заказала установку для экспериментов, и теперь ее должны были разрабатывать, а потом монтировать, что занимает несколько месяцев (или лет), а я за это время должна была прочитать все, что есть в научной литературе о вязкости кремния. Мало того, мне даже дали собственного лаборанта, который должен был помогать мне в моих трудах. После того, как обнаружилось, что статей на интересующую меня тему не так много, а те, что есть, в основном на английском, энтузиазм мой погас, чему, как выяснилось, трудовой коллектив лаборатории были несказанно рад: моя бурная деятельность слишком контрастировала с общим ничегонеделаньем, и у народа появилось опасение, как бы начальник не встрепенулся и не придумал для них работу тоже. Был у меня еще один рыбок: я отправилась в первый отдел, где хранились производственные секреты государственной важности, собираясь ознакомиться с закрытой, секретной литературой по своей теме. Я расписалась в специальной тетради, что соответствовало клятве ни при каких обстоятельствах никому не сообщать того, что прочту, и получила разрешение войти в святая святых. Главный секрет, который я почерпнула из прочитанного, заключался в том, что английские тигли для плавки кремния, оказывается, значительно превосходят наши ну буквально по всем параметрам: они и прочнее, и надежнее, и легче. Других секретов в секретной литературе я не нашла, и теперь нарушаю данную клятву лишь потому, что за почти полвека, прошедших с той поры, наши, русские, тигли, не сомневаясь, не только догнали по качеству английские, но и перегнали.

После того, как я перестала рваться на баррикады, трудовой коллектив расступился и принял меня в свои ряды, я стала равной среди равных. Наконец, я посмотрела вокруг и увидела, представьте себе, – жизнь. Многогранную, загадочную, часто необъяснимую, но мои новые подруги, чтобы я как можно реже попадала впросак, объяснили мне самое главное: кто с кем и в какой степени. Какие вопросы можно задавать начальству, а какие ни в коем случае. Какого типа женщины нравятся самому начальнику и какие его заместителю. Какие магазины находятся неподалеку от нашего учреждения, и где что стоит покупать. Они научили меня, как в рабочее время проходить через проходную, что говорить вахтеру, но посоветовали этим не злоупотреблять и прибегать к этому только в самых экстраординарных случаях, например, когда в гастрономе дают сосиски. Посоветовали наладить отношения с Фридой, распределяющей театральные билеты. Это была сложная наука и, чтобы освоить ее, понадобился не день, не два, а довольно долгое время, но, как я уже говорила, напрасно я не спала первую ночь, я – справилась. С моим лаборантом Женей мы очень быстро стали приятелями, благо были примерно одного возраста. Частенько ходили вместе обедать, я была в курсе его ранней семейной жизни, давала советы, помогала купить для его жены Розы подарок к новому году. Он тоже помогал мне, как мог,

ремонтировал домашние вещи: утюг, часы. Словом, работали мы душа в душу и вместе оборонялись от нашего начальника, который, демонстрируя своему начальству горение на работе, иногда устраивал в лаборатории "запорожскую сечь". Начальник очень не одобрял мою с Женей дружбу и призывал меня "сохранять дистанцию", необходимую для отношений начальника и подчиненного, одновременно пытаясь сократить дистанцию между собою и мною, противореча собственным же декларациям. Мои подруги по лаборатории понимающе улыбались и советовали мне не тушеваться и держаться твердо, объяснив, что такие испытания проходят все новенькие, и те, кто не может устоять перед притязаниями начальства, после короткого периода процветания бывают вынуждены уволиться, поэтому-то мое место и оказалось вакантным.

И потекла жизнь.

Главное было не опоздать на работу ни на секунду: в проходной всегда стоял сотрудник отдела кадров с листочком бумаги, куда записывались фамилии тех, кто не успевал проскочить мимо вахтера до половины девятого. Этим горемык ожидали санкции в виде проработки на собрании, выговора и даже лишения квартальной премии. Вижу недоумение в глазах моих внимательных читателей: а это еще что за фрукт? Объясню. Раз в три месяца сотрудники лаборатории получали хоть и смехотворно маленькие, но все же дополнительные деньги в качестве награды и поощрения за отличную работу. Прощтрафившиеся же сотрудники премии лишались, что было большой неприятностью, поскольку эти дополнительные деньги уже давно были включены в бюджет семьи, и на них предполагалось купить кому-то из членов семьи ботинки или брюки.

Проскочив в 8 часов 29 минут по московскому времени через проходную, я уже не спеша шла через двор к своему корпусу, то и дело застревая по дороге, чтобы обменяться новостями с тоже никуда не спешащими сотрудниками. В лаборатории я вытаскивала зеркальце, расческу, помаду и долго и вдумчиво начинала наводить красоту. Как, впрочем, и вся остальная женская часть лаборатории. В это время лучше было ни к кому не соваться со своими делами, тем более с производственными. Через полчаса я доставала "материалы по своей теме" – журналы, книги – и начинала их изучать, пряча под бумагами книжку (как когда-то в школе), которую не успела дочитать дома, или тетрадь со стихами, а если начальства не было в лаборатории, то и не пряча. Хотя, когда руководство отсутствовало, находились дела и поважнее: надо было переснять выкройку платья или померить блузку, которую только что купила какая-нибудь сотрудница, и если понравится, бежать за такой же в универмаг.

В одиннадцать я шла за кефиром, который сотрудникам выдавали "за вредность". Дети наших сотрудниц были уверены, что их мамы работают среди вредных людей (что подтверждали рассказы мам о начальнике), и кефир на работе дают вместо лекарства, чтобы эта самая вредность меньше портила здоровье.

После кефира ждать обеда оставалось меньше двух часов, что было, прямо скажем, по-божески. Это был единственный период, когда я

делала что-то по работе: читала статьи или шла в конструкторское бюро узнать, как движется работа по моей установке. Постепенно у меня завелось там, вне нашей лаборатории, много друзей, что тоже украшало жизнь.

Обеденный перерыв в институте – это отдельная песня. Песня счастья. Очередь к раздаче была не в тягость, и называлась она "встреча друзей", поскольку это была единственная легальная возможность встретиться с приятелями и знакомыми из других лабораторий, от которых мы узнавали их новости и делились своими. Очередь была также местом встреч влюбленных, разбросанных безжалостной жизнью по разным отсекам института, и наблюдение за этими встречами ничуть не уступало по занимательности просмотру захватывающих фильмов. Одним из обеденных удовольствий было чтение меню, висящего возле раздачи, в котором попадались блюда, доставляющие истинную радость еще до того, как их попробовали. Таковыми были "бульон мясной-мясной" или "сом в интересном гарнире". Потом, правда, выяснялось, что интересный гарнир представлял собой всего лишь перловку и вареную свеклу, вместо обычных макарон, но это уже не имело значения, поскольку удовольствие было получено еще при чтении. Сначала меня удивляла непреклонность раздатчиц, отказывавшихся давать человеку одновременно, скажем, холодный борщ и рыбное второе, но потом мне объяснили, что таким образом проявляется забота администрации о сотрудниках, вернее, об их желудках. "Не сочетается", - сухо бросала раздатчица и ждала, когда несмышленный научный сотрудник придумает другое сочетание первого и второго. О самом обеде из четырех блюд, включающем винегрет на закуску и компот на десерт, говорить не буду, поскольку все это заглатывалось мгновенно и не только по причине голода, но и из-за желания выкроить себе хотя бы минут двадцать обеденного времени, когда можно было понежиться на солнышке во дворе института и поговорить за жизнь, не прячась от всевидящего ока начальства. Мы наизусть знали те пункты трудового законодательства, в которых говорилось о незыблемом праве трудящихся на отдых во время обеденного перерыва. За эти двадцать минут происходило многое: завязывались романы, строились планы на будущее, принимались решения, куда и, главное, с кем поехать в отпуск – тут я остановлюсь, иначе мое повествование слишком затянется, а обеденный перерыв, увы, подходит к концу. Однако до конца рабочего дня остается не так уж много времени и его можно как-нибудь перетерпеть, составляя список покупок по дороге домой и обязательных вечерних дел. Начальство после обеда тоже становилось вялым и ни на кого не обращало внимания. Это доказывало, что начальники тоже люди, которым после еды хочется вздремнуть и которые тоже с нетерпением ждут конца рабочего дня.

И он наступал – конец рабочего дня! Звенел звонок, сотрудники чуть ли не бегом устремлялись прочь, на волю, на свободу, и через три минуты не оставалось ни души сначала в лаборатории, а вскоре и во всем институте. Было непонятно, откуда берется в определенные моменты у нашей крошечной проходной такая гигантская проходная способность. Хотя... Вахтер ведь тоже человек, и ему тоже хочется домой.

И все-таки... Не могу объяснить, каким образом это произошло, но что было, то было! Через восемь месяцев агрегат для измерения вязкости кремния был установлен в нашей лаборатории (забегая вперед, скажу, что из-за этих восьми месяцев и некоторых особенностей установки ее называли недоношенной). Но так или иначе железное чудовище красовалось посреди моей комнаты, и на нем даже можно было работать! И это несмотря на то, что энтузиазм сотрудников конструкторского бюро и тех, кто делал такие железные игрушки, мало отличался от нашего. Но факт остается фактом: я приступила к работе.

Принцип измерения вязкости расплавленного вещества был прост. Тигель с расплавленным кремнием прямо в печи раскачивался, как маятник. К тиглю было прикреплено освещенное зеркальце, и по амплитуде раскачивания можно было судить о том, как различные добавки изменяют эту самую амплитуду, а значит и вязкость. Плавкой кремния занимался мой лаборант Женя, а в мою обязанность входило сидеть в темноте и измерять по шкале амплитуду колебаний, а потом составлять графики и делать выводы. Работка была, прямо скажем, непыльная, мне она понравилась, и дело пошло. Особенно хорошо работалось в первой половине дня, а вот во второй, после обеда, монотонное качание светящегося зеркальца в полной темноте навевало сон. Работа показалась мне вполне осмысленной, к тому же мой начальник пел мне в ухо, что на такой установке я смогу защитить кандидатскую диссертацию, а может быть даже (чем черт не шутит!) и сделать научное открытие. Перспектива вдохновляла!

И день за днем, неделя за неделей я записывала длину прыжков моего зеркального зайчика, скачущего туда-сюда, пока у меня не накопилось бесчисленное количество таблиц и графиков. Выглядели они внушительно, однако как только я приходила к выводу, что добавка железа увеличивает вязкость кремния, следующий же график это опровергал, уверяя меня, что именно из-за железа кремний становится менее вязким. Все было замечательно, кроме того, что воспроизводимых результатов не получалось, хоть убей!

Начальник тоже был расстроен – судя по всему, у него были собственные планы, связанные с установкой, и несколько раз он обмолвился, что в его возрасте быть кандидатом наук неприлично, но теперь-то докторская на мази. Снова и снова я проводила эксперименты, но разброс результатов был так велик, что никаких выводов сделать было невозможно. По-видимому, я и до сегодняшнего дня тупо сидела бы в темноте и ловила зайчика, если бы мой начальник в один прекрасный день не сказал мне, что пора закругляться, нужно взять средний результат из всех полученных и провести еще несколько замеров, которые должны будут его подтвердить. Причем сделать это надо в течение двух-трех дней, поскольку через две недели в Запорожье состоится научная конференция, где я как молодой специалист должна буду сделать доклад о новом методе измерения вязкости кремния. Услышав это, я потеряла дар речи. Научная конференция? Доклад? Молодой специалист? И все это про меня?! И о чем же я буду говорить? О том, что нет никаких результатов?

- Результаты есть, - строго сказал начальник. – Я же вам объяснил, как их получить. А рассказывать вы будете обо всем, что делали, но без заключительного этапа. Вы меня поняли? – последнюю фразу он произнес с нажимом.

Я поняла. И поехала в Запорожье.

Чтобы мне было не так страшно среди научных светил, которых, по словам начальника, там будет пруд пруди, он решил, что со мной на конференцию поедет моя подруга, работающая в нашей же лаборатории, тем более что вот уже месяц, а то и больше, он безрезультатно добивался ее благосклонности, а тут она как раз при нем мечтательно сказала мне: "Эх, мне бы туда! Запорожье это почти юг! Тепло. Фрукты!"

И поехали мы с Региной вдвоем, хотя и с одним докладом, на научную конференцию. Это была моя первая "настоящая" командировка – с жизнью в гостинице, завтраками в ресторане по утрам и всеми остальными атрибутами научной жизни, – и я была чрезвычайно горда и взволнована. Беспокоил меня, правда, предстоящий доклад, хотя я выучила его наизусть, но мой начальник предупредил меня, что мне могут задать какие-нибудь каверзные вопросы, и я трепетала. Однако напрасно. Появление в зале заседаний двух молодых незнакомых женщин было приятным сюрпризом для научных работников, обремененных годами и уставших от одних и тех же разговоров с одними и теми же седовласыми собеседниками. До того, как мы с моей подругой вышли на сцену (она развешивала графики и схемы), в зале стоял гул, похожий на гудение огромного количества пчел, а в глазах публики читалась только тоска. И вдруг!.. Гул мгновенно стих, будто вилку динамика резко выдернули из розетки. Регина, красная от волнения, сошла со сцены, и я начала.

Не соображая, что говорю, я наизусть, как стихок, не прерываясь ни на секунду, выпалила доклад и замолчала, не зная, что делать дальше. Но делать ничего было и не надо. Из вопросов ко мне были лишь: сколько времени проводился эксперимент, какой институт я закончила и в каком году (последний вопрос, я думаю, был задан с целью выяснить, сколько мне лет).

В конце дня, когда подводились итоги, докладчик назвал мой доклад (и эксперимент) одним из самых интересных на конференции, направление исследований – чрезвычайно перспективным, и сказал, что это будет отмечено в материалах по итогам конференции в научном журнале. На банкете, устроенном в честь закрытия мероприятия, мы с подругой были в центре внимания, мне, а заодно и ей, объясняли, как мы талантливы, говорили, что мы надежда отечественной науки и что взаимное сотрудничество необходимо продолжать (короче, как нам можно позвонить). В институт я вернулась победительницей, и даже моя не совсем чистая совесть, напоминая о липовых результатах эксперимента, замолчала.

Хотя вскоре стало ясно, что наша установка никуда не годится и что получить воспроизводимые результаты на ней невозможно, я продолжала ловить в темноте светящийся зайчик, составлять таблицы и передавать их начальнику, твердо намеренному в ближайший год-два защитить по этим результатам докторскую. Наши с ним отношения очень

обострились, он упрекал меня в недостаточном энтузиазме, в скептическом отношении к собственной работе и в том, что я слишком много выписываю для Жени (своего лаборанта) заявок на спирт для чистки установки (как все острили "для промывки оптических осей установки") – мы с Женей давно уже были друзьями, и отказывать ему я была не в состоянии.

С работы я ушла – перешла в другой, аналогичный институт, потом в третий (описывать работу там нет смысла: всё то же самое), пока не стало понятно, что с инженерной работой надо вообще завязывать, тем более что параллельно своим металлургическим мучениям я уже занялась журналистикой, и там кое-что наклеивалось.



Андрей Алексеев

Еще о драматической социологии

**Два научных доклада и одна иллюстрация:
Как Серега был «штрейкбрехером»**



одержании:

= К выходу в свет 4-томника «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия» (2007)

= Драматическая социология и социологическая ауторефлексия (2000)

= Как Серега был «штрейкбрехером» (1982)

= Как Серега был «штрейкбрехером» (окончание) (1982)

= Анри Кетегат: «Все мы, Серега, лошади. Стреноженные. Но ржем по-разному...» (1983)

= Из записей для памяти (1984)

В январе 2007 года (уже и с тех пор шесть лет прошло...) автору книги «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия», тогда недавно вышедшей в свет (2003-2005), довелось делать доклад на Ученом совете Социологического института РАН.

(Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Тт. 1- 4. СПб.: Норма, 2003-2005).

Доклад на Ученом совете СИ РАН 20.01.2007:

К выходу в свет 4-х томника «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия»

(Цит. по: Алексеев А. Н., Ленчовский Р. И. Профессия – социолог (Из опыта драматической социологии: события в СИ РАН 2008 / 2009 и не только). Документы, наблюдения, рефлексии. Т. 2. СПб.: Норма, 2010, с. 140-151).

Уважаемые коллеги!

Как я понял Ирину Ильиничну (*Елисееву. – А. А.*), предложившую мне сделать этот доклад на Ученом совете, моей задачей сегодня является привлечь внимание и способствовать отклику коллег на свою многолетнюю работу, нашедшую наиболее полное отражение в монографии «Драматическая социология и социологическая ауторефлексия». Это объемное произведение, аж в 4-х томах, из которых первые два вышли в свет в 2003 г., а последние два — в самом конце 2005 г., фактически — в 2006-м. Издание предпринято при поддержке

Российского фонда фундаментальных исследований (были реализованы один за другим два так наз. издательских проекта, когда спонсируется не предполагаемое исследование, а издание уже готовой рукописи).

Книга издана петербургским издательством “Норма”, как я считаю, качественно. Тираж, как обычно, в таких случаях невелик — 400 экз. Из них примерно половина распределяется Фондом по университетским и иным научным библиотекам, а другая половина тиража подлежит бесплатному распространению непосредственно нашим институтом.

Что касается внимания и отклика коллег, то автор этим, пожалуй, и так не обделен. Здесь стоит заметить, что нынешней — **итоговой** — публикации предшествовали: (а) издание Институтом социологии РАН авторской монографии “Драматическая социология (эксперимент социолога-рабочего)” (1997) и (б) пилотное издание тома 2 уже нынешней монографии, вышедшее под названием “Год Оруэлла (из опыта драматической социологии)” (2001). Некоторые извлечения из этих изданий в свое время публиковались в журналах “Мир России”, “Звезда”, совсем недавно — в “Телескопе”, кроме того, в виде брошюры — в трудах нашего института. Все четыре тома “Драматической социологии...” (в дальнейшем буду говорить именно так, сокращенно) вывешены на сайтах Киевского международного института социологии, а также Центра демократической культуры Университета Невады (США). В Национальном университете “Киево-Могилянская академия” по этой монографии в 2004 г. читался спецкурс у социологов.

Весь указанный цикл авторских публикаций получил определенную прессу. Первые два тома “Драматической социологии...” были отрецензированы в журналах “Новое литературное обозрение”, “Нева”, в “Социологическом журнале”, более ранние публикации об “эксперименте социолога-рабочего” — в “Социологических исследованиях” (рецензия Ядова), в журнале “Знание — сила”. Тексты практически всех этих “официальных” рецензий, равно как и многих “неформальных” отзывов и откликов были введены автором в состав 3-го либо 4-го томов монографии, иногда с авторскими комментариями и даже полемикой, которую здесь воспроизводить не стану.

Пора уж перейти к предъявлению основного содержания и смысла нашей работы. Но сначала еще несколько слов о ее жанре. Он довольно специфичен.

В отличие от известных канонов научной монографии, эта работа представляет собой *сюжетно выстроенное* произведение, где результаты исследования предстают не как готовые, а как развивающиеся в процессе их получения. Сюжетообразующим элементом здесь является история так наз. эксперимента социолога-рабочего, “наблюдающее участие” социолога в социальных процессах, подлежащих исследованию, будь то освоение нового оборудования на производстве, повседневное трудовое, потребительское и культурное поведение или самооборона от идеологических и политических обвинений (в середине 80-х гг.).

Вся книга являет собой хронологически и тематически упорядоченное собрание, многосложную композицию личных, деловых и

научных документов разных лет. Так наз. протоколы жизни, а именно: дневниковые записи, личные письма, обращения в официальные органы, документы различных социальных институтов и т. д. выполняют здесь функцию *социологических свидетельств*, притом что собственно научный результат может быть как эксплицирован, так и имплицитно отражен, “зашифрован” в авторской организации материала и монтаже “сырых” наблюдений. Это, так сказать, исторический, документальный пласт описания и анализа. Второй же пласт — современные комментарии к этим “исходным”, первичным материалам, обозначаемые обычно как *ремарки* (а в случае объемного комментария — “От автора — сегодня”).

Такой композиционный прием — соединение документальных свидетельств минувшего времени и современных интерпретаций (те и другие строго датированы), своего рода контрапункты индивидуального и социального сознания и поведения почти не имеют прецедентов в нашей научной и философской литературе. (Можно сослаться разве что на очень ценное мною творчество известного российского культуролога и философа Георгия Гачева; например, его книга “Семейная комедия. Лета в Щитово (исповести)”).

Мне хотелось бы также предварить дальнейшее изложение одним резко самокритичным заявлением. Стремясь наиболее полно отобразить не только предмет, но и *контекст* исследования — как исторический, так и личностный, как фактологический, так и концептуальный, в том числе научный контекст, — автор делает это порой в ущерб лаконизму и целостности книги. В частности, так наз. приложения к главам порой перегружены материалом, который сам по себе, может, и небезынтересен, однако не является, так сказать, насущно необходимым. Особенно этим страдают 3-й и 4-й тома.

(В качестве примеров можно привести уместные в данной книге лишь ассоциативно стихи друзей и коллег автора, или, скажем, документально-критические очерки истории нашего института, от 1989 г. до наших дней, и Санкт-Петербургской ассоциации социологов — СПАС — от ее возникновения до сего дня. Зачем включил их в 3-й том? Казалось, что другого случая не будет и никто другой, кроме тебя, этого не сделает).

Вообще, объем всей тетралогии явно выходит за пределы комфортного для читателя. Отчасти автор пытается это оправдать многоадресностью работы, рассчитанной не только на профессиональную аудиторию. Другое оправдание — активнейшее привлечение других авторов, прямых или косвенных *со-участников* описываемых событий или же авторской рефлексии. Только “копирайтов” в этой, в известном смысле *коллективной*, монографии свыше 30, а 4-й том — так просто является тематизированной антологией.

Теперь о самом исследовании. Его начало уходит, так сказать, вглубь прошлого века, к рубежу 1970 - 80-х гг. Может быть, этим началом теперь следует считать в свое время инкриминировавшийся автору опыт андерграундного (как в свое время говорили, “не санкционированного партийными органами и администрацией научного института”), экспертно-прогностического исследования «Ожидаете ли Вы перемен?»

(о котором специально скажу позже). Но, пожалуй, непосредственным зачином был шаг, по сути не исследовательский, а лишь дипломатично интерпретированный как исследовательский. Это своего рода “побег” (помните, у Пушкина — “давно замыслил я побег...”) из официальной науки, экзистенциально мотивированный поиск свободы от жестких идеологических и институциональных рамок, казавшихся тогда мне и некоторым моим друзьям и коллегам (в частности — Ю. Щеголеву; ныне покойному С. Розету; А. Кетегату...) невыносимыми.

Интересно, что остроумно предложенная Ядовым (1979) трактовка перехода “из социологов в рабочие” в качестве “натурного эксперимента”, т. е. как *исследовательского действия*, была не только “инструментально” использована мною, но и органично воспринята, так что социально-познавательный мотив вскоре если не вытеснил первоначальный (экзистенциальный), то, пожалуй, вышел на первый план.

Уже через два года появилась первая научная публикация на темы “экспериментальной” (как я тогда говорил) социологии (Томск, 1982). В большой, подводящей итоги *первых трех лет “эксперимента социолога-рабочего”* статье (написанной в 1983 г., а первопубликация состоялась лишь 6 лет спустя) так определялись задачи изыскания:

«1) Задачи, относящиеся к исследованию системы ныне действующих социальных норм производственной организации; <...>

2) задачи, относящиеся к исследованию соотношения социально-адаптивных и социально-преобразовательных потенциалов личности, возможностей реализации активной жизненной позиции в определенном социально-нормативном контексте; <...>

3) задачи, относящиеся к исследованию возможностей и перспектив направленной коррекции и ныне действующей системы социальных норм, и путей развития личности».

Вполне, можно сказать, в духе научности того времени... Вообще, автор старательно вписывал свой жизненный поворот в контекст популярных в ту пору *исследований образа жизни и социальной активности личности* (чем занимался и научный коллектив, возглавлявшийся Ядовым, к которому автор принадлежал с середины 70-х гг.), Это с одной стороны. А с другой — в русло исследований природы и механизмов *инновационных процессов*, что стало особенно популярным как раз сегодня, а тогда реализовалось Н. Лапиным, А. Пригожиным и другими сотрудниками Института системных исследований (Москва).

В качестве объектов эмпирического изучения автор выделял следующие (цитирую) “доступные нашему наблюдению и составляющие непосредственную сферу ролевого поведения социолога-рабочего инновационные процессы”:

«1) Процесс внедрения новой (для данного предприятия) технологии штамповки листовых деталей на координатно-револьверном прессе (ПКР) <...>; 2) процесс внедрения бригадных форм организации и стимулирования труда (БФОТ) <...>; 3) иницируемый самим исследователем процесс экспериментального социального

нормотворчества в конкретной социально-производственной ситуации (ЭСН)».

В качестве же предмета исследования выдвигалось — опять цитирую — “взаимодействие личности и социальной среды в процессе инновации”.

Здесь хочется обратить внимание коллег на формулировку “экспериментальное социальное нормотворчество”. Речь шла, как писалось в той же статье, о:

“...научно-практическом испытании и выяснении своего рода пределов: а) возможностей отдельной личности *адаптироваться* к новой среде, не разрушая своей внутриличностной целостности; б) возможностей отдельной личности *воздействовать* на социальную среду, не разрушая своих связей с нею.

(В известном смысле, это есть исследование свободы личности в определенном социально-нормативном контексте, имеющее своей сверхзадачей — расширение зоны этой свободы)”.

(Должен признаться, что последнее, вроде бы рискованное по тем временам заявление — насчет “сверхзадачи” — было *(поначалу* — А. А.) загнуто в подстрочное примечание).

Пересказывать, как же конкретно реализовались поставленные тогда задачи, я сейчас не имею возможности. Отсылаю к цитированной статье 80-х гг., вошедшей ныне в 3-й том “Драматической социологии...”, а еще лучше — к представленным в томе 1 своего рода *полевым дневникам* социолога-испытателя тех лет, группировавшимся автором в циклы под шутливыми названиями: “Письма Любимым женщинам”, “Выход из мертвой зоны” и т. п.

Если само по себе погружение исследователя в изучаемую социальную среду (в данном случае — производственный коллектив) имело — не столь редкие в западной социологии и единичные в советской — прецеденты, то сами формы и средства данной “штудии” были довольно неординарными. В упоминавшейся статье 1983 г. состоялась одна из первых авторских попыток сформулировать принцип, позднее обозначенный как **познание через действие** (или — познание действием). Тогда это прозвучало так:

“Сама практическая деятельность выступает здесь главным способом или инструментом познания”.

В современной формулировке (из предисловия к “Драматической социологии...”):

“...Наблюдающее участие (*в отличие от “включенного наблюдения”* — А. А.) предполагает исследование социальных ситуаций через целенаправленную активность субъекта, делающего собственное поведение своеобразным инструментом и контролируемым фактором исследования”.

Особое место здесь занимает исследовательская практика, названная автором методом *моделирующих ситуаций*. Под таковыми понимаются “ситуации, отчасти организованные самим исследователем из естественных ситуационных предпосылок, в целях обнажения,

заострения, в этом смысле — моделирования социального явления или процесса”.

В одном из “писем-отчетов друзьям” еще 1980 г. (см. в томе 1) автор по-простецки объяснял это так:

“В чем специфика моего исследования (да, пожалуй, и способа жизни) сегодня? Уже приходилось высказываться против *включенного наблюдения* в пользу *наблюдающего участия* (метода близкого к социальному экспериментированию). Так вот, меня интересуют прежде всего не высказывания, не мнения и даже не факты, индивидуализированные или массовые, а — ситуации, имеющие достоинство модели...”

“В каждой луже — запах океана, в каждом камне — шорохи (или “веянье”? — не помню!) пустынь” (Н. Гумилев).

Но чтобы в капле лучше отразилось море, полезно ее сгустить. Можно сгустить силой художественного воображения, как в искусстве... Силой так называемого домысла к факту, как в публицистике... А можно сгустить — в самой жизненной практике, собственными действиями, способствующими превращению заурядной ситуации в моделирующую.

Оригинальный жанр творчества, которому можно найти аналог разве что в Театре. Но там пока еще остается какой-то барьер между сценой и зрительным залом. Да и зритель — хоть и “со-творец”, но не со-автор и не со-актер... В театре — сначала пишут (драматург), потом ставят (режиссер), потом играют (актеры) и сопереживают (зрители).

А тут все перемешано! И даже отчасти наоборот: сначала играют (иногда — не успев как следует срежиссировать), а потом пишут, осмысливают. Сначала действие, потом текст (ну, хотя бы этот)”.

Опять же, нет возможности сейчас приводить развернутые примеры таких “моделирующих ситуаций”. Из периода эксперимента социолога-рабочего первой половины 80-х гг. удобнее всего отослать к двум неоднократно перепечатавшимся эссе “Как Серега был штрейкбрехером” и “Бешеная халтура, красивая деталь” (см. том 1), а из позднейших примеров наиболее показательны, пожалуй, “Прессинг по всему полю” и “Производственные страсти, или как мы боролись с двухсенкой” (см. том 3; последнее вошло также в совсем недавнюю публикацию “Телескопа”: 2006, № 5).

Кроме того, рекомендую ознакомиться с приложением 3 в материалах к настоящему докладу, где представлены образцы простейших моделирующих ситуаций.

Коль скоро я упомянул о последней публикации в “Телескопе”, которая называется, кстати сказать, “Познание через действие (Так что же такое “драматическая социология”?)”, я позволю себе прервать обсуждение методологических сюжетов, которые там достаточно подробно рассмотрены.

Ну, а теперь — в порядке предъявления некоторых содержательных результатов как самого “эксперимента социолога-рабочего”, так и ряда иных отраженных в обсуждаемой книге изысканий периода еще 1970-х гг., будь то социология культуры, социология личности или “Человек, его работа и жизнь на БАМе”, — приведу здесь

перечень *только названий* этих результатов. Все они были представлены в научном докладе “Образ жизни и жизненный процесс” (1981) на заседании ядовского сектора в Институте социально-экономических проблем (см. том 1 “Драматической социологии...”).

Ввиду достаточно высокой степени обобщения и принципиальной невыводимости утверждений такого рода непосредственно из данных отдельно взятых эмпирических исследований, а также из “перестраховочных” соображений, эти результаты обозначались тогда как “выводы=гипотезы”, хоть и не без категоричности утверждалось, что “все они относятся к современному (*т. е. тогдашнему*). — А. А.) состоянию советского общества”. Итак:

...1. Вывод об относительном преобладании интеграционных тенденций в образе жизни (как в “способе жизни” общества, так и в системах жизнедеятельности индивидов) над дифференцирующими тенденциями. (*Сегодня, кстати, наблюдается обратная тенденция...* — А. А.)

...2. Вывод о широком распространении практики побочных и даже обратных эффектов социальной политики и ее противоречивой взаимосвязи со “стихийными” проявлениями и тенденциями развития образа жизни. (*В основном этот вывод базировался на исследованиях, проведенных на БАМе в середине 1970-х гг.* — А. А.)

...3. Вывод о доминирующей роли “отложенных” эффектов пройденного исторического или жизненного пути в ряде ключевых моментов образа жизни поколений и структуры жизнедеятельности индивидов. (*Одно из обоснований для выдвижения динамического подхода к исследованию образа жизни в качестве приоритетного.* — А. А.)

...4. Вывод-гипотеза о складывающейся диспропорции между семейно-бытовой, индивидуально-потребительской, и социально-творческой, общественно-гражданственной компонентами в структуре жизнедеятельности личности. (*Имеется в виду приоритет первых над вторыми в сознании и поведении людей.* — А. А.)

...5. Вывод-гипотеза о социально-экономической и общественно-политической базе (*указанного.* — А. А.) перераспределения “приоритетов” в структуре жизнедеятельности личности.

...6. Вывод о мере взаимного рассогласования подсистем декларируемых социальных норм-требований и социальных норм-стереотипов поведения, а также об отражении этого рассогласования в ценностно-мотивационной структуре личности. (*Один из главных выводов исследования производственной жизни изнутри, “глазами рабочего”.* — А. А.)

...7. Вывод о прогрессирующем развитии феномена “ситуационно-ролевой” (*если не вдаваться в понятийные детали — синоним “двойной”.* — А. А.) морали в сферах трудовой, общественной, бытовой и т. д. активности.

...8. Вывод о складывающейся диспропорции между материальной и духовной компонентами в структуре жизнедеятельности

личности и о наблюдаемом феномене “материализации” духовных потребностей.

...9. Вывод о социально-психологических резервах становления индивидуальных и коллективных субъектов конструктивного общественного действия и исторического творчества”. (*Так сказать, оптимистический вывод.* — А. А.).

Если кого-нибудь заинтересует или покажется не вполне прозрачным какой-либо из этих выводов, я готов дать соответствующие пояснения, отвечая на вопросы.

Признаться, отбирая материалы для включения в книгу, равно как и нынче, при подготовке к настоящему докладу, я усматриваю, несмотря на прошедшие четверть века, *актуальность* ряда давних социологических наблюдений и заключений, иногда в смысле полной преемственности процессов и явлений, иногда в смысле как раз смены тенденции на обратную.

(Так, например, ряд наблюдений Б. Максимова о буднях рабочей жизни на современном акционированном промышленном предприятии оказались, несмотря на известную смену социально-экономических основ, инверсию отношений собственности и т. д. (!), настолько разительно совпадающими с наблюдениями социолога-рабочего 20 лет назад, что я счел необходимым включить в состав приложений к соответствующей главе своей книги почти полный текст одной из его работ).

“Эксперимент социолога-рабочего” продолжался 8,5 лет. Скажем так, подтянулся по независимым (а впрочем — почему независимым? может, как раз наоборот, самим экспериментатором созданным...) причинам.

Что было пусковым механизмом обыска в 1983 г., официального предостережения органов госбезопасности, далее — исключения из партии (1984), изгнания из Союза журналистов, из Советской социологической ассоциации, отлучения от Всероссийского театрального общества? Думаю, все же не социально-производственная или научно-профессиональная активность автора, а его вызывающее поведение по отношению к обкому партии в связи с беспардонными и, в сущности, мошенническими действиями его функционеров по смене руководства Ленинградского отделения Советской социологической ассоциации. К чему добавилась безуспешная охота доблестных чекистов за материалами экспертного опроса “Ожидаете ли Вы перемен?” (мною уже упоминавшегося).

Перипетии этого, как сказали бы теперь, *наезда* со стороны “компетентных органов” и т. д. и предпринятой в этой связи социологом-экспериментатором *необходимой обороны* — это один из частных предметов авторского исследования. Здесь не удержусь, чтобы не воспроизвести эпиграф к одной из глав тома 2. Из любимого мною Вл. Войновича (его знаменитой “Иванькиады”):

“...Я пытался сохранить спокойствие, но мне это не всегда удавалось. Меня спасло то, что на каком-то этапе борьбы я решил, что ко всему надо относиться с юмором, поскольку всякое познание есть благо. Я успокоился, ненависть во мне сменилась любопытством, которое мой

противник удовлетворял активно, обнажаясь как на стриптизе. *Я уже не боролся, а собирал материал для данного сочинения (выделено мною. — А. А.):* а мой противник и его дружки деятельно мне помогали, развивая этот грандиозный сюжет и делая один за другим ходы, которые, может быть, не всегда придумаете за столом. Сюжет этот не просто увлекателен, он, мне кажется, объясняет некоторые происходящие в нашей стране явления, которые не то что со стороны, а изнутри не всегда понятны...”

Полностью подписываюсь под этим пассажем...

(Недавно ушедший от нас Ю.А. Левада, навсегда остающийся для меня высочайшим образцом гражданственности, профессионализма и мудрости, когда-то высказался на мой счет в случайном разговоре приблизительно так: “Не то ценно, что попал в передыжку, а что сумел это использовать для нужд науки”. Горжусь этой оценкой).

Еще могу считать своей заслугой, что “случай Алексева”, получивший, уже на пороге перестройки, достаточно широкий резонанс (шутка ли: выиграл суд по иску о защите чести и достоинства против секретариата Советской социологической ассоциации!), так или иначе способствовал гражданской консолидации — как рабочего коллектива, так и социологического сообщества. В чем нетрудно убедиться обратившись хотя бы к перепечатанному (из тома 2 книги) в недавнем “Телескопе” авторскому открытому письму 1987 г., содержащему опись (хронику) актов индивидуальной и коллективной гражданской защиты, предпринятых (цитирую) “в разное время, разными людьми, в разных формах, в период с 1984 г. по настоящее время”.

Вообще же, политическое “дело” социолога-рабочего дало повод для существенного расширения и своего рода реструктурирования поля активистского case-study. Притом, что главным предметом исследовательского интереса как было, так и осталось *взаимодействие личности и социальной среды, человека и социальных институтов*.

Если о драматической социологии, в смысле соединения практической деятельности, рефлексии и “игры” с социальным объектом, сказано уже достаточно, то хотя бы несколько слов о *социологической ауторефлексии*. Эта последняя (цитирую из предисловия, том 1)

“...в принципе может быть осуществлена путем селекции и предъявления аутентичных авторских текстов разных лет, причем “всех мыслимых” (а точнее — доступных автору) жанров: дневник, хроника, личное письмо, официальное обращение, журналистская статья, научный труд. При этом отбираться для такой “антологии” должны вовсе не лучшие (с авторской точки зрения), а показательные (в плане задуманного анализа) фрагменты.

В этом виртуальном опыте (документированная идейно-духовная биография) ставится задача, как бы обратная той, какую автор пытался решить в опыте практическом (эксперимент социолога-рабочего). Вместо вопроса: “*что человек может сделать с обстоятельствами?*”, — на передний план выдвигается противоположный: “*что обстоятельства могут сделать с человеком?*”.

И еще:

“...Если формулой драматической социологии является *познание действием* <...>, то социологическая ауторефлексия есть, в определенном смысле, *самопознание деятеля*...”

Более подробно о соотношении драматической социологии и социологической ауторефлексии см. приложение 4 в материалах к настоящему докладу.

За недостатком времени оставляю сейчас без освещения довольно большой и значимый тематической пласт книги, относящийся к проблематике *социологии личности*. Чем-то надо жертвовать...

То же относится к сюжетам “на пересечении биографии и истории” (пользуясь выражением Ч. Р. Миллса). Я имею в виду представленную в томе 3 историю своеобразной “мифологизации” случая социолога-испытателя на рубеже 1980 - 90-х гг., а также субъективную летопись демократического движения Ленинграда этого периода.

Мне остается еще немного рассказать об андерграундном экспертно-прогностическом исследовании “*Ожидаете ли Вы перемен?*” (имелось в виду наше общество). Оно было задумано в 1978 г. компанией питерских и московских интеллигентов, в которую входили ныне покойные историк М. Гефтер и писатель А. Соснин, а также ныне здравствующие экономист В. Шейнис, экономист-социолог Н. Шустрова и я. Я был чем-то вроде ученого секретаря этого незримого колледжа.

Были разработаны программа изыскания и оригинальная экспертная методика, опробованная в 1979-1981 гг. в среде, которую сегодня принято называть либеральной интеллигенцией. До обобщения материалов тогда руки не дошли: на смену “ожиданию” перемен пришло их “делание”. А 45 из 46 анонимных экспертных листов (записей интервью или собственных текстов участников опроса) удалось потаенно собрать до момента, когда они перестали быть крамолой. Все они — с большей или меньшей полнотой — представлены в обсуждаемой книге, в частности, в ее первой и последней главах.

Обозревая сейчас эти материалы, может показаться удивительным, что при естественном преобладании пессимистических и скептических оценок перспектив развития советского общества, *почти треть участников опроса рубежа 1970 - 80-х гг., независимо друг от друга, приурачили (сочли весьма вероятным...) начало системных общественных сдвигов именно к рубежу 80 - 90-х гг.!* При этом немалая часть наших экспертов-прогнозистов обнаружила (как мы можем судить сегодня...) вполне реалистичное представление о логике и механизме вероятных общественных изменений. В частности, рядом экспертов, по существу была точно предсказана та самая “*революция сверху*”, которая фактически состоялась во второй половине 1980-х гг.

В целях экономии времени опускаю свою современную оценку экспертно-прогностической методики — вопроса “Ожидаете ли Вы перемен?”. Соответствующий фрагмент книги представлен в приложении 5 среди материалов к настоящему докладу. Желющие могут ознакомиться.

И последнее замечание. Есть в книге (в томе 2) небольшой раздел, представляющий авторские заметки по поводу книги “Год

Оруэлла», которая, как уже отмечалось, была ничем иным как пилотным изданием 2-го тома «Драматической социологии и социологической ауторефлексии». Этот раздел воспроизведен в приложении 7 среди материалов к настоящему докладу.

Зачитаю из его текста лишь заключительный фрагмент, уместный для завершения доклада:

«...Пожалуй, автор настоящей книги претендует не только на научно-социологическую, но и на философско-мироотношенческую интерпретацию предпринятого им в 80-х гг. социального эксперимента, а затем — состоявшегося политического «дела» социолога-рабочего. Сделав инициативный, поначалу скромный вызов системе, человек получает ответные вызовы от судьбы (или общества?), на которые уже обязан отвечать, коль скоро «эту кашу заварил». Что бы с ним дальше ни случилось, он продолжает оставаться «наблюдающим участником» собственной жизни и социальных процессов, в которые вовлечен.

<...> С учетом сказанного выше, анализируемый в книге опыт социолога-испытателя сегодня может быть осмыслен как одно из ранних и частичных предвосхищений уже современных «моделирующих ситуаций», а также образцов «наблюдающего участия». Можно сказать, что актуальность «драматической социологии» сегодня не убывает, а **возрастает».**

Благодарю за внимание!

Доклад на первом Всероссийском социологическом конгрессе «Общество и социология: новые реалии и новые идеи» (Санкт-Петербург, сентябрь 2000):

Драматическая социология и социологическая ауторефлексия

(Цит. по: Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2000, № 6)

1. Доминирующая и по сей день (несмотря на все большее распространение и престиж «не классических» подходов) стратегия социального исследования исходит из предпосылки разделения или противоположения субъекта и объекта в исследовательском процессе (при устоявшемся использовании специальных процедур «контакта», или взаимодействия между ними).

Мы полагаем возможным и перспективным сближение субъекта и объекта и даже своего рода их отождествление в социальном познании. Ниже обсудим некоторые конкретные способы реализации такой исследовательской стратегии.

2. Рассмотрим случай, когда само по себе поведение субъекта социального исследования становится своеобразным инструментом и контролируемым фактором исследовательского процесса. «Погруженный» в определенную социальную среду исследователь (назовем его «социологом-испытателем») наблюдает и анализирует последствия собственных действий в этой среде. Методологической формулой такого исследования является: ПОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЕ (или – «познание действием»).

3. В рамках указанного исследовательского подхода (направления) нами разработан и опробован эмпирико-социологический метод, названный, в отличие от «классического» включенного наблюдения, **НАБЛЮДАЮЩИМ УЧАСТИЕМ**. Отличен этот метод и от социального эксперимента, в общепризнанном смысле: здесь новые факторы вводятся в изучаемое социальное поле не «извне» и «сверху», а «изнутри» и «снизу». Причем исследовательское вмешательство в естественный ход вещей является ситуационным (порой импровизационным) и не претендует на строгую процедуру.

4. Характерной чертой названного метода является построение так называемых **МОДЕЛИРУЮЩИХ СИТУАЦИЙ**: когда, путем организуемого исследователем (на базе естественных предпосылок) «сгущения» факторов, обыденная ситуация приобретает достоинство социальной модели.

5. Следует отметить, что предметом изучения здесь выступает, как правило, не только социальное окружение, но и собственное поведение социолога-испытателя. Особый интерес при этом представляет выяснение границ свободы индивидуального поведения в различных ситуациях: изучается не столько адаптация субъекта к среде («что обстоятельства могут сделать с человеком?»), сколько адаптация субъектом среды к себе («что человек может сделать с обстоятельствами?»).

6. В изложенном исследовательском подходе синтезируются практическая деятельность, рефлексия и игровой момент («игра» с социальным объектом). Вышеописанный способ исследования мы называем **ДРАМАТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИЕЙ**.

7. Метод наблюдающего участия апробирован, в частности, в опыте многолетнего исследования производственной жизни, «глазами рабочего», предпринятого автором в 80-х гг. на одном из ленинградских промышленных предприятий, а также – с расширением предметной области – на более масштабном «полигоне». Этот опыт обобщен в серии наших работ, главной среди которых является: *Драматическая социология (эксперимент социолога-рабочего)*. М., 1997.

Ныне автором проводится в принципе аналогичное *case study*» в одном из научных институтов Санкт-Петербурга.

8. Другое разрабатываемое нами, в рамках той же общей стратегии, исследовательское направление: **СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АУТОРЕФЛЕКСИЯ**. Это направление является частным случаем **СОЦИОЛОГИИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ** (термин, пока еще не вошедший в научный обиход, хотя для этого, как мы понимаем, уже есть основания).

Само по себе понятие социологии жизненного пути может быть отнесено к широкому кругу современных биографических и т. п. исследований, среди которых социологический подход, разумеется, не является единственным. Вообще, проблематика жизненного пути («траектории жизни») является междисциплинарной – на стыке социологии, психологии, социальной антропологии и ряда других гуманитарных дисциплин.

9. В рамках социологической практики, в исследованиях жизненных путей применяются различные методы сбора информации (глубинные интервью, биографические нарративы, анализ документов и т. п.). Но нас интересует нестандартный случай, когда социальный исследователь ставит самого себя (или человека, готового к такому способу самореализации) в положение «наблюдающего участника» собственной жизни.

В этом случае:

а) собственная жизнь (или определенный период жизни) трактуется субъектом исследования как некий «жизненный эксперимент»;

б) практические действия (жизненные шаги) субъекта и их результаты (последствия) фиксируются в «протоколах жизни» (вариант дневника, но с социологической сверхзадачей);

в) исследовательский отчет, как таковой, приобретает характер и смысл «жизненного самоотчета» или ауторефлексии (причем последняя имеет не только личностный, но и объективно-социологический смысл).

10. Особый методологический интерес представляет вопрос о соотношении драматической социологии и социологической ауторефлексии. В той и другой имеет место своеобразное сближение субъекта и объекта исследования, с перспективой их «слияния» в «субъект-объект», иначе говоря – их отождествления. Вместе с тем, есть и немаловажные различия.

11. В отличие от драматической социологии, при которой исследование разворачивается «здесь и сейчас», в случае социологической ауторефлексии изыскание может быть также и ретроспективным – за счет использования сохранившихся документов, «жизненных свидетельств», которые, в свое время, могли составляться и без социологического «умисла», однако в рамках исследования – подлежат социологическому «прочтению».

12. Драматическая социология необходимо предполагает самого исследователя в качестве действующего лица (актора). В случае же социологической ауторефлексии (ретроспекции жизни) такое совмещение двух ролей – исследовательской и «жизнедействующей» - не обязательно. Всякий человек может захотеть в какой-то момент – «остановиться, оглянуться».

Разумеется, само по себе «воспоминание о жизни» и ее осмысление – еще не социология. Но если профессионал подключится к этой работе «ума и души» рефлексирующего субъекта в качестве помощника (консультанта, методиста-методолога и т. п.), то может возникнуть исследование «случая имя рек» - в рамках указанного исследовательского подхода.

(Таких примеров находим уже немало в современной научной практике).

13. В социологической ауторефлексии, как и в драматической социологии, существенным является выяснение границ *свободы* индивидуального социального поведения. Однако здесь вероятна определенная переакцентировка: не «что человек может сделать с обстоятельствами» (драматическая социология), а «что обстоятельства

могут сделать с человеком». Иначе говоря – приоритетное внимание к адаптивным («приспособление *себя* к...»), а не адаптационным («приспособление *к себе*...») возможностям и способностям человека.

14. Попробуем кратко резюмировать наше сопоставление названных подходов. Если формулой драматической социологии является ПОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИЕМ, то социологическая ауторефлексия есть САМОПОЗНАНИЕ ДЕЯТЕЛЯ.

15. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия предстают двумя ипостасями ориентированного на сближение (а в перспективе – и на тождество!) субъекта и объекта изучения взаимоотношений личности и общества: как на ментальном уровне (индивидуальное и социальное сознание), так и на уровне действия (индивидуальное и групповое или даже массовое поведение). При этом та и другая оказываются отдельными струями теперь уже весьма широкого и мощного потока активистских и интуиционистских исследовательских подходов и конкретных изысканий, которые объемлются понятием *качественной* («интерпретативной», «гуманистической», «субъективной», «интерактивной», «рефлексивной», «субъект-субъектной» и т. д.) *парадигмы* социологического знания.

Публикации автора, посвященные эксперименту социолога-рабочего (1980-1988):

- Социальные нормы производственной организации и жизненная позиция личности (из опыта «экспериментальной социологии») / Проблемы социального познания и управления. Томск, Изд-во ТГУ, 1982.

- Человек в системе реальных производственных отношений (опыт экспериментальной социологии) / Новое политическое мышление и процесс демократизации. М.: Наука, 1989.

- Наблюдающее участие и моделирующие ситуации (Познание через действие). СПб.: СПбФ ИС РАН, 1997.

- Драматическая социология (эксперимент социолога-рабочего). Книжки 1-2. М.: СПбФ ИС РАН, 1997.

- Театр жизни в заводском интерьере (записки социолога-рабочего) // Звезда, 1998, № 10.

- Человек и его работа: вид изнутри (из записок социолога-рабочего. 1982-1986 гг.). // Мир России, 1998, № 1/2.

- Социологическое воображение, драматическая социология и социология жизни / Социальное воображение. Материалы научной конференции 17 января 2000 г.. СПб., 2000.

Из статьи Б. Докторова «Профессия: социолог»

...Традиционно выделяют, в частности, включенное, или участвующее наблюдение, в котором социолог старается занять объективистскую позицию и минимизировать свое влияние на наблюдаемые им процессы. Новинка Алексеева — *наблюдающее участие*, предполагающее, изучение «социальных ситуаций через целенаправленную активность субъекта, делающего собственное поведение своеобразным инструментом и контролируемым фактором

исследования». В этом случае наблюдатель стремится стать активным участником происходящего и познаваемого, разрешая себе *изнутри* вносить в наблюдаемый им процесс некие, определяемые им самим «возмущения». Тогда в конкретике явления или процесса раскрываются те свойства, которые присутствовали в них, но сами бы не заявили о себе. Так частное, по Алексееву, заурядное становится *моделью* общего.

Эта «процедурная» добавка, точнее, социологическое действие, превратило участвующее *наблюдение* в наблюдающее *участие* и, таким образом, принципиально изменилась логика исследования: на смену наблюдению с целью познания пришло познание через действие, или познание действием. Социолог стал не просто участником, актором наблюдаемого действия, но драматургом и постановщиком «социологической драмы». Отсюда и возникает термин, которым Алексеев характеризует свой подход — *драматическая социология*. Когда же он распространил принципы наблюдающего участия на самого себя, возникла *социологическая саморефлексия*, или *ауторефлексия*...

Из книги: Алексеев А. Н. **Драматическая социология и социологическая ауторефлексия**. Тт. 1- 4. СПб.: Норма, 2003-2005.

Том 1, с. 351-364, 373-379, 365- 370, 382-383:

(5.5). Как Серега был «штрейкбрехером»

[Нижеследующий текст (1982) описывает одну из характерных — моделирующих — ситуаций в рамках эксперимента социолога-рабочего. Такое же название он имел и в оригинале.

Публикуется с небольшими сокращениями. — А. А.]

= Из производственного дневника (сентябрь 1982)

Серега 3-в — слесарь 4-го разряда, работает в бригаде Анатолия С-ча [А. В. Сычевич. — А. А.]. Ему около 30 лет, он представитель молодого поколения кадрового ядра цеха. На заводе работает в общей сложности около десяти лет. Из цеха уходил служить в армию и вернулся в цех. Его жена — медсестра в заводском здравпункте. Живет Серега в 10 мин. ходьбы от завода.

В своей бригаде, да и вообще на слесарном участке Серега принадлежит к числу высокооплачиваемых рабочих. Его дневное производственное задание — 9,8 руб., почти такое же, как у бригадира (у того — 10 руб.). С учетом прогрессивки, получается, что Серега зарабатывает в день 13 рублей (что соответствует месячному заработку до 300 руб.).

Серега — член партии (как и его друг и бригадир Анатолий С-ч).

Когда администрация цеха, обеспокоенная вынужденной «монополией» Алексеева в обслуживании координатно-револьверного пресса (ПКР), затеяла, наконец, подготовку ему «дублера», Серега сам вызвался на это дело. После двухмесячного ученичества ему, в июне 1982 г., присвоен 2-й разряд штамповщика. Учеником он оказался в общем способным. С тех пор работать на ПКР Сереге не приходилось.

Нижеследующие события конца августа — начала сентября 1982 г. будут излагаться в манере, несколько отличной от «Хроники...». А именно — не то чтобы от имени Сереги, но держа его за **главное**

действующее лицо. В некотором смысле, этот текст — протокол включенного наблюдения, со строго фиксированным объектом наблюдения. Объект этот (разумеется, сам по себе — субъект!) — мой бывший ученик Серега З-в.

[«Включенное наблюдение» здесь, пожалуй, играет все же подчиненную роль в контексте «наблюдающего участия». — А. А.]

Дело в том, что, сидя за верстаком на расстоянии 10–15 м от координат-но-револьверного пресса и занимаясь немудрящей деятельностью снятия «градов» *[грата. — А. А.]*, т. е. зачистки напильником заусениц, остающихся на деталях после токарных и фрезерных операций, я имел возможность дистанционного (все-таки 15 м!), абсолютно естественного (сидел лицом в ту сторону) и всепонимающего (мне ли не понимать!) наблюдения за ситуацией, в которой сам до тех пор был постоянно действующим «субъективным фактором» и из которой, счастливым социологическим наитием, вдруг сумел этот фактор изъять.

И ситуация стала развиваться **естественно** — без «возмущающего» влияния инструмента наблюдения!

Любое производственное и не производственное телодвижение Сереги; любой его социальный контакт; мигание лампочки на пульте управления моего станка; жестикация начальника цеха, что-то объясняющего Сереге, и появление у пресса мастера инструментальной группы; присутствие рядом с Серегой цехового технолога Аллы П-ной и ее отсутствие, — все было мне **понятно** и **означало** ту или иную фазу, поворот в развитии ситуации.

Общий рисунок ситуации я мог бы воспроизвести, не обмениваясь с Серегой ни единым словом на протяжении недели. Но мы, понятно, обменивались, чаще по Серегининой инициативе, т. к. у него была в этом не только человеческая потребность, но и деловая необходимость. А бывало, и я прогуливался его навестить. И не столько для разговоров, а чтобы запечатлеть в памяти обозначение изготавливаемой им детали или номера используемых гнезд револьверной головки (чего за 15 м не углядишь).

Всю эту неделю Серега выступал в оригинальной (для социалистического производства) социальной роли **штрейкбрехера** (слово, может быть, и слышанное им, но, уж во всяком случае, не из его повседневного лексикона).

Вот о том, как это разворачивалось, **что делал сам Серега** и **что делалось** с ним, без претензии на глубокое проникновение во внутренний мир человека, но с исчерпывающим отчетом о его социально-производственном поведении (впрочем, дающем пищу и для психологических интерпретаций и предположений), — этот «протокол».

25 августа 1982 г., в среду, Серега, по договоренности с мастером, ушел с обеда (ездил с родственниками на кладбище). Решение начальника цеха немедленно поставить Серегу на ПКР вместо «отказавшегося от работы» Алексеева состоялось после обеда, когда Сереги уже не было. Друг и бригадир (а ныне замещающий мастера) Анатолий С-ч вечером не позвонил.

Так что, когда утром 26 августа Серега вдруг оказался объектом заинтересованного внимания сразу всех уровней цеховой администрации, это было для него полной неожиданностью.

Он знал только, что ПКР не работает уже около месяца. Алексеев настоял на ремонте. Сначала старший механик Ш-в, а потом Керим К-в (зам. механика и пред. цехкома) со станком возились. А Алексеева начальник цеха Д-н [*А. Данилушкин. — А. А.*] посадил на это время «грады» чистить.

Зря начальник так сделал, ведь эти ремонтники ничего в станке не рубят... Уже и Серегу спрашивали: «Откуда эта рукоятка?». Уж им неловко по пять раз на дню к Алексееву обращаться.

Обидело начальство Серегоного учителя... Сидит спиной к станку в 3 м от него и прочищает вращающимся сверлышком уже которую тысячу медных контактов. Глаза у него, небось, и на спине есть. Видит, что ремонтники в запарке... Но больше со своими советами не лезет. Отбили мужику охоту советовать! Впрочем и он с начальством особо не церемонился...

Вроде кончили ремонт. И тут оказалось: палец фиксатора в новые втулки револьверной головки не лезет. Алексеев это обнаружил, станок не принял. Его уже от «градов» освободили, они с Керимом вдвоем возились. Втулки выколачивали, обратно ставили. Потом Люся К-на (она сейчас временно зам. нач. цеха) все у станка паслась. Заставил их Алексеев какие-то «испытания» проводить. Что-то не так опять...

Алексеев говорит — у листодержателей подпятники гнутся и заготовка приподымается. Люся, похоже, считает, что он им очки вкручивает. Подходила к Сереге, спрашивала — было ли такое раньше.

— Было, конечно! — ответил.

— Так ведь работали?

— Понятно, неудобно, заготовка за матрицы цепляла...

— А он говорит, что теперь вообще в щель не лезет!.. Ну, тут Серега не в курсе дела.

Алексеев рассказывал потом, что добился-таки изготовления новых подпятников, на миллиметр толще, из хорошей стали. Не так гнутся.

Дает он им прикурить, однако! Как-то на днях Люся от него чуть не ревела. Спросил у учителя, а он объясняет, что те его в «саботаже» обвинили. Ну, он им и врезал обратно...

Потом какой-то мужик из РМЦ приходил. Контрольный мастер, кажется. Так и сжк индикаторы с магнитной присоской устанавливал. Вроде, геометрией учитель теперь доволен, а револьверная головка чему-то не перпендикулярна... Ну, это уж «дебри»!

Кажется, Алексеев и после смены оставался, проверял станок, когда мужик из РМЦ уже ушел. Собрались после этого ПКР запустить, но что-то опять заело.

Алексеев при Сереге отдал С-чу (тот сейчас за мастера) бумажку, сказал: «Вот объяснительная, ты просил». С-ч прочитал, сунул в карман. Сереге не показал... Он и в бригадирах-то строит из себя начальника, а тут и подавно. Было это 25 августа, еще до обеда. А что его,

Серегу, поставят на станок вместо «отказавшегося от работы» (или «отстраненного от работы» — кто как говорит!) Алексеева, Серега, ввиду своего послеобеденного отсутствия, узнал только на следующее утро, 26 августа.

...Как саранча на Серегу все налетели: и С-ч, и Алла П-на, и Люся К-на, и сам начальник цеха Анатолий Д-н. Скорей, скорей, врубай ПКР, гони программу! А Алексеев сидит за свободным верстаком, напротив Серегиного, и снова «грады» чистит... Ну и дела!

— Е-л я эти стрессы поутру! — сказал учителю Серега. — Станок-то хоть пашет?

— Межцентровые расстояния плохо держит. Если станешь работать, следи за расстояниями между отверстиями, пробитыми из разных гнезд». [*Имеются в виду разные гнезда револьверной головки. — А. А.*].

— Так, а Вы что?

— А ты мою объяснительную разве не читал?

— Нет!

— Станок осталось совсем немного до ума довести. Не дают! А как сейчас — я работать отказался.

Нехотя, но покладисто пошел Серега налаживать первую партию.

Ну, хозяйство у учителя в порядке. Ключ от шкафа — в условленном месте. Подручный инструмент — в коробке; от того, который постоянно не нужен, отделен. Съемники по типоразмерам в ящиках разложены. Пуансонодержатели из револьверной головки почему-то повынуты, а матрицы, те — стоят. Ну, загрузить верхний диск недолго — у Алексеева всегда все записано, что в каком гнезде. А где же запас вырубных пакетов, который держали в шкафу?

«Все, что не в станке, возвращено в кладовую. Фаина потребовала, еще пару месяцев назад», — сказал Алексеев. Это Серегу огорчило. Его в кладовую, как Алексеева, вряд ли пустят. Хочешь взять железку — давай марку [*жетон для получения инструмента. — А. А.*]. А у Сереги и марок-то свободных ни одной!

«Ничего, Фаина в отпуске», — заметил учитель. И ушел чистить свои «грады». Вся-то «передача дел» пяти минут не заняла.

«Е-л я эти стрессы поутру!» — повторил уже про себя Серега.

Алла, Люся, начальник цеха Д-н, то порознь, то вместе, стоят над душой. Ободряют и командуют. Костерят Алексеева, надеются на Серегу. Давай Серега! Ждем от тебя трудовых подвигов. А «Бугор» [*шутовое прозвище бригадира. — А. А.*] как-то в стороне. Друг, называется! Алексеев, небось, переживает, но молчит. Ну, этот знает, что делает...

Так началась Серегина штрейкбрехерская деятельность. В ней были взлеты и падения, «обалдения» и апатия, радость творческого труда и горькое похмелье. Всего хватило за неделю. Не соскучишься!

Начальник цеха напирал на четыре «аварийных» партии. Программа горит! В первый день (26 августа, четверг) Серега управился с одной из них. Панель «Ф-...» в общем-то не сложная. 5 гнезд, 23 удара.

Штамповка с переворотом заготовки. Часть пробивного инструмента — уже в станке. Остальное взял в кладовой, без марок (Файны нет, а младшая кладовщица в хозяйстве ПКР не разбирается).

В отличие от Алексеева, который все сначала продумает, потом делает, Серега физический труд с умственным совмещает: делает и думает одновременно. Думает о том, что делает сейчас, а не о том, что будет делать затем. Загрузил штампы, потом поставил шаблон... Оказывается, при таком положении шаблона лучше бы штампы иначе разместить. Что ж, перезагрузим. Лишняя работа для Сереги не столь обременительна, как лишние мысли.

А отрегулирован станок у учителя будьте-нате! Новые пакеты инструмента у Сереги в револьверной головке сразу спарились. Ни одного матрицедержателя сместать не пришлось. Ударил, без пробы, сразу по заготовке детали — размер в нулях! Ни бокового упора, ни искателя пантографа подвигать не надо.

В общем, везло Сереге в этот день. Начальство вокруг табуном ходит. А Алексей только раз и подошел, сам (а не по Серегиной просьбе). Уже когда Серега десяток панелек отстукал.

— Померяй-ка этот размер! — говорит.

— Почему этот?

— Два отверстия из разных гнезд пробиты. Вряд ли размер выдерживается...

Померил. Две десятки отклонения! А в чертеже? Две десятки и разрешены. В допуске. Нас это не е-т! Хмыкнул учитель. И пожелал Сереге удачи.

Работалось Сереге споро. Вся партия — 25 деталей. Лишний раз штангенциркуля в руки не брал. К концу дня успел даже загрузить часть инструмента для следующей детали.

С разверткой для кронштейна «Ф-...» наутро 27 августа (пятница) вышло не так все гладко. Алексей раньше ее не штамповал и съёмника нужной конфигурации не нашлось. Понадобилось в инструментальную группу обращаться, чтобы съёмник расфрезеровали. Да и паз 5,8×46,2 какой-то нехороший выходит... Сразу пуансон затупился, х-й его знает почему. 2-мм заготовку не то чтобы мнет, а искривляет. Вытащишь ее из щели между дисками револьверной головки — второй раз не засунешь.

(А ведь щель-то после ремонта увеличена — Алексей говорил, что заставил со всех подкладок матрицедержателей целый миллиметр снять!)

Правда, все эти неполадки встречаются у той же Люси (и. о. зам. нач. цеха) полное понимание, и даже предупредительность. Ей и начальнику сейчас — «лишь бы бЕло». Программу закрыть и, похоже, Алексеева уесть!

— Ведь можно же на ПКР работать?

— Чего ж нельзя, — говорит Серега, — раз Родина требует!.. Первую деталь («Ф-...») носили в ОТК, чтобы акт составлять. Согласно акту — **все в допуске!** А следующая («Ф-...») — и на глаз видно: пара отверстий — на одном расстоянии друг от друга, а другая (таких же) — на

пару миллиметров большем. Ну, тут не в станке дело... Шаблон подкачал! Алексеев же этот шаблон не проверял. Значит, инструментальщики напортачили. А в карте штамповки? Там — правильно!

Выход сам Серега предложил. Заготовка рассчитана на две детали. И шаблон задуман как симметричный. Штамповать — в два захода: сначала одну половину заготовки, потом другую. По той половине шаблона, которая без ошибки. В два захода — тяжелее, конечно... Особенно с этой искривившейся заготовкой. Но можно. Алексеев на партизанских деталях так давно делает, чтобы в «мертвую зону» войти. Даже, кажется, рацион писал. Ну, ему отклонили...

А что размеры в чертеже заданы от 4-х баз — это нас не е-т!

Пожалуй, от той, что противоположна базе пробивки, размеры в минус уйдут. Но это всех, кроме учителя, устраивает. Начальство знает, значит, нас не е-т!

Отстукал Серега «Ф-...» (50 шт., по 16 ударов) к обеду и за следующую принялся. Привычка к станку восстановилась. Искателем в дырочки шаблона попадает с ходу. Плохо, что автоматическим поворотом револьверной головки теперь нельзя пользоваться. Алексеев предупредил, что тот иногда проскакивает нужные гнезда. Мол, это можно устранить, да нужно чуть повозиться. Ладно, обойдемся без автоматики, будем запоминать позиции...

По мере развития всех этих обстоятельств росла у Сереги потребность поделиться. С тем, кто понимает. «Бугор» понимать не хочет... Алексеев иногда от градов спину разогнет, подойдет запросто, но помалкивает. Стал Серега учителю «докладывать». Про общий нормальный ход событий, при отдельных мелких неурядицах. Все, правда, не смертельно...

И станок пашет! Кернер до заготовки теперь почему-то не достает — подложил под матрицу.

«Это хорошо, что здесь не надо револьверную головку поворачивать, а было бы несколько позиций — стало бы цеплять!» — сказал Алексеев.

Верно, конечно... Но ведь здесь поворачивать не надо! А и надо было бы — ну, вытащил заготовку из щели между дисками, обратно запихнул.

«Ф-...» (25 шт., по 14 ударов, только керны) Серега отстукал спокойно. А на следующий день — шум! По кернам отверстия просверлили, под фрезу (там большой паз предполагался). И оказалось, что отверстия эти не на месте. Технологи хотели их по центру будущего паза разместить, а посадили на краю. Да еще диаметры отверстий не учли, совсем ерунда вышла.

К Сереге было прие-сь и сразу отстали. Он — **по шаблону** делал! А карты штамповки проверять Серега, как штамповщик, не обязан...

Побежали к конструкторам договариваться. Ну, это Люся умеет.

Главное — **станок пашет**. А что там у вас не так рассчитано — это нас не е-т!

За два дня Серега выдал на-гора три партии. Заработал, если по расценкам, 3 руб. Лишний раз не перекурил: и на голове висят, да и самому интересно выкручиваться. Вот только — как платить будут?

«Бугор» (С-ч) словно и не друг: «Сколько нарубишь, столько и заплатят!..» И лыбятся.

Начальник цеха успокоил: «По среднему заплатим!». Это - другой разговор!

В понедельник, 30 августа, Серега приступил к четвертой партии. Просил нач. цеха все четыре за два дня сделать. Но вы же сами видите, сколько заморочек!

«Ф-...» (с переворотом, 50 деталей, по 28 ударов) - новая каверза. Там отверстия фигурные и усик в них должен вверх торчать. А в матрице нет нужного фиксирующего пазика. Ее можно только так установить, чтобы усик смотрел вниз или влево...

Помнит Серега эту деталь. С Алексеевым вместе делали, в период ученичества. Тот раскопал где-то старую матрицу с усиком, какую-то сборную, с насаженным кольцом. Зато в ней четыре фиксирующих пазика под шпонки - как хочешь ставь! Выставили тогда как надо. А когда отштамповали, стали из матрицедержателя выгаскивать - насадка там и осталась. Алексеев обычно, пока чего откуда не вытаскист, не успокоится. А тут плюнул. У него тогда тоже на голове висели...

А потом, когда Серега неделю один на ПКР работал, в свободную минуту он эту насадку и вышиб. Да сломал. Алексеев, помнится, спрашивал - куда девал сломанную? Выбросил. (Сейчас-то и сломанная пригодилась бы!) Теперь и новую матрицу не поставишь, и старую без насадки не употребишь.

Люся приводит В-ва, мастера инструментальной группы. Оснастка -по его части. Тому оказалось проще на старую, не кондиционную матрицу другое кольцо насадить, чем с новой матрицей возиться. Так вот и тут выпутались. А **станок пашет!** Пашет, стерва... Начальству только этого и надо. Ведь Алексеев массовый брак на ПКР предсказывал!..

Перед обедом (30 августа) подходит к Алексееву табельщица с книгой распоряжений. (Серега случайно оказался рядом.) Предлагает тому расписаться.

Написано в книге (точной формулировки, понятно, Серега не запомнил):

«Распоряжение № 320 от 25.08.82 (т. е. задним числом! — А.А.).

За отказ от работы на станке ПКР КО-120 после ремонта и невыполнение указаний мастера и зам. нач. цеха, что привело к простоям оборудования 25.08.82 и поставило под угрозу срыва программу цеха в августе-месяце, объявить выговор наладчику Алексееву А. Н., раб. № 03445, и депремировать за август на 50%.

Начальник цеха А. Данилушкин».

Алексеев говорит: «Я это должен переписать, тогда распишусь». Табельщица говорит: «Ну, тогда потом сами придете».

(Алексеев потом рассказывал: начальник цеха табельщице наказал - чтоб не давала переписывать! Мда, круто! Ну, учитель знает, что делает.)

Все же забеспокоился Серега, что мало заработал, пусть и обещали ему - по среднему. А «Бугру» (бригадиру и, так сказать, другу) нужен от Сереги и свой навар. Раз ты попал на ПКР - давай, делай, что можно, без технологии. А мы - как слесарную или фрезерную *[операцию]*. - А. А.] закроем!

Дело обычное. Называется — **партизанщина**. По техпроцессу числится, например, как сверловочная, а штампуются! Быстро и доходно. Наряды закрываются на бригаду. Алексеев говорит, что с полсотни обозначений так выпустил.

В период обучения они с Серегой вместе партизанили. Потом к Алексееву уже и мастер стал с такими заданиями обращаться. А тот сказал: пока главный технолог на мои «Предложения» не ответит, не стану партизанить, ни для мастера, ни для бригад.

(Помнит Серега эти предложения, даже хотел вместе с учителем их подписать. Но, поскольку бригадиры тогда уклонились, тот ему отсоветовал, чтобы не выглядело, как будто он ученика подговорил.)

Ну, шаблоны-то нелегальные у учителя остались. В том числе и на ту лицевую панель, которая два куса (200 руб.) потянет. Алексеев тогда отказался партизанить. А Сереге сказал — хочешь, делай по моим шаблонам. Тут-то Серега за пару недель весь свой срок ученичества бригаде и оправдал. Потом Алексеев, видать, на ОТГ рукой махнул, снова стал партизанить. Но уже только для бригады Игоря В-ва [И. В. Виноградов. — А. А.]. Ну и правильно! Для бригады С-ча ведь Серега есть...

На третий день своего «штрейкбрехерства» затеял Серега «аферу» с «Ф-...» (25 шт., по 25 отверстий, сложных пазов нет, и весь пробивной инструмент подходящий имеется).

Ну, Алексеев свои шаблоны на самом станке пробивал. Есть там микроскопы, ни х-я в них не видно, правда, но он как-то приспособился: левым очком для правого глаза как лупой пользуется (у него вроде глаза разные). Один раз и ученика заставил шаблон на станке сделать. Не понравилось это Сереге... Он же слесарь!

Сереге проще стальной лист разметить, накернить и потом просверлить те же 6-мм отверстия. Точность, может, и не та, что должна быть с микроскопами, но для той детали, которую Серега задумал сейчас штамповать, достаточна.

Во второй половине дня 30 августа добыл Серега у Стаса П-ва, наладчика штампов (у которого всегда все есть!), кусок 3-мм стального листа. Выбрал для баз угол получше, напильником края подправил, разметил 25 отверстий, просверлил. Вот и готов шаблон! Не хуже алексеевских.

Только хотел свою партизанскую акцию развернуть — тут к нему Люся с Аллой: нет, ты еще на нас поработай!

Заглянул Серега в ихний техпроцесс и пришел в тупик. «Ф-...» не имеет шаблона! И написано временное п/и *[производственное]*

извещении об изменении технологии. — А. А.] — пробивать без шаблона, «по координатным линейкам», каждую деталь! Каждый удар — по микроскопам выставлять, выходит. А сколько штук? 25! Ударов — по 34! Для каждого удара — две координаты. Стало быть (Сергея не считал, но почувствовал): $34 \times 2 \times 25 = 1\ 700$ раз в линзу заглядывать, в которой ни х-я не видно! Да тут и с хорошей линзой неделю провозишься.

И что-то раньше ласковые были... А теперь — металл в голосе! Appetit у этих баб, знать, во время е-и приходит.

Учитель объяснил: на пушку берут! К нему, оказывается, тоже с этим подлезали. Смотри, каким числом это п/и датировано: 25 авг. 82 г. То есть — теперь специально для Сергея возобновили! На этой оптике и 34 дырки для шаблона пробить не просто. А уж 850 — и вообще издевательство!

Был там в станке, согласно тех. паспорту, блок цифровой индексации... Для автоматической установки координат при пробивке шаблонов. С его помощью можно было бы и уникальные детали, по 3–5 штук, делать (каждую деталь — как шаблон). Но этот блок еще при перевозке станка кокнули... А теперь делают вид, что не знают. Да, похоже, и не вполне понимают, что записана — нелепость.

Прерванный в выполнении своей партизанской затеи провокационным начальственным требованием, Сергей совсем увял. В таких случаях он тупо смотрит в чертеж и меланхолично курит.

— Ну, что, Сергей? — спрашивает Алексеев.

— Откажусь, и!!

Ну, зачем так уж! Чем каждую из 34-х позиций в детали по микроскопам выставлять, лучше Сергею и тут свой шаблон сделать! И по нему — все 25 деталей отштамповать. Сергей это и предпринимает, на следующий день 31 августа (вторник). Люсю, Аллу, начальника цеха его инициатива вполне устроила, все тут были... Не хочешь раком становиться — стань передом. А оформим, как если бы стоял раком!..

Пришлось Сергею заделаться технологом, уже не добровольно, а **вынужденно!**

Есть чертеж, где каждое отверстие имеет свои координаты, если не от базы, то от другого отверстия (которое уже от базы, значит можно пересчитать). Есть и карта штамповки, где все это уже пересчитано. Но проще иметь дело с чертежом, где все наглядно. Берет Сергей чертеж и сразу воспроизводит указанные там (или пересчитанные им на бумажке) координаты в металле. Кернит, потом просверливает...

Рука у Сергея верная. В допуск 0,2 мм уложится, а больше и не надо (для этой детали).

Контроль у Сергея один — готовая деталь. Совпали отверстия после пробивки по этому самодельному шаблону с чертежом — хорошо! Нет — поправим шаблон. Поправлять-то нежелательно... Дырку заваривать! А по заваренному — новую дырку при сверлении может повести в сторону. Но уж тут — судьба, и отчасти искусство. В карту штамповки Сергей не смотрит. И уж их ошибок не повторит! Вот разве свои внесет... И внес.

Ведь все разрешили из идиотского положения выкручиваться собственными силами. Он и выкрутился. А в одном размере, при расчетах, на 1,5 мм ошибся, х-й знает как (бумажку-то выкинул!).

Отштамповал все 25 штук. И — **в брак!** Конечно, опять с конструкторами и сборщиками договорятся. На что же у нас технологи-то? Серега чувствует себя и не правым, и правым: вы нас «за ноги подвесили», мы вам — «козу заделали». Переморщитесь!

Выяснилось все это уже на следующий день, когда Серега успел не только административную («Ф-...»), но и свою, партизанскую, для бригады («Ю-...») отстукать. Там, по счастью, все в порядке.

Так или иначе, настроение у Сереги совсем упало. Учитель сочувствует, а может и радуется... Нет, не похоже на него: что ни присовокупит, все по делу! Ему, небось, тоже несладко сейчас приходится... А тут «эта дура» (иначе Серега технолога не называет!) подкинула:

— Это Вы Алексееву выговор схлопотали! У него со станком не получается, а у вас получается.

Вспыхнули тут у Сереги угрызения совести. Поделится с учителем. Еще раньше ему говорил:

— Если начнут прия-ся, — пошлю на х-й!

А тот: — На х-й надо посылать своевременно, не слишком рано и не слишком поздно!

Серега: — Они же нахрапом взяли! Мне-то зачем все это?

Алексеев: — Конечно. Я на тебя не в обиде. Ты — орудие, и невольное!

Серега растроган: — А х-я ж поделаешь. Жить-то надо!

Вроде администрация со своей партизанщиной отстала... А у «Бугра» всегда найдется.

«Ф-...» — другая панель. Тут и расточные, и фрезерные операции, фигурные пазы и отверстия. Фигурные — значит комбинировать, один паз или окно — несколькими штампами пробивать. Какой брат, из чего выбирать — у учителя на то картотека есть... Это — понадежнее той спецификации, которую принесла Алла, когда понадобилось искать подходящий вырубной пакет 8,2 мм. (Алексеев сказал, что ему эту спецификацию никогда не показывали, не хотели, наверное...)

Свою картотеку учитель держит не в шкафу у станка, а в своем закутке, где прежде отсиживался на простоях, рядом с цеховым художником.

— Дайте посмотреть...

— Пожалуйста! Достает ключ.

— Только карточка не вынимай, а запиши, что тебе надо. Серега и сам знает, где там что лежит.

Эх, не получается всю деталь пробить! Нет подходящего инструмента! Учитель проверил, тоже не нашел. Но половину детали пробить все-таки можно...

Стал Серега изготавливать еще один партизанский шаблон. Игра тут всяко стоит свеч. За день бригаде 100 руб. подкинуть можно. «Бугор»,

понятно, согласен. А начальство, тем временем, уже смекнуло, что платить Сереге по среднему, когда тот на ПКР вкальвает, невыгодно. Алексеев то же самое за свои повременные 150 руб. в месяц делает, не за 300! Стали Серегу торопить: хватит, ты свое уже показал. Алексеева — **обратно на станок!**

Серега уж и рад. В гробу он видел эти стрессы! Пошел делиться радостью с учителем. Но и тот не прост:

— Нет, Серега, пока ПКР в полный порядок не приведут, я за него не встану.

— Кто ж его приведет?

— А хоть бы и я. Только уж пускай переводят меня на это время в ремонтники!

Интересный мужик, этот Алексеев!.. А еще его заботит, что приказ о выговоре до сих пор не вывешен. И не хотят вывешивать! Смеется: секретный выговор!

— А если серьезно, согласишься я сейчас, представляешь, какой канкан они на мне спляшут, после твоих трудовых подвигов?

Пошел Серега готовить свою партизанщину. Начальство не мешает... Как-никак, удружил он им.

Тут у Сереги привалили **домашние события**. 31 августа уехала жена в отпуск. Дочка с тещей — на даче. Жену проводил и «поддал». Да перебрал. 1 сентября (среда) вышел на час позже. Вроде никто не заметил (или — промолчали). С похмелья — рассчитывал, размечал и высверливал Серега свой партизанский шаблон.

Шапмы подобрал согласно Алексеевской картотеке. Пробил первую деталь. И понес «Бугру» (другу, бригадиру, а сейчас еще и мастеру) Анатолию С-чу:

— Проверь!

Тот: — Сам, что ли, не можешь?

— Ты начальник, ты и проверь!

Проверил «Бугор» и углядел: два отверстия на пару миллиметров раздвинуты больше, чем надо. Расстроился Серега вконец. Алексеев вроде на станок возвращаться не собирается... От начальства спасибо не дождешься... От друга-бригадира — втык... Только учитель — с пониманием. Так ведь и тот себе на уме.

Голова болит — спасу нет! Разве что поправиться? Так денег нет! Обычно у Алексеева можно попросить... Сейчас неудобно.

Спросил у «Колпака» (кличка одного из членов бригады). У того, оказывается, лежат в тумбочке целых два рубля двухкопеечными монетами (какие иногда выдают впридачу к бумажкам в получку). Отсыпал «Колпак» этих монет Сереге... И отпросился бы Серега похорошему, так, как нарочно, и «Бугор», и все — на диспетчерской.

Гори все огнем, ушел без спросу. И простоял ПКР все послеобеденное время 1 сентября.

Утром 2 сентября (четверг) вышел Серега свою партизанщину штамповать. Там еще срочных официальных деталей воз. Но их начальство уже Алексееву сватает. Еще, оказывается, с ним не говорили (Серега интересовался). С тяжелым сердцем Серега штамповал эту «Ф-

...». Предварительно шаблон исправил. Пошло вроде как по маслу... Партия-то, в отличие от предыдущих, 125 штук (29 ударов). Стоила игра свеч!

Тут подходит Алексеев. Точнее, подошел, когда Серега отошел от станка, по нужде, что ли. Стоит, ждет.

«Померй-ка этот размер!» — говорит.

Меряет Серега — в допуске!

Алексеев: «Так ведь, если от базы считать, то должно быть не 118, а 115!»

Как так? В самом деле: размер, от которого Серега в своих расчетах плясал, вовсе не от края коробки, а — от другого отверстия. Так нарисована эта е-я стрелка, что можно подумать, будто она от края.

В общем, половина всех отверстий пробита правильно, а половина — смещена на 3 мм влево. Оказывается, Алексеев подошел беспокоящие его межцентровые расстояния проверить. Он свои «десятки» *[Десятые миллиметра. — А. А.]* искал, а налетел на Серегино 3-мм отклонение.

Добрых 80 штук уже готовых деталей в стопке. Назад не вернуться и дальше не поедешь! Доконала Серегу эта информация так, что даже матерных слов нет. И сказал он меланхолично, что **пора на бюллетень...**

А бюллетень — стало, с некоторых пор, для него просто. Это как он в больницу-то недавно попал? Ехал на велосипеде, сшибла его машина. Вырос под глазом такой фингал, как после крупной потасовки. Ну, стал его залечивать, амбулаторно. А тут заодно и обнаружилось, что кровяное давление высокое.

Серега полноват, может и впрямь сердце неважное. Стали повторно кардиограмму снимать, а он — с глубокого перепоя. И установили... ишемии! В июле уложили его по этому поводу в больницу. Ну, а Серега с тех пор усвоил: как поддашь — давление подскочит. И можно на бюллетень... Эту-то перспективу Серега тут себе и усмотрел.

Но что же все-таки делать с этой партией?

— ЧтЛ бы мне пораньше померить! — говорит Алексеев.

Серега: — ЧтЛ бы Вам померить, когда уже вся партия готова!

— Тоже верно: меньше знаешь — лучше спишь!

Час Серега размышлял, как быть. И надумал: «Вы никому не говорите! Я их отштампую, **как есть**, все. И пусть «Бугор» выкручивается. Он же первую деталь проверял — не заметил. А ему не привыкать на сборку бегать... Когда одна деталь два с половиной стоит, такое не бракуют! «Ладно! — сказал Алексеев. — Мне-то что. Я вообще неделю к станку не подходил...».

Но, конечно, лучше Сереге не присутствовать при том, как брак всплывет. (Всплывь может и на сборке, и раньше — уж и неизвестно, что для него лучше.)

В общем, если идея бюллетеня была еще смутной, то тут уж размышление совпало с поступком. С обеда вернулся Серега со здравпункта с законным бюллетенем, по причине давления 160×90.

Партию можно и с бюллетенем в кармане доделать. Вчера-то полдня прогулял, а теперь как бы за прогул отработает.

А на учителя, оказывается, еще с утра 2 сентября давили...

Коля Я-ш [*Н. Ярош. — А. А.*] после увольнения старшего мастера Т-ва занял его место. Вот этот Коля и был заслан к Алексееву, чтобы возвращался на станок. Тот — **наотрез!** Что же, Сереге так и оставаться навсегда на ПКР?

Да ведь прав Алексеев, встал на своем и стоит, рассуждает Серега. Так или иначе, учитель не продаст, партию «в брак» я доделаю, уйду на бюллетень, а там видно будет.

Но что-то толкнуло его пока не признаваться, что бюллетень уже в кармане. Только учителю и сказал... И когда того после обеда вызвали к начальнику цеха и, в присутствии секретаря партбюро, продолжали **давить**, он-то знал, что у Сереги бюллетень. А они еще не знали...

Рассказывал сам Алексеев. Между прочим, и о том, что распоряжение о выговоре так и не вывесили (как сказал секретарь партбюро Новиков, «чтобы сохранить престиж коммуниста»). И еще Алексееву сказали, что от «подписи в ознакомлении» он якобы отказался, причем в присутствии свидетелей. А в качестве свидетеля ссылаются... на Серегу!

«Ну, если спросят, я скажу, как было», — замечает Серега.

Хоть бы поскорее закончить эту злополучную «Ф-...»! Серега еще чувствует начальственную поддержку и расположенность, но все больше понимает, что это не надолго. Скоро с него и «Бугор», и Люся, и даже начальник цеха семь шкур спустят.

Тут Серега вспомнил, что сегодня (2 сентября) надо дежурить в народной дружине. А он уже несколько дежурств подряд пропустил. Того и гляди, в следующий отпуск положенных три дня не дадут. И, со всей непоследовательностью, предъявив мастеру Коле бюллетень (перед самым концом смены; тот аж с лица спал!), отправился Серега в дружину — этот свой бюллетень «компрометировать».

Там с ним друг и «Бугор» Анатолий С-ч (тоже дружинник) стал проводить воспитательную работу. Уже ясно, что Алексеев на своем настоит. Значит надежда вся опять на него, Серегу. И если ты, Серега, пусть с бюллетенем, в пятницу на работу не выйдешь, то будешь самое, что ни на есть г-о! Разозлился Серега, послал друга на х-й и ушел за два часа до окончания дежурства.

Утром 3 сентября (пятница) Сереге телефон оборвали и мастер Я-ш, и друг С-ч. Чтобы вышел на работу! Не дают поболеть спокойно... Что же вам надо? «Ф-...» — коробка, 25 штук, по 29 ударов. Деталь не хитрая. Учитель их отшил. Продолжает исправно чистить свои грады.

После обеда вышел-таки Серега со своим бюллетенем на работу.

Отстукал требуемое. Загнанные им в брак партизанские «Ф-...» лежат в стопке (никто про их порок пока не знает). Хватит с Сереги «трудовых подвигов»! Бригада вроде и в субботу будет вкалывать, но уж тут — дудки.

Вдруг подходит Алексеев и говорит Сереге: «Знаешь, я вроде тоже заболел, без дураков. Похоже, температура!...». И подумалось тогда

Серге, что **горек хлеб штрейкбрехера**. Впрочем слово это не из его лексикона...

В субботу 4 сентября я вызвал врача на дом, действительно с температурой. И что было (будет) дальше с Серегой, с цеховой программой, с моим станком, да и со мной самим, — узнаю не раньше, чем через неделю.

[Окончание этой истории см. ниже: раздел «Как Серега был «штрейкбрехером» (окончание)». — А. А.]

Перечитав этот отчет, нахожу, что, раскрывая взятую тему, я далеко не обнажил всех пружин сложившейся ситуации. Показаны лишь те, которые, так или иначе, видны самому Серге. Остались за кадром мотивы и поступки иных, второстепенных действующих лиц (не исключая и меня самого, хотя перейти полностью во «второстепенные» мне все же не удалось).

Сама по себе правомерность **индивидуальной забастовки** Алексеева вовсе не очевидна из этого текста. Не буду здесь ее дополнительно обосновывать. Тут речь шла прежде всего о социальной роли «штрейкбрехера», которую пришлось сыграть Серге 3-ву. В частности, о том, как эта роль может реализоваться в условиях нашего производства.

6.09.82

Ремарка: лиха беда начало.

А 10.09.82 в заводской газете «Трибуна машиностроителя» неожиданно появилась статья «Лиха беда начало»/

Подготовленная корреспондентом этой газеты В. Белашевым еще в июне, но три месяца проходившая всяческие согласования, эта статья была посвящена проблемам освоения ПКР.

Конфликт с цеховой администрацией в ней не затрагивался, но сам факт публикации как бы реабилитировал строптивного наладчика.

...Не буду сегодня комментировать эту историю. Ибо уже тогда это прекрасно сделал другой социолог-рабочий. См. ниже. (Сентябрь 1999).

...(5. 8). Как Серега был «штрейкбрехером» (окончание)

= А. Алексеев — ? (октябрь 1982)

[Это письмо сохранилось у меня только в перепечатке 1984 года, когда социолог-испытатель уже избегал фиксировать в архиве имена своих адресатов.

По-видимому, оно адресовано одной из «Любимых женщин», вопрос — к кому?

В письме описываются события, следовавшие за «индивидуальной забастовкой» социолога-рабочего. — А. А.]

<...> Текст про «Серегу-штрейкбрехера» обрывается уходом А. на бюллетень.

3 сент. (пятницу) Алексеев еще работал, а Серега уже был на бюллетене. Получив от меня, еще накануне, категорический отказ возвратиться на ПКР, администрация предпочла извлечь с бюллетеня

Серегу (тем более, что тот сам этот свой бюллетень скомпрометировал выходом накануне в ДНД и т. п.).

Я же исчез без предупреждения и проболел 2 недели, никому ничего не сообщая, поскольку потерял голос (действительно!) и, стало быть, «не мог» даже позвонить по телефону.

Что касается Сереге, то он еще четыре дня из недели своей «липовой» болезни выходил на работу и самоотверженно вкалывал.

Это была неделя 6–10 сентября.

В среду, 15 сент. Серега выписался со своего бюллетеня и продолжал вкалывать уже на законных основаниях.

В этот день произошло странное событие, смысл которого прояснился для меня только месяц спустя (а для Сереге не ясен и до сих пор). Когда Серега 15 сент. вышел с обеда (в награду за свои трудовые подвиги он получил что-то вроде «свободного расписания»), он застал у станка целый консилиум из технологов и механиков, **воспроизводящих заново** те технические проверки, которые пару недель назад социолог-наладчик дезавуировал объяснительной запиской, мотивирующей его отказ от работы.

Тогда из 24-х необходимых измерений произвели одно, а теперь два из 24-х и успокоились, еще чуть-чуть подвинув координатный стол (тем самым еще ухудшив вероятные результаты тех измерений, от которых отказались).

Важно другое: откуда такая инициатива администрации? Чудеса!

Ладно. Продолжает Серега «штрейкбрехерствовать». Алексеев болеет.

В понедельник, 20 сент. я выхожу на работу. А Серега с этого дня... заболевает, теперь уже всерьез (узнаю, позвонив ему по телефону). Ну и дела!

Беру **слесарное** задание у мастера (все та же примитивная зачистка грата). Орудую напильником. ПКР стоит. «Штрейкбрехер» болеет.

После обеда меня вызывают к начальнику цеха. Тот сидит рядом с собственным столом, а за столом — заместитель. Предпринимается последнее (смесь истерии с меланхолией) давление на Алексеева, чтобы вернулся на станок.

Говорю, что, в отличие от администрации, своих решений не меняю. Все, что имел сказать по этому поводу, уже написано в моей объяснительной записке.

Ссылаются на новые проверки, произведенные в мое отсутствие.

Мне (тогда еще не знавшему о них) достаточно было выяснить, на скольких позициях револьверной головки были произведены измерения («ах, только в 2-х из 24-х!..»).

— Вы ведете себя так, — говорю, — словно собираетесь завтра уволиться.

Обидно, конечно, это слышать начальнику цеха, несколько месяцев назад назначенному.

— Что же Вы собираетесь делать? — спрашивает он.

— Пока я выполняю одно из Ваших распоряжений, — отвечаю, — работаю слесарем.

— Я не могу Вас использовать на этой работе, у Вас нет такой профессии.

— Ну, Вы же об этом не подумали, когда меня переводили.

— Тогда пишите заявление о переводе Вас в слесари.

— Я Вас об этом не просил и просить не стану.

— Да... У Вас больше жизненного опыта, чем у меня.

— Действительно, я старше Вас. Но это не имеет отношения к делу.

— Вы загоняете нас в угол!

— Вы поставили себя в него сами.

(Кажется, я теперь по памяти объединяю реплики из разных бесед на протяжении этого месяца.)

Итог разговора: высказываю пожелание начальнику пользоваться своими правами, но при этом избегать нарушений трудового законодательства.

(Я замечал, что иногда подобные описания «ключевых» разговоров с моими производственными «партнерами» вызывают сочувствие к этим последним; может быть, это потому, что я обычно не склонен чувствовать себя «страдающей» стороной, и это находит отражение в описаниях.)

С тех пор меня полностью оставили в покое. Последняя надежда начальства была убита. Но при этом даже мысли у Данилушкина (начальника цеха) не возникло использовать болезнь Сереги, а значит — простой станка, — для приведения его (станка) в удовлетворяющее социолога-наладчика состояние.

...Серега отсутствовал неделю. ПКР стоял. Программа якобы «горела» («выпутаются, куда денутся», — говорят рабочие). Я слесарил. С моим окончательным отказом вернуться на станок «в его нынешнем (после ремонта!) состоянии» — сложилась ситуация действительно затруднительная.

Алексеев, будучи наладчиком 5-го разряда, одновременно штамповал «программу», страховал технологов, следил за состоянием оснастки, регулировал станок и в течение двух лет сам его ремонтировал, при необходимости. Наконец, делал сам шаблоны... И все — за 150 руб. повременно (уже значительная, но еще не полная загрузка исключала возможность перехода на сдельщину).

Серега, будучи слесарем 4-го разряда (и получивший, в итоге обучения, еще 2-й разряд штамповщика), у себя в бригаде зарабатывал 300 руб., и меньше ему теперь платить нельзя (хоть на координатном прессе он работает, хоть слесарит). А в течение первого месяца своего «штрейкбрехерства» Серега только на ПКР и работал (поднакопилось за время ремонта «хвостов», да и заест все время что-нибудь: то с оснасткой, то в чертежах, то на станке). А в бригаду от него — практически никакого «наvara», равно как и Алексеев в первые месяцы своего слесарничества гроши заработает. Так и так — убыток плану...

В отличие от Алексева, Серега своих шаблонов на станке не делает и делать не будет, в лучшем случае — своими слесарными средствами, но тогда ему надо еще и за это как-то платить.

Алексеев был неудобен, но брал все на себя. А Серега покладист, но ничего на себя не берет, из мелких затруднений выкручивается, а крупные переваливает на администрацию... Чуть где что заело, идет к своему верстаку и слесарит, чтобы на шее у бригады не висеть. А начальство вокруг станка бегают.

Да не очень-то оно свои обещания держит. Обещали работу на бюллетене кроме отгулов еще оплатить, теперь же предлагают всего-то 15-рублевую премию.

Благодарность приказом директора объявили Сереге ко Дню машиностроителя... А в гробу он видел эту благодарность (хоть за 10 лет и ни разу не получил)!

Желания и инициативы выручать начальство хватило у Сереги на 2 недели (у Алексева — на 2 года!), а дальше он стал обычным исполнителем, который согласен нарушать технологию, но во всяком случае не станет ее придумывать; не станет не только ремонтировать станок, но даже и регулировать (не его дело!); отдаст первую деталь в ОТК, а остальные и не померяет. И т. д. В общем, стал Серега минимизировать свои усилия. Даже «партизанщина», которой увлекся было в первую неделю, — приелась: хлопотно, да и на браке обжегся.

(Протащили тогда на сборку партию с его 3-мм ошибкой в размерах, «никуда не делись»; но все же неприятно...)

В течение двух месяцев я вел подневные записи того, что делал сам, и что делал Серега. После выхода со второго бюллетеня, с 27 сент. по 15 окт. (т. е. три недели) Серега работал на ПКР от силы пять дней, включая пару вынужденных задержек в вечер (днем технологи расхлебывали свои проблемы, а станок и Серега ждали). Все остальное время Серега слесарил для своей бригады, тем самым отчасти обрабатывая свою сохраняющуюся высокую зарплату.

19 окт. (вторник) ознаменовалось социально-производственным изобретением Сереги. Загрузив в револьверную головку инструмент для примитивных «корзиночек», он нашел себе «субподрядчика» (другой Серега, назову его Серега-младший, совсем молодой парень, зарабатывающий сдельно слесарем 150 руб. в месяц). Чтобы нажимать на одну и ту же кнопку (а для «корзиночек» большего не требуется), ума не надо...

Правда, у Сереги-младшего довольно быстро спина заболела от туго двигающегося пантографа, который Серега-старший так и оставил с перезажатыми после ремонта подшипниками, но — привык.

Пару раз у Сереги-младшего что-то заклинивало. Тогда он звал старшего. Если старший не знал, что делать, звали Алексева. Дело шло.

В итоге произошло полное «обобществление» «уникального оборудования», что дало основание бригадире Виноградову (самый знаменитый на заводе бригадир) сказать: «Ну, все, теперь загробили станок».

ПКР вышел из строя, подтвердив этот прогноз, на второй партии «корзиночек» 21 окт. В отличие от всех предшествующих мелких неприятностей, это было уже ЧП, потребовавшее полуторадневных усилий ремонтной службы.

Когда ремонтники, разобрав фиксирующее устройство револьверной головки, расклинили палец, Серега-старший сказал, чтобы ему еще и «параллельность-перпендикулярность» подрегулировали, чему ремонтники с грехом пополам у Алексеева научились не далее как месяц назад. Тем самым было продемонстрировано уже полное отсутствие у станка своего «хозяина».

Автоматика вышла из строя еще в первую же неделю «штрейкбрехерской» эксплуатации. Пальцы не входили в положенные им гнезда время от времени, но оба Сереги научились эти пальцы «подколачивать».

Об изготовлении шаблонов на ПКР служба ОГТ, инструментальный отдел и цеховая администрация, до сих пор препиравшиеся на этот счет между собой, перестали уже и мечтать.

Побавилось стыда, но прибавилось заботы — всем, кроме Алексеева.

Но у последнего возникли свои, новые заботы. Как овладеть слесарным умением в максимально короткие сроки?

Мой слесарный опыт на сегодня исчисляется сроком чуть более месяца. Тут возникает новая «азартная игра». Серьезность моих намерений перекалцифицироваться из наладчика в слесаря уже не вызывает сомнений у низовой администрации. Давали «грады» чистить — чистил. Возвращали на переделку — переделывал. Дали дырки сверлить — стал размечать по технологии, как написано. Смотрит мастер: да кто ж по технологии делает, у нас (мастером сейчас временно один из бригадиров) тайная рация есть. — «Чего ж сразу не сказали, давай рацию...».

Первую деталь (80 шт.), которую, между прочим, на своем ПКРе (но она на ПКР еще не переведена) я сделал бы за полторы смены, если не за одну, включая изготовление собственного шаблона, — я слесарным способом, поэлементно, издеывал 5 дней, заработав за эту неделю 8 руб. Переходя от одного пресса поэлементной штамповки к другому, освоил их за эту неделю, растрогав мастера напоминанием, что надо бы мне за «технику безопасности» расписаться (именно расписаться, а не ознакомиться с правилами!).

Когда все дырки были пробиты, я расстался с этой деталью: она была отправлена на гальваническую обработку, а гнул ее, после гальваники, уже не я, а... Серега (у которого к тому времени образовался простой на ПКР). И Серега заработал на данной «выгодной» операции 7 руб. за 3 часа.

Ну, я бы с этой гибкой, с непривычки, целую смену провозился... Так переплетаются в заработке фактор умения и фактор нормирования.

Уже после этого гибкой на простейшей гибочной машине довелось заниматься и мне.

Пару дней фрезеровал контакты (благо фрезеровщик в отпуске). На снятии градус с этих контактов на сверлильном станке поставил личный рекорд, заработав за смену около 15 руб.

На следующий день, нарезаая резьбу в первый раз в жизни, заработал за смену 2 руб.

Манера не спрашивать, как что делать, а упрямая обезьянья манипуляция с ящиками и палкой для достижения банана, которой этот банан можно достать, но не так быстро, как надо бы для сдельщика, вызывает замечания любого оказавшегося рядом (им может быть даже Серега-младший), что лучше — **иначе**.

С готовностью делаю иначе. Всякую наладку, которую наладчик прессов Стас Политов делал при мне, в следующий раз пытаюсь делать сам, до тех пор, пока тот не подойдет помочь или исправить, а в третий раз он уже и не подходит — незачем.

Сверла надо уметь затачивать. Метчики надо уметь выбирать. Много всякой премудрости, но **не более сложной**, чем мой ПКР! Выкручусь. Думаю, что через пару месяцев мой сдельный заработок превысит тот повременный, который я получал в течение двух с половиной лет.

Пока же с заработком происходят странные вещи.

Начальство так и не решилось издать распоряжение о переводе наладчика в слесари, ведь это противоречило бы другому распоряжению — с выговором и депремированием наладчика за отказ от работы штамповщиком. (Тут есть еще и такой нюанс: наладчик, строго говоря, не обязан сам эксплуатировать оборудование!) В итоге сентябрь, в течение которого я заработал гроши, был оплачен повременно, причем за две недели, проведенные на бюллетене, я получил, судя по расчетному листку: и **по тарифу повременщика, и по бюллетеню**, т. е. 55 руб. лишних.

Ну и ну, чего не сделаешь с перепугу. А откуда «перепуг»? Не от моего же пожелания начальнику «не нарушать трудовое законодательство»...

Сообразил я это, узнав с **опозданием на месяц** (15 окт.) о неожиданном для цехового начальства (и тем более для меня) выходе в «Трибуне машиностроителя» корреспонденции о ситуации с ПКР. Это было еще 10 сент. 82 г., т. е. как раз когда я в цехе отсутствовал.

Заметка была написана заводским журналистом еще в июне. Потом я редактировал ее... поумерив там наивные восторги журналиста по моему адресу. Потом этот текст встретил энергичное сопротивление со стороны отдела главного технолога и после многократных корректировок утратил всякий смысл. Но и в этом бессмысленном состоянии, публикация была приторможена, насколько я понял.

И вот, вдруг, в разгар **«забастовки»** наладчика-штамповщика, через неделю после объявленного ему выговора, заметка про ПКР неожиданно была извлечена из «запасников» (может, чтобы «заткнуть дырку» на газетной полосе?)

Повторяю, все это мне стало известно **месяц спустя**, т. к. ни Серега, ни кто другой из рабочих этой заметки не читал (или не придали значения).

Начальство наверняка читало. И безотносительно к тому, **что** там было написано (после купюр осталась лишь история освоения ПКР, а критика в адрес технологов была заменена их оправданиями), сам **факт публикации** (вот уж левая рука «системы» не знает, что делает правая!) вызвал у цеховой администрации смятение, побудившее к инициативной дополнительной проверке станка в период моего пребывания на бюллетене и внесшее меланхолические ноты в беседу начальника цеха с мной (см. выше).

Все это поучительно для исследователей массовой коммуникации, к которым я сам принадлежал лет десять назад...

Так или иначе, эта, так «не вовремя» опубликованная заметка, по-видимому, способствовала тому, что меня оставили в покое.

...Привык я уже к вопросам моих коллег-социологов: «А что рабочие, рабочие — как ко всему этому относятся?».

Большинство, с кем заходила речь на эту тему, полагали, что я поступаю неправильно — в том смысле, что делаю **себе хуже**. Такая позиция не является ни осуждающей, ни одобрительной, а скорее — «диагностической».

По мере же развития событий последних двух месяцев нарастало убеждение, что Алексеев делает-таки **себе лучше**. Этому взгляду способствовали и Серегины приключения на ПКР, и мои относительные слесарные успехи. Дважды я услышал слово «забастовка» (один раз — от секретаря партбюро цеха, другой раз — от заводского журналиста). Один раз прозвучало даже слово «штрейкбрехер» (в адрес Сереги). Обе эти формулировки были мною, разумеется, решительно оспорены.

Но вообще — все это воспринимается массовым рабочим сознанием совсем в других терминах (типа — «себе хуже», «себе лучше»).

...Пора заканчивать этот самоотчет, написанный, как Вы понимаете, в равной степени для Вас и для себя.

Что будет дальше — посмотрим. Время работает на слесаря Алексеева, набирающего опыт и производительность с каждой неделей. Думаю, что у начальника цеха нервы не выдержат раньше.

Бригадир Виноградов (тот самый, который упоминается в заметке) приглашает в свою бригаду.

— А сколько заработаю? (Там разрыв в зарплатах от 150 до 300 и выше.)

— Для начала — 210.

Это — слесарем. Ну, Виноградов прикидывает, что я еще и на ПКР буду партизанить...

Судите сами: сделал ли я себе «хуже»?

<...> Ваш Андр. Ал., 24.10.82

...(5.6). «Все мы, Серега, лошади. Стреноженные. Но ржем по-разному...»

Несколько вступительных слов

Автор нижеследующего текста — мой друг и коллега, социолог Анри Абрамович Кетегат. Мы познакомились еще в 60-х.

А. К. был редактором научного издательства, сотрудником НИИКСИ при Ленинградском университете. С начала 80-х живет в Вильнюсе. Примерно в то же время, что и автор этих строк, добровольно «сменил профессию». Работал на Вильнюсском заводе счетных машин слесарем-сборщиком, потом аппаратчиком станции очистки гальваносток.

Анри Кетегату довелось быть одним из первых читателей моих писем и дневников начала 80-х. На историю о том, «как Серега был штрейкбрехером», он откликнулся письмом.

Письмо А. К. было изъято при обыске в моей квартире (сентябрь 1983), вскоре за тем — возвращено (т. е. «идеологически вредным» текст признан не был).

При подготовке настоящей книги я искал это письмо в своем архиве, не мог найти. Как выяснилось, копия сохранилась у Анри, благодаря чему это эссе может теперь увидеть свет.

Современное примечание А. К.: «...перечитавши, обнаружил, что были в До-смутное время свои удовольствия... Анри. 9.09.99».

Как все-таки хорошо, что сохранился у Анри Кетегата этот текст! (Сентябрь 1999).

= А. Кетегат — А. Алексееву (март 1983)

Дорогой Андрей!

Возвращаю, как ты просишь, тексты. Читательское удовольствие оставляю себе.

Ах, Серега, Серега, похмельная твоя головушка! Тебе велят соединяться

с пролетариями всех стран, а ты разъединяешься с напарником по станку. (Между прочим в бригаде, работающей на единый наряд, это было бы невозможно — одно из достоинств БФОТ). Тебе сообщают о твоём невиданном (невидимом) трудовом подъеме, а ты ладишь себе алкогольный подъем давления. Тебе толкуют о чувстве хозяина, а ты — «нас не колышет».

Не чувствуешь ты, брат, сверхчувственного. Не подняться твоей сенсорике до парапсихологических высот. И те, которые велят, сообщают, толкуют, зря об тебя язык обмолачивают, не щадя живота **твоего**.

Обмолачивают, чтоб вскачь пошел. А у тебя и рысь-то — все равно что бег в мешке.

Все мы, Серега, лошади. Стреноженные. Но ржем по-разному.

В диспозиции Серега — Алексеев два типа реакции на стреноженность. Тут расклад не такой, что Серега ржет рго, а Алексеев contra. Серега тоже contra, иной раз даже более шумная контра. Но: он

охотно честит заводские порядки и тем не менее относится к ним как крестьянин в страду к обложному дождю. Дождь мешает, раздражает, да ведь что поделаешь — закон природы, не нами писан, туды его в качель!

Оно, конечно, так — не нами писан. Не Серегой и не Алексеевым. Но для Алексеева из неподвластности порядков ему — не следует его подвластность порядкам. А для Серегы следует.

Вот река, вот плот и вот остров. Плот река несет, остров она не сносит. Плот рекой держится, собственной опоры у него нет. Остров держится собою. У плота-Серегы нет позиции. У острова-Алексеева есть.

Несогласная реакция Алексеева на течение производственного быта — проявление позиции. Несогласная реакция Серегы (когда несогласная) — проявление настроения. А настроение материя текучая, ей ли противостоять течению!

По признаку «позиционности» происходит в настроенческой среде, спаянной артельными отношениями, естественный отбор на лидерство. Во всяком случае так обстоит дело в области «внешней политики» — взаимодействия с администрацией. Лидером тут совершенно не обязательно становится тот, кто к этому склонен характерологически, даже не тот, кто просто инициативен. Чтобы стать лидером, можно и не двигаться против течения, достаточно не двигаться по течению. Здесь работает энергия сопротивления, а не нападения, противостояния, а не противодвижения. Столкнувшись с тем, что не удастся снести, течение само очерчивает его контур — выделяет.

Именно так — не активничая, а лишь не поддаваясь течению — стал я у нас в бригаде народным комиссаром обороны — от мастера и иже с ним. Старший мастер, весьма поднатворевший в искусстве преодоления настроений, проходит сейчас с моей помощью школу преодоления позиции, но тут ему аттестат зрелости не светит. Испытанные антинастроенческие средства — кнут и пряник — «этого» Кетегата не берут: кнут перехватывает, от пряника морду воротит. Привод к парторгу цеха по обвинению... ну, конечно же, в саботаже и разложении бригады — тоже не дал результата. (Забавно, что обвинение было предъявлено вскоре после награждения саботажника и разлагателя почетными грамотами «за хорошую работу» и «за воспитание молодежи».) Ну, и от реализации намерения «убрать его из бригады» пришлось если не отказаться, то воздержаться. Пришлось отказаться от лобовых атак и перейти к осадной тактике. Стало опасно блефовать: учуяв настрой мастера идти «на мы», бригада загодя собирает относящуюся к делу информацию. В монархии (характерологически мастер царь, играющий в батюшку) появились конституционные ограничения, которые «этот» [А. Кетегат. — А. А.] инкрустирует последними достижениями демагогической техники: БФОТ — форма вовлечения рабочих в управление и т. п.

Возвращаюсь к Сереге. Не имея позиции, он не снаряжен и соответствующими средствами самозащиты — мнением, доказательством, опровержением. Он хорошо чувствует то, что непосредственно дано. Но, если ему дано не то, что требуется, и требуется

доказать, что из данного — требуемое не следует, из Серегоного «живого созерцания» доказательство не сшивается.

Он не строит теорем. И не потому, что пасует перед требованиями (если уж очень допечет, Серега может проделать с требователем то же, что со стрессами поутру). И не потому, что процедура доказательства ему вообще не по зубам (вербально-генитальная активность у него не обязательно сочетается с интеллектуальной недостаточностью). Просто в Серегином «инструментальном хозяйстве» теоремы нет, и установка на доказательство, если и обнаруживается, то — безоружная: без инструмента, без оснастки.

В разгар предновогодней косовицы расценок председатель цехкома, защищая Серегины интересы от него самого, объясняет ему: не отдашь десять процентов добром, силком возьмем — и частичной компенсации не получишь. Серега в крик: за год отначите две сотни, а «отдадите» два червонца, где ж справедливость? Но защитник Серегиних интересов более крупный специалист по справедливости. Не деньги у тебя отначивают, а трудоемкость снижают. Производительность труда надо повышать или не надо? Ты что ж думал, как начал сапожник с пяти пар сапог в месяц, так и до пенсии?

Крыть нечем, разве что матом. И возрастет из Серегиного рта фаллический лес, испещренный вагинальными впадинами. Он еще попузырит-ся, пошумит для сохранения лица. Но куда ж денешься... Хрен с тобой, гад ты рассознательный, гони свои две красненьких. Да по соцсоревнованию отстегни одну — я вон как производительность повышаю!

Вон он как производительность повышает! Серегины реакции режут глаз Алексеева (условного, разумеется) отсутствием элементарной преемственности. Алексеев последователен не только потому, что у него позиция. Императив последовательности вообще входит в набор требований, которые он к себе предъявляет. Если он сегодня не возразил Иванову, критически отзывавшемуся о Петрове, то завтра как минимум постесняется поддержать Сидорова, который Петрова похвалил, даже если определенного мнения о Петрове у Алексеева и нет.

Не то Серега. Не зная, что он представляет особую, настроенческую культуру, в которой в сущности нет нормы «будь последователен», легко заподозрить нашего штрейкбрехера в лицемерии, в малодушном поддакивании очередному собеседнику. Но лицемерие тут и рядом не лежало. Тут совсем другое что-то. Что-то от внушаемости, естественной при отсутствии позиции. Что-то от свободного, не скованного самоконтролем **дыхания живого, себя не помнящего** [выделено мною. — А. А.]. Как шелест листьев, однозвучный независимо от того, откуда ветер — с юга ль, с севера...

Что это? Всесилие стимула и ничтожность той внутренней переменной, которую «потеряли» бихевиористы? Или, наоборот, бессилие стимула (бессилие вызвать адекватную ему реакцию) перед аморфностью этой переменной, поглощающей, растворяющей в себе структуру стимула?

Я вдруг по-новому увидел «семь пятниц на неделе». Смысл — непостоянство, но поименовано-то как раз постоянство: каждый день — пятница. Дальше я в эти логико-семантические дебри не поведу, потому как об экстенционалах и интенционалах слышал самым краем уха. Я поведу дальше в Серегу.

У него, мне кажется, наоборот — не непостоянство выражено через постоянство, а некое скрытое постоянство через видимое непостоянство. Я имею в виду то, как он локализует себя во времени.

Серег человек **настоящий**: он всегда в настоящем времени.

Всегда «сейчас». «До» и «после» — его нет. Ну, не совсем, конечно, нет, но уж очень периферийно. Эпицентр его самочувствия никогда не смещается за пределы «сейчас». Прошлое (собственное прошлое) его не жалит, будущим он не томится. То есть само его время (восприятие себя во времени) лишено последовательности, следования: я вчера, я сегодня, я завтра. Но если время «непоследовательно» (постоянно настоящее, вечная пятница), последовательности, преемственности реакций просто негде прописаться. И это хорошо корреспондирует с настроенческой природой Серег.

Тут есть и хорошее. Непоследовательность-беспамятность может обернуться незлопамятностью.

На проспекте Обуховской обороны, последнем моем ленинградском биваке, была у меня соседка — пьющая бабка. Неистовая потребность в единении с людьми, в заботе о ближнем уживалась в ней со столь же неистовой потребностью в разъединении, в обиде и соре. Предметы удовлетворения этих потребностей (остальные обитатели коммунального рая) менялись местами с маятниковой регулярностью. Сегодня X друг, Y враг, завтра наоборот. При этом бабкины реакции ни на йоту не были обременены грузом воспоминаний о вчерашнем распределении любви и ненависти.

Великолепен своей рельефностью эпизод из «Плотницких рассказов» Василия Белова. Два старика-крестьянина, будучи в подпитии (но не до беспамятства) разодрались до членовредительства — и не из пустяка, а из несогласия «по существу вопроса». Наутро потрясенный рассказчик застаёт их мирно беседующими как если бы ничего не было. И мир осеняет старцев не потому, что они «поняли друг друга» — преодолели разногласия или возвысились до взаимного отпущения грехов. Нет, о вчерашнем у них сегодня не только речи нету, но и той самой памяти сердца. Былое **было**, оно осталось вчера, до сегодня просто не дожило.

Это неумышленное, как выдох, предание вчерашнего Лете, это отсутствие дум о былом, забвение словом или делом выраженного вчера отношения (не пересмотр позиции!) я наблюдаю у Серег *[тоже условного! — А. А.]* постоянно.

«Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее». Сказано Оруэллом в другой связи, но уместно и здесь. Не помня себя в прошлом, пребывая в беспамятном настоящем, Серег не управляет и своим будущим. Здесь тайна его «штрейкбрехерства» — измены самому

себе, сказал бы я, если бы его внутренняя переменная была не то чтобы более постоянной, но — выложенной на оси времени.

(Хорошо, что Серега не читал Сартра. А то бы он мне врезал: «...я держу прошлое на почтительном расстоянии»; «...я не переставал менять кожу, на ходу сбрасывая один за другим свои выползки»; «Я сделался предателем и им остался. Тщетно я вкладываю всего себя во все, что затеваю... — через минуту я отрекусь от себя»; все это — из «Слов». Но тогда я разъяснил бы Сереге, что это, братец, о другом. Хоть и не настолько о другом, чтобы от Сартровой «мгновенности» — автохарактеристика! — к Сереги-ной, как и от Сартрова культа спонтанности к Серегиному пребыванию в настроении, нельзя было построить сопоставительный мост.)

Пора, однако, кончать трепанацию Серегиного черепа. И так уж «с твоей помощью я сказал больше, чем имел в уме» (Тезтет — Сократу).

Надеюсь, в том, что я наговорил о нашем штрейкбрехере, нет снисходительности родом из высокомерия. Если же я, подчас не пряча улыбки, его «критикую», а себя в одном месте без улыбки похвалил, то это потому, что сравнение шло только в одном отношении. Как раз в том, в котором на моей социальной физиономии обнаруживаются черты, на Серегиной физиономии отсутствующие. **К сожалению** (а не к высокомерию). Дело известное, не мной открытое.

Вообще же мы с Серегой товарищи — и не только по несчастью стреноженного труда. **А какое же может быть товарищество без уважительной взаиморасположенности!** [Выделено мною. — А. А.]

<...> Анри. — Вильнюс. 12.03.83

= А. Алексеев — А. Кетегату (март 1983)

Дорогой Анри!

Большущее Тебе спасибо за нежданную «рецензию» — она же целая лирико-социологическая поэма о Сереге. Очень разделяю твою позицию. Именно так смотрю на «тип Сереги» и я. В протоколе моем такому размышлению места не нашлось, а Ты как бы за меня сказал, и лучше, чем смог бы я сам. Отныне «Серега» — **наш**, а не только мой. УжЛ — перепечатаю и буду всем показывать оба текста вместе.

Очень интересные вещи сообщаешь Ты о своем «комиссарстве» в бригаде. Похоже, что у нас с Тобой весьма близкие типы поведения. Впрочем, у меня сейчас перемены.

Серега со товарищи доламывает мой станок, а я сдал экзамен на слесарный разряд и окончательно перехожу в слесари. А где-то на первом этаже цехового здания докапывают яму под фундамент нового ПКР, только более мощного. Не удивлюсь, если мне предложат его запускать. Но тут уж мы поторгнемся материально...

Так как из Высшей профсоюзной школы культуры я теперь ушел, то «другим вариантом» является не что иное, как отказ от совместительства вообще. Соображения тут разные (не только вынужденно, хотя ВПШК и сама вдруг стала уклоняться от продолжения).

История про Советскую социологическую ассоциацию тоже получит продолжение. Пожалуй, ее можно будет назвать: «Диалоги»

(диалоги с парт. органами). Сейчас отложу эту тему ввиду незаконченности ее в тексте. А наспех излагать в письме — не хочется.

На Кубу я, кажется, все-таки уезжаю через неделю-полторы.

<...> Обнимаю. Еще раз спасибо!

Твой брат Андрей Ал., 20.03.83

P. S. Умоляю, пиши письма — мне, любимым женщинам, внукам, кому хочешь... Никто за Тебя их не напишет! А. А.

= Из «Записей для памяти» (февраль 1984)

<...> В конце ноября 1983 г. бригадир Анатолий Сыщевич предложил мне перейти из бригады Игоря Виноградова в его бригаду. Это было связано с переходом в другой цех слесаря Сергея 3-ва, моего бывшего ученика, который год назад сменил меня на координаторно-револьверном прессе. Вступление в бригаду 003 предлагалось на условиях закрепления за мной станка ПКР для постоянного и «монопольного» обслуживания и повышения дневного производственного задания с 7,0 до 9,0 руб. Я сразу же согласился.

Предложение бригадира о столь резком повышении рабочему производственного задания (что отвечает увеличению среднемесячной зарплаты с 200 до 260 руб.) вызвало противодействие со стороны администрации (старший мастер, начальник цеха). Столкнувшись с этим обстоятельством, Сыщевич попросил меня поработать в декабре с 8-рублевым заданием, притом что с января 1984 г. мне его повысят до уговоренной величины. Я сказал, что вполне полагаюсь в этом деле на бригадира.

С 1.12.83, будучи принят в состав бригады 003, я приступил к постоянной работе на ПКР.

23.12 состоялась бригадное собрание, где, при определении величины производственных заданий для каждого члена бригады на 1984 г., мне было установлено — 9,0 руб. Несколько дней спустя бригадир Сыщевич принес извинения за то, что не смог уговорить начальника цеха утвердить это бригадное решение. Данилушкин настаивает, чтобы задание мне было установлено на уровне 8,5 руб.

3.02.84, по предложению сменного мастера, я подписал документ, имеющий смысл то ли «согласия» с установленным заданием, то ли «социалистического обязательства», поскольку туда уже был вписан и «встречный план» — 8,7 руб. Фактически я могу вложить в общебригадный «котел» и больше этого плана. Но в конечном счете каждый получает не столько, сколько заработал по расценкам, а столько, сколько ему положено «по статусу» (измеряемому дневным производственным заданием; так это устроено на нашем заводе).

В итоге, мой статус на пятый год производственной карьеры определен заданием 8,5 руб. за смену, а в месяц — с учетом премиальных (30%) — 240 руб. Начинал же я со 150 руб. в мес. (повременно), что соответствует — при сдельной оплате — заданию порядка 5 руб. Рост моего статуса за четыре года не является ни слишком медленным, ни слишком быстрым, только — в отличие от большинства — скачкообразным.

Собственно, цеховое начальство не «по злобе» воспротивилось немедленному повышению задания до 9 руб. Такого «взлета» (после 7 руб. еще в ноябре 1983 г.) не утвердил бы отдел НОТиУ.

Мой бывший ученик на ПКР, правда, слесарь с почти 10-летним стажем работы в цехе, Сергей З-в имел задание 10,0 руб. Наивысшее задание (кажется, 11,5 руб.) в моей нынешней бригаде — у бригадира Сыщевича, работающего на заводе свыше десяти лет. <...>

См.: Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Тт. 1-4. СПб.: Норма, 2003-2005 (Электронная версия - <http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=216>).

См. также: Алексеев А.Н. Познание действием. Так что же такое «драматическая социология»? В журнале: Семь искусств. Наука. Культура. Словесность - <http://7iskusstv.com/2013/Nomer4/Alekseev1.php>.



Татьяна Портнова

Эволюция балетного костюма

Из фондов музея Государственного
академического Большого театра



Балетный костюм – эфемерное и вместе с тем обладающее немалой силой воздействия порождение столь же призрачного и столь же могущественного как танец, мира изобразительного искусства – результат взаимного влияния этих двух искусств.



илл. 1



илл. 2



илл. 3



илл. 4

Художники видят в нем вечно живой источник творчества, меняется их подход к этому источнику, а само время и изменяющийся танец влияют на него. Так в чем же заключена своеобразная художественно стилевая природа балетного костюма, вытекающая из его многозначной и сложной структуры? Чтобы ответить на этот вопрос и полнее понять нашу мысль, обратимся к прошлому, к истории, проследим динамику изменения, эволюцию костюма, а так же тех форм и методов, которыми пользуются при этом театральные художники, ведь без прошлого не понять настоящего и не заглянуть в будущее.

¹ Костюм к характерному танцу к балету Ромео и Джульетта.

² Костюм к балету Дон-Кихот.

³ Костюм к балету Ромео и Джульетта.

⁴ Костюм к балету Coppelia.

Большой и сложный путь прошел танцевальный костюм. Не сразу он открыл миру свои истинные и неповторимые черты. В своей первичной форме он был тесно связан с магическими культами и религиозными обрядами, с укладом жизни. Долгое время он имел устойчивые формы, сравнительно мало менявшиеся. Позднее он заключал в себе знаки принадлежности к коллективу. Через орнамент, цвет, форму костюма обозначался пол, возраст, сословие, национальность.



илл.⁵



илл.⁶

Даже в начале XVIII века еще нельзя говорить о сложившемся образе балетного костюма, как нельзя говорить о сложении школы классического танца. Только в XVIII веке танец получает более широкую и развитую драматическую эмоциональную основу, что способствует развитию балетного искусства. Ко второй половине XVIII века балет выделяется в самостоятельный жанр, появляются первые попытки исполнения танцев перед публикой – обычно во время дворцовых торжеств. Танец становится уже искусством и создание для него костюма становится частью общей над ним работы. Дворцовый, церемониальный балет той поры подчиняется вкусам и модам галантного общества. Он отличается строго установленными па, фигурами и элементами. Следуя придворному этикету, старательно и неловко шаркая ножками, танцовщицы выступали в длинных юбках, под которые поддевали каркасы, чтобы юбки распускались широким колоколом. Туфли на каблуках, тяжелые головные уборы, парики завершали неудобный костюм, сравнительно долго сдерживающий развитие техники танца. В русском изобразительном искусстве сохранилась часть произведений этой поры, посвященных танцу. В большинстве случаев они напоминают одеяния как на картинах Н. Ланкре и А. Ватто. Костюмы всегда оказываются богаче и интереснее своих ролей, т. е. задействованных непосредственно в танце. Потому что в подавляющем большинстве своем художник создавал костюм, совершенно не зная сюжета танца. Костюм не рассчитан на танцовщика, как, впрочем, не рассчитан сам танец на него. По ним можно

⁵ Н. Ланкре Танцовщица М. Камарго. Фрагмент

⁶ Н. Ланкре Танцовщица М. Камарго.

проследить, что танец состоял преимущественно из смены изящных поз и телодвижений. Только М. Комарго, сохранив придворный фасон укоротила юбку и отбросила каблуки, что дало возможность ввести в танец новое движение – антраша.

Однако костюмы блуждающих по сцене персонажей, несмотря на блистательную актерскую работу, так и не выходят за рамки своей пышной тяжести, экстравагантной изощренности, театрализованной манекенности. Напрасно мы стали бы искать в рисунке костюмов внешнее сходство с танцовщиком. Художники к этому не стремились. Костюмы оказываются внутренне неподвижны, глухи к образу, как бы отодвинуты от него. Они, в сущности, остаются для нас лишь образом, воскрешающим нравы и обычаи ушедшей эпохи.

Балет постепенно утверждается как крупное самостоятельное явление. Критика XVIII века провозгласила его равноправным в ряду смежных искусств. Во второй половине XVIII в. формируется Петербургский и Московский балет, вслед за ними в России появляется крепостной балет. Для помещиков, живших в глуши, театр становился средством увеселения. С крепостными артистами работают крупные балетмейстеры – русские и иностранные. Появляются отдельные артистические индивидуальности, которые привлекают внимание художников. Так, интересны костюмы Т. Шлыковой – Гранатовой. Художник пытался проникнуть во внутренний мир героини и найти, угадать в нем черты ее будущего танца. Однако в костюмах нередко проскальзывали схематичность, одноплановость образов. Не всегда удавалось художникам выразить и ярко показать характеры действующих лиц, в достаточной мере исследовать изобразительные возможности балета. И все же этот период позволяет говорить о костюме как об определенном шаге в его развитии и взаимодействии изобразительного искусства и танца.

В первой половине XIX в. русский балетный театр готовился стать одним из лучших в мире. В это время были созданы костюмы для А. Истоминой в образе Флоры, Е. Колосовой в образе Дианы, Ф. Гюлень-Сор в образе Золушки, Е. Телешевой, А. Глушковского, Н. Гольц. Обращает на себя внимание реформа балетного костюма, произведенная Ш. Дидло, в результате которой было введено трико, которое давало большую свободу движениям. Постепенно Дидло обогащает новыми выразительными возможностями женский танец, намечаются новые элементы дуэтного танца (адажио) и начинают применяться широкие разнообразные прыжки и полеты. В искусстве выдающейся танцовщицы Пушкинской поры А. Истоминой отразились навыки классицизма и предвестия восходящего романтизма. Костюм Истоминой – богини цветов – Флоры отмечен Францией неизвестного мастера. Делая его, художнику, безусловно, хотелось поискать форму, развитие темы романтического костюма. Полупышная пачка подчеркивает совершенство форм, а ее струящиеся складки и венок на голове придают костюму изумительный декоративный эффект. Однако настоящее осознание творческой индивидуальности этого очень своеобразного тонкого, неуловимого, таинственного стиля в балете пришло позже, но тот мотив, на котором

основан костюм Истоминой, связан с этим мысленным проникновением в завтрашний день.

Новая страница в истории развития балетного костюма открывается с появлением «Сильфиды», знаменующей собой начало эры романтизма. Создателей романтических балетов интересовала духовная жизнь, их привлекали характеры возвышенные, способные тонко и глубоко чувствовать.



илл.⁷



илл.⁸



илл.⁹

Романтические сюжеты рождали новые элементы в танцевальном языке. Именно в эту эпоху балерина встала на пальцы, или, как мы теперь говорим, на пуанты, чтобы создать у зрителя впечатление легкости, парения над землей, вводятся полетные прыжки и высокие поддержки, формируются многие движения, делающие танец воздушным и легким. Усиление внимания балетмейстеров к романтической тональности образа привело к повышению мастерства художников и расширению средств выразительности искусства балетного костюма. В белых длинных пачках, чей изящный облик остался запечатленным на гравюрах и живописи рождается тонкий, хрустальный образ Сильфиды, олицетворяющий неуловимую и хрупкую мечту о красоте девушки, погибшей от соприкосновения с враждебным миром. Неоднократно возвращаясь на сцене, этот образ приобретает все более углубленный характер. Но уже в начале своей сценической жизни прозрачный костюм, выполненный художником, отличается стремлением разгадать тему, актерский образ, вообще природу балета.

Первоначальное развитие балетного костюма интересной, но к сожалению, малоисследованной страницей вошло в историю искусства. Да и имена художников в большинстве случаев остались для нас неизвестными, таковой стала их незавидная участь.

Уходят художники, с печальной неуловимостью уводит их время. На смену им приходят другие, уже мастера-профессионалы. Перед нами разворачивается опять широкий спектр идей и проблем, занимавших умы тех, кто задумывался о путях и судьбах балетного искусства. Театрально-

⁷ Крепостной театр в Останкино.

⁸ В. Тропинин Портрет танцовщицы Т.С. Карпаковой. 1818

⁹ А. Истомина в образе Флоры.

декорационное искусство теперь выделяются в своеобразную самостоятельную область. Однако не будем забегать вперед, опережая события, а попытаемся понять, что же может дать художник-профессионал балету?



илл¹⁰



илл¹¹



илл¹²



илл¹³



илл¹⁴



илл¹⁵



илл¹⁶



илл¹⁷



илл¹⁸

¹⁰ Романтический балет.

¹¹ А. Шалон Танцовщицы королевского балета. Па-де-катр. 1840.

¹² М. Тальони Сильфида.

¹³ М. Тальони в балете Зефир и Флора. Ш. Дидло

¹⁴ Ж. Брандар. К. Гризи в балете Жизель Литогр.

¹⁵ К. Гризи и Ж. Перро. Эсмеральда. Худ. Дж. Бувер. 1844.

¹⁶ Ф. Черрито.

¹⁷ Ф. Черрито.

¹⁸ М.Тальони,Ф.Эльслер, Ф.Черрито. Л.Гран. Гравюра «Три грации».

Костюм в балете – вторая оболочка танцовщика, нечто неотделимое от его существа, видимый элемент его театрального образа, который должен цельно сливаться с ним. Костюм – это главное средство для обогащения выразительности мимики, жеста, и конечно же прежде всего движения, пластики артиста, это средство сделать всю фигуру исполнителя более понятной и звучащей сообразно творимому им балетному образу. Не всякий художник может быть сценографом, создавать костюмы к балетному спектаклю и не каждый сценограф может работать над любым хореографическим произведением. Здесь необходимы близкие точки соприкосновения между художником и балетмейстером, художником и танцовщиком. Художник-сценограф по природе своего творчества должен быть подготовлен к восприятию и анализу балетного спектакля лучше, чем обычный художник, он должен способствовать открытию своим творчеством спектакля и прежде всего образа персонажей, которые при восприятии иногда ускользают благодаря известной условности искусства хореографии. Художник должен прогнозировать. Он должен высказывать свою концепцию, и если она художественна, то найдет отклик у большинства.

Есть художники, работающие над балетным костюмом как живописцы, а есть как скульпторы. Одних привлекает цвет, декоративное начало, других интересует объемность изображения, натуралистичность в передаче всех оттенков костюма. Такое разделение, конечно, довольно условно, ведь балет есть синтез многих искусств. Синтез этот определяется не только тем, что изобразительное искусство является компонентом хореографического произведения. Хотя у каждого из этих искусств свои выразительные средства и возможности, они родственны в данном случае своими общими идейно-художественными задачами. Тем не менее, качества двух искусств определяются их диалектическими противоположностями. Балет с одной стороны, наиболее безусловное искусство, ибо это действие, танец реального человека в реальной обстановке сцены. Эскиз костюма же всегда первоначально изображение, всегда показ, вид его на плоскости листа, только после этого он может получить вторую уже реальную жизнь непосредственно в балетном спектакле. Поэтому эскиз костюма, принадлежащий будь то художнику, мыслящему живописно или скульптурно, в итоге должен обладать способностью впечатлять своей целостностью, эстетически восприниматься именно в этом качестве, быть прообразом будущего спектакля, которая ярко должна обнаруживаться, адекватно отражаясь в нашей психике, вызывая соответствующую эмоциональную реакцию. Как же велико значение всякого рода стыков между различными искусствами, балетный костюм остается специфической отраслью искусствознания, в задачу которого входит и специальное исследование его как произведения, имеющего самостоятельную художественную ценность.

Эскиз костюма часто выходит за пределы обычной сценографии, воспринимается не только как иллюстрация или подробный материал, но и как произведение искусства, ориентированное на эмоциональное восприятие, на сопереживание с образом вне его связи с балетным спектаклем. Недаром театральные и художественные музеи мира

собирают и хранят их как уникальные экспонаты. Они же становятся достоянием искусствоведов, потому что любой костюм, вне зависимости от выразительных и изобразительных средств, используемых художником, несет в себе научную информацию. Каждая деталь, осторожно проработанная, призванная сохранить характер и дух спектакля и всей эпохи, приобретает важное этнографическое и познавательное значение. Так, балет эпохи М. Тальони для нас сейчас, конечно, легенда. Время, казалось бы, бесследно стерло детали, подробности ее танца. Однако по эскизам костюмов мы пытаемся восстановить эту легенду давно минувших лет. Всматриваясь в элементы костюма, рисунок поз, характер движения мы пытаемся осмыслить увиденное, разобраться в событиях того или иного вида балетного па, техники танца, пытаемся найти ответ на волнующие нас вопросы.



илл.¹⁹

Одним из бережных хранителей театральных, в том числе и балетных реликвий является Музей Большого театра (ГАБТ). Основные коллекции его рассказывают об этапах становления и развития русского балета с конца XIX в. до наших дней. С ним связаны страницы изобразительной летописи главных событий классического танца московской балетной школы.

Интересна коллекция костюмов конца XIX начала XX века представляющая образцы сценографии того времени. Тут и работы А. Бенуа, К. Коровина, В. Дьячкова, Е. Пономарева, К. Вальца, А. Арапова, Г. Голова.

Как известно, начало нового века было ознаменовано новым этапом, в развитии русского балета произошла революция, решительный скачок его в новое качество. Балет – искусство движущихся образов, должен освободиться от академизма, должен найти свой собственный стилиевой путь – вот идея, которая тогда в начале века носилась в воздухе и которую деятели искусств стали пылко защищать и пропагандировать. Костюм, в сущности, новое удивительное художественное качество балетного спектакля сразу завоевало прочное место в ряду выразительных средств А. Горского и М. Фокина.

¹⁹ Экспонаты музея ГАБТ.

Уже первые их балетмейстерские работы показали, как огромно значение изобразительного искусства, как много несет с собой в спектакль наряду с музыкальным, художественное оформление. Это позволит им в неизмеримо большем диапазоне, с большей глубиной охватить идею русского балета и подать повед М. Фокину для собственного высказывания: *«Насколько был он богаче, разнообразнее и прекраснее, если бы дремлющие в нем силы проснулись, расторгли замкнутый круг традиций, вдохнули бы чистым воздухом жизни, соприкоснулись бы с искусством всех времен и всех народов и стали бы доступны влиянию всех красот, до которых только поднялась мечта человека!»*



илл. 20

илл. 21

В композиционном строе балетов «Петрушка», «Павильон Армады», «Весна священная», «Жар-Птица», «Дон-Кихот», «Конек-Горбунук», «Корсар» и др. чувствуются хореографы, мыслящие с помощью сложных сочетаний и зрительных образов. Даже беглый просмотр эскизов костюмов разных художников позволяет увидеть нечто общее и, прежде всего – свободный полет воображения. Своим героям и художнику балетмейстер дает возможность ускользнуть от тягостного царства однообразия.

Балет для художественного направления «Мир искусства» всегда был импульсом для творчества. Искания художников, входящих в эту группу: А. Бенуа, Л. Бакста, Б. Анисфельда, А. Головина, Н. Рериха и др. отличаются широтой и разноплановостью и являются одной из наиболее характерных примет тех лет. Оформление балета у них стало, как ни парадоксально, «балетизацией» графики и живописи. Порой мы обнаруживаем на картинах «мирискусников» совсем не посвященных балету изображение, предвосхищающее танец, те его свойства, которые казалось бы только в живом танце запечатлеваются. А эскизы костюмов у них всегда живее и подвижнее, чем те, что мы видели раньше. Художники

²⁰ В. Дьячков эскиз костюма Одетты. 2-й акт. Большой театр. 1919.

²¹ В. Дьячков Эскиз костюма Одиллии к балету Лебединое озеро. Большой театр. 1919.

будят в костюме актера, импровизатора, заставляют костюм жить и играть «изнутри». Минуты творчества для них на бумаге есть уже как на сцене минуты актерского вдохновения. Костюм летит и танцует в пространстве сцены вместе с артистом, становится одним из действующих лиц. Он переживает те же чувства, что и герои. Он не просто фиксирует их состояние, но сам находится в этом состоянии.

Одновременно с постижением существа образа, его внутреннего мира, «мирискусники» искали внешний рисунок роли. Они всегда придавали большое значение интонации жеста и мимике, справедливо считая, что только органичным соединением физического действия и рисунка позы можно передать содержание образа. Все же акцент на изобразительную, пластическую сторону костюма стал яркой отличительной чертой их сценографии. Именно поэтому эскизы костюмов Л. Бакста, А. Бенуа, С. Судейкина, А. Головина с их рафинированной утонченностью, «фрусалочьей» эстетикой очертаний, линейностью живописи были так созвучны самому балету рубежа веков, стремящемуся к раскрепощенности движений и стилизации поз. Линия «мирискусников» столь же легковесна, как фигура танца. М. Фокин отмечал, что реформа костюма и реформа танца нераздельны. Балет учит художника видеть пластику тела, а эскиз костюма в свою очередь, открывает для танцовщика огромные выразительные возможности его тела. И не только музыка линий, ритмов и узоров костюма созвучны балету, но сам балет близок эстетическому сознанию художников «Мира искусства», которое живет величайшей страстностью, нередко переходящей в стихийную чувственность.

Общая линия художественной направленности «мирискусников» не мешает нам раскрыть и личных творческих завоеваний разных художников. В музее большого театра хранятся эскизы костюмов только одного художника – члена, группы «Мир искусства» – А. Бенуа и К. Коровина, формально не входящего в объединение, но бывшего неизменным участником выставок этого направления. А между тем они оба заслуживают самого заинтересованного внимания.

Это мастера редкостные: серьезные, тонкие с очень своеобразным индивидуальным видением мира, глубочайшей пластической культурой, тонким пониманием самой сути поэтики балетного образа.

А. Бенуа представлен оформлением одного балета «Петрушка», но этим балетом он вписал новую яркую страницу в декорационное искусство конца XIX начала XX века, т. к. здесь он выступил не только в качестве декоратора, но и автора либретто.

Именно А. Бенуа был обязан успех «Русских балетных сезонов» в Париже. Критика много писала о пластической организации костюмов и декораций, об удивительной красоте изобразительного решения спектакля. Всмотревшись сейчас в эскизы художника, вспоминаешь выразительное и точное высказывание Т. Дрозд: *«Блестящий эрудит и выдумщик, он в каждой своей работе для театра как бы творил новый реально нереальный мир, насыщенный персонажами, порожденный безудержной фантазией и истинно «гармоническим» воображением».*

Несомненно, работы Бенуа в «Петрушке» в большей мере была направлена к тому, чтобы достигнуть внешней выразительности, зрелищности в передаче образов балета – «толпы». Тема балета, естественно, повлияла на поэтику изобразительного оформления.



Илл. 22



Илл. 23



Илл. 24



Илл. 25



Илл. 26



Илл. 27

В многочисленных эскизах к «Петрушке» перед нами открывается удивительный мир авторского либретто, с его пьянящей горечью и сладкой болью.

В каждом костюме отчетливо вырисовывается определенный социально-нравственный тип, порожденный эпохой. Здесь и игрушечный, но драматичный мир главных героев – Петрушки, Арапа, Балерины и образы сочного, колоритного народного балагана: уличные танцовщицы и

²² Л. Бакст Эскиз костюма к балету Бабочки. Р. Шумана.

²³ Л. Бакст Фея кукол. Эскиз костюма к балету Й. Байера «Фея кукол». 1903.

²⁴ Л. Бакст Эскиз костюма к балету «Фея кукол». Й. Байера. 1903. Музей театрального и музыкального искусства. С. Петербург.

²⁵ Л. Бакст Костюм Дианы для А. Павловой. 1910.

²⁶ А. Головин. Эскиз костюма к балету Аргонская хота. 19161.

²⁷ А. Головин. Эскиз костюма для Т. Карсавиной в роли Жар-птицы 1910.

фокусники, шарманщики и цыганки, ряженые и мастеровые, кучера и извозчики, гусары и купцы. Наблюдая, фиксируя, собирал воедино – в целостную панораму как будто незначительные случайные детали Бенуа придаст образам костюмов собственный авторский «тембр» звучания. В них проявилось и его умение передавать психологические состояния, отношения главных действующих лиц и многообразные нюансы народной психики. Через весь спектакль художник провел определенное эмоциональное состояние, сохранил от одного варианта оформления к другому (1911 и 1921 гг.).



илл. 28



илл. 29



илл. 30



илл. 31



илл. 32



илл. 33

²⁸ Н. Гончарова Эскиз костюма Принцессы-Птицы к балету «Жар-птица». 1920 г.

²⁹ А. Бенуа Эскиз костюма к балету «Павильон Армиды» Н. Черепнина. 1907. ГРМ.

³⁰ А. Бенуа Эскиз костюма маркиза к балету «Павильон Армиды» Н. Черепнина. 1909.

³¹ А. Павлова и В. Нижинский в балете «Павильон Армиды».

³² А. Бенуа Эскиз костюма Снежинки к балету «Щелкунчик».

³³ А. Бенуа Коломбина. Эскиз костюма к балету «Карнавал» Р. Шумана. 1915.

Костюм Балерины подкупает непосредственностью, очарованием только что пробуждающейся женственности, бесчисленностью, в которой указывается природная пластичность Т. Карсавиной. В костюме Петрушки рождается нескладный одинокий образ В. Нижинского, а костюм Арапа, в противовес, сразу рисует облик ленивого и тупого героя. Можно сказать, что эскизы костюмов главных персонажей как бы противопоставлены толпе, костюмы толпы же складываются в хаотичный, почти лишенный какой бы то ни было логики ряд, композицию темного на светлом. Однако они живут в полном единстве, дополняя и обогащая друг друга. Это и становится визуальной моделью оформления балетного спектакля А. Бенуа



Илл. 34



Илл. 35



Илл. 36



Илл. 37

³⁴ А. Бенуа Эскиз костюма Балерины к балету «Петрушка» И. Стравинского .1911. Музей ГАБТ.

³⁵ А. Бенуа Эскиз костюма Петрушки. 1911.

³⁶ А. Бенуа Эскиз костюма уличной танцовщицы к балету петрушка. 1917.

К. Коровин в отличие от Бенуа формально отходит от эстетики «мирискусников», он стремится создать свой мир балетного костюма, со своими принципами, своими образными элементами, своей, если хотите, мелодикой. «Мирискусники» увлекли его стремлением к созданию синтетического балетного театра, стремлением к единству танца и живописи, сознанием образа, когда костюм строится на выразительности пластики жеста, широком использовании пантомимы. Эти черты есть в работах Коровина. Однако цвет и колорит, яркие красочные пятна он делает центром композиции своих балетных костюмов. Живопись Коровина совершенно иная, более пышная, более разнообразная и пульсирующая, несущая в себе импрессионистическое начало. Это художник бурного, поистине неукротимого темперамента, художник ярких страстей и открытой эмоциональности, промежуточных чувств, он, кажется не знает. Костюмы К. Коровина стали подлинным украшением музея. Музей содержит произведения художника к более десяти балетам, самым разнообразным по стилю, неравномерным, несимметричным по ритму. В этом естественном, незаданном течении целого калейдоскопа костюмов, в свободном соседстве настроений, как и в разноплановости изобразительных решений от пылких колоритных страстей «Дон-Кихота», блеска восточной роскоши «Корсара» до романтической «Шубертины» и сказочного «Аленького цветочка» – поэтика балетного творчества художника, его настроение и мысль.

В основном над каждым своим оформлением Коровин работал совместно с В. Дьячковым. О нем И. Грабарь писал: *«Дьячков был мастером вдвойне. Его рисунки, далекие от приблизительности и разгильдяйской отсебятины, уже сами по себе – большое искусство, волнующее и радующее изобразительностью характеристик, изысканностью линий и слаженностью ярких красок. Головы его персонажей не просто пятна и общие места, а настоящие портреты действующих лиц, по которым гримеру легко и весело работать. Сказки его костюмов, банты, пряжки, шляпы, обувь почувствованы не только пятнами, а и осязательно, по ним портному ничего не стоит безошибочно получить нужный фасон».*

Такого серьезного, взаимообогащающего сотрудничества двух художников история искусства почти не знала. Это была огромная работа по превращению плоского эскиза на бумаге в объемный костюм. Их работы глубоко своеобразны по органическому сочетанию талантов. Приступая к работе они прежде всего стремились постигнуть внутренний мир героя, найти и вызвать в себе те душевные движения, которыми живет образ. Поэтому воссоздаваемые ими костюмы героев к «Раймонде» 1908, «Саламбо» 1909, «Корсару» 1911-1912, «Дочери Гудулы» 1902, «Жар-птице» 1919, «Шубертиане» 1913, «Дон-Кихоту» 1906 приобретают большую силу эмоционального воздействия.

Оформление балетов: «Золотая рыбка» 1903, «Конек-Горбунок» 1901, «Аленький цветочек», «Щелкунчик» 1914 можно объединить в своеобразную группу. Объединяет их не единый сюжет и действующие

³⁷ А. Бенуа Эскиз костюма Арапа к балету «Петрушка». 1911.

лица, а внутренняя сказочная детская тема. Эта тема впоследствии в советский период получит в творчестве других художников глубокое осмысление и этический размах.

Балетный костюм советской эпохи, безусловно, заслуживает самого серьезного внимания. Этот период смело можно назвать наиболее значительным и плодотворным за всю историю театрально-декорационного искусства. Балетный костюм, накопив огромный опыт постижения танцевальных образов, разумеется, дал импульс его дальнейшему продолжению. Художники советского театра развивают традиции А. Бенуа, Л. Бакста, А. Головина, Н. Рериха и др.



Илл. 38



Илл. 39



Илл. 40



Илл. 41



Илл. 42



Илл. 43

В. Ходасевич, М. Бобышев, Ф. Федоровский, В. Дмитриев, М. Курилко, П. Вильямс, В. Рындин, С. Вирсаладзе многому научились у мирискусников. Так, они опираются на единство и содружество балета и живопись. Их творчество невозможно рассматривать изолированно от

³⁸ К. Коровин Полонез. 1934.

³⁹ К. Коровин Эскиз костюма к балету Р. Щедрина «Конек-Горбунок». 1914. Большой театр.

⁴⁰ К. Коровин Эскиз костюма к балету Р. Щедрина «Конек-Горбунок».

⁴¹ К. Коровин Эскиз костюма жены хана для С. Федоровой. Балет Р. Щедрина Конек-Горбунок. 1901.

⁴² К. Коровин Эскиз костюма жены Хана к балету Р. Щедрина «Конек-Горбунок».

⁴³ К. Коровин Костюм к балету «Дон-Кихот» Л. Минкуса. Музей ГГАБТ.

балетмейстерской концепции. Но с другой стороны, понимание образа костюма невозможно без опоры на их собственное мироощущение. Они обладают счастливой способностью точно «привязывать» костюм к конкретному пространству и времени.



Илл. 44



Илл. 45



Илл. 46



Илл. 47



Илл. 48



Илл. 49

⁴⁴ В. Ходасевич Эскиз костюма к балету Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан». 1944.

⁴⁵ П. Вильямс Эскиз костюма Принца к балету С. Прокофьева «Золушка». 1945.

⁴⁶ Ф. Федоровский Эскиз костюма Саломея.

⁴⁷ Ф. Федоровский Эскиз костюма Одетты к балету «Лебединое озеро». П. Чайковского. ГАБТ. 1921.

⁴⁸ С. Самохвалов Эскиз костюма Одилии к балету «Лебединое озеро». Большой театр. 1937.

⁴⁹ С. Самохвалов Эскиз костюма Ротбарта к балету «Лебединое озеро». Большой театр. 1952.

Средством для этого служит пластика и психологический рисунок роли. Знание партии, тесная связь с ней – один из главных источников и побудителей их творчества.

В балетном костюме средствами изображения художникам удалось решить и какие-то важные драматургические моменты. Труд их уже сейчас обратился в бесценную летопись советского балета. Рассматривая самую большую коллекцию костюмов советских художников, принадлежащую музею ГАБТ, мы молчаливо признаем их превосходство, их особый статус в иерархии сценографической культуры.

Мир стал сложнее, позднее появились новые спектакли и образы. Осмыслить их и отобразить в искусстве во всей полноте и многогранности предстоит мастерам балетного костюма. Они работают в самых разных ракурсах: обобщенно-монументальном и камерно-психологическим, лирическим и трагедийном, историко-документальном и притчево-метафорическом. Можно проследить, как у этих мастеров от спектакля к спектаклю, от эскиза к эскизу не только растет профессиональное умение, но и обозначаются пристрастия к своим темам и вырабатывается собственный стиль и манера рисунка, способ организации образа балетного костюма.



илл. 50



илл. 51

Незаурядность, разносторонность богато одаренной природы не делает их, однако, неземными, фантастическими фигурами, напротив, они выступают типичными представлениями театральной эпохи на определенном этапе ее исторического развития.

Творчество ряда художников в 1920 годы в области балетного костюма дает богатый материал для разговора о подлинном новаторстве и

⁵⁰ С. Вирсаладзе Аврора. Эскиз костюмов к балету Спящая красавица. 1973. Большой театр.

⁵¹ С. Вирсаладзе Принц. Эскиз костюма к балету «Спящая красавица».

о смелых экспериментах В. Эрдману в «Иосифе Прекрасном» 1925 и Н. Мусатову в «Смерче» (1927) хотелось отойти от стереотипа и подать костюм не банально. Под их кистью он попадает в невиданную ранее трансформацию. Видеть мир не уравновешенным, но привлекательным, видеть дисгармонию, а не гармонию – редкое, но отмечающее их творчество качество. Безусловно, это качество, этот процесс идет не только от самих художников, но и от того, что они испытывают значительное влияние балетмейстера – К. Голейзовского. Костюмы изначально несут в себе заданную, запрограммированную, некую идеальную схему. Художники используют выразительность геометрических четных форм, контурной линии, звучность светлых и темных пятен. В движении костюмов есть что-то механическое. Они почти симметричны и просты как чертеж. Мастерство художников выверено, как работа танцовщика. Фантазмагория воображения К. Голейзовского неожиданно переходит в графическую строгость мышления художника, идущего от плакатной графики 1920 годов с ее жесткостью и лапидарностью, тяготением к конструктивизму, ищущего за внешним образом костюма его глубинный смысл.



илл. 52



илл. 53



илл. 54



илл. 55



илл. 56

⁵² Сценические костюмы Г. Улановой («Жизель», «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан»).

⁵³ Костюм Г. Улановой Шопениана.

⁵⁴ Костюм Жизели 2-й акт. Н. Бессмертной. Худ. С. Самохвалов.

⁵⁵ Костюм Е. Максимовой. Балет «Дон-Кихот».

⁵⁶ Костюм Е. Максимовой. Балет «Дон-Кихот».

В советское время появляются так называемые «индивидуальные» костюмы. Подобно тому как «мирискусники» создавали костюмы для Т. Карсавиной, А. Павловой, В. Нижинского, советские художники работают над костюмом, ориентированным на Е. Гельцер, М. Семенову, Г. Уланову, М. Плисецкую, Н. Бессмертнову. Главное, к чему стремится балетный костюм – это к личности, это дать возможность артисту выявить свою индивидуальность. Из набора различных предметов костюма, дополнений и украшений, который должен выстроить такой ансамбль, который соответствовал бы его внешности, темпераменту, понятию балетного образа.

Индивидуализация костюма связана и с расширением самих тем и образов балетных спектаклей.

Так, в советский период широкое распространение получает героическая тема в балете, нашедшая отражение в «Красном маке» 1927 г. в оформлении М. Курилко, «Пламени Парижа» 1933 г. В. Дмитриева, «Медном всаднике» 1949 г. М. Бобышева, «Кавказском пленнике» 1938 г. П. Вильямса. У каждого из них свое индивидуальное понимание героического образа, стиля костюма. Их модели разнообразны по характеру и форме. Но в наброске всех костюмов чувствуется большая историческая и бытовая точность. В оформлении названных балетов совершенно естественно сочетаются, живут одна в другой две линии, два плана, два образа: героический мужской образ и лирический женский: Параша и Евгений, Тао-Хоа и капитан корабля, черкешенка и пленник. Художники без всяких изменений принимают условную реальность этих балетов, сливаются с ней. Их костюмы реальные, совсем не балетного классического типа действуют в полном согласии с естественными проявлениями человеческих характеров. Судьбы героев, переплетаясь, складываются в полифоническую, масштабную картину общей народной судьбы.

В советский период среди прочих костюмов существуют образы, раскрепощающие фантазию художника, переносящие его в мир, законом которого является нереальность и выдумка. В творчестве театральных художников выявляются две основные линии такого плана, часто переплетающиеся между собой: сказочная и лирико-поэтическая. Прежде всего она преобладает в таких костюмных образах, как «Лебединое озеро» 1937 г. С. Самохвалова, «Спящая красавица» 1936 г. И. Рабиновича, «Идиллия» 1956 г. В. Рындина, «Ромео и Джульетта» 1946 г. П. Вильямса «Алые паруса» 1942 г. П. Вильямса. Есть что-то родственное между костюмами этой сказочной темы. Различные сюжеты, жанры, исполнители ролей, но общая тональность и воздух словно бы один и тот же, что вероятно можно объяснить полным доверием художников к маленьким зрителям, к их фантазии и воображению, к их способности самостоятельно видеть и понимать. Детство каждого из нас, в том числе и художника, начиналось со сказки. Их костюмы словно уходят в мир детства, они изначально окрашены причудливым светом мечты и являют собой сам образ с его полнотой чувств и безошибочностью чужья. Безупречная чистота цвета, незамутненная нежность красок и неожиданность красоты, найденной в деталях – гирляндах или

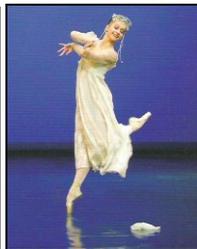
разноцветных лампочках, горящих при вечернем свете, в туманном или сером утре или в взволнованном море – все это пришло в костюмы от авторской выдумки, самостоятельности и уверенности в решении специфических вопросов, связанных с персонажами, их движением на сцене. Эти мотивы, найденные художниками, украшают костюмы, создают атмосферу праздника радости, сказочной феерии и в то же время придают им очень ясные и осязаемые формы.



илл. 57



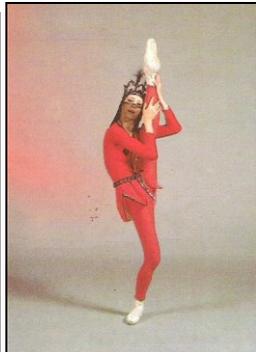
илл. 58



илл. 59



илл. 60



илл. 61



илл. 62

Поэтическое, романтическое восприятие, костюма – третье, названное нами выше направление отечественной сценографии, тесно связано с интерпретацией сказочного костюма. Но в этих костюмах нет излишней декоративности, нет пейзажных добавлений, все держится на безупречной форме, на сбалансированности пропорций. В них есть

⁵⁷ М. Былова А. Адан «Жизель».

⁵⁸ И. Петрова - Жизель.

⁵⁹ А. Тимофеева - Русский танец. Театр Кремлевский балет.

⁶⁰ В. Поташкина - Испанский танец. Московский театр балета классической хореографии.

⁶¹ Н. Семизорова - А. Меликов «Легенда о любви». Большой театр.

⁶² Ю.Посохов.

яркость цветового пятна, но есть и сдержанность и чистота линий, которые привычно ассоциируются с понятием классики. Это костюмы к спектаклям, которые практически никогда не выходили из балетной моды. К ним же примыкают «Дон-Кихот» 1940 г. В. Рындина, «Эсмеральда» 1926 г. М. Курилко, «Тщетная предосторожность» 1923 г. Ф. Федоровского.

В советскую эпоху с развитием техники танца они предстают перед нами в новом облике. Изменились, прежде всего, их пропорции. Акцент, который раньше делался на узкой талии и пышной юбке сейчас стал не столь заметен. Пачки, доходящие до колен, значительно укоротились, в тюниковых балетах одежда примыкает к фигуре ровно настолько, чтобы форма костюма оставалась достаточно свободной для любых движений, легко струилась вдоль тела, или грациозно облегла фигуру.

Так, в недрах отечественного балетного театра создавался более совершенный тип танцовщика – легкий, гибкий, пластичный. Поэтому художников часто привлекает интерпретация костюма, основанная на пластичной выразительности, на всей ее самодостаточной ценности. Попутно отметим, что будь-то в «Дон-Кихоте» или «Эсмеральде», «Лебедином озере» или «Золушке» всегда присутствуют характерные костюмы – эмоциональные портреты кордебалета, в которых художник использует все возможные средства, чтобы увеличить информационную емкость образов. Они оживляют костюмы главных героев и позволяют балетмейстеру передать среду и фон происходящего действия. Русские художники умело пользовались своим театральным опытом и опытом прошлого, с их помощью находили подлинно интересные изобразительные костюмные решения. Явившись важной начальной вехой в XVIII веке на пути становления балетного театра балетный костюм подвластный всем переменам, которые происходят в технике танца, сохраняет особую эмоциональную силу, живет по законам времени и по законам исторической памяти.



Павел Полян

Жил певчий дрозд...

Памяти Николая Поболя

Материалы из готовящейся книги*



«**С**обеседник на пиру. Памяти Николая Поболя» - под таким названием в издательстве «ОГИ» и под грифом Мандельштамовского общества выходит сборник, посвященный памяти Николая Поболя, умершего 27 января 2013 года, на 74-м году жизни.

Его знали многие, очень многие. И в семьдесят с гаком не то, что отчество – даже полное имя как-то плохо лепилось к нему. Ибо не было в мире человека более общительного и доброжелательного, более открытого и заинтересованного в дружеской беседе и застолье, чем Коля Поболь. Как не было интереснее и рассказчика – ведь за жизнь он ни разу не уклонился ни от чего, что было или хотя бы показалось ему заслуживающим внимания:

*Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир...*

На нас – одновременно – надвигаются не только глобальное потепление, но и глобальное замерзание – душ и бескорыстных человеческих отношений. Он противостоял этой ледниковой эпохе уже одним фактом своего существования. Теплый, светлый и мирящий других человек – он был мостиком и лесенкой между людьми.

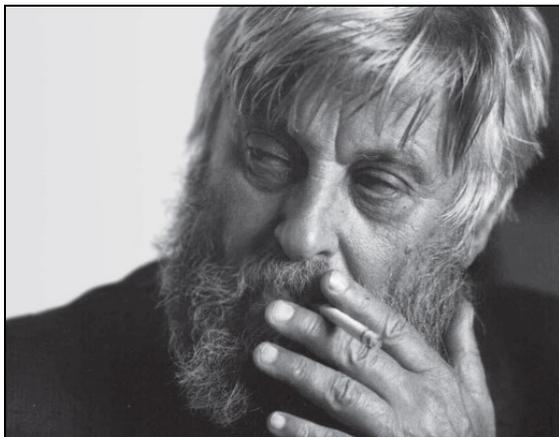
Свою натуральную жизненную философию, – она же жизненная практика, – Коля формулировал примерно так: «Жизнь прекрасна – так порадуемся ей!». Понятно, что кредо это столь же оптимистическое, сколь и конформистское.

Был у Коли редчайший дар извлекать корни радости и красоты бытия из самых невероятных ситуаций. В сочетании с природным обаянием, громадными знаниями, жизненным опытом и живым юмором

* Материалы из готовящейся книги "Собеседник на пиру" предоставил ее составитель Павел Полян. В подборке - стихи и заметка Н.Поболя, стихи З. Палвановой, П. Нерлера и С. Дыманта, воспоминания А.Битова, Н. Котрелева, В. Перельмутера, О. Хлебникова и др.

такое кредо делало Колю на редкость притягательным и желанным собеседником, – и тем, кого называют: легкий человек.

Не удивительно, что судьба одарила его и «легкой рукой». Найти в фонде конвойных войск РГВА нужный тебе эшелон – ничуть не проще, чем иголку в стоге сена. А Коля нашел искомое – «мандельштамовский эшелон» 1938 года – и буквально со второй попытки!



Николай Поболь

В сущности, главным Колиным призванием и амплуа было – быть читателем, в особенности, читателем поэзии. Читал он жадно: внутри у него всегда была настроена система строгих эстетических и исторических критериев, позволявшая точно и тонко реагировать на прочитанное. Скрипичным ключом и мембраной этой системы был для него Осип Мандельштам, чьи стихи Коля знал наизусть и мог читать часами, как, впрочем, и стихи многих других поэтов.

Коля стоял у истоков Мандельштамовского общества, был членом его Совета и неизменным участником почти всех заседаний и дискуссий о поэте, душой и инициатором всех пиров и посиделок в его честь. В обществе хранится собранная им специфическая коллекция – бутылки из-под всех напитков, упомянутых Осипом Эмильевичем в стихах и прозе.

Вся Колина жизнь так или иначе была связана со словом и с книгой – с самиздатовой или с официальной, не важно. К нескольким десяткам книг он имел самое непосредственное отношение – как составитель или редактор, как автор или соавтор текстов статей, рецензий, публикаций, комментариев или указателей.

Из архивно-издательских проектов с Колиным участием особо выделю следующие пять – сборник документов «Сталинские депортации. 1918 – 1953» («Демократия» – «Материк», 2005), сборник документов «Вайнахский этнос и имперская власть» (РОССПЭН, 2010), книгу Павла

Нерлера «Слово и "Дело" Осипа Мандельштама» («Петровский парк» – «Новая газета», 2010), серию «Человек на обочине войны» (РОССПЭН, 2006 – 2010) и, наконец, рубрику «Ваши документы!» в «Новой газете» в 2009-2010 гг.

Все это делает издание в память о Коле **именно книги** естественной и как бы напрашивающейся идеей.

Он почти никогда и ни с кем не ссорился – был истинным гением дружбы, легкой и верной, немного прокуренной. А курил Коля практически всегда, без перерыва (до четырех пачек в день!), изводя на это щедрый родительский дар – поистине богатырское здоровье.

У него было множество автономных дружеских кругов. В молодости он дружил с архитекторами, художниками и музыкантами (еще в хрущевскую оттепель «отвечал» за живопись в одном из первых клубов московской интеллигенции – клубе «Музыка» при гостинице «Юность»), в зрелости – с ними же плюс географы и поэты, а в старости – с ними со всеми плюс историки, архивисты и издатели.

Круги эти, конечно, перемешивались – особенно 19 мая, в Колины дни рождения, или во время походов в баню, – но многие его приятели и знакомые впервые или после очень долгого перерыва увидели друг друга только на Колиных похоронах.

Перемешались круги и в книге, в которой избранные тексты самого Поболя соседствуют с воспоминаниями о нем самом (их более 60!). У каждого, разумеется, был свой «мой Поболь», но, будучи положенными рядом или наложенными друг на друга, все эти индивидуальные наброски открывают немало нового и приближают к более широкому портретированию и пониманию «нашего» общего Поболя.

Издание состоит из двух взаимосвязанных книг. В первой, озаглавленной «Вспоминая и глядяваясь...», собраны воспоминания о Николае Поболе и его фотографии, во второй, озаглавленной «Перечитывая...», – его собственные тексты различных жанров: эссе и мемуары, объединенные той или иной долей автобиографичности, научно-просветительские тексты (статьи, рецензии или публикации исторического или историко-литературного характера), шуточные стихи.

Инициатор и составитель издания – Павел Полян (Нерлер), художник и дизайнер – Андрей Калишевский. На обложке воспроизведены фотографии, сделанные Полиной Андрукович, на фронтисписе – Петром Андруковичем, на шмуцах использованы карандашные портреты Н. Поболя, сделанные А. Нейманом.

В настоящую подборку-препринт, посвященную памяти Николая Поболя, вошли материалы из обоих разделов будущей книги – заметка Н. Поболя «Анна Ахматова и квартирный вопрос» и его шуточные стихи, а также посвященные его памяти стихотворения З. Палвановой, П. Нерлера и С. Дыманта и подборка воспоминаний, написанных его друзьями-литераторами, редакторами и коллегами по Мандельштамовскому обществу или по, условно говоря, «Штейнберговскому кружку».

Павел Полян

Николай Поболь

АННА АХМАТОВА И КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС¹

11 ноября 1939 года Президиум ССП принял постановление просить президиум Ленинградского горсовета предоставить Анне Андреевне Ахматовой постоянную жилплощадь и ходатайствовать перед Совнаркомом об установлении ей персональной пенсии. Речь шла не об отдельной квартире, а лишь о комнате в коммуналке.

Выписка из постановления была отправлена в Ленинград председателю президиума горсовета П.С.Попкову и, параллельно с этим, Константин Федин написал Михаилу Зоценко следующее письмо:

15 ноября 1939 г.

Дорогой Миша!

Президиум Союза вынес ряд решений для обеспечения жизни и быта А.А. Ахматовой. Ей будет дано единовременное денежное пособие, и Литфонд будет выплачивать известную пенсионную сумму впредь до получения от правительства постоянной персональной пенсии.

Ты знаешь особенности характера Анны Андреевны и понимаешь, как трудно наши благие намерения осуществить, не обижая Анну Андреевну. Поэтому очень прошу тебя дело в части Ленинградского горсовета (мы просили предоставить Анне Андреевне самостоятельную площадь) взять на себя.

Сходи, пожалуйста, в Ленсовет к тов. Попкову, который предупрежден о твоём визите, и помоги в этом срочном и крайне важном деле. Выписку из нашего протокола, которую, на мой взгляд, не следует особенно разглашать и, конечно, не нужно показывать Анне Андреевне, которая должна быть поставлена перед совершившимся фактом помощи ей, посылаю тебе с этим письмом.

Твой К. Федин

(РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 413. Л. 64. Заверенная копия)

Насколько был прав Федин, поручая это дело Зоценко, понимая, что мудрая Ахматова никогда сама не будет хлопотать, заранее зная бессмысленность всякого общения с властью?— Как бы то ни было, но Попков постановление проигнорировал.

И тогда в ход пошла «тяжелая артиллерия» – 17 января 1940 года сам А.А. Фадеев написал самому А.Я. Вышинскому, сменившему в предыдущий год должность прокурора СССР на еще более высокий пост – заместителя председателя Совнаркома:

В Ленинграде в исключительно тяжелых материальных и жилищных условиях живет известная поэтесса АХМАТОВА. Вряд ли нужно говорить Вам о том, как несправедливо это по отношению к самой АХМАТОВОЙ, которая при всем несоответствии ее поэтического дарования нашему времени тем не менее была и остается крупнейшим поэтом предреволюционного времени, и какое неблагоприятное

¹ Печатается впервые. Сама приводимая здесь фактография уже введена в научный оборот Л.К. Чуковской и В.А. Черных.

впечатление производит это не только на старую поэтическую интеллигенцию, но и на молодежь, немало учившуюся у АХМАТОВОЙ. АХМАТОВА до сих пор не имеет ни одного метра собственной жилплощади. Она живет в комнате бывшего своего мужа, с которым она давно разошлась. Не надо доказывать как это для нее унижительно. Из прилагаемого отношения председателя Ленинградского Совета тов. Попкова Вы можете видеть, что Ленинградский Совет никак не идет ей на встречу, хотя, с моей точки зрения, они должны были бы дать АХМАТОВОЙ комнату вне всякой очереди. В конце концов, ей не так уж долго осталось жить.

Я очень прошу Вашего вмешательства в это дело и соответствующего нажима на Ленинградский Совет.

С коммунистическим приветом.

А. Фадеев.

(РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Д. 508. Л. 8)

Невозможно не споткнуться о фразу: «В конце концов, ей не так уж долго осталось жить!» Чего не скажешь в пароксизме товарищеской заботливости! Но, слава Богу, Анна Андреевна пережила всех фигурантов этой хлопоты, кроме Федина: Попков был расстрелян в 1950-м, Вышинский, выведенный из состава кандидатов в члены Президиума ЦК, умер в 1954-м, а Фадеев застрелился в 1956-м.

В дополнение к этому письму Вышинский получил еще одно, подписанное членами президиума ССП А. Фадеевым, Н. Асеевым, В. Лебедевым-Кумачом, А. Караваевой и К. Фединым. К письму прилагалась характеристика Ахматовой, вполне подходящая по объему и содержанию для Малой Литературной Энциклопедии.

И что же, Вышинский?

Уже 24 января Союз Писателей получил его трогательный ответ: *В связи с письмом правления Союза советских писателей (т. Фадеева А.А.) о предоставлении жилплощади поэтессе Ахматовой А.А., Совнарком Союза ССР предлагает Вам удовлетворить просьбу правления Союза советских писателей.*

Зам. председателя СНК Союза ССР – А. Вышинский

Тут стоит задуматься: то ли бывший прокурор, привыкший на прежней работе к единственной резолюции – «к высшей мере наказания», просто не уразумел ничего из написанного ему. То ли большой государственный деятель взял и применил широко распространенный в нашей стране метод отписки – когда начальник милостиво разрешает сделать самому просителю ровно то, о чем проситель как раз его и просит.

Так что не пришлось Ахматовой стать владелицей жировки, да и о пенсии в ответе не было ни слова.

Что еще удивляет в этой переписке, так это оперативность – все заняло ровно полтора месяца, а сейчас бы длилось месяцами, если не годами.

Правда, с таким же результатом.

ШУТОЧНЫЕ СТИХИ

***²

Вот и плывет плот,
Водную рвет гладь.
Стоило ждать год,
Чтобы так плыть опять.

Сверху небес плат,
Сбоку хребты гор.
Лучше во сто крат,
Лучше, чем до сих пор.

1965

Мы идем на абордаж,
Будь что будет – лишь бы скорее.
Либо корабль полностью наш –
Либо только кусочек реи.

Никто не будет слушать молебны,
За упокой наш, за наши души,
И только солнца огонь целебный,
На мокрых реях слезы осушит.

***³

Зачем нам знать, что осень отступает
И первый снег, по воздуху шурша,
Надеется на то, что не растает,
А упадет на землю не спеша?

Мы мечемся по северу и югу.
Не запад нас встречает, а восток.
Апрель и май – песцы, пурга и вьюга,
Июль зато – арктический цветок.

И мы назло завистливой старухе,
Что нам предъявит свой последний счет,
Нальем стакан прекрасной бормотухи,
Еще стакан и тыщу раз еще!

И пусть фортуна, явно с перепоя,
.....
Мы так живем. Иначе жить не стоит

² Парафраз стихотворения О. Мандельштама «Сегодня дурной день...». – *Ред.*

³ Это неоконченное стихотворение является своеобразной попыткой акростиха: начальные буквы первой строфы складываются в слово «ЗИНА». – *Ред.*

.....

Солнце жжет, как в Средней Азии.
Влезло наверх и не слазает.
Белый снег стал бурой грязью!
Безобразие!

Ах, Сохатый! Все в тебе
Благородно без изъяна.
Как не вспомнить о губе –
Вожделении гурмана?

А грудинка! А язык!
Мой язык лишился речи,
К райским яствам не привык.
А филе? А почки, печень?

Даже то, что все с тоскою
Нарекли прямой кишкою, –
Наизнанку, жир внутри,
Фаршем с кровью набивали –
И такого, черт возьми,
Даже боги не едали!

Но совсем уже шарман
Прозывается урман.

Без него владыки тундры
Лесотундры и тайги,
Ни минуты, ни секунды,
Ни вздохнуть, ни что-нибудь,
Даже думать не могли!

Геморрой подкрался незаметно.
Он пришел – так жди радикулит.
Нежный сон здоровья канет в Лету,
Что-нибудь вконец остепенит.

А потом болезни волчьей стаей:
Раки, миокарды и т.д. –
Окружат, облепят, растерзают...
Выпить лучше б сразу ДДТ.

Утешенье есть, но небольшое,
Очень уж на нестандартный взгляд:
Так как зубы выпали весной,
Нынче, слава богу, не болят.

И еще: грустя и сожалея,
Как не думать – ведь придет оно!
Мне грозить не сможет гоноррея, –
Пусть не завтра... Страшно все равно!
Около 1983

Ты сказала, что Саади,
Заливая в сердце грусть,
Целовал лишь только сзади, –
Научусь когда-нибудь.

Что нам жопа! Мы народ простецкий.
Любим женщин просто, без затей...
Что ж до этих выдумок турецких,
Ты прости их, Боже, пожалей.

О НИКОЛАЕ ПОБОЛЕ СТИХИ

Зинаида ПАЛВАНОВА

Памяти Николая Поболя

Эта весть явилась не в конверте...
Столь поспешна электронная услуга,
что, имейла не открыв, слова о смерти
прочитала я — о смерти друга.

Как душа нелепо заметалась,
новость страшную не принимая!
Виртуальную лихую малость
перечитываю — нет, не понимая.

Но стеною из нездешней стали
дикие слова о смерти друга
окружили и до неба встали,
и никак не вырваться из круга.

Там, в Москве, теперь тебя не будет,
в той стране теперь тебя не будет,
в мире всем теперь тебя не будет,
у меня теперь тебя не будет.

Все ж души безудержное свойство
зажигает и за гранью свечи.
Есть надежда на мироустройство,
есть надежда на иные встречи...
27-30 января 2013, Иерусалим

**Павел НЕРЛЕР
КОПИРАЙТ**

*Памяти Николая Побоя
«Целлулоид фильма воровской...»
О.М.*

1

Опахалом иль дубовым венчиком
чресла еще раз разгорячи!
Прочь, резьба под золотистым венчиком,
лейся, влага, булькай и журчи!..

Чиркни спичкой, щелкни зажигалкою,
огонек от ветра загради,
глубже затянись – и дым фиалковый
выпусти на волну из груди.

И, закашлявшись над жизнью тяжкою,
непосильной ставшей с неких пор,
затянись сладчайшею затяжкой,
не кончай последний разговор!..

2

...Вот и стал ты только фотографией,
сепией кладбищенскою стал.
Нелицензионной эпитафией,
не пропущенной на пьедестал.

Но и за кладбищенской оградкою –
желтоглазый бешенства накат!
И твой лик безумною повадкою,
как окуроч в пепельнице, смят.

И уже ни счастьем, ни тревогою
Не поделишься с тобой нашармачка.
Папарацци топчется с треногою,
объектив, как мушка, у зрачка.

И пока, плывя шиверой Стиксовой,
ты с Хароном треплешься, гребя,
- здесь, в суде загробной юрисдикции,
копирайт тачают из тебя.

Февраль — март 2013

Семен ДЫМАНТ (Москва)
писать о коле поболее легко -
он наливал, я выпивал,
любил грибы, и в бане высоко
над полкой венником махал.

и все же как о нем писать?
мы здесь, а коля там,
откуда не протянешь руки,
там – где давно прописан мандельштам,
«абдул-гамида» раздаются звуки.
а нам так хочется его обнять,
и теплый добрый взгляд поймать,
и кашель едкий с табачищем...
судьба несправедлива к нам,
но ничего с нее не взыщешь...
24 марта 2013

ВОСПОМИНАНИЯ

Марина АЛХАЗОВА (Москва)

ШЕСТЬ ВСТРЕЧ

Почти два года назад мы с издателем Алексеем Плигиным решили продолжить публикации о жизни московского андеграунда 60–80-х годов и после книг о Венедикте Ерофееве ("Про Веничку", 2008 г.) и об Алексее Хвосте ("Про Хвоста", 2010 г.) сделать еще книжку "Про Сашку Васильева".

Надо было искать возможных авторов.

После некоторых расспросов и переговоров кто-то дал мне номер телефона Побоя, предупредив, чтобы с утра я —ни-ни, а вечером-ночью — пожалуйста.

На другой же день, вернее, в полночь, я позвонила.

— Нет, писать не буду, а рассказать про Сашку, расскажу. Приезжайте.

Так 20 мая 2011 года я оказалась на Проспекте Мира.

Когда в ответ на звонок входная дверь распахнулась, меня обдало взглядом настолько небывалой синевы, что от неожиданности, вместо "Здравствуйте", я выпалила:

— А что, у вас тут, перед гостиницей "Космос", памятник де Голлю или Помпиду?

— Де Голлю. Входите.

Мы просидели друг против друга за огромным столом — кажется, составленным из нескольких,— часов восемь: Николай Львович — с одной за другой сигаретой, я — с шариковой ручкой.

Как-то так получалось, что и эта, первая, и последующие наши встречи были долгими — и по радости от них, и по времени.

Через несколько дней мы с Николаем Львовичем и с Люсей Блэйкли поехали к издателю: я хотела их с ним познакомить. От метро добирались пешком. Перебивая друг друга, они стали вспоминать васильевские стихотворные опусы и песенки времен детства-юности. Мы так смеялись, что даже не помню, что было потом... Кажется, в издательство мы, все-таки, попали.

Двенадцатого июня — в день рождения Васильева — мы (опять втроем) отправляемся на Ваганьковское. Сначала все чинно: купили цветы, нашли пластиковую бутылочку для воды, что-то там мусорное

убираем с могилы... Николай Львович из бесчисленных карманов-кармашков своей безрукавки извлекает бутылку водки, по ходу дела наставляя меня, каким манером и в соответствии с каким порядком мы сейчас — *по традиции* — будем поминать «Сашку»... Но, когда все из тех же таинственных карманов достаются стеклянные граненые рюмочки вместо ожидаемых мной одноразовых стаканчиков, — это уже похоже на фокус-покус:

— Николай Львович, вы знаете, кто такой эстет?

— Ну, да. Это тот, кто пьет из правильной посуды, невзирая на обстоятельства.

Еще через неделю мы (тоже втроем — я, Люся, Николай Львович) идем в пивной ресторан, где-то в районе Тверской. Я пива не пью и потому спрашиваю, почему именно в «пивной»?

— Колябус очень любит пиво. И я люблю, — назидательно-укоризненно говорит Люся. — У нас такая *традиция*: обязательно раз в году ходить в пивное заведение. А ты... ты... будешь «и примкнувший к ним Шпилов».

В полутемном прохладном зале — в центре изнывающей от жары Москвы — мы одни. Пьем пиво, едим какие-то немисливо тонкорозовые сосиски, повизгиваем от смеха, слушая рассказы Люси о казусах заграничной русской жизни, приправленные комментариями Николая Львовича.

Потом Люся куда-то уезжает, а мы решаем зайти — благо по соседству — к другу детства Николая Львовича: уговоривать того тоже написать про Васильева. Только ничего из этого тогда не вышло, то есть из «уговоров»...

Осень, промозгло, холодно. Иду по Малому Палашевскому переулку. Впереди единственный прохожий. Оборачивается — и такой вдруг синий-пресиний просверк из-под бровей:

— Николай Львович!

— Мариночка! Вы куда?

— На Патрики⁴.

— И я туда же. Пошли вместе.

И пошли. Потом долго стоим, курим на углу Бронной и Ермолаевского. О чем говорили, не помню, но точно не о Мандельштаме и не об искусстве, и не о... в общем, ни о чем основательном, так пустяки — «чириканье» и смех.

И еще — опять на Ваганьковском 12 июня. Книга «Про Сашку Васильева» готова. Авторы, наша тройца, издатель... толпимся у васильевской могилы. Речи, поминание... Но с этим как-то не очень — почти никто не пьет. Обескуражено помахивая перед моим носом лишь ополовиненной бутылкой, Николай Львович говорит:

— Ну, это как же! Я ведь три купил, а и одной не выпили...

Вот ведь! Ни «Колей», как для близких и хороших знакомых, ни «Колябусом», как для друзей детства, он для меня не был, а был «Николай Львович». И знакомству-то нашему без году неделя...

⁴ Патриаршие пруды.

Отчего же чувство утраты?

Да потому что был у Николая Львовича Поболя редчайший дар — «легкое дыхание» называется.



А.Битов и Н. Поболь. Фото З.Палвановой

Андрей БИТОВ (Москва)

УТРАТА

(КОЛИНА СТРАНИЧКА)

Настоящий поэт вербует в свои ряды поштучно, поименно. Мандельштам — особо ревниво и тщательно: приверженность к его поэзии факт биографии каждого из его читателей. Не только Мандельштамовское общество, но и сообщество всех его читателей — не случайные люди, хотя в ряды этого братства их приводило случайное стихотворение, как правило, первое попавшееся. Любовь к поэту Осипу Мандельштаму начинается с первого поразившего сознание стихотворения, после чего с неотвратимостью распространяется на все его творчество. Поэтому мандельштамовское сообщество состоит из очень разных людей (путей).

С Николаем Поболем мы познакомились в бане, в компании «архивных юношей», уже прошедших этот путь, и нам незачем было обсуждать место Мандельштама в русской поэзии. Коля сразу показался мне отдельным персонажем, приглашенным за компанию, как и я. В своей бороде был он похож на лесовичка, на путешественника, на друга моего (Гену Снегирева), а не на архивиста или филолога. Путешественником он и оказался, что выяснилось, когда мы вдвоем, не бросившие дурной привычки, завернутые в простыни как в тоги, выходили в предбанник, где и обменивались экспедиционным опытом: а вот у меня был случай... Случаи перебивали друг друга, и я запомнил только некоторую ревность: его истории для меня были свежее и богаче. Так мы парились, потом выпивали. Мандельштам был с нами.

Коля ушел безвременно, и мне уже не полюбопытствовать, с какого именно стихотворения начался его мандельштамовский путь. Могу лишь намекнуть, ссылаясь на опыт других (в том числе и свой). Надо учесть, что Мандельштам на несколько десятилетий был запрещенным

поэтом, само имя его, как и жизнь, были подвергнуты забвению. Так многие пришли к его стихам через книги Надежды Мандельштам, вокруг которой сформировался свой избранный отряд их — Мандельштамов — почитателей. Некоторые пришли к поэту через его лагерную историю, через общество «Мемориал», но и не только... Так во Владивостоке, где погиб поэт, я встретил бывшего секретаря комсомола по идеологии, ушедшего в свое личное мандельштамоведение, как в монашество, измерявшего в часах и метрах последний «крестный путь поэта» и с энтузиазмом проводившего по нему экскурсии для избранных. В том же Владивостоке скульптор Валерий Ненаживин впал во всю поэзию Мандельштама по одной лишь строчке, процитированной в случайной книжке (она была закавычена в тексте без указания имени автора, и цензура, по безграмотности, ее пропустила), и скульптор настолько вжился в его поэзию и судьбу, что создал первый в Союзе памятник поэту и зэку.

Кстати, в том же 1998 году, когда я наведывался во Владивосток, Николай Поболь совершил свое главное открытие — «шелонного списка Мандельштама». Я читал его еще в машинописном виде, как в свое время «Четвертую прозу» и «Воронежские тетради». «Список» потряс меня не меньше. Против фамилии заключенного (кажется, в алфавитном порядке), стояли год рождения и профессия. Мое либеральное представление, что в 1937-м сажали «политических», оказалось опрокинутым: поэт Мандельштам поместился между кладовщиком и колхозником. Сидела *вся* страна, независимо от поколения, профессии, сословия или пятого пункта. Этим откровением я обязан «списку», полученному в бане из колыных рук. Вскоре мне не хватило здоровья на баню, и я несколько лет не видел Колю.

Не помню, кто мне так пояснил замысленный смысл любви: «Если ты внезапно встречаешь человека и тут же чувствуешь необсуждаемую радость, то это любовь и есть». Я проверял это правило... оно подтвердилось: мышцы лица не врут. Так раскрывалось мое лицо при встрече с Колей — легко! Сейчас, когда вокруг стало так много смертей, я расширяю это правило: «Если при известии о смерти, ты испытываешь не печаль, а досаду и даже злость: как это он посмел помереть до тебя! — то это была любовь. УТРАТА. Один и тот же механизм — неподготовленности, внезапности.

Не успел, недодружили. Чем же он так запал в душу? «Господи! — сказал я по ошибке, сам того не думая сказать»... (такова была *моя* первая строчка неведомого мне поэта, запавшая в душу, первая молитва сталинского школьника, не ведавшего Писания). Теперь я могу ее вычитать и так: боль утраты близкого человека есть укол воскресения боли по утрате Сына Человеческого.

Сергей БЫЧКОВ (Москва — пос. Ашукино)

СМИРЕННЫЙ ПОБОЛЬ

С Колей Поболем я познакомился у Аркадия Акимовича Штейнберга. Акимыча можно уподобить магниту, притягивавшему к себе самых разнообразных людей, потому что ему было интересно все — даже

собственный арест. От Бахтина до деревенской старушки, от Краснова-Левитина и священника Александра Меня до тарусского пацана, что, подросши, выступил вдруг на праздновании 100-летия Акимыча в Тарусе. Или мента на американской выставке, приставленного охранять ее, и вдруг проникшегося загадкой абстракционизма и тщетно пытавшегося ее разрешить.

Этот его неподдельный и живой интерес притягивал к нему людей. За многие годы вокруг него сформировалось что-то вроде братства, подобное средневековым цехам. В Средние века людей объединяла не только профессия и тот квартал, в котором они жили и трудились. Им приходилось отстаивать свои профессиональные интересы, обучать молодежь и даже воевать. Скрепой таких братств была прежде всего любовь к профессии и к друзьям-соседям.

С Колей я познакомился в те времена, когда Акимыч с Наташей жили в просторной квартире на Щукинской. Коля-то попал к Акимычу из не самого дальнего «круга», он с Галей Маневич, будущей женой Эдика Штейнберга, познакомился раньше, чем сам Эдик. И с самим Эдиком познакомился раньше, чем с Акимычем.

Мы не были особенно близки с Колей. Но после смерти Акимыча наше общение не только продолжалось, но и окрепло. Когда Нерлер создавал Мандельштамовское общество, Коля активно помогал ему. Он был, я бы сказал, его «правой рукой», а подчас и «левой» тоже. Павлик с 91-го года жил преимущественно в Германии, постоянно наезжая в Москву. В конце 90-х годов я и не мыслил его без Павлика. Они были как близнецы — Кастор и Поллукс, при всей своей внешней несхожести. Внешне Коля напоминал рождественского Санта-Клауса — с седой шевелюрой и бородой. Но этот обобраз разрушила его привычка постоянно смолить и резкий голос с хрипотцой. И все же существовала некая «ассоциативная» связь, «говорим Нерлер, подразумеваем Поболь», и наоборот.

Как только приоткрылись архивы КГБ, Коля начал «охотиться» и в этом, прежде недостижимом для нас, заповеднике. Чекисты в архивы пускали неохотно, приходилось преодолевать всевозможные преграды. Тем не менее нас это не останавливало. Так, благодаря доверенности, которую мне выписал Эдик Штейнберг, удалось получить оба дела Акимыча сталинских времен. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что его арестовали по доносу Радуле Стийенского! Того самого, которого он «сделал» как поэта и которому немало помогал как эмигранту. Незадолго до смерти Акимыча я записал на магнитофон его воспоминания. Он рассказывал об аресте, об избиениях, но ни словом не обмолвился о том, кому он был обязан своими страданиями.

Двенадцатого сентября 2008 года мы отправились в Тарусу. Эдик, сын Акимыча, решил в рамках столетия со дня рождения отца (в декабре 2007 года это не удалось сделать — поэтому решили объявить «год Акимыча») устроить конференцию, посвященную его памяти. Мы созвонились с друзьями и распределили, кто забирает кого и где. На мою долю выпало забрать Колю и Павлика.

Поскольку я ни разу не был на машине в Тарусе и с трудом уяснил, как туда добираться, то назначил встречу неподалеку от станции метро Юго-Западная. Была пятница. МКАД был забит намертво, и я добирался до метро от Ярославки два часа. И все это время ребята терпеливо ждали меня. Когда же, вконец измочаленный, я забрал их, то выяснилось, что надо было ехать через Серпухов. Тем не менее, пусть и кружным путем, мы, в разговорах и воспоминаниях, благополучно добрались до Тарусы.

Племянник Акимыча, Миша Каретный привез Вадима Перельмутера. Володю Гоника привезла его жена Наташа. Приехал художник Игорь Семенников с женой, который хотя лично не был знаком с Акимычем, но с любовью относился к его творчеству. Благодаря Эдику, устроилась в зале над рестораном на территории этой же гостиницы. Хозяева были радушны. На душе было радостно, оттого что собрались старые друзья, а виновником этого торжества оказался опять-таки Акимыч. Выступали Вадим Перельмутер, Павлик Нерлер, я, Володя Гоник. Самым удивительным было выступление жителя Тарусы, который еще с мальчишеских лет знал и помнил Акимыча.

Потом все спустились в ресторан, где по мановению Эдика были накрыты столы «в стиле Акимычева хлебосольства». А вечером мы отправились к Эдику. По выбору Эдика и его жены Гали Маневич отправились только самые близкие из присутствовавших: Миша Каретный, Павлик, Коля, Вадим и я. Мы посидели в их деревенском доме с низкими потолками, половиками на деревянном полу, выпили чаю. Вечер был необычайно тих и тепел. За окнами царил тишина.

Эдик пригласил нас в выстроенную рядом с домом бревенчатую мастерскую. С гордостью показывал свой «дворец» — он был любовно и мастерски им спроектирован и с такой же любовью срублен добротными мастерами. Каждое лето, приезжая из Парижа, Эдик проводил лето вплоть до октября в Тарусе и много работал. Город, в котором он вырос, и Ока, на которой он, как и отец, любил рыбачить, вдохновляли его.

Простившись с хозяевами, мы на машине добрались до гостиницы. Нас ждали номера на двоих. Мы разместились в номере вдвоем с Павликом. Под утро, проснувшись еще затемно, я увидел Павлика, сидящего за компьютером, и был немало потрясен. Спросонья я поинтересовался: «А спать когда же?» На что Павлик лаконично ответил: «Работы же много!»

Поднялся я рано и вышел погулять. Солнца еще не было, поддувал свежий ветерок. Ко мне присоединился Вадим. Мы прошли по берегу Оки, дошли до памятника Цветаевой, которая одиноко зябла на утреннем ветру. Ока молчливо катила свои крутые струи. После завтрака мы с Павликом, Колей и Вадимом долго колесили по грязным улицам Тарусы, пытаясь найти улицу и дом, где останавливался Мандельштам. Наши поиски увенчались-таки успехом. Павлик все тут же скрупулезно зафиксировал.

Во время нашего общения все эти двое суток царил та же дружеская и теплая атмосфера, которая всегда отличала дом Акимыча.

Казалось, что он незримо присутствует среди нас. Коля, как всегда много курил, больше молчал. Вспоминаю, как вечером он любовался вместе с Эдиком его просторной мастерской, любовно поглаживал бревна. Меня поразила его способность оставаться незаметным среди друзей. Хотя он не был молчуном и ему было что сказать.

Наряду с этим качеством я бы отметил еще одно — его ненасытную жажду нового знания. В октябре 2012 года в Москве отмечали 90-летие российского джаза, у истоков которого стоял поэт и переводчик, теоретик танца Валентин Парнах. К юбилею мы с Вадимом Перельмутером и художником Игорем Семенниковым подготовили его «Избранное». В том вошли три его лучшие поэтические книги и мемуары «Пансион Мобер»⁵. Коля узнал об издании этой книги и позвонил мне. Спросил, где можно ее купить. Я рассказал ему, как добраться до магазина и сказал, что покупать не надо — один экземпляр он может взять в подарок. Коля поблагодарил, а вскоре раздался звонок из магазина. Он спрашивал, может ли он купить книгу для друзей по себестоимости. Я ответил, что конечно, может. Получить книгу для себя ему было мало — он хотел поделиться редким изданием и с друзьями.

Так всю свою жизнь он раздаривал щедро, не скупясь. Оставаясь при этом... нет, одним-двумя эпитетами не могу обозначить, приходится быть более подробным... Когда говорят о смирении, то почему-то прежде всего подразумевают что-то елейное и неестественное для обычного человека. Некое насилие над собой.

Смирение же прежде всего — духовная трезвость и доброты. Коле, даже при его любви к крепким напиткам, удавалось хранить духовную трезвость в любых обстоятельствах. Думаю, что он принадлежал к тому роду людей на Руси, которых называют «солью земли».

Сергей ВАСИЛЕНКО (Фрязино — Москва)
ОН ВСЕГДА БЫЛ РЯДОМ

Наши немногочисленные встречи с Колей Поболем — в основном на заседаниях Мандельштамовского общества — тем не менее, оставили у меня впечатления, что это были встречи после кратких расставаний. Казалось, он всегда был рядом... Коля неизменно интересовался в первую очередь моими делами, работой, поисками, и делал это с таким живым, неподдельным интересом, что за рассказами о своих заботах я как-то забывал спросить о его жизни, успехах и настроении. Доброжелательность, спокойная, взвешенная и вместе с тем не отрешенная, а глубоко проникновенная рассудительность Коли были таковы, что с ним рядом всегда было легко и радостно — и работать, и просто минутку отдохнуть.

Эрудиция Коли в самых разных областях была поистине удивительна. Он знал мелочи, которые давным-давно ускользнули из памяти тех, кто был менее наблюдательным. Вот одна из наших бесед с Колей: я спросил его о «вечных, несменяемых бутылках на лотерейных

⁵ Н. Поболь принял большое участие в первопубликации этого произведения.

столиках» на Тверском бульваре из очерка Мандельштама «Холодное лето». «А это были призы за выигрыш в лотерею, которые редко кто получал», — ответил Коля...

Это маленькое, но важное наблюдение — лишь крохотная частичка того, что Коля сделал в мандельштамоведении, которому он отдал столько сил, труда и энтузиазма.

Леонид ВИДГОФ (Москва)

«УЖ МНЕ ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ВИДАТЬ...»

О Николае Львовиче Поболе писать легко и трудно в одно и то же время. Легко, потому что несложно перечислить те очевидные его свойства, так хорошо знакомые всем, кто имел счастье знать этого удивительного человека: ум, доброту, широту души, юмор, достоинство, бескорыстие, жизнелюбие...

Но ведь слова эти — общие, стертые. И как за ними увидеть вот именно этого чудесного Колю Поболя (я, по-моему, ни разу его и не назвал за все время нашего общения Николаем Львовичем), навсегда ушедшего от нас?

Вообще-то не очень понятно, откуда он такой взялся. Он был какой-то незамаранный. Ведь прошел он много и много чего повидал. Но было совершенно ясно, что Коля не способен ни на какой неблагородный поступок. Он был человек чистой, незапачканной души. Никакой злобности, никакого злорадства. И при этом он не был добреньким и уж никак не все приемлющим. Но ожесточения в нем не было.

При общении с Колей возникало ощущение надежности. Было как-то ясно безо всяких доказательств, что Коля не подведет ни в каком серьезном деле: он сделает именно то, что надо, если это потребуется. Непонятно, как эта уверенность в его надежности появлялась: ведь, вроде бы, человек Коля был несколько богемный, отнюдь не педант, — но у меня эта уверенность была, и, насколько я знаю, другие люди чувствовали то же. Да так он себя всегда и вел.

Коля был человек тонкий и деликатный. И он очень различал фальшь в разных ее проявлениях. Он и не скажет ничего, а только посмотрит так своим глазком, переглянешься с ним, — и все понятно, и говорить ничего не надо. Но при этом людей не оскорблял — у него никогда не было желания кольнуть кого-то, даже и по делу.

Вот так буду и дальше бесхитростно начинать каждый абзац с его имени и постараюсь определить, что же в нем было мне дорого и осталось навсегда со мной, в памяти о нем, в светлой памяти о светлом человеке.

Коля был благожелателен. Этого слова в современной речи уже нет, а какое хорошее слово — благожелательность. А Коля именно желал блага (и делал благое). И все, что он делал и как историк-архивист, и как незаменимый член Мандельштамовского общества, и как друг своих друзей, — все это было добро, все было на благо.

Коля был человек эпический. Несомненно, в нем было что-то фольклорное. Объяснюсь: меня поражал диапазон его знаний, отнюдь не академических, а прямо растущих из жизни. Он знал европейский Север

России и Сибирь, мог рассказать, в каких реках, которые и на карте-то не всегда найдешь, водится омуль и хариус и каких вкусовых достоинств (то же касалось растений и ягод: о какой-нибудь княженике мог говорить так, что это надо было бы записывать). Мандельштама мог цитировать страницами! В электричестве все понимал.

Трудно было сказать, с кем Коля не был знаком,— казалось, он знал всех: от неофициальных поэтов и художников 1960–1980-х годов до академиков и политиков, от геологов до текстологов... И стоило ему извлечь из памяти чье-то имя или какое-то явление, как тут же возникала замечательная история — то о сибирском медведе, то о московском фестивале 1957 года, то о поездке в Америку...

Вот это сочетание не выпячивающего себя незгоистичного ума, благожелательности, веселости, естественности и благородства и создавало то очарование, о котором уже написали и еще напишут все знавшие Колю, все, кому досталась радость общения с ним.

Коля был очарователен, он был милый человек. Снова воспользуюсь ушедшим выражением — «милый человек».

Коля был мудр (а что есть мудрость, как не свобода, доброта, сила, благожелательность, понимание жизни, ирония и самоирония?) и прекрасен.

Есть еще и такое чувство: ведь если ты общался с ним, и он относился к тебе хорошо, то это обязывает,— надо как-то соответствовать, стараться быть хоть немного получше.

Хочу в заключение вспомнить строки из «Гамлета»:

Королева: <...> Так создан мир: живущее умрет /И вслед за жизнью в вечность отойдет.

Гамлет: Так создан мир.

Королева: Что ж кажется тогда /Столь редкостной тебе твоя беда?

Гамлет: Не кажется, сударыня, а есть.

И еще:

Горацио: Я помню, он во всем был королем.

Гамлет: Он человек был, вот что несомненно. /Уж мне такого больше не видать.

Повторю эту строку: уж мне такого больше не видать!..

Семен ЗАСЛАВСКИЙ (Днепропетровск)

ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА

С Колей Поболем меня познакомил московский писатель Павел Нерлер. С первых же минут знакомства я ощутил нешумность, неповторимость Коли.

В московской деловой сутолоке семидесятых годов прошлого века, весьма еще далекой от гламурного холода начала нового столетия, Коля привлек мое внимание сдержанным несуетливым складом характера, как бы скрывающим за этой сдержанностью доброжелательность, мужество и доброту. Думается мне, что многие люди, с которыми был знаком Коля, помнят, что он помогал друзьям

всегда незаметно, вот как сыну моего друга Алеше Кононенко, ставшему архитектором с легкой руки Коли.

...Помню интонацию Коли, замечательно умевшего читать стихи. На могиле у Надежды Мандельштам Коля прочитал стихотворение «Мне на плечи бросается век-волкодав». Его голос открыл для меня новые смысловые обертона в этом шедевре Мандельштама. В это стихотворение Коля привнес своим голосом благородную сдержанность тона, опять же незаметно подчеркнув трагизм поэзии Осипа Эмильевича.

К сожалению, виделись мы с Колею редко по причине моих несчастных приездов в Москву — из Украины, Ленинграда, среднеазиатских и сибирских экспедиций...

Но я рад, что знал Колю, общался с ним, и при известии о его смерти у меня сжалось сердце.

Боже мой, не стало еще одного доброго, умного и талантливого человека из моего послевоенного поколения, тронутого страданием и оттого открытого всему настоящему в жизни и искусстве.

Хочу посвятить памяти Коли свой перевод тридцатого сонета Вильяма Шекспира.

СОНЕТ 30

Когда в молчанье ночи суд идет
Моих раздумий тяжких над собою
И боль былая сердце рвет живое,
И час страданий новых настает —

От слез отвыкший, снова плачу я
По всем друзьям, что злою ночью взяты
В неведомую даль небытия,
Где ни любви, ни имени, ни даты...

Уже утрат моих не перечесть.
Весь мир моей становится утратой.
И в этих испытаньях горесть есть
Всех бедствий, мной испытанных когда-то.

И лишь тебе, любовь, тебе одной
Дано восстать над горестью земной.

Леонид КАЦИС (Москва) МАНДЕЛЬШТАМОВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Жизнь сложилась так, что в самых главных Колиных сферах я никогда не был — ни в банях, ни в походах, ни в экспедициях, ни в «Мемориале», ни в «Новой газете». Причины тут разные, но довольно много было связано с человеческой несовместимостью, с политической проблематикой, с разного рода недоразумениями и т. д.

Но и без этого мы с Колей хорошо пообщались на протяжении последних 20 с лишним лет — времени существования Мандельштамовского общества.

Впервые его «геологические» рассказы я услышал в Чердыни на его 70-летию, которое совпало с Мандельштамовскими чтениями в месте ссылки поэта. И причина тут была вполне конкретная: ехал я с группой коллег на поезде «Москва—Владивосток», в котором продавали байкальского омуля, закопченного частным образом и с брюхом, распертым вставными зубочистками. Именно такого рода рыбки были подарены Коле. И посыпались разного рода байки, сообразные теме.

В избе-гостинице, где жили Коля, Паша Нерлер и кто-то из иностранных участников, и из окон которой видно место, где хорошо бы поставить памятник ссыльному поэту, был сооружен юбилейный стол, за которым участники застолья, включая меня, и узнали настоящего Колю.

Были у нас с ним и разговоры по «железнодорожному вопросу». После того как Коля умудрился найти «Мандельштамовский эшелон», я все просил его поискать тот санитарный поезд, на котором сбегал в Варшаву Мандельштам в январе 1915 года. Но этот замысел так и не был реализован. Труднее всего было понять, на военном (запрещенном для евреев) или на гражданском санитарном поезде пытался убежать на фронт поэт. Будем надеяться, что кому-то повезет и здесь, но Колино везение с дальневосточным эшелонном будет нам светить еще долго, вселяя безнадежную надежду.

Всем мандельштамоведам известно, что Коля собрал замечательную коллекцию напитков, которые упоминал Мандельштам. Ее полнота предусматривает уже только каталогизацию и музеефикацию. Есть смысл посвятить этой проблеме небольшую статейку в Мандельштамовской энциклопедии.

Но завершением этого проекта не завершились возлияния, которые Коля организовывал в Мандельштамовском обществе после многочисленных заседаний. Именно здесь происходили самые интересные разговоры, споры и т.д. Коля никогда не забывал напомнить, что я его «склоняю» к выпивке, как еврей русского. Этот вопрос мы, естественно, не обсуждать не могли.

На какое-то время мы оказались связаны с Колей и профессионально. Когда Колины друзья, решившие помочь ему с деньгами на ремонт квартиры, обратились ко мне, я предложил ему просто напечататься за гонорар в одном из тех журналов, с которыми тогда работал, – в «Еврейском книгоноше» и в «Лехаиме».

И тут Коля принес настоящую находку из архива мандельштамовского врага — Давида Заславского. Это были дневниковые записи о поездке Эренбурга и Алексея Толстого на казнь фашистских преступников. Теперь эта публикация вошла в эренбурговедение и перепечатывается. Было и еще несколько рецензий, которые есть в библиографии. Естественно, при вручении гонорара мы отметили это в пивной на переходе от ресторана «Борис Годунов» к Никольской и РГГУ.

...Последний месяц Колиной жизни прошел без меня, я был долго в Израиле. По моем приезде Паша Нерлер позвонил из Германии и сказал, что «в ночь с второго на третье» по старому стилю, Коля не сможет быть у мемориальной доски, что висит на стене Литературного

института. А именно там 15 января, в день рождения поэта, в 16:00 ежегодно собирались ценители Мандельштама: у доски оставляли цветы, читали стихи и выпивали в честь Мандельштама по рюмке водки. Коля всегда организовывал соответствующую часть мероприятия.

Я этого никогда не делал, но тут пришлось... И «удача» сама пришла в руки: в моем придворном магазине появилась замечательная водка «Saïma» финского производства — да еще и из воды «мандельштамовского» (впрочем, и «владимирсосоловьевского» тоже) озера!

Пить без Коли у доски оказалось не с кем. Две бутылки перекочевали в Мандельштамовское общество. Я позвонил Коле в больницу и все изложил. Коле было, с его слов, легче. И он, рассказав о поездке в Америку, обещал по выходе из больницы употребить этот финский продукт в привычной обстановке и манере.

Случилось, увы, не так. Эта водка была выпита в память о самом Коле, а бутылка с надписью «Saïma» заняла свое законное место в отсеке алкогольной коллекции, обозначив границу, за которой наступает новое время — время без Коли...

Николай КОТРЕЛЕВ (Москва) ВСПОМИНАЮ КОЛЮ ПОБОЛЯ

Вспоминаю Колю Поболя и горюю. Печальна потеря, но ведь с каждой неизбежно сживаешься. С Поболем разлука мне будет, однако, всегда особенно грустной, окрашенной упреком – вот только судьбе ли? Или самому себе? Она ли держала его вдали? Или я не умел сблизиться, быть рядом, чтобы больше радости пришлось на мою долю – и было отнято смертью?...

Ведь мы были знакомы очень долго, и не раз пересчитывали, каждый раз останавливаясь на все более короткой цифре, - сколько нас, тех осталось, теперь нужно говорить – оставалось... Нас связала влюбленность в Сашку Васильева. Коля сдружился с ним много раньше меня, но когда и я был, как астероид, втянут на Сашкину орбиту, Поболь был в армии, так что встретились мы впервые только после его демобилизации, я вошел в достопамятную Сашкину комнату «на Архипова» (или - «на Ногина»), *nomina sunt odiosa*, дело было в Спасо-Глинищевском переулке) и Сашка, празднично расплываясь, взмахнул рукой к незнакомому – «Колька вернулся!» И на встречу поднялась радостная улыбка, которая, кажется, не менялась с тех пор никогда.

От первой поры предметных воспоминаний о Поболе у меня нет, только общее светлое и веселое облако. Мы и видеться много не могли – с лета 1963-го я исчез из Москвы, а возвращаясь в 1965-м, уже не вернулся в Сашкину компанию. И все ж – десятилетия спустя Сашкино имя и неукоснительное «а помнишь...» оказались символом. Каждый из нас хранил свою половинку, и узнавали радостно друг друга по тому, как половинки словно срастались по линии разлома.

И расцветала Колина улыбка.

Я ненавижу префабрированную улыбку американского бытового обихода, к которой приучаются, как дети к «здравствуйте!». Побеждать ее

может только Колина радость встречи. Да только ей - не научишь, она от природы, дар Божий...

Коля был верным другом, что реже – заботливым, попечительным. И помогал, как только мог, и скоро, не косно мчась с дружеской поддержкой, с выражением сердечного участия.

За чем бы ни была встреча – за пловом ли под водку (Поболь гордился своим пловом) или за чаем на съемках фильма о Володе Яковлеве, всегда светилась благожелательная радость улыбки. Стихийное признание добродетельным язычником правоты Тертуллиана. И она же освещала расставание приглашением к следующей встрече.

Когда-то теперь?

Олег ЛЕКМАНОВ (Москва)
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ПОБОЛЯ

Вчера мы похоронили Колю Поболя, ему было 74 года, но не только я, а и многие другие называли его в глаза и за глаза «Коля» и почти никогда — «Николай Львович». Народу в «Мемориале» собралось очень много, замечательные люди говорили замечательные слова, но, как это часто бывает в подобных случаях, не покидало ощущение — «недолет»/«перелет».

Поэтому и захотелось обязательно написать пару слов о Коле.

Его появление где бы то ни было от самых входных дверей обозначалось теплой волной дружеских объятий и похлопываний по плечу — Колю любили и знали все. Довольно скоро и обязательно наступал момент, когда в руках у Коли образовывалась рюмочка или фляжечка — и стоявшие рядом с ним уютно выпивали и закусывали (Коля в этом — в закуске — знал толк: помню, как из Воронежа он вез парное мясо в Москву и всем советовал).

Могло даже показаться, что этот симпатичный дядька — с хрипловатым своим говорком, с небесно-голубыми эльфийскими глазами и с белоснежной гномской бородой — наивен и прост. Но это было, конечно, не так. Коля прекрасно знал поэзию, профессионально разбирался в живописи и, между прочим, дружил с великим Владимиром Яковлевым. Разговаривать с ним было большущим удовольствием, как и курить рядом на крылечке, как и, просто, перемигнуться после особенно выспренной реплики в чем-то высокоумном докладе.

Вот уж, действительно, человек был.

Светлая память!

Инна ЛИСНЯНСКАЯ (Хайфа)
ДЫРА В КОСМОСЕ

Какое горе — умер редкой души человек Николай Поболь.

Трудно даже говорить об этом — ушло от нас огромное чудо доброты, щедрости, понимания и сочувствия.

Коля питал окружающих его людей заботой и включенностью в их судьбы. Его все любили. С ним дружили настоящие поэты — Штейнберг, Липкин, Рейн. А также многие художники.

Занимался он по профессии географией и по любви — поэзией Мандельштама. Когда Мандельштама в нашей стране мало кто знал, Коля Поболь рассказывал о нем и распространял его стихи.

Очень много Коля помогал молодым, а не только таким старикам, как я.

Если в космосе есть дыры, то глубокая дыра останется с нами после ухода Николая Львовича Поболя.

Елена МАКАРОВА (Хайфа) ЦЕЛНОКРОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Коля Поболь — цельнокройный человек, и, видимо, по этой причине наши фрагментарные встречи на протяжении тридцати лет носили характер незабываемого постоянства.

С ним все просто: фаршированную рыбу сделать — сделаем, дневники Вернадского достать — достанем, ленивого подростка в науках и искусстве подтянуть — подтянем, покойников на кладбище навестить — навестим, в пещеру Маккавеев заглянуть — заглянем. Все как по нотам.

Между делом узнаешь, если спросишь, а так Коля не рвется рассказывать о себе, он, в основном, слушает, что закончена книга про советских военнопленных, писал не он, он только помогал с архивами. Девочка поступила в институт, после того как он с ней позанимался математикой, но это не его заслуга, — девочка попала уменькая.

Иногда казалось, что он не принимает эту жизнь всерьез — так, марево, закуренное и запитое. Но посмотришь на то, что он делал, о чем думал, какие документы и о чем собирал, — подумаешь, нет, он продирался сквозь кровавые советские туманы к правде исторической, и механизмы, приведшие к гибели невинных, не были для него орудием пространством. Географ по образованию, он прекрасно понимал разницу между почвой и беспочвенностью. Он не витал в эмпиреях, не примыкал ни к каким партиям или общественным движениям. Это нас с ним и сближало. Одинокие исследования. Годы, проведенные в архивах. Детективное это исследование могло бы служить развлечением, если бы не страшная тема, лежащая в его фундаменте — миллионы загубленных жизней — людей великих как Мандельштам и людей никому не известных. Так что друзей на том свете у нас с Колей предостаточно.

А вот этот свет без Коли обеднел.

Леонид МЕЖИБОВСКИЙ (Франкфурт-на-Майне) СОВСЕМ НЕ МАЛОЗНАКОМЫЙ

Павел, ты очень хорошо написал, хоть это и очень грустно. Сеня мне позвонил в воскресенье. Он сказал, что Коле 74 года — удивительно, по внешним признакам я понимал, что он меня старше, но в те редкие случаи, когда я его видел, я бы подумал, что намного младше.

Знаешь, ведь, бывают люди, которые и в 20 лет уже такие «старые пердуны», а Коля и в 70 был мальчишкой по мироощущению — то есть когда человек способен воспринимать все как бы внове. Это очень редко.

Я вспомнил, как Коля жил у нас — с ним было очень просто и легко. Да, ты и сам все про него знаешь.

Пожалуй, первый раз в моей жизни, когда смерть формально мало (по количеству встреч) знакомого человека так меня огорчила.

Значит, совсем не малознакомый.



3. Палванова и Н. Поболь. Фото П. Андруковича

Зинаида ПАЛВАНОВА (Иерусалим)

СПАСИБО «МУЗЫКЕ» ЗА КОЛЮ

Память моя устроена по-дурачки, не сохраняет подробностей, а сохраняет лишь какие-то вспышки и те туманные. Так, одна атмосфера, словами не очень-то и передашь...

Познакомились мы с Колей в студии «Музыка» в середине 60-х. Руководил ею Виталий Белецкий. Оттуда мое знакомство и с Аркадием Акимовичем Штейнбергом, Ириной Лесневской, Вячеславом Куприяновым. Но главное приобретение на всю жизнь — дружба с Колей Поболем.

Помню, как-то встретились мы с Колей утром у станции метро Павелецкая (я училась тогда в Плехановском институте на Зацепе) и пошли в гастроном на Вальной улице. Купили по ситнику, по треугольной пирамидке сливок и, устроившись у окна, с наслаждением завтракали и разговаривали. Коля и в тот раз, и во все другие наши встречи читал мне стихи Мандельштама и других поэтов Серебряного века. Рассказывал, как в армии (в обстановке, мягко говоря, непоэтической) восстанавливал в памяти эти стихи и тем самым крепко запомнил их. Мы с Колей много гуляли по Москве, особенно по старой Москве.

Помню, как однажды мы ездили в город Боровск под Москвой. Русской стариной надышалась я тогда. Коля любил путешествовать. Как-то мне захотелось поехать в Талдомский район, в места, где я росла, но самой было страшновато. Попросила Колю составить мне компанию, и он согласился. Еще мы с ним ездили в подмосковный Новый Иерусалим. Думала ли я тогда, что буду жить в Иерусалиме! И что Коля приедет ко мне в Иерусалим!

Помню, что одну зиму, когда я уже была замужем за Виктором Енютиним, ходили мы с Колей в бассейн «Москва» на занятия подводным плаванием с аквалангом. Это он, Коля, привлек меня к этим занятиям. Помню пар над водой.

Помню, как, возвращаясь из дальних странствий в Москву, приходил Коля ко мне в гости в Марьину рощу, садился на угловое место за стол в нашей крохотной кухне и рассказывал всякие удивительные вещи об Охотске. Рыбу потрясающе вкусную привозил. Я тогда жила одна с сыном и радовалась, что мальчик, растущий без отца, видит и слышит настоящего бывалого мужчину. Никому бы я не разрешила курить в доме, а Колечке разрешала.

Коля провожал меня вместе с другими моими друзьями в Шереметьево, когда я уезжала в Израиль с сыном Андреем и котом Василием. Много лет мы перезванивались по дням рожденья. «Зинуш!» — слышала я в телефонной трубке и радовалась. Никто меня больше так не называл.

Впервые я приехала из Израйла в Москву в 2001 году. Встретились с Колей, у него была совсем седая голова. Тогда Коля познакомил меня с Олей Шамфаровой, тоже белоголовой, но с молодым симпатичным лицом. Отметим встречу в кафе на Остоженке, бывшей Метростроевской. Мы с Колей не могли наговориться, конечно.

Помню, в один из моих приездов были мы на выставке Владимира Яковлева, грустные цветы которого я полюбила с Колиной подачи.

То ли в тот же приезд, то ли уже в другой Коля позвал меня в гости к Инне Львовне Лиснянской — на дачу в Переделкино.

Коля был в гостях у нас в Иерусалиме, кажется, в 2005 году. Об этом стишок сохранился.

Когда я приезжала в Москву, встречал меня чаще всего Коля. Мы ехали в такси или электричкой в Москву и уже в дороге начинали отмечать встречу. С Колей это было можно. Становилось не просто радостно, а как-то вдохновенно радостно.

В мае 2009-го я приехала в Москву специально на юбилей Коли, но так получилось, что я не успела попасть к нему 19-го, и мы встретились 20 мая. Погуляли по Москве, посидели в кафе «ОГИ». Я вручила ему подарок — кажется, бутылку коньяка и еще что-то вроде кораблика или яхты с парусами.

Вечером пошли на вечер Андрея Битова в Булгаковский дом на Садовой. Помню, меня приятно удивило очень теплое дружественное отношение Битова к моему старому другу. Андрей Георгиевич даже меня обнял на прощанье, поскольку я была с Колей.

А 25 мая мы с Колей были на торжественном вручении Инне Лиснянской премии «Поэт».

В сентябре 2012-го мы с Колей виделись несколько раз. Бродили по городу, сидели в кафе «ПирОги». Потом, помню, я была на вечере памяти его друга Сашки Васильева в Литературном музее в Трубниковском переулке. Помню, когда мы шли после этого вечера к метро, я спросила Колю, почему он не познакомил меня в свое время с этим кругом художников андеграунда. Коля задумался. Моросил дождь, мы шли под Колиным зонтом. «Берег?» — предположила я, вспоминая фильм о божественной жизни этих Колиных друзей и подруг, многих из которых уже нет на свете. «Берег», — согласился Коля. Помню, комок подступил к горлу, не могла говорить. Коля тоже молчал.

А через несколько дней Коля был на моем вечере в Музее Цветаевой. В тот вечер, после того как я закончила читать стихи, Коля преподнес мне огромный букет кремовых роз. Подходящей вазы для них в доме, где я остановилась, не нашлось, и они стояли до самого моего отъезда в ведре.

Подумала, что, когда снова, даст Бог, окажусь в Москве, найду Колину могилу и положу на нее кремовые розы.



В. Перельмутер и Н. Поболь (Архив В. Перельмутера)

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР (Мюнхен)

ПОПЫТКА ПОРТРЕТА

...Она ни в чем не виновата

И ни полушки не должна.

Одна-единственная плата

За жизнь — всегда сама она.

Аркадий Штейнберг

При вести, что не стало Коли Поболя, эти строки — час-полтора спустя — возникли, забормotalись словно бы сами собой. И, думаю, не в том лишь дело, что именно Штейнберг тесно соединил, связал нас лет на тридцать, но, скорее, в том ощущении полноты, самодостаточности жизни, какое испытывал, знаю, не я один из многих, кто дружили, общались, встречались с Колей...

Не особенно доверяю мемуарной хронологии. Память равнодушна к точным датам. Хочешь такого рода дотошности — веди дневник.

«Память никогда не спорит со временем, потому что она над ним властвует», — сказал Степун.

Пожалуй, лишь один день могу назвать безошибочно, да и то, опять же, не без помощи Штейнберга. Потому что это — день его рождения — одиннадцатое декабря 1996 года.

По обыкновению, сложившемуся на двадцатилетие с лишним ранее, мы собрались в его квартире близ метро «Щукинская». Правда, за двенадцать лет *без хозяина* круг его гостей — друзей и учеников, разделить коих, впрочем, по «категориям» было бы непросто, границы, и при жизни Штейнберга не слишком отчетливые, размылись во времени, — круг этот изрядно поредел, сузился, «иных уж нет, а те далече», за столом — человек семь-восемь.

Не обошлось, естественно, без знаменитой «штейнберговки», водки, настоящей по «авторскому», предмету гордости Акимыча, рецепту, ее теперь могли изготовить «как надо» разве что Нерлер да Поболь, на сей раз расстарался Коля.

Мы сидели рядом, разговор, разговор, понятно, клубился, вместе с дымом табачным, сотворяя эффект присутствия Штейнберга, посверкивая его интонациями, шутками, эпизодами-впечатлениями...

Как раз в ту пору я заканчивал готовить к изданию однотомник Штейнберга «К верховьям» - добирал мемуары и стихи, ему посвященные. И какая-то фраза промелькнула, пытаюсь припомнить — ускользает, но что-то он такое про Акимыча сказал, чего я прежде не знал. Потому и предложил ему тут же — написать про Штейнберга — в книгу. Он согласился, чуть неуверенно, но легко и сразу.

Я тогда понятия не имел о том — как он пишет и пишет ли вообще, по крайней мере, достаточно внятно для сочинений такого рода. Однако, получив недели через полторы несколько страниц, озаглавленных: «В середине шестидесятых», — совсем не удивился, что сделал он это хорошо, *по делу*, с любопытными эпизодами и штрихами, которых не было более ни у кого из двух десятков воспоминателей. И с точной интонацией-дистанцией — для отведенной себе роли свидетеля — и подчас участника — описываемых «мизансцен», происшествий, событий, роли даже не второго, но третьего плана, без живой убедительности коего, впрочем, истинный *спектакль* не может состояться...

Так и возник первый его мемуарный очерк. Второго ⁶ и последний — и, по-моему, совершенно замечательного — про Александра Васильева — пришлось дожидаться пятнадцать лет. И здесь у него роль совсем иная — многолетне-близкого друга, совместника и сомысленника, сумевшего понять — и рассказать, — почему «Сашка Васильев» прожил именно такую жизнь, какую прожил, - *свою*. И удалось это Коле, на мой взгляд, потому, что очерк — не только «о Васильеве», но

⁶ Если не считать беглую, в полстранички, зарисовку «У Маергойза».

и — не менее — о *своей* жизни, которая с юности и надолго оказалась связана, сплетена с жизнью «Сашки», и ровно так же можно, читая, увидеть и понять — почему и сам Коля прожил именно такую жизнь, какую прожил.

И могу лишь вообразить — какая могла бы сложиться книга между этими «пунктами А и Б», найдись кто, способный уговорить, убедить Поболя за нее взяться. И жаль, что ее нет и не будет...

«В последний раз это было пятого августа 1984 года»... Акимыч проводил, подвез Колю на моторке до железной дороги.

«Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня Шестое августа по старому, Преображение Господне»...

Я спросил Колю — слышал ли он, как Акимыч читал «Август»? Конечно — и не раз. Штейнберг любил эти стихи. Быть может, особенно потому, что они ему напоминали, как одновременно с сообщением о кончине Пастернака Союз писателей едва не напечатал в «Литературке» и некролог ему, Аркадию Штейнбергу, в панике перед похоронами одного поэта, перепутав другого с востоковедом и прозаиком Евгением Штейнбергом...

Пятое, шестое, седьмое... Август...

И еще — о них двоих. В сентябре 2008 года в Малом зале ЦДЛ мы с Александром Ревичем представляли собравшимся только что вышедший том воспоминаний о Штейнберге - «Он между нами жил...». Как мы того и хотели, книга стала только поводом к вечеру памяти Аркадия Акимовича. Ни сценария, ни плана, ни списка выступающих на афише. Чистая импровизация — мы вытаскивали из зала и тех, кто знали Акимыча, и тех, кто его уже не застали, но живо, эмоционально откликнулись отраженным свету и звуку — личности и стихов.

Коле выпало подойти к микрофону после Володи Тихомирова, после его взволнованного то ли волхования, то ли токования, и все это сложилось, ритмизировалось в этакую вдохновенную песнь «про Акимыча», даром что ли Володя гимны «Ригведы» перелагал!..

По контрасту с этим эмоциональным всплеском, Коля заговорил просто — и о простом. О том, что Штейнбергу было необыкновенно интересно жить. Не только писать стихи или картины, но и общаться с самыми разными людьми, разговаривать с ними не о себе — о них. Варить суп, чинить лодочный мотор, «строить» книжный стеллаж, грунтовать холсты.

И я поймал себя на том, что слушаю не только о Штейнберге, но о самом Коле. Потому что Поболю тоже было интересно — все. И готовить диковинные блюда, и копаться в архивах, и ремесленничать, да и количеством и многообразием знакомств он вполне мог бы с Акимычем поспорничать...

И было у них еще одно общее свойство, кроме них, мною, пожалуй, ни у кого больше не обнаруженное. Ни на один из бесчисленных своих телефонных звонков ни от того, ни от другого ни разу не слышал, что, мол, занят, работаю, перезвони попозже. И мудро было понять: каким образом — при подобной *праздности*, всегдашней

готовности к отклику, разговору, встрече, помощи, — удастся человеку столь многое делать и сделать...

Года полтора назад мне понадобились для книги Шенгели, над которой тогда корпел, две фотографии. Когда-то, давным-давно, я видел их у вдовы Шенгели Нины Леонтьевны Манухиной и потому точно знал, что теперь эти снимки, вместе со всем архивом поэта, в РГАЛИ. Я позвонил Коле, спросил, не собирается ли он туда. — Вообще-то собирается, был ответ, однако нескоро, дело у него не срочное. А что надо? — Я объяснил, добавив, что, вообще-то, работа над книгой почти завершена, ну, да не волк, в лес, авось, не убежит, так что пускай делает, как ему удобней.

Дней через десять — звонок. Подумал, говорит, и решил планы переиграть — фотографии отсканированы, диск у него, что с ним дальше делать? Пару дней спустя снимки были уже у меня.

Кстати, о Шенгели. Я как-то рассказал Коле, что в двадцать седьмом году, перебираясь из Москвы в Симферополь (думал — насовсем, оказалось — всего на полтора года), Шенгели по пути, в июле, заехал в Коктебель и там, при многочисленной, по обыкновению, Волошинской аудитории, прочитал Цветаевского «Крысолова». И это было первое — и единственное при советской власти — публичное исполнение поэмы. «Не единственное», — возразил Поболь. — «???» — «В конце шестидесятых я целиком читал «Крысолова» у нас в клубе. И народу было много».

Сорок лет спустя...

Клуб — «Музыка». О нем рассказано в очерке про «Сашку Васильева»...

Помогать — было для Коли занятием совершенно естественным, само собой разумеющимся. Упомянул я, что никак не удается распродать книгу стихотворений, поэм и графики Штейнберга «Вторая дорога» и том воспоминаний о нем, хотя спрос на них есть, просто издательница, Лена Аболенцева, живет в Подмосковье, возить оттуда по нескольку штук, когда магазины готовы взять, — проблема, Коля тут же предложил завезти разом по нескольку пачек к нему — и он будет следить, подбрасывать в продажу, как только возникнет надобность.

Увы, Лена спасительным предложением не воспользовалась. Так и томится у ней недвижно по сию пору изрядное количество уникальных этих книг...

Впечатление праздности было, повторяю, обманчивым. Просто Коля очень хорошо ориентировался во времени, тонко и точно его чувствовал и успевал, по видимости никуда не торопясь, *встраивать* в него множество дел и забот, в том числе и постоянных, обязательных. И мало кто, кроме разве близких друзей, знал, что несколько лет он дважды в день непременно заезжал домой — днем и вечером, и это в Москве-то! — накормить маму обедом и ужином, уложить спать. Она уже почти не поднималась без его помощи, не справлялась со столь обыденными вещами, и сын брал их на себя, включал в свой образ жизни столь же органично, как и все остальное, привычное.

Судя по сделанному, он много и кропотливо работал. За последние лет пятнадцать-двадцать этот географ-практик,

путешественник и прочая, и прочая (см. его трудовую книжку) сумел стать профессиональным — и первоклассным! — историком и архивистом. Я неплохо представляю себе — сколько для этого надобно времени и усилий. И потому *метаморфоза* эта остается для меня совершенно загадочной. Здесь интуиция и увлеченность необходимы, но недостаточны, надо многое — и *системно* — прочитать, осмыслить, понять, наконец, никак не обойтись без часов, дней, недель наедине с кипами архивных бумаг, по ниточке выпутывая из них *сюжеты* своих исследований. А если помнить, что занимался он не умиротворенною патиной академической науки историей восемнадцатого или, там, девятнадцатого века, но историей новейшей, советской, до сих пор болезненно пульсирующей в мыслях и нервах, переполненной чудовищными событиями и человеческими трагедиями, станет ясно, какова психологическая тяжесть такого труда, невозможного без сопереживания, со-страдания.

При той жизни, которую — у всех на виду — вел Коля, это кажется невероятным.

Быть может, предположу, в том и дело, что ему было *интересно*. Противоречия с только что сказанным — никакого. Интерес — не любопытство...

Блаженный Августин говорил, что любовь — путь к познанию. Почти век назад Сигизмундом Кржижановским об этом написано философское эссе «Любовь как метод познания». Оба знали, что *по любви* удастся сделать такое, о чем без нее не стоит и мечтать.

Кто не испытывал — тому не объяснить...

Однажды мы с ним попытались припомнить — когда и как познакомились. И не смогли. По ощущению, знакомство это было, если не «всегда», то, во всяком случае, очень долгим. То бишь, я бы сказал, мы *примелькались* друг другу задолго до того, как обменялись, наконец, именами. Так бывает, когда встречаешься с человеком, вроде бы, случайно, но с некоей трудно уловимой регулярностью. И сперва начинаешь кивать ему, мол, узнал, потом — здороваться, и остается лишь дожидаться случая, чтобы познакомиться, так сказать, окончательно. Правда, такого случая может и не представиться. Но тут его вероятность была велика — круг, как известно, узок, а слой тонок.

Попробую пересказать сокращенно — что удалось нам тогда навспоминать.

Возможно, впервые мы вскользь увидели друг друга «в середине шестидесятых», когда единственный раз я увязался за Штейнбергом, отправлявшимся в клуб «Музыка» — не выступать, просто посидеть-поглядеть-послушать. Ему там нравилось. А создателя клуба — Белецкого — я потом встречал дома у Штейнберга, на Шаболовке, в начале семидесятых, когда «Музыка» уже давно отзвучала.

Наверняка виделись мы в начале зимы шестьдесят восьмого — на юбилейном, «шестидесятилетнем», вечере Аркадия Акимовича, но и там обратить друг на друга внимание было мудрено, тот «фраут», как сказал бы любимый Акимычем Случевский, «был блестящ», переполненный зал заворожено внимал и герою торжества, и далеко не

«безвестностям», что пришли его чествовать, от земляка-одессита Льва Славина до цыганки Рады Волшаниновой.

Потом было еще несколько, так скажем, «некамерных» действий, где мы бывали одновременно в массовке-публике — литературные вечера, «полукатакомбные» вернисажи художников, ныне признанных чуть ли не классиками.

И только в конце семьдесят седьмого, опять же, в ЦДЛ, где Штейнберг отмечал очередную «круглую дату» чтением переложений из Ван Вэя, мы, как бы на правах давних знакомцев, узнали, наконец, имена друг друга — и сразу «на ты» (запомнилось, потому что обыкновенно мне сей переход дается не без труда). Вообще среди многих виденных мною «вблизи Побояля» людей тех, с кем он был бы «на вы», не попадалось, за естественным исключением некоторых старших, вроде Липкина или Штейнберга...

С весны восемьдесят четвертого мы встречались уже постоянно, даже на улице то и дело сталкивались. Иногда у Павла Нерлера или у Липкина, раз в год — на Щукинской, «у Штейнберга», но чаще бродили по улицам или сидели где-нибудь, попивая кофе или что покрепче, и говорили, говорили. Он был хорош в разговоре, легок, внимателен, быстр — и в то же время нетороплив, без намека на скороговорчивость. Мигом подключался к мысли, включался в ее движение, да и своих мыслей у него хватало. С ним было *интересно*.

Побывать друг у друга довольно долго как-то не складывалось. И впервые я попал к нему в дом, если не ошибаюсь, году в восемьдесят восьмом. И, едва устроившись за столом, еще не пригубив тут же наполненную хозяином рюмку, отключился, так сказать, в созерцание — прямо передо мной, на стене, выстроились в ряд шесть акварелей Владимира Яковлева, из ранних, одна другой лучше, цветы и портрет. Потом о них и заговорили. И о Яковлеве. Коля познакомился с ним примерно тогда, когда эти вещи были написаны, на рубеже пятидесятих-шестидесятых. Подробности разговора стерлись, сохранилось *впечатление*: он не только хорошо *знал* Яковлева, но и тонко и точно *понимал* — уникальность этого художника, этого *события* в новой живописи.

Несколько лет назад был сделан документальный фильм о Яковлеве. Ведут его — от начала до конца — три собеседника: филолог-итальянист Николай Котрелев (с которым, к слову, Поболь тоже был дружен смолоду), художник Лев Повзнер и Коля.

Фильм у меня есть — и потому могу точно воспроизвести сказанное Поболем о Яковлеве, отчасти воскресив тем самым давнюю нашу беседу.

О самых ранних, первых работах:

«...Если бы Яковлев остался в «ташистском периоде», разговора не было бы сейчас о Яковлеве. Яковлев — это, конечно, прежде всего — цветы, прежде всего — портреты, две вещи самые-самые, цветы и портреты».

О своих акварелях — тех, что на стене:

«...У меня висят пять цветков — ранних, конец пятидесятых и начало шестидесятых, - и один портрет. Я уже давно их как-то по отдельности не воспринимаю — портреты или цветки. Это просто шесть человеческих портретов. С совершенно разными характерами, может, так случайно получилось, может, мне уже кажется, но это действительно человеческие портреты. Совершенно разных характеров и разных состояний. Есть печальные, есть, наоборот, какие-то веселые, есть один цветок-хулиган»...

Здесь характерно, на мой взгляд, это «цветки», а не «цветы». Естественный и тонкий нюанс, если угодно, *персонификации*. Явственная индивидуальность каждого — и все вместе они, конечно, не обобщенные «цветы», но именно — по отдельности — и в одиночестве — существующие «цветки».

Мне очень нравилась эта органическая — без усилия и думания про то, как бы получше выразиться, *беззаботная* — точность его речи. С ним можно было говорить о чем угодно — и никогда разговоры не становились *болтовней*, какими бы *легкомысленными* ни были...

О высказываниях некоторых вполне авторитетных искусствоведов, мол, Яковлев — диковинный самородок, художник «чистого наития», наива, близкого примитиву:

«...Яковлев, между прочим, очень хорошо знал европейскую живопись, и вообще живопись. Очень хорошо. И я его никак не могу рассматривать как-то вне русла вообще живописи, это не такое чудо, наивный примитив, который ни с того ни с сего возник именно потому, что он ничего не знал. Он знал»...

В начале прошлого декабря мы встретились, сговорившись, в Доме Художника — на «Non Fiction». Потолкались у стендов издательских, полистали книжки, сойдясь довольно неожиданно на том, что, вот, книг «хороших и разных» на ярмарке не счесть, а купить почему-то не хочется ничего. Правда, у стенда «ОГИ», увидев три выложенных там «по знакомству» книги из нашей с Игорем Семенниковым и Сергеем Бычковым серии «Библиотека для избранных», Коля сказал, что вот «Три книги» Парнаха он бы купил, но у него уже есть. Похвалил, значит, заодно поблагодарив за подарок.

Потом спустились в кафе, взяли кофе, закурили. Он рассказывал, как замечательно провел два осенних месяца во Флориде — тридцать градусов, купанье трижды в день, благодать...

Я заметил, что кашляет он чуть сильнее обычного, подумал, что акклиматизация — из субтропиков в зимней Москве — штука рискованная, неровен час... Однако говорить ему про то не стал, знал — отмахнется, и не с таким справлялся...

В середине января понадобилось мне связаться с художником, с которым Коля познакомил меня несколько лет назад. Допоздна пытался дозвониться до Коли по домашнему номеру — безответно. Назавтра повторил — то же самое. Зато на зуммер мобильного он откликнулся сразу. Сказал, что уже две недели в больнице — воспаление легких, было совсем худо, но теперь, похоже, выкарабкивается, хотя обнаружили и другие болячки, придется ими заниматься — и, кажется, серьезно.

Я стал звонить ему раз в два-три дня — отвлечь, развлечь.
Несколькоминутные разговоры — о чем угодно, кроме болезни...
В последний раз это было двадцать шестого января.

Павел ПОЛЯН, Павел НЕРЛЕР (Москва – Фрайбург)
ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД, ИЛИ TAKE FIVE

*Греки сбондили Алену
По волнам.*

*Ну а мне — соленой пеной
По губам...*

Край видите?

В этой книге явно не будет недостатка в рассказах о том, как приятно было с Колей выпить и закусить.

Добавлю к ним несколько красок и от себя. Это было и впрямь приятно, очень приятно — и даже насущно.

В наше доброе студенческое время Колиным опознавательным знаком был огромный желтый портфель, в недрах которого, в различных его отсеках, хранился истинно джентльменский набор: зубная щетка, пара стопок или рюмок из толстого стекла («правильная посуда»), перочинный нож. Портфели иногда менялись, единицей измерения их емкости служило число бутылок, которые вертикально, без риска разбиться, в них помещались.

Однажды (это было в пору горбачевских антиалкогольных гонений) Коля вернулся из магазина с бутылкой водки в руке, протянутой строго вперед — как если бы это был штык на винтовке. Оказалось, что в боку (а при таком положении — в верху) бутылки зияла пробоина удивительной формы — почти овальная! Бутылка выпала из моей немного дырявой сумки, в которой Коля ее нес как-то плашмя, но она не разбилась вдребезги! Каким-то чудом Коля молниеносно поднырнул под нее, перевернул пробоиной вверх — и так и принес домой, почти ничего не расплескав!..

Саму бутылку я долго хранил как реликвию, но, увы, она пала жертвой одного из косметических ремонтов кухни.

И моя мама любила угощать Колю. Однажды она выставила на стол крошечные рюмочки, причем предназначались они ею для вина. Рюмки были такие маленькие, что Коля не выдержал и сказал: «Белла Марковна, ну где вы такие наперстки берете?»

Мама поняла, поставила уже фужеры, но бутылку с вином не выпускала из рук. И спросила: «Коля, сколько тебе наливать?» На что тот улыбнулся, коронно закашлялся и сказал: «Белла Марковна, край видите?»

Одним из любимых Колиных изречений была клинописная шумерская фраза: «В блаженном настроении пьется пиво, с радостью в сердце и счастьем в печени». Он так обрадовался, встретив одиночку на расстоянии в 50 с лишним веков!

Колино отношение к пирам — и к еде, и к питью, и к разговорам — всегда было немного чувственным.

Но разницу между праздниками и буднями он тоже читил. Дома, для себя, готовил по скромному минимуму — пельмени, сосиски, иногда супчики: природная лень с легкостью брала верх над природным же гурманством.

Впрочем, угощения, пиры, были из тех немногих «дел», относительно которых ему не приходилось преодолевать никаких внутренних барьеров. Шел на рынок, закупался, готовил, накрывал на стол, мыл посуду (последнее — неохотнее всего). Но никогда не отказывался от помощи — и почти всегда помощь получал.

Гуляем с Колей в одном из городских парков Фрайбурга вдоль берега пруда, на глади которого мирными зигзагами резвились непуганые лебеди и утки. Показывая на стайку уток с перламутровым оперением, Соня спросила Колю: «Правда красивые?..» А тот облизнулся и сказал: «Вкусные!»

Ближе к старости, став более оседлым, Коля зазетничал и стал коллекционировать и пользоваться рюмки-сапожки и прочие изыски.

Мой учитель и читатель

На протяжении долгих лет я благодарно называю Поболя своим учителем. Наряду с очень немногими другими встреченными по жизни людьми — географом Маергойзом и поэтом Штейнбергом.

Он же всегда был моим первым и главным — внимательным и строгим — читателем.

О том, как Коля со «своим» Мандельштамом положил меня на лопатки с «моими» Кирсановым и Маяковским, я уже писал⁷. С тех пор благодарно замаливаю свой «грех» в меру сил. А уж Мандельштамом Коля был обеспечен впоследствии всегда и во всех видах. В своем дневнике за 25 января 1981 года нашел такую запись о полученном от Коли письме: *«Поболь <...> сидит (не сидит) в Якутии и читает Мандельштама, что я ему дал (“дорожного”). Писал вчера письма — Коле послал вырезку из “Литературной Газеты”»*

Коля здорово поддержал меня в одной сложнейшей для меня ситуации. С 1979 года я готовил книгу мандельштамовской прозы «Слово и культура». Относительно ее композиции у меня шла тяжелая борьба на два фронта. С одной стороны, с советским издательством, отстаивавшим свои охранительские представления (тут моим союзником был редактор Лев Шубин), а с другой — с коллегами, в особенности с Сашей Морозовым, считавшим, что если это — «избранное», то без таких-то и таких-то текстов оно просто непредставимо. И если издательство будет настаивать на «без них» — то лучше вообще ничего не надо издавать.

Я этого радикализма не разделял и считал, что компромисс тут и неизбежен, и возможен: а вот чем ближе его линия пройдет к идеальному составу — тем лучше. Именно в этом направлении я и предполагал действовать.

Вот тогда-то меня и поддержал Коля. В своем дневнике, за 8 января 1980 года, я прочел запись: *«Сегодня ко мне заходил Поболь, и я*

⁷ См. «Человек из другого мира и теста».

спросил его об его отношении к политике издания О.М. (Поболь же — типичный читатель, адресат издания). Он сказал так: “Чем больше — тем лучше. А читатель разберется сам” И он прав, по-моему.

Для меня тогда это был и новый ракурс (читатель как критерий!), и поистине колоссальная экзистенциальная помощь, оказавшаяся к тому же решающей!

Чему же Коля «научил» меня еще?

Ну, например, своеобразному географическому романтизму — этакой любви к пространству и к его преодолению, к путешествиям. Без Колиного менторского или косвенного влияния (плоты, подводный спорт) я бы, вряд ли, подался в спелеологи. Я даже карту себе завел такую же, как он, — с указанием мест, где побывал.

Самое важное, может быть, — Коля перенастроил меня на оптимизм. Сам он был принципиальным, природным и неистребимым оптимистом! Его девиз: «Все будет хорошо!» Пусть основанный не на подготовительной работе, а на Его Величестве «Авось». Этот оптимизм хотя изрядно и прибавлял ему жизни, но перманентному курению, которое этой жизни убавляло, в соперники не годился.

У Коли был тонкий, незлой юмор — импровизационный, ситуативный, без штампов, анекдотов и цитат из «12 стульев» или «Операции Ы».

Помню такую сценку. Собираясь помыть посуду, Коля составил ее в раковину, включил воду, сел и закурил: «Коленька, и что — разве посуда так отмоеется?» Он, затягиваясь: «Павлик, ты недооцениваешь силу текущей воды»

Или еще, из какого-то его электронного письма: «А долго не отвечал, потому что у меня такой компьютер — он понял мое нежелание работать и перестал работать сам»

Колины подарки

Помню, как в самом начале нашего знакомства Коля «дарил» мне Москву. Он знал что-то свое практически про любое место, но особенно запомнилась в его исполнении Таганка. Мы с ним ходили в театр на Таганке, а перед спектаклем (а может и после) он водил меня по улочкам и переулкам. Мы останавливались возле каждой церкви и оградки, и про каждую Коля мог что-то рассказать. Сюда же примешивались его коронные байки про то, у кого в доме напротив Коля бывал и что они тогда пили.

Любил Коля «дарить» друг другу друзей и знакомых. Особенно практичным это оказывалось в путешествиях: данные Колей адресок и телефончик нередко оказывались главными палочками-выручалочками в дороге. На память приходят, например, Ашхабад, Красноводск и, конечно, Тбилиси. Дом Мамуки Цецхладзе на Макашвили, 8 стал и моим главным тифлисским адресом на многие десятилетия.

В Колином архиве я нашел собственные стихи, не сохранившиеся в моем, — это «Дружеские ямбы», написанные в Тбилиси

в июле 1978 года и посвященные Мамуке и еще одному Колиному «подарку» — Гоги Цааве, жившему буквально стадиона «Динамо»⁸.

ДРУЖЕСКИЕ ЯМБЫ

1

Мамуке Цецхладзе

Замрите, граждане, ни звука!
Осуществляйте тишину!
Мы слушаем тебя, Мамука, —
Дай направление вину!

Скажи нам тост! Но дай нам право,
твою науку возлюбя,
вот так же мудро и лукаво,
Мамука, выпить за тебя!

2

Гоги Цааве

Где стадионовы отроги, —
сейсмоопасная земля, —
живет наш друг, Цаава Гоги,
бровями важно шевеля.

Он всемогущ — ему под силу
помочь и в счастье, и в беде,
арендовать на вечер виллу,
достать фарфоровый биде.

Ему подвластны лед и пламень,
погодой заправляет — он!
И самых белоснежных спален
он безусловный чемпион!

Среди бесценных Колиных подарков — и русская баня. Отчетливо помню свой первый банный поход — в Сандуны и с Колиной компанией. Помню очередь на улице, билеты по полтиннику, все сандуновское «барокко» внутри, а еще и то, что мы не ограничивались парилкой, но и массажировали друг друга на простынях, накинутых на каменные скамьи. Память, конечно, может и подвести, но мне вспоминается, что с нами тогда были Алексашкин, Власов и Таруц.

Еще один Колин подарок — джаз: Дэйв Брубек, Дюк, Эллочка, Михелия Джексон. Любимое из любимого: «Take Five» на 5/4, Брубeka — Дезмонда — Морелло. Как же я был счастлив увидеть и услышать Брубeka и его квартет вживую в 1999 году в Принстоне.

⁸ См. ниже, в переписке, наше общее с ними письмо Коле.

Наш тандем

Когда в середине 1990-х Коля «перешел на оседлость», а я сел в германо-российский шпагат, у нас с ним как-то неожиданно и вдруг, но весьма прочно образовался своего рода историко-литературный тандем.

Я «инвестировал» в него текущие проекты, идеи новых проектов, наработки и профессиональные знакомства, разные проектные ресурсы, а он — время и готовность потратить его часть на совместно согласованные цели и задачи.

Коля не был трудоголиком (сфера его энтузиазма совсем иная), но и записным лодырем он тоже не был. Я знаю, что он ворчал, вздыхал и «жаловался» на меня общим друзьям, тому же Расстригину, например: «Скоро Павлик придет, а я еще ничего не сделал!..»

Но я знаю, что все это структурировало его жизнь, противостояло его пресловутой «деликатной богомности» и помогало достаточно долго держаться на плаву. И это, пожалуй, главное. Непосредственные же результаты деятельности нашего «тандема» лучше всего видны из Колиной библиографии.

Кстати, у Коли была и индивидуальная мечта — свой собственный, никем извне не инспирированный, проект. Это биография Урванцева — подлинного, а не липового, как Завенягин, открывателя Норильска. Разумеется, репрессированного.

Лег ему на душу этот проект, и я даже раздобыл ему несколько нужных наводок. Но дальше копирования и без того известной и легко доступной информации и заведения для Урванцева особой папки дело у Коли не пошло.

А ведь в молодости, как вспоминают, был он совершенно другим — энергичным, напористым, ведущим, а не ведомым. Петр Жакович Крисс, начальник отдела, в котором Коля работал в ОКБ МЭИ, аттестовал его инициативным и бойким товарищем, работавшим и руками, и головой, которому все можно было поручить. Колин товарищ по сплаву на плотках Таруц, когда я спросил его о Колином амплуа в их плотовой команде, ответил: заводила, генератор идей, «штатный оптимист» и этакая «батарейка»!

Собрание сочинений

Из материалов этой книги я с изумлением узнал, что Коля, может быть, в 60-е подрабатывал еще и переводами туркменской поэзии, благо, у его тестя — классика туркменской прозы Беки Сейтакова — несомненно, была возможность раздобыть для зятя подстрочники. Сомневаюсь, правда, в том, что Коля ею воспользовался — мне он об этом никогда не говорил.

Писание собственных стихов тоже вполне можно было себе представить, как и то, в каком жанровом направлении этот процесс протекал: шутки, хохмы да эпиграммы.

Большого ему не разрешил бы его строгий, выработавшийся за годы вкус. Ну не конкурировать же с Мандельштамом?

Кстати, читая или слушая иную мандельштамоведческую дребедень, Коля умел выразить свое неприятие таким, например, образом: «Зато какие там прекрасные в середине цитаты!»

К 19 мая 2004 года, на Колино 65-летие, мы с Соней и Илюшей собрали все Колины публикации, вышедшие к тому времени, и преподнесли ему машинописное, в одном экземпляре, «Собрание сочинений». Разбирая Колин архив, я наткнулся и на него.

ПОБОЛЬ Николай Львович. Избранные труды в 3-х тт. Т 1. Труды в области географии, истории и филологии / Редакторы-составители: П. Нерлер, И. Полян, П. Полян, С. Цеханская. Москва: «19 мая», 2004. 55 с.

На «обороте титула» стояло:

«В том же издательстве готовятся:

Т.2. Труды в области ихтиологии;

Т.3. Трудовая книжка».

Свои рассказы о браконьерах и о разных вкусных рыбах («том 2») Коля бумаге так и не предал (в архиве, правда, отыскался незавершенный эскиз об экспедиции 1982 года), а вот его «Трудовая книжка» попала в эту книгу целиком — это, наверное, первая публикация одной из многих миллионов советских трудовых книжек.

Богема и философия неограниченного разнообразия

«Откуда он такой взялся?» — спрашивал себя Коля про Сашку Васильева.

А откуда взялся он сам?

Перечитывая Пушкина, и даже не стихи, а письма, Коля выписал себе в телефонную книжку одну цитату, перекликающуюся с шумерской. Это из письма Дельвигу от 23 марта 1821 года: *«Самого лучшего состояния нет на свете, но разнообразие спасительно для души».*

И это не случайно. Ибо идея привлекательности человеческого разнообразия, широты и даже случайности контактов была ему не чужда. Обратная же ее сторона — экстенсивность, поверхностность человеческих отношений, ослабленная человеческая гравитация — во внимание не принималась.

Соответствующую «философию» Коля не сам разрабатывал, но он ее воспринял и ею, отчасти, руководствовался. И есть, признаем, у богемы свое особое обаяние — пикантное обаяние безответственности.

Одним из королей московского андеграунда и тотальной, засасывающей богемности был никто иной как Сашка Васильев — Колин школьный друг⁹. У самого Коли хватило сил и интуиции для того, чтобы, обзаведясь яковлевскими «цветками» и не теряя Сашку, не дать себя засосать в его новые «миры» — миры фарцовки, упития до чертиков и фенамина.

Леня Жаров нашел неплохое слово для Колиной богемности: «деликатная». По сравнению с васильевской, она, и впрямь была чуть ли не детским лепетом.

⁹ Про Сашку Васильева. М.: Пробел, 2012.

В молодости такая жизнь была хотя бы средством эпатажа и общественного — как минимум внутрисемейного — протеста. Коля был «против» людей, которые, как его отец, никогда не опаздывают (правда, сам он поэтому был терпим к чужим опозданиям).

В зрелости это могло бы пройти и само по себе: эпатировать стало уже некого и незачем. Но не прошло и осталось привычкой, осталось «деликатной богемностью».

Осталось, чтобы разрушать своего носителя — выпивкой и курением, а главное — неким облегченным отношением к реалиям жизни, жизнью-лайт.

В Колиной философии было место и для светловского тезиса: «Без полезного я обойдусь, а вот без вредного никак не смогу». Коля его часто и охотно цитировал. И до самого последнего дня он прожил по-своему — с «вредным» наперевес¹⁰. Курил жадно и как-то на автопилоте, прикуривая новые сигареты одну за другой от догорающих. На призывы охолодеть с курением отшучивался: мол, может произойти «кислородное отравление»!

Человек-одеяло

Человек-магнит, человек-солнышко, человек-весна, человек-открытие, человек-гора,— такими эпитетами Коля награжден на этих страницах. Думаю, что самый точный эпитет — тарановский: он сказал на панихиде, что Коля был одеялом, накрывавшим и согревавшим практически всех, кто к нему приближался! Залогом этого была его врожденная порядочность: прививка от подлости и пошлости, свобода от злобных помыслов и интриганства.

Поболь был душой, но даже не компании и не общества,— он был душой самого общения!

Но у общения при этом были разные уровни и разные, если хотите, этажи.

Во-первых, он был виртуозом общения самого поверхностного, рассчитанного на одну или несколько встреч, с кем угодно — от таджика-рабочего до академика-филолога.

Иной раз такое общение бывало довольно бессмысленным, иногда даже вредным. Так, в 1998 году у него несколько месяцев прожил некий американский негр по имени Папс, выдававший себя за журналиста, бежавшего из Чечни. Этот гость отблагодарил Колю тем, что одолжил у него на дорогу и не вернул.

Во-вторых, был Коля и гроссмейстером общения с кругом своих старых друзей — тех, что, в основном, и собирались у него 19 мая. Оно уже не было таким поверхностным и опиралось на свод известных ему (им же и установленных!) традиций. Среди чтившихся дат — дни рождения и дни смерти двух покойных друзей молодости — Васильева и Савельева. Традиционными были и встречи Нового Года, начинавшиеся у Алены Тарановой и заканчивавшиеся у Таранова Андрея.

¹⁰ Это под самый конец он перешел с четырех пачек на одну и с «Союз-Аполлона» на «Camel». Курил даже в больнице — в кулачок!

А вот по части самого трудного и тонкого общения — с доверительными, по душам, разговорами, с признаниями и советами, с ответственностью за произнесенные слова и вытекающие из них поступки,— Коля гроссмейстером не был. Но это требовалось так редко, что никто этого и не замечал.

Алик Багдасарян очень точно заметил на панихиде: Коля был стольким многим и столь разным (!) людям не просто другом, а именно лучшим другом! Таким же был он и для меня...

Но все-таки возникает вопрос о градациях дружеских отношений. И об их эволюции. Хорошо, Коля был для нас наш самый близкий друг. А кто ему были все мы? Друзья? Приятели? Знакомые? Собеседники? Сотрапезники? Событьчики? Ведь это же не одно и то же!

В 2011 году мы с Колей готовили очередной мандельштамовский календарь — последний, который делали вместе, — «Друзья поэта». И это непосредственно Коле адресованы мои размышления в преамбуле:

«Но с годами отношение Мандельштама к дружбе и к друзьям менялось.

В зрелости ему был глубоко чужд тот постмодернистский подход, что низводил дружбу до средства лоббирования и оказания взаимных «услуг» в сочетании с безответственным событьничеством.

Мандельштам же искал собеседников и не чурался ответственности. В дружбе он ценил, прежде всего, тот твердый сплав доверия, искренности, щедрости и благодарности, что делает невозможными предательство или подлость («не расстреливал несчастных по темницам»), но особенно — ту обоюдную душевную предрасположенность, своего рода сердечное западание, чей импульс и толкает людей друг к другу. Это роднит дружбу с влюбленностью и даже с любовью, но без эротики».

Сорок лет никто и никогда не пытался нас с Колей поссорить. Казалось, что это просто невозможно! Ан нет. Наличие таких попыток, порожденных внешней болезненной энергией,— мое главное переживание последних двух лет. У нас стали возникать проблемы, доставлявшие каждому немало огорчений. Поговорить с Колей по душам на серьезные, больные и ранящие темы в последние годы стало и вовсе невозможно. Он на все махнул рукой и ловко прятался за свои шуточки. И только наши проекты не слишком пострадали — медленнее, чем обычно, но двигались.

О любви

«Семейная жизнь — не для Поболя, а сам Поболь — не для семейной жизни» — звучит во многих воспоминаниях. Хотя бы и так, но все же он был дважды женат, и были дети.

Кажется, что эпиграфом к Колиному отношению к женщинам мог бы послужить романтический куплет анчаровской песни, часто звучавшей в нашей компании:

В каждом жил с ветерком повенчанный
Непоседливый человек...
Нас без слез покидали женщины
И забыть не могли вовек!..

Непоседливость, с ветерком повенчанность — ну до чего же хорошо! Как это замечательно для начала отношений — и как же этого мало для их продолжения! Прячущаяся за ними ненадежность не видна, оттого и расставание без слез — как неизбежная и органическая часть программы. Иной, кроме расставания, перспективы тут, увы, не заложено.

В этом вопросе Коля поступился даже толикой своей строгой эстетики. Он не переносил манерность или пошлость, отчего Северянину и даже Есенину трудно было пробиться на его внутренний поэтический пьедестал. А вместе с тем на него пробился жалкий есенинский эпитоношко Вадим Шершеневич с одним стихотворением, которое Коля, к моему изумлению, знал наизусть и вспоминал особенно часто:

Другим надо славы, серебряных ложечек,
Другим стоит много слез,—
А мне бы только любви немножечко
Да десятка два папирос.
А мне бы только любви вот столечко
Без истерик, без клятв, без тревог.
Чтоб мог как-то просто какую-то Олечку
Обсосать с головы до ног...

Усеченность этой программы — «без истерик, без клятв, без тревог» — не могла не бросаться в глаза, но именно она, да еще в сочетании с пачкой сигарет, и делала ее для Коли всерьез, а не в шутку привлекательной. Если для отношений-лайт это еще как-то срабатывало, то для отношений подлинных и глубоких — уже нет. И этот ветерок безответственности оборачивался бумерангом, от которого уже не увернуться. Вот отчего самые глубокие Колины «романы» — кончались для него поражениями. Слишком уж «верен» он оставался своим «ветерку» и «десяткам двум папирос».

Жил Певчий дрозд

«Жил певчий дрозд» — помните этот гениальный фильм Отара Иоселиани? На работу — а главный герой работал в большом оркестре! — Гия попевал только в последнюю секунду. Ударял в свои литавры — улыбался виновато — и убегал. Дома его уже ждала разложенная нотная бумага — он был композитором и слышал в себе иногда гениальную музыку. Но он шел не домой, а, например, к другому-часовщику, сидел около него часами, трепался, молчал — общался, как мог. Часовщик что-то ему отвечал, но сам при этом все время работал. Гия же подходил к стенке и забивал в нее гвоздь, на который часовщик потом много лет вешал свою необъятную кепку. А сам Гия, он же Певчий Дрозд, выходил, наконец, из мастерской и шел себе, не глядя по сторонам и насвистывая что-то, просившееся на нотные листы, — пока не попал под

машину. Часовщик же, вернувшись с его похорон, посмотрел на вбитый им гвоздь — и, глубоко вздохнув, повесил на него кепку.

Коля «под машину», слава богу, не попал, но и разложенных на столе нот у него тоже не было. Зато таких «гвоздей» от Коли у каждого из нас множество. И, похоже, даже у тех, кто Колю и видел-то всего один раз. У меня на кухне — целая семейка «его» пепельниц-ежиков, а в комнате — починенная им люстра. Коля никогда не жалел времени на то, чтобы выполнить какие-то малосущественные, на первый взгляд, просьбы или даже капризы. Моему отцу он купил, по его просьбе, шахматы, и именно они скрасили последние годы отцовской жизни. Коля еще успел сыграть с Марком Павловичем партейку, когда заезжал во Фрайбург в последний раз летом 2011-го.

Колина память и Колин календарь

Коля помнил наизусть отнюдь не только стихи. Он помнил и дни рождения едва ли не всех своих знакомых «первого круга», причем не только их, но и их родителей и их детей, хотя бы и маленьких. И не только помнил, но еще и звонил соответствующим людям в соответствующие дни! Всегда!

И всегда ходил на могилы своих первых друзей — Савельева и Васильева.

А в домобильниковое время он помнил еще и чуть ли не все телефоны из своей записной книжки!..

Помимо Мандельштама Коля наизусть знал, например, и «всего» Охрименко. Он очень любил одну охрименковскую песню — «Абдул Гамид». Слуха у Коли не было, но эту песню он пел с большим энтузиазмом и, по его словам, примерно раз в год, для чего требовались соответствующий моменту градус подпития и особый аккомпанемент. Он брал в руки гитару, прижимал ее струнами к животу, а сам выхлопывал что-то наподобие ритма по деревянному корпусу:

Абдул Гамид был малый бравый,
Ему Аллах,
Ему Аллах здоровье дал,
Он мусульманские державы
В свои гаре-,
В свои гаремы превращал.

Какой там суверенитет!
В гарем хотел он превратить весь белый свет!..

И в том же духе еще куплетов 15. Песня казалась нескончаемой, но Коля знал ее целиком. И если подлинно пелось, то допевал ее до конца, под конец раскачиваясь, как шаман. За 45 лет знакомства и дружбы слышал я эту песню раза четыре или пять, лучшее исполнение — на дне рождения у Жени Пермякова.

Колин «организм»

В подарок от родителей Коля получил поистине выдающееся здоровье. Расшатать его ему очень долго не удавалось. «Организм знает что делает»,— говорил он, нанося ему очередную порцию вреда.

Добавлю сюда авантюренность, то есть готовность идти в предприятия с риском, с неизвестным исходом. Для этого требовалось известное бесстрашие, и оно у Коли всегда наличествовало.

Незабываема наша с ним поездка в Дубровку — со мною, совершенно неопытным еще водителем, за рулем. Я впервые выехал за Кольцевую — и был в растерянности. А Коля спокойно сидел справа у окошка, курил, шутил и подбадривал меня.

Зимой 2011 года Коля несколько спонтанно съездил в Китай — намерзся там и вернулся совсем разбитым. Мне удалось уговорить его пойти со мной, Аликом и Семеном в Поликлинику Академии наук и пройти там диспансеризацию. Колины хождения туда в одиночку растянулись на целый год. Будучи предоставлен самому себе, Коля бесконечно опаздывал на приемы и «не успевал» своевременно сдать анализы. Про самый последний визит за диагнозом не хотел ничего рассказывать. Не исключено, что правду о своих болячках он узнал еще тогда, но осознанно решил ничего в своей жизни не менять! Он паршиво чувствовал себя последнюю пару лет, но к врачам практически не ходил, потому что боялся («придумают еще чего-нибудь!»). А если ходил, то уклонялся от диагнозов.

В начале января 2013 года у него был, не замеченный вовремя микроинсульт (похоже, что до этого — в октябре, когда он улетал в Штаты,— был еще один). Ну и воспаление легких, которое он не лечил год или больше.

Последние два раза я видел Колю 27 декабря — на Мандельштамовской лекции в Историчке и у памятника Мандельштаму — и 29 декабря — в Селезневской бане. Когда он лежал в больнице, я несколько раз говорил с ним по телефону из Фрайбурга. В последний раз я позвонил 27 января, но трубку взял уже Алик: «Коля скончался. Полчаса тому назад».

..Коля умер от тромба в легких. Эта мгновенная смерть — суший подарок по сравнению со ставшими для него возможными альтернативами. Колин «организм» как бы сделал свое самое распоследнее усилие — и увильнул от этих «альтернатив», увернулся от страданий.

Ломик над могилой

Даже самой своей смертью, может быть, не надолго и в самый последний раз — Коля объединил множество пришедших на панихиду людей (многих привела «Новая газета», поместившая накануне некролог).

Иные, с вечно надутыми щеками или губами, даже чуточку изменили свое отношение к Коле и повысили ему свой «рейтинг», никому уже не интересный. При жизни оценить все не получалось.

На кладбище произошел характерный эпизод. Рабочие (их было шестеро) не стали чистить для себя дорожку в снегу и, проваливаясь в

снежную целину, пронесли Колин гроб буквально по воздуху. Прямо у могилы один из них приготовился принимать гроб, а остальные пятеро — подавать его через ограду. С большим трудом, царапая обернутое в синюю ткань днище наконечниками, они перевалили гроб принимающему.

И что же сделал он? Перебросил через могилу скользкий и весь обмерзший ломик наискосок, правой ногой уперся в гору насыпанной и еще не смерзшейся земли, а левой просто встал на этот ломик! В цирке этому номеру присвоили бы высшую категорию сложности — оркестр бы замолк, уступая воздух барабанной дробы...

И ничего — не поскользнулся, не упал!

«Авось» и тут не подвел.

Елена РАЧЕВА (Москва) МОРКОВКА С ВОРКУТЫ

Колей хотелось называть независимо от разницы в возрасте (40 лет с лишком) и моего к нему (огромного) уважения. Не только из-за легкости в общении, просто из-за того что Николай Львович моментально, в первые же минуты знакомства умел расположить к себе всецело, становился своим безусловно и навсегда.

К нам в «Новую» он приходил без предупреждения, и рабочий день тут же заканчивался: казалось, все самое главное на сегодня уже случилось и остается только вместе радостно доживать день. Мы садились в курилку, Николай Львович прикуривал — следующую сигарету от предыдущей — и начинал свои истории, тоже — одну за другой.

Чаще всего речь шла о взаимно интересных вещах: статьях в новогазетную «Правду ГУЛАГа», готовящихся к печати книгах, задуманных исследованиях («Куда в 30-е делись из России китайцы, вы не задумывались? Может, это просто незамеченная волна депортаций?»), стихах, текущих политических анекдотах... Но интереснее всего было слушать о заполярных экспедициях — «северях» — по которым за свою географическую жизнь Николай Львович намотал тысячи километров на всех видах транспорта, включая личный самолет, на котором за казенный счет летал от Кольского полуострова до Колымы. Помню, как он упрекал меня, вернувшуюся с Таймыра, что не ловила самого вкусного в мире хариуса из ледяных рек, и отговаривал ехать в республику Коми в июне, когда там еще нет грибов.

Почему-то запомнилась история о том, как, задумав готовить большой плов, Николай Львович брал самолет и летал за морковкой, которую во всем Заполярье можно было купить только на Воркуте. «Потому что какой же плов без морковки?» — усмехался Николай Львович, затягиваясь, и я отчетливо представляла его торгующимся на воркутинском рынке и на несколько секунд верила, что страшная лагерная Воркута — это и есть изобильный сказочный мир.

От рассказов Николая Львовича вообще веяло чем-то радостным, обаятельным, уютным. Даже понимая, как мало на самом деле было в полярной скитальческой жизни веселого и светлого, я верила в этот праздничный мир, смотрела на него его, Николая Львовича, глазами.

Встречаясь с ним, я всегда чувствовала, как радостно, увлеченно, цельно умеет он жить, одновременно с этой полнокровностью бытия выходя в какие-то иные, надбытовые слои, исполняя там то, что не способен сделать никто, кроме него.

И этой радости жизни, и этой увлеченности делом хотелось учиться у него. И то, и другое заставляло людей хотеть быть с ним.

**Илья СМИРНОВ (Москва)
ПОД ЗНАКОМ ШТЕЙНБЕРГА**

Вспомнить день нашего с Колей знакомства, к сожалению, легче легкого: это 7 августа 1984 года, когда в деревне Юминское на берегу реки Хотчи умер наш общий друг Аркадий Штейнберг, Акимыч.

Еще ничего не зная, я приехал по делам в город, едва принял душ, как раздался телефонный звонок с горестной вестью. Выяснилось, что не позднее завтрашнего утра нужно отправиться в город Талдом, где оставалось тело Акимыча, для улаживания необходимых формальностей.

Ехать собрались втроем: мы с моим добрым знакомым Андреем Кистяковским и не ведомый нам тогда Коля Пობоль. Чтобы поутру не тратить лишнего времени, Коля пришел ко мне с ночлегом. Мы познакомились, а уже через минуту он мирно похрапывал на диване без всякого спального приклада: уложил голову на сгиб руки и уснул.

Как случилось, что за почти десять лет регулярных визитов к Акимычу сначала на Шаболовку, а потом на Щукинскую мне раньше не довелось повстречать Колю, одного из самых близких к нему людей?

Возможно, что называется, не сложилось: Коля много времени проводил в экспедициях. Да и Акимыч, к слову сказать, обожал напустить таинственность: людей сводил по каким-то ему одному известным приметам, любил, чтобы общение протекало внутри многочисленных кругов его разнообразнейшего жизненного обихода, не выходя или почти не выходя за их границы.

Но познакомить нас с Колей Акимычу все-таки пришлось, но уже оттуда, куда так неожиданно он ушел...

...В те бестелефонные годы, которые и представить при нынешнем мобильно-сотовом изобилии невозможно, звонок даже в ближайшие окрестности Москвы являл собой задачу неразрешимую. Пока Коля мирно спал на моем диване, я ломал голову, как сообщить семье на дачу о смерти Штейнберга и о нашей внезапной поездке. Наконец, нашелся кто-то из знакомых, кто брался попросить кого-то еще, кто вроде бы жил неподалеку от нашей деревни, передать все, что требовалось, моей жене.

То ли я, волнуясь, слишком громко объяснялся по телефону, то ли Коля спал чутко, но ранним утром, уже собираясь в дорогу, он вдруг спросил: «Мне приснилось или ты в самом деле что-то говорил про Жевнево?» Оказалось, что деревня Жевнево, где мы уже который год проводили лето, знакома Коле еще с довоенного времени, и его представления о «счастлимом детстве» накрепко связаны с рекой Истрой,

окрестными деревушками — Крюковым, Рождественом, Лужками. Как-то так выходило, что мы вроде «земляки».

От поездки нашей мы ничего доброго и не ждали — повод не тот; но действительность тогда еще советской провинции превзошла все представимые кошмары. Описывать всю эту бредовую кутерьму и сейчас, спустя почти 30 лет, нет никаких сил и возможностей. Ныне тоже, увы, покойный Андрей Кистяковский был человек яростный, но и он как-то притих перед неодолимой гнилой мерзостью тамошних человек — начальников и прочих. Мне же по молодости все хотелось с кем-то схлестнуться, что-то доказать, и один Коля со своим спокойным дружелюбием преодолевал одну идиотскую преграду за другой.

К вечеру, совершенно опустошенные, мы отправились ночевать в деревню Грязино, где когда-то был первый в этих краях дом Акимыча, а в те дни гостила у общих друзей жена Андрея.

Мы с Колей поместились на полатах. После бесконечного дня сон не шел. Тогда и услышал я впервые Колины истории, как говорится, рассказы бывалого человека. И сейчас на склоне лет никто не привлекает меня больше, чем знатоки. В молодости был и вовсе до них жаден, мог часами слушать, буквально впитывая, какие-то детали, в самом деле бывшие или казавшиеся подлинными.

Так жизнь сложилась, что объездив многие страны, я мало знаю Россию, глубинку. Китайская провинция мне понятнее, чем русская, — уж так вышло. Одним из тех, кто щедро восполнял пробелы моего личного опыта, сделался с той памятной ночи на деревенских полатах Коля. Именно тогда услышал от него и о давней примете заплутавших таежников: нашел гриб — жильё недалече, считай, спасен. Помню и Колин комментарий: ну, по меркам тайги «недалече» — это километров триста, не меньше. Грибы я искать не умею, но с той поры всякий раз, как случается побродить по лесу и заметить хотя бы мухомор, непременно вспоминаю примету и почему-то радуюсь, словно идти и впрямь остался какой-то пустяк в триста километров.

Уже в Москве, расставаясь, мы сговорились, что как-нибудь я захвачу Колю в Жевнево. Поехали в начале сентября, в ненастный, но теплый день начальной осени. Едва зажелтели листья, дачники разъехались, и опустевшая деревня со своими серебристо-серыми домишками казалась заброшенной, печальной. В этих местах в 41-м шли бои. Главные немецкие силы наступали по Волоколамскому шоссе, но сюда, километров за пять-шесть какие-то отряды тоже заходили. Что-то сторело, позаросли прежние проселки; в деревне стариков почти не осталось, так что никто и не помнил довоенную пору.

Коля ходил по окрестностям с такой уверенностью, словно не 45 лет минуло, а год-другой. Он разыскал в высокой траве фундамент школы, стоявшей когда-то на перекрестке дорог, куда сходились дети из нескольких окрестных деревень. Без труда находил по берегу Истры удобные спуски к воде и называл деревушки, от которых и следа не осталось. Наши друзья, которые уговорили нас поселиться на лето в Жевнево, тоже жили в этих краях много лет, любили здешние прогулки, многое знали о местной топографии, но до Коли им было далеко.

А завершился тот день и вовсе почти цирковым фокусом. Мы уже выехали из деревни, позади остались вечные ухабы труднопроезжей улочки, прекрасный асфальт вел от «дач Большого театра» (так местные называли кооперативный поселок «Мастера искусств») сквозь чащобный неухоженный лес к станции Снегири. В те годы автовладельцев было мало; деревенские, когда припекала нужда, ходили на станцию все четыре километра пешком, а дачники утром и вечером исправно проделывали пешим ходом тот же путь, отправляясь в Москву на службу и обратно. Словом, дорога хоженная–перехоженная.

И вот тут-то Коля и просит остановить машину — поискать грибы! Помилуй, да тут по обочинам не то что грибы — трава за лето повытоптана! Ладно, мне не жалко, уговорил. Жду десять минут, жду пятнадцать. Появляется Коля: глаза сияют! Прижимает к груди с десяток первостатейных грибов: белые, подосиновики, подберезовики!.. Таких здесь сроду никто не находил, разве до войны. Может быть, с той поры они и дожидались здесь Колю?

После того лета встречались мы не часто, но регулярно: раз или два в год обязательно — в день рождения и в день смерти Штейнберга. Иногда созванивались и сходились без повода (не считать же поводом совместное желание выпить водки!), сталкивались на каких-то сборищах — поэтических чтениях, вечерах. Даже когда не видались подолгу, никуда не уходило ощущение теплоты, греющего знания, что вот где-то живет Коля Поболь, с которым связано немного, но такое важное в твоей жизни.

Голос его в телефонной трубке всегда звучал с узнаваемой хрипотцой, уютно и дружески, хотя, вероятно, друзьями, в полном смысле слова, мы не были — так, добрые знакомые.

Позвонил Коля, как заведено, и в начале августа прошлого, 2012 года. Седьмого собрались съездить на кладбище к Штейнбергу.

Не видел я Колю к тому времени года два. Бросилось в глаза, как он сильно исхудал. В машине по дороге на кладбище беспрерывно курил,— даже для него, заядлого курильщика, показалось, многовато: прикуривал одну сигарету от другой. Но глаза молодо голубели, в голубизну стала сдавать и седина.

Постояли у могилы, решили поехать куда-нибудь выпить «за Акимыча». Сидели в уличном кафе, на воздухе, дни стояли ясные, теплые. Пили пиво, но как-то без страсти, на водку вовсе не тянуло.

Во мне, как теперь понятно, уже гнезвился недуг, спустя три недели упекший меня на полгода в больницу. Колно как будто тоже что-то угнетало...

Впрочем, несколько так любимых мною историй «из жизни бывалого человека» он все-таки рассказал. Стали прощаться.

Одна история меня прямо-таки поразила, ибо касалась сюжета, мне более или менее ведомого — Китая. Оказалось, Коля съездил в эту страну и был полон впечатлений. Правду сказать, и то, и другое нынче не редкость: и отправляются туда многие, и впечатляются, пожалуй, все, разве что всякий по-своему. Но Коля, не зная языка и путешествуя, в основном, исхоженными туристическими тропами, сумел разглядеть то,

что иные знатоки и за годы занятий Китаем не постигают. Его мысли о свободе, о традициях, о влиянии Запада и прочих важнейших составляющих современной китайской жизни оказались свежи, вполне самостоятельны, даже оригинальны.

Что-то неожиданное и очень важное внезапно я понял в самом Коле...

Обнялись. Виделись мы в тот день, как оказалось, последний раз...

Вот так 28 лет нашего с Колей Поболем знакомства уместились между двумя днями седьмого августа — смерть Аркадия Акимовича Штейнберга не только обрамила эти годы, он сам в значительной мере наполнил их смыслом и содержанием. Мысленно я всегда благодарил Акимыча за Колю, за этот посмертный дар.

Теперь пришла пора поблагодарить Колю — за то, что он был в моей жизни.

Юрий ФРЕЙДИН (Москва) НЕОЖИДАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Невысокий, плотно скроенный, теплое рукопожатье, открытый дружелюбный взгляд.

За последние двадцать два года — дату легко исчислить со дня открытия мемориальной Мандельштамовской доски на здании Литинститута, Тверской бульвар, 25 — мы встречались множество раз. Все так и звали его Колей, вряд ли помня его отчество. Мне запомнить было легче, такое же, как у меня, Николай Львович.

Боже, сколько парадоксов привлек к себе Осип Эмильевич в тот январский день 1991 года!

Вот неспецифический, языковой — «мраморная доска». Ну как же доска может быть мраморной? Или, в иных случаях, бронзовой? Это язык, с ним ничего не поделаешь. Возможно, если бы Осип Эмильевич на минутку вообразил, что его столетие почтут мраморной доской, он сочинил бы горькое шуточное стихотворение, как про «Улицу Мандельштама».

Остальные парадоксы уже просто биографические, и их много: доску прикрепили на стене дома, проклятого поэтом в «Четвертой прозе»; торжество завершили Гимном Советского Союза в исполнении духового оркестра... Возможно, сам поэт и не возражал бы против гимна, но тогдашнего, «Интернационала», того самого, который он слушал в наушниках в воронежскую полночь. Правда, может быть, «Вставай, проклятьем заклейменный!..» могло бы прозвучать как спиритическое заклинанье, а Мандельштам спиритизмом не увлекался.

Много можно было бы насчитать парадоксов и чудес и тогда, и много позднее, когда воздвигли памятник поэту за Старосадским переулком.

Кажется, Коля ко всем этим чудесам и парадоксам тоже был чувствителен. И на каждом поминаньи поэта он был душою кружка тех, кто хотел помянуть, снабжая тем, что нужно, и делая это по-доброму тихо, ненавязчиво и скромно.

Невысокий, крепко сбитый, он любил стихи, любил нашего Мандельштама и способен был продолжить стихотворение с любой строки.

Мы встречались с ним и на других литературных вечерах, на открытиях выставок. Колю, оказывается, все знали и любили. А он, если заходила речь, высказывал познания в самых неожиданных областях, от поэзии, архитектуры, андеграудной живописи – до своих прямых специальностей - географии с экспедициями, геологических партий с минералами и маршрутами и ловли такой рыбы в таких водоёмах, которых не то что названий мы не знали, но и мест, где они находятся. Не удивился бы, узнав, что где-нибудь на Дальнем Севере на крупномасштабной карте обозначено озеро Поболя или мыс его имени, хотя, конечно, при его скромности, дружелюбии и неамбициозности он, наверное, легко передал эту прерогативу кому-нибудь из спутников...

Скромность, дружелюбность, любовь к жизни, удивительный интерес к ней – вот черты Коли, открывшиеся мне в наших многих встречах и немногих разговорах.

Неожиданно ему стала сопутствовать ещё и архивная удачливость: он счастливо обнаруживал совершенно новые архивные данные – к сожалению, очень грустные... Об эшелоне - таком, в котором с массой приговорённых («с гурьбой и гуртом») везли в дальневосточный лагерь Осипа Эмильевича осенью 1938 года... Об узниках нацистских лагерей уничтожения...

Казалось, что Коля всегда будет с нами встречаться, здороваться, беседовать и порою пировать, устраивать наши скромные пиры в тех местах, где нам обычно случалось встречаться и беседовать. И что этому не будет конца – во-первых потому, что всегда было радостно встретить Колю, а во-вторых потому, что мы счастливо не думаем о конце пути, хотя напоминают нам всё чаще...

Смерть Коли стала полной неожиданностью. Несколько самых разных людей сообщили почти одновременно – это и для них была личная утрата. А.Р. говорил о гражданской панихиде, что для него полной неожиданностью оказалось увидеть у Колиного гроба такое множество совершенно разных, не связанных друг с другом людей – не родственников и коллег, что обычно, а множество друзей – писателей, художников, музейщиков, архивистов, путешественников, геологов...

Дар бескорыстного дружества, любви к жизни и её прекрасным проявлениям становится редкостью в наши дни.

Потому так обрадовала и обязала меня возможность написать несколько слов в память замечательного неожиданного человека Николая Львовича Поболя, нашего и ещё многих других приятеля, единомышленника, коллеги...

Пусть добрая память о нем сохранится не только там, где “conservat omnia”, не только в наших сердцах и разговорах, но и на этих скромных страничках.

Олег ХЛЕБНИКОВ (Москва)
ОН ЖИЛ АЗАРТНО

Конечно, Коля Поболь — шестидесятник. Не только из-за даты рождения и прививки XX съезда, но прежде всего благодаря непрекращаемой уверенности в том, что в жизни можно и нужно делать то, что интересно, а не то, что выгодно или престижно. И поэтому жить ему было интересно. Причем, по-моему, каждый день и час.

Среди авторов «Новой газеты» он был «как беззаконная комета в кругу расчисленном светил». И не столько потому что публиковался импульсами, сколько из-за неожиданности своего появления в редакции. Приходил всегда без звонка — к своим, прекрасно зная, что ему будут рады. Заходил ко мне в кабинет, садился и закуривал. За первой сигаретой следовали без перерыва вторая и третья. Курил «Союз-Аполлон» и только после недавней поездки в Штаты перешел на «Camel». Надеялся, что из-за дороговизны этих сигарет сократит количество выкуриваемого. Не получилось.

Говорить с ним было остро любопытно. Его новости (иногда из архива), его политические и литературные оценки (прекрасно знал и тонко чувствовал поэзию) хотелось обсуждать.

Не всегда получалось так подробно, как стоило бы, — все-таки работа. Он это понимал — был абсолютно деликатен. И шел в редакционную курилку разговаривать с другими сотрудниками, среди которых у него были любимые собеседники разного пола и возраста.

Наверно, ему было очень важно чувствовать свою интеллектуальную и нравственную, что ли, неодинокость. А азартный интерес к жизни наверняка был самой характерной его чертой. Отсюда и столь разнообразные занятия в жизни — от полярного летчика до историка-архивиста.

В «Новой газете» он совместно с Павлом Поляном вел рубрику «Ваши документы!». Для каждой публикации находил неизвестные документы, демонстрирующие жестокость, нелепость и даже абсурдность тоталитаризма. Как будто иллюстрировал строчку любимого им Мандельштама: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». А еще не уставал удивляться необразованности, а порой идиотизму кремлевских вождей. Смеялся над ними...

Кстати, как он замечательно шутил и смеялся в свои антисталинские усы!

...После 50 новые друзья обретаются крайне редко. И, все-таки, с Колей Поболем, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, у меня это получилось. Очень горько, что так ненадолго.

Мамука ЦЕЦХЛАДЗЕ (Тбилиси)
МОЙ НЕСЕРЬЕЗНЫЙ ДРУГ

Это у государств нет вечных друзей, а у стран и у людей они есть. У государств есть вечные «стратегические» интересы, а вечная стратегия человечества всегда одна — любовь к ближнему.

Культура одна, но отклонений много, и каждый, кто отклоняется от этих отклонений, выглядит, мягко говоря, несерьезно. Как «Певчий

дрозд», к примеру,— Коле, как и всем нам, очень нравился этот фильм... Все мы, кому сейчас за 70, были более или менее несерьезными людьми и, прежде всего, именно этим и привлекали внимание друг друга: так было и у нас с Колей...

Родились и росли мы, однако, в слишком серьезное время — был Сталин, была война, был страх. По примеру и в отличие от французского классика, я бы назвал эту эпоху — «Красное и серое». Ну а вступили мы в жизнь уже при Хрущеве, когда все вокруг стало вдруг крайне несерьезным — вроде бы и развенчали «культ», но культ остался. Просто Сталина сначала стали называть Хрущевым, потом Брежневым, потом еще кем-то, но Сталин продолжал себе жить, несмотря на то что уже не лежал рядом с Лениным, который к тому времени уже и впрямь успел умереть.

Несерьезным был и наш «глоток свободы», но он был, и Коля, что называется, захлеб читал наизусть всю русскую поэзию 20-х годов.

Пишущим я его не помню, я знал читающего Колю, но читающего так, что не оставалось сомнений в том, что он и сам пишет — спрашивал его не раз, но Коля каждый раз отмахивался. Оно и понятно — стихи, которые он читал, уже принадлежали ему самому, он их читал, как собственные, и переживал, как если бы был их автором. Он вглядывался то и дело тебе в глаза, ему нужно было знать, вник ли ты в то, о чем он сейчас с тобой говорит...

Сложно мне сейчас Колю вспоминать, ведь прошло еще совсем немного времени...

Когда близкий тебе человек уходит в мир иной, то на самом деле ведь не он уходит от тебя, а ты от него. Он уходит в вечность, а ты, ты на время остаешься здесь вместе с ним. Мне нужно еще время, чтобы осмыслить нашу дружбу. Напишу об этом, обязательно напишу, если успею — ведь я тоже сейчас нахожусь уже на последнем подъеме...

В Тбилиси есть улица, которая называется — «Последний подъем», есть и другая — «Гора размышлений»...

Коля знал и эту улицу, и эту гору...



Александр Танков

Пляска смерти

Поэма

Збися див, кличет верху древа

Слово о полку

I ПЛЯСКА НИЩИХ



усклой люстрой трехрожковой

Светит небо надо мной.
Я стою у подростковой
Пирожковой на Сенной.
Пахнет серым, серым небом,
Тем, чего не избежим –
Жалкой пайкой, черствым хлебом,
Пахнет временем чужим.
Это запах новой жизни,
Это запах старой лжи...
По отчаянной отчизне
Панихиду отслужи.
Сумасшедшая шарманка,
Подоплека бытия,
Наркоманка, нимфоманка,
Подкольная змея!
Слезла с неба позолота,
Кожу сбросили дома.
Допетровское болото,
Вьюга, музыка, чума.
Воротник бобровый спорот.
Обветшал багровый город,
Город – призрак, город – мрак...
У него, наверно, рак.
Он стоит, как старый нищий,
Тянет лодочку руки,
И царапают о днище
Пальцы цепкие реки.

II ПРОЛЕТАРСКАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ

Как злокачественная опухоль,

Расползается по углам
То ли выхухоль, то ли чтоухоль –
Мефистохухоль, пьяный в хлам.
Мелкий бес, хромое отродье
С папироской на нижней губе,
Бесноватое благородие
Из ЧК, ГПУ, ГБ.
Он с гармошкой толстомордою
Выбирается на крыльцо –
Умирающему городу
Плюнуть в тающее лицо.
И никак нам его не вывести
Как тифозную злую вошь.
Истерической справедливости
До костей пробирает дрожь.

III

ЯБЛОЧКО. МАТРОССКИЙ ТАНЕЦ

Это – вьюга, это – крест.
Это – Луга, это – Брест.
Это – церковь понарошку
Превратили в домкомбед.
Это – дворник нашу кошку
Приготовил на обед.
Бесконечная зима
Сводит запросто с ума.
Если утром на Разъезжей
Ты увидишь след медвежий –
Значит, все еще январь.
Сурик, жмурик, киноварь.
Повтори, как ту таблицу,
Что учили в первом «Б»
Черно-белую столицу
С папиросой на губе.
Матросня уютит клешем
Разухабистый бульвар.
Если хочешь о хорошем –
Рублик, бублик, самовар.
Если хочешь о плохом –
Кукарекай петухом.
Вот дымят печные трубы.
Не поднят тяжелых век,
В подворотне скалит зубы
Крысоволкочеловек.
Он вернулся с Мировой
Хуже язвы моровой.
- Дай погреться у костра,
Изувеченный!
Отovarился с утра

Человечиной.
Вот Венера, вот Луна.
Вот фанера, вот стена.
Холод, голод, черный ход.
Всех нас выведут в расход.
Будет каждому по вере.
Это – люди, это – звери.
Снизу – хляби, сверху – твердь.
Слева – правда, справа – смерть.

IV

БЕЛОЕ ТАНГО

Когда мы шли через Сиваш,
И берег черный
Кидался под ноги – я ваш
Слуга покорный! –
Цеплялся, голося – Я друг! –
За край шинели,
И звезды падали вокруг
Крупней шрапнели.
Когда ворочался январь
В протоке узкой,
Читала вьюга нам словарь
Советско-русский.
Но шло учение не впрок
Степному скифу,
Сполна платившему оброк
Сыпному тифу.
Поземка мерзлую звезду
На хлеб меняла...
Так в девятнадцатом году
Земля линяла.

V

ПОЛОВЕЦКАЯ ПЛЯСКА

Степная сьпь, сыпная степь,
Огни в ночной степи.
Земля посажена на цепь –
И сорвалась с цепи.
Земля посажена в острог –
И выломала дверь.
И вышиб дно, и вышел в срок
Тысяченогий зверь.
Где завивал телеграфист
Кудрявые стишки –
Расстрельный лист, разбойный свист,
Кровавые тиски.
Где повторяли три сестры
Свое «В Москву, в Москву» -
Горят махновские костры,

Белеет смерть во рву.
Где пропивали стыд и честь
Чумные города –
Несет на копыях смерть и месть
Чингизова орда.
Теплушки лузгают зарю.
Написано давно
Письмо советскому царю
От Нестора Махно:
Ты – смерть и тлен, ты – сушь и ложь,
Ты – злая вошь Кремля,
Я – острый нож, живая рожь,
Я – мать-сыра земля.
Ты зажимал страну в тиски,
Я – жил и воевал,
Крестьянской ярости ростки
Я кровью поливал...

Среди кровавого жнивья,
И выжженных лесов
Ползет железная змея,
Поет железная змея
На триста голосов.
Еврей в простреленном пальто
Идет по головам...
Не понимает он – за что
Такая власть словам?
Зачем о прошлом говорить?
Мелодия стара.
Зачем пытаться прикурить
От мертвого костра?
Затем, что катится страна
По прежней колее,
Сыпного страха семена,
Канкан на солее.
И полдень сер, и вечер хмур,
И кровью пьян восход.
И скоро выцветший гламур
Отправится в расход.
Где скалит воровской обшак
Улыбку в сто карат,
Там Гзаку говорит Кончак:
Пора за дело, брат!
И отвечает брату Гзак:
Большой нас ждет улов!
И меч остер, и автозак
На тысячу голов.
Засеем смертью те поля,

Что не понять умом...
О, где ты, русская земля?
Ты скрылась за холмом.
В ветвях деревьев кличет див,
Кричит глухой совой,
И едет раненый комдив
С поникшей головой.
Он был в аду, он был в раю,
Он в сердце носит ад,
Он задержался на краю
И песню страшную свою
Поет на новый лад.

VI

КОМАНДИРСКИЙ ПЕРЕПЛЯС

Эта певчая птица зовется комдив,
У нее восемнадцать голов.
Ее голос как ключ Ипокрены правдив
И как роза Азора лилов.
А как срубят ей первые три головы –
Так она запоеет на фарси
И зеленой гадюкой скользнет из травы,
А о большем ее не проси.
У нее в Самарканде – двоюродный брат,
У нее в Бухаре – Шагане,
И глаза ее – звезды по десять карат,
И таинственный шрам на спине.
А как срубят ей новые три головы,
Запылают три синих костра,
И заплачет она по-английски: Увы,
Я стояла за вами с утра,
Но опять мне достался пожизненный срок
В одиночке степного сельпо,
Где среди стеклотары, как смерть между строк,
Протекает река Лимпопо.
И опять мне придется сто лет повторять
Бесконечное «Мы – не рабы»,
И бессмертную душу в потемках терять,
Спотыкаясь о чьи-то гробы.



Валерий Черешня

Одесский дворик



ерезрелый звук шмеля и летней дрёмы
после полдня солнце чистых занавесок
запах вымытых полов и «Детство Тёмь»
дочитать бы надо счастье всплеском
подступает к горлу невозможно
жить ходить листать страницы вечер вводит
полный воздух внутривенно и подкожно
слов пока ещё не нужно...

Бульвар скукожился и улица усохла,
дома присели, – всё бедней и проще,
чем было в детстве, – выцветшая охра
заката перед наступленьем ночи.

И ночь сама без роскоши и тайны,
без ветерка, донёсшегося с моря,
без истины нетрезвой и случайной,
пропавшей в мимолётном разговоре.

И всё это не стоит сожаленья,
как не жалеют о пустой пичуде,
как огибают камень преткновенья
к своей душе внимательные люди.

Что остаётся? Ровное дыханье
и темнота, сравнимая с золою,
последнего итога колыханье
чуть в высоте...

Бог дарует тихую обитель,
ясный день, нежаркую погоду,
трезвый ум, способность ярко видеть
раз в году, и реже год от года.

Вот и мне, быть может, на неделю,
осенью, порою листопада,
достаётся райское безделье
золотая соразмерность взгляда.

Достаётся комната в три роста,
зеркало в витой старинной раме;
зеркало бесчувственно и просто
отражает прожитое нами:

пастушка с пастушкой на салфетке,
пианино, море с облаками,
женщину, сидящую в беседке,
мальчика, играющего гаммы.

Мальчик полон страхов и печалей,
он боится смерти и болезни,
он не видит смысла в том начале,
что со временем сотрётся и исчезнет.

Я не трону женщину в беседке,
с ней и так всё было слишком сложно,
пусть сидит в своей зелёной клетке, —
есть стихи, в которых всё возможно.

Можно очутиться в прошлой жизни,
так, как очутились эти двое,
замогильный запах жухлых листьев
их приводит к счастью и покою.

Путь ведёт скрипучим чёрным ходом,
длинной итальянской галереей
в комнату, откуда мальчик родом,
где стоят шкафы, как иереи.

Грузным соглядатаям зачатий
и смертей в дряхлеющей квартире, —
что им скрип продавленной кровати,
тонкий вскрик живого в этом мире?

Комнаты предутренние тени —
отпеванье по ушедшим и пропавшим.
После стыдной суеты забвенья
прошлое становится всегдашним.

В этом дар твой, тихая обитель,
строгий смысл за лёгкою игрою,
словно кто-то обделил или обидел

и потом одаривает втрое.

На слишком близкое, слишком близкое
я подошёл к тебе расстояние,
всё расплывается, сердце стискивает,
Бог весть откуда это сияние.

И ты прекрасна ли, я ли выдумал, –
что за бессмыслица слов двоящихся!
Из прошлой жизни я время выломал
и вставил шарфик твой, в ветре длящийся.

И вставил шаг твой, навстречу льющийся, –
взаимность тела и тяготения,
и невесомое тех дней имущество:
дрожанье воздуха вослед движению.

ДЕТСТВО

Я на диване, мир уютен,
мне дочитают книжку завтра,
среди Иванушкиных плутен
дрожит стекло от гула «Татры».

И бабушкин счастливый штрудель
остынет на окне, и вечер
осеребрит фонарным чудом
широколиственное вече,

прочертит сеть венозной тени
на потолка белейшем меле,
и кровь прозрачных сновидений
дохлынет до моей постели.

И запах дома, запах дома
(как мне сейчас ты остр и нужен)
оберегает от погрома
огромной жизни, что снаружи.

Город спускается к балке,
прыгает в темень ночную
и выбирается жалкой
горстью домишек вслепую.

Свет, проплутавший, как сыщик,
в путаном лепете листьев,

тонкими струйками прыщет
на кукурузный бульжник.

Тепло. И спиною жмётся
тень в закромах подворотен.
Городу что-то неймётся,
он, как потерянный, бродит.

Нервно сжимает запястья
ветвей и тасует листья
город – свидетель несчастья
и сатанинского свиста.

И, найдя до лая
псов дворовых, затихает,
в светлеющих пальцах сжимая
окраину, белые хаты.

ЮЖНАЯ НОЧЬ

Такая тёплая и плотная,
сторуким Шивою танцующим,
густою тьмою полноводною,
вакханкой, всей собой целующей,

над степью, запахом умаянной,
над морем, зыбью околдованном,
ты встала чёрною проталиной
во льду Вселенной, Богом взломанном.

Так чёрным по степи намазано,
накатывает море в рвении,
как будто вслух ещё не сказано
ни глупости, ни откровения.

И вечность, кутаясь в мгновение,
дрожит на грани понимания,
что холодок исчезновения –
другая сторона слияния.

Обнимаешь руками себя
(будто так ты скорее уснёшь),
только собственной плоти тепло
уверяет ещё, что живёшь.

Заключив эту тёплую дрожь,

упираясь зрачками во тьму,
«чем ты дышишь и как ты поёшь?», –
выдыхаешь себе самому.

Столько ночи собралось в вещах,
столько здесь над тобой темноты,
что, коснувшись чужого плеча,
удивишься, что есть и не ты.

Так нелепо и хлипко вокруг,
так ведёт жизнесмерть свой помол,
что её жернова не сомнут
лишь того, кто действительно гол.

Лампа в саду вырывает
ночи испуганной клочок
со слюдяною листвою,
прячущей ветреный вздрог.

Злобной старухи-гречанки
птицеголовая тень
вымахнет ростом отчаянным,
переломившись у стен.

В горле сухом абажура
гулкая дробь мотылька.
На апельсиновых кожурках
водка внутри бутылка.

Сладкая горечь проказит,
тьма с пустотой заодно.
Вечность в мгновение пролазит,
словно воришка в окно.

ОТРЫВОК

...и мысль о смерти так меня пугала,
что я готов был сбросить одеяло
и, в кашле задыхаясь, убежать
из комнаты ночной, чей тусклый взгляд
осколком зеркала, настольной лунной вазой
был устремлён на старую кровать,
на тёмное молчание – и сразу
деревьев шёпот за моим окном
приобретал зловещее значенье
бесстрастной сплетни о моём мученье,
но что-то так ещё пугало в нём,

и чудился мне в шелесте ночном
какой-то облегчённый вздох бессмертья,
как-будто им приснился страшный сон
о длинной жизни, неизбежной смерти,
и так всю ночь, и ни о чём другом,
пока, осыпав тяжесть сновиденья,
от ветви к ветви, дальше, под уклон,
не пробуждались стоном: «обречён»,
имеющим к больному отношеньё,
ко мне, больному, ждущему спасенья
с рассветом, не спешащим, как назло.

И здесь, в отчаянье, пока темно,
я доходил до крайности смиренья:
ну что же, смерть – так смерть, мне всё равно,
среди знакомых стен, картин, ковров,
всего, что собрано распахнутым окном,
и дальше: улиц, уводящих косо
к заросшим тупикам булыжный свой покров,
сводящих воедино душу, кровь,
ведущих в смерть, как в небольшую осыпь,
я засыпал...

ВАРИАЦИИ НА ВЕЧНУЮ ТЕМУ

Сам скажи о Себе, а я – устраниюсь.
Ну, какой Ты? Стоишь, наклоняясь,
обернувшись к Себе, словно смотришься в воду.
Ну, какой Ты без лирики? Кроме погоды?

Зачеркнём лепет слов, означающих чувство,
это здесь не подходит; оставим искусство
в точном смысле – уменя любого рода,
взглянем прямо в Твои бесконечные своды.

Анфилада пустот.

Пролетая раскрытые двери,
расстояние жизни рассудочным взглядом измерив,
я смиряюсь, Тебе предоставив слово.
Ты молчишь – это более чем сурово.

Это более чем сурово, но это – прекрасно:
если жизнь и её проявления столь же напрасны,
сколь напрасны цветы в индевеющем здании морга,
значит, мы так свободны, что хоть подыхай от восторга.

Ты молчишь, Ты молчишь, и даёшь этим право
на молчание мне и моей безразмерной державе;

где-то там, вдалеке, в леденеющей вспышке зарницы,
мы с Тобой погружаемся в общие наши границы.

Осызая бесстрастье Твоё, высоту, равнодушие,
я уже никогда не умру от удушья,
задыхаясь вопросом, ответов не узнавая...
Ты свободен совсем, я Тебя отпускаю.



Лев Дановский

Облако наплывает...

Публикация Валерия Черешни

Вместо предисловия



подружился со Львом в начале 70-х, он заканчивал ЛЭТИ и писал уже вполне «свои» стихи, освобождаясь от неизбежного в молодости влияния Цветаевой и Пастернака. На печать в те годы надежды не было, по крайней мере, для поэта, который не хотел декларативно давать «присягу чудную четвёртому сословию и клятвы крупные до слёз». Единственная в советское время публикация в «Дне поэзии-1978» состоялась при условии, что он возьмёт псевдоним; фамилия Айзенштат, кроме вызывающе еврейского звучания, ещё и неизбежно должна была возглавить алфавитный список напечатанных поэтов. К таким нюансам чувствительность составителей в те времена была обострена до болезненности. Так появился поэт Лев Дановский.

Перемены в стране, отмена цензуры облегчили путь к читателю, но усложнили жизнь, инженерная работа не обеспечивала и полугодного существования. Лев находит работу в Еврейском общинном центре, ведёт литературное объединение, устраивает встречи с творческой интеллигенцией города, редактирует журнал «Народ Книги в мире книг». Многие участники литобъединения до сих пор с благодарностью вспоминают его уроки поэтического мастерства, терпимость и широта в нем органично сочеталась с бескомпромиссностью. В некоторых безнадежных случаях он решительно говорил человеку: вам стоило бы заняться чем-нибудь другим.

В коротком предисловии трудно дать представление о поэзии Дановского. В его стихах отчетливо звучат две темы: благодарность судьбе за творческий дар и внимательно-сочувственное исследование жизни, лишённой этого дара, страх безблагодатного существования, тяжесть и ужас которого он хорошо сознавал и умел показать (так что, «присяга чудная четвёртому сословию», когда она перестала быть вынужденной, а стала делом совести, сохранилась). Что касается формальной стороны (которую у настоящей поэта невозможно отделить от содержательной), нужно отметить ритмическое разнообразие его стихов, безупречность звука и присущую ему одному

интонацию – сплав восторга существования, иронического скепсиса и стоического преодоления тягот, выпавших на долю.

Надеюсь, всё это увидит внимательный читатель в предлагаемой подборке.

Валерий Черешня

ФОТОГРАФИИ 51-ГО ГОДА

Полковник Айзенштат лежит в гробу.
Вокруг стоят деревья и солдаты.
Какая-то девчонка у крыльца
Всё мечется. Умолкшую трубу
Сменяют троескратные раскаты.
На транспаранте «Слава РКК!»
«Смерть вырвала...» Суконные слова
Исправно говорит начальник штаба.
Навытяжку внимают кителя.
Предъявлены последние права.
Полковника взяла грудная жаба
И бедная камчатская земля.
Полковник прекращен. Жена и сын
Продолжены вдовой и сиротою.
Любая перемена — передел
Названия. Рассмотрим пластилин,
Формуемый годами и бедою —
Получим человеческий удел.
Читатель Маркса, торжество идей
Считавший неперменным и гуманным,
Полковник не узнает никогда
Синонимов: «Верховный» и «злодей».
Он умер, очарованный багряным
Полотнищем. И красная звезда
С фуражки перешла на обелиск,
Сколоченный из крашеной фанеры.
Камчатские бураны и ветра
Расколотили эту стойку вдрызг,
Сорвав пятиконечный символ веры
И низведя могилу до бугра.
Остались фотографии — предмет,
Причастный бытию и документу,
Движение захвачено врасплох:
У малыша в одной руке берет,
Другой он треплет траурную ленту,
И наготове слезы, что горох.
Из мальчика получится... Вопрос
Мне и сегодня кажется открытым.
По крайней мере, можно говорить,
Что я смотрел свободными от слез
Глазами, понимая под пиитом —
Стремление предмет разоблачить.

КУСТ

В прожилках смерти жизнь.
И руки старика,
И голубь, бьющийся в окно всей грудью,
И эта темная ленивая река,
Чуть отливающая ртутью.
Двоящееся эхо.
Кто кого
Аукает, уводит, окликает.
Чье поражение или торжество?
Зачем меня все это занимает
В минуты счастья?
Видимо, душа
В земном существовании коротком
Не надвигается миру, что дрожа,
Из умиранья и цветенья соткан.

ЖИВОПИСЬ

У Шагала на крышах сумасшедший скрипач,
Он сейчас разобьется, превратится в калач.

Проплывет над трубою и обнимет луну,
Разольет голубую свою седину.

Он подымет протяжный и оранжевый вой,
Чтобы конь спотыкался на торце мостовой,

Чтобы зрели тюльпаны в глухой лебеде,
Чтобы женщина шла по зеленой воде.

У Шагала на крышах сумасшедший еврей,
Он совсем не разбойник и не соловей,

Он летает в оседлой, густой тишине,
И счастливый садится на плечи жене.

Подымает бокалы за нас и за вас
И целует корову в немигающий глаз.

У Шагала на крышах горит кошениль —
Деревянного Витебска ветхая пыль.

СОРОК МИНУТ ДОЖДЯ

Дождливым днем, дождливым днем, дождливым днем
Мне бормотать подробнее и чаще
Хотелось бы, чем дождик за окном,
Струющийся завесою звучащей.

Не допустить, не допустить, не допустить
Ни сбой, ни заминки, ни разрыва —
Ведь шум сплошной и звуковая нить
Нервущаяся делают счастливым.

Переводя, переводя, переводя
Натруженное на тройных повторах
Дыхание, заметим, что дождя
На редкое мелькание, на шорох

Едва осталось. Можно прекращать
Сумбурную и странную беседу,
Которой продолжение опять
Последует, последует, по следу...

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Пирожковая, где распивают портвейн,
Где бутылки вина распирают портфель,
Где студенты зачет обмывают,
 Это с нами бывает, бывает.

Узнаёшь понемногу знакомую прыть
В этом дурне, который тебя повторить,
Сам того не желая, стремится,
 И стихи он читает, и злится.

Как прекрасно читает, как нараспев!
Суматошное братство — студенческий блеф,
Вроде слушает, вроде кивает,
 И в стаканы ему наливает.

Он сегодня напьется, и всё — нипочем.
Он талантлив, другими он так наречен,
Он талантлив, чего еще больше,
 Этот славный и ласковый мойше.

До чего он доволен, приятно смотреть.
Это первые траты и первая треть.
Это первые пробы забвенья
 В подвернувшейся первой кофейне.

Пожелай ему счастья, бог знает когда
Еще свидитесь. Он приплетется сюда
Недоверчивым, трезвым, угрюмым.
 И купи ему булку с изюмом.

БЕДНЫЕ РИФМЫ

Надо прокормить семью,

Концы с концами свести.
Надо еще свою
Душу спасти.

Надо работать на двух
Работах, на трех.
Ну что, доходяга-дух,
Как тебе этот вздох?

Надо войти в судьбу,
Как входит в рощу лесник.
А складка забот на лбу,
Уродующая твой лик —

Есть комментарий к строке,
Той, где «в поте лица».
Кем придумана, кем
Нежная жизни пыльца?

Как подкошенный сноп,
Валишься на кровать.
Разговорился. Стоп.
Завтра рано вставать.

Облако наплывает, холодом обдает,
Небо напоминает, голос перестает.

Я ледяную ноту не подберу никак.
Вызывает зевоту декоративный мрак.

Облако треуголкой треплется в синеве.
Человек не иголка, но потерян в себе.

Это депешей срочной уведомляют нас:
Расписание — точно, но неизвестен час.

Жизнь в кафе просидеть,
Глядя на перекресток —
Так мечтает подросток,
Прежде чем поседеть.

Желтый узкий бокал.
Тихо пенится пиво.
По-французски красиво
(Боже, как я устал).

Это Хемингуэй,
Эренбург и Ротонда.
Из золотого фонда
Шестидесятых. Чей

Профиль тогда пленял?
Вроде, еще Гийома...
Как это все знакомо,
Словно школьный пенал.

Жизнь просидеть в кафе
Этаким вертопрахом,
Незнакомым со страхом,
Быть чуть-чуть под шофе.

Жизнь просидеть в кафе,
Может быть, это чище,
Чем рубить городище
В очередной строфе.

Стать господином N.,
Зажигателем спички.
Имя чье и привычки
Знает один бармен.

НА ДЕМОНСТРАЦИИ

Те времена. Рассыпчатый восторг
От леденцов, цыганок, «раскидаев».
Мой дядюшка по матери, парторг,
Тогда кончалось вечное с Китаем
Содружество, на улицу волок
Племянника и покупал флажок.
Ботинки тупорылы и блестят,
И пиджачок по-праздничному тесен,
И глиняные петушки свистят,
И в воздухе такая сшибка песен,
Что на берег, где мается Ермак,
Врывается с Катюшей Железняк.
У выхода на Кировский — затор.
Растянутая пьяная ухмылка
Гармошки, неумелый перебор.
Подпрыгивая, катится бутылка,
Пощечины «гарелок», детский рев
И звон в ушах от лопнувших шаров!
А вот и площадь. Вышина столпа.
И кроме оной — ничего не видно.
В те годы категория «толпа»
Обозначала только то, что слитно.

В те годы шестилетний индивид
Еще не знал общественных обид.
Но самое желанное — ура!
«Ура орденосным коллективам!»
Какая лупоглазая пора:
Кричать до хрипоты и быть счастливым.
И лучшая, быть может, добродетель —
Неведение. Я сам тому свидетель.
Издержки торжества невелики:
Захламленные улицы, набойки
Придется набивать на башмаки,
Да очередь в уборную на Мойке.
И грузовик везет политбюро,
Поставленное прямо на ребро.
А в небе — ускользящий залог,
Что через год все это повторится:
Решительно летящий поперек,
Куда он безалаберно стремится,
Воздушный шар играет позолотой,
Влекомый водородом и свободой.

Когда не страшен горец был в папaxe,
Не открывалась боя панорама,
Когда я о Нагорном Карабахе
Впервые прочитал у Мандельштама,
И шлялся по проспекту Руставели,
Разгоряченный огненной чачей,
И пули спали, а грузины пели —
Тогда я был, наверное, незрячий.

Да и теперь, гуляя по Фонтанке,
Я не могу себе представить рядом,
Ну, гаубицу, скажем, или танки.
И все это, рифмуя со снарядом,
Я думаю о безотчетном даре:
Как возникает темноватый сполох
Предчувствия. О том, как на бульваре
Беспомощный метался листьев ворох...

Все чего-то боюсь: потерять ключи,
Уходя, включенной оставить плиту.
Хлопочи, мой хозяйственный, хлопочи,
Рассыпай по комнатам суету.

Чтобы только себя отвлечь от той,
Настоящей опасности. Укрупняй

Эти мелочи, начинай запой
Озабоченности, заходи за край!

Я-то знаю, во что превращает быт
Человека, какой ввечеру корой
Покрывается он. Это новый вид,
Петрушевская, это твой герой.

И пускай меня за мытьем полов,
Неожиданно точные, как всегда,
Настигают, хотя я к ним не готов,
Телеграмма, казенный звонок, беда.

А когда реальный масштаб вещей
Восстановит горе, вплотную вдруг
Смысл подступит, уставшая быть ничьей
Шевельнется речь и очнется звук.

ВЕСНА В ГОРОДЕ

То, что было сковано, расплзлось,
Под ногами грязная белизна.
И сестрой-хозяйкою ходит злость
По российским улицам дотемна.

Ах, в какой попали мы переплет!
Не веленевый, а железный нрав.
Гололед на улице, гололед.
То-то ухмыляется костоправ.

Перестанет сниться ли сон дрянной:
Шестерни зубчатые, жернова.
Подмигнет мне пьяница на Сенной:
— Однаво живем, однаво.

Эта кепочка набекрень на нем,
Да еще гармонь поперек груди.
Он когда обрадует кистенем?
Погоди чуть-чуть, погоди.

А пока частушки он раздаст,
Чтобы сестрам всем по серьгам.
Молчаливым кругом стоит народ.
На Сенной поет Вальсингам!

ТЕРАКТ

После взрыва бомбы на проводах
Разнообразные фрагменты тела.
"Что называется, душа взлетела", -

Он говорит, отгоня "ах".

Чудом не разбившиеся очки,
Истерика женщины, плач дитяти.
Довольны ли вы, камикадзе-дяди,
Сами растерзанные в клочки?

Сирены. Сутолока. Войска.
Осколком срезанная олива.
Дело твое, Халтурин, живо
Для тех, кишка кого не тонка.

Экстренные выпуски новостей.
Голос премьера, немного ватный:
- Я вам гарантирую адекватный,
Молниеносный ответ. О'Кей.

Ненависти рафинад грызи
Во весь экран, белозубый воин.
Он смущается, но спокоен,
Только стискивает «узи».

Снег сухой летит на пруд,
Перхоть белая небес.
Тростника не видно тут,
Посочувствуйте мне, Блез.

Снег сухой летит в лицо,
Почему он так правдив?
Мира хрупкое яйцо,
Шаткий утренний штатив.

Ух, какая круговерть!
Колкий, колкий кавардак.
Леска, тянущая смерть, —
Держит удочку чуждак.

Он старается не зря,
Будущий владелец шук.
Снег сухой летит, творя
Хаос радостный вокруг.

Ночью в Твери на вокзале.
Дыма летящая прядь.
Что вы, диспетчер, сказали?
Я не могу разобрать.

Гулкий, тревожный, протяжный,
Ноющий звука озноб.
Скорый, почтово-багажный.
Света безжалостный сноп,

Бьющий по нежной сетчатке.
Там тебя высветят, где
С жизни берут отпечатки,
То есть на Страшном суде.

Холодно, суетно, скверно.
Вон товарняк пронесло.
Бревна, платформы, цистерны,
Красные точки табло

Ярким горят двоеточьем.
Черная фраза без слов —
Небо. Транзитные клочья
Вязких, как сон, облаков.

ЭЛЕГИЯ

С какой-то жалобой листва бежит к ногам
Шумящим и неряшливым рулоном.
Нашла себе защитника, я сам
Подобен этим кленам.

Раздерганный, чем я могу помочь
Тебе, гонимое, оборванное братство.
Мне самому бы, наконец, собраться
И выйти в ночь.

Чем ветреней, тем гибельнее бег
Коричневых, оранжевых, червонных.
Там, наверху, уже торопят снег,
И в белых легионах

Готовятся к нашествию, броску,
Стирающему шорох. Не протестом
Пора встречать скрипучую тоску —
Прощальным жестом.

Бегущий на роликах под дождем,
На спине у него рюкзак,
Под развевающимся плащом
Отрочества. Зигзаг

Выписывающий, как будто и нет

Ни выбоин, ни обид.
Воздухом пятнадцати лет
Рюкзак у него набит.

Безостановочно так скользит,
Незнания взяв разбег,
Не замечая, что жизнь — транзит,
Путь из варягов в грек...

Легкости шелестящий шлейф,
Извилистой воли стиль,
Не разработанный мною шельф
Свободоносный... Spiel,

Играй, балалайка, а ты беги,
Влекущий лови простор,
Вставший именно с той ноги,
Неведомый юниор.

ДОЖДЬ

Несмолкающий, проливной,
Убеждающий, что иной
Не видать тебе ночи белой.
Затихающий, оробельный.
Начинающийся опять,
Набирающий силу, стать,
Непрерывность и густоту,
Продолжающий песню ту,
Изнывал от которой Ной.
И поэтому — проливной!
Пелена шумящей слюды,
Отмывающая следы,
Застегнувшая кругозор,
Оставляющая зазор,
Аккурат во размер строки —
Так удобнее для руки.



Татьяна Кузовлева

Мне ль, женщине, не знать...



о все века,

Как мраком их ни засть,
Для всех,
Прошедших этими веками,
Залог беды -
Посредственность и власть.
Беда всегда расходится кругами.

Залог беды... Но сколько же - о ней?
Залог беды...
Но семь десятилетий
Прогнали по истории моей
Горчайших семь десятков междометий.

То "ах!" - впотьмах,
То "ох!" - как тяжкий вздох,
То "ух!" - почти не вслух,
А меж губами...
Эпоха наша среди иных эпох
Запомнится миллионными гробами...

Но даже там, где канет звук на дне,
Не совладав с полночной болью жгучей,
Произнесу: - Залог беды во мне.
Недаром мои беды так живучи.

По ним, босая, - к тайнам всех голгоф.
По ним – не обходя живые плиты.
И страх во мне лишь за мою любовь,
За тех, кто гибнет без моей защиты

Во все века,
Как мраком их ни засть.
Средь всех, прошедших этими веками,
Мне ль, женщине, не знать, что значит страсть,

По сухой ли иду я, по скользкой,
Среди белого дня иль в ночи, -
Я теряю перчатки и кольца,
И что вовсе некстати - ключи.

И причину ищу я, и знаю:
Есть потери – они навсегда.
Не дай Бог, я себя потеряю.
Кто я? Где я? Зачем я тогда?

А.Т.

А там, куда не пускал меня снег,
Где волны его метались,
Был мой опрометчив ночной побег
Под кров, где стихи читались.

Ведь так бывает, что грусть и снег
Сомкнутся кольцом на горле,
И станет плач походить на смех,
А нежность моя – на горе.

И в этой стране, где извечен снег,
Где царствует он полгода,
Трепещет сердце, как белый стерх,
Рвущийся на свободу.

И предупреждают строка за строкой,
Поспешно слетая с неба,
Что вслед за свободой грядёт покой,
Но - по ту сторону снега.

В.З.

В холодном июне свинцовые тучи летят.
И не разобраться, что праведно в нем, а что грешно.
И кажется мне, что по жизни иду наугад,
Не тех, не того, не затем окликаю поспешно.

Но зреет в душе молчаливый упрямый цветок,
Прекрасный уж тем, что свободен от мук суесловья.
И дождик стучит по стеклу, и плывет на восток
Тревожное небо, и в воздухе пахнет любовью.

И окна друзей – что ни час, что ни день, что ни год –
Призывно горят, золотей и нежнее латуни.
И вновь надо мной замедляет надежда полёт,

И тень её крыльев меня обнимает в июне.

Ах, этот июнь - он пройдет, непогодой томим,
Иссякнут дожди, и дороги осипнут от пыли.
Но только б по-прежнему там, за окном золотым,
Друзья меня ждали и голос бы мой не забыли.

Да благословенны дома, где нас всё-таки ждут
И где не нужны ни пространные речи, ни тосты.
И где, если даже свинцовые тучи плывут,
Так чудно молчится, так дышится вольно и просто...



Виктор Каган

Осень сменяет осень



только не плакать, не плакать, не пла...

Слеза по щеке утекает неспешно.
О, Господи, с кем там Мария спала
бессонно и кротко, светло и безгрешно?

Да что вам за разница – грех, благодать?
Но жала из сплетен не повырывали,
и камни со свистом, и каждая блядь
талдычит в соитье с шестом о морали.

Волхвы и слепая звезда в темноте.
Младенец зашёлся в отчаянном крике.
Приснилась судьба на шершавом кресте
и губка у губ на протянутой пике.

И ты не рыдай мене, мати моя,
омой моё тело водой дождевою.
Хохочет Варавва и два воробья
дерутся за хлеб у солдат за спиною.

На ветру ветла, на дворе трава,
на траве дрова, на колу мочало.
Не кривы зеркала да рожа крива,
чьей корове мычать, а твоя б молчала.

Вот придёт четверг, свистнет рак с горы
и прольётся дождь, и всего навалом –
щуры-муры, за ними щуры-муры
и небесная манка зелёным налом.

Так вали кулём – потом разберём.
В Киеве огород, в бузине кто-то.
А не разберём, по второй нальём –
пуще всех неволь достаёт охота.

Дураку дурак говорит: «Дурак!»
и горит Москва от грошовой свечки.
Так и сяк – попадешь, как простак, впросак
ну, так дуй в кулак, не слезая с печки.

А придёт беда, отвори ворота –
старый ворон не лох и не каркнет даром,
и святая на мат перейдет простота,
и дохнет застоявшимся перегаром,

и завьются удавкою прах и тлен,
предадутся ожившие бесы блуду...
А тебе всё не встать с онемевших колен,
чтобы опохмелиться и сдать посуду.

На ведущей к храму улице
люди хмурые сутулятся –
лица скорчены в кулак
и под перезвон малиновый
забывает кол осиновый
в темя умнику дурак.

Стонет дудочка-жалеечка:
«Ах, судьба моя копеечка».
Отвечает бейный бас,
мол, судьба твоя горбатая
тычет в соль земли лопатою –
чёрт не выдал, бог не спас.

Так и жить бы нам и плакати,
утопая в грязной мякоти
раскуроченной земли,
потому как что за разница,
что в кромешной тьме поблзнится,
что люли, что ай-люли.

То ли грустно, то ли весело.
Полночь фонари развесила,
полдень выкатил глаза.
Над фигурами сутулыми
ведьмаки играют скулами
и куют их в железá.

То ли жарко, то ли холодно.
То ли сытно, то ли голодно,
То ли ад, а то ли рай.
Не кончаются считалочки.

Черти то в буру, то в салочки.
Кого хочешь выбирай.

О чём одуревшие птицы кричали с утра?
Зачем замолчали потом и уже не кричали?
Кому куковала кукушка бессмертье вчера,
а нынче печально молчит на Харона причале?

Откуда в душе неизбывная эта печаль,
что даже любовь от неё никогда не свободна?
Как ночь ни хрустальна, горчит в ней смертельный
миндаль,
кислинка синильная с моста сигает в Обводный.

И детство – то золото, то золотуха времён.
И старость – пожизненность счастья, а сколько той жизни?
И туз в рукаве не козырный, хотя и краплён,
сдаётся на милость потерянных лет укоризне.

Сметают со стен Петропавловки время ветра,
слетает с растерянных губ онемевшее слово,
и корюшки запах ведёт за собой во вчера,
где воздух настоян на зонтиках болиголова.

Там память своим одиночеством смертным больна,
захочет заплакать, а слёзы забыли, как литься.
Здесь плачет журавликом с неба дыханья струна
и ей откликается в тёплой ладони синица.

Качается маятник ночи безмолвен и слеп.
Пройдёмся по Питеру от фонаря до аптеки.
Прекрасно молчанье, как чёрный присоленный хлеб –
ломоть на двоих. И слова сквозь солёные веки.

Всё что тебе напели об этой жизни, забудь –
всё это лажа, туфта, пустопорожний бред.
Не надувай щёки и не выпячивай грудь –
будь с тем, что есть, а заслуги твоей в том нет.

Нищему – манна с неба, кесарю – власти блуд,
челяди – не по чести, не предавала чтоб.
Если блаженны, то разве те, кто в любви не лгут.
Если безгрешны, то разве младенцы в тиши утроб.

Просто это пришло. Дозваться ты бы не смог.
Так приходит рассвет, когда бесконечна ночь.

Так, наплевав на время, с тобой говорит Бог
и никаким таблеткам этого не превозмочь.

Нечего к бабкам ходить – сами придут спросить.
В зеркало не смотри – в нём только твой палач.
Лучиком изумрудным тянется взгляда нить
сквозь непроглядность туч, сколько дожди ни плачь.

За вспыхнувшим светом глаз не поспекает звук.
Четыре времени года сливаются в долгий миг.
Над океаном парит птица распахнутых рук.
Щёку щекочет тающий в полночи утренний блик.

Разменять предпоследний червонец
или, может, последний – бог весть...
Грозный топот пророковых конниц
с крыш срывает осипшую жесть.
Долог миг. Век стремительно краток.
Вся в узлах Ариаднина нить.
Ледяная струя меж лопаток.
Память сказками не забелить.
Тени прошлого мечутся слепо
мошкарю в огне фонаря.
Жизнь смешна, коротка и нелепа.
Листья падают с календаря.
Беспощадны чадающие свечи.
Воздух режуг нетопыри.

Положи мне ладони на плечи.
Говори же со мной, говори.
Ни о чём, обо всём, о печали,
о былом, где мы были на вы,
когда чайки нам что-то кричали
со ступенек истёртых Невы.
Говори... а о чём – всё едино.
Говори напролёт, без конца,
чтобы как первородная глина
речь ложилась в ладони Творца,
чтобы слово, рождаясь из праха,
оживало на тёплых губах.

На ветру каменеет рубаха.
Мир свихнётся и канет во прах.
Но покуда не отсвиристели,
не опали мои сентябри,
не оставили пальцы скудели,
говори же, прошу, говори...

Сидеть у моря, ждать погоды,
гадать наступит ли, когда,
перебирать по пальцам годы,
слагая в долгие года,

чинить разбитое корыто,
латать пробоины души,
поверить, что всё шито-крыто,
пускать по водам голыши,

считать круги, не спать ночами,
морочить голову судьбе
и, зябко поводя плечами,
играть на выставшей трубе

в потёках горьковатой соли
отбою йодистому вслед,
и руки целовать Ассоли
в морщинках съёжившихся лет.

Музыка осязаема. Крупицы солёной волны
неслышно шекочут щёки и нежатся на губах.
Слова в горьковато-нежном запахе растворены.
Стрелы лучей замерли на времени тетивах.

Над океаном – глубь. Под океаном – высь.
А между, в толще воды отражаются лет следы.
Руки замерли словно к мыси прильнула мысль,
лишь пальцы перебирают озябших пальцев лады.

Спроси меня – кто она, я бы сказать не смог,
хоть режь меня на куски, хоть просто так убей.
Она умеет ходить по воде, не замочив ног.
И я умею... Но только взявшись за руки с ней.

Набрякшие сырые небеса,
продрогшие на Аничковом кони,
друзей с другого света голоса
и след прикосновенья на ладони,

и ночи белой призрачная вязь,
и дней коротких сумерки смурные,
раздолбанная уличная грязь
и язвы переулков прободные,

и глупость без руля и без ветрил,
и слово – от прозренья амулетом,
и женщина, которую любил,
но сам тогда ещё не знал об этом.

В перевёрнутом бинокле плачет брошенное время.
За стеклом аэропорта неприкаянная слякоть.
Алюминиевы кони. И вдевает ногу в стремя
тот, которому бы впору оглянуться и заплакать.

А в аквариуме зала золотая плачет рыбка,
онемевшая от боли. Но стеклянная запруда
из себя не отпускает. По стеклу стекают зыбко
обессиленные капли брызнувшего изумруда.

В перевёрнутом бинокле громоздится четверть века –
дни каждому довели его злора и печали...
А теперь, когда закатом багровеет жизни веко,
в суете аэропорта оказаться, как вначале,

словно бы и не бывало всё, что не было и было,
словно на колу мочало не морочило, не билось,
словно терпкий привкус боли с губ сухих слезами смыло
и осталась разве малость благодарностью за милость.

И шуршанье жизни в жилах ощущать, как в миг рожденья,
и, себе ещё не веря, удивляться, как молиться,
и стоять, не шелохнувшись, чтобы не спугнуть мгновенье,
пока тихо проступает на коре души живица.

Серебряное скерцо капли с хмурых крыш.
Захламленного неба подслеповатый свет.
На перекрёстке памяти растерянно стоишь
и замечает временем следы бредущих лет.

По переулкам памяти скитаются ветра.
Плутает закоулками дворов щербатых бред.
Тенями заполошными бессонные *вчера*
в фонарных бликах мечутся, судьбы теряя след.

Катает крошки прошлого в беззубых дёснах мышь.
В потёмках шкафа мается забытого скелет.
И ни кота, ни шила ты в мешке не утаишь,
и за семь бед наделанных пора держать ответ.

Отбросишь страхи глупые и шелуху словес,

шагнёшь к суда последнего скрещению дорог –
тебе навстречу явится последним из чудес
твой нежный и единственный зеленоглазый бог.

Оглянуться назад, только больно глазам
от спящего чёрного света.
Сколько ни повторяй: «Отворися Сезам»,
ни ответа тебе, ни привета.

До себя не докликаться в прошлого мгле –
кошки серы и свечи остыли.
Маргарита ли, ведьма ли на помеле?
Да и сам ты, о Господи, ты ли?

Этот шкет лупоглазый, этот юный балбес,
этот дурень успешный за сорок
проступают из канувших в нети небес
как в намёке укрывшийся мóрок.

Близорукая мысль. Дальнозоркая грусть.
Ленинградские тучи разлапы.
Дождь играет на лужах без нот, наизусть.
Зелень глаз из-под плачущей шляпы.

Замять лет. Круговая порука тоски.
Четверть века. Прикушенный волос.
Память вяжет и вяжет свои узелки.
Льнёт над временем к голосу голос.

В каком лесу кукует мне кукушка
не отыщу и лет не сосчитать
обещанных. Проснусь – в слезах подушка.
Наверно, снова приходила мать.

Опять проспал в беспамятной утробе
усталости беспутной и дурной.
Подрагивает в утреннем ознобе
дыханье полусонных параной.

Топырятся бледнеющие тени.
От света наутёк нетопыри.
И голос тает в шелесте растений:
«Поговори со мной, поговори...»

Время лодочку качало
жизни глупой и никчёмной
у продрогшего причала
ночью, словно ворон, чёрной.

Дятел чокнутый башкою
мерно колотился в вечность.
Помечая путь тоскою,
в небесах скиталась млечность.

Так оно бы и осталось
и тянулось бы, и длилось,
от себя устав, усталость
смерти б шёпотом молилась.

Золотые рыбки брюхом
вверх всплывали бы без плеска
и оглохший филин ухом
шевелил бы из подлеска,

где осипшие русалки
над затопленной судьбою
плачут встрёпаны и жалки
песенки про нас с тобою.

Луч и на луче мочало
радуг бьётся в капле слёзной.
И пора начать сначала,
всё, пока ещё не поздно.

И, руки положив судьбе на плечи,
семь языков смешаю в плошке речи,
рассказывая небу о тебе.
но слово несказуемо и тайно –
шепнёт: «Меня не выболтай случайно»
и растворится в счастья ворожке.

Взывая то к чёрту, то к богу,
молясь, костеря, матерясь,
протаптывать слепо дорогу,
месить вековечную грязь.

Из праха пришедшие – праху
поклонимся, падая в прах.
Вот только сменить бы рубаху

и чтоб поцелуй на губах

не выстыл, пока не растает
в небесных потёмках душа,
пока ещё рядом витает,
не сказанным словом шурша.

А там и слезой закатиться
за проблеск, за выдох, за взмах,
пока ещё Синяя Птица
живёт отраженьем в глазах

и светятся два изумруда,
глядясь в отражения блик,
пока продолжается чудо
навыдох, навывлет, навскрик.

До ночи – век. И день ещё в зените.
Он заплетает солнечные нити
в дождя угрюмо-серую канву
и серое вплетает в золотое,
и это его действие простое –
как сон во сне, что снится наяву.

И утка с ветки полдень прокричала,
а пугало мочальное молчало,
катая под мочалом желваки.
Всё было странно, призрачно, размыто
и не текло разбитое корыто,
и на ребро вставляли пятаки,

и каплей из глухого телефона
скатилось тихо в душу время оно
и радуга упала в небеса.
Был день как день – 10 июня.
Усталый бог подмигивал фортуне.
Подрагивала в листьях век роса.

Чокнутая кукушка врёт, сбиваясь со счёта,
будто политик, сулящий рай под его рукою.
Цыплят посчитаешь осенью – плакать охота,
а по весне мерещились ангелы над башкою.

Осенью небо расчерчено ангелов косяками –
тянутся в занебесье, будто бы там за небом
ждут их добрые боги с распахнутыми руками,

полными манной небесной – в звёздочках тмина хлебом.

Время то жалкой струйкой, то разливным потоком.
Годы мешая с днями, память варганит смыслы.
Бесьи чумные игры – как провода под током,
искрами разворотило радуги коромысло.

Осень сменяет осень – маленькая, но милость.
Синяя Птица вертится падкой на блеск сорокой.
Так бы оно и было, так бы оно и длилось
обмороком и бредом, мóроком и морокой.

Так бы оно и осталось запахом горьким прели,
так бы тлело до точки, не превратившись в пламя.
Но сумасшедшие боги снами являлись в апреле
и прилетали в июне, и оставались с нами.

Январь-апрель 2013



Александр Матлин

Васильковые цветочки

Рисунки Вальдемара Крюгера



давно мне попался на глаза мой собственный рассказ про современную телефонную технологию, про всякие там автоответчики, идентификаторы и прочие электронные изощрения. И я этот свой рассказ перечитал. И мне стало смешно. Не потому, что рассказ такой остроумный, а потому, что пока я его писал и перечитывал, наша технология шагнула так далеко и достигла таких высот, что теперь все эти автоответчики выглядят не намного современнее, чем каменные наконечники стрел. И я даже не говорю про какие-нибудь замысловатые айфоны и джиписэсы. Я говорю о той технологии, которая проникла в сферы прекрасного и теперь во всю насыщает нас бессмертными художественными ценностями. Короче, я говорю про оперу на большом экране.

Судите сами. Благодаря этой заоблачной технологии, лучшая в мире опера, Метрополитен Опера стала вам доступна, как Макдональд. Вам не надо ехать в Нью-Йорк и платить четыреста долларов за то, чтобы услышать премьеру какого-нибудь Любовного напитка с Нетребкой. Он, этот самый напиток, теперь находится в двадцати минутах езды от вашего дома, за десятую долю цены и с полным эффектом присутствия в зрительном зале и даже за кулисами. Вот такие чудеса творит технология. Нетребко орёт свои арии в Нью-Йорке, а её в этот момент слышит и видит весь мир. Это называется эйч-ди-опера, то есть опера с высокой разрешающей способностью.

С тех пор, как эта разрешающая способность вошла в нашу жизнь, мы с женой не пропускаем ни одного представления. Каждый раз я в уме подсчитываю экономию от того, что мы не пошли смотреть представление в театре Метрополитен, и чувствую, что неотвратимо богатею. Мы приходим в кинотеатр заранее, чтобы занять хорошее место – в центре, не очень далеко, но и не слишком близко. К середине первого акта я обычно засыпаю. Но потом я, конечно, пробуждаюсь и дальше с полной ответственностью слежу за развитием сюжета. А то, что я пропустил, мне потом рассказывает жена.

В тот день, с которого начинается наша история, моя жена не могла пойти слушать оперу. Как раз в этот день у неё на работе случилось важное совещание. Она говорит:

– Ты, милый, иди, слушай без меня, получай удовольствие. А мне потом расскажешь. Или даже споёшь.

Она меня нежно целует, и я отправляюсь в ближайший кинотеатр «Регал», нахожу там самое лучшее место в центре, не очень далеко и не слишком близко, и начинаю предвкушать эстетическое удовольствие. За пять минут до начала представления операторы включают зрительный зал. Я обожаю этот момент, когда сквозь гул публики пробивается сладостная какофония настраиваемых инструментов, и нарядно одетые зрители протискиваются к своим четырехсотдолларовым местам. Камеры операторов скользят по залу, то замирая на общем плане, то крупно выхватывая на несколько секунд отдельные группы или случайных дам и джентльменов, не подозревающих, что в этот момент их видит весь мир. Мне нравится разглядывать эту нарядную публику, и сердце моё замирает от эффекта присутствия за умеренную цену.

И вот камера медленно движется вдоль какого-то ряда и вдруг... Я не могу поверить глазам! На экране появляется мой друг Сёмка Златкин. Он в костюме, который я знаю, и при галстукке, который я тоже безошибочно узнаю. Конечно, это Сёмка! Он с кем-то оживлённо беседует и хохочет. Я тоже мысленно хохочу и представляю, как я завтра буду всем рассказывать про то, как я – хотите верить, хотите нет – увидел живьём на экране Сёмку Златкина. Или ещё лучше – буду рассказывать самому Сёмке, в каком костюме и при каком галстукке он ходил в Метрополитен. В общем, я не могу поверить в свою удачу. Тут камера начинает отъезжать, и я вижу Сёмкиного собеседника.

Это моя жена.



У меня останавливается дыхание. Сомнений нет. Это она, в том самом платье с синими цветочками, в котором она два часа назад уехала на совещание. Она тоже хохочет и при этом держит Сёмку за руку. А камера продолжает отъезжать, изображение превращается в общий план, и Сёмка с моей женой растворяются в зрительном зале. А я растворяюсь в этом кошмарном видении. Сёмка Златкин... Друг, можно сказать... С моей женой в одном отделе работает... Вот он, оказывается, какой ей сотрудник... Гремит увертюра, поднимается занавес, и уже опера идёт полным ходом, и Нетребко орёт во всю разрешающую способность. А

мне не до оперы, и весь сон как рукой сняло. Нет, это уму непостижимо. За ручку держит, скотина. Я её уже лет двадцать за ручку не держу. И вот вам, пожалуйста...

Дома я принимаю таблетку от головной боли и начинаю ждать жену. Наконец, поздно вечером она возвращается со своего совещания, в том же платье с синими цветочками, усталая, но умиротворённая. Не иначе, с Сёмкой Златкиным после оперы совещалась в отеле.

Я молчу.

Она молчит.

Я говорю, наполняя свой голос ехидством:

– Ну, как прошло совещание?

Она молчит. Я говорю:

– А как опера?

– Какая опера? – вскидывается жена.

– Та самая. На которую ты с Сёмкой Златкиным ходила.

Жена бледнеет и отвечает с некоторой задержкой:

– Не понимаю, о чём ты говоришь.

– Прекрасно понимаешь. Весь мир видел, как ты наслаждалась любовным напитком, только не с Нетребкой, а с этим козлом Сёмкой.

У моей жены отличная реакция. Пока я выговариваю своё саркастическое обвинение, она берёт себя в руки и переходит в контратаку:

– Ты что выдумываешь? Какая опера? Да как ты смеешь? Да как тебе не стыдно! Ты меня просто оскорбляешь!

Ну, и так далее. Остановить её уже невозможно. Она продолжает метать молнии с таким угрожающим пафосом, что мне в душу постепенно закрадывается сомнение: может, и правда я ошибся? Может, зря её обвиняю? Поймав момент, когда она делает вдох, я говорю:

– Знаешь что? Через неделю это представление будут показывать снова, в записи. Давай пойдём, и ты сама себя увидишь.

Она немного колеблется, но деваться некуда, приходится соглашаться, иначе весь пафос пропадёт. Она говорит:

– Конечно, пойдём, чтобы ты сам убедился, какой ты негодай и как несправедливы твои подлые обвинения...

Ну, и так далее, без остановки.

В общем, неделю спустя мы отправляемся в кинотеатр «Регал», занимаем хорошие места в середине, не слишком далеко и не слишком близко, и ждём представления. И вот уже камера скользит по залу под гул публики и нестройное кудахтанье оркестра, и наконец крупным планом появляется Сёмка Златкин, а потом и моя верная супруга. Та, которая на экране, хохочет во всю, а та, которая сидит рядом со мной, молчит, как айсберг. Камера отъезжает.

– Ну что, видела? – спрашиваю я шепотом.

Жена молчит. Я шепчу опять:

– Видела себя?

– Видела, видела, – раздражённо шепчет жена. И после паузы добавляет:

– Это не я.

– Как не ты? – шепотом кричу я.

Сзади меня пинают в спину.

– Перестаньте разговаривать. Вы мешаєте.

Я замолкаю и с ненавистью жду, когда Нетребко тоже умолкнет и наступит перерыв. После первого акта мы уходим из кинотеатра и молча едем домой. Там я приступаю к допросу.

– Сёмку видела? – говорю я, стараясь сохранять спокойствие.

– Видела.

– А как ты его за ручку держала видела?

– Это не я, – говорит жена.

– Интересно. А кто же это?

– Откуда я знаю? Не я.

– Как не ты? А платье в синих цветочках твоё?

– Послал Бог дурака, – говорит жена, и я вижу, что она опять переходит от пассивной защиты к активному наступлению. – На моём платье цветочки не синие, а васильковые. Все вы мужчины дальтоники, цветов не различаете. А ещё берёшься судить. Ещё меня обвиняешь... Можно сказать, унижаешь...

В голосе её появляются высокие ноты, переходящие в надрыв.

– С тобой всегда так! – визжит она. – Двадцать лет мучаюсь! Всю жизнь мне отравляешь!

Я понимаю, что сражение проиграно. Надо капитулировать.

– Ну, ладно, ладно, – говорю я. – Васильковые – значит васильковые. Это я по ошибке думал, что синие.

– Это у той, на экране, синие цветочки. А у меня васильковые, понял?

– Ну да, конечно. Я так и подумал, что это не ты. Интересно, кто эта Сёмкина фря в синих цветочках.

– Не вздумай ему звонить, – говорит жена. – Не дай Бог, его благоверная узнает, семью разрушишь. Чаю вскипятить?

Шторм затихает, и я уже готов забыть про этот подлый любовный напиток с Нетребкой и синими цветочками. Но на следующий день оказывается, что ягодки ещё впереди. Звонит Вася Гольдин.

– Ну как? – говорит.

– Да так, – отвечаю.

– Видел?

– Что видел?

– То самое. Сёмку Златкина с твоей женой.

– Это не она! – кричу я. – У моей жены на платье цветочки не синие, а васильковые! Понял? Совершенно другие цветочки!

Я в негодовании бросаю трубку, но не успеваю перевести дух, как звонит Мишка Шматкис. Он долго жуёт какую-то жвачку про плохую погоду и хороший прогноз и, наконец, выдавликает:

– Слушай, я сам не видел, но все говорят...

– Неправда! – кричу я. – Они все врут! Это не она! Цветочки не те! Синие цветочки! Синие, понял? А у неё васильковые, понял?..

Так продолжается весь день. Звонят родственники и знакомые. Звонят близкие друзья и далёкие приятели. Когда я уже готов принять

таблетку от головной боли и лечь спать, происходит самое гадкое: звонит Сёмка Златкин.



– Старик, нам надо объясниться, – глухо говорит Сёмка. – Я понимаю, что ты видел нас в театре, и я бы хотел...

– Подожди. Кого это «нас»?

– Ну... меня и её... твою жену.

– Моей жены там не было! – парирую я. – Это была не она!

Сёмка пытается что-то сказать, но начинает давиться. Он долго мычит, кашляет и, наконец, выдавливает:

– А кто?

– Откуда я знаю? – говорю я, не скрывая раздражения. – Какая-то баба в платье в синих цветочках. У моей жены цветочки васильковые, а не синие.

– Ага. А я там был?

– Ты был. Слушай, не морочь мне голову. Говори, зачем ты звонишь.

– Понимаешь, – говорит Сёмка, и голос его начинает дрожать. – моя жена подала на развод на основании того, что я ей изменяю с этой самой... в синих цветочках... ну, в общем, с другой женщиной.

– Правильно сделала, – говорю я, не скрывая злорадства. – Таких, как ты, надо учить. А причём тут я?

– Ты очень даже причём. Знаешь, как говорят? Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Так вот, это неправда. Я бы предпочёл сто рублей.

– Это примерно три доллара.

– Правильно, – говорит Сёмка. – Я бы лучше имел три доллара. Поначалу все эти друзья звонили моей жене и рассказывали, что видели меня с твоей женой. От этого я ещё мог отбрехаться. Все-таки, мы работаем вместе. Я объяснил жене, что у нас было совещание с группой китайских инвесторов, и после совещания мы повели их в оперу. И она мне поверила. И всё затихло, и моя семья была спасена. Но потом ты стал всем объяснять, что эта была не твоя жена, а неизвестно кто. И наши бесценные друзья снова стали звонить моей дуре и объяснять, что я был в театре с какой-то блядью неизвестного происхождения, а вовсе не с сотрудницей. И вот тогда началось. Она уже наняла адвоката. Хочет отнять у меня дом и все наши сбережения...

Сёмкин голос окончательно раскалывается, он всхлипывает, громко сёрпает носом и подвывает. И я начинаю испытывать что-то вроде жалости и лихорадочно пытаюсь сообразить, что делать дальше. Ничего не придумав, я говорю:

– Ты, Сёмка, скотина. И мне тебя не жаль. Ты получил то, что заслужил. Пусть твоя жена от тебя уходит, так тебе и надо.

– Ты напрасно так говоришь, старик, – говорит Сёмка, неожиданно успокаиваясь. – Если моя жена уйдёт от меня, то твоя уйдёт от тебя.

– Куда она уйдёт?

– Ко мне – говорит Сёмка. – Мы с ней это уже обсудили и решили, что мы, может быть, даже любим друг друга. Так что, подумай. В твоих силах сохранить мою семью, чтобы сохранить свою.

У меня начинает кружиться голова, и я чувствую, что перестаю соображать. Я говорю, с трудом преодолевая тошноту:

– Что же я могу сделать?

– Очень просто, – говорит Сёмка. – Обзвони всех и объясни, что ты ошибся. И что твоя супруга действительно по делам службы ходила в со мной в театр. И что ни её, ни меня на самом деле никакие любовные напитки не интересуют, но служба есть служба. И всё встанет на свои места.

– И моя жена не уйдёт к тебе?

– Конечно, нет. Зачем я буду ей нужен без дома и сбережений?

– Ладно, Сёмка, я постараюсь, – говорю я устало. – Ты, конечно, сволочь, но дружба дороже.

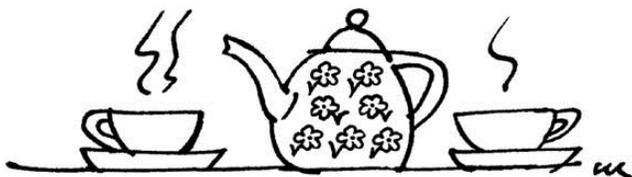
Вечером моя жена возвращается с работы в приподнятом настроении.

– Милый, – говорит она, – ты, конечно, понял, что я пошутила, правда? Разумеется, это была я в театре с мистером Златкиным.

– Знаю, знаю, – говорю я уныло. – У вас было совещание с китайскими инвесторами, после чего вы их повели слушать оперу. Непонятно только, зачем ты поменяла платье с васильковыми цветочками на такое же с синими.

– Ах, милый, ты так наблюдателен! – мурлычет жена. – Это на самом деле одно и то же платье. Но при трансляции цвета искажаются, и на экране васильковый цвет выглядит синим. Ты же знаешь, как несовершенна технология.

– Ты права. Лучше бы её вообще не было. Я это объясню нашим друзьям и знакомым. Вскипятить чаю?..



Так мир восстанавливается в нашем счастливом доме, и жизнь входит в прежнюю колею. По утрам мы целуемся и разьеждаемся, каждый

на свою на работу. По вечерам встречаемся, целуемся, ужинаем и пьем чай. И по-прежнему ходим слушать оперы с высокой разрешающей способностью – всегда вместе. Разумеется, за исключением тех случаев, когда у жены на работе бывает важное совещание.



Валерий Генкин

Баба Женя и дедушка Семен



н всегда напоминал мне взъерошенную ворону, даже когда в голубой полосатой тенниске, портфель у правого, бугристая авоська у левого колена, пинал дачную калитку. Мой дед. Семен Михайлович Затуловский. Но спросите меня, как он пинал эту калитку в лето пятьдесят первого и как протискивался в нее осенью следующего, пятьдесят второго года. Та же тенниска, те же батоны поперек сетки, но вся взъерошенность другого знака — униженная и опасливая. Войдет — и шмыг на свою половину. Терраса у нас была общая, комнаты — разные. Я с мамой жил в большой, дедушка с бабой Женей — в маленькой, куда попадали через нас.

В то, доверительское, лето дед запомнился мне неистовым говоруном и остроумцем. Сидя за общим воскресным столом, накрываемым обычно в саду между двумя корявыми яблонями, он много и не слишком опрятно ест под хохоток и рассуждения с обязательным привлечением библейских цитат и богов греко-римского пантеона. Баба Женя, Евгения Яковлевна, сидит рядом, в глазах — снисходительное обожание.

Мама привычно внимает этому словесному фонтану, а хозяин дачи, блестящий и только что отсидевший (всего лишь за взятки) адвокат Георгий Львович, в семье — Гриня, бонвиван, красавец с серебряной гривой, медальным профилем и нежными женскими ручками, сам привыкший покорять слушателей, натужно протискивает рифмованные фразы и анекдоты в редкие паузы дедовой речи — обсосать крылышко, отхлебнуть глоток нарзана. «Между нами, хе-хе, я говорю стихами. — И тянется к форшмаку. — Какая нужна смётка, чтобы приготовить такую селедку!». Супруга Грини, роскошная Ида Яковлевна, светится гордостью. Тут же сидит их сын Алик (который Добрый, который Саша) и с нетерпением ждет, когда можно будет удрать. А я любил эти застолья! Кое-что напоминал, чтобы щегольнуть перед приятелем или девочкой. А пару раз, к маминому ужасу, сам пытался сказать что-нибудь, на мой взгляд, уместное. Помню, тонким, напряженным голосом я сделал эпатирующее заявление, что Некрасов не умел считать. За столом грянула тишина. Дед склонил набок птичью голову. Дрожа от нетерпения, я поделился своим открытием:

— У него ошибка! У него в «Кому на Руси жить хорошо» мужиков семь и деревень семь, а из мужиков двое — братья, братья

Губины, — тараторил я, — они братья, они вместе жили, в одной деревне, поэтому мужиков-то семь, а деревень не больше шести...

Дед взглянул на меня отрешенно, отодвинул тарелку. Я еще не понимал глубины своего позора. Адвокат решил было на вылазку.

— Наблюдательный ребенок, ха-ха. Вундеркинд. Вот, кстати, спрашивают одного мальчика: «Левочка, ты умеешь играть на скрипке?» А он отвечает...

Тихий, но звучный голос дяди Семы перекрыл ответ Левочки:

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок...

Дальше шло что-то о женщине, рыдающей о своем беспутном прошлом. Все слушали очень внимательно.

Верь: я внимал не без участия,
Я жадно каждый звук ловил...
Я понял все, дитя несчастья!
Я все простил и все забыл.

При этих словах дед посмотрел на бабу Женю — на ее крупном лице выступил румянец.

Грустя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи в груди
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

Дед скомкал салфетку и потянулся к нарзану.

— Деревень ему показалось много! Женюра, это все, что он нашел у Некрасова.

Баба Женя сочувственно положила ладонь на плечо мужа.

Это лето, помню, прошло под знаком Некрасова. Оказалось, дед боготворил его со времен своей социал-демократической то ли бундовской юности, даже с гимназического детства — в гимназию, по семейному преданию, его втиснули вне процентной нормы по ходатайству растроганного либерала-инспектора, умилившегося страстью, с которой тощий рыжий Шимон Затуловский читал на приемном экзамене: «Собирается с силами русский народ и учится быть гражданином». Теперь дед обращал меня в свою веру. Пожалуй, со времен неудачного похода в цирк он впервые уделял мне столько времени. Разгрузив авоську и облачившись в дачный мундир — сатиновые шаровары, сетчатая майка и сандалеты на босу ногу, — он, если я не успевал спрятаться, уводил меня в крохотный лесок, что примыкал к участку со стороны, противоположной поселковой улице, и читал

наизусть своего кумира, читал километрами. Сейчас вспоминаю, что грустные шедевры Некрасова — «Еду ли ночью...», «Что ты жадно глядишь на дорогу» — не очень меня трогали. Дед Семен злился. «Тургенева это стихотворение с ума сводило, Чернышевскому показалось прекраснейшей, слышишь ты, олух, прекраснейшей из русских лирических пьес, а ты плечами пожимаешь!» И все-таки, в конце концов, он пронял меня. Пронял этими маленькими зарифмованными рассказиками, всегда трагическими, где вдруг из распевной словесной вязи вылезет и острым гвоздем втемяшится в память четкий, чеканный афоризм. «Умер, Касьяновна, умер, сердешная, умер и в землю зарыт». С тех пор ведь не читал Некрасова. Кого только ни перечитывал, Некрасова — никогда. «У бурмистра Власа бабушка Ненила починить избенку лесу попросила...» Или вот извозчик Ваня хотел жениться, да денег не было на волю выкупиться. А тут он вез купца, и купец возьми да и забудь у него в повозке мешок серебра. Вечером прибежал — мешок цел. Засмеялся, дал Ване полтину — а мог бы ты, говорит, Ваня, разбогатеть — серебро-то не меченое. Уехал купец, а извозчик пошел на конюшню и удавился. Еще, помню, про Власа, но другого, не бурмистра. Этому ад привиделся:

Крокодилы, змии, скорпии
Припекают, режут, жгут...
Воют грешники в прискорбии,
Цепи жравые грызут.

Впрочем, про скорпий и двухаршинных ужей дед, видно, читал, чтобы увлечь молодого бездушного шалопаю. Как-то дождливым августовским вечером, возвращаясь от живущего через улицу приятеля, я услышал тихий разговор под грибком у нашего крыльца. Дед и баба Женя сидели рядом, плечи их соприкасались. Оба в пальто. «Что ж осталось в жизни нашей? Ты молчишь... печальна ты... Не случилось ли с Парашей — сохрани Господь — беды?» И хотя дочь их, а мою маму, звали не Парашей, а Лелей, я сразу понял: речь идет о ней. Тем более что не одобряемый ее роман с моим будущим отчимом дядей Толей (см. также ДДТ и АНК) бурно развивался и вот-вот грозил завершиться браком.

Итак, благодаря Некрасову дед стал гимназистом. В выпускном классе он без памяти влюбился в Геню-Гитл (вне семьи — Евгению) Ямпольскую, видную девушку двумя годами его старше, дочь богатого лесопромышленника, побывавшую уже в Европе. Швейцария, Германия, Италия. Воды, музеи, карнавалы. Через год Шимон Затуловский, медицинский студент, уезжает от медноволосой богини в Москву.

Дальнейшее стало мне известно — в отрывках, правда, — из семейных легенд, рассказываемых бабушкой, да из узкой тетрадки в кожаном мягком переплете, порыжелом от старости. Странный, девичий по виду, этот альбомчик с разноцветными — то розовыми, то вдруг салатными, то кремовыми — листками оказался дневником, ведомым последовательно: студентом с фатоватыми усиками, уважаемым доктором с обширной практикой среди лучших семей Зарядья (был среди его пациентов и Иван Алексеевич Бунин), главным врачом

эвакуационного госпиталя в Прикарпатье во время Первой мировой, начальником медсанчасти под Киевом в Гражданскую, врачом полевого лазарета в Самарканде во время басмачества, начальником тылового госпиталя в Свердловске во Вторую мировую, заведующим терапевтическим отделением Института профзаболеваний имени Обуха до и после войны. Вместе с альбомчиком-дневником в нижнем ящике дедова письменного стола обнаружилась и «Вечерка» от 26 февраля 1938 года. К чему бы это? Я принялся пристально ее изучать.

Третий день 400 работников оперного театра Варшавы круглые сутки проводят в помещении театра в знак протеста против задержки причитающейся им зарплаты.

Переговоры Чемберлена с Риббентропом начнутся на следующей неделе.

Бомбардировка Мадрида. Агентство «Эспань» сообщает, что вчера около полудня над западными районами Мадрида показались два фашистских бомбардировщика, а около 18 часов артиллерия мятежников в течение 30 минут бомбардировала столицу.

Авиационный обозреватель газеты «Сандэй экспресс» сообщает, что в составе английских военно-воздушных сил создается корпус летчиков для истребителей, скорость которых достигает 640 км в час. Эти люди должны обладать идеальным здоровьем, чтобы управлять самолетом, делающим около 11 км в минуту.

Старый Москворецкий мост разбирается...

Погодные аномалии: в Архангельске 0°, а в Харькове минус 17°, даже в Сочи минус 5° (данные Центрального института погоды).

К встрече героев. Исаак Дунаевский написал песню о папанинцах на слова Шварцмана; московский трест зеленого строительства закупил в Киеве и Адлере большие партии примул, сирени и цинерарий; фабрики «Моссельпром» и «Рот-Фронт» выпускают новые сорта шоколадных конфет в коробках, оформленных на тему «Папанинцы».

Статья Исаака Бродского «Ворошилов и художники».

На сцене Московского ТЮЗА «Таинственный остров» Жюль Верна.

В 13-м туре шахматного чемпионата ВЦСПС Чеховер выиграл у Бастрикова, а Лиленталь — у Готгильфа.

На экраны выходит новая звуковая музыкальная комедия «Богатая невеста» (режиссер Иван Пырьев, музыка И. Дунаевского, текст песен поэта-орденоносца Лебедева-Кумача).

Короткие сигналы. В нашей квартире мы могли бы уменьшить расход электроэнергии на 10—15 процентов, если бы в продаже были лампочки в 10 и 15 свечей. Но даже 25-свечовыми лампочками магазины снабжаются с большими перебоями...

И вот, наконец:

Государственный центральный институт усовершенствования врачей
объявляет, что 2 марта с.г. в 7 час. 30 м. вечера в помещении ЦИУ

(Б. Новинский пер., д. 12-а) состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

на соискание ученой степени доктора медицинских наук

С. М. ЗАТУЛОВСКОГО на тему: «Клиника отравления анилином и некоторыми другими амидо-нитросоединениями бензола».

Официальные оппоненты:

засл. деят. науки проф. Р.А. Лурия, проф. А.А. Летавет.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЦИУ — 6-й этаж.

Дневник был странный. Две-три страницы, пауза в пять лет. Снова запись. Еще перерыв в два года. И так почти полвека. Эту тетрадку и пожухлый пакет с фотографиями и какими-то желтыми листками я взял тайком (не устоял — запах старой бумаги с детства манил подобно наркотику) из ящика массивного древнего стола, занимавшего половину комнатенки бабы Жени, после того как гроб с ее высохшим, некогда монументальным телом был с этого стола снят и, после трех кругов на лестничных площадках, отвезен в Востряково.

Первые страницы тетрадки медицинский студент Московского университета заполнял виршами в стиле «на память тебе, дорогая, хочу я стихи написать, чтоб, этот альбом открывая, могла ты меня вспоминать». Потом уже, читая мамины альбомы, нашел я родственное творение Оли Б. — помнишь: «На первой страничке альбома излагаю я память свою, чтобы добрая девочка Леля не забыла подругу свою»? Дальше в дедовой тетрадке по голубому шли черные кружевные строчки:

Песнями душу свою я б открыл,
Грусть и страданья в мотив перелил,
В песне, быть может, я понят бы был...
Так не дал Всевышний мне голоса сил!

Всевышний, действительно, поспешил на силу поэтического дарования для дедушки Семена. Может быть, сознавая это, несколькими страницами и тремя годами позже, все еще студент, но уже официальный жених Гени-Гитл Ямпольской, он перешел на столь же эмоциональную прозу: «Где любовь? Где тот бурный порыв, — писал дед, — что как горный поток... Он стекает с горы, и не ведает он, на тот ли утес, на другой ли обрыв — все равно ведь ему... Он бежит... и шумит... И свергаясь со скал, рассказать может он, как я жил, как страдал... Он бежит... и шумит... и ревет...»

Это дословный текст, датированный 1911 годом, вторым октября, с указанием — в скобках — (В комнате Лизы). Кто такая Лиза, я не смог выяснить, возможно, родственница, но фотографию всех троих, деда, бабушки и Лизы, нашел в прихваченном с тетрадкой конверте: слева Лиза, длинное уныло-одухотворенное лицо и пенсне на шнурочке; в центре Женя с пышными волосами, подбородок опирается на два кулачка, поставленные друг на друга, глаза скошены в сторону Шимона; тот — усат, красив, студенческая тужурка расстегнута, глядит исподлобья.

Очередная запись посвящена окончанию университета. Обретение степени «лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, поименованными в Высочайше утвержденном мнении Государственного Совета и в Уставе Университетов 1884 года» имело место 28 ноября 1913 года и непосредственно предшествовало заключению счастливого брака и получению места ординатора Крестовоздвиженской больницы. Дедушкин диплом я отыскал в том же пакете, где фотографию с Лизой. По всем почти предметам Семен Михелевич Затуловский заслужил оценку «весьма удовлетворительно», оплошав только по «фармакогнозии и фармакологии с рецептурой и учением о минеральных водах», оцененными «удовлетворительно» без «весьма». А на обороте диплома был напечатан текст «Факультетского обещания», гиппократовой клятвы того времени:

Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукой права врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, я даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим, свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами ее процветанию, сообщая ученому свету все, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажей тайных средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не оскорблять их личности; однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду прямо и без лицепрятия. В важных случаях обещаю прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных; когда же сам буду призван на совещание, буду по совести отдавать справедливость их заслугам и стараниям.

Вместе с дипломом я извлек из пакета еще одну реликвию — картонную раскладушку-грамоту «Лучшему ударнику 2-ой пятилетки». Там неся паровоз с красивым дымным шлейфом, по полям шли трактора, тут же лошади вперемишку с грузовиками везли мешки, очевидно, зерна, «Челюскин» дробил лед, и Ленин венчал здание Дворца Советов. На фоне всего этого сообщалось, что Институт по изучению профзаболеваний им. Обуха награждает тов. Затуловского Семена Михайловича почетным званием Ударника — передового борца на фронте социалистического строительства, активно проявившего себя в борьбе за выполнение ударных обязательств в походе за качество им. тов. Сталина. Далее — дата 25/I-1935 г. и подписи.

Умилившись «качеству им. тов. Сталина», возвращаюсь, однако, к дневнику. Женатого Шимона Затуловского отличала уравновешенная, сдержанная грусть, облеченная в такую треугольную форму:

И первый мой привет я шлю таинственному лесу, его высоты,
его невинной тишине, осанке гордой и спокойной...
Его я в тайны посвятил души, измененной

житейской суетою, сердца, полного
тоски по грезам облачным,
чудесным. Ему и
первый свой
привет
шлю
я.

Третье марта 1917 года было отмечено двумя записями:

1) Прочитал экстренный выпуск «Утра России». Николай Романов отрекся! Вел. Кн. Михаил Александрович известил Родзянко, что отказывается от престола. Россия свободна!

2)

Что же ты, моя Женюра,
Не напишешь мне письма?
Вот уж три недели скоро —
От тебя все — ни гу-гу!
Слово ласки ли родное,
Али брани, али что —
Знать, не чуешь ветра в поле,
Бури в сердце? Смолкло все?
Аль забыла все былое?..
Ждать, томиться мне не ново,
Ждать я буду до конца.
Знаю, просьбам и молениям
Не уступишь никогда!
Н-и-к-о-г-д-а! Какое слово!
Никогда не быть счастливым!..
Как жестока ты, судьба.

Напомню, что к этому времени Семен Михайлович и Евгения Яковлевна уже пятый год состояли в браке.

Следующая после отречения императора и обращения к Женюре запись отстоит от предыдущей на пять лет. В правом верхнем углу значилось:

«Самарканд. Лазарет 5-го кавполка». Затем шел короткий текст: «Смогу ли я выстрелить? А принять выстрел? Сегодня я узнаю ответ на оба вопроса. Не уверен только, удастся ли мне записать этот ответ. Не беда, один из нас тебе все расскажет».

Не знай я событий, имевших место в двадцать втором году в лазарете части, дравшейся с басмачами, где дед служил врачом, а Алексей Хохлов, командир бригады, куда входил Пятый кавалерийский полк, лежал в жестокой малярии, не знай я сию историю от бабушки, равнодушно перевернул бы эту маловразумительную страницу. Но я знал, и короткая запись остановила меня, умилившись созвучностью романтическим стихам автора.

В перерывах между приступами лихорадки красавец Хохлов надевал на свой комбриговский френч сбрую из скрипящих ремней и шел

к посту старшей сестры Жени, иначе говоря — Женюры, а еще точнее — Евгении Яковлевны Затуловской, ибо за величественность манер все — и персонал, и больные — звали жену деда исключительно по имени-отчеству. Евгения Яковлевна находила беседы с комбригом приятными, но у Хохлова под воздействием хинина ослабли тормоза, и как-то на ночном дежурстве он позволил себе вольность, побочным результатом которой стало звучное падение шкафчика с медикаментами. Грохот достиг слуха деда на следующее утро, и, одурев от ревности, он вызвал комбрига на дуэль, а комбриг, поглупев от стыда, вызов принял. Той же ночью они встретились в узком проходе между дувалами на задах лазарета. Хохлова бил малярийный озноб, но в темноте дед этого не заметил. У доктора Затуловского дрожали руки и сел голос, но Хохлов, в свою очередь, не обратил на это внимания, поскольку сам еле передвигал ноги. Они встали в десяти шагах и обменялись выстрелами. Первым стрелял Хохлов. Попасть он мог только случайно: маузер ходил кругами, глаза заливал пот. Случайности не произошло. Когда выстрелил дед, Хохлов упал. Это привело доктора в ужас — еще и потому, что стрелял он вверх. Подбежав к комбригу, он нашел того в бреду. Несмотря на охватившую деда панику, он успел подумать: «Вот что получается, когда фаллос берет верх над энцефалосом».

Дело раскрылось, от расстрела Затуловского спас Хохлов. Позже они впали в отчаянную дружбу, длившуюся до тех пор, пока Хохлов не сгинул в кровавой мясорубке тридцать седьмого года. Запись об этом находим в дневнике пятнадцатью годами и несколькими страницами позже: «Была Лида — в первый раз за полгода. Леше дали десять лет без права переписки. Она прекрасно держится. Говорит, он вернется гораздо раньше. Когда Л. ушла, Женюра сказала, что это “без права переписки” — подлая формула, означающая смерть. Я не верю».

В Средней Азии дед пробыл недолго. В заветном конверте с документами, который попал в мои руки вместе с дневником, я нашел бумагу, из которой становится ясно, как доктор Затуловский оказался в Москве.

Начальнику Главсанупра

По ходатайству Коллегии Москздравотдела Комиссия по откомандированию медперсонала под Вашим председательством протокольным постановлением от 16 февраля сего 1923 года откомандировала в распоряжение Москздравотдела бывшего главврача полевого лазарета 5-го кавполка (г. Самарканд) д-ра Семена Михайловича Затуловского. До настоящего числа д-р Затуловский в распоряжение Москздравотдела не прибыл. По частным сведениям известно, что он начальником Санчасти Туркестанского фронта не откомандирован, а направлен на службу в Ташкент.

Ввиду крайней необходимости в дельных и честно преданных советской власти врачей, к каковым Коллегия относит д-ра С.М. Затуловского, для налаживания новой широкой организации внебольничной помощи в Москве Коллегия убедительно просит: 1) вторично подтвердить приказ Главсанупра об откомандировании в

Москву д-ра С.М. Затуловского с направлением его срочно в распоряжение Москздравотдела; 2) расследовать причины столь долгого промедления выполнения приказа Главсанупра и привлечь виновных в этом промедлении лиц к ответственности.

Заведующий Москздравотделом — подпись.

Секретарь — подпись.

Снова дневниковая пауза, и двадцать второе марта двадцать седьмого года, канун своего дня рождения, дед отметил в дневнике таким вот нахрапистым произведением:

Себе любимому торжественный сонет
С высоким чувством посвящает автор,
Которому не далее как завтра
Должно ударить целых сорок лет.

Груз лет почуял на своих плечах —
Уже не отрок, но еще не старец,
Ушел задор, но не пришла усталость,
Уже отбушевал, но не зачах.

И может быть, напор прорвет плотину,
Замкнувшую настойчивый поток,
Кто лжет, что Затуловский изнемог,
Земной свой путь пройдя до половины?

На лучшее надежду я лелею:
Жива надежда — долгий путь светлее.

Не Шекспир, но энергично.

Так сложилось, что второго (и последнего) своего друга дед обрел тоже при посредстве бабы Жени. Познакомились они году в тридцать пятом, Илья Борисович Шаргородский был лучшим хирургом того же института, где дед ведал терапией. Сухой и рациональный Шаргородский к деду относился с уважением, но чуть насмешливо — за эмоциональность и непосредственность, однако близки они не были, пока на каком-то государственном торжестве — то ли демонстрации, то ли праздничном вечере — Илья Борисович не встретился с Евгенией Яковлевной. Убеденный холостяк был так ошарашен величавой дамой, ее вкусом, умением вести беседу, ненавязчивым остроумием, что сделал нечто, ранее им никогда не испробованное: стал не слишком уклончиво говорить ей комплименты. Потом пригласил ее в оперу.

— Без Семена Михайловича, разумеется? — тонко спросила Женюра.

— Разумеется, — тонко ответил доктор Шаргородский.

— Я принимаю приглашение, но прежде, как честный человек, хочу вас предупредить: мой муж имеет обыкновение вызывать моих поклонников на дуэль, — сказала Евгения Яковлевна.

— О! И много было дуэлей? С кем последняя?

— С Алексеем Васильевичем Хохловым. Возможно, вы слышали о нем.

— Комкором?

— Комкором.

— Но он, насколько я знаю, жив. Жив и здоров, слава Богу, и ваш муж.

— О, да. Благодаря случайности, именно эта — последняя — дуэль оказалась бескровной.

Тем не менее в оперу они пошли и, как ни странно, встретили в фойе блестящего комкора (это не опечатка, Хохлов получил к тому времени повышение) с его миниатюрной зеленоглазой женой.

— Алеша, Лида, познакомьтесь — доктор Илья Борисович Шаргородский, Семин коллега.

Хохлов был задумчив, с Ильей Борисовичем перекинулся несколькими суховатыми фразами, но, пока женщины о чем-то оживленно говорили, Шаргородский задал прямой вопрос:

— Алексей Васильевич, на каких условиях вы дрались с Семеном Михайловичем? Вопрос не праздный — мне нужно подготовиться, я пистолета в руки не брал, так что предпочел бы холодное оружие, скажем, скальпель.

— Должен вас огорчить, доктор. Мы стрелялись. Впрочем, в вашем случае, Сема, возможно, согласится взять в руки фонендоскоп.

То, что Хохлов не отрицал факта дуэли, сразило Шаргородского. После спектакля все отправились к комкору пить чай, приехал из института дед, было много смеха, очередную дуэль порешили отложить, пока не найдется оружие, которым оба соперника владеют в равной степени. Да и вообще, не без кокетства заметил Семен Михайлович, пристало ли так решать спор за даму людям, у которых *эрос* давно сменился *агане*? Ведь наскреб же такое в памяти из гимназического курса древнегреческого! Еще больше сблизил новых друзей трагедия Хохлова. Когда Лида с двухлетним сыном отправилась в ссылку, Шаргородский и дед долго спорили, от чьего имени отправлять ей посылки — шаг, по тем временам требующий мужества. «У тебя Женюра с Лелечкой, а я один. Мне рисковать нечем», — говорил Илья Борисович. «Тебе защищать докторскую, а в ученом совете антисемитские настроения. Ты им такой козырь даешь», — возражал дед. В конце концов бросили жребий. Выпало на деда. А через несколько лет выяснилось, что Илья Борисович регулярно посылал в Нарым и вещи, и деньги, а узнав о болезни Лидиноного сына, сам приехал, оперировал, спас. В романе они, конечно, поженились бы, но в жизни не пришлось. Я видел их вместе дважды. Один раз летом пятьдесят первого на даче. Помню маленькую старушку, очень прямую и не улыбающуюся. Потом, во взрослой жизни, я вычислил, что Лиде в то время было около сорока. К заботливым жестам Ильи Борисовича она относилась с явным раздражением. Второй раз они вместе пришли на похороны деда, и баба Женя подозвала меня и попросила: «Скажи Шаргородскому, пусть уйдет». Вот такое задание — причина его скоро прояснится. Я подошел — то ли красный, то ли бледный, скорее всего пятнистый. Илья Борисович кивнул, сказал что-то Лиде и, не дожидаясь,

пока я раскрою рот, ушел. Потом я несколько раз встречал его в родственных домах — на свадьбах, чаще на похоронах. Одет всегда безупречно. Молчалив. Умер Илья Борисович сравнительно недавно в возрасте девяноста трех лет.

Возвращаюсь к дневнику дедушки Семена. Во время войны — одна-две короткие записи — комментарии к ходу боевых действий. Первая послевоенная датирована сорок седьмым годом. Это стихотворение, но как отличается оно от юношеских жалоб на холодность Женюры! Привожу его целиком.

Я снова заблудился в сентябре,
В который раз — потерян и плутаю.
О, юность осени зелено-золотая,
Мы в возрасте одном, в одной поре.

Еще срываюсь изредка в круги,
Как ранние посланцы листопада.
О, юность осени, желанную усладу —
Недвижность обрести мне помоги.

Ровеснику дай силы не поддаться
Капризам неуступчивой души.
О, юность осени, помедли, не спеши —
Еще успеем до зимы добраться.

К тому времени автору минуло шестьдесят.
Переворачиваю страницу. 25 ноября 1952 года.

«Вчера арестован Илья. Уволены шесть из восьми профессоревреев института. По слухам, в других клиниках то же. Из ближайших знакомых арестованы Фельдман, Егоров, Коган, Поляков. Думаю, меня возьмут со дня на день».

Через неделю дед пишет (предпоследняя запись): «Мысли мои, человека слабого, о себе: что это — конец? лагерь? ссылка? О Женюре — как она будет жить? Ведь она *ничего* не умеет. Хорошо, что у Лели есть Анатолий».

Анатолий — дядя Толя, ДДТ, АНК — новый мамин муж, появившийся вскоре после войны — на печаль по погибшему папе много времени не ушло, — родителям ее не особенно пришлось ко двору. Профессору Затуловскому и его супруге, несмотря на левые закидоны молодости и нежную любовь к Некрасову, хотелось видеть свою овдовевшую дочь замужем за кем-нибудь *ex nostris*, а не за приехавшим из Белоруссии не шибко образованным инженером. Анатолий же, услышав об аресте тестя, крепко выпил и материл вождей и Лубянку — Женюру это напугало, но и заставило посмотреть на зятя другими глазами.

Что же произошло за сто бесконечных дней, которые отделяли декабрьскую ночь с помянутым поэтом кандалным звоном дверных цепочек и апрельское утро, когда баба Женя и только что вернувшийся дед слышали по радио: «...привлеченные по делу группы врачей,

арестованы без каких-либо законных оснований... Полностью реабилитированы... из-под стражи освобождены?» («Ну вот, ну вот, умница Лаврентий Павлович, разобрался», — бормотала Женюра, неверной рукой глядя щеку деда. А совсем скоро я услышал частушку: «Как министр Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков». А потом вышел из доверия Маленков, и ему надавал пинков товарищ Хрущев. А потом...)

Следователь строил могучее здание заговора, выходящего за пределы обычных происков сионизма и международного империализма. Бессонной ночью пришла ему в голову лихая мысль пристегнуть к еврейским отравителям белоэмигрантов. В деле деда нашлись связи с Алексеем Хохловым — изменником родины, расстрелянным в 1938 году, бывшим прапорщиком царской гвардии, от которого множество нитей вело — как было со всей очевидностью доказано пятнадцать лет назад — к монархическим кругам эмиграции. Не вызывала сомнений и причастность к этой банде хирурга Шаргородского, вступившего в аморальную связь с вдовой Хохлова. Измученным допросами и мордобоем Шаргородскому и Затуловскому по очереди читали показания: Илье — Семена, Семену — Ильи. Илья Борисович не скрывал, что дед находился в дружеских отношениях с Хохловым. Дед и сам назвал Хохлова своим другом, причем до того, как увидел протокол допроса Шаргородского, но в память врезалось: Илья дает показания *против* него. В свой черед Затуловский подтвердил, что Илья Борисович помогал Лидии Хохловой и ее малолетнему сыну. Шаргородский и сам показал, что ездил к Хохловой в Нарым и поддерживал ее материально, заявил об этом задолго до того, как ему прочли протокол допроса Затуловского, — но запомнил: Семен выдает следователю *их* (его, Лиды, самого деда) личное, сокровенное, не могущее быть предметом грязного рассмотрения *этих*. В сущности, оба вели себя достойно, хотя и не героически. Впрочем, кто знает, где начинался героизм в Лефортовской тюрьме пятьдесят третьего года. Не обогать коллегу — это героизм?

Они встретились у вдовы одного из тех, кто не вернулся. Не поздоровались. Отвели глаза. И с тех пор не разговаривали до самой смерти деда. Чего было больше в их молчании — угрызений совести или укора, — сказать трудно. Прости они друг друга, легче было б жить, а деду — и умирать. Умирал он долго, от рака легких. И курил, пока был в сознании. Илья Борисович не зашел ни разу. Есть, правда, два свидетельства какого-то подobia их связи. Во-первых, к нам дважды приходила Лида и приносила лекарство, которое, как выяснилось, доставал Илья Борисович через одного чина Министерства иностранных дел, чью жену он блестяще прооперировал. Второе свидетельство — последняя запись в альбомчике с разноцветными страницами, сделанная за три дня до того, как дед окончательно впал в беспамятство. Открывается она вот таким, казалось бы, не относящимся ни к чему определенному сонетом:

Печально я гляжу на календарь —
Он знаменует жизни быстротечность,

Сей инструмент, что строго делит вечность
На равные периоды. Январь

Разбудит разом, звонко, без обмана
Надежду, спящую под белой пеленой,
На новую весну, и новый летний зной,
И новые осенние туманы.

И, сидя перед стопкою листов,
Где спит покой и кроется тревога,
Где теплый дом и дальняя дорога,
К простому выводу прийти готов:

Нет интересней книг под небесами —
Ее мы ежечасно пишем сами.

«Не помню, — писал далее дед, — кто из поэтов сказал, что стихотворение — это ткань, растянутая на остриях отдельных, самых главных слов. И жизнь, в сущности, материя, сотканная вокруг самых близких, самых дорогих людей, — только вблизи них она сгущается до осязаемости, обретает ценность, остается в памяти. С ними и прощаешься, когда наступает срок. И, уходя, шлешь им привет, свое прощение — и мольбу о встречном прощении. Их хоровод не дает тебе потерять человеческий облик в самую страшную минуту, которая ожидает всех. Леля, Женюра, Виталик, Алексей, Илья... “Я жду товарища, от Бога в веках дарованного мне”».

Теперь уже поздно, а ведь мог бы я подойти к худому старцу в черном костюме — на свадьбе ли, на похоронах — и показать ему последнюю запись в дневнике дяди Семы.

Смотри-ка, за двадцать лет ты почти ничего не узнала о моих предках, а теперь — вот, получите. Мы жили своей жизнью, почти сразу родилась Ольга, детские болезни, мелкие склоки, таблица умножения, склоки покрупнее, немного развлечений, немного ревности — в сущности, вполне счастливая жизнь, правда? А деда с Женюрой давно не было на свете. Это сейчас меня подхватили, увлекли за собой Титиль и Митиль. Дайте до детства плацкартный билет. В одиночку разве займешься такими раскопками, а тут собеседник — дружеский, молчаливый, как луна. *Per amica silentia lunae*. Это «при дружеском молчании луны» я встретил в каком-то романе Брюсова — красиво, втемяшилось в память.

В тех же закоулках памяти Виталика задержались, заблудились всякие присловья детства, сейчас из употребления вышедшие.

Видал миндал — говаривал дед.
Мастер Пепка делает крепко — он же.
С чувством, с толком, с расстановкой.
Не дорога лепешка, а дорога потешка.
Почем фунт — не лиха, а почему-то изюма.
Я вас люблю и уважаю, беру за хвост и провожаю.
Здорово, я бык, а ты корова. (Или наоборот?)

Мирись-мирись-мирись (сцепившись мизинцами) и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться.

Васька дурак, курит табак, спички ворует, дома не ночует, спит под забором, зовут его вором.

Жадина-говядина, турецкий барабан, кто на нем играет? — Виталька-таракан.

Честно слово врать готово. А еще были «честное ленинское» и «честное сталинское» — куда честнее простого «честного пионерского».

Жаба прыгала-скакала, чуть в болото не попала, а в болоте сидел рак, а кто слушал, тот дурак.

Командир полка, нос до потолка.

Есть товарищ командир, я в уборную ходил, дайте мне бумажку вытереть какашку.

Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет.

Ничего не больно, курица довольна.

Еще его волновала судьба барабанщика, но не того, гайдаровского, а другого — бравого, который крепко спал, вдруг проснулся, перевернулся, две копейки потерял. Он часто сострадательно задумывался: вот этот бравый (а стало быть, усатый, чем-то похожий на дядьку в галифе, который забросил кроху Виталика на верхнюю полку) мужчина долго барабанил, в поте лица зарабатывая свои две копейки, наконец выбился из сил и крепко уснул. И надо же случиться такому несчастью...

А «ехали казаки»? И «папе сделали ботинки»? Наивное ухо с трудом проникало в сладостную непристойность. Внимание-внимание, на нас идет Германия, с вилами, с лопатами, с бабами горбатыми... И очень смешная, в пику детскому антисемитизму, загадка: кого выбираешь — Розу или Сару. Оказывалось, Роза — дочь говновоза, а Сара — дочь комиссара.

Ну и, конечно: сколько время — два еврея, третий жид, по веревочке бежит, веревка лопнула, жида прихлопнула.

Это открывает большую тему, но крещендо зазвучала она много позже, в школе, а пока — Бог с нею.

Так хотелось толком написать историю, что вот, мол, человек родился и были у него папа Ося, и мама Леля, и бабушки, и дедушки, и прочие родственники, и няня Нюта, и друзья, из которых главные два Алика, один умный, другой добрый, и что с ними всеми стало, и как он рос, учился, дружил, любил, бедокурил, гулял, женился, родил ребенка, старел, и подличал, и добрые дела творил, и прочее — да вот кому это интересно? Есть ли в этой истории — *story*? Сейчас спрос на *story*, знаешь ли, складный сюжет. Он и сам любит «Трех мушкетеров», они его выручали, много лет лечили от скверного настроения. Накатит хандра, он за книгу. Нюта увидит знакомую обложку с оперенными шляпами да шпагами, спросит: «Ну, чего приключилось, Витальчик?» Или — как награда за успех. Сдашь экзамен, придешь домой и на любом месте раскроешь. И опять Нюта увидит: «Что, мушкетеров своих читаешь? Сдал, стало быть. Ну, иди поешь». Сколько уж лет не перечитывал. В последний раз, кстати, по странному поводу вспомнил. Какая-то дама, облившись

горячим кофе в ресторане, подала в суд на компанию и отсудила много-много денег — мол, не предупредили, что кофе горяч и, если вылить его на себя (а для чего еще берут в ресторане кофе?), то можно обжечься. И Виталик живо себе представил эпизод: подъезжает д'Артаньян к трактиру, берет миску с горячей похлебкой и, задев шпорами за — за что он мог задеть шпорами? ну сама придумай, — обливает себя, аж в сапоги потекло. И тут же — в суд на трактирщика, дескать, не обеспечил безопасности. Тыщу пистолей гони.

Что с народом творится!

Так вот, о сюжетах. Казалось бы, стоит только начать — и все покатится само собой. А начал есть множество — безотказных, одобренных классическим опытом. Скажем, возлюбленный Виталиком мастер не баловал читателей разнообразием — «В первый понедельник апреля 1625 года...», «В середине мая 1660 года...», «Двадцать седьмого февраля 1815 года...», «В последнее воскресенье масленицы 1578 года...» — но вот из этих-то календарных зачинов и выросло — ух ты какое! Наши великие тоже не брезговали таким простеньким способом ввести читателя в курс событий: «В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни по Вознесенской улице...», или: «В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове...», или: «Прошлого года, двадцать второго марта, вечером, со мной случилось престранное происшествие», ну и, конечно: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки...» Еще в обиходе было многообещающее — «не успел». Не успел затихнуть цокот копыт (стук колес экипажа, пленительный звук нежного голоса, грохот канонады), как... А дальше — не оторваться.

Но вот схватить за хвост впечатление, обрывок воспоминания, неясное шевеление на задворках сознания да заковать в слова, увязать в предложения, выложить на бумагу — зачем? Догадываюсь, что не первый задаю этот вопрос. Просеять через сито картинки, звуки, запахи, ощущения — чепуха развеется, уйдет, а останутся очень важные вещи:

ватный валик между рамами,
облезлые оловянные солдатики,
компрессы на ушах — камфорный спирт или масло,
запах подсохших листьев — дачные шалаши,
слезы в телефонной будке на Чистопрудном бульваре...

Нет-нет, слезы в будке — позже, позже, из взрослой жизни, а о шалашах — самое время. Там было очень славно есть — штевкать, шамать, рубать. Особенно — огурцы...



Владимир Фридкин

Фиалки из Ниццы



е звали Марина. Я познакомился с ней в конце октября девяносто восьмого года в Нетани, маленьком городе израильской ривьеры. Солнце еще было жарким, а море теплым и спокойным. На пустом песчаном пляже редкие купальщики сидели под зонтами. Для местных купальный сезон кончился. Искупавшись, я поднялся наверх, на проезжую обсаженную пальмами улицу и зашел в знакомое кафе “Гольф” выпить чаю. Потом пришла она и села за мой столик. На вид ей было чуть за сорок. Мы разговорились. Марина была москвичкой. Но уже лет пять жила с мужем и сыном в Израиле. Оказалось, что она знает мое имя. Еще в Москве читала как-то мои рассказы.

- Мы купаемся здесь в декабре, - сказала Марина. - Глядя на нас, местные сабры удивляются. А мы изголодались по теплomu морю.

Я ответил, что в августе был в командировке во Франции и проезжал через Ниццу. Думал несколько дней отдохнуть, искупаться. Не получилось. Заболел и улетел долечиваться в Москву. И вот сейчас хочу наверстать упущенное. На другом конце Средиземного моря.

- Так вы здесь не насовсем? - спросила Марина. Мне показалось, что спросила с грустью.

- Нет, через месяц уеду в Москву, прямо из лета в зиму.

- Между прочим, - спросила Марина, - знаете, как называется этот бульвар?

- Какой бульвар?

- Эта улица над морем называется бульваром Ниццы.

- Неужели? Выходит, я вернулся в Ниццу. Надо же... Такое совпадение.

Марина задумалась, посмотрела на море и сказала, не оборачиваясь:

- Да, действительно совпадение... А вы не собираетесь туда поехать еще раз.

- В Ниццу? Я был там несколько раз. Но в ближайшее время... Впрочем, кто его знает? А почему вы спрашиваете?

- У меня там живет самая близкая подруга. С ней случилась беда, и вот уже два года как от нее нет писем. Я звонила в Ниццу ее мужу французу. Толку никакого. Он куда-то уехал, а его сын ничего не знает. Я очень беспокоюсь, все время думаю о ней.

- Вы сказали, случилась беда. Какая беда?

Марина не ответила. Отвернулась и стала смотреть на море. Море было пустынным. Только на горизонте стояло судно, то ли рыболовное, то ли сторожевое.

- Сказать какая беда не могу. Сама не очень понимаю. В общем, не сложилась личная жизнь. В школе мы сидели за одной партой. После школы я пошла в МГУ на филологический, а Вероника - туда же на биофак. Школу она кончила с золотой медалью. Все предметы ей давались очень легко, а по математике и физике ей равных не было. На городских олимпиадах - первое место. Стихи писала. А уж какая красotka! Высокая стройная блондинка с черными глазами под длинными пушистыми ресницами. Глаза - как озера в безлунную ночь. Заглянешь в них, - и утонешь. Ее отец был русский, а мать - армянка. Косметики не знала. Ни помады, ни пудры. Одевалась всегда просто: свитер или куртка с джинсами, которые шли к ее длинным ногам. Ребята увивались вокруг нее как пчелы вокруг улья. За своего Сергея она вышла замуж на пятом курсе. Тогда же родила дочь Таню. Кто он был, этот Сергей, толком не знаю. Помню только, что играл за университет в волейбольной команде. После университета ее взяли в Академию наук, в Институт Овчинникова. Там она быстро сделала кандидатскую диссертацию, а потом важное открытие. Изобрела противовирусные пептиды, средство против гепатита. И чуть ли не лекарство против рака печени. Защитила докторскую. К ней даже американцы приезжали на консультацию. Но тут пришли свобода и демократия и вместе с ними почему-то все развалилось. В институте перестали платить зарплату, лабораторию закрыли, а помещение сдали какому-то банку. Вероника устроилась на американскую табачную фирму. По-английски она говорила свободно. Потом начались неприятности с Сергеем. Он нигде не работал, пил, таскал у нее деньги и по неделям не приходил домой. С самого начала это был какой-то странный брак. Полагаю, у них не было ничего общего. Вероника развелась. Сергей по-прежнему изредка приходил. Она жалела его, давала деньги. Да, забыла сказать, что Вероника закончила среднюю музыкальную школу по фортепьяно. Музыка была ее страстью. Ни одного стоящего концерта в консерватории не пропускала. И вот там, на концерте, встретила своего француза. Люсьен - музыкант, живет и работает в Ницце. В Московскую консерваторию приехал по каким-то делам фонда Сороса. Тут все и произошло. Любовь с первого взгляда. По крайней мере, с его стороны. Вероника заметалась, ночами звонила мне и говорила по часу. Вскоре я с ним познакомилась. Люсьен пригласил Веронику и меня во французский ресторан на Краснопресненской набережной, рядом с Хаммеровским торговым центром. Ожидала встретить эдакого Алена Делона. Ничего подобного. Низкого роста, упитан и совершенно лыс. Правда, лицо приятное и молодое. Сколько лет ему, - не скажешь. Может сорок, а может и все пятьдесят. Говорили по-английски. Вероника и я французский знали слабо, хоть и учили его в школе. В трудных местах она мне переводила. Потом встретились еще пару раз. А месяца через три Вероника вышла замуж и уехала с Люсьеном в Ниццу. Таню оставила с бабушкой. Было это пять лет тому назад, значит

в девяносто третьем. В том же году мы уехали в Израиль. Первые письма были живыми, радостными. Звала нас в гости. Вспоминала, как в школе мы мечтали о Геленджике, о Черном море. А теперь обе живем на берегу теплого Средиземного. Потом письма пошли грустнее и тревожнее. И вот уже два года никаких вестей.

- И все-таки, что случилось? Что-нибудь с мужем? Или в Москве с дочерью?

Марина не ответила, опять повернулась лицом к морю и задумалась. Потом сказала:

- У меня странное чувство. Кажется, мы с вами давно и близко знакомы. Поступим так. Я соберу ее письма и передам вам. Не уверена, что сохранила все. Мне очень хочется узнать, что вы обо всем этом думаете. И боюсь, секрета уже нет никакого...

На следующий день в моих руках оказалась коробка из-под шоколадных конфет. В ней лежали несколько писем в длинных голубых конвертах, пара открыток с видами Ниццы, и записка с адресом и телефоном Марины. Разбирая письма, я нащупал плотный толстый конверт, а в нем высушенный букетик фиалок. Цветы были еще яркими, но без запаха. В конверте лежало письмо. Видимо, - одно из первых.

12 февраля 94, Ницца

Маринка, милая, здравствуй! Прости, что долго не писала. Завертелась колесом моя жизнь и вертелась целых полгода. Представляешь, - Ницца! Я в Ницце! И теперь я мадам Дюкуран. Трудно поверить, а еще труднее привыкнуть. Мы живем в маленькой гарсоньерке на avenue de Veau в районе Ниццы, который зовут Симье (Cimiez). Это к северу, на холмах. Здесь тихий район вилл, апельсиновых и лимонных садов, зарослей мимозы. Виллы, белые и кремовые, террасами спускаются вниз, к морю. С нашего балкона виден только его уголок, серебряный как осколок зеркала. Всего моря не видно, его закрывают кипарисы. Но у моря на Английской набережной я бываю часто. Как тебе его описать? Этот берег зовут лазурным. Но все зависит от погоды. В ясные дни небо от солнца выцветает и вода - чистая лазурь. А при облаках море серое, а у берега - зеленое. Говорят, в ясную погоду отсюда видна Корсика. Но я ее еще не видела. Помнишь, Чехову нравилось, как кто-то сказал о море: "море было большое"? И это все, лучше не скажешь.

Мой Люсьен - прелесть. Знаю, он тебе не показался. А в Москве он так красиво меня преследовал! Без букета роз не приходил. Говорил, что цветы каждый день самолетом присылают из Ниццы и продают в ГУМе. Один раз принес большой букет фиалок. И мне показалось, что к их нежному дыханию примешан запах соленого морского ветра. Еще в Москве я поняла, что где-то там есть другая жизнь. Помнишь, как описывала ухаживания московских кавалеров наша подруга Тамара Полубесова? Дескать, до дому проводит, прижмет в темном подъезде в угол. Одной рукой шарит под блузкой, а другой норовит под юбку залезть. И целует пьяными солеными губами. Ты только не подумай, что это я о Сергее вспомнила. Он - человек несчастный, конченный. Я ему тут с оказией денег послала. А тебе на цветочном рынке у площади Массена купила букетик фиалок и вложила в конверт. Скажи, они еще пахнут?

В Москве Люсьен всему удивлялся, а я над ним потешалась. Как-то он поехал в фонд Сороса и меня взял с собой. А фонд разместился в бывшем моем институте у метро Беляево. Подъехали мы на левке к самой проходной. Ну, ты же знаешь институт Овчинникова! Целый город в мраморе. Столько средств на него ухлопали! Теперь половину комнат сдают под офисы фирм. Всюду таблички по-английски. Пока в этом лабиринте найдешь нужную комнату, каблук обломаешь. Чуть ли не полчаса мы бродили по мраморным подземным коридорам. Люсьен, разинув рот, смотрел на зимний сад, на фонтаны. Когда уходили, спросил, сколько здесь получено Нобелевских премий. Я ответила, ни одной. Тогда он спросил, кто дал деньги на этот дворец. Я пыталась ему объяснить. Сказала, что в советские времена деньги еще не были зелеными, и их печатали столько, сколько требуется. Он не понял. Тогда я спросила, знаешь, как дети играют в магазин? Режут бумагу и чернилами пишут на ней цифры. И на эти деньги понарошку покупают конфеты. Он удивился еще больше. Дескать, одно дело - игра, а другое - жизнь. Я сказала, что наша жизнь и была игрой. Напомнила про Германа из "Пиковой дамы" (он читал Пушкина по-французски, а партитуру оперы знает наизусть). Герман сначала играет, а потом попадает в сумасшедший дом. Мы тоже доигрались, и теперь сидим в сумасшедшем доме.

Как вам там, Маринка, в Израиле? Ты только подумай: мы теперь живем с тобой на берегу одного моря. Помнишь, мечтали о Геленджике? А тут - Средиземное! Здешние чайки до тебя, конечно, не долетают. А волны? Тамара бы сказала, что мы с тобой качаемся на одних волнах. Приезжайте к нам хотя бы на месяц. Я говорила с Люсьеном, он, разумеется, согласен. Лучше летом, когда у вас очень жарко. Нет, пожалуй, лучше осенью. Осенью он собирается купить дом в Коломаре. Это деревня в Провансе, в горах, у самой Ниццы. Отвечай, пожалуйста, аккуратно, с меня пример не бери. Целую, Вероника.

В левом верхнем углу Вероника написала свой адрес: Mm Discourant, avenue de Bearn 42, Nice, France.

15 мая 94, Ницца

Здравствуй, дорогая Маринка! Спасибо тебе за письмо и прости, что долго не писала. Много дел и забот, в одном письме не расскажешь. Ездили смотреть дом в Коломаре, который Люсьен покупает. Настоящий деревенский дом в оливковом саду. Сад огорожен каменным забором. На участке лимонные деревья, дубы, обвитые плющом, и виноградник. Дом Люсьен будет переделывать, пристроит террасу и гараж. Я уже вожу машину, Люсьен купил мне фольксваген-гольф. Из Коломара до Promenade des Angles в Ницце всего полчаса. Не дольше, чем в Москве на метро от твоего дома до моего. Так что можно жить в деревне и купаться в море. И я уже купаюсь! Раньше Прованс мне казался равниной, выжженной солнцем. Откуда я это взяла? Из Альфонса Додэ? Не знаю. Ничего подобного! Представляешь: лесистые холмы, а дальше, к северу, снежные горы Приморских Альп. Едешь по горной дороге и на крутом повороте вдруг видишь уголок синего, синего моря. Рядом с Коломаром - маленький провансальский городок Каррос. Он растет из скалы, как ласточкино гнездо. Здесь все из белого камня: дома, улицы, лестницы,

колодцы для стирки белья. Люсьен повел меня в дом к знаменитому скрипичному мастеру. Представь себе четырехэтажный каменный дом 14 века. В нем большая комната. Тяжелые деревянные ставни. Потолок на древних черных ноздреватых балках. У побеленных каменных стен - старая мебель: лавки, стулья, шкафы, тоже черного цвета. Весь этот средневековый пейзаж оживляет люстра из красивого местного фарфора "мустье". В Карросе сохранился какой-то старинный итало-французский диалект. Улица, на которой стоит дом, называется *Carriero de la font* (фонтанная). Люсьен в восторге от этой старины и, боюсь, в Коломаре захочет изобразить что-нибудь подобное. Между тем, я уже прилично говорю по-французски. По крайней мере так считает Люсьен.

Да, ведь я про него ничего тебе не рассказала. Еще года три назад он работал в Ницце концертмейстером в оперном театре. Директором там Джанкарло дель Монако, сын известного певца. Люсьен был женат на какой-то богатой женщине, дочери лионского банкира. С женой и сыном он жил в самом центре Ниццы, в доме на углу улиц Клемансо и Обера. Большая шестикомнатная квартира занимала целый этаж. Его младший сын учится в Лионе в консерватории, старший занимается бизнесом. Старший и жил с ними в этой квартире. Так вот. В театре была какая-то певица, с которой Люсьен проходил партию Тоски. В то утро жена сказала, что уезжает в Лион на три дня, но неожиданно вернулась днем, прихватив зачем-то свою подругу. Она застала Люсьена и певицу в постели. Это я поняла из рассказа Люсьена. Не удержалась и сказала, что он "писеньковый злодей". Помнишь, Тамара Полубесова уверяла, что по-украински это - сексуальный маньяк. Люсьену это выражение безумно понравилось. Но усвоить его он не может и каждый раз просит напомнить. Потом был развод, и подруга жены выступала свидетелем. Во французской провинции нравы строгие. Жена отяпала у него всю квартиру, хотя у нее был просторный дом в Антибе. Из трех комнат она сделала огромный будуар, а сына, который жил вместе с ними, выставила за дверь. Теперь сын, как и отец, снимает гарсоньерку. На этом неприятности не кончились. Люсьен поссорился с дель Монако и ушел из театра. Какое-то время был агентом у струнного трио. Потом на пару с кем-то купил массажный кабинет и стал массажистом. Представь себе... Зарабатывает он больше, чем в опере, но по музыке тоскует ужасно. Я его хорошо понимаю. Скоро год, как я ничего не делаю, веду наше скромное хозяйство. Его и вести нечего. В соседней лавке на *avenue des Arenes* покупаю продукты и готовлю по-московски, на скорую руку. Люсьен терпит, терпит, а потом возьмет да и приготовит сам. Но мясо бургуньон, салат и баклажаны я уже научилась делать по-местному. И все-таки без работы я не смогу. Заболею или с ума сойду. Ходила к профессору Буржону в университет. Представь себе, - он читал мои статьи. Обещает что-нибудь подыскать для меня в новом семестре, почасовую или работу в лаборатории. Университет здесь небольшой и моей тематикой они не занимаются. Да я согласна у них центрифуги мыть. Боюсь, Люсьен этого не поймет.

Читаю. Книги беру в библиотеке Медиатеке, это недалеко. Русских книг мало. Недавно взяла Куприна во французском переводе и

осилила, конечно, со словарем. Представь себе - перечитала “Гранатовый браслет” по-французски. Я читала эту вещь много раз, и каждый раз мечтала о такой необыкновенной возвышенной любви, идеальной, без компромиссов. По выражению Куприна, - “сильной как смерть”. Он, если не ошибаюсь, взял это выражение у царя Соломона из “Песни песней”. Да где она, эта любовь? Если и приходит, то не сильная как смерть, а слабая и нелепая как наша жизнь. Нам с тобой по тридцать восемь (ах, прости, ты моложе на год). Иллюзиям поздно предаваться. И потом я думаю, что у творческого человека такой любви и быть не может. Такая любовь, “любовь-трагедия” (опять же по купринскому слову) поглотит весь разум, все силы без остатка. Нет, в нашей непонятной жизни думаешь о семье, о доме, о ненадежном завтрашнем дне. Я знаю, что ты мне ответишь, даже слышу твой голос. Ты говоришь, что мечту отнять нельзя. И что каждая женщина в тайне мечтает о чем-то необыкновенном, чего вовсе не бывает или случается очень редко. Может быть ты и права. Не знаю... А знаю то, что испытала первый приступ ностальгии. На днях пошла в музей Шагала. Это рядом с нами, на бульваре Симе. Почти весь музей - картины на библейские темы. Он написал их в шестидесятые годы. Долго стояла у “Пророка Ильи”, оторваться не могла. Справа от Ильи и его калачницы - бедные избы с косыми крышами и козы. И над всем этим - местечковый витебский месяц. В Витебске я не была. Но такая тоска навалилась, аж в груди защемило. А ведь и года еще не прошло. Очень скучаю по Таньке и маме. Звоню им часто. А Танька в июне придет ко мне. У нее сейчас в школе выпускные экзамены. Хочет поступать на биофак. Не знаю, не знаю...

Люсьен вернулся, кончаю, пиши. Твоя Вероника.

2 февраля 95, Ницца

Родная Маринка! Сколько времени я не писала? Год? Вчера пришло твое письмо. Ты беспокоишься и упрекаешь меня. Сколько за год воды утекло! Не знаю с чего и начать... Осенью переехали в Коломер. Там началась какая-то непонятная жизнь. Как тебе объяснить? В доме шесть комнат, большой холл, в котором стоит рояль, кухня, веранда... Все надо убрать, приготовить обед, поработать в саду и на винограднике, отвезти оливки на мельницу, где жмут масло, и еще тысяча дел. Осенью я начала работать в университете у Буржона, но Люсьен заставил меня бросить. Ему непонятно, зачем за две тысячи франков ездить так далеко. Ведь за эти деньги даже приходящую прислугу не наймешь, какую-нибудь испанку или из местных. Я ему сказала, что готова работать бесплатно. Он только руками развел. В свой массажный кабинет он уезжает чуть свет, я еще сплю. А приезжает вечером. Я остаюсь с котом Жаком. Он целый день ходит за мной по дому и по саду. Поверь, не остается времени почитать. Иногда сажусь за рояль. Вспоминаю этюды Черни, Моцарта. Но уставшие руки, руки уборщицы и садовницы, не слушают меня. И тогда я сижу, бессмысленно уставившись в стену. На ней висит огромная страшная картина Дофа: длинный ряд скелетов проходит мимо человека, который зачем-то раздает им маски. Люсьен сказал, что Дофа хотел подарить эту картину Феллини, но тот отказался. Теперь она висит в нашем холле. Как она попала сюда, - не знаю. Смотрю на эту картину и

кажется мне, что сама участвую в маскараде покойников. Изо дня в день одно и то же, ничего не происходит. Я немею, потому что не о чем говорить и, что самое страшное, тупею. Еще недавно море, горы, оливковые рощи, Ницца казались такими радостными, необыкновенными, так много обещали. Помнишь, я послала тебе букетик фиалок?

Когда мы жили в Симье, я каждый день ходила на цветочный базар и покупала фиалки. Теперь нет времени, а если честно, то и желания. По субботам мы “выходим в свет”, едем к Франсуа Дюфуру, знакомому скрипачу, с которым Люсьен играет сонаты. Франсуа и его жена Жиннет живут в центре, угол улиц Клемансо и Жан Медсан, рядом с библиотекой Медиатек, где я беру книги. К Дюфурам приходят гости. После концерта - обед. Милая Жиннет хорошо готовит. Иногда обедаем в соседнем итальянском ресторанчике “Неаполь” (обязательно вскладчину). Если бы ты знала, как мне надоели этот вечный салат в большой деревянной миске, сотерн и фуа гра (здешний деликатес, гусиная печенка). Хочется винегрета, селедки, гречневой каши. Подумаешь, что избаловалась. Нет, по-научному это - ностальгия. На днях приснилась Медведица. Помнишь, как плыли по ней в байдарках? Темная глубокая вода, кувшинки, задумчивые кудрявые берега. И город Кашин. Такой древний, уснувший. Деревянные домики на холмах. Колокольный звон по утрам. Базарная площадь. Запах сена и лошадиного пота. С нами были Кирилл со своей Наташей, Тамара и еще кто-то, не помню кто. Жизнь всех разбросала. Тамара уехала к мужу в Киев. Я слышала, они теперь в Бразилии. Помнишь, Тамара все Киплинга цитировала: “Увижу ли Бразилию до старости моей...” Вот и увидела. А где Кирилл? С Наташей он еще при нас расстался. И, слышала, стал известным физиком. Думаю, что и он где-нибудь за бугром. Ты что-нибудь о нем знаешь?

Да, забыла. Танька ко мне не приехала. Прошное лето ушло на экзамены. Она все-таки поступила на биофак. Идет по стопам матери. Зачем, - не знаю. Обещает приехать этим летом. Я ужасно по ней соскучилась. На днях подумала: хорошо, что у меня дочь, а не сын. В России опять ужасная война. Только ее и не хватало. А все от нашего беспамьятства. Уверена, прочти Ельцин “Хаджи Мурата”, не полез бы в Чечню. Ты меня знаешь, я умею быть благодарной. И ему, и Горбачеву я благодарна за свободу. А сейчас не знаю, что и думать. Пиши, целую, Вероника.

19 августа 95, Ницца

Милая, родная Маринка! Получила ли ты мою открытку ко дню рождения? А сегодня “шестое августа по-старому, Преображение Господне”. Так кажется? Я забываю Пастернака, все забываю. На днях стала вспоминать первую главу “Евгения Онегина” и после слов “когда же черт возьмет тебя” споткнулась и дальше вспомнить не могла. И подумала, когда же черт возьмет меня. Я ведь “Онегина” наизусть знала. Не ругай, что долго не писала. Мне очень, очень плохо.

Знаешь, я и раньше замечала, что Люсьен скуп. В России принято думать, что скупы немцы. Это предрассудок. Немцы не скупы, они расчетливы. А он именно скуп. Это даже не страсть пушкинского скупого рыцаря. Скорее - мелочность тупого буржуа, глупость. “Нэ

купить ума, як свово нэма”, - говорила в таких случаях Тамара Полубесова. Он экономит на электричестве, на воде. Не разрешает звонить в Москву. Проверяет счет за продукты, которые я покупаю. На днях устроил скандал из-за тридцати франков недостачи. Может быть, я и в самом деле их потеряла.

Зимы здесь теплые, но ночью холодно, сыро. Так он выключает на ночь отопление. Эта весна была особенно холодной, я заболела гриппом. Представь себе, лежу я в холодной комнате с высокой температурой без еды и питья. Он говорит, что при гриппе есть вредно. Приедет вечером из города, поест, уткнется в телевизор и молчит. Потом придет ночью ко мне, навалится, и это тоже молча. Только сопит. Сделает свое дело и уйдет к себе.

В июле приехала, наконец, моя Танька. На первых порах он старался произвести впечатление. Повез нас в Канны, в Монте Карло. В Монте Карло угощал чаем с пирожными в дорогом кафе de Paris. Показал Тане рулетку в казино, оперу. Его знакомый виолончелист провел нас прямо на сцену. Стоим на сцене напротив княжеской ложи и читаем выбитые на стенах имена композиторов: Гуно, Моцарт, Глинка и какой-то забытый Герольд. Таня спрашивает, где Чайковский. Люсьен отвечает, что театр построили еще тогда, когда Чайковского не знали. Потом повел нас в какой-то безумно дорогой отель “Эрмитаж” показать раскрашенные вручную унитазаы. Унитазы на Таню впечатления не произвели, а вот бюст Дягилева она разглядывала долго. Бюст стоит затылком к морю, лицом к опере. И Люсьен сказал, что Дягилев отвернулся от России. На это Таня заметила, что на Россию можно смотреть и с моря, и с суши. В общем, понимай как знаешь. Между прочим, дочь говорит по-французски лучше матери. Она ведь, как и мы с тобой, окончила французскую школу, но в другое время. В наше время учили грамматику и мертвому языку. Делали все, чтобы мы, не дай Бог, не заговорили по-французски. Спрашивается, зачем советскому человеку говорить на иностранном языке. И, главное, с кем? Поэтому, на вопрос, что дала нашим детям перестройка, новая жизнь, я отвечаю: язык.

Праздник длился недолго. Если перед сном Танька мылась в душе, Люсьен стучал в дверь ванной и ругался. Дескать, слишком долго, большой расход воды. Его все раздражало: Танина книга, оставленная в кресле в саду, тарелка, забытая на столе, компактный диск, не вынутый из проигрывателя. Малейший беспорядок выводил его из себя. И вот случился скандал. Я и Таня были на кухне. Он зачем-то вошел в ее комнату и увидел простыни и белье, лежавшие на кровати. Поднял крик, сбросил Танино белье на пол, стал топтать его ногами. Потом потребовал, чтобы Таня немедленно все это постирала. Таня ответила: *Plutot crever*¹. И тут же собрала чемодан. Наутро я отвезла ее в аэропорт. По дороге она смотрела в мою сторону. Лицо веселое, глаза живые. Я думала, она на меня смотрит, обо мне думает. А она смотрела на море, на пальмы. И только в аэропорту, когда прощались, сказала мне: “Возвращайся-ка ты, мама, домой. Нечего тебе здесь делать”. А я забыла тебе сказать, что Таня

¹ Фиг тебе! (фр.)

и еще несколько студентов получили приглашение учиться в США, в Рочестере (это штат Нью-Йорк), в тамошнем университете. И Таня в октябре уедет в Америку. Бабушка переедет к брату, дяде Армену. К кому же мне ехать? Уж не к Сергею ли? Таня не видела отца с полгода, и я беспокоюсь, не спился ли он совсем, жив ли. Да, здесь мне делать нечего. А что я буду делать в Москве?

Пишу тебе по новому адресу в Нетанию. Как хорошо, что вы все вместе. Да, а ты не написала, поступил ли твой Витя в университет. Видимо он уже в Хайфе.

Странно устроен человек. Пушкин сказал: “Что пройдет, то будет мило”. Уж как мы тосковали по свободе, как я мечтала о Франции, о Париже! И вот я во Франции, а Парижа до сих пор не видела. И теперь вместо Парижа грезится мне бульвар на Университетском, лес у Троицкой церкви, у крутого спуска к Москва-реке. Скоро все это березовое кружево станет золотым.

Пишу это письмо за столиком кафе на пляже. Только что вышла из воды. Жарко. Сейчас допью чай и отнесу письмо в отель “Негреско”, брошу там в ящик. Это рядом, только перейти Английскую набережную. А потом вернусь в Коломар. Обед у меня готов. Вечером придет мой массажист, несостоявшийся музыкант. А я - несостоявшийся биолог. Какая разница? И будет продолжаться жизнь. Сколько она будет продолжаться? Прости за невеселое письмо. Будь счастлива, целую, Вероника.

3 ноября 95, Ницца

Моя родная Маринка! Прочти на обороте конверта мой новый адрес. Теперь я живу одна. Одна во всех смыслах. Не успела Таня вернуться домой, умерла мама. Ночью был сердечный приступ, а неотложка приехала только утром. Я собралась лететь в Москву, попросила у Люсьена денег. Ты не поверишь, - он отказал. Сказал, что у него в банке минус и закрыли кредит. Это наглая ложь, и я это точно знаю. Потому что неделю спустя он перевел сыну в Лион десять тысяч франков. Для участия в Лондонском фестивале. А мне требовалось каких-нибудь две тысячи на Аэрофлот до Москвы. Таня и дядя Армен хоронили маму без меня. Я ее не видела два года и теперь уже никогда не увижу.

Таня уехала в Рочестер. Она не хотела продавать московскую квартиру, но я настояла. Ей платят стипендию, но на первых порах нужны деньги. Половину этих денег Таня прислала мне из Штатов сюда. Я хотела отослать ей обратно, но потом раздумала. И, оказывается, хорошо сделала. Ведь своих денег у меня нет. Ни одного франка. Все, что он дает мне на хозяйство - подотчетно. Вечерами придирчиво подсчитывает расходы, проверяет меня. Если мне нужны деньги на колготки или на парикмахера, я клянчу у него. Ты ведь знаешь, я к тряпкам равнодушна. Но за эти два года я не купила себе ни платья, ни белья. А из-за пары туфель он устроил скандал. Для кого и зачем он купил этот дорогой дом? Я в нем не чувствую себя ни женой, ни хозяйкой. Кто я в нем, экономка, служанка, наложница? И вообще, почему я здесь? На что ушли эти годы? И что делать теперь, когда в Москве нет ни мамы, ни Тани, ни дома? Развестись? Но ведь у меня нет французского гражданства, его надо еще

ждать. А без гражданства здесь нет ни прав, ни работы. И на что жить? А главное - зачем? В университет меня не возьмут, Буржон переехал в Монпелье. Я отупела и опустила. И всего за два года.

Да, так откуда новый адрес? Я снимаю квартиру на бульваре Мадлен: комната, кухня и душ. Это на восточной окраине Ниццы, рядом с морем. Пересечь *voie Rapide*, - и вот тебе Английская набережная. Работаю в соседнем ресторанчике “Маленький провансалец”. Там всего пять столов. Накрываю, мою посуду. Тебя это удивляет? Так вот, послушай.

Помнишь, я спрашивала тебя про Кирилла? Ты ему дала мой адрес и телефон в Коломаре. И вдруг - звонок. Кирилл звонит из Парижа. Оказывается, он приехал на год в Орсе. Позвонил в сентябре, вскоре после смерти мамы. Сказал, что может на несколько дней приехать в Ниццу. Обрадовалась я ужасно. И сразу же пригласила его, еще не зная, что выкинет Люсьен. Ему я сказала, что Кирилл крупный физик и у него связи в московском музыкальном мире. Я не врала. Вспомнила, что его отец какая-то шишка в Москонцерте. Но про себя думала, что Люсьен клюнет на эту приманку. Он все мечтает о гастролях сына в Москве. И я не ошиблась. Он попросил разрешения самому позвонить и пригласить Кирилла. И Кирилл приехал в конце сентября. Сколько мы с ним не виделись? Думаю, больше десяти лет. Люсьен устроил торжественный ужин. Принес из погреба пару бутылок какого-то особенного бордо. А мы с ним проговорили до поздней ночи. У него умерла жена, детей нет. Раньше его за границу не выпускали. А теперь, благодаря своему имени, он ездит по всему миру. Работает то в США, то в Японии. Сейчас вот пригласили в Париж. Этим и живет, но связи с Москвой не прерывает, хотя в его институте - ни денег, ни способной молодежи. Разбежались. Кто за границей, кто в бизнесе. Между прочим, он был в Израиле, и его снова туда пригласили. Он все думает, не взять ли ему тамошнее гражданство. Да ты наверняка знаешь об этом.

Через день я повезла его в Канны. По дороге обедали в Антибе на улице Массена, у самого порта. Увидев дом, где родился Массена, Кирилл вспомнил слова Наполеона: “самый храбрый в армии - это я, но храбрее меня - Массена”. Он поразил меня своей эрудицией. Все выглядело так, как будто не я, а он показывал Ниццу. А ведь он здесь никогда не был. В музее Массены, стоя у его бюста работы Кановы, рассказал об итальянском скульпторе и испанском походе Наполеона. Потом в старом городе у памятной доски в честь Паганини, - о Паганини и Гарибальди. В конце этой улицы - крутая лестница, поднимающаяся в Шато. Это скала над морем. С нее видна Ницца и залив, весь в кружеве прибой. Наверху - старое католическое кладбище, где похоронили Герцена. К стыду своему я там еще не была. Мы долго смотрели на памятник. Кирилл сказал: “Посмотри, сколько в нем печали”. Герцен стоит, скрестивши руки, задумался, опустил голову. Где его исторический оптимизм, о котором писал Эйдельман? Если бы он мог представить себе будущее России век спустя. Мы разглядели на постаменте изображение песочных часов и крыльев. Что это, знак быстротечности жизни, ее полета? Этого Кирилл не знал. Потом мы долго сидели на скамейке у

Никейских развалин, откуда виден порт. Кирилл стал было рассказывать о древней Никее и о Карле Савойском, но потом как-то странно посмотрел на меня и спросил о моей жизни. И, вдруг, там, на скамейке, я ему все и рассказала. Он долго молчал. Я сказала, что не вижу другого пути, как вернуться в Москву и жить у дяди Армена. И тогда Кирилл вспомнил древнюю притчу. В прошлом году он работал в Иерусалимском университете, и его повезли на экскурсию к Мертвому морю. И там среди пустынных гор, у самого спуска к морю, показали столб из соли и песчаника. Сказали, что этот столб похож на фигуру женщины. Кирилл, как ни вглядывался, сходства не нашел. Но это неважно. Оказалось, что это окаменевшая жена библейского Лота. Ты, конечно, знаешь эту легенду. Когда-то у берегов Мертвого моря находились Содом и Гоморра, погрязшие в смертном грехе. И Господь решил покарать грешников, стереть с лица земли эти города. Но об этом предупредил Лота, племянника Авраама, который вел праведную жизнь. Ему и его жене было сказано бежать и не оглядываться. Но жена Лота не удержалась и в последний момент оглянулась. И превратилась в соляной столб. Человек не меняется. Древние библейские люди тоже знали ностальгию. Так вот, не надо оглядываться и возвращаться в прошлое, а то окаменеешь, - сказал Кирилл. Надо идти только вперед. Я спросила, а если нет надежды и я уже окаменела? И тогда Кирилл рассказал другую историю, на этот раз не библейскую.

Ты помнишь его Наташу? Я говорю “его”, хотя после того жаркого августа, когда мы все отдыхали в Дубултах в университетском доме отдыха, они расстались. Когда это было? Наверное после четвертого курса, когда Кирилл вернулся со сборов в военном лагере. Наташа была его первая любовь. Говорят, что до нее он с девочками не дружил, даже на танцы не ходил. И, как бывает в таких случаях, влюбился внезапно и отчаянно. Говорит, совсем голову потерял. Эта Наташа была дочерью какого-то большого генерала. Квартира на Фрунзенской набережной, дача в Архангельском. На физфак на “волге” приезжала. Ну и все такое... Думаю поэтому, что в выборе спутника жизни она была не свободна. Но, по мнению Кирилла, он был не в ее вкусе. Ей нравились высокие спортивного вида ребята. Ну, вроде тех, что играли с нами в волейбол на пляже. Волосы цвета осенней стерни, светлые глаза, бронзовое тело и тугие плавки. Помню, как они звонко гасили через сетку. Как из пушки! По вечерам всей компанией мы ходили в Дзинтари, в ресторан “Лидо”. Помнишь? Денег не было. Заказывали пару бутылок сухого, салат. И весь вечер танцевали. Тогда “Лидо” казался нам волшебным уголком западной жизни. Столики под торшерами, полумрак, интим и круглая площадка для танцев. Ночью из Дзинтари возвращались пешком. Иногда вдоль ровного песчаного берега, но чаще улицами, мимо дач и сосен. Ночи стояли душевные, звездные, и от запаха белого табака кружилась голова. Наташа шла с нами, держалась компании. А Кирилл был мрачен. Старался отстать, садился на скамейку где-нибудь в лунной тени. Она возвращалась к нему, и они вместе нас догоняли. Кирилл сказал, что потом было решительное объяснение, и она честно призналась, что не любит его. Он переживал много лет и никак не мог забыть этого несчастного

прибалтийского лета. Женился поздно, лет десять спустя. С женой жил счастливо, о прошлом не вспоминал. Года два назад приехал с ней летом в Ригу. И, вдруг, его неудержимо потянуло в Дзинтари. Он и сам не знает, что это было. Тоска по юности? Мазохизм? Может быть, ему, счастливому и благополучному, хотелось задним числом восторжествовать над былым унижением и несчастьем? Они ужинали в “Лидо”. И, представь себе, обстановка показалась им серой, неинтересной: скатерти в пятнах, пыльный затоптанный палас, хмурый официант. Возможно, потому что за год до этого они отдыхали в настоящем Лидо, под Венецией, где на берегу Адриатики такой же ровный песчаный пляж. И в ту же ночь случилось несчастье. Жене стало плохо. Похоже было, что в “Лидо” она чем-то отравилась. Неотложка отвезла ее в больницу. Там нашли непроходимость, сделали операцию. А наутро она умерла. Вот тогда я и окаменел, как жена Лота, - сказал Кирилл - и понял, что прошлое не возвращается.

На скамейке в Шато мы просидели до позднего вечера и вернулись в Коломар ночью. Люсьен заперся у себя, к нам не вышел и чуть свет уехал на работу. Утром Кирилл объявил, что ему пора, и я проводила его на вокзал. Видимо почувствовал себя неудобно, и я не стала его отговаривать. Обещал звонить. А с Люсьеном так и не попрощался.

В тот же день вечером случился скандал. К ужину Люсьен не вышел. Потом кинулся в мою комнату, стал выбрасывать и топтать мои вещи. Таким я его еще не видела. Я пыталась объясниться. Он орал: *fous le camp, ferme la idiote!*²

Что это было? Ревность? Не думаю. Тупость, ярость собственника?

На утро я переехала к знакомой, работавшей у Буржона. А через неделю сняла эту квартиру. Люсьен нашел меня. Приезжал, просил прощения, клялся, что все понял и плакал. Обещал, что найдет для меня работу в университете. Как будто это от него зависит! Я как могла, спокойно, даже ласково объяснила, что в Коломар не вернусь и хочу пожить одна. И вот уже скоро месяц, как я здесь со своим котом Жаком. Что будет завтра, - не знаю. Да, в прошлое не возвращаются, но и в будущее не заглянешь. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть сегодня. А сегодня - радость: пришло письмо от Тани. По новому адресу. У нее все хорошо. А обо мне она ничего не знает. И слава Богу. Видишь, какое длинное письмо написала. Писала его три дня. Поздравь Витю с победой на олимпиаде. И пиши, пиши. Твоя Вероника.

На обратной стороне конверта - адрес: M-m Ducourant, Boulevard de la Madeleine, 37, 06202 Nice, France.

20 апреля 96, Ницца

Родная Маринка! От тебя ни строчки с нового года. Получила ли ты мою новогоднюю открытку? Здорова ли ты? Кирилл только раз позвонил из Парижа. Пишет редко. Он и впрямь окаменел после смерти жены. У меня все по-прежнему. Таня, как и ты, не балует меня частыми письмами. Но за нее я спокойна. Пишет, что университетом и жизнью

² Вали отсюда, заткнись (фр.).

довольна и денег хватает. И даже друг объявился, студент-биолог. Зовут Джордж. А вот этого я представить себе не могу. Господи, как летит время! А у меня ничего не меняется. Через день работаю в “Маленьком провансальце”. И еще в соседнем супермаркете. Жизнь глупая и непонятная. Перетираю тарелки, сортирую фрукты и овощи, сплю, ем. Вечерами сижу на скамейке на Английской набережной, смотрю на море, за горизонт. А Корсики так до сих пор и не разглядела. Иногда мне кажется, что я сомнамбула, живу как во сне. По ночам сплю крепко и настоящих снов не вижу. Наверно потому, что за день сильно устаю. О жизни не думаю. Знаешь, я раньше боялась смерти. Помнишь, у Мандельштама: “Неужели я настоящий и действительно смерть придет?” Так и я трепетала. Я и теперь часто думаю о смерти. Но страха нет. Раньше я думала, что страх перед смертью - это от безверия, от нашего совкового атеизма. Теперь считаю, что этот страх - плата счастливых людей за свое счастье.

Да, забыла. Еще я преподаю русский. Это вот как получилось. За углом на бульваре Карлоне хозяин писчебумажного магазина выставил на улицу клетку с попугаем. Попугай черный, а клюв, щеки и лапки - желтые. Очень красивый. Я с ним подружилась. Его зовут Пьер. Выучила его нескольким русским словам. Теперь, завидев меня, Пьер кричит на весь бульвар: “Привет, Вероника. Я тебя люблю...” Представляешь, меня еще кто-то любит. Хозяин лавки Антуан, прознав, что я русская и поверив в мои способности, стал брать у меня уроки русского языка. Его сестра замужем за нашим бизнесменом в Питере, и он каждый год бывает в России. Платит мне шестьдесят франков за урок. Я еще только подхожу к соседней овощной лавке, а Пьер, завидев меня, кричит: “Вероника, любовь моя!” Пьер способнее своего хозяина, хоть и не платит. Но разве за бескорыстную любовь платят? Помнишь, я как-то писала тебе о Куприне, об идеальной любви, которая сильна, как смерть. И сомневалась, что такая любовь есть на свете. А ты мне возражала. Кто же из нас прав? Наверное, каждый по-своему. Я лично только раз встретила бескорыстную любовь. Здесь, на бульваре Карлоне.

Люсьен вот уже несколько месяцев не приезжает и не канючит. Денег не дает. Да я бы и не взяла. Если ты спросишь меня, стало ли мне лучше, я отвечу: да, сейчас мне лучше. Во-первых, свободна. А во-вторых, так устаю, что нет времени думать о моей жизни. Пиши мне побольше о своей. Как там, на твоём берегу? Крепко целую, твоя Вероника.

В последнем конверте из конфетной коробки я нашел высохшую ветку фиалок и открытку с фотографией русской церкви на авеню Николая второго. На обороте было всего несколько строк:

2 августа 96, Ницца

Моя дорогая Маринка! С днем рождения! Получила сразу два твоих письма. Спасибо. Сколько раз ты обещала приехать? Приезжайте! Как-нибудь разместимся, а какая была бы радость...

Целую, Вероника

В сентябре девяносто девятого по дороге из Парижа в Москву я снова приехал в Ниццу. Друзья сняли мне комнату на авеню Калифорния.

До бульвара Мадлен - рукой подать. Я прошел по бульвару мимо ресторанчика “Le Petit Provençal” и на той же стороне нашел дом 37 с баром на углу. Он стоял напротив бензоколонки, за которой дома, обсаженные пальмами, террасами взбирались на высокий холм. Консьержки в доме не было. Я позвонил наугад в квартиру на первом этаже. Дверь открыла пожилая женщина. Я представился и назвал имя Вероники Дюкуран.

- Да, она жила в квартире на третьем этаже. Рано утром выпала из окна на тротуар и разбилась. Ее нашли под платаном у самого подъезда и отвезли в госпиталь Лярске. Больше я ничего не знаю.

- Когда же это случилось?

- Не помню. Это было давно.

В госпитале Лярске мне выдали справку. В ней значилось, что Вероника Дюкуран, урожденная Медведева, проживавшая в Ницце по адресу бульвар Мадлен, 37 и родившаяся 8 сентября 1955 года в Москве, была доставлена в госпиталь Лярске 8 сентября 1996 года и скончалась в тот же день от множественных переломов черепа и позвоночника.

Справку вместе с письмами Вероники я отправил бандеролью в Нетанию по адресу Марины. Фиалки, найденные в конвертах, завернул в фольгу и отослал той же бандеролью.



Зеэв Фридман

"В ночь на седьмое ноября"

Главы из романа

Из книги «Когда зажжётся свет в ночи»

Предисловие

Уготована долгая жизнь...



великому сожалению, Зеэв Фридман, профессиональный музыкант, уже не услышит заслуженных им слов похвалы в свой адрес. Его музыкальный путь преждевременно оборвался, звуки, исторгнутые его сердцем, замолкли.

Но, к счастью, остались его слова, – солидная книга замечательной прозы – роман и рассказы, пышущие неподдельной страстью, поражающие новизной художественных решений, глубоким проникновением в психологию персонажей.

Среди написанного Зеэвом Фридманом, на мой взгляд, выделяется его роман "В ночь на седьмое ноября". Он, несомненно, – вершина творчества автора. Само название романа, посвящённого извечной еврейской теме – судьбе так называемых галутных евреев на перепутьях истории, как нельзя лучше отражает не только суть рассматриваемых проблем, но и суровый, сдержанный оптимизм автора.

Бытует мнение, что слово, если оно принадлежит не гениям, недолговечно. Но с этим можно и нужно поспорить.

Беру на себя смелость утверждать, что слову Зеэва Фридмана уготована долгая жизнь, ибо то, что сказано незаёмными, выстрадаанными, нелживыми словами, может и должно пережить тех, кто его сказал, с чьих уст оно слетело и нашло прибежище на чистом листе.

Григорий Канович, писатель

«И если не погаснет свет...»

Я открыла подаренную мне книгу: Зеэв Фридман «Когда зажжётся свет в ночи». Зеэва уже три года нет с нами. Книгу издавала его мама: Рита Фридман. Из огромного архива сына отбирала материал. Сама готовила компьютерный набор. Сама вычитывала, сама провожала книгу

в путь... И вспоминала... Вспоминала... И перечитывала вновь и вновь...
Когда я слушаю её, мне кажется, всю книгу она знает наизусть...

Я держу эту толстую, прекрасно изданную книгу. Роман.
Рассказы. Из дневников. Публицистика. Письма учеников...

Вступление Григория Кановича самое лучшее напутствие книге,
которая выходит в свет...

«Начните с романа», – сказала мне Рита.

«Начните с романа», – сказал издатель книги Александр Разгон.

Но я открыла дневники. Дневники, написанные талантливым
человеком – литературное произведение, отражающее мир его души,
движение его мыслей, взросление и мужание личности.

Стихотворные строки соседствуют с прозаическими. Сразу
бросилась в глаза строчка, давшая название книге: «Когда зажжётся свет в
ночи». Она из четверостишья, написанного в 1982 году. Как давно
начался этот поиск света, это ощущение давящей души тьмы...

Когда зажжётся свет в ночи,
Ты, что есть силы, закричи,
И если не погаснет свет,
То тьмы и мрака больше нет.

Уже позже, читая биографию Зеэва, его роман, рассказы пойму:
что это вступление к его главной теме. Свет для него олицетворение
духовной свободы.

*«Это было, как озарение, как само счастье – надо, чтобы хоть
в одном окне горел свет! Я знал, что все окна, мимо которых я иду –
темны, и всё же я побежал, бежал с поднятой головой, ища его, светлое
окно».* (Рассказ «Свет в окне» 1982 год).

Его биография объясняет, откуда у него этот образ запертого
пространства, двора, из которого нет выхода, стены. Он напоминает мне
Кафку, и не только потому что неожиданно наталкиваюсь на строки из
дневников, в которых Зеэв говорит об этом, ты приходишь к этой мысли,
знакомясь с его прозой: рассказами и главным образом романом.
Перечитала новеллу Кафки «Прогулка в горы».

*«Не знаю, – воскликнул я беззвучно, – я же не знаю, раз никто не
идёт, так никто не идёт... Я никому не сделал зла, мне никто не сделал
зла, но помочь мне никто не хочет...Никто-никто»*

А вот полные тайны, но вполне реалистичные строки Зеэва
Фридмана:

*«...И когда я шёл по всем этим закоулкам, выскочила откуда-то
большая собака и укусила меня за ногу. Сначала я сильно перепугался, а
потом спросил: "За что?" Она посмотрела на меня и убежала в
подворотню... А забрёл я действительно чёрт знает куда. Был старый
двор, и из него не было выхода. "Грегор Замза, бедный Грегор Замза! –
думал я, подходя всё ближе к стене. «За что? Почему? Зачем??!!". И тут
я увидел его. Он стоял, прислонившись в стене. "Кафка!" – крикнул я и
метнулся туда. И тень тоже метнулась туда. Да, это была моя тень».*

1982 год. Как далеко ещё до романа. Но эти мысли уже готовят его.

Безвыходность. Образ ночи. Одиночество. Внутренняя борьба. Постоянный поиск себя.

«Ну и что же, что бессонница? Просто не надо думать о сне так же, как во время болезни о немощи.<...>

Ночью есть звёзды, можно ощущать Вселенную и чувствовать вечность. Блажен гений, преодолевший земное притяжение и сбросивший с себя смешную суету! Его блаженство – невесомость, его счастье – Земля.

Не от гармонии мира – твоя гармония, а от твоей гармонии – гармония мира...».

Эти мотивы с особой яркостью проявятся в его романе, но пока я читаю его дневники. И чувствую удивительно гармоничную личность, красоту языка. Именно дневники помогают мне сделать ещё одно неожиданное сравнение: он напоминает мне моего любимого писателя Сент-Экзюпери. Его мысли об идеале, поиск гармонии, света духовности.

«Жил-был человек, который искал корни. Всё ему было не так, пока он не докапывался до сути...» Или *«Страдать страданиями других, болеть болью другого, чувствовать горе каждого, как своё собственное – вот оно. Другого быть не должно. Хотя это ужасно, гораздо ужасней, чем страдать самому: сердце может разорваться от воплей, слёз, стонов, доносящихся отовсюду. Оно не разорвётся, а станет большим и сильным!»*

Читаю дневники. И понимаю, что это только начало. К этой книге я буду возвращаться много раз. Роман я прочла, не отрываясь. Иначе его читать нельзя. И я поняла: дневники, рассказы, публицистика – его путь к роману. Он вобрал в себя всё. И стал полноводнее, подобно реке, несущей множество своих потоков. Но возвращаться я буду к его раздумьям о жизни, о себе самом, как возвращаются к музыке близкого твоей душе композитора, как возвращаются к полюбившейся картине, ибо в его душе жил высокий духовный свет.

Лея Алон (Гринберг)

Мир Зеэва Фридмана

Всё начиналось так... 1979 год. Зеэву (Володе) девятнадцать лет, он окончил музыкальное училище по классу кларнета, завоевав первое место среди учащихся отделений духовых и ударных инструментов музучилищ Ростовской области и Северного Кавказа, и поступил в Ростовскую консерваторию имени С. Рахманинова.

Очень рано в нем проснулась тяга ко всему еврейскому. Ещё в училище он прочитал всю Библию, а затем в доме родственников читает «Историю евреев» Греца и "Еврейскую энциклопедию". Приобретает Тору, самоучитель иврита, учит иврит, посещает синагогу – и мечтает уехать в Израиль.

Его способность к самообразованию настолько велика, что поражает – сколько уже к этому времени было им прочитано и

осмыслено! Он посещает лучшие музеи и выставочные залы Москвы и Ленинграда, покупает много книг, пластинки с классической музыкой и любимыми ансамблями, альбомы с репродукциями картин знаменитых художников, бегаёт на фильмы Тарковского и Бергмана, едет в Москву на очередной конкурс имени Чайковского.

Восхождение Володи к высотам человеческого духа началось рано и длилось всю жизнь.

В консерватории он один из лучших студентов, среди кларнетистов – лучший.

Он и флейтист Женя Фельдман будут представлять духовое отделение консерватории на Всесоюзном конкурсе исполнителей, который состоится в Москве. Всё у него складывается успешно и интересно. Володя окружён замечательными друзьями. Он много выступает. Его любят друзья и преподаватели. Он – наша гордость и надежда.

В 20 лет (призывной возраст!) он получает повестку из военкомата, в которой сообщалось, куда и когда ему надо явиться. На это время у него намечена репетиция со студенческим оркестром, но он предупреждает, что вызван в военкомат и считает, что это ненадолго. Как только Володя подошёл к военкомату, к нему направились двое в штатском, затолкали его на заднее сидение чёрной «Волги», зажав с двух сторон, и доставили в филиал Комитета государственной безопасности. Допрос длился 6 часов. Мы долго не знали, где наш сын.

Позже, в своём романе, описывая события тех дней и предваряя главу о КГБ, Зеэв запишет: "Вспомни своё состояние тогда – никакой свободы! Всё иллюзия, ты – под колпаком..."

Ему не дадут поехать в Москву на Всесоюзный конкурс и заменят его другим исполнителем. Через год в консерватории устроит разгромное собрание "в честь" Фридмана, а по окончании собрания комсюки и заведующий кафедрой марксизма-ленинизма в коридоре и сортире будут извиняться перед ним: "Ну, так надо было..." Интересно, что во время собрания один из студентов спросил устроителей: "Почему мне можно ходить в церковь, а Фридману в синагогу – нельзя?" Это был Вася Баранов, который станет близким другом Володи. Сам Володя не выступал на собрании и друзьям своим запретил выступать. Консерваторию ему дали закончить, хотя это стоило больших трудов нам, родителям.

Ещё студентом Володя работал в Театре музыкальной комедии, а по окончании консерватории – в симфоническом оркестре Ростовской областной филармонии, преподавателем в музыкальном училище и иллюстратором в консерватории.

В 1990 году Володя вместе с родителями приехал в Израиль. Играл аудицию в симфонический оркестр Ришон ле-Циона и в оркестр «Симфониетта» (Беэр-Шева). Аудиции он играл на пластиковом кларнете, который ему раздобыл в Израиле друг, – из Союза ему не разрешили вывезти собственный инструмент, так как он был английского производства. Зеэву предложили подписать контракт и в Ришон ле-Ционе, и в Беэр-Шеве. Он выбрал Беэр-Шеву по двум причинам: «Симфониетту»

тогда возглавлял Менди Родан, замечательный дирижёр, да и здоровье матери, которой был противопоказан влажный климат, послужило для Володи немаловажным фактором в принятии решения.

Зевэ был замечательным музыкантом и педагогом. Он играл в «Симфонiette» и преподавал кларнет в консерваториях Беэр-Шевы и Иерухама. Играл не только классическую музыку: он любил, умел играть и пропагандировал клейзмерскую музыку. Участвовал в фестивале клейзмеров в Цфате.

Ученики очень любили Зевэа: для них он был не только преподавателем музыки, но и настоящим наставником, они нуждались в общении с ним и с радостью шли на урок. Они постоянно ему что-то дарили: цветы, книги, сами рисовали картины и всегда писали слова благодарности. Когда любимого преподавателя не стало, дети и родители подарили нам книгу, в которую вошли письма, написанные ими Зевэу. Для всех его уход был тяжёлым, а для детей это был настоящий шок. На вечере памяти ученики играли в его честь.

Зевэ был красивым человеком, личностью – сильной, яркой, незаурядной, служившей нравственным камертоном для окружающих. Его отличали благородство, достоинство и необыкновенная скромность. Он был очень добрым, глубоко порядочным, благодарным, отзывчивым и бесконечно милосердным. Был свободолюбив, независим, не терпел никакого принуждения. Никогда ни у кого ничего не просил и никому не завидовал. Оставался настоящим мужчиной: не любил жаловаться, умел терпеть неудобства и тяготы жизни, оставаясь оптимистом. Никогда не изменял своим принципам, был всегда открыт порядочным людям и повёрнут спиной к негодяям. Он не был человеком толпы – всегда имел своё мнение, своё видение мира, событий, людей. Тяжёлая болезнь не изменила его – он оставался доброжелательным, улыбочивым. Зевэ болел долго, но до конца работал в оркестре и с учениками.

У него было потрясающее чувство юмора, он даже в печали находил повод для смеха. Зевэ был прекрасным другом, заботливым сыном. Нас по-прежнему окружает его удивительный мир: ученики и их родители, его друзья, множество книг на русском и иврите, ноты, пульт с нотами, кларнет, пластинки, кассеты, диски с классической, клейзмерской и джазовой музыкой, дневники с записями и пометками, тетради с расписанными для каждого ученика уроками. С нами его улыбка, умение выслушать и помочь, совместные субботы и еврейские праздники, когда всё было интересно, познавательно: он читал нам Тору, много рассказывал, объяснял комментарии, пел, шутил – с ним за столом всегда было светло, весело, празднично.

Он был замечательным собеседником, знал решительно всё и обо всём. Находясь в его обществе было удовольствием. Человек глубоких знаний, он мог без труда убедить оппонента в своей правоте. Запись в дневнике: «Я понимаю главное, обладаю даром сказать и убедить, сказать и заставить поверить в то, во что надлежит поверить, что истинно, что открыто для меня». Он мечтал о своём сайте, чтобы рассказывать миру правду об Израиле и вступать в полемику с любым желающим.

Блестящая память, исключительная эрудиция, яркое неординарное мышление создали его неповторимый феномен.

Вот несколько выдержек из воспоминаний его друзей и коллег:

«В нашей жизни бывает много встреч, среди них случаются встречи особые, встречи-подарки. Таким подарком для меня стало знакомство и возможность музицировать с замечательным музыкантом и чудесным человеком – Володей-Зеэвом Фридманом. Он был из тех людей, которые одним своим существованием наполняют душу уверенностью в том, что жизнь прекрасна и удивительна, она всегда была такой и останется такой всегда... Чтобы ни играл Володя – будь то классический концерт, хасидская мелодия или джазовая баллада – это всегда было талантливо и всегда проникало в душу. Это была игра мастера, согретая светом его души. Спасибо тебе, Володя, за твой талант, за редкостную порядочность, внимание к людям, за музыку, которую ты нам подарил...»

Сара-Анна Барабаиш

"...Он был человеком, которого любили и уважали все, кто его знал... Мы часто смеялись с ним на репетициях. Было много вещей в оркестре, которые вызывали смех. У него было удивительное чувство юмора – он всё схватывал тотчас, на лету. Иногда мы в чём-то не были согласны, но это было неважно. Мы наслаждались обществом друг друга. Я навещал его в больнице, он был открыт и улыбочив, как всегда. Я могу только поблагодарить свою счастливую звезду за то, что я имел друга, настоящего друга Зеэва, который стал частью моей жизни».

Джеффри Ковальский

"Когда ты был с нами..., мы знали, что ты мог в кратчайший срок "спасти" концерт, блестяще сыграв сложнейшую партию первого кларнета в третьей симфонии Бетховена, или концерт Вебера для кларнета с оркестром, или сыграть хватающую за душу клейзмерскую мелодию под бурные аплодисменты публики и музыкантов, или бесподобным голосом бас-кларнета перекрыть весь оркестр, или часами острить и заразительно хохотать в бесконечных автобусных гастрольных поездках, или отвечать на вопросы по иудаизму, обнаруживая блестящие и глубокие знания вообще и предмета в частности, или... за 19 лет накопилось много "или", которые все здесь не уместятся... Но мы не знали, как тяжело тебе было, когда ты заболел, продолжая работать до последнего! Я верю, что память о тебе будет жить в каждом, кто как-то соприкасался с тобой».

Анна Гитерман

Зеэв был глубоко религиозным человеком и сионистом. Он был человеком неравнодушным. Его волновала судьба страны, он участвовал во всех демонстрациях против правительства, которое заключило соглашение Осло. В тот период он пишет ряд статей и публикует их в русскоязычной прессе Израиля. Глубоко переживал выселение евреев из Гуш-Катифа, где бывал неоднократно до этого. Он очень любил Израиль, много ездил по стране, знакомился и разговаривал с людьми. С ним были приветливы дирижёры и солисты, таксисты и продавцы, банковские служащие и уборщики – его тепло находило отклик у всех. Он даже здоровался со всеми как-то по-особому – приветливо и с уважением.

"...Невозможно представить себе жизнь именно без этого, конкретного человека, когда он был с тобой рядом, открыл тебе свой неповторимый МИР, делился с тобой своим Теплом!!!"

Роман Котт

"...Зеев был баснословно щедр. Он был преданным, почтительным, прекрасно воспитанным, любящим. Он повлиял на меня в самую лучшую сторону, показав мне насколько добрым может быть человек».

Джуди Шаферман

"...Я воспринимаю как божественное благословение то, что я знал его, учился с ним, играл с ним и проводил с ним субботы. Чем бы он ни занимался, он во всё вкладывал душу: в изучение Торы, музыку, высказывания на ту или другую тему. То, что он не понимал и не принимал, было для него вызовом, заставлявшим его докапываться до самой сути. Этот поиск – ухватить правду – превращал мои занятия с ним в очень интересный и живой процесс... Зеев был замечательным музыкантом, преданным другом и любящим сыном".

Ашер Блехман

"Зеев был смелым и праведным человеком. Он был всегда дающим, его альтруизм был беспределен. Он всегда волновался о других больше, чем о себе, и не хотел, чтобы другие волновались о нём. Подлинная доброта и теплота, составляющие основу его личности, трогали меня и всех, кому посчастливилось его знать. Зеев был смелым и принципиальным человеком, и меня всегда это восхищало в нём. Он выстоял допрос в КГБ и был сильным, как сталь.

...Для Зеева жизнь в Израиле даже в самые опасные времена никогда не казалась каким-то риском, а наоборот – была для него, живущего в Эрец Исраэль, благословением и привилегией. Жизнь в Израиле было мечтой его жизни, ставшей реальностью, которой он дорожил и которую лелеял. Любовь к Израилю вдохновляла его изучать иудаизм и иврит ещё в России.

...Как музыкант я глубоко уважал Зеева и восхищался его фантастической игрой, музыкальностью и профессионализмом. И всегда – его потрясающим чувством юмора. Воспоминания о нём благословенны для меня и для всех, кто знал его. Эти удивительные воспоминания о Зееве, хранимые мною, будут залогом его постоянного присутствия здесь".

Ален Гринфельд

"Зеев (Володя) Фридман – кларнетист, замечательный музыкант, педагог и человек. Володю уважали все и считались с его добрыми и эрудированными советами. В лице Володи мы все потеряли Большого и умного друга, замечательного человека и патриота еврейского народа".

Давид Ханани

"Мой друг Зеев!

Не могу думать о тебе в прошедшем времени. Для меня ты продолжаешь жить в тех местах, в которых я привык тебя видеть. Только маленькое движение вправо и немножко назад, и я тебя вижу – в оркестре и в автобусе, когда мы едем за город.

Как я тебя вижу?

Я вижу твою полурадостную, полугрустную улыбку. Она как бы отражает твою сущность: с одной стороны, много тепла и наивности, с другой – глубина мысли и философское понимание заставляет нас взглянуть на иную, тяжёлую сторону жизни.

Твоя улыбка сопровождает меня, когда мы играем программу. Я поворачиваюсь к тебе (направо и немного назад), и улыбка уже обо всём говорит. Это как бы критика «перлов» некоторых композиторов. Но это только между нами.

Ты с нами всё время, Зеэв. Я продолжаю разговаривать с тобой, питаюсь твоим юмором, твоей жизненной мудростью и обмениваюсь с тобой взглядами.

Ты – часть оркестра, часть семьи, часть меня".

Юэль Лифшиц

Дирижёры, работавшие с Зеэвом, вспоминают:

"Он был одарённым музыкантом высокого уровня, игра которого влияла на звучание оркестра и его уровень в целом. Его стремление к идеалу и знание материала во всех областях и стилях, его желание и возможность поделиться сокровищами своего внутреннего мира со всеми помогало делать музыку искренней и чистой и снискало ему многочисленных поклонников.

Его скромность, правота, исключительные и феноменальные знания, преданность и бескорыстная помощь в каком бы то ни было деле оставили глубокий след в наших сердцах.

Его отсутствие чувствуется в музыке и в повседневной жизни. Он останется в нашей памяти как сверхвыдающийся человек и как большой артист".

Дорон Соломон

"Дорогой Зеэв! Я хочу поблагодарить тебя лично за твой вклад – удивительное и трогательное исполнение «Песен Земли» Малера".

Ярон Трауб

"С содрогающимся сердцем я прошу почтить память Зеэва Фридмана, моего друга (добрая память о нём!), который оставил нас преждевременно, осиротевших без его игры. 10 мер совершенства оставили этот мир вместе с ним, ведь Зеэв в гематрии равен числу 10.

Зеэв оставил во мне неизгладимое впечатление своей игрой, исходящей из сердца и всегда достигавшей сердец. Кларнет стал его говорящей душой при жизни. Эта душа говорила, спрашивала, слушала и сверх всего – радовала. Мудрецы учили цене музыки и пения, которые имеют в себе высшие силы, доходящие до Всевышнего. Музыка Зеэва была сама по себе светом и любовью и объединяла нас всех, его коллег по профессии. Только малым утешением послужит нам возможность сродниться с богатым наследием, которое оставил Зеэв, – с широтой и благородством его личности».

Эли Яффе

"Его любовь к музыке была выше всего и не зависела ни от чего.

Зеэв Фридман был музыкантом по своей сути, очень чувствительным и скромным. Он посвятил свою жизнь духовному как

человек и как артист. Как человек он искренне верил в Создателя мира и Израиль, исполнял заповеди, с безграничной любовью заботился о родителях, вёл себя просто и скромно, что исходило из глубины его души.

Как артист он посвятил себя музыке и кларнету, всегда играл с отдачей, словно молился, придавая значение каждой мелочи. У Зеэва был тёплый звук, трепетная игра, шедшая из сердца. Он был неотъемлемой частью оркестра, общей палитры, глубокий, характерный для него звук, влиял на звучание оркестра.

Когда я узнал, что случилось с Зеэвом, то счёл нужным учредить приз его памяти на конкурсе музыкальных произведений, которым открывался 12-й фестиваль «Звуки пустыни». В Хануку 2009 года, в считанные дни после того, как мы проводили Зеэва в последний путь, была вручена награда его имени, которую оркестр присудил молодому композитору Даниэлю Зондинеру.

Образ Зеэва, сидящего во втором ряду духовиков и играющего интересно и с вдохновением, навсегда останется в моей памяти. Есть в этой памяти глубокая преемственность для нас, относящаяся к значению музыки для настоящего музыканта, каким был Зеэв, потому что Зеэв был связан с музыкой. Он играл из глубины своей души. Он был посланником своего искусства в этом мире, ничего не требуя взамен.

Его любовь к музыке была не зависящей ни от чего".

Михаэль Вольпе, композитор

На вечере памяти Зеэва, в первую годовщину, оркестр «Симфонietta» исполнил произведение Даниэля Зондинера. Автор находился в зале.

С юных лет Зеэв писал и рисовал. Писал стихи, рассказы и всегда вёл дневники. Мы хотим познакомить вас с этой гранью его личности, его таланта – писательством.

Свой литературный дар он считал подарком небес, своим предназначением на земле. Из дневника: "Мне надо писать, мне необходимо писать. Иначе я умру. То, что я собираюсь делать, писать, творить, должно быть очень хорошо. Это – моя жизнь".

В 2009 году он закончил роман о нашей жизни в России, о своём тернистом пути к еврейству, к Богу. Для Зеэва создание романа было необходимостью, *долгом, миссией*. Работая над ним, он запишет: «Мне надо разделаться с прошлым. А потом – вперёд по Израилю» - так важно было для него в первую очередь рассказать людям о пережитом *там*.

Любил ночь, большей частью писал ночами. Блестяще знал иврит. Хотел стать корреспондентом ивритоязычной газеты «Макор ришон», чтобы писать статьи на иврите.

Книга, которую вы читаете, написана им, издана нами и посвящается его светлой памяти. В этой книге – роман, рассказы, стихи, его размышления о жизни, о Боге, о любви и предательстве, о его большой любви к людям.. Некоторые рассказы написаны в 2008-2009 гг., остальное мы собирали буквально по листочкам, часто пожелтевшим от времени. К примеру, изложенный в разделе «Израиль» обзор исторических документов о положении евреев в Древнем мире и в Средние века, был написан им в 17 лет.

Читайте Зеева. И вы познакомитесь с уникальной личностью, её талантом, абсолютной честностью, любовью к жизни, несмотря ни на что, иронией, тонким юмором, любовью к Богу и к Земле Израиля. Вы не останетесь равнодушными, как все те, кто уже прочитал эту книгу. У него как у Кафки – *всё сочинено, но ничто не выдуманно*. Его роман и рассказы – «документы» его биографии.

Мы надеемся, что знакомство с его произведениями – законченными и незаконченными, но всегда искренними и тёплыми, блистательно написанными, – сделает нас чуть-чуть лучше, чем мы были до встречи с ним.

Недавно один из знакомых сказал о нём: « Он был подарком для Израиля». И это правда.

Читайте Зеева...

Рита Фридман, мама.

Зеев Фридман

В ночь на седьмое ноября

Главы из романа

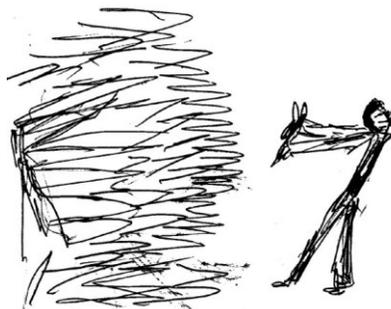


Рисунок Зеева Фридмана

Господи, Тебя исторгли из наших души, надсмеялись над прекрасным раем и ужасным адом, а взамен предложили иллюзию более смешную и жалкую, чем вечное блаженство.

Глава 1 Сообщение

Когда мне сообщили, что *Элина* вышла замуж, я расстроился. Вообще-то мне следовало быть готовым к этому: мы расстались три года назад, я даже удивлялся – как она, с её красотой, умом и прочими достоинствами, до сих пор не замужем!

Однако сегодня, когда мне ясно и недвусмысленно сообщили, что *Элина* там, в своём полупровинциальном городе, куда она вернулась после окончания института, вышла замуж за конкретного человека, инженера по профессии, работающего на заводе, я расстроился.

Расстроился, конечно, не то слово. Я похолодел, я обмер, я окаменел, я почти умер. Попытавшись изобразить равнодушие перед лицом сообщającego, вернее, *сообщающей* – девушки некрасивой и отвергаемой, пристально следящей за моей реакцией на сообщение с тайным злорадством, – я ушёл раньше времени из института, в котором продлевал своё студенчество учёбой в аспирантуре, и бесцельно плёлся по грязным ноябрьским улицам. Мне было очень, очень плохо.

Невыносимо было осознавать, что это – всё, что теперь нет никаких шансов на исправление, сближение, примирение, возвращение. И хотя каждый из нас давно уже жил своей жизнью, вспоминая друг о друге всё реже и реже, оставался шанс, пока мы оба свободны, попытаться всё исправить, вернуть когда-нибудь. А теперь – нет. А впрочем, если быть откровенным, не было и раньше – ведь все мои попытки разбивались о стену, но всё же я надеялся, мечтал, верил. А теперь – всё: эта дверь плотно захлопнулась, зато настезь открыта другая – гастронома «Три поросёнка», где, как всегда, вечером полно народу, грязнящего своими ботинками светлый кафельный пол, по которому со шваброй, чертыхаясь, носилась уборщица, тщетно подтирая то тут, то там.

На удивление, в очереди в винно-водочный отдел стояло лишь несколько человек, и очень скоро я стал обладателем бутылки «Агдам». На закуску я купил батон, банку бычков в томате и полкило соевых батончиков – подсластить горечь.

Выходя из магазина, я чуть не столкнулся с Колей – собутыльником, любителем пофилософствовать в пьяном виде. Коля шёл, задрал плечи, подняв воротник чёрной кожаной куртки, в обтягивающих тощие ноги вельветовых джинсах, надвинув на лоб чёрную кожаную фуражку, в извечных очках в золотистой тонкой оправе на бледном носу.

Наверно, его бы порадовали сейчас тёплая комната, глоток вина, дружеская трепотня «за жизнь». Он поравнялся со мной, но меня не увидел, так как сосредоточенно о чём-то думал, вперив глаза в землю. Я попятился назад и снова очутился в магазине. И остался незамеченным.

Будь здоров, Коля, счастливого пути! Никого не хочу видеть, ни с кем не хочу вести разговоры. Сегодня я должен быть один, сегодня я справляю тризну по любимой.

Глава 2

Квартира

Живу я совсем недалеко. Надо только миновать Дворец культуры текстильщиков, где мы с *Элиной* как-то смотрели кино – это был итальянский фильм, человечный и трогательный, как все итальянские фильмы; далее по ходу – рыбный магазин, диковинное заведение с красивыми старинными люстрами под высоким потолком, мраморным фонтаном и огромным аквариумом с золотыми рыбками – сюда мы с ней заскакивали перекусить бутербродами с сайрой или шпротами, запиваемыми ячменным напитком из гранёного стакана.

После игрушечного магазина «Буратино» – перейти дорогу, свернуть и идти дальше по правой стороне улицы (это уже моя улица); по левой стороне – обком партии, величественное старинное здание, похожее на Зимний дворец, только поменьше; идём дальше по правой стороне и после библиотеки им. Ленинских внучат ныряем в мой подъезд, старый подъезд, когда-то бывший *нашим* подъездом. Мы вступали в его прохладный полумрак и поднимались, обнимаясь и целуясь, по длинным лестничным пролётам с мелкими ступеньками на последний четвёртый этаж. Здесь всегда пахло мочой, шмыгали кошки, тусклые голые лампочки едва рассеивали мрак, зато было приятно-прохладно в жаркие летние дни.

А сейчас я поднимался один по этим бесконечным грязным ступенькам к себе в берлогу, где меня никто не ждёт.

Открыв массивную парадную дверь нашей коммуналки и очутившись в коридоре, я чуть не столкнулся с Генчиком, гоняющим на трехколёсном велосипеде по просторам общественного коридора. Генчик представлял четвёртое поколение семьи Беловых, расселившейся по трём комнатам. Он рос бойким разбитым мальчиком, прирождённым жуликом, всегда готовым что-нибудь стащить. В целях воспитания его лупили папа и мама, дедушка и бабушка, а также прабабушка; поговаривали даже, что ему колот язык иголками, чтобы отучить от бесконечного вранья. Он за версту здоровался со всеми соседями, но во взгляде его чёрных глазок-буравчиков было что-то нехорошее, не по-детски злобное, враждебное.

– Здравствуйте, – бойко выкрикнул Генчик звонким голоском, успев во время затормозить.

– Здравствуй, Генчик, – глухо ответил я.

Мне было не до него, я хотел пройти к своей двери, первой по коридору, но Генчик не двигался с места, перегородив дорогу, и сверлил меня своими чёрными глазками. Я полез в кулёк и вытащил ему несколько конфет.

– Спасибо! – крикнул вымогатель Генчик и помчался дальше, победно трезвоня велосипедным звончком.

Генчик, Генчик, ты будешь вором, будешь жуликом, будешь аферистом, будешь рецидивистом, будешь... О, Господи, что это со мной, что за гнусные мысли, каюсь, Генчик, каюсь, ты вырастешь нормальным советским человеком, пойдёшь работать на производство, женишься, родишь ребёнка; к тому времени в этой квартире кто-нибудь помрёт, и вы с молодой женой и ребёночком займёте какую-нибудь из этих комнат, где доживают свой век старики и старухи. А может быть, это будет и моя комната, кто знает, ведь все под Богом ходим, да и какой смысл имеет теперь моя жизнь, когда *Элина* вышла замуж.

Моя комната довольно большая – 25 квадратных метров, высокий потолок, большое окно с широким низким подоконником (так удобно сидеть, курить и обозревать город), старая мебель, старинные часы с маятником, книги, салфеточки, рюшечки, мраморные слоники на буфете – всё, как было при бабушке, умершей недавно.

Когда она была жива, я часто гостил здесь у неё, ночевал, – тут я ощущал ббльшую самостоятельность, бабушка, в отличие от родителей, не лезла в мою жизнь, а после её смерти, явившейся для меня тяжким ударом, я окончательно перешёл сюда жить. У меня не было ни сил, ни желания что-либо здесь менять, даже фотографии бабушкиных родственников (наших родственников) я оставил на месте, свой нехитрый гардероб я разместил в шкафу, предварительно очистив его от нафталина и проветрив насколько возможно от его невыносимого запаха; бабушкину одежду раздал с тяжёлым сердцем старухам-соседкам, принёс от родителей кое-какие книги – им нашлось место в книжном шкафу, частью уже заполненном книгами, частью – многочисленными банками с бабушкиным вареньем, очень вкусным, к которому я не прикасался, но и выбросить тоже не мог. Варенье есть, а бабушки нет.

Я пил и предавался воспоминаниям. Я вспоминал *Элину* с того момента, как впервые обратил на неё внимание и выделил среди девочек-младшекурсниц, а потом искал с ней встреч, всё больше раскрывая для себя её красоту – неброскую, но классически совершенную: правильные черты лица, большие сине-серые глаза, вьющиеся пепельные волосы, идеальная фигура, изящная походка. А когда я впервые услышал её голос – этот необыкновенный, ангельский голос, – я понял, что влюбился окончательно, сон стал уходить от меня, я потерял аппетит, похудел и, наконец, решился познакомиться.

Она стояла на институтском балконе одна и я, собравшись с духом, предварительно закурив, заговорил нарочито спокойным, уверенным голосом, пытаюсь унять волнение, а сердце колотилось вовсю.

Не помню, что сказал, наверно, что-то ерундовое, типа «Красивый вид отсюда, правда?» или «Вам не мешает дым?» А может быть, «Вы так прекрасны, не могу удержаться и не сказать вам этого». Но это последнее вряд ли, не хватило бы у меня духу, да уж точно т а к о го я тогда не сказал. Как бы то ни было, у нас завязалась беседа, она говорила просто, доброжелательно, без выпендронов и глупого высокомерия, часто напускаемого на себя нашими красавицами неизвестно для чего.

Я расслабился, я ликовал, я думал: «О Боже! Наконец-то мы говорим и *хорошо* говорим». Я пригласил её на свидание, и она согласилась!

Мы договорились встретиться на следующий день после окончания занятий.

О, как я был горд, идя рядом с ней на глазах у всех. Я проводил её до общежития – долгий путь, но так быстро прошло время: я болтал без умолку, не веря своему счастью, она одаривала меня улыбками и чарующим мелодичным смехом.

На крыльях радости парил я в то время, считая дни, часы, минуты до следующего свидания; каждое из них было таким значительным: кино, прогулка по парку, кафе с мягким мороженым и бесконечные разговоры, узнавание, восхищение, восторг, ликование и гордость завоевания такой красавицы, такой умницы, первый поцелуй на лавочке в вечерней роще, незабываемый, головокружительный поцелуй,

когда с её очаровательного ушка упала серёжка, и я ползал по земле, чиркая спичками, и нашёл-таки!

Потом она уехала со своим курсом в колхоз, и я понял, что не могу без неё ни дня. Долгие часы, трясясь в автобусе по сельскому бездорожью, я молился, чтобы ничего не случилось: чтобы она была на месте, чтобы её никто не увёл, не дай Бог, не дай Бог.

Я выхожу из автобуса, я бегу к их лагерю: все на работе, в поле, узнаю куда идти, иду, бегу, вот она, среди других девчонок, они уже возвращаются, вот она, моя любимая, в белой косыночке, такая ладненькая, успевшая загореть за эти несколько дней, идёт и поёт какую-то дурашливую песенку и смеётся, они все смеются. О Боже, да она меня совсем забыла, что будет? Она меня не замечает! Я иду за ними, догоняю, беру её за руку, ох, сердце выскакивает! Её прекрасные серо-голубые глаза распахиваются в изумлении, она хохочет, краснеет от смущения – какую чушь сейчас пела!

В колхозе я пробыл несколько дней, для меня нашлась койка в лагере; днём я бил баклуши, имея на это полное право пятикурсника, отбарабанившего свои колхозы и приехавшего сюда *сузубо по личному делу* (пятикурсники были освобождены от полевых работ ввиду серьёзности грядущих госэкзаменов), шлялся по лагерю, точил ляды с заболевшими, не вышедшими на работу, уходил в пролесок, валялся на траве, глядел в небо и мечтал, мечтал о нас. Я убивал время до её возвращения с поля, потом мы вместе шли в столовую обедать, она отдыхала, а вечером... вечером мы гуляли, мы целовались, мы лежали в стогу сена и смотрели на звёзды, мы болтали обо всём на свете, мы крепко обнимались, чтобы не потерять друг друга в этом огромном мире под чёрным небом, усыпанном звёздами, мы были счастливы, теперь я понимаю, что это-то и было счастье – полное, истинное, абсолютное счастье, о котором мечтают все, а сейчас...

А сейчас остаётся только пить, чтобы не рехнуться от горечи, одиночества и безнадеги. И вспоминать, вспоминать, мазохистски наслаждаясь.

Я дал волю чувствам, я рыдал пьяными слезами, и они тепло лились по щекам, по борде, облегчая душу.

В дверь тихо постучали. Кого чёрт несёт? Никого не хочу ни видеть, ни слышать!

Только лишь *Элину*, её одну во всём мире, но, увы, она далеко, она не со мной, она...

Постучали снова, погромче, и в дверь просунулось церковное лицо Евдокии Антиповны, ещё не старой прабабушки Генчика, праматери разбросанного по нескольким комнатам клана из трёх поколений: косынка, очки, суровый безгубый рот. Волевая и категоричная, Е.А. пользовалась непререкаемым авторитетом в своей семье, да и во всей квартире.

Сурово сверкнув очками, Е.А. процедила:

– К телефону! – и скрылась.

На часах – 11. Наверно, родители. Ох, как неохота, неохота ни с кем разговаривать, особенно с ними – контролировать голос, чтобы не

был пьяным. Неохота выходить из своих грёз, воспоминаний, из комнаты и теперь тащиться по длинному коридору мимо соседских корыт, мешков с картошкой, детских велосипедов, санок, баллонов с соленьями до тумбочки с общим телефоном. Я взял ожидающую меня трубку:

– Алло!

Молчание.

– Алло, алло!

Нет ответа. Но есть дыхание. Есть дыхание, о Господи, да это же её дыхание, ну, конечно же, это она, почувствовала, родная, шестым чувством, что я испытываю, и позвонила, милосердная, – а вдруг... а вдруг всё это ложь, и она вовсе и не вышла замуж....

– Алло, алло, Элина, это ты?! – закричал я в трубку. – Алло!

Гудки. Всё. Конечно, это была она! Значит, не всё потеряно, значит, ещё можно исправить, склеить, починить.

Ну, не дурак ты! Вечно придумываешь, выдаёшь желаемое за действительное, ну почему, почему это она?! Это тебе так хочется, но ты же знаешь, что это невозможно, что уже несколько лет между вами нет ничего, что она действительно вышла замуж, взаправду, что это мог быть кто угодно в мире, только не она... а кто? Кто тогда? Кто звонит мне, дышит в трубку и молчит?! Тревожит, пугает.

Кто, кто?

Я положил трубку и смотрел в окно, подоконник которого был уставлен баллонами с соленьями, в четырёхугольный двор-колодец: в доме напротив горели два окна, деревья тянули голые высокие ветви к чёрному небу, а внизу под одиноким фонарём сидели на лавочке три фигуры.

И кому охота на холоде прозябать в такой час, бр-р-р, не так уж мне и плохо здесь, внутри, в тепле. И хотя после смерти бабушки мне бывает одиноко в своей комнатухе, но ведь вокруг люди: вот щёлкнул выключатель, погас свет на кухне, и Е.А. после долгого трудового дня, наварив в огромной кастрюле еды для всего своего рода, возвращается к себе в комнату бодрой нестарческой походкой, степенно цедя «Спокойной ночи!», проходя за моей спиной, я оборачиваюсь и вежливо отвечаю, ну, пора и мне отправляться спать.

Спать, спать, вдруг так захотелось спать, зеваю, упасть на кровать, прямо в одежде, забыться, уснуть...

Затихли шаги Евдокии Антиповны, тихо закрылась дверь за ней, но тут же отворилась другая, послышались тяжёлые шаркающие шаги, и из-за угла г-образного коридора появился похожий на медведя-шатуна дядя Юра, зять Е.А., дед будущего уголовника Генчика. Поравнявшись со мной, он сказал:

– Чего не спишь? Пойдём, покурим.

Отказаться было неудобно, и я послушно поплёлся за ним на кухню. Мы уселись на табуретки, дядя Юра протянул мне сигарету, чиркнул спичками, и мы задымили.

В молодости дядя Юра был вором-карманником, но потом женился, остепенился, завязал, и сейчас зарабатывал на хлеб, работа

шофёром маршрутного такси. О прошлом напоминали лишь татуировки на теле.

Я вырос на его глазах. Здесь, в этой квартире, я жил с родителями, бабушкой и бабушкой до шести лет, потом родители и я переехали в двухкомнатную хрущёвку – настоящий дворец: без соседей, с собственным совмещённым санузлом, с собственной кухней, где вся плита (все четыре конфорки) принадлежала только нам, вся квартира была нашей. Здесь остались бабушка с бабушкой, бабушка умер спустя несколько лет после нашего переезда, а бабушка недавно, неизвестно каким образом умудрившись скопить для меня со своей 60-рублёвой пенсии более тысячи рублей и всеми правдами и неправдами прописать к ней, чтобы было у меня своё жильё, куда бы я привёл молодую жену, о которой она так мечтала. А теперь там, в другом городе, кто-то незнакомый и чужой тешится с молодой женой, а я здесь пью один в своей берлоге, и нет у меня ни жены, ни бабушки.

– Ты что наклюкался? – спросил дядя Юра, пуская в сторону струю дыма. – Я тебя таким не видел. Ты же вроде не пьёшь?

– Да пью я, пью... иногда, – ответил я заплетаящимся языком, – просто сегодня переборщил.

– Случилось что?

– Случилось... Девушка моя замуж вышла. Не за меня! – сказал я и засмеялся чужим хриплым смехом.

Окутанный клубами дыма, дядя Юра молча смотрел на меня ласково, по-отечески. Помолчав, сказал:

– Не горюй. Теперь-то уж поздно горевать. Так чего зря убиваться?

Его глуховатый прокуренный голос, искреннее, доброе отношение благотворно подействовали на меня, я подумал, что хорошо, что можно вот так с кем-то посидеть, покурить, поговорить, помолчать. Да здравствует коммуналка!

– Ты ведь молодой, – продолжал дядя Юра, глубоко затягиваясь. – Сколько тебе? Ты ещё свою любовь найдёшь. Столько их ещё у тебя будет!

– Не хочу других, хочу её! – крикнул я.

– Тише, тише. А чем раньше думал? Почему не удержал? А теперь мужиком будь, не раскисай! Что ты, как ребёнок: «Хочу, хочу!»

– А хочешь, – подумав, сказал он, – так иди к ней и отбей у мужа. Пойдешь, отобьёшь?

Я отрицательно мотнул головой.

– То-то. Угомонись и будь мужиком. Послушай лучше, расскажу тебе, как мы в воскресенье охотились.

Охота была дяди Юриной страстью, ритуалом. С ружьём наперевес, с палаткой, с рюкзаком, в высоких резиновых сапогах уходил он с друзьями на природу с ночёвкой, костром, вокруг которого велись под водку в оловянных кружках с закуской из котелка над огнём неспешные охотничьи разговоры.

Помню, когда мне было лет пять, открылась парадная дверь, и появился дядя Юра в высоких сапогах, брезентовом плаще, с охотничьим

ружьём за спиной и убитой лисой. Я стоял в коридоре у двери нашей комнаты, и безжизненная лиса, влачимая за верёвку по полу, страшно меня напугала. Я разревелся и убежал в комнату, а дядя Юра долго извинялся перед моими за то, что напугал ребёнка.

Дядя Юра рассказывал просто и красиво. В охоте для него главным было не убийство уток, зайцев и лис, а выход на природу, встреча рассвета, свежий, чистый воздух, камышники, пролески, озёра в утренней дымке, разговоры за жизнь у костра.

– В воскресенье хороший день был, погожий, помнишь? Рано, ещё затемно встаёшь, идёшь к озеру, хоронишься в камышах, выжидаешь, а тем временем небо светлеет, розовеет, и вот уже и солнышко восходит, красота такая, а воздух, воздух! Ну, когда со мной пойдёшь, Миша, а? Гниёшь здесь в этом городе, а жизнь-то она там, на природе. Вмиг бы о своих горестях забыл!

– Пойду, пойду как-нибудь, – кивал я в полудрёме, – обязательно пойду.

– А-а, – отмахнулся дядя Юра, – куда ты не пойдёшь, так говоришь, чтобы отделаться. Ладно, пошли спать.

– Дядя Юра, – поднял я на него свои, наверно, сонные, наверно, осовелые глаза, – а как же мы будем общаться, когда нас расселят?

А расселить нас должны были из-за воды. Вернее, из-за её отсутствия. Из-за отсутствия в течение дня холодной воды, когда из крана шла только горячая – и в душе, и в унитазе, и в бачке была горячая вода, и долго сидеть в туалете было сложно, а то, как метко определил кто-то из соседей, «яйца сварятся». А холодная вода появлялась лишь к ночи, часов в 11, когда трудовой люд укладывался спать. Она свободно поднималась по трубам из своих недр и щедро лилась из кранов, до краёв наполняя подставляемые жаждущими жильцами баллоны, банки, вёдра, кастрюли.

И так было в этом старом, дореволюционном доме сколько я себя помню, а старожилы утверждали, что со времён революции, и не помогали бесчисленные жалобы, письма в соседний, через дорогу, обком партии, хотя были комиссии, были проверки, но никто не мог (или не хотел) обнаружить поломку в этих древних коммуникациях, скрытых в толстых добротных стенах, выстроенных на совесть *тогда*.

Так и жили здесь люди издревле, сменялись поколения, а холодная вода была в кране только ночью, и шахта лифта сиротливо чернела с тех незапамятных времён, когда, как рассказывают, в ней был лифт, служивший досоветским жильцам.

Но телефон, один на всех, общий, в коридоре, установили пару лет назад, осчастливив зараз много людей, – значит, есть всё же движение, есть прогресс, улучшение качества жизни трудящихся.

Вот и в последнее время стали поговаривать о том, что дом хотят поставить на капитальный ремонт, а жильцов расселить по изолированным квартирам. Конечно, не в центре, конечно, у чёрта на куличках, но изолированные!

Дядя Юра посмотрел на меня долгим взглядом своих медвежьих глаз, потом отвёл их и, глядя в пол, тихо сказал:

– А не смогу я жить в отдельной квартире. Не жил я так никогда. Не смогу я без людей. Вот сидим мы с тобой, беседуем, курим. А с кем я там буду разговаривать?

– Ну, как с кем... с женой.

– А-а, – махнул рукой дядя Юра. – Ладно, пойдём спать.

Он поднялся с табурета и пошёл, тяжело ступая по скрипучему полу, дядя Юра, медведь-шатун, больной раком лёгких, который свято лгущие милосердные родственники и врачи выдавали ему за хроническую пневмонию; дядя Юра, доживающий свои дни в стенах родной коммуналки в напрасном, увы, страхе изгнания в *изолированную* от людей квартиру.

А я всё сидел, меня разморило, хотелось спать, но лень было подняться и дотащиться до своей комнаты, я чувствовал покой и умиротворение после нашей беседы; здесь я среди своих, здесь я в безопасности, здесь я дома, и я не один.

Ведь я здесь родился, я рос на их глазах, они любят меня, а я – их вместе с их кухонными принадлежностями, мне так знакомыми, всеми этими кастрюлями, тёрками, досками, сковородками, скалками, рушничками, составляющими мне надёжную компанию в этот час, когда их хозяйева спят.

Из приятной полудрёмы меня вывел звонок, мой противный резкий звонок, который всё не доходят руки заменить на другой – приятно чирикающий, мелодичный, от которого не вздрагиваешь каждый раз. Вот и теперь – я на кухне, моя комната в конце коридора и дверь заперта, а я встрепенулся, пробудился, подскочил на табурете, и заколотилось сердце.

О Боже, кто это? На громко тикающих настенных часах над раковиной полпервого ночи. Мне стало страшно.

Я встал и тихо, на цыпочках, стал красться к двери. При всём моём старании половицы иногда поскрипывали, заставляя меня внутренне чертыхаться; приближаясь к двери, я положил обе руки на грудь, чтобы приглушить грохот колотящегося сердца, перед дверью я затаил дыхание и замер.

– Гражданин Фельдман, – раздался за дверью хорошо поставленный голос.

Я не дышал.

– Почему не отвечаете? Мы же знаем, что вы здесь, – продолжал голос.

Он звучал так уверенно, что я вдруг как-то успокоился.

– А кто это «мы»? – выдохнул я.

– «Мы», – это военкомат, – проскандировал голос.

– Военкомат?! – изумился я. – В полпервого ночи?

– Почему вы игнорируете наши повестки? Почему не приходите к нам? – наступал голос.

– Какие повестки? – сказал я возмущённо. – Не получал я никаких повесток.

За дверью помолчали. Потом заговорил другой голос, сильный и грудной.

– Ну, чё, открывать будешь, или так и будем через дверь базарить?

Ага, хорошо, что *ты* заговорил! Значит, военкомат. Повестки значит. Ха-ха, нашли идиота. Так я вам и открыл.

– Гражданин Фельдман, – снова зазвучал поставленный голос. – Гражданин Фельдман, открывайте немедленно!

– Да, разбежался, – ответил я тихо, снова обмирая от страха. – Никакой вы не военкомат! Я сейчас соседей разбужу!

За дверью молчали.

– Я сейчас милицию вызову, – продолжал я атаковать с отчаянностью загнанного зайца.

Молчание.

– Слышите? – выкрикнул я. – А, обоссались! То-то. А ну, валите отсюда, чтобы я вас больше не видел! Слава Богу, я вас вообще не видел, надеюсь никогда не увидеть!

– Зато я тебя вижу! – послышался сиплый голос откуда-то сверху.

Я поднял голову и в стекле над довольно высокой дверью увидел гнусную жирную рожу, которая пялилась на меня маленькими свиными глазами и издевательски ухмылялась.

– Так вот ты какой, жидочек маленький! – заглумилась рожа. – Так вот ты какой, жидочек маленький!

От своего неожиданного экспромта рожа зашлась повизгивающим, похрюкивающим смехом. Рожа тряслась от смеха в стекле, но я отважно вскинул руку с кукишем и выкрикнул:

– Свинья!

Вдруг рожа исчезла, раздался шум, грохот падающего тела, наверно, двух тел, они навернулись оба – и эта рожа, и тот, у кого её обладатель стоял на плечах, и сейчас чертыхались, кроя друг друга трёхэтажным матом, а может, и дрались.

Ну, а мне-то, а что же мне делать? Скрыться в своей комнате и запереться? Поднять соседей? Позвонить в милицию?

– Только попробуй пикнуть! – пригрозил прерывающийся одышкой сиплый голос за дверью.

Стало быть, помирились, голубчики.

– Фельдман, если вы сейчас же не откроете, мы будем ломать дверь!

Ломайте, ломайте, ребятки, посмотрим, как у вас это получится. Почему не выходит никто из соседей, неужели не слышат весь этот шум, наши переговоры, ведущиеся достаточно громко?

Послышалась возня в замке, английский замок начал поворачиваться, и я с ужасом увидел, как спрятался его язычок. Дверь была отперта, и они стали её толкать с той стороны, ещё, и ещё.

– Там у них задвижка, – услышал я поставленный голос, который сейчас звучал тише. – Что будем делать?

Да, слава Богу, задвижка – огромный чугунный крюк, мой дорогой страж.

Ну, вы, голубчики, пока тут решайте, что вам делать, а я-то знаю, что делать мне: валить отсюда, да поскорее спастись от вас, мерзавцы из моих детских кошмаров.

Я ринулся в свою комнату, схватил куртку и, одевая её на ходу, помчался по коридору, топоча по прогибающемуся дощатому полу.

В дальнем углу кухни была дверь, за которой находились ещё две комнаты нашей большой разветвлённой квартиры. В одной жила Елизавета Константиновна – одинокая старушка, божий одуванчик, существо не от мира сего с буклями и васильковыми глазами, никогда ни с кем не то что не ругавшаяся, но не сказавшая никогда и ни о ком дурного слова, несмотря на то, что соседи обижали её, срывая на этом безответном и безобидном создании накопившиеся раздражение и злобу.

В другой комнате жила Сашка, дочь дяди Юры, с армянским мужем Альбертом и их отпрыском Генчиком. Их комната была мала, гораздо меньше моей, они постоянно ругались и издевались над Елизаветой Константиновной, проживающей в такой же маленькой комнате, как у них, но в *одиночку!* Посмей она жить в большой комнате, к примеру, такой как моя, упаси Бог, или как комната родителей Сашки, которая была самой просторной во всей квартире (не было равенства в жилплощади в нашей коммуналке!), посмей она жить в *такой* большой комнате, её, чего доброго, отравили бы!

Там, в лишённом дневного света закутке за кухней, куда выходили двери этих двух комнат, была ещё одна дверь – дверь чёрного хода.

Удивительно, но столько лет живя здесь, я ни разу не открывал эту дверь. Ребёнком я боялся заходить сюда, в этот чужой, мрачный закуток, а тем более открыть ту дверь, ведущую неведомо куда. А повзрослев, я вообще забыл о ней, а может быть, детский страх прочно загнал её в подсознание и крепко запер.

Затворив за собой дверь кухни, я оказался в полной тьме: лампочка, постоянно горевшая в закутке днём, на ночь выключалась. Я пошёл осторожно наощупь, вытянув вперёд руки: стена, дверь, дверная ручка, чуть налёт, нет, заперта; так, иду вдоль левой стены, – значит, это – дверь старушки Е.К., а напротив – Сашка, Альберт и быстро подрастающий Генчик, стало быть, дверь чёрного хода должна быть впереди, между ними. Ага, вот и она. Я нашупал ручку и легонько толкнул – дверь не поддалась. Неужели заперта? И у кого же ключ? Может быть, где-то здесь висит себе на стене, на гвоздике, а если у кого-то из соседей, то у кого?! Скорее всего – или у Е.К., или у этих напротив, ведь они здесь живут рядом с дверью.

Но нет времени, о Боже, нет времени на раздумья! В отчаянии я сильно толкнул дверь и она – о чудо! – поддалась, оглашая ночную тишину громким металлическим лязгом тугой пружины. Я шагнул вперёд из тьмы во тьму, а дверь захлопнулась за мной с грохотом, который усилился эхом подъезда, а моё сердце колотилось так, что я не мог ни дышать, ни двигаться.

Здесь, однако, было не так темно, потому что ниже, видимо, между пролётами было окно, оно, скорее всего, выходило во двор, значит,

на других этажах также были окна, а со двора всё же шёл какой-то свет: от тусклого фонаря внизу и чьих-то светящихся окон.

Немного отдышавшись, я мог слышать не только биение собственного сердца, я услышал какие-то звуки, отличные от громкого биения моего сердца. Это были звуки частого прерывистого дыхания, которое явно старались приглушить.

Я замер, затаив дыхание. Точно, здесь, кроме меня, находился кто-то другой, да, так и есть, я разглядел: в проёме окна стоял этот «кто-то» – чёрный, неразличимый.

...Засада! Я рванулся назад, дёрнул дверь, снова оглушительно заскрежетала тугая пружина, и я снова оказался в тёмном закухонном аппендиксе; а теперь через кухню по коридору – бегом домой, запереться, забаррикадироваться!

Но оказавшись на кухне, я слышу их приглушённые голоса, похоже, что они ещё по ту сторону двери, но уходить не собираются, они возьются там, борются с засовом, я слышу мерзкий звук – что-то царапало стекло, о Боже, они, верно, вырезают стекло стеклорезом!

Я был уже в коридоре, посреди родных корыт, ящиков, мешков с картошкой, детских велосипедов, санок, баллонов с соленьями; от отчаяния я стоял парализованный и не знал, что предпринять.

Хоть бы появился кто-то из соседей, да хоть старушка – божий одуванчик, я же совсем один, ниоткуда нет помощи, сейчас они вырежут стекло над дверью, влезут и... это не сон, не сон!

За моей спиной, на кухне, послышались шаги. Шаги приближались, и по звуку это была явно не одна пара ног. Они уже совсем рядом!

Я резко повернулся: по коридору, шаркая домашними тапочками, шагали в обнимку Вася и Настя, молодожёны из дальней комнаты в другом конце коридора. Оба были какие-то растрёпанные, расхристанные, они смотрели на меня странным взглядом, выражающим целую гамму чувств: смятение, растерянность, смущение, досаду. Оба дышали часто и прерывисто, как собаки.

– Добрый вечер! – выдохнула Настя, глядя исподлобья.

– Добрый вечер! – буркнул вслед за ней Вася, глядя точно так же, исподлобья, но очень злобно.

– Добрый вечер, – просипел я пересохшим ртом, едва слышно.

Они миновали меня, всё так же обнимаясь, и скрылись за поворотом коридора.

Так вот кто меня напугал до смерти! Вот кто маячил в подъезде чёрного хода у окна, повергнув меня в бегство! Несчастные молодожёны, занимающиеся любовью в подъезде, чтобы не разбудить родителей Насти и старую бабку, похрапывающую в углу за ширмой; все – в одной комнате размером 18 квадратных метров! И ведь своими ухидами вы даёте возможность ещё и другой женатой паре – Настиным родителям – слиться в законных объятиях под храп старой бабки.

Я нарушил ваше уединение, я бесцеремонно, сам того не ведая и не желая, вторгся в ваше любовное прибежище, я обнаружил его, бедные

мои, где же вы будете целоваться теперь, молодые, здоровые тела, жаждущие любви!

А всё *они*, эти гады, которые временно затихли за дверью, прекратив своё пиление, но сейчас, когда я снова один, так как не задержал молодожёнов от неожиданности и стыда, они вновь принялись за своё – снова я слышу этот мерзкий звук царапанья по стеклу!

Я бросился бежать: коридор – кухня – закуток – чёрный ход. Завизжала пружина, захлопнулась за мной дверь. Крепко держась за железные перила, стал я осторожно спускаться по крутым железным ступенькам, каждый мой шаг гулко отдавался эхом в этом неизвестном, неизведанном тёмном подъезде.

Этому спуску, казалось, не было конца: пролёт, ещё пролёт, еще, ... но вот, наконец, и выход, повеяло холодом, я вышел наружу, во двор.

Глава 3 Новые друзья

Я огляделся. Тихо. Вроде никого. Двор безлюдный, под старым, тускло горящим фонарём – деревянный стол, за которым пенсионеры режутся в «козла»; присесть на лавку, продумать план действий, но нет, нет времени, дорога каждая секунда. Надо попасть на улицу, а там... А там снова хорошенько осмотреться, и – бежать.

Бежать, бежать. И я побежал, и сразу почувствовал холодную сырость в ногах, ну, ясное дело, забыл переобуться и сейчас месил стылую осеннюю грязь домашними войлочными тапочками.

Не возвращаться же назад, нет – только вперёд, как есть – в тапочках, с мокрыми, холодными ногами, осталось пробежать под аркой – и на волю!

– Стой, стрелять буду! – рассёк ночную тишину грозный рык.

Я стал как вкопанный, обернулся и обомлел – на лавочках, за секунду до этого пустых, восседали три типа. Они сидели в надвинутых на лоб кепках, втянув головы в плечи, а на столе красовались бутылки и ещё что-то, должно быть, закуска.

– А ну, иди сюда! – раздался тот же рычащий голос, и я разглядел в руках говорящего нацеленный на меня пистолет.

Подняв вверх руки, хотя меня об этом и не просили, я медленно пошёл, пытаюсь по мере приближения разглядеть их лица. И то, что я видел, поражало всё больше. Кепки, куртки да, пожалуй, и штаны на них были совершенно одинаковые, а вот лица... Один из них был с бородой, другой – с чапаевскими усами, лихо закрученными вверх, а третий, тот, что целился в меня, был бритый, вернее *небритый*, обросший щетиной, щетинистый. Но, несмотря на различия между ними, было что-то, что делало их очень похожими друг на друга, дело тут было не только в одинаковой одежде, а в чём-то ещё.

Я стоял возле стола с поднятыми вверх руками, и почти забыв о нацеленном на меня пистолете, разглядывал их, пытаюсь понять причину столь поразительного сходства.

– Огонь! – вдруг заорал щетинистый и выстрелил мне прямо в лицо струёй холодной воды из своего (*оказывается, водяного*) пистолета.

Я стоял перед ними с мокрым лицом, вода стекала по бороде, а они извивались на лавках от смеха.

А смех их был чудовищен: смесь каких-то нечеловеческих гортанных звуков, всхлипываний, визгов, рыданий. Если не смотреть на них, как они корчатся здесь на скамейках, ни за что нельзя было бы принять эти жуткие звуки за смех.

Это безобразное зрелище так поразило меня, что в этот момент я забыл обо всём: об *Элине*, о погоне, о домашних тапочках, о своей мокрой физиономии. Забыл даже о том, что нужно бежать, удирать, улелётывать, пока не поздно, пока они дёргаются тут, воя и мяукая.

Отвеселившись, они вдруг разом стали серьёзны, даже угрюмы, и теперь исподлобья глядели на меня одинаковыми лицами, вот-вот, – именно *одинаковыми* лицами. Всё в них было одинаково: и лица, и одежда, а усы, борода, щетина – жалкий камуфляж, способный сбить с толку лишь с первого взгляда.

– Садись! – приказал небритый и указал пистолетом на лавку.

Я послушно сел напротив небритого, между усатым и бородатым.

– На, оботрись, – сказал бородатый и оторвал кусок газеты, на которой размещалась их трапеза.

«Знакомо, всё очень знакомо», – думал я, водя по лицу газетой и разглядывая аксессуары стола. Ага, ну, конечно, тот же «Агдам», только две бутылки, а не одна, бычки в томате, остатки батона, рассыпанные по столу, соевые батончики – всё в точности, как у меня наверху, только бутылок – две.

– Только бутылки две, – услышал я и вздрогнул.

Все трое смотрели на меня одинаково насмешливо.

– Ну, теперь рассказывай, – сказал небритый спокойно, почти дружелюбно.

– Колись! – тем же тоном сказал усатый.

– Колись! – эхом повторил бородатый.

– Стоп! – сказал щетинистый. – Налейте ему, сперва пусть выпьет, отогреется.

Усатый поставил передо мной стакан, а бородатый наполнил его вином до краёв.

– Пей! – приказали все трое разом.

Я послушно выпил до дна, а передо мной уже лежал кусок батона, а на нём бычки в томате. Мне стало тепло и спокойно. Меня зацепило.

Я жевал и думал об *Элине*. Как божественно она готовила! Лучший в мире салат оливье, лучшие в мире пельмени. Даже самые простые вещи – салат, яичницу, котлеты – она делала необыкновенно. Всё она делала необыкновенно. А как она сама шила чудесные модные платья, которые так ладно сидели на её фигурке. А как пела! А танцевала!

Вино разморило меня и на душе стало спокойно.

– Ну, а теперь колись давай, – прервав мои воспоминания, сказал щетинистый неожиданно мягким тоном, – мол, что и как.

– Моя девушка вышла замуж, – сказал я просто и расплакался.

– Ну-ну, ты это прекрати. А то я тебя снова умою, – пригрозил он пистолетом.

Я взял со стола уже использованный кусок мокрой газеты, провёл по лицу, вытирая слёзы и предотвращая этим ещё одно обливание

– То-то! А теперь слушай сюда. Мы – твои друзья, – удовлетворённо сказал щетинистый.

При этих словах его двойники утвердительно закивали.

– *Новые* друзья, – уточнил он. – Меня зовут Петропавл Алимович, а их, – он попеременно кивнул в сторону усатого и бородатого, – Стёпа и Гаврюша. Мы во всём будем тебе помогать. Для этого нас наняли... тьфу, то есть избрали.

– Кто нанял? – насторожился я.

– Не наняли, это я оговорился. Избрали! Я же сказал!

– Кто избрал? – спросил я и икнул.

Все трое переглянулись, глядя на Петропавла Алимовича. Усатый Стёпа неуверенно указал пальцем наверх, как бы подсказывая.

– Ну да, – оживился Петропавл, – боги. Нас избрали боги.

Я расхохотался. Ничего смешнее и нелепее нельзя было и придумать. Я тряся в истерике, а эти трое одинаково на меня смотрели, уже снова угрюмо и исподлобья. И вдруг, как по команде, стали смеяться. И опять это был жуткий, невероятный, звериный смех. Они лаляли, рычали, скулили, мяукали, хрюкали, извиваясь всем телом, падая то на лавку, то на стол.

Их смех меня отрезвил, сам я уже давно не смеялся, а наблюдал за их немислимыми телодвижениями. Наконец, они заметили это, и смех прекратился так же внезапно, как и начался. Они снова были серьёзны и сосредоточены.

– Итак, мы избраны богами, чтобы помогать тебе, – сказал Петропавл Алимович.

– Какими богами? – насмешливо спросил я, осмелев. – Бог один.

Петропавл снова переглянулся со своими друзьями, ища поддержки.

– А мы других богов имеем в виду, – пришёл на помощь бородатый Гаврюша.

– И каких же это? – поинтересовался я с чувством монотеистического превосходства.

– А тех..., а этих, – замялся Гаврюша

– А тех, которые там сидят! – вдруг выпалил Стёпа, ткнув пальцем куда-то в сторону, и все вздрогнули от неожиданности.

– Где? – спросил я, пытаюсь вычислить направление его указующего перста.

– А там, – он помахал рукой в сторону улицы, – в об...

Но тут Петропавл резко рванулся вперёд и заткнул ему рот ладонью. Я вскочил со скамейки, но Петропавл, продолжая затыкать рот Стёпе, быстро направил на меня пистолет.

– Да, конечно, знаем, учили, – сказал я насмешливо, – твоим пистолетом только клизмы ставить.

Петропавл выстрелил. Выстрел прогремел в ночной тишине, послышался звон разбитого стекла, – единственный фонарь во дворе перестал светить, стало совсем темно.

– Сел! – заорал Петропавл, и я на ватных ногах опустился на скамейку.

Насмерть перепуганный, я вглядывался в тёмные лики своих новых друзей, пытаюсь отгадать их намерения, но фонарь был разбит, и разглядеть их было сложно.

Как странно: никто не отреагировал на выстрел, не выбежал во двор, не поднял крик, даже в окно не выглянул. Я осторожно огляделся вокруг, поднял наверх глаза, покрутил головой – нет, никого, и ни одно, ни одно окно не горит во всём дворе, на всех четырёх этажах трёх домов, образующих букву П.

– Никто и не выйдет!

– И не жди.

– Можешь крутиться хоть как говно в проруби, – затараторили наперебой мои мучители с издёвкой, посмеиваясь, по крайней мере, тихо, не завывая и не лая.

– Потому что ты никому не нужен. Только нам, – подытожил Петропавл, их несомненный лидер.

И вдруг до меня дошло, и вдруг я с ужасом осознал, что ведь это правда, и я действительно никому не нужен: *Элина* вышла замуж, и факт моего бытия или небытия не имеет для неё никакого значения, любимая бабушка умерла полгода назад, друзья пережились, рожают детей, – случись мне умереть – ну, придут на похороны, конечно, ну, всхлипнут и быстро позабудут; родители – ну, родители-то любят, конечно, нормальные родители, живут своей жизнью: компании, друзья, но не понимают – в их глазах всё делаю не так, не то, живу неправильно, дурью маюсь. А сейчас они спят, отдыхают после трудового дня и не ведают, что со мной творится. Вот и выходит, что самые близкие мне – действительно эти трое, ближе никого и нет. А их я, судя по всему, о-очень интересую, они вон даже на шаг от себя не отпускают.

Из моих размышлений меня вывело пение: они вдруг запели – и пели они неожиданно красиво, стройно, мягкими, приглушёнными голосами – какую-то протяжную русскую песню без слов, пели, разбившись на голоса, иногда сходясь все в унисоне, пели, не открывая рта, на «м-м-м», – задушевную песню.

А я закрыл глаза и вспоминал *Элину*, когда после того колхоза она уехала домой, в свой южный город.

Впереди были долгие летние каникулы, слишком долгие без неё, бесконечные. Совершенно нереально было выдержать такой срок. Я позвонил ей и напросился в гости.

Она встретила меня на вокзале в чудесном летнем платьице, сшитом её золотыми руками. Был жаркий июльский день, но мы не замечали жары. Мы шли, держась за руки по пути к её дому, болтали без умолку, и смеялись, и целовались.

Наконец, мы пришли к небольшому опрятному домику с палисадником, зелёной калиткой и доброй забавной собакой, радостно

мотающейся по двору. А во дворе нас ждал накрытый стол, южный стол, пестрящий ароматными овощами, а за столом её семья: мама и бабушка, улыбающиеся, приветливые.

Нет, я не приехал просить её руки, тогда ещё нет, я просто был её парнем, но парнем еврейским и, идя к ней в дом, русский дом с казацкими корнями, опасался прохладного приёма. Но приём был тёплым, обед вкусным, отдых на кушетке под тенистым деревом – отменным, поведение моей любимой в кругу родных – любовь, почтение, домовитость – восхитительным.

Это был длинный волшебный день. Потом она повела меня в городской парк, где был пруд, а в нём лебеди; мы ели мороженое в летнем кафе и говорили, говорили, говорили. Мы никак не могли наговориться, нам всегда было что сказать друг другу, и сейчас, сейчас я так хочу говорить с тобой, говорить без умолку, моя *Элина*, моя любимая.

Но ты далеко, а в реальности есть – эти трое певцов с одинаковыми лицами, мастерски выводящие на разные голоса свою бесконечную тоскливую мелодию, есть остатки дешёвого вина в бутылке, незатейливая закуска, да соевые батончики на десерт, которые я, кстати, ещё не пробовал, ни у себя наверху, ни здесь. Я развернул обёртку и отправил конфету в рот.

Ноги в тапочках совсем промокли, окоченели, хотелось спать, в своей комнате, в своей постели, зарывшись под одеяло, но туда нельзя – там враги, а здесь...

А кто здесь, кто они, предлагающие покровительство, помощь, дающие вино и закуску, эти трое из ларца – одинаковы с лица, появившиеся ниоткуда, как они мне надоели своими прибабасами и этой нескончаемой заунывной песней!

Наконец, пение завершилось. Стало тихо. В полном молчании, не шевелясь, сидели мы бок о бок, я и мои новые непрощенные друзья.

Что же дальше? Там, наверху, моей души ищут два злобных субъекта, наверно, они уже взломали дверь, ворвались в квартиру, хозяйничают в моей комнате; здесь я захвачен в плен невесть откуда взявшимися камуфляжными близнецами, их предводитель стреляет то водой, то пулями, *Элина* в своём далёком южном городе вышла замуж за другого, и, может быть, самым разумным в сложившейся ситуации будет вскочить, броситься наутёк и быть застреленным при попытке к бегству меткой пулей Петропавла Алимовича.

Ход моих невесёлых мыслей прервал голос Петропавла.

– А хочешь, – негромко спросил он, – мы тебе твою девушку вернём?

– Какую девушку? – спросил я так же негромко, ему в тон.

– Как какую? Ту, что вышла замуж.

– Во-первых, – пояснил я устало, – она давно уже не моя, а вторых, не девушка, а мужняя жена.

– А вот это уже нам решать, чья она жена, – гаркнул Петропавл и стукнул кулаком по столу, снова напугав и ошарашив.

– Мы можем всё, – продолжал он с жаром, подавшись вперёд, – захотим – покалечим, захотим – убьём, захотим – наградим! Поймёшь ты это, наконец?

Он направил на меня пистолет и выстрелил, прежде чем я успел испугаться. Он попал мне точно в лоб, на сей раз это была деревянная палочка с резиновой присоской. Я тут же отодрал её и швырнул на землю, а они, все трое, как и следовало ожидать, снова корчились от смеха, издавая звериные звуки.

Отсмеявшись, они как по приказу, стали серьёзны, сосредоточены, обратив на меня свои тёмные лики. Они сидели, выпрямившись, напоминая охотничьих псов, готовых к гону; о бегстве нечего было и мечтать. Да и хороший из меня бегун в войлочных-то тапочках!

Вдруг бородатый Гаврюша пригнулся, засунул руку под стол, вытащил оттуда и поставил на стол передо мной высокие сапоги, с резким резиновым запахом, новёхонькие, как на полке универсама Военторга.

– А у меня носки мокрые, – пожаловался я, дивясь собственной наглости.

Но, в самом деле, если я получил сапоги, почему бы не потребовать и сухие носки!

Разумеется, я их получил: Гаврюша сунул руку за пазуху и кинул на стол, рядом с сапогами толстые вязаные носки.

Каким удовольствием было сбросить с себя холодные, мокрые носки и тапочки и натянуть на замёрзшие ноги тёплые сухие носки, а потом вдеть их в новые сапоги, которые пришлось, как и следовало ожидать, как раз по размеру!

А тапочки с носками...хорошо бы их просушить. Но где? Не нести же их домой!

Домой... Да есть ли у меня теперь дом, куда можно вернуться, моя комната, такая любимая и бесконечно далёкая теперь, да пусть бы и нет *Элины*, да пусть бы и один, лишь бы подняться к себе, плюхнуться в свою кроватку, да хоть бы и в сапогах, и – спать, спать.

Куда там! Покой нам только снится. Там, наверху, рыщут эти страшные люди, наверно, перевернули вверх дном всю комнату, устроили засаду, подложили бомбу, шут их знает, как они ещё не допёрли спуститься сюда. А здесь свои мучители, мучители-благотители: накормили, напоили, обули, а теперь вот обещают *Элину* вернуть. Интересно, каким образом? А как это вообще всё объяснить: как они здесь оказались, будто из-под земли выросли, и все эти номера с пистолетом, с телепатией, и откуда взялись сапоги с носками?

Просто я скукожился. Как таких называют – молодой старик? Разучился радоваться жизни, разучился удивляться, сосредоточился лишь на самом себе, страдания юного Вертера, а весь остальной мир вокруг? А друзья? А родители? А помощь ближнему в целом? Пустота, пустота. Пустота и усталость. А ведь мне всего 27! Или *уже* 27?

Да хоть бы эти трое взмыли в небо, как вóроны, или превратились бы в динозавров, что мне до этого? Так же буду зевать и

стремиться поскорее в койку, а на следующий день – тащиться на опостылевшую работу- учёбу, а потом – пить, а потом...

– А потом сдохнешь от цирроза под забором, – прокаркал Петропавл, и его приспешники заржали такими же каркающими голосами.

А ведь верно! Ведь именно к этому всё и идёт, и если я буду продолжать в том же духе, то очень скоро окажусь под этим самым забором.

– Вот ты думаешь, отчего мы все трое так похожи? – сказал Петропавл нормальным голосом. – Ты, наверное, уверен, что мы близнецы?

Растерявшись от столь прямого вопроса, я лишь пожал плечами.

– Нет, мы не близнецы, – отрицательно покачал он головой, и двое других тоже энергично затрясли головами в знак подтверждения его слов.

– Мы похожи, – продолжал Петропавл, и его тон стал торжественным, – потому что у нас общие идеалы!

При этих словах все трое встали и вытянулись в струнку. Какая-то сила подняла и меня, и я тоже встал по стойке «смирно».

В ночной глуши, холодной ноябрьской ночью мы, ещё недавно чужие, можно даже сказать враждебные друг другу люди, стояли, объединённые некоей высокой идеей как соратники, как бойцы, готовые к подвигу. В тот момент я в этом не сомневался.

На глаза навернулись слёзы: как будто с глаз спала пелена, как будто я, наконец, проснулся от длительной спячки, и только теперь, в этот самый миг, начал *жить*.

Как будто слезла с меня змеиная кожа эгоизма, замкнутости, рефлексирующего погружения в свой мирок, где не было места никому, кроме меня одного, со своими страданиями, копаниями, постоянным перемалыванием старых ошибок.

Нет, теперь новый мир открылся передо мной: мир, где есть место другим, которым надо помогать, которых надо спасать, нести им свет и добро. Спасибо тебе, Боже, что ты послал мне этих необыкновенных людей, этих ангелов, спасших меня!

Они-то и поведут меня к новой, наполненной смыслом жизни!

– Прошу всех сесть, – раздался неземной голос Петропавла Алимовича, и мы опустились на скамейки.

– Ну-с, – обратился он ко мне, – теперь ты всё понял? Теперь-то ты видишь, кто мы, что мы твои...

– Ангелы-хранители, – быстро сказал я, полный любви и признательности.

– И ты понимаешь, к чему мы стремимся и почему мы так похожи?

Я на миг задумался. А действительно, к чему мы стремимся? А, ну, конечно!

– К свободе, к равенству, к братству! – выпалил я.

– Правильно, – кивнул Петропавл, – а ещё?

– К всеобщему разоружению! – говорил я без запинки.

– Ещё?

– К миру во всём мире!

Петропавл удовлетворённо кивал. Он поднял вверх указательный палец и торжественно заявил:

– Мы стремимся к всеобщему счастью!

Тут произошло нечто совершенно неожиданное. Стёпа и Гаврюша вдруг резко рванулись со своих мест и вцепились друг в друга над столом, рыча и матерясь.

Петропавл, застывший в торжественной позе с поднятым вверх пальцем, казалось, окаменел. Наконец, он пришёл в себя и бросился их разнимать, яростно ругаясь.

– Вы что, суки, охренели совсем?! Прекратите немедленно! По места-а-м! – орал Петропавл, надсаживая голос.

Но близнецы по идеалам сцепились мёртвой хваткой и катались по столу, пытаясь задушить друг друга. Петропавл выхватил откуда-то из-за пояса плётку и принялся их нещадно хлестать.

Визжа и пытаясь увернуться от ударов, они, тем не менее, не расцепились. Петропавл хлестал их всё сильнее, всё яростней, а они визжали всё пронзительнее, матерились всё грязнее, но их желание задушить друг друга было, видать, сильнее боли. Петропавл отшвырнул плётку в сторону, схватил пистолет и выстрелил вверх.

Снова прогремел выстрел, взорвав ночную тишину, снова проснулась надежда, что услышат, встрепенутся, выбегут, спасут. Проснулась и угасла. Всё по-прежнему, так же тихо; безучастно молчат тёмные окна, и ни одной живой душе нет дела ни до чего, ни до кого. Все спят. Или притворяются. Поди знай, может быть прячутся за занавесками и во все глаза наблюдают за происходящим во дворе.

А может быть, нас вообще не видят, то есть даже если кто и посмотрит во двор в этот поздний час, увидит обычную картину: стол, скамейки, тускло горящий (неразбитый!) фонарь, а мы все здесь – и я, и мои хранители-мучители пребываем где-то в параллельном мире, бушующем страстями, в мире, где гремит пальба, бьются лампочки, творятся чудеса, произносятся спичи, рушатся идеалы и, похоже, стирается грань между бытием и небытием.

Но что это было со мной? Что за затмение в мозгу? Как я мог им поверить, плакать от восторга и умиления, поверить в новое рождение и обретение высокого смысла в жизни? Они меня просто зомбировали, гипнотизировали, чёрт знает что ещё, и лишь благодаря этой мерзкой драке я пришёл в себя, и они снова предстали передо мной во всей своей красе.

Оглушённые выстрелами, они, трусливо поджав хвосты, вернулись на свои места, присмиревшие, побитые собаки.

– Ну, и что вы не поделили? – спросил я насмешливо, ни капельки не боясь.

Радость возвращения здравого рассудка была сильнее страха. Мне стало ужасно весело.

– Отвечайте, голубчики, – пробормотал Петропавл, понимая, что блестяще начавшееся зомбирование провалилось, – отвечайте, как есть.

Гаврюша и Стёпушка сидели понуро и молчали.

– Отвечать!!! – заорал Петропавл, подскочив на скамейке и стукнув рукояткой пистолета по столу.

Они разом затараторили, тыча друг в друга пальцами.

– А чего он?..

– Да это он, а не я!

– Не гони, ты первый!

– Я тебе сейчас глотку вырву!

Они уже были готовы снова вцепиться друг в друга, но тут их Предводитель вскочил с места, снова выхватил плётку из-за пояса и стал охаживать ею, не шадя сил, одного и второго. А они извивались, закрывали руками головы, пытаясь увернуться, выли, рыдали, молили о пощаде, но Петропавл вошёл в раж, озверев окончательно.

– Перестаньте! – заорал я. – Да прекратите же, наконец!

Петропавл замер с поднятой рукой, сжимающей плётку, и устался на меня. И они тоже повернули свои жалкие зарёванные физиономии, освещённые бледным светом вышедшей из-за туч луны.

– Я знаю, что случилось, – сказал я спокойно, – вернее, догадываюсь. Они подрались из-за вина. Не поделили последний стакан.

Исхлестанные борцы за всеобщее счастье опустили головы и глядели в землю.

– Их молчание подтверждает мою правоту, – продолжал я. – И вообще, если вы такие благодетели и так много можете, а не только стрелять из пистолета то водой, то пулями, доставать из-под стола новые сапоги, гипнотизировать и вытворять разные другие штучки, то почему выбрали именно меня? Что я – самый несчастный, самый обездоленный? Я живу не хуже других, а может и получше – учусь в аспирантуре, преподаю, получаю зарплату, проживаю хоть и в коммуналке, но один на 25 квадратных метрах, в то время как мои соседи живут на меньшей жилплощади, да ещё по несколько человек.

Да вот, например, Васька с Настей! – распаялся я. – Ведь вы-то, наверняка, всё знаете обо всех моих соседях (у меня не было в этом и тени сомнения). Как они живут! Молодая семья. В одном углу – родители, в другом – старая бабка. А они трахаются в подъезде чёрного хода, чтобы поорать власть. И это состоя в законном браке! Вот и пробили бы им квартиру, раз вы такие всемогущие и любвеобильные. А? Что скажете?

Завершив эту длинную тираду, я почувствовал облегчение. Снова я становился самим собой, я протрезвел – и от вина, и от недавнего наваждения, я высказался и не чувствовал больше страха.

А они сидели неподвижно, как изваяния, и я усомнился, а есть ли они на самом деле, и не является ли всё здесь происходящее сном, галлюцинацией. Но тут раздался голос Предводителя – ледяной, чеканный:

– Слушай ответ, падла, – говорил он, растягивая слова, – Васька с Настей, и все твои соседи, все эти жалкие людишки нам на хер не нужны. Нам нужен только ты, паршивый жидёнок, а нужен ты нам как стукач, и если будешь слушаться, то получишь от нас и бабу, и немного денег, а если будешь усердно стучать, то, может быть, и изолированную квартиру получишь. Ну, не в центре, конечно, и

однокомнатную, но *изолированную!* Подумай, гнида. Ну, а если откажешься, – тут Петропавл положил руку на пистолет, лежащий перед ним на столе...

– Стой, не стреляй! – раздался окрик, и все мы вздрогнули от неожиданности и повернули головы.

Под аркой, ведущей на улицу, стоял человек и отчаянно размахивал руками.

– Брось револьвер, я сказал! – крикнул он снова и полез рукой за пазуху.

В этот момент раздался выстрел, и он упал, как подкошенный. Петропавл, стрелявший в него, сидел на своём месте и сжимал в руке пистолет. Тут же прогремел ещё один выстрел.

Я резко обернулся в сторону выстрела: у подъезда чёрного хода, широко расставив ноги, стоял человек и, сжимая обеими руками револьвер, целился в нас.

Я не стал дожидаться следующего выстрела. Быстроногой ланью, быстрокрылой птицей я мчался по двору в новых сапогах, а за моей спиной гремела перестрелка, вдогонку неслись пули.

Пробегая мимо подстреленного Петропавлом человека, распростёртого на земле, я успел увидеть его глаза, раскрытые мёртвые глаза – свиные глаза на свином лице, которое глумилось надо мной в стекле над парадной дверью.

Я нырнул в арку и выбежал на пустынную улицу, освещённую высокими фонарями.

Глава 4

Диетическая столовая

Я огляделся. Ни души. Слева обком партии, похожий на Зимний дворец, только масштабами поскромнее, до революции здесь заседала городская Дума. Справа – диетическая столовая – прелестное строение из красного кирпича с конусообразной башенкой и флюгером на ней, до революции – Институт благородных девиц; а если побежать прямо по царственной аллее из голубых елей, что между обкомом и столовой, то попадёшь в городской сад, где легко затеряться в этот поздний час.

Ну, вперёд! Не теряя драгоценного времени, рвануть изо всех сил и скрыться во тьме парка, покуда со двора или из подъезда ещё не повылазили сволочи, ищущие моей души. Новые сапоги-скороходы уже приготовились к бегу, как вдруг меня негромко окликнули по имени. Вздрогнув, я обернулся на голос.

Из приоткрытой двери диетстоловой выглядывала фигура в белом халате и белой шапочке и манила меня рукой.

– Мишенька, иди сюда, – звал знакомый старческий голос, и я пошёл, как замороженный.

Подойдя ближе, я изумился: на крыльце в дверях стояла Даниловна, бабушкина сотрудница и подруга, коллега по уборке столов.

– Даниловна?! – выдохнул я, не веря своим глазам, – да как же... да вы же...

Я хотел спросить, как это может быть, ведь Даниловна умерла пару лет назад, но спрашивать её об этом было так чудовищно, что я пробормотал, дивясь самому себе:

– Как ваше здоровье?

Пропустив мой вопрос мимо ушей, Даниловна сказала:

– Пойдём, Мишенька, бабушка зовёт.

Я поднялся по ступенькам на крыльцо и вошёл внутрь.

А внутри было всё, как обычно в обеденные часы. В холодном свете люминесцентных ламп толпился народ – кто с подносами в очереди на раздачу, кто за столиками, кто искал место сесть, одни усаживались, другие вставали, жевали, общались, молчали, касса отбивала чеки, с кухни доносились привычные перезвоны поварёшек, зычные голоса поварих, – всё как обычно в обеденные часы. Но сейчас ночь!

Я следовал за Даниловной, которая шагала своей всегдашней моложавой походкой, сухощавая, слегка сутулая; она совсем не изменилась с тех пор, как скончалась здесь, на своём рабочем месте.

Даниловна остановилась, обернулась: на лице в морщинках всё те же молодые глаза, дай Бог каждому так выглядеть в её годы. Кстати, а какие её годы? Когда она умерла, ей было, кажется, 77, а сейчас...

– Видишь, Мишенька, – сказала Даниловна, прервав мои вычисления, и показала рукой в дальний конец зала, – вон там бабушка.

Я увидел её: она убирала крайний столик. Последние несколько лет перед смертью бабушка не работала из-за болезни, но поддерживала связь с родной столовой. Даниловна иногда навещала её, когда была жива, приходили и другие сотрудницы – бабушку любили за добрый, отзывчивый характер и неистребимый, заражающий оптимизм.

И вот я снова вижу любимую бабушку после полугодовой разлуки: бодрую, сноровистую, как когда-то до болезни, я иду к ней, не веря своим глазам, своему счастью.

Как тяжёл был для всех нас её уход! Она часто снилась мне, и я просыпался в слезах, один в её комнате, куда я окончательно перебрался жить после её смерти, оставив обстановку почти нетронутой. А сейчас я стою и смотрю, как она собирает со стола посуду и складывает её в тележку, вытирает стол тряпкой, энергичная, сильная, и сердце моё переполняется безудержной радостью, и я бегу к ней.

– А, Мишенька, – сказала бабушка, завидев меня, – садись, – и придвинула мне стул.

Я сел и молча разглядывал её во все глаза, не в силах говорить от волнения и сдержанность наворачивавшихся слёзы. Бабушка это заметила и, изменившись в лице, взволнованно воскликнула:

– Мишенька, что случилось?

Я разрыдался. Я плакал сладкими, счастливыми слезами, не обращая внимания на посетителей, наблюдающих с соседних столиков, а бабушка успокаивала, гладила по голове своей большой мягкой рукой, как маленького. Подошла Даниловна, поставила на стол стакан с компотом:

– Попей, Миша, успокойся, – и покатила свою тележку по залу, убирать посуду со столов.

Компот действовал успокаивающе. Утихли спазмы в горле; я вытащил несколько треугольных салфеток из пластмассового стаканчика и вытер заплаканное лицо. Бабушка присела на стул рядом и с любовью глядела на меня.

– Бабушка, – сказал я, успокоившись, – тебе не трудно работать? Ведь ты уже столько лет сюда не спускалась.

Бабушка отрицательно покачала головой и сказала, улыбаясь:

– Ты же знаешь, я всегда любила работать.

– И до которого часа?.. Когда ты заканчиваешь смену?

Она не ответила и отвела взгляд. Осознавая нелепость своих вопросов, сдавленным голосом, готовый снова разрыдаться, я произнёс:

– Я тебя подожду здесь. Если хочешь, я поем, и мы вместе пойдём домой. Поднимемся потихоньку, я тебе помогу.

– Тебе ведь надо отдохнуть! – выкрикнул я, с трудом сдерживая подкатившие к горлу рыдания.

Но сейчас бабушка смотрела на меня строго. Она положила свою большую мягкую ладонь на мою и сказала твёрдо, глядя мне в глаза:

– Миша, ты же понимаешь, что это невозможно.

Предвидя новые слёзы, она слегка сжала мою руку:

– Не раскисай! Но *ты* здесь в безопасности, – её голос потеплел. – Не смей выходить из столовой! – она снова сжала мою руку сильнее, чем прежде, и её взгляд стал грозным.

– Пока, – добавила она через паузу уже мягче, глядя меня по руке, как в детстве, – давай я тебя покормлю (вечно она беспокоилась, что я, не дай Бог, голодный), – что тебе принести? Супчику? А на второе – бифштекс с яйцом. Сейчас принесу.

Она собралась встать, но я удержал её:

– Бабушка, я сыт. Ну, честно!

– Ты и выпил, я смотрю, – сказала бабушка с лёгкой укоризной – и мне стало стыдно.

После возлияний я шёл ночевать к бабушке, которая либо спала, либо не замечала – короче, не обращала внимания, либо делала вид, что не замечает; дома же, у родителей, в таких случаях ожидал разнос. Бабушка же уважала мою взрослость. Но сейчас мне стало стыдно, очень стыдно.

– Но ведь *Элина* вышла замуж, – сказал я в своё оправдание, пряча глаза, – ты же знаешь. Вот я и напился... ты уж извини, – и я поднял на бабушку виноватые глаза.

Бабушка кивнула. Конечно, она знала. Они *там*, наверно, всё знают. Но ведь они могут знать и то, что произойдёт! Эта мысль воодушевила меня, и я спросил с надеждой, заглядывая бабушке в глаза:

– А может, это не навсегда? А может, они разведутся? Бабушка! – вдруг осенило меня, – а вдруг это всё враньё, и она замуж не вышла, и меня просто разыграли!

Бабушка не ответила, она смотрела в сторону, легонько похлопывая своей большой мягкой ладонью мою руку.

– Ты ведь её любила, помнишь,– продолжал я взволнованно, надеясь вызвать её на откровенность. – Когда мы тебя навещали, ты всегда радовалась! Помнишь?!

– Помню, помню, – кивала она,– хорошая была девочка. Но *ты* – мой внук,– она снова смотрела мне в глаза,– и сейчас меня *ты* интересуешь

Я вопросительно глядел на неё, и она продолжала:

– Я ведь всё знаю. Знаю, что у тебя неприятности. Знаю, что тебя преследуют. Эту ночь ты должен пересидеть здесь. Сюда они не придут. А утром, даст Бог, можешь уходить – всё будет нормально. Я сама тебе скажу – когда. А вся эта ночь, – и они, и я тоже, – будут тебе вспоминаться, как сон. А пока сиди, отдыхай, а мне надо работать.

Бабушка поднялась со стула и покатила свою тележку от стола к столу, убирая грязную посуду, вытирая столы тряпкой; несмотря на свою грузность, всё она делала расторопно, легко, перебрасываясь с людьми словом, улыбкой. Её знали и любили.

Когда мы с *Элиной* приходили к бабушке в гости, она всегда была рада. Она действительно любила *Элину*. Да и как было её не любить: ведь ко всем у неё был подход, всегда находилось доброе слово, готовность прибрать и приготовить, купить что-нибудь вкусенькое к столу. Когда мы приходили, бабушка бросалась нас кормить, а мы не отказывались,– молодые студенты со здоровым аппетитом. Бабушка отправлялась на кухню жарить картошку с котлетами или колбасой, доставала из своего шкафчика на общем балконе всегда имеющиеся в наличии собственноручно засоленные огурчики, помидорчики, а мы целовались на моей узкой кровати, и, заслышав её приближающиеся тяжёлые шаги в коридоре, всегда успевали вскочить и сидеть благоприсойно, как будто ничего и не было. Потом мы ели, и все были довольны: мы с *Элиной* – друг другом и вкусной едой, бабушка – тому, что мы кушаем, и тому, что у её любимого внука будет хорошая жена.

Когда *Элина* уезжала на каникулы к себе домой, она привозила бабушке дефицитные лекарства, которые её матери удавалось достать по знакомству, да и не только лекарства, а просто гостинцы – и ей, и моим родителям. В общем, она быстро стала членом семьи, и всех это устраивало, – ведь её любили.

– Здравствуйте, молодой человек! – вывел меня из воспоминаний старческий голос с сильным еврейским акцентом.

Я поднял глаза: надо мной, согнувшись и улыбаясь безгубым ртом стоял старик Димант *в своём извечном наряде* – допотопном парусиновом костюме и летней шляпе в дырочку.

До последних своих дней Димант ходил в синагогу, одолевая солидное расстояние, в любую погоду – в зной, в гололёд, маленький, скрюченный годами старик с орлиным носом и слезящимися глазами без ресниц, он любил говорить:

– Чем ходить к врачам, я лучше пойду к Богу – в синагогу.

И оказался прав: ни на что особо не жалуясь, он тихо скончался у себя дома совсем недавно в возрасте 96 лет.

Иногда я встречался с ним здесь, в столовой, завсегда там которой он был, а иногда в синагоге, куда я прокрадывался, быстро закрывая за собой дверь, а внутри наслаждался запрещённым еврейством: магендавидами на стенах, старинными фолиантами в большом шкафу, певучим идишем стариков, приходивших сюда без страха – неоткуда было их уже увольнять, исключать, мобилизовывать в армию.

А меня неудержимо тянуло сюда, подышать хоть немного тем, чего государство лишило меня и весь наш народ, и вот доходил: я уже давно понял, что вся эта ночная охота на меня связана с этими моими пугливыми визитами, и сейчас они хотят, чтобы я стучал, мне же так прямо и сказал Петропавл, но на кого стучать – на этих стариков, один из которых сейчас стоял передо мной, да и тот недавно умер?

– Здравствуйте, – сказал я, разглядывая его во все глаза и не замечая никаких перемен в его облике, – как поживаете?

И снова опомнившись, как после подобного вопроса к Даниловне, я вскочил, придвигая ему стул:

– Что же вы стоите, Моисей Аронович, – присаживайтесь!

– Мне там, – сказал Димант, усаживаясь и поднимая вверх палец, – ставят на вид, что я питался в этой столовой. Они говорят, что я хорошо знаю, что такое кошер и должен был его соблюдать. А где мне было питаться? Когда была жива жена, она готовила, и я ел дома, и это было более или менее кошерно, мы ведь и говядины не ели, а когда умер резник, перестали покупать и курицу. Ели рыбу.

Димант замолчал и ушёл в воспоминания – он смотрел куда-то мимо меня, и в его застывших птичьих глазах с красноватыми веками стояли слёзы.

– А потом, – вышел он, наконец, из оцепенения, – потом она ушла, я остался один, дети далеко, где же мне было питаться?

– Скажите, – сказал я, подбирая слова, – а там учитывают то, что вы ходили в синагогу? В любую погоду?

– Учитывают, учитывают, – закивал головой Димант. – Там таки всё учитывают.

Он помолчал и продолжал:

– Вы знаете, молодой человек, я родом из Баку. Мои родители переехали туда с Украины, и я там родился. В гражданскую войну, когда Красная Армия вошла в город, я стал у них интендантом. Мне выдали военную форму, и я в ней шеголял. А потом красные ушли, и вместо них пришли турки. И они убивали армян. Везде рыскали, искали их. А армян в Баку много, найти не трудно. Такая была резня, столько крови лилось!..

У нас во дворе огромный железный бак для воды стоял. На тот момент он пустой был, но люком закрытый. Иду я как-то и слышу оттуда какой-то шум. Прислушался – голоса. Забрался по лесенке, открыл люк – там люди. Оказались мои соседи, армянская семья: отец, мать, трое детей – все поместились. Умоляют: «Мойше, не выдавай нас, если турки придут! Мы пересидим, а потом уйдём». «Ладно, – говорю, – но вы потише разговаривайте, а то слышно».

Закрыв люк, слез с бака, и надо же, таки да идут турки по переулку, вижу их; успел ногой по баку незаметно стукнуть и покашлять,

дал им, значит, понять, чтоб молчали. Сам – быстро в дом, смотрю в окно: заходят во двор.

А у меня форма красноармейская на стуле развешана. Готэню! Я её быстро в охапку – и в шкаф, а оттуда достаю талес и тфилин. Наложил тфилин, закутался в талес, ермолку на голову, стою, раскачиваюсь, как будто бы молюсь, хотя успел утром помолиться, как положено. Вот они в дом заходят, я раскачиваюсь, а глаза закрыл.

Они переговариваются:

– Ягуд, ягуд! – «Еврей», значит.

Стали ходить по комнате, даже не мешали вначале. А потом говорят:

– Давай нам есть!

Я их понимаю, их язык похож на азербайджанский, а я на азербайджанском говорил, я же там родился. Но делаю вид, что не слышу, не понимаю, так молюсь, так молюсь! Вдруг один ко мне подошёл, схватил, да как тряхнёт:

– Ягуд, – говорит, – кончай молиться, давай еду нам неси.

– Нету ничего, – говорю, – я сам голодный.

Он меня ударил кулаком по морде – сюда.

Димант показал рукой на челюсть, куда его саданул турок, а я пытался представить его тогда – маленького шуплого рыжего еврейчика с голубыми глазами и орлиным носом, но это плохо представлялось – слишком уж он был стар.

– Я не упал, – продолжал он, – удержался на ногах, а вот тфилин с головы слетел. Ой, вы знаете, это очень плохо, когда тфилин падают на пол. Надо поститься и скорбеть потом. Я тут же его поднял, даже о турках забыл. А им, может, даже неловко, стыдно стало, так мне показалось. В общем, стали уходить. Но что вы думаете? Единственная курица по двору бегала, так они её поймали и забрали, конечно. Ну, что здесь поделаешь? Спасибо, что сам жив остался, что в шкаф не заглянули, форму не нашли.

– А армяне? – спросил я. – Что с ними стало?

– Ах, армяне, – сказал старик и потёр подагрическими пальцами свой бледный орлиный нос. – Они таки пошли к этому баку – то ли что-то там услышали, то ли просто – я знаю? – посмотреть, что там. Так я им театр устроил. Выбежал на крыльцо в талесе, руки ломаю, рыдаю:

– Что же вы у меня последнюю курицу забираете! Ой, что же я буду есть? Ой, я же с голоду помру! Ой, господа турки, пожалейте бедного еврея, верните курицу!

Я, знаете, в раж вошёл: рыдаю, в грудь себя бью. Они уже про бак забыли, стоят, пальцами в меня тычут, смеются, а потом плюнули и ушли.

– А курица?

– Ну, с курицей, конечно, я вам удивляюсь!

– А армяне?

– А что армяне? Переждали, пересидели, а потом вернулись домой. А потом опять красные вошли, турки ушли, и я снова стал

¹ Боже мой! (*идиш*).

интендантом... Но вы не думайте! – повысил он голос, – с формой, без формы, тфилин я всегда накладывал, всю жизнь. И Бога любил, и молился.

– И вам это *там*, – теперь уже я робко поднял палец вверх, – зачли?

– Молодой человек, – наставительно устало произнёс Димант и посмотрел на меня сквозь стёкла круглых очков, – там *всё* учитывается. Я же вам уже говорил. Для чего я вам рассказал эту историю? Это же мелочь, давно было, я и не вспоминал об этом почти за всю свою долгую жизнь. Так вот *там* это оказалось очень даже важно, и вы даже представить себе не можете, как то моё паясничество на крыльце помогло мне на суде.

– На суде?

– Ну, ладно, хватит, – вдруг резко, нехарактерно для него отрезал Димант и стукнул костлявым кулачком по столу, – что-то я с вами слишком разговорился. В конце концов, я пришёл сюда покушать.

– Покушать?!

– А вы думали бобэ майсес² с вами разводить? – сказал старик дребезжащим голосом, уже не на шутку раздражаясь. – А вот ваша бабушка уже мне обед несёт.

Я обернулся: к нам трусила на своих здоровых, как до болезни, ногах моя грузная, но сноровистая бабушка. Она несла поднос с комплексным обедом, который сейчас выставлялся на стол перед Димантом: геркулесовый суп, паровые котлеты с пюре и варёной свёклой, пару ломтиков хлеба и компот.

Меня удивило, что бабушка принесла обед, ведь её обязанностью была уборка столов, а посетители обслуживали себя сами, осторожно продвигаясь с подносами к свободным столикам. Меня удивило и то, что Димант как ни в чём не бывало стал поглощать эту, мягко говоря, некошерную пищу, и это после своих недвусмысленных намёков о небесном воздаянии и, конкретно, о претензиях к нему *там* по поводу харчевания в этой столовой.

– Я поражаюсь вам, молодой человек, – сказал Димант, не поднимая головы и продолжая неторопливо есть суп, – как вы можете так думать. Вы же неглупый парень, как я вас знаю.

Он поднял голову и продолжал, поплёскивая стёклами очков:

– То, что я кушаю – я не кушаю! Мне надо кушать?! Меня же нет!

И предупреждая вопросы, уже готовые сорваться у меня с языка, он поднял руку.

– Ни меня нет, ни вашей бабушки нет, ни всех, кого вы здесь видите; нас нет, мы же умерли! Вы что, до сих пор этого не уразумели? Вы что думаете – мы воскресли? Хорошенькое дело, – распалился он, и его дребезжащий голос стал срывать от волнения, – вот так захотел – и воскрес, и пошёл домой, да?! Вы когда-нибудь видели такое?!

Меня обуял ужас. Мне впервые стало жутко в этой столовой призраков; хотя ведь я общался и с Даниловной, и с бабушкой, но

² Сказки, легенды, притчи; также рассказы и небылицы (*идии*).

страшно не было – странно, да, невероятно, но не страшно. Я оглядывался по сторонам, всматривался в посетителей, которых по-прежнему было много, они приходили и уходили, большинство из них были стариками, но встречались и помоложе – ничего особенного, всё выглядело, как в обычный день: гул разговоров, касса, отбивающая чеки, зычные переключки поварих, перезвон посуды.

И тут я увидел её! Я увидел знакомую студентку из института, несущую поднос. Я видел её на днях в институте, здоровую и цветущую, у неё был парень, и она была очень, очень молода!

– Как?! И она? – вскричал я.

Я переводил взгляд с Диманта, равнодушно жующего паровую котлету, на бабушку, отдыхающую от своей беготни, удобно усевшись на стуле со сложенными на животе большими, натруженными за долгую нелёгкую жизнь руками. Не выдержав, я вскочил с места и побежал к этой девушке; она уже снимала с подноса тарелки и расставляла их на столе.

– Привет, – сказал я, как можно более непринуждённо, стараясь скрыть волнение.

– А, привет, – сказала девушка, подняв на меня голубые глаза и узнав. – Как дела?

– Нормально, – ответил я, таращась на неё.

Видимо, вид у меня был совершенно дикий, так как её лицо приняло озабоченное выражение, и она спросила:

– Что-нибудь случилось?

– Да нет, всё нормально, – ответил я, пытаясь совладать с собой.

Она уже расставила на столе свой обед, и сейчас стояла, смущённо потупившись, и разглядывая мои сапоги, показывая всем своим видом тягостность моего присутствия.

Бедная студенточка! Она, видимо, подумала, что я хочу за ней приударить, я, аспирант, преподаватель, хотя всего лишь на несколько лет старше её, но ведь у неё же есть парень, она его любит, они, наверно, скоро поженятся, что, я не понимаю?

Глупенькая девочка! Я даже не знаю её имени! Не знаю и не желаю знать! Всё, что меня волнует – почему она здесь? Я отказывался верить, что она умерла, нет, это не должно было произойти. Где же справедливость, она так молода, я видел её несколько дней назад в обнимку с её парнем, они были так счастливы! Я лихорадочно соображал, как спросить её, в какой форме, чтобы не травмировать, не напугать...

– Мишенька, – услышал я голос над самым ухом и вздрогнул от неожиданности.

Рядом стояла Даниловна:

– Иди, бабушка зовёт.

Я посмотрел туда, где сидела бабушка и Димант. Бабушка кивала головой, подтверждая слова Даниловны.

– Ну, ладно, – сказал я, – я пошёл. Приятного тебе аппетита.

– Спасибо, – сказала девушка, с явным облегчением усаживаясь за стол.

– Садись, – сказала бабушка, когда я на деревянных ногах подошёл к столу.

Я сел.

– Успокойся. Она не умерла. С ней всё в порядке.

Я покосился на Диманта, невозмутимо доедавшего свой обед.

– Здесь разные есть. Не все мёртвые. Есть и живые. Ну, вот ты, например, внучек, ты же, слава Богу, жив-здоров!

Господи, а ведь действительно! Я-то жив! Пули пролетели мимо. А может, нет? Может, меня убили, или ещё до этого превратили во что-то другое те три кудесника. Этой ночью могло произойти всё, что угодно, давно стёрлась грань между возможным и невозможным, всё невероятно и всё вероятно, как, например, бабушка, читающая мысли и успокаивающая меня, глядя по руке:

– Жив ты, Мишенька, жив, и не сомневайся. И эта девушка, она тоже жива, просто она спит. Да-да, она спит у себя в общежитии в комнате № 801, на 8-м этаже, а на другой кровати спит её соседка, но только *ей* снится, что она здесь. Она ведь часто приходила сюда, в перерыве между занятиями, здесь недорого, вот ей сегодня и приснилась столовая; людям ведь часто снится то, о чём они думают, где бывают.

Милая, милая бабушка! Как мне хорошо с тобой. Как спокойно, когда ты вот так гладишь меня по руке и говоришь, говоришь своим мягким украинско-еврейским говором. Как мне не хватает тебя, как я хочу продлить эти мгновения, пусть время остановится, и мы так и будем здесь сидеть вместе за этим общепитовским столом, пусть даже и вместе с Димантом.

– Значит, здесь все вперемешку – и спящие, и усопшие? – спросил я, успокоенный.

– Все, кроме тебя, – ответила бабушка. – Ты и жив – до 120, но и не спишь... Понимаешь, это такое место... Как-то так сложилось, что мы здесь иногда собираемся, когда нам этого очень хочется, и если нам позволяют, конечно. Тогда назначается день, вернее, ночь, и мы приходим сюда, и каждый занимается своим делом: посетители обедают, мы работаем, садимся передохнуть, тоже перекусываем что-нибудь, всё как было всегда... Нам это очень важно... Мне трудно тебе объяснить. Иногда сюда забредают спящие, как эта девушка. Но есть и такие, которых мы сами вызываем из снов, например, кассирша, поварихи. Как же без них?

– А я, как же меня сюда пустили?

– Ну, ты же мой родной внучек, – улыбнулась бабушка, – тебя надо было спасать. Ты же влип в историю! У меня не было другого выхода: я просила, умоляла, как могла, и, слава Богу, получила разрешение. И сейчас, – её лицо стало строгим, даже суровым, – ты будешь меня слушаться и не выйдешь отсюда, пока я тебе не разрешу!

– Слушайте бабушку, молодой человек, – раздался скрипучий голос Диманта, – она плохого не посоветует.

И рассмеялся угодливым дробным смехом.

– Конечно, не посоветую, – сказала бабушка со злинкой, почему-то она всегда недолюбливала Диманта. – Вот вы здесь ему об армянах рассказывали. Но вы-то сами не пережили погромы.

Димант втянул голову в плечи и поднял руки, как бы выражая этим: я и не претендую.

– А я пережила. Я всё своими глазами видела! – повисла голос бабушка, и мне стало за неё неловко: разве Димант виноват в том, что жил в Баку, где не было еврейских погромов? Или в том, что бабушка их пережила?

– Ещё при царе, – начала бабушка, – когда был Пейсах, и мы садились за стол на сейдер, то закрывались на все засовы от погромщиков, они любили именно в Пейсах приходить. А знаешь, как в местечке к Пейсаху готовились? Все хаты белили, посуду особую доставали, даже самые бедные старались не ударить лицом в грязь. Жил у нас Мойше Тохтейбер. Жили они бедно, но в хате всегда опрятно было, чисто. Ну, а в Пейсах у них вообще всё сверкало; весь год они деньги откладывали, сколько могли, чтобы Пейсах по-царски встретить: в новой одежде, с вкусными блюдами, которые они только в этот праздник и ели, и ещё кого-нибудь в гости позвать. Кто их в это время видел, никогда бы не подумал, что они бедняки. А они-таки были бедняки...

– А вы думаете, у нас было иначе? – перебил Димант. – У меня родители набожные были – о-о!

– Но в сейдер дверь не закрывали? – нанесла удар бабушка.

– Конечно, не запирали, – ответил Димант, не заметив подвоха. – Наоборот, открывали, чтобы впустить Илью-пророка. А вы что, не открывали ему дверь?

– Мы? – бабушка посмотрела возмущённо на меня, красноречиво покачав головой. – Не дай вам Бог видеть, кто мог войти в эту дверь! Я вам удивляюсь! – распаялась она, – вы, как маленький ребёнок! Вы что, не знаете, как мы жили на Украине? У вас же родители с Украины, они вам не рассказывали?

– Ну да, ну да, – смутился Димант. – Но ведь не всё время же были погромы! Я хочу сказать, не каждый же Пейсах.

– Не каждый, конечно, – согласилась бабушка, – мы вообще-то неплохо жили с украинцами. Но в любой момент могло всё что угодно произойти! Любая провокация: проповедь попа, мужик пьяный бухует, царь дал директиву – получай погром! – бабушка громко ударила ладонью по столу. – Но разве то были погромы? Да, придут, побуянят, стёкла побьют, что-нибудь поломают, пограбят и уберутся до следующего раза. Потом ещё и каяться приходили, мол, чёрт попугал по пьяни.

– Настоящие погромы начались в гражданскую войну. То были погромы! Они целые местечки вырезали. Про Проскуров слыхали? Там больше всего убили – тысячи! А как убивали! Головы рубили, животы беременным вспарывали, насиловали, глумились – а-а, зачем о таких вещах за столом говорить!

Бабушка махнула рукой и замолчала. В её глазах стояли слёзы. Димант сидел бледный, притихший, уставившись в пустую тарелку, где ещё недавно были паровые котлеты с гарниром.

– А в Тетиеве они так сделали, – продолжала бабушка, не в силах закончить эту тему, – мужчин просто построили и расстреляли. А женщин отобрали особых – беременных и просто грузных, полных. Заперли их в

синагоге, подожгли и говорят: ну, кричите вашему Готэню, может быть, он вам поможет. Видно, хорошо они горели, весело – жиру-то в них много было.

Бабушка снова замолчала и смотрела куда-то вдаль мокрыми от слёз глазами.

Вдруг я почувствовал какую-то тревогу, будто что-то злобное, враждебное угрожающее надвигается из-за спины. Я повернул голову: *оно* исходило от старика, хлебающего борщ за столиком неподалёку, от сучковатого старикашки в тёмно-синей кепке, с красным лицом, словно грубо вытесанным из дерева; он неотрывно глядел на меня, и во взгляде его злых, глубоко посаженных глаз было столько ненависти, что у меня перехватило дыхание. Как кролик, гипнотизируемый удавом, я тоже смотрел на него, не в силах отвести глаз, но этот смертельно ненавидящий взгляд предназначался не только мне – он явно был адресован всему нашему столу – всем нам троим – мне, бабушке, Диманту.

– А у нас в местечке организовали самооборону, – раздался бабушкин голос, этот благословенный, родной голос, который вырвал меня из оцепенения и из плена этого ужасного взгляда. – Отец был одним из организаторов. Где-то раздобыли винтовки, мало, конечно. Зато бандитов было много. Когда они подходили к местечку, наши евреи открывали по ним огонь. Что вы думаете, они таки некоторых поубивали. Но силы были неравные. Неравные... Они, конечно, в местечко ворвались озверевшие.., – голос бабушки дрожал, в глазах стояли слёзы. – Канавы в местечке потом были красные от крови. Трупы валялись на улицах, а они грабили, насильствовали, пьянствовали и ещё убивали, а хоронить не давали три дня. Собаки ели трупы, пили кровь. Наконец, разрешили похоронить. Папа, твой прадед, и ещё несколько мужчин этим занимались. Папа приходил домой вечером, садился на пол, босой, голову руками обхватывал, качался и выл:

– Бридер майне, швестер майне!³

Показывая, как это было, бабушка обхватила руками голову и, раскачиваясь на стуле, запричитала:

– Бридер майне, швестер майне!

– Мы думали, что он сошёл с ума. Он таки помешался в эти дни, но потом, слава Богу, отошёл.

– А кто они были, петлюровцы? – спросил я.

Бабушка отрицательно покачала головой.

– Нет, у нас в местечке были атаман Зелёный, атаман Тютюнник, гори они синим пламенем.

– А они... горят?

– В этом можешь не сомневаться, – усмехнулась бабушка зло.

– А ты их видела?

– Где? – бабушка метнула на меня настороженный взгляд.

– Ну как – где? Тогда, когда они у вас были?

– Странные вопросы ты задаёшь! – вспыхнула бабушка. – Ну, как я их могла не видеть, когда они по всему местечку шатались, в хаты

³ Братья мои, сёстры мои! (*идиш*).

врывались. Хочешь знать, как мы спаслись? У нас под местечком были подземные ходы, потому место и называется Погребщице. Их прорыли Бог весть когда, давным-давно, когда украинцы воевали с поляками. Длинные подземные ходы. Там мы и прятались, когда наверху убивали. Там были не только мы, были и другие евреи, которые успели спрятаться.

А потом нас родственник спасал, Ушер Айзенберг, мамин двоюродный брат. Он был аптекарем, а бандиты – сплошные сифилитики, так он им лекарства давал. Зелёный приказал: «Жидів у цьому дому не чіпайте».

Вот мы и набились там, вся мишпуха, так и спаслись.

Один наш родич решил бежать из местечка. Геци его звали. Запряг лошадку, посадил в телегу молодую жену и двоих маленьких детей. Удалось им выбраться. Только выехали, видят: вдалеке люди верхом на лошадях. Он телегу с детьми и женой под деревом поставил, лошадь привязал, вроде бы спрятал, схоронил. А сам бегом огородами в местечко за подмогой. Когда он вернулся и с ним несколько наших евреев, крепких, вооружённых кто ломом, кто топором, телега на месте была, и лошадка привязанная травку щиплет, и жена, и дети в телеге – только убитые. Так стал наш Геци молодым вдовцом. И сколько таких, как он, было: вдов, сирот, калек!

Как-то Мишеньку, чтоб он был здоров, на улице остановили:

– Хлопчик, як тебе звать?

– Михайло!

– Це ж наш хлопчик, іди собі.

Мишенька светленький был, смысленый, скажи он правду, что зовут его Менделе, тут ему и конец.

Так он и остался на всю жизнь Мишей, младший (на год) бабушкин брат, сбросив с себя имя Менахем-Мендл в далеком местечковом детстве. Он жил и здравствовал в Москве среди детей и внуков, молодежавый и бодрый в свои 85. Он был примерным советским евреем, сделавшим удачную карьеру, ветераном Коммунистической партии, убеждённым противником израильских агрессоров и всего мирового капитализма.

Живи он в другом обществе, с другой идеологией и иными ценностями, он был бы, наверно, точно таким же горячим патриотом *того* общества – неистребимый еврейский инстинкт самосохранения, спасший его от погромщиков в далёком детстве, вёл его по жизни, диктуя только одно: выжить! Выжить: подняться – преуспеть – поставить детей на ноги, дать им образование, чтобы были не хуже, чем другие, – здесь и сейчас, в *этой* стране, при *этой* власти, потому что *мы живём здесь!*

Постоянные плевки советской власти на головы евреев, искоренение их культуры, дело врачей, государственный антисемитизм, процентная норма в вузах, зоологическая ненависть, прорывающаяся то тут, то там – в автобусе, в очереди, в коммуналке, на работе – ничто не могло поколебать верноподданническую любовь дяди Миши и подобных ему евреев к «старшему брату» – русскому, а также украинскому и другим братским народам, властвующим в своих республиках; с другой

стороны, они всё больше отчуждались от своего народа, принадлежностью к которому так тяготились.

Моя бабушка была пламенной коммунисткой, бескорыстно верящей в идею, работала не покладая рук, – главное, для страны, а для дома – потом, так, чтобы не умереть с голоду. Во время войны – эвакуация из Киева, работа днём и ночью на «Арсенале», – всё для фронта, всё для победы, вступление в партию, тяжёлые послевоенные годы, «оттепели», «похолодания»; всю свою жизнь бабушка жила с непоколебимой верой. Она верила, что коммунизм – это хорошо, правильно, а то, что было *неправильного* – это перегибы, вина отдельных людей, а идея же сама прекрасна, и нет в ней места, кстати, антисемитизму.

«Но и иудаизму нет в ней места», – возражал я, споря с бабушкой, на что она просто отмахивалась, как от чего-то ненужного, архаичного, оставшегося там, в далёком детстве в патриархальном Погребище с его субботами, праздниками и погромами.

Я шёл дальше и напоминал бабушке о сегодняшнем антисемитизме, на государственном уровне, о том, что еврейской песни по радио не услышишь, зато об израильских фашиствующих агрессорах – сколько угодно! Бывало, под моим напором бабушка замолкала и задумывалась, как бы отрешаясь, а я ещё больше утверждался в своей правоте.

Бабушка любила *Элину*, но она радовалась нашему предстоящему браку ещё и потому, что наши дети уже не будут евреями и им не придётся страдать: ведь, с одной стороны, в СССР нет места антисемитизму, а с другой – он ещё как есть. Бабушка была по-житейски всегда умна и трезва, и меня поражало это сочетание реального видения действительности и слепой веры в несуществующее.

– Выходит, быть евреем в Советском Союзе – плохо, по твоим же словам выходит, – злорадствовал я, – но ты не радуйся: она берёт мою фамилию, и мы вместе решили, что детей запишем евреями!

И это было чистой правдой, именно так мы с *Элиной* и решили, что в условиях суровой советской реальности было равносильно принятию иудаизма, и *Элина* была моей Рут, выбравшей народ гонимый и презираемый, за что я любил её ещё сильнее.

Но так было, а сейчас она далеко, среди своего народа, и что она теперь думает обо мне и моём народе, один Бог ведаёт!

– А знаешь, как моя бабушка Фрейда перемахнула через забор? – спросила бабушка.

– Нет, а как это было?

– Так и было. За ней гнались погромщики, и вот перед ней забор, высокий, она через него от страха и перепрыгнула. Она маленькая была, сухонькая, старенькая уже, никто не мог понять, как ей это удалось.

– Ей страшно было, – подал голос Димант, – так у неё и получилось!

– Ну да, – согласилась бабушка, – конечно, от страха.

Я представил себе маленькую бабушку Фрейду, перелезающую через высокий забор, и засмеялся. И засмеялась бабушка, и засмеялся

Димант дробным сухим смешком, и становилось всё веселее, и мы уже хохотали все трое, до слёз, держась за животики.

А вокруг кипела жизнь: люди обедали, беседовали, стояли в очереди в кассу, уходили, приходили другие, и не разобрать было – кто из них живой, кто нет; всё было так обычно, так обыденно, так *обедедно*, необычным было лишь время – глубокая ночь.

Я искал глазами девушку-студентку, но не нашёл, видимо, она поела и ушла, и теперь ей, наверно, снится другой сон.

Не было видно и зловещего старика, чему я очень обрадовался: ничто не омрачало теперь радости общения с бабушкой, праздника, который, увы, кончится, она уйдёт туда, по ту сторону, а я пока останусь здесь, и поэтому сейчас так ценно каждое мгновение.

– Скажите, – спросил я, обращаясь к ним обоим и подбирая слова, – скажите, хотя бы одним словом: как *там*? Хорошо? Плохо?

Они не отвечали. Я переводил взгляд от бабушки к Диманту, от Диманта – к бабушке, но они не смотрели на меня; их лица приняли отрешённое выражение, и сейчас они действительно походили на мертвецов, которых стоит только чуть толкнуть, и они рухнут на пол.

– Бабушка! – закричал я. – Не умирай!

Она встрепенулась, вышла из оцепенения и посмотрела на меня своим живым, добрым взглядом.

– Мы не можем тебе ответить на этот вопрос. Нам нельзя, то, что ты видишь здесь, то, что мы встретились, – это уже великая поблажка, а ответы на все вопросы ты должен искать сам. Одно тебе могу сказать, – её голос зазвучал торжественно, – не бойся ничего и никого, кроме Бога одного!

При этих словах бабушка подняла вверх палец; было так неожиданно услышать такое из её уст, уст коммунистки и атеистки, я думал, – она шутит, ёрничает, ещё и в рифму заговорила, но лицо её было серьёзно, а палец продолжал указывать наверх.

Вдруг я снова почувствовал тревогу, – чувство, уже испытанное мною здесь. Обернувшись, я сразу увидел его – мерзкого страшного старикашку, который сидел на своём месте и злобно сверлил меня своими глубоко посаженными маленькими глазками. Его столик был пуст, не было на нём ни еды, ни посуды. Казалось, весь смысл его сидения здесь, его существования заключался в том, чтобы испепелить нас, всех троих, своим жутким взглядом.

И тут я вспомнил. Я вспомнил его. Это было давно, я заканчивал школу, с тех пор он изменился, постарел, но взгляд, этот гадкий взгляд глубоко посаженных глаз остался тот же и та же синяя фуражка на голове, а на грубо выстроганном деревянном лице стало больше глубоких морщин.

Тогда я за чем-то пришёл к бабушке – то ли за мясом, которое она покупала из-под полы для нас, то ли пообедать, то ли просто поведать (жил я тогда с родителями). Бабушка, как всегда бодрая, энергичная, сновала между столами, и тут появился *он*, *он* шёл по направлению к выходу, как видно, уже отобедав, и, проходя мимо, сказал

громко, зло, чтобы я услышал, чтобы другие услышали, кивнув в сторону бабушки, убирающей со стола:

– Здоровая жидовка! Долго проживёт!

Я весь сжался тогда от неожиданности, возмущения, стыда, страха, у меня перехватило дыхание, и я ничего не ответил, а потом корил себя за малодушие: как это я не треснул этого старикашку, хотя был обруган за мою любимую бабушку, за себя самого, за весь наш народ. Но в тот момент я струсил, растерялся, сдрейфил и позволил старику уйти безнаказанным.

Такие случаи обычно всегда неожиданны: ты живёшь своей жизнью, или вернее – жизнью, похожей на жизнь других, окружающих тебя: ты говоришь, как они, думаешь, как они, строишь планы, как они, любишь, как они, пока не появляется старик и не напоминает тебе, *кто ты есть*, и ты сжимаешься от того, что это – правда, что как бы ты не казался себе одним из *них*, ты – другой, и так будет всегда, всю твою жизнь.

Но сейчас я был готов к бою. Я вспомнил его и знал, чего от него ожидать. Он хорошо вписывался в бабушкины рассказы о погромщиках, и я жаждал мести. Мне было плевать на его возраст и даже на то, что он, может быть, уже давно сох.

Я выжидал. Я не хотел начинать первым. Я ждал провокации. Пусть что-нибудь скажет, крикнет, как тогда, обругает на весь зал, а ещё лучше – пусть подойдёт сюда и попробует двинуть кого-нибудь из нас, или плюнуть в морду.

Я впился в него глазами, наши взгляды сцепились, прожигая друг друга.

И тут произошло нечто неожиданное. Невероятное!

Он полез за пазуху и извлёк оттуда... большую рогатку. Затем откуда-то из кармана появился и камень. Как замороженный, я наблюдал за его движениями, не веря своим глазам. Словно в замедленной съёмке, он вложил камень в рогатку, прицелился, натянул резинку и выстрелил.

Я услышал короткий вскрик рядом с собой: старик Димант, подбитый камнем, лежал на полу, прижав руки к глазу, и выл от боли, извиваясь всем телом.

Я вскочил со стула, кипя от ярости, готовый убивать, но старик с необычайным проворством уже семенил к выходу, не оборачиваясь.

Я бросился в погоню, несомый новыми сапогами-скороходами, а бабушка за спиной кричала, надрываясь, переходя на визг: «Миша! Не смей! Назад!» Парой пустяков было достигнуть эту мерзкую тварь, вот я уже в нескольких шагах от него, он семенит быстро, как только может, втянув голову в плечи; торчат малиновые уши под фуражкой, вот схвачу сейчас за эти уши и оторву эту гадкую голову в старой тёмно-синей фуражке; я протянул руки, дрожащие от нетерпения и... упал.

Я упал на пол с протянутыми вперёд руками и растянулся на нём всем телом, на свежавымытом полу рядом с раздевалкой и выходом, на полу, вымытом Даниловной, в ужасе взирающей на меня сверху, опершись на швабру.

Но некогда, некогда было разлёживаться и охать. Я быстро вскочил на ноги и ринулся к нему, а он уже стоял в дверях, наслаждаясь моим падением, и улыбался своим змеиным ртом. В два прыжка я подскочил к нему.

«Миша! Назад! Не смей!» – из последних сил кричала бабушка, труса за мной через весь зал, а он исчез за дверью, я выскочил на улицу, и тут же был крепко схвачен и скручен.

Глава 5 Обком партии

Мне лихо закрутили руки за спину и ударили кулаком под дых. Я скрючился, из глаз потекли слёзы, но плакал я не столько от боли, сколько от досады, от осознания своей глупости, от бессилия изменить, повернуть вспять ситуацию, выбраться из ловушки, в которую я так глупо угодил, и нет пути назад. Меня крепко держат в своих железных лапах, хорошо знаю, кто, даже ещё не видя их, я слышу их знакомые смешки, их утробные животные звуки: Стёпа и Гаврюша – джинны из бутылки шамурдяка, безмозглые зомби, беспрекословно выполняющие любые приказы своих зловещих начальников.

Боль стала утихать, я поднял голову: ночь, безмолвие, ни души, и след старика простыл, аллея царственных голубых елей, за ними обком партии, наш местный Зимний дворец, только размерами меньше, на третьем этаже горят два окна, трудятся народные избранники – кто-то всегда должен быть начеку. Начеку – ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ.

Меня больше не били. Подождав, пока я очухаюсь от тумака, меня повели, по-прежнему скукоженного, с заломленными за спину руками – это причиняло боль и дискомфорт. Я стал дёргаться, тогда они заломили руки ещё сильнее и больнее.

– Да отпустите вы меня, гады, – забрыкался я, – вы же знаете, что я не убегу! От вас разве убежишь?!

И, о чудо, они отпустили. Они перестали крутить мне руки и продолжали вести, крепко держа под мышки и прижавшись вплотную с обеих сторон. Всё равно это было гораздо лучше, чем закрученные за спиной руки.

Вдруг мне в голову пришла шальная мысль, слабая надежда: надо обернуться, а там, в дверях столовой, быть может, стоит Даниловна, а может и бабушка, и они меня спасут, надо только обернуться, и тогда исчезнут эти твари, конвоирующие меня, надо только обернуться.

И я обернулся. Вернее, я смог только повернуть голову, резко, успев увидеть безучастный псинный профиль Стёпы, никак не прореагировавшего на это, как и его напарник Гаврюша справа. Их хватка не ослабла, но и не усилилась, они продолжали уверенно вести меня к аллее елей и дальше – к распахнутому парадному подъезду обкома, но я успел увидеть диетстоловую – окна её были темны, на двери висел большой замок, этого и следовало ожидать, но втайне я надеялся на чудо, надежда ведь умирает последней. Я тяжело вздохнул и покорно продолжил свой путь, наш путь, их путь, навязанный мне силой.

Мы вступили в ярко освещённый парадный подъезд обкома партии, святая святых города: снаружи горели прикрепленные к стене старинные фонари; тяжёлые хрустальные люстры, спускающиеся с потолка искусной

лепки, освещали широкую мраморную лестницу, покрытую бордовым ковром, а стены украшали портреты членов Политбюро ЦК КПСС, выполненные в мозаике. Они сопровождали поднимающегося по лестнице весь длинный пролёт, а наверху, в конце пролёта, на перпендикулярной стене, иконостас венчал огромный портрет Генерального секретаря ЦК КПСС, отчески взирающего мозаичными глазами со своего висока.

Поднимаясь со своими конвоирами по лестнице и разглядывая искусно выполненные портреты небожителей, я вдруг подумал: ведь они же иногда меняются, ну хотя бы изредка умирают, а появляются другие; в том числе, страшно подумать! – придёт время того, огромного, наверху, и что же тогда – выдолбят эту мозаику и сделают новую?! И так каждый раз? Хотя, если поразмыслить, они ведь всё время те же, и последние много лет, дай Боже памяти, – мне не припоминалось каких-либо перемен в Политбюро.

Я так увлёкся этой мыслью, что не заметил, как мы поднялись, и куда шли дальше, и какой интерьер был вокруг, пока не очутился в большой комнате – кабинете, устланном роскошным ковром, с деревянными панелями на стенах, длинным столом, в конце (или начале) которого сидели два человека в костюмах и галстуках, а над ними висел портрет Ф. Дзержинского, – не мозаичный, обычный.

Один из них был лет пятидесяти, он восседал во главе стола, другой – лет 35 – сидел справа от него. Оба молча, пристально смотрели на меня.

Я тоже разглядывал их, а потом посмотрел на свои сапоги, хоть и новые, но **сапоги**, в которых я стоял на этом идеально вычищенном дорогом ковре, и представил себе, как я вообще выгляжу – наверно, весь взъерошенный, уже не пьяный, но, наверно, бледный или зелёный, как я обычно выгляжу после попойки, в общем, вид безусловно жалкий, и мне стало стыдно.

– Пожалуйста, садитесь, – сказал, наконец, тот, что постарше, сидящий во главе стола, и указал рукой на ближний к ним стул.

А стульев здесь было много – по обе стороны длинного стола, как обычно бывает в таких кабинетах, где часто заседают. Кто не видел подобных кабинетов в фильмах на производственную тематику?!

Я направился к указанному стулу и почувствовал, что иду свободно, что меня уже никто не ведёт, не держит под руки. Я огляделся по сторонам, обернулся: позади закрытая дубовая дверь, и конвоиры исчезли, в комнате нас только трое – я и они, ожидающие меня в другом конце огромного кабинета, под портретом Ф. Дзержинского.

– Проходите, проходите, не стесняйтесь, – снова заговорил Главный (из них двоих он, бесспорно, был Главным) хорошо поставленным голосом, и я вспомнил этот знакомый голос – именно он звучал этой ночью за дверью моей квартиры и требовал её открыть.

Внешность его соответствовала голосу: он был весь какой-то благопристойно-строгий, аккуратно подстриженная русая голова с чётким косым пробором, высокий блестящий лоб без морщин, ясные глаза, глядящие прямо, честно, вызывающие на откровенность.

Напарник его был худощав, с тяжёлой челюстью и глубоко посаженными серыми глазами. Вообще он весь был серого цвета: серый костюм, серый галстук, серые волосы, серые глаза, серое лицо.

«Вот так они и должны выглядеть», – подумал я, чтобы не запоминаться, не бросаться в глаза, затеряться в толпе, и оттуда следить, шпионить.

А где же тот, другой, со свиным рылом? Ах да, он лежал во дворе застреленный, о Господи!

– Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, почему вас сюда привели, – сказал Главный с неожиданной ехидцей в голосе, когда я уселся на предложенный мне стул.

Сейчас, когда я видел его лицо вблизи, оно показалось мне мерзким – своей примазанностью, этим «честным» открытым взглядом, идущим от осознания своей правоты и идейной подкованности, этим гладким выпуклым лбом без морщин.

– Конечно, не догадываюсь, – соврал я, пытаюсь унять дрожь в голосе.

– Ну, полно вам, – он валяжно откинулся на спинку стула и улыбнулся отвратительной ехидной улыбкой. – Всё вы прекрасно понимаете.

– Нет, не понимаю, – сказал я и обрадовался, услышав в своём голосе злинку.

– Ну, хорошо, – он скрестил пальцы рук и хрустнул костяшками, – я вам напомним, вы – аспирант, молодой преподаватель советского вуза, комсомолец, посещаете синагогу, учите иврит и мечтаете эмигрировать в Израиль.

Ну, конечно, так оно и есть. Доходился. Говорили мне родители: «Перестань ходить туда, подумай, в какой стране ты живёшь! Хочешь уехать, иди к этому тихо, осторожно, *незаметно*». Впрочем, я давно уже догадался, зачем за мной охотятся, что от меня хотят, мне уже сказали во дворе в задухшем разговоре: чтобы я стал стукачом, фискалом, как тот, что застучал меня этим, но кто он, кто он? Ладно, будет время подумать, вычислить. А кстати, почему меня привели сюда, в обком, а не в КГБ, которое, как я знаю, располагается совсем в другом месте – в длинном сером здании, построенном в сталинские времена, идеально подходящим для такого заведения.

– Ну, теперь вспомнили? – всё тем же издевательским тоном продолжал Главный.

Интересно, в каком он звании? Ему очень подходит – подполковник. Это не майор, но ещё не полковник, иначе не бегал бы за мной по подъездам, чёрным ходам и дворам. Всё, будешь у меня Подполковник.

– А я и не забывал, – ответил я, почти совсем успокоившись, и даже входя в какой-то азарт от этого приключения. – Я не отрицаю: и в синагогу хожу, правда, редко, и иврит учу, хоть и не регулярно, а Израиль... А у нас разве нет свободы передвижения? Разве советская власть запрещает человеку жить, где он хочет? – вконец обнаглел я.

И почувствовал неописуемый восторг от собственной наглости, от того, что перестал бояться, оттого, что наконец-то могу стать кем-то в этой серой жизни, наполненной страхами и трусливым шушуканьем на кухнях. «Господи! – воскликнул я мысленно. – Я готов умереть за идею, за тебя!»

Это был мой миг, когда я вдруг стремительно взлетел на вершину бесстрашия, готовый к героизму и самопожертвованию.

И они это почувствовали. Их лица изменились. Они стали серьёзны, растеряны, ведь они психологи, эти ребята, в силу своей профессии они должны быть психологами.

Подполковник заговорил, тщательно подбирая слова:

– Вы правы, по закону вы имеете право на свободу вероисповедования и на свободу передвижения, в том числе на эмиграцию в Израиль. В рамках воссоединения семей, – ухватился он за спасательный круг. – Если у вас есть в Израиле близкие родственники, вы можете подать прошение об отъезде, и при наличии вызова от них получить разрешение на эмиграцию. Наш закон гуманен, – продолжал он официальным тоном, – а Советский Союз – демократическое государство.

Ну да, конечно. Эту лапшу вы вешаете на уши всему миру, а на самом деле вырваться от вас так же сложно, как моим предкам из древнего Египта. А я залетел особо: мне почти 26, возраст ещё призывной, мой хлипкий диагноз «мочекаменная болезнь» очень легко отменить, тем более, что был-то всего один камешек – и тот выскочил несколько лет назад, и маячит сейчас передо мной не переезд на Родину предков, а призыв в Советскую армию. А куда *они* забросят служить, лучше и не думать.

Разумеется, всего этого я не сказал, а заявил, сделав честные глаза:

– А я никуда не собираюсь ехать. Здесь моя родина.

– Ну да, – ухмыльнулся Подполковник, – а у нас совсем другие сведения.

– И откуда у вас эти сведения? – спросил я в лоб.

– От одного вашего знакомого. Источник достоверный.

– Ну, и как зовут этого знакомого? – продолжал я напирать в весёлом бесстрашии.

– А этого вам знать не надо, – его тон посуровел, – не положено. Лучше объясните нам, как вы будете продолжать жить и работать, вы, советский преподаватель, готовящий стране молодую смену?

– А в чём проблема? – сделал я удивлённое лицо. – И как мои убеждения, то есть вера в Бога, посещения синагоги и даже гипотетическое, подчёркиваю, гипотетическое желание уехать противоречат моему статусу?

– О, ещё как противоречат! – воскликнул Подполковник, и его напарник до сей поры сидевший неподвижно, как изваяние, сделал некие телодвижения и поддерживающе закивал головой.

– Чему вы учите своих студентов? – спросил Подполковник, строго глядя мне в глаза.

– Как чему? Их специальности, – ответил я наивно, прекрасно понимая, какой вопрос следует за этим. И он последовал:

– Но этого ведь недостаточно! Как вы их будете воспитывать идеологически? Какие ценности вы будете им прививать? – напирал Подполковник, подавшись вперёд.

– Общечеловеческие. Гуманные (я воистину был в ударе, видно, сам Господь Бог вложил в мои уста нужные слова). Ведь великие русские писатели, которых мы учили в школе, были верующими людьми и великими гуманистами. Лев Толстой, например.

– Но они жили до революции, – раздражённо отмахнулся Подполковник. – Они ошибались.

– А Польша, братская Польша? – витийствовал я. – Коммунистическая страна, а все – верующие католики.

Подполковник едва сдерживался, чтобы не выйти из себя, и его напарник с тревогой наблюдал за ним, выпрямившись на краешке стула, готовый к выполнению любого приказа. Подполковник зыркнул на него и замахал руками с плохо скрываемой злостью.

– Ладно, ладно. В наши задачи не входит вас переубеждать. У нас есть чёткая идеологическая позиция, отличная от вашей, но вы правы – в нашей стране гарантируется свобода совести и передвижения. Я только подчёркиваю, что ваше мировоззрение идёт вразрез с той должностью, которую вы занимаете, с вашей *преподавательской* деятельностью.

Я открыл рот, готовый произнести спич о разумном, добром, вечном, о котором говорит религия и коммунизм, и что нет между ними противоречия, но Подполковник предостерегающе поднял руку, пресекая моё словоизлияние, на которое он снова не сможет ответить.

Он взял себя в руки и снова говорил спокойным, хорошо поставленным, уверенным голосом, даже с оттенком дружелюбия.

– Я вижу, вы – человек грамотный, начитанный. Вот вам бумага, – он пододвинул мне стопку белых листов, – вот – ручка, пишите обо всём.

– О чём? – я насторожился.

– О том, о чём вы сейчас говорите. О религии, об Израиле, о своём *сredo*. Короче, доноса мы от вас не требуем, – ухмыльнулся он, угадав мои опасения.

– Хорошо, – сказал я, чувствуя, что настает великий момент моей бестолковой и никчемной жизни, – я готов.

Я готов написать своё «я верую», не скрывая ничего. Я готов, наконец, взмётть над кухонным шушуканьем антисоветских анекдотов вполголоса, над псевдобесстрашными спичами под пьяную лавочку; я готов написать здесь, в этом месте, которого все боятся, правдивый трактат о себе, какой я есть, и не чувствовать страха.

Я решительно взял предложенную ручку и приготовился писать.

– А с чего, собственно начинать? – поднял я глаза на Подполковника, как-то смущённо смотревшего в стол.

– Ну, начните с того, – будто бы нехотя начал Подполковник, не поднимая глаз, – когда вы начали посещать синагогу, с кем вы там встречались, – тут он быстро поднял глаза, наши взгляды сошлись, но тут же он отвёл глаза и снова уставился в стол, – то есть, изложите ваши взгляды, ваше мировоззрение, – ну, там, вера в Бога, сионизм и тому подобное, изучение иврита, – тут он снова поднял глаза, – нам известно, что у вас дома имеется самоучитель иврита, ну и о том, что вы сейчас говорили – о том, как «мирно» уживаются, *по вашему мнению*, – подчёркнул он, – ваши убеждения и преподавание в советском вузе.

Он закончил свою тираду и смотрел на меня с вызовом.

«Ага! Значит, во-первых, ты хочешь, чтобы я уже начал стучать – «с кем встречался», хорошо, получишь – со стариками, которые тебе на фиг не нужны, а о паре-тройке моих друзей, ты, мой друг, хрен что от меня

услышишь. Но кто, кто же застучал?! Он знает о самоучителе – значит, был у меня дома». Я думал то об одном, то о другом – у меня многие бывали, я – парень общительный, потом отметал собственные подозрения, но передо мной белела бумага, лежала ручка, время шло, и я, в конце концов, начал писать.

Я писал, слегка привирая, не забывая об элементарном чувстве хоть какого-то самосохранения и о чистоте совести: о том, что синагогу я посещаю изредка (хотя ходил туда достаточно часто), о том, что знаком там с несколькими стариками, имён которых не знаю, не помню (враньё), о том, что в Израиль уезжать не собираюсь (мечта жизни!), хоть и считаю своей исторической родиной, что иврит изучаю, как древний язык своего народа, который хочу знать, ну а дальше изложение *credo*, также слегка сфальсифицированное согласно моменту. Я писал о том, что вера в Бога никак не противоречит коммунистическим идеалам – та же гуманность, то же равенство, упомянул и Льва Толстого, и братскую Польшу; писал, что *наша* Тора (именно так) защищает права угнетённых, учит заботиться о пришельце, сироте и вдове и, наконец, резюмировал, что не вижу никакого противоречия в занимаемой мною должности преподавателя советского вуза и своим вышеуказанным мировоззрением.

Получился целый трактат, на нескольких листах. Писал я быстро, с удовольствием, ручка бегала по бумаге, не поспевая за мыслями; по ходу я попросил сигарету, мне её тут же с готовностью дали и даже зажгли.

Я поставил точку, положил ручку на стол и с наслаждением курил, победоносно пуская дым, забыв о страхе, с чувством героического превосходства взирая на совсем не страшных работников органов безопасности. А они сидели, понурившись, какие-то удручённые и подавленные.

– Пожалуйста, – сказал я и пододвинул стопку исписанных листов Подполковнику, выводя его из оцепенения, как мне показалось.

Он нехотя взял её и стал читать. Я следил за ним с особым ревностным чувством писателя, ожидающим реакции читателя, и реакция наступила.

Поначалу Подполковник равнодушно пробегал строчки глазами, но очень скоро лицо его стало меняться, выражая заинтересованность, взволнованность, в конце концов, оно стало лицом человека, читающего что-то очень увлекательное. Вдруг он остановился, поднял на меня глаза, блестящие от возбуждения, и спросил:

– Вы понимаете, о чём вы говорите, то есть чем это для вас может кончиться?

О, я прекрасно понимал. Я ведь уже не мальчик и прекрасно осознаю, где я живу и как здесь расправляются с инакомыслящими! Но ему сказал, сделав невинную физиономию:

– Нет, не понимаю. Я перед Богом и людьми – чист.

Он пристально, профессионально, так сказать, разглядывал меня, пытаюсь понять, ёрничаю я, или действительно я такая наивная овечка, такой вот молодой дурень, герой-идеалист, готовый умереть за идею. Похоже, что он таки склонялся к последнему, ибо теперь уже говорил со мной в другом тоне, без издевательско-насмешливых ноток, а наоборот, даже как-то

сочувствующе, *по-отечески*, пытаясь не дать мне самому утопить себя окончательно, а оставить какое-то жизненное пространство в мышеловке, как это *они сами* спланировали.

...С *Элиной* мы были вместе уже год, и надо было что-то решать. Мы сидели у неё в комнате в общежитии, и я завёл этот разговор:

– Я без Израиля не смогу. Даже если сейчас уехать нереально, невозможно, но, как только что-то изменится, приоткроются ворота, я сделаю всё, чтобы уехать.... Не знаю, когда это будет, не от меня зависит. Может быть, через год, а может – через десять. Даже просто приехать туда умирать.

– Я знаю, – сказала *Элина*.

Что она обо мне не знала? Мы были родные люди, жили друг другом.

– Я тебя люблю, – продолжал я, обнимая её за плечи, – но и от своей мечты не могу отказаться. Эта мечта всей моей жизни, понимаешь?

– Понимаю, – сказала она, кладя голову мне на плечо, – я всё понимаю, можешь не объяснять.

– Ты всё же не до конца понимаешь. Я тебя люблю... больше жизни, я не могу без тебя. Никак... Ты бы уехала со мной?

Сказал, наконец, и как камень с сердца упал. Она повернула голову и серьёзно смотрела на меня своими необыкновенными небесными глазами, на лбу у неё появились две милые поперечные морщинки, как всегда, когда она сосредоточенно что-то обдумывала, и ответила не сразу.

Потом сказала:

– Это серьёзный вопрос. Мне надо подумать. Я дам тебе ответ. Я думаю, завтра.

Она любила смеяться, петь и танцевать, всем с ней было легко и весело, но в то же время она была *серьёзной* девушкой, основательной, вдумчивой, цельной и любила, когда мы обсуждали важные темы (так она любила говорить), строили планы, говорили о «высоких материях». Это были чудесные моменты особой близости, одухотворённости, любви.

Я задал ей непростую задачу. У неё были мама и бабушка, которых она горячо любила. Согласиться уехать со мной в Израиль означало *навсегда* расстаться с ними. Ненавистный Израиль – за железным занавесом, кому-то удаётся вырваться, но занавес остаётся, и нет никаких признаков, что он когда-нибудь рухнет, и поэтому, уезжая *туда* – ты пропадаешь навсегда, безвозвратно.

На другой день мы снова сидели в этой комнате, ели её бесподобный салат «оливье» (готовила она так же замечательно, как и всё, за что бралась) и молчали.

Мы оба думали об одном и молчали.

Но, оказывается, она ждала, так как ответ у неё уже был готов. Она ждала, пока я поем, потом попою чаю с бесподобным пирогом, испечённым её руками. И только когда я, сытый и довольный, откинулся на спинку стула, она сказала:

– Я много думала. Как-то мы сидели с девчонками и обсуждали такую ситуацию. Помнишь Таньку Арбузову, которая уехала? У неё муж поляк. Когда он за ней ухаживал, они договорились, что когда поженятся, то уедут в Польшу. Мы сидели, спорили. Одни говорили – куда ты поедешь? А

мы, твои друзья? А родители? Говорили: «Нельзя предавать Родину!» А я тогда сказала: жена должна ехать за мужем хоть на край света, если она его действительно любит. Я согласна. Я поеду с тобой.

– Но, *Элина!* – воскликнул я, не веря своему счастью. – Ведь ты расстаёшься с мамой, с бабушкой. Израиль – не Польша, возможно, ты их больше не увидишь.

– Я же сказала, – твёрдо, даже жёстко произнесла она, глядя мне в глаза, – я обо всём подумала, я люблю тебя и согласна уехать с тобой, – и в её глазах сейчас была сталь, а не небеса.

– Ну, раз так, раз так (ну же, скажи ты ей это, наконец!) – нам надо пожениться!

Она бросилась мне на шею. Она крепко обнимала меня и плакала. И я тоже. Мы целовались и плакали от счастья и осушали поцелуями слёзы друг друга. Мы были *абсолютно* счастливы.

Закончив читать мою рукопись, Подполковник подвинул её своему Помощнику, и тот вперился в неё бесстрастными глубоко посаженными глазами.

Подполковник сидел с видом человека, обдумывающего ситуацию, переводя взгляд то на меня, то на своего Помощника, то устремляя его куда-то вдаль, а я разглядывал его гладкий блестящий лоб и завидовал: ведь есть же люди с такими вот лбами, на которых до старости нет морщин, так уж они устроены, эти лбы, и есть в них что-то благородное, возвышенное; обладатели гладких лбов всегда выглядят моложе, а у меня уже сейчас на лбу морщинки, особенно, когда я поднимаю брови.

Наконец, Подполковник заговорил, медленно, тщательно подбирая слова, и тон его был уже далеко не такой уверенный, как вначале:

– Хотя мы не разделяем ваших взглядов и стоим на принципиально иных позициях, в мою задачу не входит вас переубеждать. И всё же ответьте мне на такой вопрос, он имеет *практическое* значение: если начнётся война и Израиль будет воевать на стороне наших противников против нас, вы на чьей стороне будете?

Вот это да! Ай да Подполковник! Ай да сукин сын!

Как же ему ответить? И выдумал же! Как они умеют постоянно манипулировать, пугать войной, ядерной угрозой, кровавыми капиталистами, которые обожают войны, так как наживаются на них.

Ну, не могу, не могу я сказать, что буду воевать против Израиля, то есть убивать евреев, даже понарошку сказать не могу, здесь – красная черта.

Подполковник торжествующе взирал на меня, увидев моё замешательство, и ждал ответа.

И тут Господь Бог Всемогущий вложил в мои уста ответ:

– А я покончу с собой!

– Что-о? – Подполковник округлил глаза от неожиданности.

– Если, не дай Бог, случится такая ситуация, – сказал я с расстановкой, – и будет война между *нашими* странами, я покончу с собой. Потому что равно не смогу предать страну, где родился и вырос, и воевать против неё, но и стрелять в евреев тоже не смогу.

Подполковник кисло ухмыльнулся и не нашёл, что ответить. К нему на помощь неожиданно пришёл Помощник. Оторвав взгляд от рукописи, он отчеканил голосом робота:

– Так не бывает. Придётся принять чью-то сторону. Хочешь быть беленьким, пушистеньким? Не выйдет!

И он хлопнул ладонью по столу.

– Ну почему же беленьким-пушистеньким, – спокойно ответил я, наслаждаясь своим интеллектуальным превосходством, – мёртвеньким!

Помощник наморщил свой низкий лоб, переваривая сказанное, и, похоже, до него дошла вся нелепость и неуместность его тирады. Он снова упёрся глазами в мои листки, делая вид, что читает их.

– А на Пасху вы мацу едите? – вдруг спросил Подполковник, и я от неожиданности закашлялся дымом, который до этого с наслаждением втянул поглубже в лёгкие.

– А вы, – отпарировал я сквозь кашель, – разве на *вашу* Пасху не едите куличи?! Вон, их даже в хлебных магазинах продают!

– А на Куци, небось, едите молочные блюда, – не сдавался Подполковник, демонстрируя свои гастрономические познания еврейских праздничных блюд.

– Молочные блюда едят на Пятидесятницу, а на Куци сидят в шалашах, – поправил я его, не меняя, однако, русские названия на «Суккот» и «Шавуот», дабы не перегибать палку, – кроме того...

– Ну, ладно, ладно, – нервно оборвал он меня, замахав руками, – мы знаем, что вы осведомлены в иудейской религии.

– А можно мне задать вопрос? – спросил я, уже совсем расслабившись.

– Да, конечно, – с готовностью ответил Подполковник.

– Вот я сейчас где нахожусь?

Подполковник удивлённо поднял брови.

– Как где? Вы же сами знаете – в Комитете госбезопасности.

– Но ведь в этом здании всегда был обком партии!

– Что значит «был»? Он и есть, – возмутился Подполковник.

– А как же... Что же, вы – объединились, перешли к ним сюда из своего здания на улице Энгельса, если я не ошибаюсь?

– Никуда мы не перешли. Мы там же функционируем, как вы правильно сказали, на улице Энгельса 33. Мы – там, они – здесь.

– Тогда я ничего не понимаю, – растерялся я.

– А вам и не надо понимать, – сказал Подполковник и вдруг подался вперёд всем телом. Он почти лежал животом на столе и отечески заглядывал мне в глаза.

– Всё исключительно ради вас. Ведь как близко! Прямо возле вашего дома, – проговорил он елеиным голосом. – А вы говорите – Энгельса! Вышел из подъезда и через две минуты – здесь. Ну, а то, что вы в диетстоловой задержались, – это уж ваша проблема!

Он благодушно развёл руками.

– Ну, а теперь, – Подполковник откинулся назад и сел прямо, оперевшись на спинку стула, – к делу. Мы хотим предложить вам работу, *хорошо оплачиваемую*.

Угадав причину резкой перемены в моём лице, Подполковник поспешил успокоить:

– Не волнуйтесь, не информатором, не надо ни на кого стучать, доносить (он сказал это просто, без оттенка сарказма). Это – работа ночного сторожа.

Я был настолько удивлён, что не нашёлся, что ответить.

– Да, да, ночным сторожем. Вам же легко ночью не спать. Молодой, здоровый. Да и спать вы там сможете, – махнул он рукой, – мы вам разрешаем. Смотрите, сейчас глубокая ночь, скоро – утро уже, а вы – как огурчик, хотя и выпили немало, и набегались.

В его тоне снова появилась ехидца.

– Ночным сторожем, – пытался я переварить столь неожиданное предложение в столь неподходящем для этого месте, – ночным сторожем... но где?

Подполковник широко улыбался, на физиономии его, да и Помощника появилась некая гримаса, могущая означать улыбку.

– Где? – переспросил Подполковник, выпрямившись на стуле и победоносно положив руки на стол. – Да в вашем любимом месте!

– В институте? – спросил я неуверенно.

– В синагоге! – торжествуяще воскликнул он, радуясь произведенному эффекту.

А эффект был, да ещё какой! Я пытался переварить сказанное, а они весело следили за мной.

– А синагоге нужен... ночной сторож? – только и нашёлся я спросить.

– Конечно, нужен, – ответили они в унисон и переглянулись.

– Вы, – продолжал Подполковник, – я так думаю, должны быть рады нашему предложению. Вы ведь действительно любите *это место*, – он глянул на стопку исписанных мной листов, – вот и ваши письменные признания подтверждают, что оно вам дорого. А ведь это плохой район, бандитский, сколько раз *им* там окна били, сами небось видели. И дверь там хлипкая с паршивым замком. А тут ещё недавно пивную пристроили, стена к стене, со всеми вытекающими отсюда... Нас, между прочим, не спросили, – сказал он, как бы оправдываясь, и переглянулся с Помощником. – Хотя с пивной *днём* проблема, не ночью. Ну, ладно, – закончил он, поняв, что мелет явно не то, и чем дальше, тем больше.

– А как я должен работать? То есть сколько часов, когда приходиться, когда уходить? И... какова зарплата?

– Вот это деловой разговор! – он хлопнул ладонью по столу, взбодрившись. – Вы должны будете приходиться туда каждую ночь в 24.00. Ключи вы получите сейчас. Прямо сейчас.

Он открыл ящичек своего стола и бросил на стол маленький ключик с кольцом.

– Вот, собственно, и весь ключик. Я же вам говорил, дверь там хлипкая и замочек плохой.

– А не легче ли заменить дверь? И замок? – пришло мне в голову.

– И окна? – саркастически пропел Подполковник. – А замок... Да разве вы не знаете, что на любой замок есть отмычка? Было бы желание!

– Да что там красть-то? – воскликнул я.

– Ну, как что, – Подполковник вдруг как-то растерялся. – Ну, там книги, фолианты старинные и эти, как их, ну – вы знаете – свитки.

– Свитки Торы?

– Ну да, ну да! Они же имеют ценность?

Да, конечно, имеют. Но что-то я не слышал, чтобы кто-нибудь посягал на имущество нашей несчастной синагоги, ценность которой действительно составляли лишь старые фолианты и свитки Торы. Да и кто разбирался в их истинной ценности! Алкаши из пивной, забавы ради бьющие в синагоге стёкла и обыскающие её стены? Бандюги, шныряющие в этом действительно неблагополучном старом районе в поисках реальной наживы, а не ветхих еврейских книг?

– Так какая же зарплата? – переспросил я.

Подполковник взял ручку, написал на листке бумаги число и подвинул её ко мне. Сумма была хорошая, сверх всяких ожиданий. Увидев мою реакцию, эти профессиональные физиономисты снова заулыбались.

– Ну, хорошо. Допустим, я соглашусь. Зарплата-то нормальная, но я ведь в институте работаю и учусь, а вы говорите, что нужно приходиться каждую ночь, не спать...

– Вот тут-то не беспокойтесь, – перебил Подполковник, – спать вы можете, когда пожелаете, я вам это уже говорил. Лягте там на лавку, куда хотите, можете даже свой матрац принести.

– В чём же тогда моя работа? – недоумённо спросил я. – Спать я могу, когда захочу, оружия вы, как я догадываюсь, никакого не даёте...

– Не даём, – подтвердил Помощник, до этого в основном молчавший.

– Так зачем я там нужен? – воскликнул я, всей душой чувствуя подвох.

– Да успокойтесь вы! – прикрикнул в свою очередь Подполковник, тоже явно нервничая. – Успокойтесь, – ещё раз повторил он, понизив тон. – Успокойтесь.

Но мне не было спокойно. Шутка ли – каждую ночь проводить в синагоге! Охранять – от чего, от кого?! Небось, за всем этим скрывается что-то гнусное, жуткое, чего от *них* ещё можно ожидать? А беря в расчёт всю эту безумную ночную охоту за мной, нужно быть готовым к самому худшему.

Помощник потянулся к графину, стоящему на столе, наполнил стакан водой и поставил передо мной.

– Попейте, успокойтесь.

Я послушно выпил.

– Может, закурить желаете? – не в меру разговорился он и услужливо предложил зажигалку.

Что мне оставалось делать? Я закурил и немного успокоился.

Да, эти инженеры человеческих душ умеют работать со своими подопечными, как удав с кроликами.

– Послушайте, – заговорил Подполковник, сверля меня немигающим взглядом, – возможно, вам не придётся быть там *каждую* ночь. Вы сами это определите. Возможно, вам достаточно пойти туда только один

раз. Возможно, этот единственный раз будет сегодня, сейчас, ибо именно сейчас вы направитесь туда!

– Что-о?!

– Да-да, – продолжал Подполковник монотонным голосом, не сводя с меня глаз, – вы сейчас пойдёте на выполнение задания.

– Какого задания?! – вскричал я и вскочил со стула.

И тут произошло нечто неожиданное. Помощник также вскочил со своего стула, быстро налил в стакан воду, резко плеснул ею мне в лицо и коротко рявкнул:

– Сидеть!

От неожиданности я так испугался, что рухнул на стул, как подкошенный. Всё это произошло стремительно.

– Так-то лучше, – пробормотал Помощник, глядя исподлобья.

Значит, снова меня облили, снова с бороды стекает вода. Господи, как они надоели все! Как хочется, чтобы это был сон, вся эта бесконечная безумная ночь, ушипнуть себя и проснуться в своей постельке!

И я действительно ушипнул себя просто так, созвучно мыслям, за руку, незаметно, ни на что не надеясь. Однако Подполковник заметил это и, кажется, понял (*они* ведь пронизательные) и ухмыльнулся. Но тут же сделал серьёзное лицо и начал высокопарным тоном:

– Гражданин Фельдман, несмотря на ваши ошибочные взгляды, вы ведь являетесь советским человеком? То есть я хочу сказать, ощущаете себя советским человеком?

Я подумал: «Облитым советским человеком».

– Вы родились и выросли в этой стране, получили в ней образование, бесплатное, между прочим, теперь вот продолжаете учёбу в аспирантуре, да ещё и преподаёте, зарабатываете, так сказать, деньги.

Он сделал паузу, видимо, давая мне время прочувствовать его слова.

– А если завтра война, – продолжал он, – ну, скажем, не с Израилем – тут вы нам разъяснили, как поступите, – а с другим государством, вы ведь пойдёте защищать нашу страну с оружием в руках, не так ли?

– Ну, само собой, разумеется, – сказал я, не колеблясь.

– И если надо, отдадите за неё жизнь? – напирал Подполковник.

– Ну, разумеется!

– Ну, а если это все само собой разумеется, – набирал обороты Подполковник, – то ведь так же очевидно и, разумеется само собой что вы и в мирное время обязаны служить своей стране, выполняя тем самым свой гражданский долг?

– Что вы имеете в виду? – спросил я дрогнувшим голосом, предвидя, куда он клонит. – Разве я не выполняю свой гражданский долг: работаю на благо родины, учу студентов.

– Но бывают *экстренные* ситуации, требующие гражданского мужества! – воскликнул Подполковник и стукнул кулаком по столу. – Ну, например, пожар, надо вытащить из огня ребёнка. Или кто-то тонет, надо спасать!

– Ну да, ну конечно, разумеется! – закивал я головой. – Это же очевидные вещи!

– Ну, а если и это само собой разумеется, и всё вам так очевидно, то вы должны бежать сейчас в свою синагогу, потому что *ваши* ребёнок и *ваши* утопающий находятся там!

При этих словах Подполковник выбросил вперёд руку с вытянутым указательным пальцем.

– То есть?! – подскочил я на стуле и покосился на Помощника и на графин с водой. Помощник сидел неподвижно, прикрыв глаза. Можно было подумать, что он дремлет, но нет, *они* не дремлют, *они* никогда не дремлют.

– Так слушайте же, что я вам расскажу, – заговорил он неожиданно быстро и взволнованно, подавшись вперёд всем телом, – в вашей синагоге по ночам происходят странные сборища, это происходит не каждую ночь, а когда *им* заблагорассудится.

– Кому это «им»?

– В том-то и дело, что мы не знаем, – с досадой воскликнул Подполковник, и нельзя было не поверить ему, настолько непривычно растерянным, неуверенным был его вид. – Мы знаем только, что есть ночи, когда что-то происходит – *они* там собираются, зажигаются люстры, и... что-то делают, о чём-то договариваются, что-то решают... замышляют, а мы не знаем, что!

– Но кто, кто это «они»?! – вскричал я.

– Не знаю, не знаю, я действительно не знаю, – причитал он, и так не вязался его теперешний вид с тем, предыдущим, дежурным – холодным, бесстрастным, самоуверенным.

– Постойте, мне ничего не понятно, – прервал я его спокойно; теперь я был над ним, и мне предстояло его успокаивать, как ребёнка. – Успокойтесь и расскажите мне вразумительно, о чём идёт речь.

Кайфуя от собственной наглости, я налил в стакан воды из графина и подвинул ему. И совершенно не удивился, когда он послушно выпил.

– Кто зажигает люстры? Кто эти люди? Ну, в самом деле, не можете же *вы* не знать таких простых вещей! Да самый обычный человек, увидев свет в ночной синагоге и желая узнать, что там происходит, просто вошёл бы и посмотрел, если бы не побоялся, конечно.

Ну, а если дверь заперта, то подтянулся бы и заглянул в окно. А если ему и это трудно, окна там действительно начинаются высоко от земли, то при желании можно вскарабкаться, залезть на дерево, притащить стремянку!

– В том-то и дело, что не каждый может войти, – тихо проговорил Подполковник, опустив глаза и, предотвращая мои вопросы, поднял руку. – Не каждый может *их* видеть. Не каждый может даже видеть горящие люстры. Сказать вам прямо? – он поднял на меня глаза, его тон снова стал твёрдым, а взгляд холодным, – если мы сейчас с вами пойдём туда, а сейчас там сборище, мы это *доподлинно* знаем, то я увижу тёмное безжизненное здание, а вы, вы увидите совсем другое – вы увидите ярко освещённую синагогу, вы наверняка войдёте в запертую дверь, для вас открытую, вы услышите *их* голоса, вы узнаете, о чём *они* говорят, а потом расскажете нам, и мы, наконец, узнаем, что же это такое, и будем знать, – что предпринять.

Ага, вот оно! Наконец-то! «Расскажете нам!» Что от них ещё ожидать? А то – ночной сторож, ночной сторож! Благородная миссия!

Гевалт⁴! Ребёнок в огне, бабушка тонет в речке! Только стукачи вам и нужны. Но как изощрённо! Не простой стукач, как тот, кто сдал меня, а мистический, сдающий каких-то пришельцев!

По изменившемуся лицу Подполковника я понял, что он осознал свой прокол и сейчас лихорадочно обдумывал, как исправить ситуацию – его глаза бегали, пальцы постукивали по столу, лицо пошло красными пятнами.

– Мне кажется, вы меня неправильно понимаете, – нервно заговорил он, подбирая слова, – вы ведь думаете, что мы вас просто вербуем. . .

«А то!» – мысленно возмущился я.

– Но это не так. Мы знаем – вы не тот человек, вы не согласились бы.

«Вот это да! Я, оказывается, у них в героях».

– Вы на самом деле будете сторожить вашу синагогу (опять *вашиу!* Психологи!). Ведь над ней нависла угроза! Возможно, серьёзная угроза. Мы не знаем, кто эти люди, чего они хотят, что они замышляют.

– Так это всё-таки люди?

– Ну, а кто же? – сказал он с досадой. – Не инопланетяне же! Но эти люди. . . Нам они не знакомы. Мы их никогда не видели, не знаем, откуда они, кто. Так разве не благородно с вашей стороны помочь нам, да и не только нам, а и своим соплеменникам, которые посещают синагогу в нормальное время суток, простым советским людям, ветеранам войны и труда. Мы ведь уважаем их и их религиозные чувства. У нас свобода совести! А из-за всего этого балагана, начавшегося недавно, нам, возможно, придётся закрыть синагогу. . . для их же безопасности!

– Но объясните же мне, наконец, – почему я?! Почему именно я могу войти, увидеть? Что, у меня глаза какие-то особые?

– Выходит, что особые, – сказал Подполковник задумчиво. – Видите ли, в жизни не всё так просто, как кажется. Сегодня вы сами имели возможность в этом убедиться. Вы много чего видели во дворе, затем в столовой. А раньше бы, небось, и не поверили, что такое возможно! Мы ведь тоже кое-что умеем. А что-то нет. Видите, как я с вами откровенен! Вот, например, в столовую мы не смогли войти. То есть не смогли войти *так, как вы*. Мы, конечно, открыли бы дверь, зашли, зажгли бы свет – пусто, ни души; вот и пришлось нам выманить вас оттуда хитростью.

Тут он улыбнулся и подмигнул. Я искоса взглянул на Помощника – тот сидел, как сфинкс, не выражая своим видом ничего.

– Вы не можете понять, почему это **так у вас**. . . Вспомните, что с вами произошло позапрошлым летом.

А что со мной произошло позапрошлым летом? Что такого особенного? Лето, как лето. В июле съездил на море. Вернулся. Отпуск длинный – в институте каникулы. В городе. . . Дай Бог памяти, да и вспомнить-то нечего, обычные серые дни, жаркие очень. В августе поехали со студентами в колхоз, в августе. . .

– 11 августа! – отчеканил Подполковник.

О Господи, конечно же, 11 августа! И это они знают!

– А как же, – откликнулся Подполковник, – мы всё знаем. Мы обо всех знаем! – крикнул он, снова подпрыгнув на стуле. – Выйдя отсюда, вы

⁴ Караул! (*идиши*).

чётко почувствуете, что все ваши былые представления о свободе, независимости, собственной значимости были блефом, вы – никто и ничто, впрочем, как и все остальные. Вы все у нас под колпаком, мы можем сделать с вами всё, что захотим.

– Я никуда не пойду! – выкрикнул я и вскочил со стула, совершенно позабыв о Помощнике и графине с водой.

– Пойдѐте, куда вы денетесь! – пропел Подполковник.

– Не пойду! Что вы сделаете со мной? Убьѐте? Убивайте, мне всё равно! Раз вам известно, что со мной произошло 11 августа позапрошлым летом, вы должны понимать, что *я не боюсь смерти*.

Помощник поднялся со своего места и медленно направился ко мне. Подойдя вплотную, он остановился и несколько мгновений молча смотрел мне в глаза. Потом положил руку на плечо, по-дружески прижал к себе и сказал мягко, задушевно:

– Ну-ну-ну, успокойся, – и крепко обнял меня.

И тут я разрыдался. Я рыдал в голос на его плече, а он успокаивал и гладил меня по голове, всё время приговаривая:

– Ну-ну-ну, успокойся.

Подполковник поднялся с места и поднёс мне стакан воды. Я благодарно выпил, и они с двух сторон, бережно, под белы руки, усадили меня на стул. Потом они вернулись на свои места, и так мы сидели молча, в каком-то тихом умиротворении.

Я разглядывал свои новые сапоги и снова думал о том, как всё-таки длинна, нескончаема эта невообразимая ночь, и как хорошо было бы сейчас заснуть, растянуться у себя на кровати, прямо так, в одежде, в сапогах, – раздеться нету сил, – это так близко, рукой подать, и это так далеко, так бесконечно далеко... и вдруг до меня дошло, кто меня сдал.

© Copyright © 2012 Рита Фридман. All rights reserved.



Михаил Юдсон

Заповеди Перевоза*



В агнанный рецензионный кули, гнуший спинной мозг над томищами, изнывающий под мешками текстов – существо хлопотливое и запыхавшееся (это я о себе), а ведь служение клиенту не терпит суеты! Поэтому прежде чем вскачь растекаться по древу книги, столь важно обозреть ствольные клетки аннотации – потыкать прозу через прутья, настроить глаз на обитателей глав. И так, «герой романа на склоне лет вспоминает детство и молодость, родных и друзей и ведет воображаемые беседы с давно ушедшей из жизни женой. Воспоминания эти упрямо не желают складываться в стройную картину, мозаика рассыпается, нить то и дело рвется, герой покоряется капризам своей памяти, но из отдельных эпизодов, диалогов, размышлений, писем и дневниковых записей – подлинных и вымышленных – помимо его воли рождается история жизни семьи на протяжении десятилетий».

Перед нами, таким макаром, повесть-исповедь, роман временных лет, амбарная книга московского интеллектуала – литератора и переводчика.

Вот и герой, чье дело тут телячье – идти на поводу, радостно вторит автору: «Жизненный путь: от аденоидов до аденомы, хе-хе».

«Санки, козел, паровоз», сразу скажу – чтение замечательное, одновременно занимательное и проникновенное. Проза сия начинена синкопами, авторские перебивы не дают загрустить над мелосом – нам тут же хлебосольно подсовывают силос полезных сведений и поучительных историй (одна из глав ласково называется «Коль на ферме есть корма, не страшна скоту зима», а предыдущая – «Коллекция анекдотов»).

Витражное произведение, роман-коллаж, казалось бы – ан героев все равно жалко, больно уж живые и узнаваемые. Они дружат, любят, рожают, работают, пишут друг другу подробные и трогательные письма, сочиняют стихи, ведут дневники – эх, для судьбы все это на деревню дедушке, в Летейскую библиотеку...

Попаданье этих писем, этих судеб в переплет – безусловно, замысел достойный. По следам, так сказать, Дос-Пассоса... Здесь и протоколы заседаний студенческого «Общества чистых помыслов»

* Валерий Генкин. Санки, козел, паровоз. – М.:Текст, 2011.

Рассказ Валерия Генкина "Баба Женя и дедушка Семен" читайте в этом же номере журнала.

(половозрелая Швамбрия), и животрепещущие записки из роддома, и подростковые вирши – почти наверняка взаправдашние. Хотя, возможно, и донельзя стилизованные – кто знает из какого сора, подручного стройматериала"!.. Весь сюр в том, что персонажи не проявляют своеволия, не удирают штук, а кажущийся размыв повествования строго структурирован.

Раз мы во власти автора, взявшись читать, то и нам следует почитать законы этой прозы. Прежде всего – она для широких слоев своих, для тех лириков и технарей, «кто понимает», кто знает толк в кириллице и формировался в совковой песочнице. О, светлый образ образованца! Жизнь как текст: детство, отрочество, юность, в людях, мои университеты... Люди, годы, жизнь и судьба... Выписки и затеси, крохотки и опыты – все, что «втемяшилось в память» автора. Дык, вперед – память, говори! Пригребайте, другие берега!

Главный герой Виталий Затуловский (альтер-это Валерия Генкина, р. 1940) – симпатичный еврейский эскапист-домосед, родом из подмосковного детства, дачного гетто – ай, станция Трудовая и ее малый народец, не шибко гесиодящий трудодни! Фараонова еще эпоха, жуткое время, лагерное пространство канувшей той страны... Перемолотые судьбы близких и дальних – кто их считал, попыхивая трубкой? «Больше-меньшевики, гдэ-то прэмэрно так». И мальчика везут на санках, и рядом всяко бекает и мекает козел, и озверело гудит паровоз... От колыбельной агады, мол, «придет серенький волчок и утащит за бочок, и чудо великое свершится тут» - герой совершает исход в закатную зрелость, к набоконской триаде – облако, озеро, башня. Меркнущая кремлевская Зоорландия, чудище обло, озорно и лаяй, а супротив сановного дракона детско-космополитская троица – санки, козел, паровоз. Вставочка с перышком – лучшее копие, и внутреннюю осанку героя не скривил всеобщий и обязательный сколиоз...

Эта книга читается как роман воспитания чувств и опрометчивой борьбы за огонь, за сохранение мышленья тростника. Чуть печальная и насквозь ироническая проза про незримое противостояние простого интеллектуала тоскливому мироустройству, мытарному превращению в «жрущую и размножающуюся протоплазму». Плюс сказание Генкина пронизано музыкой забвения – улисов скрип уключин парома романа, плеск реки памяти, солнечный берег теней, просящих пить чего-нибудь ключевого, и основной пласт текста – спокойный разговор автора с покойной женой...

Примат духа над водой, отделение добра от бобра, а волков от козлиц и «капусты» - насущная задачка вечного Перевоза... А зов ерепенящейся крови и почвы, дыхалка почвы и судьбы, прочие там гены избранности и изгойства героя Валерия Генкина не шибко шибают и будоражат – все ж и дом привычен, и жидом не часто клучут, ну и между нами – чай, Земляной Вал не ров, а галуг не Гулаг.

Другая тема автора волнует, его влечет иной тотем – время (есть даже глава-то «Тем временем»). Текущее, сылучее, утраченное... От Блума к Свану – по веревочке бежит! Вот прустово собрание пестрых глав из данной книги: «По направлению к даче», «По направлению к

школе», «По направлению к Богу», «По направлению к другу» - словом, выплывают расписные чаепития в Комбре-Сортировочной, малаховской Трудовой. Ах, пиитические церемонии – запах миндального печенья и калорийной булочки, сахар Бродского и хрип Высоцкого!

Плавать по морю воспоминаний в одном тазу сначала с Виталиком, а потом на одних галерах с Виталием Затуловским занятие весьма занятное, хотя и времемкое. Но Перевоз не ждет, да и лоций в достатке – благо руки Марсельских матросов особенно тонки, и бумажный корабль плывет себе... И снова от Свана к Блуму, к блуканьям по топонимам, документированным метаньям по улицам, путешествиям по письмам и дневникам. Вот навскидку образчик стиля автора, так сказать, береговая вмятина, отпечаток пера на бегу: «Как принято писать – цитирую по памяти. Я все цитирую по памяти. Мы все цитируем – кто по необходимости, кто по склонности, кто ради удовольствия. Это – Эмерсон. Умница. Тем более что и само цитирование Эмерсона есть цитата из Меира Шалева. Нафаршированный цитатами, Виталик наблюдал за их поведением, когда, освободившись от окружающего текста, движением плеч скинув кавычки, они воспаряли с криком – свобода!»

Очень своевременная книга – не доморощенная времянка жистянки, а цитадель цитат, гнездовые крылатой мудрости, твердыня Интернета, и убеленный нынче Виталик – очарованный странник его! Да уж, немало в книжке Генкина, скажем так, познавательного – образно говоря, как жарить гренки, эко вычитывать гранки, какого растапливать вагранки – весь многоликий шлак и лом жизни с миром идет в дело...

Ох, бороздя книгу, вздохну на полях – сколь же разные мы все! Мне вот хочется безвылазно торчать в насыщенном чулане, колыша тучным чревом, и, чеша восторженно под кипой, неспешно комментировать «Незнайку». Зато Виталий Затуловский не ленив и любопытен, сызмальства он был почемучкой, хотел все знать и подробно рассказать, что я видел («так говорил Затуловский»). Рефреном в романе звенит: «А знаете ли вы...» Поскольку штука эта зело заразительная, то порой хочется сесть в чужие санки, под сурдинку вставить свой пятак: «А вы знаете, что у алжирского бея под самым Носом шишка? А кстати Нос – масон и эвфемизм, и была даже серия срамных гравюр и заветных сказок об интимных похождениях этого деятеля».

Но это так, вяканье по ходу, бурчанье въедливого книгоеда, а вообще книга крепка и персонажи быстры, во множестве порхая перед взором. Я мог бы страницами повествовать об их забавных выходках и причудах (галдеж, как на Привозе Академа), однако сошлюсь на автора: «Что толку вытаскивать на белый лист всю эту публику чохом». Лучше читайте сами! Помните, у Толкина есть притча «Лист работы Мелкина» - там силится нарисовать Лист, но ведь он растет на Дереве, а на горизонте видны Горы, и прочее – так образуется Картина. Вот и у Генкина вырисовывается славная Книга, словно написанная цветными мелками, выцветшими чернилами, компьютерными иероглифами.

Санки, козел, паровоз – все это не роскошь реминисценций, а средства передвижения текста (так мальчик Мотл хотел на козе объехать

местечковую Вселенную, оседлую землю обетованную). Цимес авторского послания – ехать надо! Не в смысле чтоб лететь на вокзал и молниировать, мол, выедем, а просто изо дня в день честно и талантливо пахать над собой, возделывать делянку, тянуть свою лямку, вслушиваясь в шамканье и шмаканье Единого Балагулы.

Ничего в этой жизни, на этом кратком отрезке перемещения из света в тень (душа стремится к приращенью) – не дается просто так, без усилий. Цель не видна, ништо, движенье – все! Не сиди печально, сложа крылья, а шевелись, смени плечо, окраску, измерение – хоть с крыши на чердак! Уж расстарайся, сокол, как учили раннее сочинители – переменить участь, перевесить пайку, перевернуть картину, вывернуть шубу, поискать свежее место на подушке... И помни главную заповедь Перевоза – «возлюби саночки возить».



Элиэзер М. Рабинович

Южная Африка: краткая история до 1948 года



В марте 2012 г. мы с женой посетили Южную Африку. В аэропорту Кейптауна группу из 26 североамериканцев встретил местный директор поездки Рон МакГрегор, 64 лет, оказавшийся наиболее блестящим гидом, которого мы когда-либо встречали. Профессорский вид, профессорское знание страны, автор энциклопедической книги¹, которую, купив, я буду широко использовать; кроме того, узнав о статье, он предложил неограниченно обращаться к нему с вопросами по электронной почте. Рон был в молодости либералом и, в общем, им остался с той поправкой, что возраст сильно сдвигает либерализм в консервативную сторону. Он сказал, что его цель – не просто показать нам природу, но дать и почувствовать, чем живёт страна, и эта задача ему блестяще удалась.



Наш гид Рон МакГрегор

Я начал писать статью как рассказ о поездке, но оказалось, что это трудно сделать, не обращаясь каждую минуту к истории. Я понял, что как я сам почти ничего не знал об истории страны, так, по-видимому, не знает и большинство моих читателей. Путешествие обычно излагается географически, горизонтально, тогда как история носит вертикальный характер, и глубоко два подхода совместить трудно. Поэтому я решил

¹ Ron McGregor, *The South African Story*, 2010.

сначала написать краткое изложение истории и людей в ней, а потом отдельно описать путешествие. История эта будет, в основном, историей белого человека в Южной Африке до 1948 г.

1. До европейского поселения

Похоже, что обогнуть Африку морем сравнительно легко – не сравнить с мысом Горн, который имеет славу «кладбища кораблей». Наверно, первыми это сделали финикийяне, о чём нам сообщил Геродот, называвший Африку Ливией (IV-42)²:

“Ливия же, по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает к Азии; это, насколько мне известно, первым доказал Нeko (609-593 гг. до н.э. – Э.Р.), царь Египта. После прекращения строительства канала из Нила в Аравийский залив царь послал финикийя на кораблях. Обратный путь он приказал им держать через Геракловы Столпы (Гибралтар – Э.Р.), пока не достигнут Северного (Средиземного – Э.Р.) моря и таким образом не возвратятся в Египет. Финикийяне вышли из Красного моря и затем поплыли по Южному. Осенью они приставали к берегу, и в какое бы место в Ливии ни попадали, всюду обрабатывали землю; затем дожидались жатвы, а после сбора урожая плыли дальше. Через два года на третий финикийяне обогнули Геракловы Столпы и прибыли в Египет. По их рассказам (я-то этому не верю, пусть верит, кто хочет), во время плавания вокруг Ливии солнце оказывалось у них на правой стороне”.

Мы не всегда доверяем Геродоту, который жил лет на 150 позже описываемых событий, но как раз его оговорка о том, чему он не верит, нам доказывает подлинность события. Ибо солнце с правой стороны (очевидно, при движении с востока на запад)? Какой же культурный человек поверит таким бабушкиным сказкам для плоской неподвижной Земли?! Не наш автор, а *«пусть верит, кто хочет»*. Хотим и поверим – мы, потому что мы знаем, что оказавшись в южной части Африки, пересекшие экватор моряки и не могли увидеть Солнце нигде, кроме как справа, на севере. Если бы Геродот узнал это и если бы он ведал Данте, он, наверно, сказал бы:

*Объ истине, приявшей образ лжи,
Чтоб без вины осмеян не был с нею,
О человек, поведать не спеши!*
(Ад, XVI-124-126, Перевод Д.Е. Мина)

Когда через две тысячи лет великие морские державы Европы – Португалия, Британия, Голландия (Испания направила свой поиск в другую сторону) – начали искать восточный путь морем в Индию, им нужно было проделать маршрут финикийян в обратную сторону. Но стало ясно, что кораблям надо где-то передохнуть. Команда португальца Бартоломео Диаса первой из белых в феврале 1488 г. ступила на землю, которую их лидер назвал Мысом Доброй Надежды (МДН). Команда была на грани бунта, и Бартоломео Диас не мог долго продолжать. Он увидел, что от МДН земля резко поворачивает на север, опустил руку в воду, нашел её теплой, решил, что это Индийский океан и повернул назад в

²Геродот, История в девяти книгах, стр. 197, «Наука», Л., 1972.

Португалию. На самом деле это был залив Атлантики, который из-за ошибки Диаса мы сейчас называем Ложным заливом. МДН – не самая южная точка Африки, как многие думают (см. более подробную карту ниже), такой точкой является мыс Игольный, примерно 150 км юго-восточнее МДН, на другой стороне залива.

Васко де Гама обогнул южное побережье Африки, 25 декабря 1497 г. приземлился на восточном побережье, которое он в честь дня приземления назвал Наталь – Рождество по-португальски, и затем он первым достиг Индии.



Современная карта Ю. Африки



Карта Ложного залива. Мыс Доброй надежды – слева

В отличие от распространённого мнения, на берегу не было чёрного населения. Древняя миграция чёрных, которые выращивали кукурузу и пасли коров, была остановлена более тысячи лет назад полупустынным климатом юго-западной Африке, где, как в Средиземноморье, дождь бывает только зимой или не бывает совсем, так что нет травы для скота. На южном берегу жило коренное население Хоихои, люди иной расы, много светлее, чем чёрные, с иной структурой волос. Особенностью их анатомии была «стеатопигия» - собирания жира в бёдрах и ягодицах, который использовался в голодные времена. Хоихои разводили овец и коз. Поскольку их язык включает щёлкающие звуки,

голландцы называли их «готтентотами», что означает «заика». Я буду использовать это более привычное для нас слово с оговоркой, что я понимаю, что для современного готтентота оно может звучать подобно «жиду» для евреев. Готтентоты поначалу не были враждебны к португальцам, но в 1510 г. произошла ссора и резня белых. Португальцы к этому времени уже установили колонии в Мозамбике и Анголе и решили, что обойдутся без мыса.

Следующими были англичане – известный авантюрист и пират Франсис Дрейк проплыл мимо мыса в 1580 г. без высадки. Затем (1615) английская торговая компания убедила правительство дать ей десять приговоренных к повешению и высадила их как своих работников на мысе, чтобы посмотреть, могут ли там прижиться англичане – это был полный провал. Когда позднее англичане всё же решили, что им нужна станция по дороге в Индию, они избрали необитаемый остров Св. Елены.

Итак, через 150 лет после плавания Васко де Гамы ни одна европейская держава ещё не заявила о своих правах на южно-африканское побережье, хотя европейцам того времени и в голову не приходило, что природное население может иметь права. В 1647 г. в заливе у будущего Кейптауна потерпел крушение корабль «Гаарлем» голландской Ост-Индской компании, и история белого поселения в Южной Африке началась.

2. Первые голландцы

Я сразу сделаю список шести крупных фигур – пяти голландцев и одного британца, вокруг которых построю рассказ о южноафриканской истории белых до 1948 г. (русское написание имён – по Википедии, кроме имени «Smuts», которое там необоснованно дано как «Смэтс»):

Ян ван Рибек – 1619-1677;
Симон ван дер Стел – 1639-1712;
Андрис Преториус – 1798-1853;
Сесиль Джон Родс – 1853-1902;
Пауль Крюгер – 1825-1904;
Ян Христиан Сматс – 1870-1950.

Никто из моряков не погиб при крушении «Гаарлема», и они смогли выгнать на берег значительную часть груза. Но они понимали, что застряли по крайней мере на год до следующего корабля. Хои-хои не были враждебны, у голландцев было, что менять, и они приготовились к длительной стоянке. И оказалось, что жить на этом берегу совсем неплохо! Климат был хорош, земля плодородна. По возвращении капитан рекомендовал компании установить около мыса постоянную станцию отдыха для кораблей, направлявшихся в Индию. Компания приняла предложение, и в 1652 г. направила три корабля во главе с Яном ван Рибеком, который и стал основателем города Кейптаун.

Кейптаун находится на севере Капского полуострова, на юге которого – мыс Доброй Надежды. Когда-то земля была островом, но за миллионы лет нанесло песок, и территория стала полуостровом; это то, что называется “Cape Flats” – «плоскости», непригодные для земледелия, с ветрами, трудные для лошадей и экипажей. В 1840-х специальные деревья, растущие на песке, были привезены из Австралии, которые

укрепили пески «плоскостей» и сделали их пригодными для промышленности и жилья. А позади города возвышается Столовая гора, и районы вокруг неё – наиболее желанные для обитания в момент основания города и сегодня.

Ван Рибек был единственным человеком, которому компания разрешила взять с собой жену. Остальным – нет. И через 9 месяцев началось исчезновение нации готтентотов на южном берегу: родился первый ребёнок расы, которую сегодня называют «цветными». Надо сказать, что исчезновение не было таким уж «добрым»: готтентоты в массе гибли от европейских болезней (как индейцы в Америках), от быстро приобретенного пристрастия к алкоголю, которого они раньше не знали. Сегодня более или менее чистые готтентоты остались на севере и северо-западе в Намибии – на южном берегу Африки они давно перемешаны.



Кейптаун. Столовая гора и вид со Столовой горы на «Сады» внизу и на «Плоскости» вдали (фото автора)

Позднее появился дополнительный компонент крови и культуры: индонезийские рабы-мусульмане. Компания была достаточно мудра, чтобы запретить обращение в рабство местного населения, хотя голландская Вест-индская компания перевозила чёрных рабов из Африки в Америку. Но для южной Африки рабов привозили из голландской Ост-Индии (теперешняя Индонезия). Сегодня в Кейптауне есть т.н. «Малайский квартал» с мечетями, мусульманскими магазинами и ресторанами; они не в меньшей степени коренное население, чем белые.

У прибывших работников был контракт на 5 лет. Когда у первых из них истёк срок, они пришли к ван Рибеку и сказали, что в Голландии им делать нечего, для них там не будет работы. А вот если бы губернатор дал им землю, они остались бы в качестве частных граждан. Компания утвердила план, ван Рибек выделил земли на востоке от поселения, и появились первые фермеры. Фермер по-голландски: boer – бур, и так появилось в Африке это впоследствии знаменитое слово.

Ян ван Рибек не любил Африку, отслужил 10 лет и в 1662 г. удалился на покой в Ост-Индию. Несколько других губернаторов служили после него, не оставив заметного следа, пока в 1679 г. не появился полный энергии Симон ван дер Стел. Если ван Рибек по каждому поводу писал в компанию, прося разрешения, ван дер Стел нередко сначала действовал, а потом извещал 17 Лордов компании. Он инициировал расширение и укрепление колонии. Во времена апартеида не

очень афишировалось, что этот яркий правитель, был «цветным»: его отец был голландцем, а мать – освобожденной рабыней-индианкой³. Поскольку «плоскости» около города были мало пригодны для земледелия, Ван дер Стел поехал в глубь страны. Примерно в 50 км на востоке он нашел реку, которую назвал рекой Эрсте («Первой» рекой). Там он основал город, «скромно» назвав его своим именем - Стелленбос.



Статуя основателя Кейптауна Ян ван Рибек
на вокзальной площади города

Земля вокруг Стелленбоса была поделена на фермы. Виноград не был обычной культурой, но этому мечтателю виделось африканское вино, и он поощрял посадку лозы. А для бочек он насадил дубы европейского типа. Виноград рос, вино легко было сделано. С ним было две проблемы: его было невозможно пить, а быстрорастущие в этом климате дубы давали пористую древесину, так что из бочек вино испарялось. Конечно, вино не выливали – рабы и матросы и его пили, но для губернатора и его окружения вино привозилось из Европы.

Так и осталась бы Ю. Африка «невинной» страной, если бы в 1685 г. Людовик XIV не отменил Нантский эдикт, обещавший французским гугенотам свободу вероисповедания. Началась резня, протестанты бежали в более терпимые страны и переполнили маленькую Голландию. Ост-Индская компания объявила, что даст землю каждой семье гугенотов, которая пожелает переселиться в Капскую колонию.

Это – один из примеров того, как малое количество людей способно привести к большим изменениям. 160-180 переселенцев, включая женщин и детей, т.е. 30-40 семей, приняли предложение и предстали перед ван дер Стелом. Он не хотел образования отдельной французской колонии и разбросал французов так, что их земли были окружены землями голландцев. Губернатор справедливо полагал, что при отсутствии разницы в религии соседская молодежь переженится, и французы ассимилируются в течение пары поколений. То, что

³ Wikipedia, Simon van der Stel.

голландский был единственным официальным языком, способствовало ассимиляции.



Симон ван дер Стел, портрет работы Питера ван Анредта (не позже 1678)⁴

Так что Ю. Африка осталась без французов, но – с вином. Ибо французы знали, как важна в период брожения сравнительно постоянная прохладная температура. Они зарывали бочки в землю или увозили их в горы. А бочки и сегодня импортируют из Европы. Но добрые французы выжили в сохранившихся названиях городков в долине, называемой Долиной Гугенотов, неподалеку от города Паарл.

Семнадцать Лордов не были довольны непонятной им активностью губернатора – созданием им как бы «империи», тогда как его основной задачей было обслуживание кораблей на пути в Индонезию. Они послали «ревизора» - барона Дранкенштейна с полномочиями менять любые решения ван дер Стела. Правитель взял барона в поездку по району Стелленбоса, объясняя планы будущих поселений, где будут выращивать виноград, пшеницу, овец. Барон был в восторге, отплыл и посоветовал компании оказать губернатору полное доверие и поддержку. В благодарность одна из гор вокруг города названа «Дранкенштейн».



Мы привезли две бутылки: белое из Стелленбоса (слева),
красное – из Констанции

Стелленбос сегодня - блистательный университетский город с преподаванием, в основном, на языке африкаанс (в аспирантуре – на

⁴<http://www.wine.co.za/news/news.aspx?NEWSID=20570>; художник Pieter van Anraedt.

африкаанс и английском, в зависимости от состава студентов). В университете более 26 тысяч студентов; 68% из них – белые. Все премьер-министры страны с 1910 до 1979 г. были выпускниками этого университета. Здесь находится одна из сильнейших в мире команд по регби. Стелленбос называется также «городом дубов». Дубы охраняются законом, и если дуб стоит на пути строительства нового дома, архитектор должен провести дерево через здание.



«Город дубов» Стелленбос. Дуб проходит через здание (фото автора)

Симон ван дер Стел прослужил 20 лет и вышел в отставку в 1699 г. Благодарная компания предложила ему имение в Голландии, но он решил остаться в колонии, где у него было имение позади Столовой горы, дарованное за несколько лет до отставки. Он назвал его «Констанция» - никто не знает в честь кого. Он жил ещё 13 лет и делал в Констанции вино легендарного качества. Его имение давно разделено, и сегодня это наиболее дорогой жилой район Кейптауна. Но винодельня осталась, и вино Констанции по-прежнему самого лучшего качества.

Поселенцы всё меньше чувствовали связь с Голландией, где они не родились и никогда не были. Все больше и больше они называли себя по роду своего фермерского занятия – бурами. Их язык стал отдаляться от голландского, он впитал в себя немало малайских, португальских и готтентотских слов, и голландцы порой презрительно относились к нему как к «кухонному голландскому». В середине 19-го века началась стандартизация языка, названного «африкаанс», кодификация грамматики, составление словарей. В 1876 г. в Паарле стала издаваться первая газета на африкаанс, и по этому поводу в городе поставлен памятник языку⁵. Появилась литература. В 1878 г. были сделаны первые переводы Библии, но полный текст был опубликован только в 1933 г. и переиздан, с исправлениями, в 1983. Тем не менее, при образовании Южно-Африканского Союза в 1910 г. официальными языками были названы английский и голландский, и только в 1925 г. последний заменяется на африкаанс. Сегодня на африкаанс говорят также и в Намибии. Сохраняется значительное взаимное понимание между голландским и африкаанс, особенно в письменном виде.

⁵Википедия, Африкаанс.

3. Появляются англичане

Во времена французской революции Голландия считалась естественным союзником Британии. Но когда в 1795 г. французские войска вошли в Голландию, население охотно приняло их. Бежавший в Англию голландский принц Вильям V дал англичанам письмо, разрешающее им занять Капскую колонию.



Памятник языку африкаанс в Паарле

Когда английской флот прибыл, Капские власти заявили, что они подчиняются только Ост-Индийской компании, а не принцу, так что англичанам здесь делать нечего. Англичане силой захватили колонию и держали её в течение 6 лет. За это время Ост-Индийская компания обанкротилась (1800), но в 1802 г., во время недолгого мира между Англией и Францией, территория была отдана правительству Голландской республики. Затем Англия и Франция вновь оказались в состоянии войны, и 10 января 1806 г. Англия силой захватила колонию, на этот раз – навсегда. Во время Венского конгресса 1814 г. Голландия, как союзник Наполеона, не была в состоянии предъявлять требования. Она потеряла Капскую колонию, получив от Англии два миллиона фунтов в качестве компенсации. Индонезия осталась за Голландией.

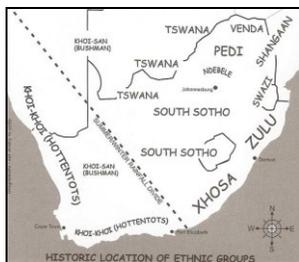
Центральной улицей Кейптауна является ул. Эддерли. Как и в честь кого она была названа? В 1849 г. англичане решили, по примеру Австралии, отправлять в преступников в Капскую колонию. Население было в ярости, но не имело никакой власти для запрета. Когда первые 300 преступников прибыли, население объявило бойкот и отказалось от поставки продовольствия.

В Лондоне собрался парламент, и вначале большинство было против уступок колонии. Но затем член Палаты общин Чарльз Эддерли произнес убедительную речь против отправки заключенных, кораблю было приказано отплыть из Кейптауна в Австралию – в последний раз,

поскольку было решено прекратить будущую отправку и туда. Благодарные жители назвали главный проспект именем Чарльза Эддерли.

4. Белые и чёрные встречаются

Мы уже отмечали, что черные – такие же пришельцы на юге Африки, как и голландцы. Антропологи называют черных Африки, живущих южнее Сахары, «банту», хотя слово стало обидным после его использования режимом апартеида. Юго-запад страны из-за малого выпадения дождей и только зимой мало пригоден для земледелия. Земледельческие нации банту жили к северо-востоку от этой линии.



Историческое расположение этнических групп до белого поселения

Пунктиром показана линия раздела между зимним (юго-запад) и летним периодами дождей.

Самыми большими банту нациями здесь являются ко́са, зулусы и свази, которые понимают языки друг друга, хотя произношение отличается. Из 49 млн. сегодняшнего населения страны 40 млн. черных, из которых коса и зулусы насчитывают по 7 млн.; все остальные группы существенно меньше по численности.

А в момент заселения Капской колонии белыми рядом находились только готтентоты. Но когда фермеры-буры двинулись на восток, они пришли в соприкосновение и конфликт с коса. Голландские, а затем и английские власти пытались установить границу между белыми и коса по Великой Рыбной реке. Проблема была в том, что, сколько бы соглашений коса не подписали, они их не выполняли. Во-первых, само понятие границы в европейском смысле было чуждо коса, и если у них не хватало пастбища на их стороне реки, они не понимали, почему им нельзя перейти на другую. Во-вторых, вожди не могли контролировать свой народ. Для молодых воинов кража скота у буров была делом чести. Буры совершали ответные нападения, забирали скот с излишком, часто не тот, который был у них взят. В 1812 г. новый британский губернатор лорд Чарльз Сомерсет появился в колонии и решил организовать массовую миграцию британцев, нередко безработных после окончания наполеоновских войн, в район южнее Великой Рыбной реки. Каждой семье давалось по 100 акров земли (= 40.5 гектаров) и мешок семян пшеницы. Буры помогали, но они полагали совершенно неадекватным

меньше чем 6 тысяч акров – около 2400 га. К тому же, британские поселенцы сельского хозяйства не знали.

Буры были правы в своем скептицизме, и этот проект провалился как в отношении ферм, так и в решении укрепления границ. Коса мешала британцам еще больше, чем бурам. Так что те ушли от границ и основали город ремесел Грейамстаун, и это поселение оказалось весьма успешным.

К 1847 г. англичане отказались от идеи границы с коса. Они напали и присоединили земли коса к Капской колонии, но в целом девять войн были сыграны на территории в течение XIX века, прежде чем коса признали поражение и приняли слияние. Этому способствовало событие, чем-то по своей нелепости и трагизму напоминающее историю салеминых ведьм в Америке. В апреле 1856 г. девушка-коса с непроносимым именем – что-то вроде Нонгквузе – поглядела в воду пруда, где ей явилось видение, которому тут же поверили и вожди, и простые люди. Духи древних сказали ей, что коса должны убить весь свой скот и прекратить работу на земле. И день придет – 11 августа, когда кроваво-красное солнце и ветер сметут белых в море, мертвые оживут, урожай сам появится на полях, готовый для жатвы, и здоровый скот заполнит хлева.

В ужасе смотрели белые на уничтожение скота. Они умоляли коса прекратить – те только смеялись, уверенные, что белому владычеству скоро конец. Голодные, но лишённые сомнений, они укрепляли хижины против ожидаемого сильного ветра.

11 августа пришло, и ничего не случилось. Нонгквузе ничуть не была смущена. Она объявила, что это наказание за недостаточную веру – некоторые люди посмели спрятать скот! Она назначила новую дату – 18-е февраля 1857 г., и вождь повторил приказ об уничтожении скота. Когда и в феврале ничего не произошло, вождь отменил пророчество, но десятки тысяч к этому времени умерли от голода. МакГрегор пишет, что около 200 тысяч голов скота было уничтожено, а население коса упало со 105 до 34 тысяч, т.е. более 70 тысяч умерло! Wikipedia⁶ сообщает о 400 тысячах скота и 40 тысячах умерших от голода людей. В любом случае, это была страшная катастрофа, и коса перестали существовать как военная сила – остатки гордой нации воинов бросились к белым, прося еды и работы. В результате, однако, они пришли в больший цивилизационный контакт с белыми и позднее встали во главе борьбы черных за равноправие. Из коса вышло большинство лидеров Африканского национального конгресса и такие лидеры как Нельсон Мандела и архиепископ Туту.

Но еще до этих событий буры решили, что их растущим семьям никогда не будет достаточно земли в Капской колонии и что англичане не сумеют защитить их от коса. Они решили уйти.

5. Великий трек и преобразование Буров в нацию (1834-1854)

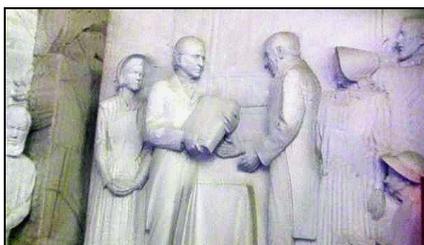
(Фото Монумента Великому треку в Претории и фриза в нем – автора)

К тому времени, которое мы обсуждаем, Капская колония состояла из спокойного запада и бурного, в постоянных конфликтах,

⁶Wikipedia, History of Cape Colony from 1806 to 1870.

востока. Т.н. “Cape Dutch” – голландцы района Кейптауна, которых мы сегодня называем «африканерами», были жизнью, в основном, довольны. Теоретически они хотели бы независимости, но вторжение англичан не понизило их уровень жизни, и они признавали, что англичане – неплохие администраторы. Но бурам – фермерам на востоке – постоянные войны надоели, тем более что англичане не позволяли им расширяться за реку. Не радовала их и отмена англичанами рабовладения в 1834 г.

Буры не были широко образованы, но в каждой семье была, как минимум, одна Книга. По ней учили грамоте, по ней учили жизни. Они хорошо знали историю исхода из Египта. Они решили уйти от океана вглубь континента и найти земли на севере, где ни англичане, ни коса не будут вмешиваться в их жизнь. Подобно Моисею, они послали разведчиков.



Книга, по которой учили грамоте и жизни



Трекеры покидают Капскую колонию

Интересно сравнить тех и этих посланцев. Моисей отправил 12 соглядатаев (*Числа, гл. 13-14*). Через 40 дней они вернулись и привезли роскошные плоды земли, текущей, по их словам, молоком и медом. Но десятеро из них, кроме Иехошуа бин Нуна и Калева бен Иефунне, предостерегали против вступления в землю, на которой живут другие сильные народы. Люди перепугались, стали требовать возвращения в Египет. В ярости Б-г сказал, что народ не войдет в обетованную землю в течение 40 лет, пока не вымрет это трусливое поколение, за исключением Иехошуа бин Нуна и Калева бен Иефунне.

Посланцы буров тоже вернулись с хорошими новостями в отношении качества земли. Они увидели, что войны между племенами

привели к резкому уменьшению плотности туземного населения, так что много плодородной земли оставалось для заселения. Они умудрились как-то не заметить зулусов и не предвидеть, что без жестоких войн и это переселение не обойдется. Буры двинулись на север. За два года (1834-36) шесть тысяч человек переехали. Этих первых переселенцев впоследствии стали называть Voortrekkers – «пионерами»; также называли и первых американцев.

Они собирались в городах юга и образовывали партии, в которых бывало до ста семей. У них были вагоны, каждый из которых тянули 16 быков. Все их домашнее имущество и семьи ехали в вагонах. Большие стада сопровождали пастухи-готтентоты. Этот огромный поезд передвигался со скоростью менее 10 миль (16 км) в день. Еда добывалась охотой.

Поведение туземных племен было различным. Некоторые вожди приветствовали переселенцев и охотно давали землю; другие «отдавали» не свою землю, делая из белых щит и буфер. Во время одной из битв, начатой племенем Матабеле, отступавшее племя увело с собой богатую добычу скотом, включая всех тягловых быков, и троих детей, которые никогда не были найдены. Главе группы Хендрику Потгитеру пришлось посылать за помощью на юг, откуда были доставлены новые быки. В новой битве более 3000 человек из Матабеле были убиты, и все племя покинуло Трансвааль и ушло на север, туда, где позднее была образована Родезия. Потгитер объявил землю собственностью буров по праву захвата и основал государство, куда стекалось много буров с юга. Стали возвращаться и черные, но они могли вернуться только как рабочие, а не как владельцы земли.

Другая группа, первоначально из ста вагонов, двигалась под руководством Пита Ретифа. Сначала они шли вместе с Потгитером, но затем два лидера разошлись во мнениях о направлении – Ретиф хотел идти в Наталь, к берегу Индийского океана. Потгитер предостерегал Ретифа, говоря, что англичане обязательно будут заинтересованы в побережье, и что тамошние зулусы куда воинственнее Матабеле и житья не дадут. Ретиф отвечал, что англичане ясно сказали, что Наталь их не интересует, а те англичане-торговцы, которые жили в Дурбане, имели прекрасные отношения с зулусами. Ретиф полагал, что нет причин против дружбы между бурами и зулусами.

В октябре 1837 г. две группы разошлись, причем за Ретифом уже шло более тысячи вагонов – его веселый характер больше привлекал людей, чем мрачноватый Потгитер, да и берег казался куда привлекательнее глубинки. А Потгитер оказался прав во всех отношениях.

Остановив группу, Ретиф с другими лидерами пошел в столицу зулусов для встречи с королем Дингане. Последний был приветлив, обещал землю, но поставил условие, чтобы буры добыли ему скот, уведенный другим племенем. Ретиф вернулся к своим, рассказал, как легко иметь дело с королем, и приказал группе спуститься с гор в теплую долину и ждать его. Они легко отвоевали скот и привели его к Дингане. Ретиф абсолютно доверял королю, взял с собой 66 буров, включая своего 14-летнего сына и 30 слуг.

Дингане устроил несколько дней пиршеств, потом подписал с Ретифом договор, дарующий бурам территорию, затем продолжил пиры. Буры отбросили всякую осторожность, настолько дружелюбны были их хозяева.



Ретиф и Дингане подписывают контракт. Слева от Ретифа – его сын



«Убить чародеев!» Ретифа заставляют смотреть на казни

Жили неподалеку другие белые – миссионер со служанкой и некий Вильям Вуд, торговец, охотник на слонов, знаток местных языков. Он слышал разговоры зулусов и пытался предостеречь Ретифа, но его не приняли всерьез, потому что ему было... всего 14 лет.



Андрис Преториус⁷.

Дингане бурам – танцы, увеселения, и вдруг команда: «Убить чародеев!», и всех их схватили, привели на холм и убили дубинками и

⁷Wikipedia, Andries Pretorius.

колями. Ретифа заставили смотреть на казнь сына и товарищей и убили последним. Тела бросили на растерзание диким зверям. Миссионер и Вильям Вуд в ужасе смотрели издали, не имея возможности помочь. Это было 6 февраля 1838 г.



Буры приветствуют появление Преториуса (в центре слева)

Затем Дингане послал армию против поселенцев в долине, и зулусы застали их врасплох. 40 мужчин, 56 женщин, 185 детей и 200 слуг были зарезаны. Потгитер примчался на помощь, сказал: «Я вас предупреждал», но принял командование. Однако группа назначила и своего командира – лидеры не поладили, буры опять проиграли, причем опять из-за того, что не слушали Потгитера – взбешённый, он уехал к своим. Необходимо было найти нового лидера. По счастью, он уже мчался с юга на помощь.



Модель 64 соединенных вагонов, которые Преториус повёл на «Кровавую реку» (Монумент)

Андрис Преториус был богатым образованным фермером, и его земли на востоке Капской колонии были далеки от коса. Он ладил с англичанами, и у него не было причин для трека, хотя время от времени он посещал лагеря. Он был дружен с Питом Ретифом. Когда Преторис услышал о несчастье, он продал свою ферму, бросился к группе Ретифа и был немедленно избран лидером. Его первой задачей была месть.

В конце ноября он повёл группу из 464 человек, 64 скрепленных вагонов, с двумя пушками, вверх по реке Блаукранс по направлению к земле зулусов. 15 декабря они установили лагерь. 16-го - молились и

покаялись в случае победы поставить на этом месте церковь. В тот же день на них налетело около 14 тысяч зулусов – соотношение 28:1.



Битва с зулусами на Кровавой реке. Ружьё сильнее копий

Поражение зулусов было полным. Более трех тысяч погибли, некоторые падали в реку, и, говорят, она окрасилась в красный цвет – с тех пор она называется Кровавой рекой. Потери буров – ноль, только трое раненых, включая Преториуса. «День клятвы» («The Day of the Vow») 16 декабря стал самым важным праздником бурского национализма. С 1994 г. он называется «Днем примирения» («The Day of Reconciliation»⁸) и остается одним из основных праздников страны.



Памятник битве на Кровавой реке

Трекеры двинулись к столице Дингане, который бежал в Свазиленд, куда Преториусу не было доступа. Подойдя к сожженной столице зулусов, Преториус нашел останки тел Ретифа с товарищами. Зулусы разделились, и большая часть хотела мира с бурами, но последние не были готовы его принять, пока Дингане жив. Войска королевы

⁸ Wikipedia, Day of Reconciliation.

Свазиленда и зулусов под руководством полубрата Дингане Мпанде совместно напали на жилище Дингане и убили его. Преториус помог Мпанде стать признанным королем зулусов, и тот правил в мире с бурами в течение 30 лет.

Трекеры провозгласили Республику Наталь, но как и предвидел Потгитер, англичане через 4 года аннексировали ее и присоединили к Капской колонии. Трекеры ушли обратно вглубь, за горы, заявив, что не останутся, пока не будут свободны от англичан. Большинство осело в Трансваале, другие образовали союзную с ним Оранжевую Свободную республику. В 1852 и 1854 гг. Британия подписала с ними соглашения, признающие независимость обеих республик нации Буров. В 1855 г. первый президент республики Трансвааль Мартин Вессел Преториус, сын недавно умершего Андриса, основал столицу Трансваала. Не было спора о том, как она должна быть названа: Претория. Оранжевая республика построила столицу Блумфонтейн.

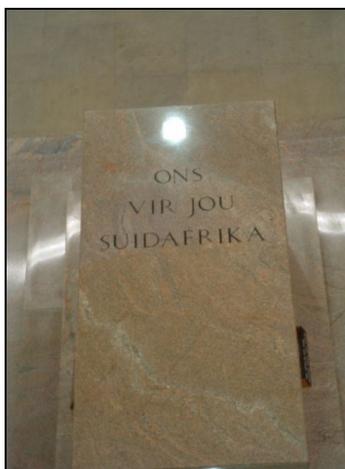


Монумент Великому Треку (Voortrekker Monument) у Претории

5.1. Монумент Великому Треку (Voortrekker Monument)

Претория и сейчас – центр бурского национализма, хотя буры уже давно называются африканерами. На холме у города - Монумент Великому Треку, и потомки пионеров ежегодно собираются там в «День клятвы» 16 декабря. В тот день в полдень солнце через окно в потолке падает точно в центр, где находится сенотаф - символическая могила пионеров, погибших с Ретифом. Монумент был заложен⁹ 16 декабря 1938 г. внучкой Преториуса и правнучками Ретифа и Потгитера, а завершен и открыт премьер-министром Маланом 16 декабря 1949 г. Архитектор – Джерард Мордик. Внутри - огромный фриз из итальянского мрамора, который описывает рассказанную выше историю, и сцены из него я использовал для иллюстрации рассказа. Снаружи вокруг - статуи героев Трека и «Женщина с детьми» – символ устойчивой семьи. Внизу – модель 64 вагонов, взятых Преториусом на битву.

⁹Wikipedia, Voortrekker Monument.



Сенотаф – символическая могила Ретифа и его товарищей с солнечным пятном в полдень 16 декабря



Андрис Преториус – памятник снаружи Монумента



Женщина с детьми – символ стабильности семьи и жизни

Наш гид в Претории – молодой африканер, финансовый аудитор по специальности, Альберт; он подобрал нас в свой миниавтобус из отеля в северном пригороде Йоганнесбурга. Оба города сейчас практически сливаются.

Я спрашиваю, как нынешнее правительство относится к Монументу – в общем-то, памятнику агрессивной экспансии и неравенству. «Как к нашей общей истории, которая была и которую мы все должны знать». Я: «Посещают ли Монумент англичане?» «Да, изредка. Не так активно, как мы». «Чёрные?» «Никогда не видел ни одного». Наш миниавтобус спускается, а навстречу на холм поднимается группа чёрных всадников, по-видимому, зулусов, явно высшего среднего класса. «О, - восклицает гид. – Я это вижу впервые. Возможно, мы все начинаем понимать, что наша история – общая история».



Молодые зулусы едут к Монументу.

Гид: «Я это вижу впервые. Возможно, мы все начинаем понимать, что наша история – общая история»

6. Алмазы. Сесиль Джон Родс (1853-1902)

Это очень богатая страна, в которой сначала были открыты алмазы, а затем – золото. Алмазы - в районе Кимберли, чуть-чуть на запад от Оранжевой республики. Сесиль Джон Родс, болезненный 17-летний юноша, был отослан семьёй в Ю. Африку для поправления здоровья в более сухом климате. Там уже был его брат, безуспешно пытавшийся выращивать хлопок. В 1871 г. братья двинулись в Кимберли, но было поздно добыть там индивидуальный участок, поскольку территория уже была разделена на тысячи кусочков.

Так что Сесиль стал поставлять землекопам лёд в этом жарком сухом месте. Затем он заметил, что они нередко натываются при копании на воду. Родс скупил все насосы, которые мог достать, и начал оказывать услуги по откачке воды. Очень скоро он мог начать скупать сами участки. Он понял, что малые участки не принесут успеха – нужны большие площадки, где можно использовать тяжелое оборудование для раскопок. Вскоре Родс стал одним из наиболее крупных шахтовладельцев, и он назвал свою шахту Де Бирс (De Beers) по имени бурских братьев, на

ферме которых были найдены первые алмазы. Буры ничего в алмазах не понимали, были рады продать свой участок за 6 тысяч фунтов и съехать.

К 20 годам Родс был достаточно богат, чтобы исполнить свою мечту об образовании в Оксфорде. Нужды здоровья и бизнеса заставляли его часто прерывать учебу и возвращаться в Африку, но он не сдался и закончил университет в 1881 г. К 1887 г. в Кимберли осталось две большие компании – Де Бирс Родса и Кимберли Централ, которой владел некто Барни Барнато. Родс уже мог купить компанию Барнато за гигантскую сумму в 5 миллионов фунтов плюс услуга, без которой Барнато не соглашался на продажу: Родс выхлопотал ему, еврею, приглашение в джентльменский клуб Кимберли. Новая компания Родса называлась De Beers Consolidated Mines, и это то название, под которым она известна и сегодня.



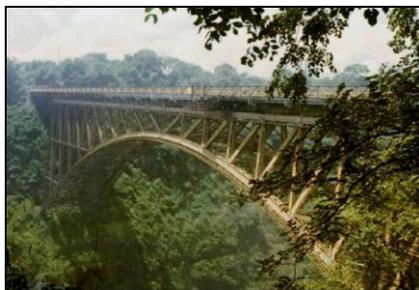
Карикатура на Родса после объявления им планов телеграфа от Кейптауна до Каира

Сесил Джон Родс был империалист, и охотно называл себя этим словом¹⁰. Он был архи-империалист, империалист par excellence, гордый и не сомневающийся британский империалист. Он полагал, что нет на свете более высокого гражданского состояния, чем английский джентльмен; что британский образ жизни и правления - лучшие в мире. Что-то вроде этого думала и Маргарет Тэтчер, которая однажды заметила, что в 20-м веке все проблемы пришли с континента, а все решения – от англоязычного мира. Родс мечтал об Африке, где такой образ жизни будет у всех; об Африке, объединенной под британским флагом от Каира до Кейптауна, и это в то время, когда почти половина континента была уже не в британских руках. Он даже обдумывал план мирового господства для Великобритании, при котором и Соединенные Штаты вернулись бы в Империю. И глядя в ночное небо, как-то пошутил: «Подумайте, эти звезды – огромные миры, которые мы никогда не достигнем. Я бы аннексировал планеты, если бы

¹⁰Wikipedia, Cecil Rhodes; Википедия, Родс, Сесиль Джон.

мог; я часто думаю об этом. Меня печалит видеть их такими ясными и все же далекими».

Он поехал на север, установил отношения с вождями Матабеле - народа, изгнанного бурами с юга, за свой счет послал туда английских поселенцев – британское правительство не было уверено в своем одобрении и не было готово платить - и основал страну, которую в честь него назвали Родезией – позднее Северная и Южная Родезия, сегодня – Замбия и Зимбабве. Трудно не прийти в восхищение от силы его мечты, глядя на осуществленную часть нереализованной железной дороги до Каира: мост через реку Замбези – сразу за водопадами Виктория, сейчас – граница между Зимбабве и Замбией. Родс просил инженеров сконструировать его так, чтобы «поезда, проезжая, были обрызганы водопадами». Строительство началось через 2 года после смерти Родса, и мост был открыт в 1905 г. В апрельское полноволие 2012 г. мы смотрели на мост со стороны Зимбабве, мокрые от брызг. Родс был бы доволен. Там же, в теперешней Зимбабве, он усмотрел холм, который назвал «Видом на мир», и сказал, что хочет быть похороненным там. Там он и лежит.



Часть мечты Родса, воплощённая в металл:
железнодорожный мост через реку Замбези¹¹

Когда в Трансваале было открыто золото, Родс был и здесь, основав одну из главных компаний по добыче. Он был избран в парламент Капской колонии, и в 1890 г. становится её премьер-министром. О довольно бесславном завершении этой части карьеры мы поговорим в следующей главе. Человек такой бешеной активности (при том, что у него было большое сердце, и он знал, что может умереть в любую минуту) не мог нравиться всем. Марк Твен, который в принципе не был сторонником имперских амбиций, писал¹²: *«Я совершенно уверен, что кем бы ни был мистер Родс – достойным поклонения идеалом и патриотом (как полагают многие) или исчадием Ада (как считают остальные), - он всё равно остается самой внушительной фигурой Британской империи за пределами Англии. Он – единственный из*

¹¹Wikipedia, Victoria Falls Bridge.

¹²Владимир Гаков, Строитель всемирной империи Сесил Родс, <http://www.liveinternet.ru/community/2281209/post108147262/>

британских колониальных политиков, чьи действия и поступки тщательно фиксируются... и чьи высказывания без малейших сокращений передаются по проводам во все концы земли». А в другой момент тот же Марк Твен заметил: «Я восхищён им настолько, что готов купить кусок веревки для коллекции, когда придёт его время» (быть повешенным – Э.Р.).



Сесиль Джон Родс - премьер-министр Капской колонии (1890-1896)

Понятно, что Родс стал одним из самых богатых людей планеты. Много денег он потратил на свои имперские мечты. Семьи у него не было, он умер в возрасте 48 лет, был щедр к друзьям при жизни, и все богатство было оставлено нации: университет Кейптауна стоит на его землях; больница, в которой д-р Кристиан Барнард в 1967 г. произвел первую пересадку сердца; национальный ботанический сад, резиденция Президента. И, конечно, исключительно престижные стипендии Родса, которые в течение более 100 лет позволяют талантливым молодым людям всего мира учиться в аспирантуре Оксфорда. Бывший президент Билл Клинтон, сенатор от Нью-Джерси Билл Бредли были среди получателей этой стипендии, но большинство стипендиатов не так знаменито.

Глядя на Африку и империализм с позиций 21-го века, мы можем заключить, что Родс, которого порой называли Джорджем Вашингтоном Южной Африки, провалился. Сегодняшняя Африка мне представляется – по газетам и радио – континентом абсолютного провала в гуманистическом отношении. А собственное, не газетное, впечатление от поездки в Южную Африку – страну первой пересадки сердца – показало и её как страну без будущего. Но даже если Сесиль Родс провалился, то трудно не прийти в восхищение от мощи этой фигуры и мощи попытки. Если это – провал, то провал по Тютчеву:

*Мужайтесь, боритесь, о, храбрые друзья,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!*

*Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.*

*Пусть Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.*



Памятник Родсу в «Садах» Кейптауна. Он указывает рукой «верную дорогу» - только на север!

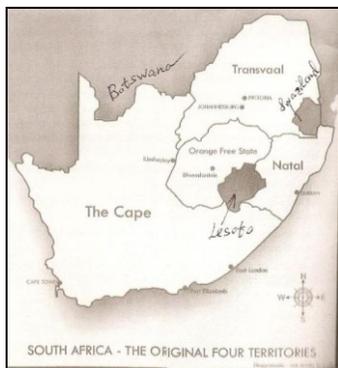
7. Борьба за создание Южно-Африканского Союза – ЮАС (1877-1910)

Разорванная на куски, похожая на заплаты, Южная Африка в начале последней трети 19-го века не была хорошо управляемым и экономически жизнеспособным политическим образованием. По крайней мере, так считали англичане, которые хотели объединить её в одно целое по образцу Канады. Были две британских колонии – Капская и Наталь, управляемые из Кейптауна, две независимые бурские республики – Трансвааль и Оранжевое Свободное государство - и четыре африканских королевства: Зулусское, Лесото, Свазиленд и Ботсвана, не имевших выхода к морю. В противоположность распространенному мнению, колониализм – дорогое удовольствие, и британские колонии себя не окупали. Англичане надеялись, что объединенное политическое образование под британским флагом сможет себя прокормить. Но много войн должно было быть сыграно на арене, пока идея ЮАС могла быть реализована. Я уже писал о многочисленных войнах англичан с коса. Теперь поговорим об англо-зулусской и двух англо-бурских войнах.

7.1. Англо-зулусская и первая англо-бурская войны

Прежде всего, англичане решили присоединить Трансвааль, полагая это наиболее лёгким. Одним январским утром 1877 г. сэр Теофилус Шепстоун, министр правительства в Натале, въехал в Преторию в компании 25 всадников, провел несколько недель вежливых переговоров с президентом Бургерсом, а затем зачитал декларацию на Церковной площади об аннексии Трансвааля Британской империей. Не было сделано ни одного выстрела.

Ободренные казавшейся «лёгкой» аннексией Трансвааля, англичане взялись за зулусов, королевство которых было внутри Натала. Им были нужны рабочие руки для алмазных копей в Кимберли и сахарных плантаций в Натале. У зулусов правил сын Мпанде Кечвайо¹³, который видел, что сделали англичане с республикой буров, и из кожи лез вон, чтобы не спровоцировать их против своего королевства. Проблема была в том, что назначенный в 1877 г. британский комиссар для Ю. Африки сэр Бартл Фрер из кожи лез вон, чтобы его спровоцировали.



Четыре территории Южной Африки до 1875 г.
(из книги Рона Макгрегора, стр. 172)

Повод, такого же значения, как будущее сараевское убийство, дал мелкий глава клана некий Сихайо, который, несмотря на почтенный возраст, продолжал брать новых жен, на достойное обхождение с которыми у него уже не было сил. Две самые молоденькие ему изменили, что каралось смертью. Когда измена раскрылась, девицы сбежали в Наталь.

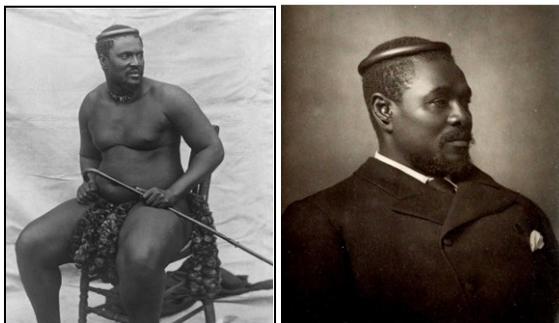
Сыновья Сихайо, взявши сотню молодых людей и не имея представления о существовании границ, бросились в Наталь, нашли женщин, привезли их домой и казнили. Фрер заявил, что на Наталь было сделано нападение армией страны зулусов и потребовал выдачи виновных. Кечвайо ответил, что он ничего не знал об инциденте, наверняка не разрешал его, и предложил уплатить 50 британских фунтов в качестве извинения. Он указал на то, что ни один житель Наталья не пострадал и имущество не было повреждено.

Это не то, чего хотел Фрер, – ему была нужна война. Он был лгун и писал в Лондон не о дружеских посланиях Кечвайо, а о том, насколько тот враждебен. Конечно, ему верили. В декабре 1878 г. он представил ультиматум: Кечвайо должен распустить войско и допустить британского резидента при своем дворе для контроля. Кечвайо не мог принять эти условия. На этот раз он предложил выдать сыновей Сихайо,

¹³ Википедия, Зулусы; Кечвайо.

но Фреру это уже было не нужно. 11 января 1879 г. англичане вступили в страну. Они потерпели сокрушительное поражение в первой битве 22 января, но в конечном счете их огромное превосходство не могло не сказаться, и 4 июля столица зулусов Улунди была взята и разрушена до основания. Кечвайо был взят в плен и привезён в Кейптаун, где прочие английские лидеры увидели гораздо более цивилизованного человека, чем они ожидали.

Англичане разделили страну на 13 областей, и поставили местного вождя во главе каждой области. Те начали грабить народ так, что в апреле 1882 г. губернатора Наталя посетила делегация из 2 тысяч зулусов, прося о возвращении Кечвайо. Легенда такова, что сам Кечвайо в сердцах сказал какому-то чиновнику в Кейптауне: «Если бы только королева Виктория знала, что вы здесь с нами делаете от ее имени!», а тот ответил: «А почему бы вам самому ей это не рассказать?» Короче, всё сложилось так, что в 1882 г. 56-летний Кечвайо, сменивший леопардовую шкуру на фрак, плывет в Лондон.



Фотографии зулусского короля Кечвайо, 1878 (слева), и в Лондоне в 1882¹⁴

Когда этот стройный красавец-воин появился в столице, городские дамы пали к его ногам. Газеты писали о нем ежедневно, и была сочинена эпиграмма:

*White young dandies, get away-o!
Clear the field for Cetewayo!*

которую я могу с меньшим «талантом» перевести как:

*Белые дэнди, вам не помочь!
КечвАйо вас всех прогонит прочь!*

Самое главное, что его выслушали. Его приняли ведущие министры кабинета Гладстона, и он удостоился аудиенции у королевы.

¹⁴ Wikipedia, Cetewayo.

Ему предложили престол на условиях, первоначально указанных сэром Фрером, но лишь на трети его прежней территории, и с тем, чтобы он поощрял мужчин, остающихся без дела после роспуска армии, к поездкам на заработки в Наталь.

Кечвайо вернулся на престол, но не был счастлив: один из его соперников начал и выиграл войну против него; он бежал и вскоре умер. Его сын Динузулу призвал на помощь буров и отвоевал королевство, отдав бурам часть территории.

Семья Мпанде-Кечвайо всё ещё в полной мере принимает участие в жизни страны: правнук, Бутелези Мангосу, который в 1964 г. играл прадеда в фильме «Зулусы», сейчас – лидер нации зулусов и ее основной политической партии. В течение 10 лет он был министром внутренних дел ЮАР. А другой потомок – Гудвилл Звелитини – такой «король зулусов» в республиканской стране; в политике он не участвует, но своим народом чтим.

«Уступчивость» англичан зулусам имела и другую причину: у них появилась новая проблема – умиротворенные, как они полагали, буры Трансвааля восстали. Хотя многие жители Претории полагали, что британское правление более эффективно, деревенские буры не были готовы так легко поступиться независимостью. Они послали делегацию в Лондон, лидером одной из которых был фермер Пауль Крюгер. Лондон и слышать не хотел о восстановлении независимости республики.

Прошло почти 4 года с момента аннексии, когда в декабре 1880 г. Крюгер выступил перед большим собранием на том холме, где сейчас стоит Монумент. Он предложил тем, кто готов биться за независимость, взять по камню и сделать каменный тур. Было выложено шесть тысяч камней. Буры разошлись по деревням, чтобы образовывать военные подразделения. Англичанам было сказано, что они должны уйти. Буры тут же захватили два британских форта, которые были в стране.

К республике двинулся полк под командой полковника Энструдера. У маленькой речки в 60 км к востоку от Претории его встретила делегация буров с белым флагом и вежливо предупредила, что если он перейдет реку, его ждет сопротивление. Полковник ответил: «Мой приказ на Преторию, и на Преторию я пойду». «Как вам угодно», – был ответ.

Битва 20 декабря была полным разгромом англичан, и смертельно-раненый полковник приказал сдачу. Было еще три сражения – все с тем же результатом. Особенно жестоким было последнее сражение 26 февраля 1881 года у горы Маяуба. Тот факт, что англичане были наверху холма, был огромным недостатком. Буры ползли вверх по холму, и в них было трудно попасть, а британскому солдату для прицела надо было встать и выставить себя на фоне неба. К тому же у них была ярко-красная форма с блестящими на солнце медными пуговицами. Один из офицеров писал жене: *«Нам сообщили, что войска, стоящие лагерем у Нэка, охвачены паникой из-за целого ряда поражений, и в последнем бою, стоившем жизни бедному сэру Джорджу Колли, офицеры с величайшим трудом удерживали солдат от бегства».*

Всего в эту войну республика Трансвааль, с 30-тысячным населением, мобилизовала 3 тысячи солдат, потеряла 41 человека убитыми и 47 ранеными. Британия выставила армию в 1200 человек и потеряла 408 убитыми и 315 ранеными.

*Только два африканских пригорка,
Только дальний скалистый кряж,
Только грифы да павианы,
Только сплошной камуфляж,
Только видимость, только маска —
Только внезапный шквал,
Только шапки в газетах: "Фиаско",
Только снова и снова провал...*

Редьярд Киплинг¹⁵ (пер. Евгения Витковского).

«Шапки в газетах «Фиаско»» не нравились общественному мнению в Англии. Люди привыкли к победам в войнах с дикарями, а тут почему-то война велась против христианского врага, и побед не было. «И зачем нам нужен этот маленький Трансвааль?» - говорили они. Правительство Гладстона запросило мира и подписало перемирие 6-го марта, а мир – 3-го августа 1881 г. Независимость Трансвааля была восстановлена, и еще почти 30 лет потребовалось для образования Союза.

Одна маленькая деталь: в результате этой войны англичане поменяли свои красные жилеты на хаки.

Президентом Трансвааля был избран Пауль Крюгер.

7.2. Пауль Крюгер (1825-1904)

В Монументе, построенном на месте башни из камней, где скульптурная история бурских государств отлита в камне, для изображения 11-летнего Пауля Крюгера во время Великого трека позировал его внук. Поскольку взрослый Крюгер был лидером движения за независимость, избрание его президентом было естественным, и он сохранял пост в течение 20 лет, четырежды побеждая оппонента, до поражения во Второй англо-бурской войне. «*Это был, - пишет Рон Макгрегор, - довольно неотесанный, порой грубоватый человек с крестьянской мудростью и скрытым чувством юмора*». Высокомерен, но в Претории он жил в простом доме, вечерами сидел на веранде, и каждый мог подойти и обсудить свою проблему с президентом. Во дворе они держали корову, и «первая леди» её сама доила.

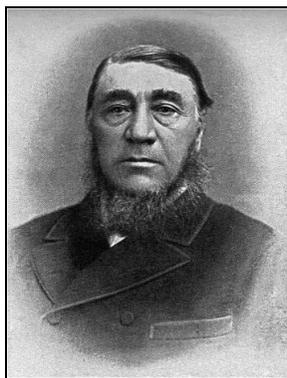
Был он охотник, и Национальный парк Крюгера сначала предназначался для охоты. Про него рассказывали много анекдотов. Один из них, скорее всего, апокриф, относится к евреям. Антисемитизм в белой Ю. Африке не был силён, и буры наверняка предпочитали евреев англичанам (если только они не были английскими евреями!), в частности,

¹⁵ Киплинг не был в Африке во время Первой войны, и это стихотворение относится ко Второй. Но поскольку оно очень подходит к описанию битвы у горы Маюба, я позволил себе вольность использовать его здесь.

возможно, потому, что Великий трек был навеян историей Моисея. Когда христианские общины просили землю под церкви, они обычно получали двойной участок. Но вот евреи попросили землю под синагогу в Йоханнесбурге, и им дали одинарный участок. Они обратились к Крюгеру за объяснением. «Но вы ведь используете только половину Библии!» - ответил тот. Тем не менее, по завершении строительства евреи пригласили Президента открыть синагогу, и он её открыл «во имя господа нашего Иисуса Христа, аминь».



11-летний «Пауль Крюгер» (внук послужил моделью) с родителями - барельеф внутри монумента Великому треку в Претории



Пауль Крюгер в 1879 (слева) и в одежде Президента Трансвааля

7.3. Рейд Джеймсона

Между Первой и Второй войнами в Трансваале произошло серьезное изменение: в 1886 г. было найдено золото, и на месте разработок быстро вырос город Йоханнесбург. Проблема была в том, что как и в случае алмазов, крестьяне-буры не были особенно заинтересованы в заселении города и добыче золота. Там не было хорошей сельскохозяйственной земли. Так что на место ринулись предприниматели из-за границы, их называли «Uitlanders» - «уитлендеры» - иностранцы, и были они, конечно, в большинстве британцами. Через 10 лет во всей республике на 30 тысяч граждан (по-видимому, считали

только белых мужчин¹⁶) приходилось 60 тысяч уитлендеров¹⁷, которые не имели права голоса. Уже одно это обстоятельство делало продолжение независимого существования Трансвааля непрактичным и даже невозможным. Когда в 1890 г. был принят закон, отказывавший в гражданстве большинству британцев, те организовали «комитет реформы», целью которого было свержение правительства Крюгера. Англичане вне Трансвааля поддерживали реформаторов, особенно Сесиль Родс, премьер-министр Капской колонии. Он позволил своему другу, врачу и главному чиновнику Родезии д-ру Линдеру Джеймсону¹⁸ собрать войска и полицию для нападения на Трансвааль. В духе лучших традиций последующих советских агрессивных против прибалтийских республик, д-р Джеймсон имел фальшивое письмо с пока необозначенной датой, в котором «реформаторы» просили помощи и защиты их женщин и детей от хорошо вооруженных буров.



Памятник Паулю Крюгеру на Церковной площади в Претории

Но реформаторы внутри Трансвааля испугались, стали посылать криптограммы Родсу, а тот Джеймсону, задерживая рейд. Наконец, Родс

¹⁶ Первая перепись в Трансваале произошла 17 апреля 1904 г., после войны, когда в стране оказалось еще больше англичан. В статье «Transvaal» в The 2011 Classic Encyclopedia (<http://www.1911encyclopedia.org/Transvaal#Inhabitants>) говорится, что на этот день было 1,269,951 жителей, включая 8,215 солдат британского гарнизона). Из них 20,67% или 297,277 человек были белыми; почти 60% из них – мужчины. Почему-то не указано разделение между британцами и бурами, но сказано, что только 20% британцев родились в Трансваале - остальные прибыли из других британских владений в Африке или из Британии. 3% белых были русскими.

¹⁷ Wikipedia, Uitlander; Википедия, Уитлендеры.

¹⁸ Wikipedia, Leander Starr Jameson.

якобы телеграфировал Джеймсону, что рейд не должен состояться. Джеймсон решил действовать в одиночку со своими войсками и без всякой поддержки 29 декабря 1895 г. напал на Трансвааль, ожидая помощи со стороны реформаторов, когда им станет ясно, что он побеждает.

Это был сокрушительный разгром, и 2-го января Джеймсона привезли в тюрьму в Претории. Телеграммы всемирной поддержки маленькой мирной республики, которой не дает жить британский гигант, завалили кабинет Крюгера. Одна из телеграмм была от кайзера Вильгельма II и чуть не привела к войне между Британией и Германией. Дело уладила бабушка кайзера, королева Виктория, которая добилась от внука извинения. Никто не верил непричастности британского правительства к рейду, а уж тем более тому, что Родс его в конечном счете рейд запретил. Это был промах, разрушивший его как политика. Он был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра Капской колонии.

Реформаторов, принявших участие, судили в Трансваале и некоторых приговорили к смерти, но при той всеобщей поддержке, которая обрушилась на Крюгера, он мог проявить великодушие, заменив суровые приговоры большими штрафами, и отпустить осужденных в Англию.



Др. Линдер Старр Джеймсон

Англичан, включая Джеймсона, сразу выслали в Англию, и там Джеймсона судили. Он был тверд в решении взять вину на себя и, насколько возможно, уменьшить вред для страны, своего друга Родса и секретаря колоний Джозефа Чемберлена. Ни Родс, ни Чемберлен никогда не опубликовали текстов действительных телеграмм Джеймсону. Его приговорили к пятнадцати месяцам заключения и освободили через полгода. Если мир был возмущен рейдом Джеймсона, в Англии общество поддержало его – по-видимому, это был весьма примечательный человек. Небольшого роста, скромный, безукоризненно одетый джентльмен, «гражданский с головы до пят», его легко было представить в качестве семейного врача, а не командира отряда с пулеметами. Тем не менее, каждый, кто входил в контакт с ним, немедленно попадал под его

очарование и без всяких усилий с его стороны был готов ради него на всё. Вот как Киплинг советует сыну делать себя по Джеймсону в знаменитом стихотворении "If" («Если», в цитируемом ниже переводе М. Лозинского - «Заповедь»¹⁹):

*Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор Вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушной и мудрей других.*

*Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твоё же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен всё воссоздавать с основ.*

*Умей поставить, в радостной надежде,
На карту всё, что накопил с трудом,
Всё проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно всё пусто, всё сгорело.
И только Воля говорит: "Иди!"*

*Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и твёрд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, -
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!*

Рейд и заключение не отразились на политической жизни д-ра Джеймсона, и в 1904-1908 гг. он служит не больше и не меньше как

¹⁹ Википедия, Если... (стихотворение); текст и переводы: http://www.lib.ru/KIPLING/s_if.txt; свидетельство Киплинга о том, что оно навеяно образом Джеймсона см. в его автобиографии: <https://sites.google.com/site/ifrudyardkipling/archive/kipling-himself>

премьер-министром Капской колонии и вместе с прежними врагами работает по организации Союза. По завещанию Родса Джеймсон жил в его доме в Кейптауне до своей смерти в 1917 г. Оба – Родс и Джеймсон – похоронены рядом на холме с «видом на мир» в Зимбабве. В 2012 г. местные националисты сделали попытку эксгумировать тела и отправить их в Англию. Пока что президент Мугабе их не поддержал.

Рейд Джеймсона объединил буров и обеспечил Крюгеру поддержку даже тех африканеров - граждан Капской колонии (партии «Африканер бонд»), которые его недолюбливали. И было у рейда еще одно важное последствие. Родсу кто-то порекомендовал молодого африканера-адвоката, и Родс сделал его своим юрисконсультom, предсказывая молодому человеку большое будущее. Тот верил в сближение между африканерами и англичанами, но пришел в такую ярость от рейда Джеймсона, что порвал все отношения с Родсом, переехал в Преторию и предложил свои услуги Крюгеру. Ему, африканеру из Капской колонии, т.е. иностранцу, Крюгер быстро даровал гражданство, и к началу войны в 1899 г. он уже был генеральным прокурором Трансвааля. Личность неменьшего значения, чем личность самого Родса, – состоялась. Я пока не назову его имя.

7.4. Милнер и Крюгер

Я не знаю истории всех войн на свете, но Второй Англо-Бурской войны могло бы и не быть, если бы два упрямых человека не столкнулись лбами. Правда, я, возможно, не принимаю во внимание ту ненависть к англичанам, которая выросла у буров и африканеров после рейда Джеймсона.

В мае 1897 г. в Кейптаун прибыл новый управляющий колонией сэр Альфред Милнер. Поездив по стране и быстро выучив как голландский, так и африкаанс, он пришел к выводу, что мира не будет, если англичане в Трансваале не получают права голоса. Когда в марте 1898 г. Милнер выступил перед активистами партии «Африканер бонд» и просил их воздействовать на Крюгера в смысле предоставления англичанам равенства, те поняли, что без войны не обойтись. Они увидели в Милнере соединение Родса с Фрером.

Президент Оранжевой республики пригласил Крюгера и Милнера на встречу в Блумфонтейне. Крюгер был бескомпромиссен и категорически отказался предоставить голос уитлендерам, правильно понимая, что это уничтожит независимость страны. Он сказал²⁰: «Мы следуем тому, что нам говорит Б-г. Будь проклят тот, кто наступает на соседа. Пока Ваше Превосходительство живёт, вы не увидите нас атакующей стороной на земле другого человека». Прекрасные слова, но Трансвааль начал вооружаться, и молодежь кричала: «Помни о Маюбе!» Смешной факт: понятно, что оружие покупалось на деньги налогоплательщиков. А кто был самым большим налогоплательщиком этой страны? Владелец золотоносных копий Сесиль Родс, один из главных провокаторов войны с противоположной стороны!

²⁰ Paul Kruger., <http://www.nndb.com/people/247/000117893/>

Англичане выставили войска на границе, и 10 тысяч солдат плыли из дома. Милнер отправился на консультацию в Лондон, и Чемберлен сказал, что войны надо избежать – Англия была в дипломатической изоляции после рейда Джеймсона. С другой стороны, какой будет позор, если молодые буры нападут, а Англия не сможет отбиться? Если бы только Крюгер понимал, что Англия не нападет! Но у него не было достаточной широты и культуры, и у него сдали нервы. 9 октября 1899 г. он предъявил Британскому правительству ультиматум: потребовал за 48 часов убрать войска с границы и вернуть домой плывущие резервы – иначе война. Этого Британия принять не могла. 10 октября она отвергла ультиматум. Назавтра, несмотря на громкое обещание Крюгера Милнеру, буры обеих республик одновременно атаковали и Наталь, и Капскую колонию. Оранжевая республика, у которой с англичанами не было спора, оказалась втянутой в конфликт союзным договором, который Крюгер ей навязал.

7.5. Корреспондент лондонской газеты

Через час по получении известий об ультиматуме Крюгера газета *Morning Star* предложила 25-летнему Уинстону Черчиллю место главного военного корреспондента с окладом в 250 фунтов в месяц (после смерти отца мать могла выделить ему только 500 фунтов в год) при полностью оплаченных расходах²¹. Молодой человек не очень считался с категорическим запретом корреспонденту участвовать в военных действиях, и 15 ноября 1899 г. он принял приглашение для поездки в бой на бронепоезде. Буры устроили засаду, остановили поезд и стали обстреливать британских солдат. В какой-то момент Черчилль взял на себя командование. К нему бросился долговязый бур на лошади и взял его в плен.

«Наука умеет много гитик», а у судьбы бывают странные трюки. Через три года по окончании войны бурские генералы прибыли в Англию, и Черчилль пригласил их на частный обед. Был среди них и генерал Луис Бота, будущий первый глава правительства ЮАС. Черчилль рассказал историю своего пленения. «И вы меня не узнаете? – спросил Бота. – Это же я вас взял в плен, я сам». Так рассказано в биографии Черчилля, написанной его другом Виолеттой Картер. Статья о Боте в Wikipedia²² подтверждает существование этого красивого рассказа и называет Боту как её источник, но утверждает, что все-таки в плен Черчилля взял другой кавалерист.

Хотя Уинстон объявил о журналистской неприкосновенности, видевшие его действия буры усомнились. В любом случае, им не часто попадали в плен сыновья лордов, и они не были склонны быстро его отпустить. Его отвезли в тюрьму в Претории, где его допрашивал генеральный прокурор Трансвааля, которого мы уже упоминали как бывшего помощника Сесилия Родса. Им был 29-летний который мне

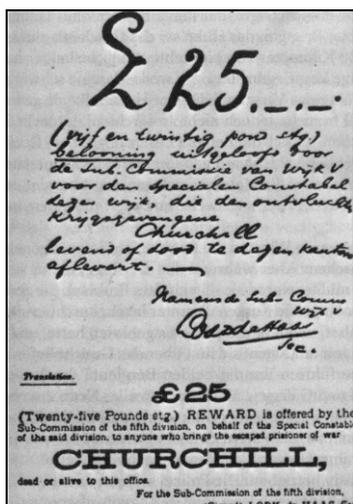
²¹ V.B. Carter, *Winston Churchill: An Intimate Portrait*, Harcourt, Brace & World, NY, 1965.

²² Wikipedia, Louis Botha.

представляется наиболее завораживающей (fascinating) фигурой южно-африканской истории, хотя его имени я не слышал до поездки в ЮАР и про которого вряд ли слышало большинство моих читателей.

7.6. Ян Христиан Сматс (1870-1950)

Есть люди, которым просто не повезло родиться в месте, масштаб которого соответствовал бы масштабу личности. Скажем, этот блистательный лидер современного Сингапура, для личности которого вполне подошло бы американское президентство. А про Яна Христиана Сматса лорд Моран²³, врач и биограф Черчилля, сказал, что, родился он в Германии, он был бы одним из наиболее известных мировых лидеров. Почему в Германии, а не в Англии? А потому, что его современником в Англии был Уинстон Черчилль – его славы не перешибешь.



25 фунтов в награду за поимку Черчилля!

А пока мы наблюдаем за их первой встречей в тюрьме в Претории, которая, наверно, не была самой приятной, хотя, я думаю, что всю жизнь они вспоминали ее со смехом. Черчилль сумел убедить Сматса, что его надо отпустить, и прокурор собирался рекомендовать правительству освобождение. Но Черчилль от него... сбежал, очень драматически, скрывался в вагонах и частных домах, пока не добрался до португальского Мозамбика, откуда вернулся в Англию как герой, готовый для политической карьеры. Будь он на завтра просто и без мелодрамы освобожден Сматсом, возможно, эта карьера не началась бы так легко?

²³ Churchill, Taken from the Diaries of Lord Moran, Houghton, Boston, 1966, pp. 53-58.

Черчилль до конца жизни держал под стеклом объявление о награде в 25 фунтов (более 3500 сегодняшних долларов) за его поимку!



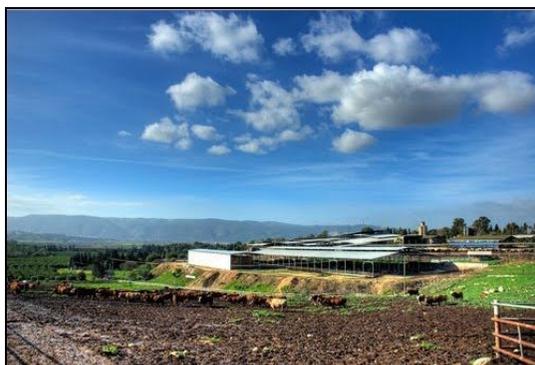
Луис Бота (слева, 1862-1919) и Ян Христиан Сматс в 1917

Если бы новый Плутарх взялся за «параллельные» биографии политиков нашего времени, то Черчилль и Сматс были бы естественной парой, хотя о параллельности не могло быть и речи, так тесно были они переплетены в жизни. Оба боролись в Англо-Бурской войне. Оба стали премьер-министрами своих стран и служили вместе в Имперском военном кабинете Ллойд-Джорджа в Первую мировую войну. Оба испытали долгие периоды вне политики, когда Черчилль стал писателем, а Сматс – ботаником и философом, развивавшим теорию холизма.

Оба - Черчилль и Сматс - почти в сходных обстоятельствах возвратились в кресла глав правительства для ведения Второй мировой войны – Черчилль 10 мая 1940 г. после его оппозиции предыдущему премьеру Чемберлену, Сматс несколько раньше, 5 сентября 1939 г., после его оппозиции предыдущему премьеру Герцогу, не желавшему ввести Южную Африку в войну. Сматс фактически входит и в военный кабинет Черчилля, и их взаимная личная симпатия и даже дружба делает Сматса постоянным советником британского премьера по мельчайшим вопросам. Оба потерпели поражение на первых послевоенных выборах – Черчилль в 1945-м и Сматс в 1948-м, но не раньше, чем правительство этого твердого сторонника сионизма и непреклонного врага антисемитизма проголосовало в 1947 г. за образование Израиля. Уже в 1932 г. в еврейской Палестине его именем был назван кибуц Рамат Йоханан, расположенный в районе Кирьят Ата и существующий по сей день. В некрологе Хаиму Вейцману Сматс писал:

«Какими бы ни были изменения, принесённые этой войной, великой мировой войной за справедливость и свободу, я сомневаюсь, что

эти изменения могут превзойти по значению освобождение Палестины и признание её в качестве дома Израиля».



Киббуц Рамат Йоханан назван в честь Яна Христиана Сматса

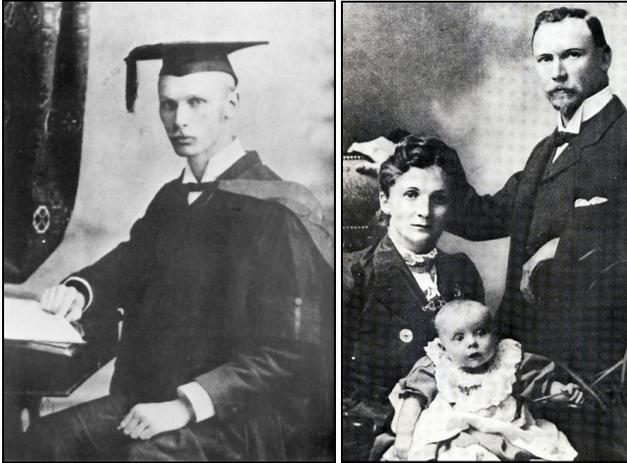
Во многом Сматс – единственный. Основной идеолог и автор большинства документов Лиги Наций, он также написал преамбулу к хартии ООН. Единственный член Имперских кабинетов в двух мировых войнах. Единственный политик, который подписал как Версальский, так и Парижский договора об окончании обеих войн. (При этом в Версале он и Бота безуспешно добивались смягчения условий для Германии, правильно предсказав губительные последствия жёстких условий. «Не Вильсон, а человечность провалились в» Версале, – писал Сматс после смерти президента Вильсона.) Когда Сматс умер 11 сентября 1950 г., его сын сказал, что *«ушел из жизни последний член правительства Крюгера, последний старший генерал Бурской войны, последний министр колониального правительства старого Трансвааля, последний член Национальной конвенции, последний и единственный участник Версальского мира и последний член Военного кабинета Первой мировой войны».*

Давайте рассмотрим эту блистательную жизнь по порядку, а для этого, после краткого описания его молодости, вернемся ко второй Англо-бурской войне.

Родился в 1870 г. Был очень застенчив. Когда ему было 16, за 6 дней самоучкой выучил древнегреческий в достаточной степени для того, чтобы пройти вступительный экзамен с высокой оценкой и быть принятым в престижный колледж Виктории в Стелленбосе, где он встретил будущую жену Айзи Криге. Айзи помогла ему избавиться от застенчивости, от строгого кальвинизма и познакомила его с романтической поэзией. Он изменил намерение стать пастором и теперь он думал о юридической карьере. По окончании колледжа Сматс выиграл Эбденскую стипендию и отправился в Великобританию изучать право в колледже Кристи Кембриджского университета.

Лорд Тодд, мастер этого колледжа, сказал в 1970 году, что «за 500-летнюю историю колледжа из всех его членов прошлого и

настоящего, трое были действительно выдающимися: Джон Мильтон, Чарльз Дарвин и Ян Сматс». Будучи в Кембридже, Сматс написал книгу «*Уолт Уитман: Этюд об эволюция личности*». Сматс закончил обучение в 1893 г. с большими почестями. Он прошел нужные экзамены для входа в одну из престижных адвокатских коллегий, и ему предложили стипендию для дальнейшего обучения. Сматс отказался. В июне 1895 г. он вернулся в Капскую колонию, решив, что его будущее – в Ю. Африке.



Слева – Ян Сматс в Стелленбосе,
справа – Сматс с женой Айзи и дочерью Санта

Его рекомендовали Родсу, и тот взял его в «De Beers». Через полтора года, как мы уже видели, он ушел, увидел, что для него нет будущего в Кейптауне, переехал в Йоганнесбург, затем в Преторию, где сумел пробиться к Крюгеру. Его политические взгляды резко изменились: из горячего сторонника расширения Британской империи по модели Родса, он превратился в яростного бурского националиста. Крюгер даровал ему гражданство, и уже в 1898 мы видим его в должности генерального прокурора Трансвааля.

7.7. Вторая Англо-Бурская война

У войны было три стадии: в первые 4 месяца выигрывали буры, затем в течение 7 месяцев побеждали англичане, а потом были 21 месяц партизанской войны, когда англичане господствовали в городах, а буры владели сельской местностью.

Сразу после того, как англичане отвергли ультиматум, буры перешли границу, через 4 дня перерезали железную дорогу и окружили столицу алмазной империи город Кимберли. Самый знаменитый гражданин города Сесил Джон Родс оказался внутри, причем он приехал специально чуть ли не с последним поездом. Были также окружены два других важных города - Лейдисмит и Мейфкинг. Буры очень берегли

своих людей и атаке предпочитали долгую осаду. Осажденные имели легкую связь с внешним миром, благодаря световому телеграфу.

Родс плохо себя вёл. В Кимберли командовал британский подполковник Кекевич, но Родс вмешивался во все и мешал. В какой-то момент Кекевич получил разрешение от командующего фельдмаршала Робертса на арест Родса, но над таким приказом можно было только посмеяться: никто не мог арестовать Родса в *его* Кимберли, где всё принадлежало ему, солдаты Кекевича были рабочими Родса, город его любил из-за доброты и заботы, газета печатала все, что он хотел, не считаясь с военной цензурой. И хотя мнение военных было, что необходимо наступать на столицы бурских республик Преторию и Блумфонтейн, Родс сумел поднять общественное мнение в Англии на то, что снятие осады с трех городов более важно, хотя Кекевич уверял его, что город еще может держаться. Через 124 дня с большими потерями город был освобожден от осады. А Родс, обычно справедливый и щедрый, испортил карьеру хорошего офицера.

Никуда, однако, было не деться от факта, что англичане могли выставить гораздо больше людей, чем буры, что они были более профессиональны, и что Британия на сей раз была тверда в намерении не проиграть войну.

Когда войска Робертса подошли к Йоганесбургу, буры предложили сдать город, если им дадут сутки. Робертс согласился при условии, что золотые копи не будут повреждены. За сутки буры вывезли все добытое золото до последней унции. То же самое повторилось с Преторией: Робертс согласился на сутки отсрочки, полагая, что сдача столицы означает конец войны. Он глубоко ошибался. За этот день Пауль Крюгер сел в поезд, шедший на восток к Мозамбику, но пока что оставшийся в Трансваале. С ним были все боеспособные солдаты, всё оружие и золото Трансваала. 5-го июня 1900 г. войска Робертса заняли Преторию. Еще несколько месяцев президент Трансваала командовал из поезда. Но 11-го сентября Пауль Крюгер навсегда простился с Трансваалем, и его поезд пересек границу с Мозамбиком. Фельдмаршал Робертс думал, что раз все города взяты, то победа одержана, и буры капитулировали. Он покинул страну, передав командование генералу Китченеру.

«Когда войска Робертса подошли...» Эта фраза требует комментария. Дорог и транспорта не было, и к месту боев – например, 1000 км от Кейптауна до Блумфонтейна, ещё 600 до Йоханнесбурга – 60-тысячная армия шла пешком. Потери британских войск от болезней почти вдвое превысили потери в боях (см. Таблицу ниже). Именно к этим маршам относятся страшные строки Киплинга (“Boots”)²⁴:

Восемь – шесть – двенадцать – пять – двадцать миль на этот раз,

Три – двенадцать – двадцать две – восемьдесят миль вчера.

(Пыл ь– пыль – пыль – пыль – от шагающих сапог.)

Нет отпуска на войне.

²⁴Википедия, Пыль (стихотворение).

Я – шёл – сквозь — Ад — шесть недель, и я клянусь,
Там – нет – ни – тьмы – ни жаровен, ни чертей,
Но – пыль – пыль – пыль – пыль – от шагающих сапог,
И нет отпуска на войне.

(Пер. Ады Оношкович-Яцыны.

У переводчицы: «Нет сражений на войне». Я позволил себе вольность заменить на «отпуск», потому что переводчица, по-видимому не заметила, что килпинговское «There's no discharge in the war» – цитата из Экклезиаста²⁵, 8/8, «мишлахат» – «отсылание» на иврите, и во всех русских переводах стоит «отпуск».)



Сматс (в центре, с бородкой) с бурскими солдатами

Робертс думал, что буры капитулировали... А война продолжалась еще почти два года. Во главе теперь стояли: у буров - генералы Коос де ла Рей, Де Вет, Мериц, Бота, и Сматс, у Британии - глава британской гражданской администрации Милнер и генерал Китченер. Войска буров насчитывали не более 25 тысяч против 260 тысяч британских войск. Бота повел успешное партизанское вторжение в Наталь, а Сматс с 250-ми людьми углубился в Капскую колонию, надеясь на поддержку африканеров колонии. Но англичане считали их своими гражданами и расстреливали за переход на сторону врага. Сотни все-таки присоединились к Сматсу, но не тысячи, как он надеялся. Китченер инициировал политику выжженной земли, уничтожал бурские фермы и организовал первые в истории концлагеря для якобы защиты обездоленных бурских женщин и детей, а также для их черных слуг. Условия в лагерях были ужасны, и смертность ВТРОЕ превысила военные потери буров (см. Таблицу ниже). Дополнительной причиной рейда Сматса на вражескую территорию была необходимость пропитания его отряда, тогда как на бурской территории еда была сожжена.

Сматс и Бота успешно изводили англичан. Сматс собрал поезд с взрывчаткой и попытался протолкнуть его вниз в медный рудник в городе Окоп, что привело бы к гибели целого британского гарнизона. Это не получилось, но Сматс показал, что не остановится перед самым жестоким террором, если англичане не пойдут на уступки. У Боты и Сматса не были

²⁵“Boots”, Notes by Mary Hamer, http://www.kipling.org.uk/rg_boots1.htm

иллюзий в отношении возможности выиграть войну - их целью было добиться почетных условий её окончания.

Китченер пригласил бурских генералов для переговоров. Он был готов на щедрые условия, Милнер же не соглашался на меньшее, чем безоговорочная капитуляция буров. Генералы де Вет и де ла Реу требовали полного восстановления независимости, т.е. фактически безоговорочной капитуляции британцев. Для смягчения условий Китченеру пришлось связываться с Лондоном, а Смутсу и Боте уговаривать своих жестоководных. Мир был подписан 31 мая 1902 г. в местечке Феринихинг под Преторией. Условия²⁶:

1. Буры прекращают сопротивление, сдают оружие и приносят присягу Короне.

2. Объявляется всеобщая амнистия, и смертные приговоры не будут приведены в исполнение.

3. Голландский язык разрешается в школах и судах.

4. В будущем будет введено самоуправление Трансвааля и Оранжевого государства (осуществлено в 1906-07 гг.).

5. Обсуждение прав черного населения откладывается до установления самоуправления.

6. Буры получают 3 миллиона фунтов в фонд восстановления (т.е. англичане де-факто платят репарации золотоносной республике!).

7. Будут соблюдаться права собственности буров, не будут введены налоги на землю и будет разрешено частное владение зарегистрированным оружием.

Два человека не участвовали в процессе: Сесиль Джон Родс и президент Пауль Крюгер. Репутация Родса была подмочена, он был болен. Есть свидетельство, что он страдал от депрессии, видя какой кровью пришлось пожертвовать в угоду его имперским амбициям. Он умер.

А утративший значение Пауль Крюгер метался по Европе, пытаясь мобилизовать поддержку, но никто уже не принимал его всерьез, и даже Кайзер отказался его принять.

7.8. Эссе: Пауль Крюгер как трагическая фигура

Давайте рассмотрим потерю жизни в этой войне.

*Потери во Второй Англо-Бурской войне*²⁷

<i>Британия и колониальные войска</i>	<i>Обе Бурские республики и иностранные добровольцы</i>
<i>Численность войск, в тысячах</i>	
<i>450-500</i>	<i>88</i>
<i>Смерти (раненые не учтены)</i>	
<i>7894 убитыми</i>	<i>9098 военные потери</i>
<i>13250 умерли от болезней</i>	
<i>934 пропали без вести</i>	<i>27927 смертей гражданского бурского населения в</i>

²⁶Wikipedia, Treaty of Vereeniging.

²⁷Wikipedia, Second Boer War.

	<i>концлагерях</i>
	<i>Неизвестное число чёрных в концлагерях</i>
<i>Всего потерь</i>	
<i>22078</i>	<i>37025 только буров</i>

Война обошлась в более чем 60 тысяч жизней, привела к разрушению всей структуры жизни страны. Ради чего?

Каковы итоги войны в политическом смысле? Быстрое восстановление самоуправления буров, хотя и под британским контролем; выплата Британией военных расходов буров; образование за короткое время объединенной страны, в которой уже никогда правительство не возглавлял англичанин. И считается, что Англия выиграла войну! Всего этого нельзя было достичь без войны?

Три человека, и только они сделали эту войну: Сесиль Джон Родс, Альфред Милнер и Пауль Крюгер. Если бы они договорились, буры имели бы всё внутри Британской империи, Британия имела бы доминион наподобие Канады, фермы не были бы сожжены, и более 60 тысяч жизней были бы пощажены.

Родс более других ответственен за создание атмосферы, но, наверно, перед самой войной его вина была меньше других: он уже три года как не занимал официальной должности, и никто его не привлекал к переговорам последнего момента. Я почему-то думаю, что если бы за столом в Блумфонтейне сидели полномочные Родс и Сматс, преодолевшие личную вражду, а также Коос де ла Рей, то войны бы не было. Последний, хотя и был «жестоковыйным» в конце войны, до самого ее начала выступал против нее в парламенте Трансвааля²⁸.

Наум Коржавин на примере Ивана Калиты разработал такую модель оценки государственного деятеля:

Был ты видом - довольно противен.
Сердцем - подл... Но - не в этом суть:
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь.

Пауль Крюгер²⁹ – полная противоположность: если по красоте и не был «первым парнем на деревне», то наверняка видом не был противен. Если и был высокомерен, то наверняка не подл сердцем и не жесток: его любили и переизбирали в течение 20 лет. Но не в этом суть: он оказался глубоко неправ в историческом плане, и отсутствие предвидения им стоило жизни тысячам людей и посеяло ненависть между англичанами и африканерами лет на шестьдесят, и следы её даже сейчас видны случайному туристу.

²⁸Википедия, Коос де ла Рей.

²⁹Paul Kruger,, <http://www.nndb.com/people/247/000117893/>

Милнер презирал африканеров и буров. Крюгер ненавидел англичан и не доверял им. Два народа, традиционно дружественные в Европе, оказались непримиримыми врагами в Африке.

Да, жёсткость и высокомерие Милнера отвратительны. В частности, он отказался разговаривать со Сматсом перед войной, видимо, полагая его предателем. Он мешал Китченеру заключать мир. Но он был прав по существу предоставления гражданских прав уитлендерам в Трансваале. И не он первым спустил курок.

Курок спустил Крюгер. Он оказался примитивен и недалёковиден. Даже глуп. Он ничего не понимал в демографии и не видел, что когда английское население Трансваала превысило бурское, удержать независимость в перспективе было бы невозможно. В то же время, он не понял, что демографическое превосходство буров и африканеров над британцами в объединённой стране настолько велико, что после объединения именно они будут доминировать в гораздо большем политическом пространстве. Крюгер мог бы возглавить движение за объединение на своих условиях, кооперируя с Мильнером и Родсом. Он этого не понял, и некому было ему объяснить. И войну начал он, перед Б-гом нарушив своё слово Милнеру. Он виноват больше других. Трагическая фигура.

Это поразительно, каким неинформированным бывает общественное мнение! В первую войну Трансвааль был прав, агрессия была совершенно необоснованна, но никто войны не заметил и не пришел на помощь. А тут со всего света, включая Россию, прибежали добровольцы, чтобы защитить маленькую страну от империалистического гиганта. А агрессором-то был именно Трансвааль.

Родс не дожидаясь двух месяцев до заключения мира и умер 26 марта 1902 г. Крюгера англичане пригласили обратно, но он гордо отказался от жизни в несвободной стране. Он умер в Швейцарии в июле 1904 г. Англичане не возражали против его торжественного перезахоронения на кладбище Героев в Претории в «День клятвы» 16-го декабря того же года.

Милнер. Есть ли причина, чтобы нам была интересна его дальнейшая судьба? Что нам Гекуба? Есть. В 1917 г. виконт Альфред Милнер³⁰ оказывается основным автором документа, известного как «Декларация Бальфура» и обещавшего евреям национальный дом в Палестине.

7.9. Завершение образования Южно-Африканского Союза (ЮАС). Исчезновение Буров как нации

В плохих отношениях между нациями и людьми следует различать вражду и ненависть. Врага можно уважать, и когда причина вражды устранена, она может прекратиться, изредка даже перерасти в дружбу. Ненависть иррациональна и неистребима. Война, подобная второй Англо-Бурской, с сожженными фермами и концлагерями, могла привести к такой ненависти.

³⁰ Wikipedia, Alfred Milner, 1st Viscount Milner.

Но во главе буров стояли большие люди: Бота и Сматс. 31 мая 1902 г. они обменялись рукопожатиями с Китченером. Я не знаю, в эту ли секунду, или назавтра, или им понадобилась неделя, но практически сразу они отменили вражду, стали смотреть только вперед и сотрудничать с англичанами в построении Союза. Переговоры внутри трех общин – двух бурских и английской – были трудны и могли сорваться в любой момент, как в свое время переговоры об образовании Соединенных Штатов. Например, вопрос о столице объединенного государства: никто не хотел уступить, и до сегодняшнего дня нация поддерживает дорогой способ правления в трех столицах: Претория – резиденция исполнительной власти – президента и правительства; в Кейптауне заседает парламент, и президент проводит часть года в бывшей усадьбе Родса; Блумфонтейн – судебная столица, резиденция Верховного суда.

Сохранение отдельного сознания Буров как нации потеряло смысл. Раньше название совпадало с родом занятий и суверенитетом. Теперь сожженные фермы вынудили многих из них в города, и они стали частью рабочего класса. А, главное, только общее с африканерами сознание превращало их в политическую и культурную силу. Итак, теперь это нация африканеров. Они начинают с поразительного единства: объединяют Капскую партию «Африканер бонд» с Народной партией Боты-Сматса в единую Южно-Африканскую партию.

Составив новую конституцию Союза, Бота и Сматс везут ее в Лондон, где ее утверждает Парламент и подписывает король Эдуард VII в декабре 1909 г. На всеобщих выборах их объединенная партия легко побеждает, и Луис Бота становится первым главой правительства ЮАС. Ян Сматс – министр внутренних дел, обороны и шахт.

8. Ян Христиан Сматс в 1910-1948: генерал, премьер-министр, основатель Лиги Наций и ООН, философ, фельдмаршал

Однако, единство скоро кончилось, и началась внутренняя борьба с т.н. «старыми бурами» – генералами прошедшей войны. Уже в 1915 г. генералы Герцог, Стейн и де Вит, не добившись отставки Боты и Сматса, раскололи партию и создали свою «Национальную партию». Восстание подполковника Мэни Мэритца чуть не привело к полномасштабной гражданской войне. К этому примешались забастовки, с которыми Сматс расправлялся довольно жестоко.

Сматс и Бота теперь чувствуют себя интегральной частью Британской империи. В Первую мировую войну оба ведут британские войска и завоевывают германскую Африку, сегодня известную как Намибию. Оба – в Имперском военном кабинете Ллойд-Джорджа. Тот хочет назначить Сматса командующим на Ближнем Востоке, но он не принимает назначения, и пост отдается генералу Алленби. В 1918 г. Сматс организует для Британии независимый от армии Королевский авиафлот. И если Бота, по-видимому, был удовлетворен ролью лидера страны (впрочем, в 1919 г. безуспешно пытался посредничать между воюющими Польшей и Украиной), Сматсу в ее рамках тесно. С дерзостью лидера мирового значения он выдвигает идею Лиги Наций.

Не просто выдвигает, но разрабатывает все документы в сочинении 1918 г. «Лига Наций: практическое предложение»³¹, и президент Вильсон принимает его идеи по существу и стилю для образования этой организации. Смагс был также автором идеи мандатов от Лиги Наций, и его страна получила первый мандат на управление отнятой у немцев Намибией, а Британия – на управление Палестиной. После Второй мировой войны Смагс пишет преамбулу к хартии ООН, хотя одним из первых действий этой организации было осуждение его правительства за расизм.

В 1919 г. умирает Бота, и Смагс становится премьер-министром. В 1920 г. он помогает воюющим англичанам и ирландцам прекратить войну и заключить мир. Но он не смог убедить ирландцев принять статус доминиона наподобие ЮАС. У Смагса огромный авторитет за границей, в Британии, но его не любят в его стране. Он подавляет забастовки. В 1924 г. Смагс терпит сокрушительное поражение от Национальной партии и на 9 лет удаляется от политики в свою *alma mater* – университет в Стелленбосе.

Теперь он – ботаник и философ. Он участвует в нескольких экспедициях по сбору южно-африканских растений. Взбирается в горы. Мне жаль, что в Кейптауне у нас не оказалось двух свободных часов, чтобы подняться пешком по «тропе Смагса» на Столовую гору, по которой он часто ходил – мы побывали на вершине, поднявшись по канатной дороге.

В 1926 г. он вводит в философию термин «холизм»³² (в книге «Холизм и эволюция»). Это философия целостности, и Смагс определяет холизм как «склонность природы с помощью творческой эволюции образовывать цельные структуры, которые больше суммы частей». У идеи есть древние корни, в частности, ее можно найти в «Метафизике» Аристотеля. Индивидуум – ничто, у него нет черт и особенностей, пока он не найдет себе место в обществе, в социальной среде. Познание целого должно предшествовать познанию частей, т.е. анализу.

Эта концепция, без названия «холизм», играла роль и в философии Спинозы и Гегеля. Еврейская Галаха, которая не различает между религиозной и светской жизнью и руководит каждым аспектом этической жизни человека, является холистическим документом. Альберт Эйнштейн прочитал книгу Смагса и писал ему³³, «что в следующем тысячелетии две концепции будут ключом человеческого мышления – его собственная теория относительности и концепция холизма Смагса. Он

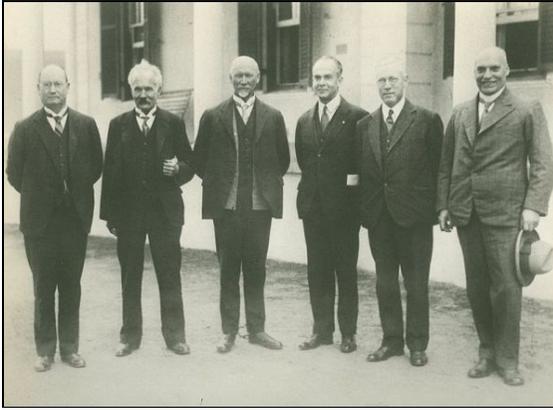
³¹ Wikipedia, League of Nations.

³² Wikipedia, Holism.

³³ Tony McGregor, Jan Christian Smuts – enigmas and contradictions writ large: Part 1 -

<http://tonymac04.hubpages.com/hub/Jan-Christian-Smuts-enigmas-and-contradictions-writ-large>; Part 2 - <http://tonymac04.hubpages.com/hub/Jan-Christian-Smuts-enigmas-and-contradictions-writ-large-Part-2#>. Письмо Эйнштейна Смагсу от 24 июня 1936 г.

также утверждал, что Сматс был одним из только 11 людей, которые правильно понимали относительность».



Профессор Сматс (третий слева) с коллегами
в университете Стелленбоса, 1931

В 1933 г. премьер-министр Герцог образует национальное правительство и приглашает Сматса в кабинет в качестве своего заместителя. В 1939 г. ярый республиканец и сторонник выхода ЮАС из Империи, Герцог считает начавшуюся войну европейским делом и не хочет вовлекать в нее свою страну. Партия проголосовала против Герцога, и 5-го сентября 1939 г. новый премьер-министр Ян Христиан Сматс вводит страну в войну. 28 мая 1941 года Сматс был назначен фельдмаршалом британской армии.

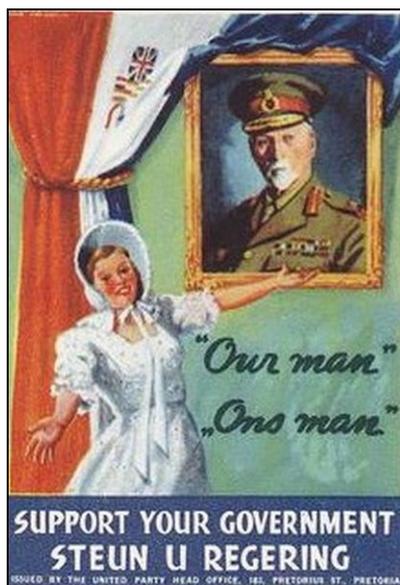
Хотя Wikipedia в статье о Сматсе³⁴ говорит, что он был членом военного кабинета Черчилля, в списке кабинета его нет, как нет и в списке из книги Б. Тененбаума о Черчилле³⁵. Дело в том, что идея образования формального имперского кабинета наподобие кабинета в Первую войну не была поддержана главами правительств доминионов. Черчилль рассказывает³⁶, что из глав четырех доминионов только австралийский премьер Роберт Мензис хотел образования формального военного кабинета пяти премьеров. В 1941 г. он просидел 4 критических месяца в Лондоне, и, по словам Черчилля, «его длительный визит в Англию был очень важен». Но г-н Мензис был недоволен тем, что Черчилль пользовался слишком широкими полномочиями и представил свой план по образованию имперского кабинета. Остальные три премьера его не поддержали, особенно канадский премьер Маккензи Кинг, который

³⁴ Wikipedia, Jan Smuts; также Википедия, Смэтс, Ян.

³⁵ Б. Тененбаум, Великий Черчилль, стр. 627-630, Москва, «Яуза», «Эксмо», 2011.

³⁶ W.S. Churchill, The Second World War, III, The Grand Alliance, Houghton, Boston, 1951, p. 409.

полагал подчинение решениям, принятым в Лондоне, противоречащим канадской конституции. Сматс и новозеландский премьер Фрейзер с ним согласились – по-видимому все не были особенно счастливы с авторитарным стилем Черчилля, но все четверо были постоянной поддержкой и присутствием, и Сматс больше других.



Южно-Африканский плакат в поддержку «нашего человека» Сматса в военных усилиях

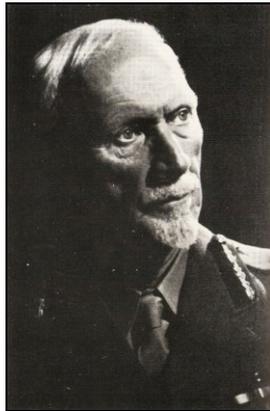
После разгрома английской армии Роммелем в Египте в 1942 г., Черчилль в августе полетел в Каир сменить командующего генерала Клода Окинлека. Лорд Моран пишет, что Уинстон не любит такую работу, так он попросил более жёсткого Сматса прилететь в Каир. Они искусственно разделяют командование на Ближне- и Средневосточное, и с почётом посылают Окинлека командовать войсками поближе к его любимой Индии и подальше от реальных боев. На его место назначен генерал Александер.

По-видимому, это первый раз, что Лорд Моран видит Сматса в течение длительного времени, и он заворожен им так же, как я, хочет «проникнуть в его глубину» и чувствует, что не может, как не может познать Рузвельта. Он так описывает внешность 72-летнего лидера Южной Африки (стр. 55):

«Его обветренное лицо доминируется пронизывающим взглядом холодных, изучающих серо-голубых глаз, расположенных высоко над выступающими скулами».

Доктор заметил, что после совещаний, когда все уходит, чтобы переодеться к ужину, Сматс выходит на лужайку и отдыхает с полчаса,

так что в один из вечеров он подсел к фельдмаршалу. Разговор зашел о романе в стихах *«Кольцо и книга»* английского поэта Роберта Браунинга, и оказалось, что оба собеседника могут цитировать из него наизусть. Когда доктор сказал, что он изучал ботанику, Сматс начал с увлечением рассказывать о травах Ю. Африки. Доктор предложил Сматсу свои книги, но тот сказал, что больше не читает художественную литературу. (Служащие говорили, что на ночном столике Сматса всегда лежит Новый завет.) Лорд Моран выразил мнение, что во время войны важен острожный рассчитывающий ум – Сматсу это не понравилось, идеи важнее, полагал он: *«Вот почему Уинстон незаменим. Он – человек идей. Если он исчезнет, никто не сможет встать на его место. Люди действия живут на поверхности, они не творят»*. Мне странно это слышать от человека такой бешеной активности, которая отличала всю жизнь Сматса.



Фельдмаршал Сматс (Фото из книги лорда Морана, между стр. 206 и 207)

Доктор продолжает: *«Кажется, что этот одинокий суровый бур с библейским подходом живет в своем собственном мире»*. Он приходит к выводу, что на месте Черчилля он бы выбрал кого-нибудь другого для помощи в деликатном деле смещения генерала Окинлека.

Но Лорд Моран все время подчеркивает большую личную близость двух лидеров. Мы видели, что холодноватый Сматс становится эмоциональным, когда говорит о Черчилле. В какой-то момент он посылает Лорду Морану телеграмму с благодарностью за заботу о здоровье лидера. С другой стороны, Сматс – «один из нескольких людей – пожалуй, их только двое, кого Уинстон слушает, потому что уважает их способ мышления; второй, конечно, профессор» Фредерик Линдеман. «Уинстон ценит, когда слышит от Сматса, что он действует в правильном направлении».

Но, правда, Черчиллю 68; что будет, если он не выдержит напряжения и сляжет или умрет? Лорд Моран начинает дневник, объясняя, почему правительство пригласило его стать врачом премьер-министра в 1940 г.: «...потому что некоторые члены Кабинета, поняв,

насколько важным [премьер] стал, решили, что им нужен кто-то, кто бы следил за его здоровьем». По-видимому, по аналогии те же люди подумали о том, что если Черчилля не станет, то нужен кто-то близкий по масштабу, чтобы заполнить его место. Секретарь Черчилля сэр Джон Колвилл подумал о Сматсе, и эта мысль была одобрена королём и королевой, очевидно, без возражений со стороны других членов правительства. Неизвестно, было ли это конституционно – пригласить премьер-министра другой страны стать премьером Великобритании, и опробовать конституционность не пришлось, потому что с Черчиллем ничего не случилось, но это говорит о масштабе личности Сматса, как её видели в Британии военного времени.



Черчилль и Сматс во время Второй мировой войны



Премьер-министры Британского содружества в 1944 г.
Слева направо: Маккензи Кинг (Канада), Сматс, Черчилль, Питер
Фрейзер (Н. Зеландия), Джон Кёртин (Австралия)

Сам Черчилль много пишет о Сматсе в его 6-томной истории Второй мировой войны. 3-го июня 1944 г. Черчилль, Эрнст Бевин и Сматс инспектируют войска, готовые к высадке в Нормандии. Если мы возьмем наугад, скажем, 3-й том, озаглавленный «Триумф и трагедия», откроем указатель в конце книги на имени Сматса, то мы увидим круг вопросов, который премьер-министр обсуждал с ним в период после высадки и до конца войны: конкретное использование тех или иных частей; политика

России в отношении будущей ООН; обсуждение положения в Югославии и Греции, в Бирме и Китае; выборы в Англии. Вот такая фраза (стр. 576) говорит о большой близости во взглядах (май 1945):

«Я обо всём сообщал Сматсу, находившемуся в Сан-Франциско, и он был в полном согласии с моим настроением и моими действиями».



Гости премьер-министра Смата в его имении в Дорнклофе, 1947: король Георг VI, королева-мать Мэри, королева Елизавета, стоят: принцессы Елизавета (слева, сегодняшняя королева Елизавета II) и Маргарет

Близость к британской политике, к королю и Черчиллю сделала Смата непопулярным среди африканеров, что привело к его падению. Наверняка не помог и визит короля Георга VI с семьей³⁷ в 1947 г., возможно, в какой-то мере, чтобы повлиять на выборы в пользу Смата. Сматс водил короля и королеву по своей тропе на вершину Столовой горы. Визит не прошел гладко: король был возмущен, когда ему сказали, что он должен пожимать руки только белым, и он назвал свою южно-африканскую охрану «гестапо».

Когда Черчилль вернулся к власти в 1951 г., он инициировал установку памятника Сматсу на площади перед Британским Парламентом; памятник был открыт в 1956 г. После смерти Черчилля, в 1973, ему самому был воздвигнут памятник на той же площади. И, конечно, памятник Сматсу стоит в «Садах» Кейптауна.

9. Расизм, сегрегация, Махатма Ганди в Африке, Африканский национальный конгресс

Темы, обозначенные в заголовке, могли бы послужить предметом для нескольких книг, и я их затрону очень кратко. Ни один из лидеров, о которых мы рассказали, не думал о черном населении как о возможном равном партнере в политической и экономической жизни. Смата часто обвиняли в том, что он страстно боролся за гуманизм и

³⁷ Wikipedia, George VI.

либерализм за границей, но не проводил те же принципы у себя дома. В частности, в 1946 г. на его правительство в ООН пожаловалась Индия, и ООН осудила Ю. Африку за дискриминацию индусов, нет – ещё не чёрных.



Памятники Уинстону Черчиллю и Яну Смутсу
на парламентской площади в Лондоне

Дело в том, что уже с начала 19-го века, когда удалось вырастить сахарный тростник, для работы на плантациях стали привозить индусов. Как когда-то голландцы, многие из них оставались по окончании контракта, и в г. Дурбане в Натале, на берегу Индийского океана, образовалась большая индийская община. Позднее на родине распространились слухи о плохом обращении плантаторов с индусами, и поток стал иссыхать. Именно это было одной из причин войны с зулусами, и короля Кечвайю заставили поощрять отправление своих подданных на работы на тростниках. В 1893 г. 24-летний адвокат-индус Махатма Ганди прибыл и остался в Дурбане на 21 год. Здесь он разработал свое учение о непротвлении злу насилеиом, здесь он провёл некоторое время в английской тюрьме. Он добивался и никогда не добился для индусов равного с белыми статуса. А что Ганди думал о черных?

На митинге в Бомбее в 1896 г. он сказал³⁸, что европейцы пытаются низвести индусов до уровня *«грубого кафира»* (сегодня слово звучит как «ниггер» или «жид», возможно, оно не было столь оскорбительным в то время – Э.Р.), *который не знает ничего, кроме охоты, и единственная амбиция которого – собрать достаточное количество скота, чтобы купить жену, а затем провести всю жизнь в праздности и нагоме»*.

³⁸ Rory Carroll, Gandhi branded racist as Johannesburg honours freedom fighter, The Guardian, 17 October 2003, <http://www.guardian.co.uk/world/2003/oct/17/southafrica.india>

После тюрьмы, где он встретился с черными узниками, Ганди в 1903 г. писал: «Кафиры, как правило, нецивилизованы, а заключенные особенно. Они причиняют неприятности, очень грязны, почти как животные». «Мы верим, что белая раса Ю. Африки должна быть господствующей расой.» Ганди полагал, что индусы «несомненно бесконечно выше кафиров». Таков этот борец за свободу: он считает белых высшей расой и упрекает чёрных в отсутствии гигиены, председательствуя над нацией, о грязи которой туристы рассказывают ужасы и через 100 лет после его слов!



Памятник Сматсу в «Садах» Кейптауна работы Сиднея Харпли

Хотя Сматс и Ганди были политическими противниками, они глубоко уважали друг друга. Перед возвращением в Индию в 1914 г. Ганди подарил Сматсу пару сандалий, которые он сам сделал. В 1939 г. премьер-министр написал эссе по случаю 70-летия Ганди и вернул сандалии с припиской: «Я носил их летом в течение многих лет, хотя и чувствовал себя недостойным стоять в обуви столь великого человека».

Сматс тоже считал, что расы должны быть разделены. В 1929 г. он писал:

«Старая практика смешивала черные и белые учреждения, и ничего другого нельзя было сделать после того, как туземные учреждения и традиции были нарочито и бездумно разрушены. Но теперь появился новый план, который мы... называем «сегрегацией»: два вида отдельных учреждений для двух элементов населения, живущих в отдельных районах... Разделение учреждений несет за собой территориальное разделение».

О черных Сматс был такого же мнения, как Ганди:

«У этих детей природы нет внутренней стойкости и настойчивости европейцев, нет у них и социальных и моральных причин для прогресса, который построил европейскую цивилизацию за довольно короткий период».

Но партия Сматса не была столь тверда в отношении апартеида, и это одна из причин, почему она проиграла выборы Национальной партии, пришедшей к власти в 1948 г. и уже не выпускавшей ее до конца апартеида в 1994 г.

Правящая сейчас партия «Африканский национальный конгресс» была организована в 1912 г.³⁹ В нее входила появившаяся уже у коса интеллигенция, священники, и поначалу партия приняла идеи Ганди о сопротивлении без насилия. В то время партия добивалась лишь принятия образованных людей обществом белых. На тех же принципах была основана и молодежная лига партии (1943). Лишь позднее, в частности, после заключения союза с Коммунистической партией и в результате полной безрезультатности мирного сопротивления, партия перешла на вооруженную борьбу. Сегодня – это страна власти черных.

Но если вы думаете, что черные Африки хороши друг с другом, то эта глубокая ошибка. В XIX веке они настолько вырезали друг друга, что только большие буферные пространства гарантировали выживание коса и зулусов. Как мы видели, нередко они использовали белых в войнах друг против друга. А сейчас, когда власть у них? По-прежнему, юг – «царство» коса и «цветных», и зулусов просят не соваться с поисками работы – могут убить. То же самое для коса в районе Йоганнесбурга-Претории. Наш гид увидел в отеле в Кейптауне менеджера-зулуса (скорее, не «увидел», а услышал по акценту) и спросил, как ему это удалось. Тот объяснил, что штаб-квартира группы отелей находится в Претории, и его оттуда послали на курсы менеджеров, так что в кейптаунский отель он прибыл как бы по распределению. «Сейчас уже ничего, - сказал он, - в начале было очень трудно».



³⁹ Wikipedia, History of the African National Congress.

Об авторах



Евгений Беркович – главный редактор журналов «Заметки по еврейской истории» и «Семь искусств», издатель альманаха «Еврейская Старина».



Мирон Амуся – профессор теоретической физики, Иерусалим



Андрей Шидловский (1915-2007) – математик, заведующий кафедрой теории чисел Мехмата МГУ (1968-2002).



Ася Лapidус – математик, литератор.



Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель.



Нина Лельчук – музыкант, лауреат международных конкурсов, профессор Квинс колледжа в Нью-Йорке и Колумбийского университета.



Софья Гильмсон – пианистка, педагог, автор музыковедческих статей.



Азарий Мессерер – переводчик, филолог.



Галина Подольская – академик Израильской независимой академии развития наук, доктор филологических наук, искусствовед



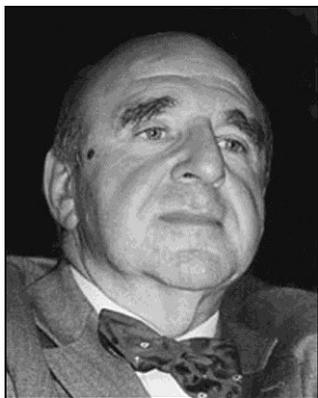
Лев Бердников – кандидат филологических наук. Член Русского ПЕН Центра и Союза писателей Москвы.



Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.



Владимир Янкелевич – морской офицер в отставке, публицист.



Леонид Гиршович – писатель и музыкант.



Михаил Цаленко – математик, правозащитник.



Лорина Дымова – поэт, прозаик, переводчица.



Андрей Алексеев – социолог, кандидат философских наук, автор книги о «драматической социологии».



Татьяна Портнова – доктор искусствоведения, профессор, академик Международной Европейской академии и Петровской академии искусств и наук.



Павел Полян – историк, географ, литератор.



Александр Танков – поэт и прозаик.



Валерий Черешня – литератор.



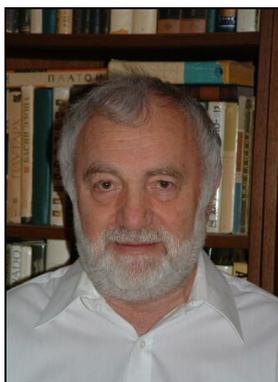
Лев Дановский (1947-2004) – поэт.



Татьяна Кузовлева – поэт, главный редактор литературного журнала "Кольцо А", секретарь Союза писателей Москвы.



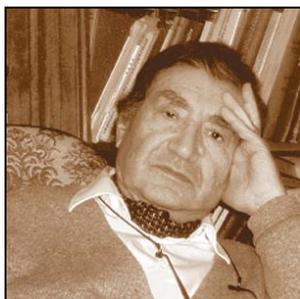
Виктор Каган – доктор медицинских наук. Член Союза Писателей Санкт-Петербурга.



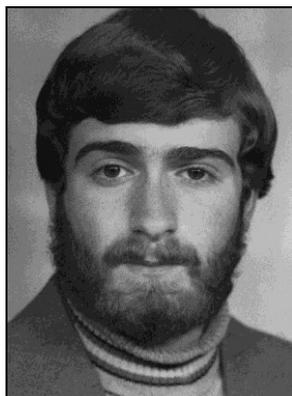
Александр Матлин – инженер-строитель, печатается в периодической прессе.



Валерий Генкин – литератор, главный редактор издательства «Текст».



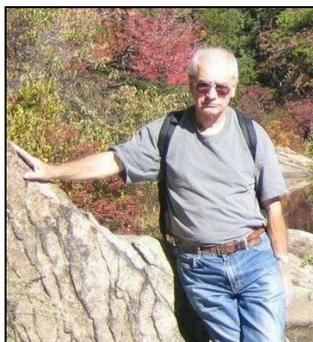
Владимир Фридкин - физик, доктор физико-математических наук, профессор, литератор



Зев (Владимир) Фридман (1960-2009) – музыкант, литератор.



Михаил Юдсон – писатель, литературный критик.



Элизер Рабинович – автор статей по основной инженерной специальности и на исторические темы.

Журнал «Семь искусств», май 2013
Главный редактор Евгений Беркович

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой
551 стр. 30,3 а. л.

ISBN 978-1-291-44838-2



«Семь искусств»
Ганновер 2013